

HISTORIA ROSSICA



Ларри Вульф

И з о б р е т а я
В о с т о ч н у ю
Е в р о п у :

карта цивилизации
в сознании эпохи
Просвещения

HISTORIA
ROSSICA

Larry Wolff

INVENTING
EASTERN
EUROPE

The Map of Civilization
on the Mind of the
Enlightenment

STANFORD UNIVERSITY PRESS

STANFORD, CALIFORNIA

1994

Ларри Вульф

ИЗОБРЕТАЯ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

карта цивилизации
в сознании эпохи
Просвещения

МОСКВА

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2003

ББК 63-3 (45)
УДК 940-11
В 25

Художник
Д. Черногаев

**Редакционная коллегия серии
HISTORIA ROSSICA**

*Е. Анисимов, Р. Вортман, В. Живов,
А. Зорин, А. Каменский, Ю. Слезкин*

Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Project» при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия и Института «Открытое общество» — Будапешт.

Вульф Л.

В 25 Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / Пер. с англ. И. Федюкина. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. — 560 с., ил.

В своей книге, ставшей обязательным чтением как для славистов, так и для всех, стремящихся глубже понять «Запад» как культурный феномен, известный американский историк и культуролог Ларри Вульф показывает, что нет ничего «естественного» в привычном нам разделении континента на Западную и Восточную Европу. Вплоть до начала XVIII столетия европейцы подразделяли свой континент на средиземноморский Север и балтийский Юг, и лишь с наступлением века Просвещения под пером философов родилась концепция «Восточной Европы». Широко используя классическую работу Эдварда Саида об Ориентализме, Вульф показывает, как многочисленные путешественники — дипломаты, писатели и искатели приключений — заложили основу того снисходительно-любопытствующего отношения, с которым «цивилизованный» Запад взирал (или взирает до сих пор?) на «отсталую» Восточную Европу.

ББК 63-3 (45)
УДК 940-11



©1994 By the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. All rights reserved.
Translated and published by arrangement with
Stanford University Press

ISBN 5-86793-197-8

© И. Федюкин, пер. с английского, 2003
© «Новое литературное обозрение», 2003

Книгу о восприятии Восточной Европы в XVIII веке Ларри Вульф начинает цитатой из фултонской речи У. Черчилля 1946 года, в которой впервые прозвучали знаменитые слова о «железном занавесе». Свое введение к русскому изданию книги Л. Вульф посвятил рассказу об образе России и русских, с которым он вырос в послевоенной Америке. Автор, как видно, не скрывает связь своей научной работы с политической злобой дня, что вполне естественно для исследователя, занимающегося проблемой дискурсов вообще, а тем более таких дискурсов, которые сохраняют свое влияние и актуальность сегодня. Будет поэтому логично взглянуть на книгу в трех разных контекстах. Во-первых, нужно представить, какое место занимает работа Л. Вульфа среди других научных исследований, посвященных «ментальным картам», или воображаемой географии. Во-вторых, важно соотнести ее с политическими дискурсами того времени, когда книга писалась, — ведь Вульф и сам признает их значение в предисловии к первому изданию своего труда. Наконец, стоит поговорить о современной ситуации, в которой русский читатель знакомится с книгой Л. Вульфа.

Психологи и географы занялись темой «ментальных карт», или «воображаемой географии», раньше, чем историки, еще в 1970-е годы. Понятие «ментальная карта» они определили как «созданное человеком изображение части окружающего пространства». Ментальная карта «отражает мир так, как его себе представляет человек, и может не быть верной. Искажения действительно очень вероятны»¹. Субъективный фактор в ментальной картографии ведет к тому, что «ментальные карты и ментальная картография... могут варьироваться в зависимости от того, под каким углом человек смотрит на мир». Психоло-

гия познания понимает ментальную карту как субъективное внутреннее представление человека о части окружающего пространства.

Историки заинтересовались ментальными картами как общественным явлением и стали их исследовать, опираясь на метод деконструкции дискурсов. Эдвард Саид в своей уже ставшей классической книге «Ориентализм» положил начало этому направлению, изучив, как западная, главным образом британская и французская, мысль конструировала понятие «Восток»². Термином «ориентализм» он обозначил западные дискурсивные практики создания обобщенного образа восточного человека и восточного общества как антитезы европейского общества и человека, как идеологического и психологического обоснования колониализма, отношений господства и подчинения.

Обращаясь к теме «изобретения Восточной Европы» западноевропейскими мыслителями и путешественниками эпохи Просвещения, Л. Вульф, несомненно, вдохновлялся исследованием Э. Саида. Вульф описывает создание образа Восточной Европы как проект полуориентализации, в котором главной характеристикой обществ этой части континента становится некое переходное состояние между цивилизованным Западом и варварским Востоком, когда усвоение цивилизации оказывается поверхностным, а основа этих обществ остается варварской. Изобретение Восточной Европы, подчеркивает Вульф, неразрывно связано с (само)изобретением Запада. Подобно Востоку Саида, Восточная Европа Вульфа выступает в качестве конституирующего иного в процессе формирования собственного образа цивилизованной Западной Европы. Сама оппозиция «цивилизация—варварство» формулируется в рамках этого дискурса. Вульф утверждает, что именно в XVIII веке ось воображаемой географии Европы была переориентирована с оппозиции Юг—Север, где роль отсталого и дикого была закреплена за «Севером», на оппозицию Запад—Восток.

Книга Вульфа неизменно высоко оценивалась в научном сообществе — и это вполне заслуженная оценка. Но читателю будет полезно знать и о высказанных в ее адрес критических замечаниях. Ряд исследователей указывает на то, что в текстах, анализируемых Вульфом, само понятие «Восточная Европа» не

встречается; они настаивают, что та переориентация оси воображаемой географии Европы, которую Вульф относит к эпохе Просвещения, в действительности произошла позднее, в первой половине XIX века. Возможно, следует говорить об определенном «переходном этапе», растянувшемся на несколько десятилетий.

Другое важное критическое замечание связано с тем, что ориенталистские или полуориенталистские мотивы в описаниях варварства и дикости нередко встречаются у многих путешественников из европейских столиц при описании провинции вообще. Даже Бальзак сравнивал крестьян юга Франции с «дикими» американскими индейцами. Это обстоятельство требует ясного разграничения, выяснения общего и особенного в описаниях оппозиции урбанистических центров и провинции в любой части Европы того времени, с одной стороны, и западноевропейского дискурса Восточной Европы — с другой. Такое разграничение, на наш взгляд, провести можно — французская провинция концептуализируется французскими путешественниками как полудикая часть собственного общества и не выполняет функции конституирующего иного, в отличие от Восточной Европы. Но в книге Вульфа рассуждений на эту тему мы не найдем. Обогастил бы книгу и более подробный анализ немецких источников, в том числе даже таких ключевых для темы Восточной Европы, как трактаты Лейбница³. Но все эти недостатки никак не отменяют того факта, что вместе с более поздними книгами Марии Тодоровой о дискурсе Балкан и Айвера Ноймана об использовании образа «чужого» в воображаемой географии исследование Л. Вульфа принадлежит к канону литературы о ментальных картах⁴.

Кстати, одной из общих проблем литературы о ментальных картах — и книга Вульфа здесь не исключение — является невозможность верификации анализируемых описаний. Мы знаем, что они тенденциозны, знаем, что оптика наблюдателей во многом предопределена господствующими дискурсами. Но *степень и характер* тенденциозности, как правило, остаются невыясненными. Ведь в самом утверждении, что Восточная Европа была по сравнению с Западной более бедной, отсталой, если угодно — дикой, никакой тенденциозности еще нет. Насколько соответствуют действительности те иллюстрации и

объяснения природы отсталости, которыми пользуются авторы описаний и путевых заметок? Сколько в каждом конкретном случае искреннего заблуждения, сколько сознательного изобретательства, сколько умолчания? Пока что у нас нет исследований, позволяющих ответить на эти вопросы, — но помнить о них важно еще и для того, чтобы при чтении книги о конструировании образа полуварварской Восточной Европы не возникало желания подумать, будто отсталость России лишь выдумка западных путешественников.

Вульф начал работу над своей книгой в начале 90-х годов. Это было время триумфа «нового издания» дискурса Центральной Европы. Вульф упоминает о нем в начале книги как о попытке преодолеть «доминирующий дискурс Восточной Европы» со стороны интеллектуалов в Чехии, Венгрии, Польше и других странах. В стремлении определить новое место своих стран в воображаемой географии Европы многие центральноевропейские интеллектуалы использовали Россию в том качестве, в котором французские деятели Просвещения использовали Восточную Европу — а именно в качестве конституирующего иного для создания образа «своей Европы»⁵. В довольно длинном списке тех участников полемики о Восточной и Центральной Европе, чьи идеи оказали на него влияние, Вульф называет Милана Кундеру — автора ключевой для этого дискурса статьи «Похищенный Запад» и наиболее откровенного пропагандиста русофобских мотивов среди герольдов идеи Центральной Европы — и не упоминает Иосифа Бродского, который ответил Кундере в 1986 году в статье «Почему Милан Кундера не прав в отношении Достоевского». Между тем в споре Бродского с Кундерой Вульф оказывается на стороне Бродского. Бродский уже тогда сформулировал очень важный тезис, в отношении которого многие страницы книги Вульфа выполняют функцию развернутого научного доказательства: «Кундера, как и многие его братья-восточноевропейцы, стал жертвой геополитической истины, придуманной на Западе, а именно концепции разделения Европы на Восток и Запад»⁶. Эти слова были написаны в ответ на рассуждения Кундеры о том, что страны Центральной Европы были частью Запада и в результате предательства, совершенного Западом в Ялте, оказались отданы на поругание и растерзание советскому режи-

му, который является естественным продолжением глубоко чуждой Европе российской цивилизации. Вульф убедительно показал, что в представлениях Запада Россия, Польша, Венгрия, Чехия принадлежали к одному «цивилизационному ареалу» Восточной Европы, что Сталин в Ялте вовсе не «крал» у Запада часть этого ареала, а Черчилль с Рузвельтом не предавали Центральную Европу уже потому, что в их представлениях этой Центральной Европы просто не было. Он показал, что та линия на карте Европы, по которой прошел «железный занавес», «чудесным» — а на самом деле вполне закономерным — образом совпала с делением континента, глубоко укорененным в западной мысли на протяжении без малого двух столетий.

Вместе с тем, если принять во внимание последующее развитие этого дискурса в XIX и XX веках, нельзя не признать, что среди стран Восточной Европы России была отведена в нем особая роль. В контексте геополитического соперничества мотив российской «восточноевропейскости», то есть недоцивилизованности, сочетался с мотивом угрозы, образом «варвара у ворот». Описания соперника как варвара, недоевропейца можно встретить в разные моменты истории и у французов в их отношении к англичанам, и у англичан в их отношении к немцам, но применительно к русским этот образ использовался на редкость настойчиво всеми их противниками. К нему часто добавлялся мотив азиатскости русских или других народов империи, что сближало образ России с образом другого «варвара на пороге» — Османской империи. Еще одну важную особенность трактовки России в дискурсе Восточной Европы отмечает А. Нойман: «Неопределенным был ее христианский статус в XVI и XVII веках, неопределенной была ее способность усвоить то, чему она научилась у Европы в XVIII веке, неопределенными были ее военные намерения в XIX и военно-политические в XX веке, теперь неопределенным снова выглядит ее потенциал как ученика — всюду эта неизменная неопределенность»⁷. Сегодня, пожалуй, особую актуальность для русского читателя имеет вывод Вульфа о том, что в дискурсе, созданном и воспроизводимом на Западе, Россия не может лишь по собственной воле изменить свою роль и свой образ. Не Россия поместила себя вне Европы, и не только от России зависит это преодолеть.

В заключении к своей книге Вульф написал о том, что история интеллектуального сопротивления, протеста, сопротивления восточноевропейских интеллектуалов той воображаемой географии Европы, которая была создана Западом, могла бы стать предметом новой интересной книги. Такая книга еще не написана, хотя это действительно очень богатая и интересная тема. Всюду в этой Восточной Европе реакция была очень разной. От спокойной, уравновешенной и сильной, как реакция Л. Толстого, которому Вульф отдает последнее слово в своей книге, или цитированного нами И. Бродского, до истеричной, враждебной, смешной в своей самовлюбленности и вере в собственную исключительность.

Вульф справедливо замечает, что книга эта не о Восточной, а о Западной Европе. Будем, однако, помнить, что везде в Восточной Европе, в том числе и в России, неизменно находилось более чем достаточно людей, готовых воспользоваться рецептами ориентализма в отношении своих соседей на востоке, как только обстоятельства позволяли это сделать. И не нужно поддаваться искушению думать, что это книга о пороках только западной мысли — она о свойственных всем играм с ментальными картами, чреватым искушением ранжировать, уничижительно обобщать, формировать негативный образ иного ради достижения собственных политических целей и удовлетворения собственного, очень часто сопровождаемого комплексом неполноценности тщеславия.

Алексей Миллер

¹ *Downs R.M., Stea D. Maps in Minds. Reflections on Cognitive Mapping.* New York, 1977. P. 23, 41. Отличный обзор исследований «ментальных карт» см. в работе: *Шенк Б. Ментальные карты. Конструирование географического пространства в Европе со времени эпохи Просвещения* // Миллер А. (ред.) Регионализация посткоммунистической Европы. Серия «Политические исследования». М.: ИНИОН, 2001. № 4.

² *Said Edward W. Orientalism.* New York, 1979.

³ Более подробный анализ немецких источников смотри в работах: *Lemberg Hans. Zur Entstehung des Osteuropabegriffs im 19. Jahrhundert. Vom «Norden» zum «Osten» Europas*, in: *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, NF, 33.1985. S. 48—91; *Groh Dieter, Rußland im Blick Europas. 300 Jahre historische Perspektiven.* Frankfurt. 1988; *Kopelev Lev* (Hg.), *West-östliche Spiegelungen.* Reihe A. Russen und Rußland aus deutscher Sicht. Band 2, 18. Jahrhundert: Aufklärung, München, 1987.

⁴ *Todorova M.* Imagining the Balkans. New York, 1997; *Neumann Iver B.* The Uses of the Other. «The East» in European Identity Formation. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1999.

⁵ Подробнее о дискурсе Центральной Европы и месте в нем России см.: *Миллер А.И.* Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // Новое литературное обозрение. 2001. № 52 (6). С. 75—96.

⁶ *Brodsky Joseph.* Why Milan Kundera Is Wrong About Dostoevsky? // Cross Currents. 1986. № 5. С. 477—483. Цитата со с. 481.

⁷ *Neumann Iver B.* The Uses of the Other. P. 111.

Предисловие к русскому изданию

Я родился в 1957 году, в год запуска первого спутника, и я считаю себя дитем «холодной войны». Карибский кризис произошел уже на моей памяти: я был тогда достаточно большим, чтобы понимать, что мои родители и другие взрослые напуганы, и страхи их как-то связаны с Россией. На следующий год я пошел в школу, где меня научили, что надо делать во время воздушного налета. Если в случае пожара мы должны были покинуть школьное здание, то по сигналу воздушной тревоги нам следовало остаться внутри, но выйти из классов в коридор, выстроившись лицом к стене, сесть на корточки и закрыть голову руками. Эти упражнения были довольно пугающими для детей, и я помню, что закрывал руками не только голову, но и уши — чтобы заглушить предполагаемый грохот разрывов. Все это происходило двадцать лет спустя после окончания Второй мировой войны, и у нас не было ни малейшего сомнения, что врагом, от которого нам предстоит прятаться в коридорах, будет именно Советский Союз — то есть страна, которую мы называли просто Россией.

Пожалуй, лишь для немногих американцев моего поколения их самые ранние воспоминания о ней не связаны с психологической травмой ночных кошмаров. Нам приходилось привыкать к подобным мыслям, вырастать из них, переосмысливать или подавлять в себе на протяжении целых десятилетий нашей юности и взрослой жизни, в годы разрядки, противостояния «империи зла», перестройки, гласности, а затем и окончания «холодной войны». Одновременно в нашем культурном багаже были и менее устрашающие воспоминания. Возможно, сегодняшние русские удивятся, узнав, что каждый американец моего поколения в детстве смотрел мультфильмы из серии «Рокки и Бульвинкль», где много внимания, в частности, уделялось России. В этом мультфильме два бесстраш-

ных защитника свободы и американских ценностей, летающая белка по имени Рокки и анекдотически глупый лось по имени Бульвинкль, спасали мир от коварных, аморальных и очень опасных происков двух русских шпионов, Бориса Бедунова и его спутницы, высокой, злобной и соблазнительной Наташи. (То была недоступная детям и довольно глупая игра слов: Борис Бедунов вместо Бориса Годунова — он был плохим, «Bad», а не хорошим, «Good».) Начальником, похоже, была именно Наташа, которая постоянно командовала комически властным голосом: «Борис, хватай лося!» Зловещий облик России отражался не только в наших ядерных страхах, но и в смешных детских мультфильмах. Зло говорило с русским акцентом.

Проделки Бориса и Наташи были важным элементом американской массовой культуры эпохи моего детства, эпохи «холодной войны», и впоследствии я пытался найти в них ключ к непрекращающемуся изобретению Восточной Европы, свидетелем которого я был на протяжении всей моей жизни. Не без некоторого стыда я должен признаться, что именно мультфильм о летающей белке и лосе помог мне заметить культурные процессы, веками направлявшие изобретение Восточной Европы. Восприятие России в Америке времен «холодной войны» включало страхи (иногда обоснованные) и фантазии (иногда сюрреальные), которые вместе образовывали идеологически очень мощный сплав. Теперь, в особенности с окончанием «холодной войны», мы можем наконец признать, что образ России и Восточной Европы в нашем сознании был культурной конструкцией, результатом «изобретения».

Образ России для меня определяли, конечно, не только Борис и Наташа. Во времена моего детства американцы открывали для себя и других вымышленных героев, таких как доктор Живаго и Иван Денисович, чьи страдания символизировали в наших глазах ужасы коммунизма. Одновременно выдающиеся артисты вроде Рудольфа Нуриева, а затем Михаила Барышникова пользовались огромным успехом в Лондоне, Париже и Нью-Йорке еще и потому, что блеск их мастерства служил отражением и русского гения, и подневольного положения творческой личности в стране, которую они были вынуждены покинуть. Вне всякого сомнения, Россия покоряла наше воображение, господствовала в наших страхах и фантазиях и помогала нам ощущать свою принадлежность Америке и За-

паду в целом. В 1960 году журнал «Лайф» издал иллюстрированный альбом о России, где объявлялось, что этот «пространственный и пустынный край порождает мрачное ощущение нереальности и служит естественным фоном для повторяющихся волнений, драм и жестокостей». Что до самих русских, то «по сути своей, жители СССР — примитивные люди в том смысле, что они не знают еще космополитичной утонченности жизни, не смягчены современными удобствами и не дезориентированы богатством выбора, доступным в высокоразвитых обществах. Как и их страна, их помыслы и идеи широки, просты и открыты». Предполагаемая примитивная открытость русского сознания, в сочетании с драматизмом ландшафта, предоставляла Америке превосходный фон, на который можно проецировать собственные комплексы. Вольтер писал в XVIII веке, что, если бы Бога не было, его следовало бы изобрести. Точно так же следовало бы изобрести Россию, если бы только она не существовала на самом деле. Для Вольтера, как и для многих других, «примитивная» Россия была идеальным фоном, оттенявшим французскую «цивилизованность». Для Америки в годы «холодной войны» Советский Союз был не только противником и соперником, но и нашей противоположностью, благодаря которой мы сильнее ощущали собственную идентичность. Русские были так же необходимы американцам, как Борис и Наташа — Рокки и Бульвинклю. Стараясь узнать своего врага, пытаясь свыкнуться с реальностью Советского Союза, мы также прибегали и к изобретательству, формулируя русскую угрозу так, чтобы она отвечала нашим собственным культурным потребностям.

В годы «холодной войны» «железный занавес», отделявший Восточную Европу от Западной, казался столь прочным и самоочевидным, столь ярким и важным фактом геополитической реальности, что было очень сложно разобраться в культурных коннотациях этого международного водораздела. Американцы не сомневались, что Западная Европа была «нашей» Европой, американской союзницей и в военном, и в культурном отношении, и что «наша» половина Европы была много лучше. Когда после войны путешествие в Западную Европу стало доступным американскому среднему классу, наши туристические впечатления только подтвердили эту точку зрения. В 1963 году

мои родители в первый раз съездили в Европу и привезли мне крошечную металлическую модель Эйфелевой башни и маленькую венецианскую гондолу из пластика. Они, конечно, не были за «железным занавесом», и среди привезенных мне сувениров не было миниатюрного собора Василия Блаженного с цветными куполами. И все же разделение на Восточную Европу и Европу Западную не ограничивалось лишь туристическими маршрутами и культурными впечатлениями. Особые отношения между Россией и Восточной Европой были еще и геополитической реальностью, что с жестокой наглядностью показал Советский Союз, вторгнувшись в 1968 году в Чехословакию.

На многих картах того времени Советский Союз и Восточная Европа были окрашены красным, цветом коммунизма, но в воображении американцев Восточная Европа чаще всего ассоциировалась с серым. Этот серый цвет отражал предполагаемую тусклость жизни в обществе, лишенном культуры консюмеризма, с ее золотыми арками Макдоналдса, в обществе, лишенном «богатства выбора» капиталистической экономики. Отчасти эта серость объяснялась недостатком у нас воображения, нашей неспособностью наполнить красками виды ландшафта или памятников архитектуры — но серый был также и цветом восточноевропейской «примитивности», как ее представлял журнал «Лайф». В иллюстрированном альбоме было, конечно, множество черно-белых фотографий России, со случайными мазками драматически ярких цветов, вроде красных знамен на Красной площади во время празднования годовщины Октября или огромных красных турбин волжских гидроэлектростанций. Глубина экономических и политических расхождений между коммунистической Восточной Европой и некоммунистической Европой Западной мешала заметить, что это ощущение отличности отчасти основывалось на зрительных образах и культурных впечатлениях. Карта Европы в сознании американцев всецело определялась «холодной войной» и «железным занавесом».

Впервые в своей жизни я попал за «железный занавес» осенью 1976 года, в возрасте девятнадцати лет, по путевке молодежного бюро путешествий «Спутник». Это были годы разрядки, когда некоторое улучшение советско-американских отношений сделало подобное путешествие менее пугающим,

так что, увидев в Хельсинки плакат, рекламирующий дешевые туры в Россию, я решился потратить свои деньги на это приключение. Уже в ночном поезде из Хельсинки в Москву мне не терпелось с волнением ощутить, что я в чужом мире; и, конечно, тот, кто ищет это волнение, находит его во всем, будь то металлическая экзотичность самовара, из которого нам разливали чай, или угроза, казалось исходившая от советских пограничников, которые обыскиали наше купе. Поскольку поезд шел ночью, мои первые впечатления от России, увиденной в вагонное окно, были окрашены в серый цвет рассвета. Мои ожидания подтверждались.

На протяжении следующей недели, проведенной в Москве и Санкт-Петербурге, я мучился перед лицом интеллектуальной проблемы, знакомой всем путешественникам, пытающимся разобраться и свыкнуться со своими впечатлениями: как использовать мои предыдущие познания о Советском Союзе, чтобы понять увиденное мною, и как помешать моим ожиданиям полностью исказить мои непосредственные впечатления? Потрясающая красота Санкт-Петербурга и столичное бурление Москвы с их яркими красками глубоко запали мне в душу, несмотря даже на коммунистические знамена и памятники, подчеркивавшие чуждость всего окружавшего. Идеология разрядки, однако, поощряла диалог, и не только между Генри Киссинджером и Андреем Громыко, но и между советскими и американскими студентами. В программу нашего тура входило посещение советских студенческих клубов, и хотя обычно эти встречи, начинавшиеся заученными декларациями о взаимопонимании между народами, вначале были довольно натянутыми, под воздействием алкоголя обстановка становилась более непринужденной, и завязывались оживленные разговоры о литературе, кино, музыке, сексе и даже политике. В те самые дни, когда я был в Москве, в Пекине умер Мао Цзэдун; к моему удивлению, и русским, и американцам китайский коммунизм казался одинаково эксцентричным и чуждым. Еще одним надежным мостом между культурами был рок-н-ролл; одновременно с нами в московском клубе была группа югославов, и один из них принес с собой гитару. Я помню, как мы, русские, американцы и югославы, бродили по ночной Москве и пели битловский ностальгический гимн, «Yesterday». Но о чем

была наша ностальгия? Быть может, мы отмечали расставание с «холодной войной» нашего детства?

Осторожно и не без некоторого скепсиса пытаюсь разобраться в своих американских предрассудках о России, я не мог не восхищаться бесшабашной открытостью студента-калифорнийца из нашей группы, который привез с собой фрисби и, в духе разрядки, начинал игру, куда бы он ни пошел. В то время обычная пластиковая летающая тарелка была, мне кажется, незнакома в России, и русские очень хотели научиться этой игре. Я никогда не забуду одну такую игру, которая началась на площади перед главным входом на ВДНХ и достигла наивысшего напряжения с прибытием туда советских солдат. Наша тарелка, легкомысленный символ политической непочтительности, продолжала летать у них над головами, а солдаты, глядя прямо вперед, маршем шли сквозь 1970-е.

Десять лет спустя, в 1980-х, в эпоху гласности, Советский Союз в лице правительства Горбачева пообещал миру новую «открытость», открытость навстречу переменам в коммунистической экономике, политике, общественной и культурной жизни. Одновременно это был вызов и нам, находившимся за пределами Советского Союза, приглашавший нас быть столь же открытыми в своем восприятии всего того, что происходило внутри «советского блока». Именно тогда я начал собирать материал для этой книги, впервые допустив возможность того, что все, что я знал о «Восточной Европе», было не только геополитической реальностью «холодной войны», но также и продуктом долговременных культурных влияний, подчеркивавших различия между Восточной Европой и Европой Западной. Вся моя научная подготовка в 1970-х и 1980-х была основана на том, что «Восточная Европа» (во второй половине XX века представлявшая собой «советский блок») была некоей данностью, внутренне однородным регионом и объектом исторических, политологических, экономических и социологических исследований. Университетские программы, исследовательские институты, научные журналы и особенно финансирование были построены вокруг того принципа, что Восточная Европа, входившая вместе с Россией в советский блок, представляла собой область родственных стран и народов, тесно связанных между собой перипетиями «холодной войны». Однородность

этого региона, созданную коммунизмом в холодную эпоху войны, было слишком легко проецировать в прошлое, где исследователи выискивали ранние следы регионального своеобразия. Американское правительство в самом буквальном смысле этого слова «инвестировало» в концепцию Восточной Европы, целенаправленно финансируя научные исследования этого региона, казавшегося особенно важным для национальной безопасности. В эпоху гласности, когда в Советском Союзе и в Восточной Европе стало возможным подвергать сомнению некоторые коммунистические формулы, еще недавно бывшие неприкасаемыми, нам тоже следовало относиться критически к собственным представлениям об этой части континента. Самое-время было задуматься, не была ли «Восточная Европа» лишь удобной формулой, которую «холодная война» и повышенное внимание к коммунизму сделали интеллектуально приемлемой. Горбачев, уже с русской стороны, вновь обратился к лозунгу Европы «от Атлантики до Урала», который де Голль в 1960-х выдвигал с французской точки зрения.

Затем в 1989 году неожиданно последовала полная дезинтеграция советского блока, когда коммунистические правительства по всему региону были свергнуты, а Советский Союз не пришел им на помощь. С разрушением Берлинской стены и падением «железного занавеса» различия между «Восточной Европой» и «Западной Европой», казавшиеся до тех пор столь непреложными, вдруг стали с трудом различимыми. В процессе наблюдения за растворением Восточной Европы в контексте падения коммунизма, мне, как историку, стало казаться особенно важным понять, как именно складывалось и утверждалось восприятие Восточной Европы как региона. С падением коммунизма в России в 1989 году и распадом Советского Союза в 1991 году современность ставила перед нами еще более насущный вопрос — и внутри России, и за ее пределами — можно ли будет признать Россию частью Европы? С ним была тесно связана и центральная историческая проблема: как получилось, что и внутри России, и за ее пределами Россию стали считать чем-то отдельным от Европы?

Читая описания путешествий и философские произведения XVIII века, я все более поражался очевидному единообразию суждений и впечатлений, приводивших к единому знамени-

лю это крайне пестрое смешение стран и народов в восточной части континента, рисуя в итоге картину общей отсталости, придававшей региону однородность. Еще более загадочным для меня были обнаруженные мною параллели между эмпирическими наблюдениями путешественников, зафиксированными в их отчетах, и самонадеянными, подчас фантастическими прозрениями интеллектуалов, никогда не бывавших в этих краях. Более же всего мое внимание привлекал неотступный философический интерес, который эпоха Просвещения питала к таким понятиям, как «Европа» и «цивилизация». Вновь и вновь я задавался вопросом, что значит принадлежать к Европе и что значит быть цивилизованным.

Хотя в рамках «холодной войны» Восточная Европа обычно представлялась как регион, находившийся под русским господством, мне становилось очевидно, что и сама Россия также была важнейшим компонентом Восточной Европы, когда та только складывалась как регион в эпоху Просвещения. Именно пример России в царствования Петра Великого и Екатерины Великой впервые привлек внимание к проблеме отсталости и цивилизации, поражая воображение философов и побуждая их рассматривать Восточную Европу как регион, отличный от Европы Западной. В этой книге я цитирую многих писателей и путешественников XVIII века, чье восприятие России и Восточной Европы в целом было часто глубоко искаженным, иногда откровенно враждебным, иногда утонченно-снисходительным. Мне, однако, не хотелось бы, чтобы эту книгу воспринимали как рассказ о том, как начиная с XVIII столетия Россия оставалась непонятой. Будет правильнее сказать, что если иностранные наблюдатели в XVIII веке высокомерно и сознательно искажали образ России, то происходило это потому, что Россия была объектом необычайного интеллектуального интереса, культурно притягательной точкой на карте континента в сознании Просвещения. Вольтер, который, возможно, глубоко ошибался в своей оценке Петра и Екатерины, который, возможно, неверно понимал характер и обычаи русского народа и который, конечно, никогда не бывал в России, был тем не менее на протяжении всей своей жизни заморожен Россией, ее судьбой и ее предначертанием. «Будь я моложе, я сделался бы русским», — писал он Екатерине уже в глубокой

старости. Мое собственное детство и годы учебы, прошедшие в эпоху «холодной войны», мои путешествия, мой личный исторический опыт в конце XX делают знакомым мне это ощущение амбивалентной причастности, это колебание между самоотождествлением и отчужденностью, и я верю, что историческая наука может сыграть конструктивную роль и помочь понять страхи фантазии, которые влияли на осмысление и переосмысление Европы, Европы от Атлантики до Урала.

Ларри Вульф

От автора

Работая над этой книгой, я осознавал, сколь пугающе обширна выбранная мною тема; но одновременно у меня была возможность оценить наставления, помощь и поддержку, которые я все эти годы получал от своих учителей, коллег, друзей и близких. Кроме того, я в огромном долгу и перед теми учеными, которых я никогда не знал лично, но чьими трудами, иногда законченными за много лет до моего рождения, я руководствовался в своих попытках расставить по местам все детали этой запутанной головоломки. Ссылок на использованную литературу в конце этой книги совершенно недостаточно, чтобы выразить благодарность всем тем, чьи исследования позволили мне решиться на использование данных из самых разных отраслей исторической науки, и в особенности преодолеть по мере сил историографическую пропасть между Восточной Европой и Европой Западной, что совершенно необходимо, когда изучаешь историю их интеллектуальных взаимосвязей. При всем желании воздать должное за оказанную мне помощь, ответственность за предлагаемые в этой книге выводы я полностью беру на себя, тем более что многие сочтут их довольно спорными. Вопрос о том, как именно и почему эпоха Просвещения решила разделить Европу на две части, восточную и западную, кажется мне весьма злободневным и с исторической, и с политической точки зрения; я надеюсь, что высказанные мною соображения приведут к дальнейшему критическому обсуждению этой темы. Я сознаю, что масштаб этой исторической проблемы заставил меня вторгнуться в сферу компетенции многих моих коллег, и надеюсь, что мои выводы будут оспорены, уточнены и пересмотрены всеми теми, кто, подобно мне, считает отношения Просвещения с Восточной Европой крайне важной проблемой.

В академическом плане я прежде всего обязан профессору, бывшему моим мудрым научным руководителем в аспирантуре Стэнфордского университета, — Уэйну Вусиничу, «дядюшке Уэйну». Именно он поощрял мое стремление изучать Восточную и Западную Европу как единое целое, именно он помогал мне в работе над докторской диссертацией по истории взаимоотношений между Польшей и Ватиканом, именно он на своем примере показал, что Восточная Европа заслуживает от своих историков честности, аккуратности и научной утонченности. Есть у меня и еще более давний долг, перед Виктором Уэйнтраубом, который преподавал мне в Гарварде польский язык, литературу и историю идей. Книги, которые он давал мне читать, в том числе «Znaszli ten kraj?» Боя и «Rodzinna Europa» Милоша, натолкнули меня на размышления о Западной Европе и Европе Восточной. Я считаю своей большой удачей, что он помогал мне своими советами в начале моей работы над этой книгой, и после его смерти в 1988 году мне очень не хватало и его самого, и его наставлений. Темой моей книги я обязан также и предыдущим поколениям ученых, учителям моих учителей, поскольку в основе ее лежат труды Роберта Кернера о Богемии в XVIII веке и Станислава Кота о польской теме в западноевропейской политической литературе.

Когда я учился в аспирантуре Стэнфордского университета, еще два профессора, Гордон Райт и Гордон Крэйг, помогли мне получить научную подготовку, необходимую для работы над подобной темой. В частности, Гордон Райт посоветовал мне прочесть «Storia dell'idea d'Europa» Чабода, а Гордон Крэйг подтолкнул меня к размышлениям о том, как воспринимали Восточную Европу в Вене на протяжении почти столетия, разделявшего принца Евгения и князя Кауница. Из-за моих особых связей со Стэнфордским университетом мне особенно приятно, что эта книга печатается в его Издательстве, и я благодарен Норрису Поупу за редактуру. Я также благодарен Уильяму Абрахамсу и Доррит Кон за их советы, связанные с публикацией моей рукописи.

Во время работы над этой книгой я пользовался финансовой поддержкой Бостонского колледжа и Американского Совета Ученых Обществ. В течение последних нескольких лет я представлял отдельные части этой книги на различных кон-

ференциях. Я особенно благодарен Алексу Петиту за предложение сделать доклад о Вольтере на Конференции по изучению XVIII века в Сिएтле (1991 г.), а также Сюзан Сулейман, пригласившей меня выступить в Центре по изучению грамотности и культуры в Гарварде (1992 г.). В 1988 году на Конференции по польско-французским связям в Корнельском университете я обдумывал отдельные аспекты своего замысла, и Алейн Гуэри любезно позволил мне ознакомиться с его трудом о польской тематике в сочинениях физиократов. Благодарен я и Майклу Уилсону, который помог мне осмыслить итоги этой конференции.

Многие ученые живо откликнулись на мой замысел, предложив интересные критические замечания и ценные советы. Я искренне благодарен Гаэтано Платаниа, который помог мне разобраться с Босковичем, и Марылине Жолтовской-Уэйнтрауб, пришедшей на помощь, когда речь зашла о Марате. Питер Станский помог мне установить, что леди Крэйвен и есть маркизья Ансбахская. Дена Гудман предостерегла меня от недооценки мадам Жоффрен. Симон Шама придал мне смелости взяться за Гиббона. Роберт Дарнтон любезно отозвался на мою просьбу о помощи, связанную с пребыванием Карра в Молдавии. Энтони Кросс откликнулся на мой призыв и не пожалел времени, чтобы помочь мне разобраться с Джозефом Маршаллом. Стивен Гринблатт и Энтони Мацак помогли мне ценными советами в области изучения путешественников и литературы о путешествиях. Ежи Едлицкий любезно позволил мне прочесть свою рукопись о польской теме в европейском сознании.

Я нахожусь в большом долгу перед Лесли Чокетт, которая не только помогла мне разобраться с маркизом де Садом, но и критически прочла первый вариант моей рукописи. Я также признателен Кати Энн Миллер, прочитавшей мое введение в разгар урагана. Я благодарен Марии Татар за помощь, совет и поддержку на всех стадиях этого исследования; меня необычайно воодушевляло ее умение находить равновесие, будь то равновесие между историей и литературой или равновесие между сохранением рассудка и научной работой. Кроме того, она доказала мне, что и вправду возможно написать третью книгу — и даже не растерять при этом всех своих друзей. Своим обра-

шением к истории путешествий и путешественников я во многом обязан дружбе с Полом Марксом, с которым мы вместе преподавали историю и литературу в Гарварде в 1980-х; его интеллектуальный энтузиазм поддерживал во мне интерес к литературе о путешествиях. Мне очень не хватало Пола после его смерти в 1989 году.

С самого начала и до конца моей работы над книгой мои коллеги по историческому факультету Бостонского колледжа были настроены крайне благожелательно. Я особенно благодарен Тому Перри за наши беседы о Моцарте, Робин Флеминг за ее рассказы о скифах и Полу Брейнсу за ценные советы, касающиеся Гердера и Гегеля. Два моих аспиранта, Хью Гилдерсон и Ник Роу, побуждали меня обращаться в своей книге к центральным проблемам истории XVIII века. Я благодарен Библиотеке О'Нила в Бостонском колледже и ее замечательному библиотекарю Мэри Кронин, терпеливо сносившей мои неумеренные запросы и добывавшей мне книги, которые я и не надеялся достать в Бостоне.

Джим Кронин — замечательный человек и замечательный друг; его дружба помогла мне не только написать эту книгу, но и работать над ней с удовольствием. Его советы были столь умны, он поощрял меня с таким энтузиазмом, его пример был столь воодушевляющим, что я понял наконец-то, что такое «научная коллегиальность». Его глубокое постижение академической политики и психологии научной работы, а также умение ценить все те радости, которые приносит преподавание истории, изменили мою жизнь.

Перри Класс вновь, как и много раз до того, сносила мою душевную неуравновешенность и мое чересчур серьезное отношение к родовым мукам, в которых создавалась эта книга. Кроме того, она помогала мне исключительно точными советами касательно всех аспектов моего замысла, начиная с определения его хронологических и тематических рамок и кончая мельчайшими деталями окончательного формата. Эта книга стала намного лучше благодаря ее советам — в тех случаях, когда мне хватало мудрости им последовать; и именно она помогла мне взглянуть на Луизу Мэй Олкотт глазами поляков. Она (Перри Класс, а не Луиза Мэй Олкотт) долго была вместе со мной, разделяла мой интерес к Восточной Европе и даже

ночевала некоторое время в палатке под Краковом. Именно она отправила меня назад в Восточную Европу, когда сам я, по своей глупости, не понимал, что пришло время ехать, и именно она нашла мне замечательного спутника, профессора Николаса Франча, тайного наследника престола Бразовии в романе «Принц и Патриот», вышедшем под номером 239 в серии «Loveswept Romance». Именно она служила мне примером для подражания, а также была моим любимым писателем и моей истинной любовью. Вместе нам удавалось вести домашнее хозяйство, где многое остается несделанным, но пишутся книги, подобные этой, и, в конце концов, даже дети не уходят в школу без завтрака. Дети вполне по-спортивно относились к изобретению Восточной Европы; Орlando видел, как я работаю над книгой, с самого начала, а Жозефина родилась в 1989 году, «*annus mirabilis*» Восточной Европы. Они поддерживали меня, как только дети умеют это делать.

Мой самый большой, глубокий давний долг — это мой долг перед родителями, которым и посвящается эта книга. Посвящается она и памяти моих дедов, благодаря которым я ощущаю некоторую личную связь с Восточной Европой.

Кроме моих личных долгов существуют и долги научные, список которых значительно удлинился за время работы над этой книгой. В поисках всеобъемлющих ответов на широко поставленные вопросы я полагался на знания других ученых, надеясь таким образом возместить ограниченность моих собственных познаний. В частности, я очень увлекся работами французских исследователей предыдущих поколений и даже попал в некоторую зависимость от них. Французским философам принадлежала ключевая роль в изобретении Восточной Европы веком Просвещения, и с самого начала XX столетия французские ученые играли ведущую роль в изучении идей и действующих лиц XVIII столетия. Я многим обязан трудам Абея Мансуи о славянской тематике во французской литературе, Мариэтты Мартэн о мадам Жоффрен, Алис Шевалье о Рюльере, Амбруаза Жобера о физиократах и, самое главное, блестящим работам Альбера Лортолари об эпохе Просвещения и России и Жана Фабра об эпохе Просвещения и Польше. Я в большом долгу и перед относительно недавними работами

восточноевропейских авторов, в частности незаменимыми трудами польского историка Эмануэля Ростворовского и венгерского историка Белы Кепеши, изучавших связи между их странами и Францией в XVIII веке. Наконец, лишь благодаря блестящим работам англо-американских ученых последнего поколения я смог подступить к гигантским проблемам, вроде той, что находится в центре этой книги, а именно к проблеме отношений между Вольтером и Екатериной. Я никогда бы не смог довести свое повествование до конца, не обращаясь постоянно к работам о Вольтере Теодора Бестермана, Питера Гэя и Кэролин Уайлдбергер; когда речь заходила о Екатерине, я в еще большей степени полагался на сочинения Изабель де Мадариаги, Джона Александера и Дэвида Рансела. Я также нахожусь в неоплатном долгу перед М.С. Андерсоном, писавшим об англо-русских связях, и Р.Дж. Маршаллом и Глиндр Уильямс, исследовавшими связи Англии с остальным миром в XVIII веке. Должен повторить, что никто из этих ученых никоим образом не несет ответственности за мои идеи и выводы и что я иногда даже истолковывал их замечательные работы вопреки замыслу авторов.

Мне повезло и в том отношении, что над этой книгой я работал как раз в те годы, когда восточноевропейский вопрос привлекал самое настойчивое и вдумчивое внимание всего ученого мира. Особенно после революции 1989 года, многие проницательные авторы представляли в развернутом виде свои размышления о месте Восточной Европы в современном европейском доме. Я с огромным интересом следил за этими дебатами, особенно за тем, что писали Тимоти Гартон Эш, Тони Джудт, Жак Рупник, Даниэль Широ, Гэйл Стокс, Кришан Кумар, Милан Кундера, Жозеф Скворецкий, Станислав Баранчак, Адам Михник и Чеслав Милош. Все они в последние годы приняли участие в переосмыслении самого понятия «Восточная Европа», и я бы не смог заниматься волновавшими меня проблемами XVIII века, не принимая во внимание текущие процессы и современные дискуссии. Я надеюсь, что мои исторические штудии помогут по-новому взглянуть на эти проблемы. При этом я прекрасно понимаю, что мои собственные теории и выводы своим рождением в значительной степени обязаны тем, кто посвятил себя размышлениям о новейшей

истории Восточной Европы, и тем, с кем я спорил, и тем, с кем я соглашался, их безоговорочной преданности предмету и глубочайшей эрудиции.

Мне кажется, что у меня есть еще один, необычный, долг: я в долгу перед героями моей книги, философами эпохи Просвещения. Мой интерес к ним был пробужден именно их горячим интересом к Восточной Европе. Я понимаю, однако, что моя книга может показаться суровой критикой самой сути их интереса, который даже в самых привлекательных своих проявлениях был искажен элементами «доминирующего дискурса», «ориентализма» и представлениями о некоей нормативной «цивилизованности». Я также осознаю, что в моих попытках применить новейшие приемы критического анализа к творчеству величайших умов Просвещения есть все признаки самонадеянности; я, несомненно, ощущаю свою интеллектуальную ничтожность на фоне протекших веков. Это тем более необходимо оговорить, что философы эпохи Просвещения были и остаются одними из любимых моих интеллектуальных героев; несмотря на все искажения, их интерес к Восточной Европе вызывал у меня одновременно и восхищение, и изумление. Он был для меня отражением интеллектуальной пытливости, смелости и гениальности, которые они привносили в каждый уголок своего мира и которые, мне кажется, в значительной степени создали тот мир идей, в котором мы сегодня обитаем. Именно поэтому их идеи стали для нас и объектом изучения, и мишенью для критики, а я на протяжении нескольких лет был всецело поглощен размышлениями о самой концепции Восточной Европы.

Из всех них больше всего меня занимает Вольтер. Он — один из моих героев, и лишь немногие персонажи интеллектуальной истории вызывают у меня большее восхищение. Я, впрочем, понимаю, что, подвергнув его идеи научному разбору и сделав его самого главным предметом обсуждения на протяжении значительной части этой книги, я выставил философа в критическом, иногда даже ироническом свете. В «Политических взглядах Вольтера» Питер Гэй тактично заметил, что «в своей переписке с Екатериной он предстает в наименее привлекательном свете». Я всю использовал эту переписку, подробно разбирая ее как главное проявление представлений эпо-

хи Просвещения о Восточной Европе. Короче говоря, я представил своего героя как раз в наименее привлекательном свете. Я, конечно, верю в призраки не больше, чем в них верил сам Вольтер, но, как восторженному почитателю вольтеровского остроумия, мне слишком легко представить пренебрежительную небрежность, с какой он мог бы высмеять мое академическое нахальство. Меня это беспокоит тем более, что в своей предыдущей книге о Вене времен Фрейда я отнесся почти столь же критически к еще одному из моих любимых героев. Считите меня поэтом истории идей, которого связывают непростые отношения именно с теми умами, которыми он больше всего восхищается. Я смиренно признаю, что эпоха Просвещения была совершенно исключительным интеллектуальным проектом, и даже когда речь идет об изобретении Восточной Европы, она задала тот ландшафт, на котором я теперь предаюсь своим куда менее значительным упражнениям в истории идей.

Л.В.

ИЗОБРЕТАЯ
ВОСТОЧНУЮ
ЕВРОПУ

Введение

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился через весь Континент», — объявил Уинстон Черчилль в 1946 году, в Фултоне, штат Миссури, далеко в глубине другого континента. Этой фразе о «железном занавесе», разделяющем Европу на две части, западную и восточную, суждено было стать самой удачной риторической находкой в его политической карьере. Почти полвека занавес этот оставался важнейшим структурным разломом как в сознании современников, так и на карте. Карта Европы, с ее многочисленными странами и культурами, оказалась рассеченной этим идеологическим барьером, разделявшим континент во время «холодной войны». По словам Черчилля, «тьма опустилась над странами, столь недавно освещенными победой союзников»; эта тьма легла и на карту, окрасив страны за «железным занавесом» в сумеречные цвета. Любые несчастья, неприятности, страхи могли рисоваться воображению в этом сумраке — и в то же время он освобождал от необходимости вглядываться слишком пристально, позволял даже смотреть в другую сторону: в любом случае, что можно разглядеть сквозь «железный занавес», что можно различить в обволакивающем все сумраке?

Странам, оказавшимся за «железным занавесом», Черчилль дал такое географическое определение: «эти восточные государства Европы». Все они оказались теперь «в том, что я вынужден назвать советской зоной», и во всех этих странах коммунистические партии стремились установить «тоталитарный контроль». Тем не менее линия от Штеттина до Триеста не была географически безупречной границей этой зоны, и Черчилль допустил одно исключение: «Лишь Афины, Греция с ее бессмертной славой, остаются свободными». Что же до остальных «восточных государств», то, с одной стороны, Черчилль при-

знавал, что «безопасность всего мира требует нового европейского единства, и ни одна нация не может быть навсегда исключена из него». С другой стороны, существовали веские причины для того, чтобы принять, одобрить и даже укрепить все более заметный барьер, разделивший Европу на две половины. «Перед самым железным занавесом, легшим поперек Европы, существуют иные причины для беспокойства», — объявил Черчилль, с самого начала не сомневаясь, какие страны находятся «перед» занавесом (он назвал Италию и Францию) и какие обречены быть «позади». Он опасался политической инфильтрации, идеологической эпидемии, поскольку даже в Западной Европе «коммунистические партии, или пятые колонны, все больше угрожают христианской цивилизации»¹. На протяжении всей «холодной войны» железный занавес воспринимался как карантинный барьер, охраняющий свет христианской цивилизации от любых опасностей, мелькающих в сумраке по другую сторону. Такое восприятие давало лишний повод не особенно вглядываться в этот сумрак.

Фултонская речь Черчилля оказалась пророческой, и его метафора, отлитая в металле геополитических реалий, стала фактом международных отношений. Однако поколение спустя такие историки «холодной войны», как Уолтер Лафебр и Даниэл Йергин, стали задаваться вопросом, не повлияло ли само это пророчество на ход последующих событий, не способствовала ли провокационная речь в Фултоне кристаллизации идеологических зон в Европе и окостенению границ между ними? Из мемуаров самого Черчилля видно, что он не наблюдал безучастно за несчастьями, постигающими «восточные государства Европы», но активно помогал делить континент и опускать занавес. В 1944 году, менее чем за два года до того, как он в сопровождении Гарри Трумэна отправился в Фултон предупреждать мир о коммунистическом сумраке, Черчилль в Москве встретился со Сталиным, чтобы договориться о послевоенном разделе влияния в этих самых «восточных государствах». Набросав несколько цифр на клочке бумаги, он предложил Сталину 90-процентный контроль в Румынии, 75 процентов в Болгарии, по 50 процентов в Венгрии и Югославии, но только 10 процентов в Греции с ее «бессмертной славой». Черчилль хотел сжечь этот документ, но Сталин посоветовал сохранить его.

В 1989 году революция в Восточной Европе, а точнее — череда связанных между собой революций в различных «восточных государствах» опрокинула установленные там после войны коммунистические режимы. Политические перемены принесли с собой демократические выборы, внедрение рыночного капитализма, возможность путешествовать за границу и в конце концов, в 1991 году, роспуск Варшавского договора. С 1950-х годов именно Варшавский договор, вместе со своим западноевропейским аналогом, НАТО, придавал военное измерение расколу европейского континента, сплотив отдельные страны в два противостоящих блока, которые вели между собой «холодную войну». С приходом революций, распадом коммунистических режимов в Восточной Европе и окончанием «холодной войны» такие традиционные понятия, отражавшие разделение Европы на две половины, как придуманный Черчиллем «железный занавес», «зона советского влияния» или пресловутая «тень», потеряли всякое значение. Казалось, раскол Европы надвое внезапно оказался в прошлом, был забыт и отменен историей, а две части континента вновь воссоединились в единое целое. В 1989 году я в составе целой группы американских профессоров посетил Польшу, чтобы обсудить с польскими профессорами пока еще неясные последствия, которые советская политика гласности несла для Восточной Европы. Совместными усилиями наша группа экспертов породила целые горы наблюдений, парадоксов, предсказаний и заключений, но мы не видели ни единого намека на разразившуюся через год революцию. Ни я, ни мои коллеги не имели ни малейшего представления о том, что таилось в дымке будущего; никто не мог даже вообразить, что последствия гласности окажутся столь огромными и через год сама идея Восточной Европы как отдельной геополитической единицы и предмета специальных академических штудий окажется далеко не очевидной.

Революция 1989 года почти отменила полувековую интеллектуальную традицию, сделав неизбежным взгляд на Европу как на единое целое. На настенных картах Европа всегда была разноцветным континентом, мозаикой многочисленных государств; на других картах, которые находятся в нашем сознании, темная черта «железного занавеса» отделяла «свет» цивилизации «перед» этой чертой от «сумрака» по ту его сторону. Эти

карты предстоит исправить и пересмотреть, но проблема в том, что в основе их лежат крайне убедительные и глубоко укоренившиеся представления. В 1990-х обеспокоенные итальянцы депортируют албанских беженцев; «Albanesi, no grazie!» — написано на стене. Немцы встречают поляков насилием и неофашистскими демонстрациями, а в Париже туристов обыскивают в магазинах лишь потому, что они приехали из Восточной Европы. Государственные мужи, столь недавно с энтузиазмом рассуждавшие о европейском единстве, пытаются делать вид, будто осажденное Сараево находится где-то на другом континенте. Отчасти это отчуждение основано на экономической пропасти, пролегшей между богатой западной и бедной восточной половиной Европы; но несомненно и то, что эта пропасть окружена многовековыми наслоениями предрассудков и культурных стереотипов. «Железный занавес» ушел в прошлое, но тень по-прежнему лежит над Восточной Европой.

Эта тень по-прежнему с нами потому, что, хотя «железного занавеса» и нет, сама идея Восточной Европы жива. Дело здесь не только в том, что сложившиеся за полвека интеллектуальные привычки упрямо сопротивляются переменам, но прежде всего в том, что концепция Восточной Европы родилась задолго до «холодной войны». Изобретенная Черчиллем метафора «железный занавес» оказалась убедительной и живой благодаря той исчерпывающей глубине, с какой она описывала возникновение советской зоны влияния как международный катаклизм исторических пропорций. В то же время, при всей своей глубине, эта метафора смогла так легко подчинить себе сознание современников лишь потому, что была основана на долгой интеллектуальной традиции. На самом деле проведенная Черчиллем линия «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике» была нанесена на карту и осмыслена еще два столетия назад, во времена его знаменитого предка, воинственного герцога Мальборо. «Железный занавес» пришелся как по мерке, и тот факт, что раскол континента на две части, на Западную и Восточную Европу, восходит к другому периоду интеллектуальной истории, был почти забыт или намеренно затушевывался.

Этот раскол возник задолго до Черчилля и задолго до начала «холодной войны», но происхождение его вовсе не теряет-

ся во мраке веков. Он возник отнюдь не сам по себе, не в силу естественных причин, и не случайно, но был продуктом создавшей его культуры, плодом интеллектуальной ловкости, орудием саморекламы и идеологической корысти. Черчилль мог отправиться в Фултон, штат Миссури, дабы, притворяясь сторонним наблюдателем, анализировать издалека сам раскол Европы и его причины. Раскол этот, однако, был вполне домашнего происхождения. Именно Европа Западная в XVIII веке, в эпоху Просвещения, изобрела Восточную Европу, свою вспомогательную половину. Именно Просвещение, чьи интеллектуальные центры располагались как раз в Западной Европе, поддерживало, а затем монополизировало изобретенный в XVIII веке неологизм, понятие «цивилизованности»; а затем на том же самом континенте, в сумеречном краю отсталости, даже варварства, цивилизованность обнаружила своего полудвойника, полупротивоположность. Так была изобретена Восточная Европа. Эта исключительно живучая концепция с самого XVIII века всегда находила себе обильную пищу, а в наше время точно наложилась на риторику и реалии «холодной войны»; она, несомненно, переживет распад коммунистической системы, оставаясь и в нашей культуре, и на тех картах, которые мы носим в своем сознании. Чтобы понять концепцию Восточной Европы и хоть как-то преодолеть ее, мы можем лишь начать изучение причудливых исторических процессов, вписавших ее в ткань нашей культуры.

Для европейцев эпохи Ренессанса континент подразделялся на две основные части — Север и Юг. Итальянские города-государства были несомненными центрами наук и искусств, живописи и скульптуры, красноречия и философии, не говоря уже про финансы и торговлю. Итальянские гуманисты не стеснялись смотреть на другие страны с откровенным снисхождением, наиболее ярко выраженным Макиавелли в знаменитом «Призыве освободить Италию от варваров», последней главе его «Государя». Он вспоминал вторжение французского короля Карла VIII в Италию в 1499 году, бывшее для каждого флорентийца и почти каждого итальянца его поколения главным событием эпохи, как начало «варварских» набегов с севера, положивших конец *quattrocento*, периоду наивысшего расцвета итальянского Ренессанса. Еще более болезненным было поко-

ление спустя, в 1527 году, разграбление Рима германскими солдатами императора Карла V. Итальянский Ренессанс у себя на глазах приходил в упадок под ударами варваров, и гуманисты, мыслящие понятиями античной истории, от разграбления Рима германскими наемниками в 1527 году обращались к разграблению Рима готами в 476 году: им становилось ясно, что на севере лежат именно земли варваров. Подобно древним римлянам, итальянцы эпохи Ренессанса узнавали из Тацита, что германцы совершают человеческие жертвоприношения, носят шкуры диких животных и в целом отличаются отсутствием культуры: «В перерывах между войнами они уделяют некоторое время охоте, но в основном предаются безделью, помышляя лишь о сне и пище»². Тацит знал, что где-то дальше на восток обитают другие варварские племена, сарматы и даки, но основной его интерес был прикован к германцам на севере; подобное видение мира идеально соответствовало взглядам итальянцев эпохи Ренессанса. В этом смысле Макиавелли, используя для своих целей интеллектуальную традицию Древнего Рима, проявил столь же блестящий риторический оппортунизм, что и Черчилль, положивший в основу изобретенного им «железного занавеса» интеллектуальную традицию Просвещения.

Унаследованное из классической античности и пришедшее столь по вкусу итальянским гуманистам разделение европейского континента на цивилизованную Италию и северных варваров дожило до XVIII века. Уильям Кокс, опубликовавший в 1785 году свои «Путешествия через Польшу, Россию, Швецию и Данию», все еще объединял эти страны под общей рубрикой «северных королевств Европы»³. Тем не менее эта географическая перспектива становилась анахронизмом, и именно интеллектуальные достижения эпохи Просвещения привели к появлению новой оси координат на континенте и к обособлению Западной Европы и Европы Восточной. В сознании современников Польша и Россия более не ассоциировались со Швецией и Данией, а взамен оказались связанными с Венгрией и Богемией, балканскими владениями Оттоманской империи, и даже с Крымом.

За несколько столетий, пролегших между эпохой Ренессанса и веком Просвещения, культурные и финансовые центры Европы переместились из Рима, Флоренции и Венеции, с их

сокровищами и сокровищницами, в более динамичные Париж, Лондон и Амстердам. В Париже XVIII века Вольтер видел Европу совсем иными глазами, чем Макиавелли во Флоренции века XVI. Именно Вольтер возглавил философов Просвещения, старавшихся найти и сформулировать новую концепцию континента, простиравшегося для них не с юга на север, а с запада на восток. При этом они сконструировали новый образ Европы, завещав его нам, видящим континент их глазами, — а вернее, это мы сами послушно переняли заново изобретенную ими картину Европы. Подобно тому как в век Просвещения новые центры пришли на смену старым столицам эпохи Ренессанса, край варварства и отсталости находился теперь не на севере, а на востоке. Две Европы, Восточная и Западная, были изобретены сознанием XVIII века одновременно, как две смежные, противоположные и взаимодополняющие концепции, непредставимые друг без друга.

Путешествия из Западной Европы в Европу Восточную были неотъемлемой частью этого процесса. О восточноевропейских странах в XVIII веке знали слишком мало, и каждый путешественник считал себя вправе дополнять, исправлять и пояснять воображаемую карту этого региона в своем сознании и сознании своих современников. В основе этой карты лежали прежде всего обобщения и сравнения — обобщение восточноевропейских стран под единой рубрикой, объединявшей их концептуально в единое целое, и сравнение их с Западной Европой, подразделявшее континент на разные части в зависимости от степени развития. Эта книга открывается историей одного путешественника, графа де Сегюра, француза, участника американской Войны за независимость, который зимой 1784/85 года проехал через Восточную Европу, направляясь в Санкт-Петербург посланником при дворе Екатерины II. По дороге из Пруссии в Польшу, примерно в тех же местах, где двести лет спустя опустился «железный занавес», он остро ощутил громадную важность пересекаемой им границы. Он почувствовал, что «оставил Европу позади», и более того, «перенесся на десять столетий назад». Завершается эта книга рассказом о путешественнике, который, наоборот, возвращался в Западную Европу, американце Джоне Ледьярде, обогнувшем земной шар вместе с капитаном Куком. В 1788 году попытка

Ледьярда пересечь в одиночку Сибирь закончилась его арестом по приказу Екатерины II. Проехав на запад через всю Российскую империю и затем через Польшу, он лишь на прусской границе ощутил себя вновь в Европе. Именно там, между Польшей и Пруссией, проходил, по его мнению, «великий водораздел между азиатскими и европейскими манерами», который он с горячим энтузиазмом «перепрыгнул», чтобы «вновь принять Европу в ... самые горячие объятия»⁴. Едва ли нужно справляться по атласу, чтобы заметить, что Сегюр «оставил Европу позади», даже отдаленно не приблизившись к границе континента, а двигавшийся в противоположном направлении Ледьярд встречал Европу с распростертыми объятиями, уже проделав через нее тысячемильный путь.

У Ледьярда был наготове специальный термин для подобных свободно изобретаемых географических ощущений — он называл их «философической географией». В этом названии проявлялось то упрямство, с которым век Просвещения подчинял географию своим философским конструкциям, населяя атласы идеологическими деталями, неподсудными стандартам научной картографии. У Сегюра было название для того пространства, которое он обнаружил, когда вроде бы, покинув Европу, он понял, что по-прежнему остается в ней; в конце концов он описал свое местопребывание как *l'orient de l'Europe*, «восток Европы» — название, с многозначительной легкостью допускающее существование также «европейского Востока». Вплоть до самого начала Первой мировой войны французские географы колебались между двумя, казалось бы, внешне идентичными терминами, *l'Europe orientale* (Восточная Европа) и *l'Orient européen* (европейский Восток)⁵. В своей работе под названием «Ориентализм» Эдвард Саид утверждает, что «Восток», так называемый «Ориент», как культурно-географическая единица был сконструирован Западом как его «противоположность в образе, идее, личности, переживании», символ чуждости, а сам «ориентализм» — это «стиль, с помощью которого Запад подавлял, перекраивал и подчинял себе Восток»⁶. Возникновение концепции Восточной Европы неразрывно связано с развитием «ориентализма», поскольку, с одной стороны, «философская география» с небрежностью исключала Восточную Европу из Европы в полном смысле этого слова, исподволь объединяя ее с Азией, а с другой — научная карто-

графия сопротивлялась этим произвольным построениям. Но даже картография предоставляла достаточно места для неопределенности. В восемнадцатом веке существовали различные точки зрения на местонахождение границы между Европой и Азией: иногда ее проводили вдоль Дона, иногда — вдоль Волги, а иногда, как и сегодня, вдоль Урала.

Такая неопределенность помогала воображать Восточную Европу как некий парадокс, одновременно Европу и не-Европу. Подобно тому как Запад описывал себя через противопоставление с Востоком, так и Западная Европа описывала себя через контраст с Восточной Европой, которая в то же время служила мостом между Европой и Востоком. Изобретение самой концепции Восточной Европы похоже на «недо-ориентализацию», изобретение концепции «Востока», только в более мягкой форме. Этот процесс мог развиваться и в обратном направлении. Мартин Берналь, автор «Черной Афины», обратил наше внимание на то, как, преследуя вполне определенные цели, интеллектуальная традиция эллинизма вытеснила из нашего сознания все следы африканских и азиатских влияний в древнегреческой культуре. Тот же эллинизм помог Греции избежать включения в Восточную Европу, и в XX веке Черчилль открыто радовался тому, что тень «железного занавеса» не накрыла ее «бессмертной славы». Развивавшиеся параллельно интеллектуальные традиции «ориентализма» и эллинизма уходят своими корнями в XVIII век и оказываются тем фоном, на котором возникла сама концепция Восточной Европы. Интересно, что представление о Европе как едином целом оказалось в центре культурного сознания именно в тот период, когда сам континент в представлении современников был разделен на две части. Итальянский историк Федерико Чабод, отстаивая после Второй мировой войны идею европейского единства, доказывал, что именно в эпоху Просвещения образ Европы обрел стройную форму и смысл, независимый от христианской религии. По мнению Чабода, важную роль в этом процессе сыграл Монтескье, противопоставивший в своих «Персидских письмах» Европу и Восток, а в «Духе законов» — европейскую приверженность свободе и азиатский деспотизм⁷. Тем не менее противопоставления оставляли место для некоей промежуточной культурной зоны, в которую как раз и поместили Восточную Европу.

Философская география была игрой с очень вольными правилами — настолько вольными, что считалось вполне допустимым «открывать» Восточную Европу, ни разу в ней не побывав. Некоторые отправлялись в этот вояж, исполненные невероятных ожиданий и окруженные международной шумихой. В 1766 году мадам Жоффрен покинула философские салоны Парижа, чтобы посетить короля Польши, а в 1773 году Дидро отправился в Санкт-Петербург, чтобы засвидетельствовать свое почтение Екатерине Великой. Тем не менее никто не писал о России с большим энтузиазмом и авторитетом, чем Вольтер, никогда не бывавший восточнее Берлина, и никто не отстаивал свободу Польши с большей энергией и красноречием, чем Руссо, никогда не бывавший восточнее Швейцарии. Для Моцарта граница между Западной Европой и Европой Восточной оказалась волнующе близкой, где-то между Веной и Прагой. На самом деле, Прага располагается севернее и немного западнее Вены, но для Моцарта, как и для нас в XX веке, поездка в Прагу была поездкой в Восточную Европу, в славянскую Богемию. Он отметил пересечение границы вполне в своем стиле, присвоив себе, своей семье и своим друзьям нарочито бессмысленные псевдовосточные имена: «Я теперь Пункититити. Моя жена теперь Шабла Пумфа. Хофер теперь Розка Пумпа. Штадлер теперь Нотшибикитшиби»⁸. Поездка в Восточную Европу оказалась игриво-опереточной комедией, и театральный занавес был натянут между Веной и Прагой еще задолго до того, как он опустился там же, но уже отлитый в железо.

Игрив ли или философичен интерес к Восточной Европе, основан он на экстравагантных фантазиях или добросовестной эрудиции, он, как и «ориентализм», был стилем интеллектуального обладания, а его конечным продуктом был сплав знания и власти, ситуация интеллектуального превосходства, воспроизводившая отношения господства и подчинения. Как и в случае с «ориентализмом», здесь невозможно провести четкую грань между интеллектуальным «открытием» и превосходством, с одной стороны, и вполне реальным завоеванием — с другой. Французские знатоки Восточной Европы в конце концов оказались на службе у Наполеона, и «открытие» этого региона сознанием эпохи Просвещения подготовило дорогу его армиям. Создание Наполеоном Великого Герцогства Варшавского

в 1807 году, оккупация Иллирии на Адриатике в 1809-м, и, наконец, вторжение в Россию в 1812 году продемонстрировали, что философская география прокладывает дорогу военным картографам. Поход Наполеона был не последней попыткой Западной Европы подчинить себе Европу Восточную.

Описывая экономическую историю «Происхождения европейской мир-экономики», Иммануэль Валлерстайн относит к шестнадцатому веку возникновение капиталистического «ядра» Западной Европы, под все возрастающую экономическую гегемонию которого попадает восточноевропейская «периферия» (а также испанские владения в Америке), превращая первоначально минимальные экономические различия во «взаимодополняющие расхождения»⁹. Когда Европа Восточная стала «периферией» Западной Европы, ее экономическая роль свелась к экспорту зерна, которое производили подневольные работники в рамках установившейся постсредневековой «второй редакции крепостного права». Однако выводы Валлерстайна основываются почти исключительно на примере Польши, чья экономика действительно сильно зависела от балтийского экспорта зерна из Гданьска в Амстердам. Он открыто признает, что в XVI веке не все страны сегодняшней Восточной Европы входили в состав европейской мир-экономики даже в качестве «периферии»: «Россия вне Европы, но Польша в ее составе. Венгрия — в ней, но Османская империя — нет»¹⁰. В известной степени, называя Восточную Европу периферией, мы принимаем за данность некое сконструированное в XVIII веке культурное целое и проецируем его назад, строя на его основе экономическую модель. В действительности Европа Западная и сконструировала Восточную Европу как некий дополнительно-вспомогательный регион; процесс этот не был полностью предопределен социальными и экономическими факторами.

Историческая проблема ядра и периферии, к которой Валлерстайн привлек внимание исследователей в 1970-х годах, задала направление дальнейшему изучению Восточной Европы, и в 1985 году в Белладжии состоялась международная научная конференция «Происхождение отсталости в Восточной Европе». Эрик Хобсбаум сравнивал Швейцарию и Албанию, внешне похожие своим ландшафтом и скудностью природных

ресурсов, но различающиеся своими экономическими судьбами. Роберт Бреннер доказывал, что «проблема отсталости в Восточной Европе — это вопрос неудачно сформулированный», поскольку «с исторической точки зрения не-развитие — скорее правило, чем исключение», а потому ученым следует говорить о проблеме уникального капиталистического развития Западной Европы. Конференция признала, что «Восточная Европа никоим образом не является целостным образованием», что различные ее части стали «экономическими придатками» Западной Европы на разных исторических этапах и были «отсталыми каждая по-своему»¹¹. Проблемы отсталости и развития в Восточной Европе были впервые подняты и сформулированы в XVIII веке вне связи с экономикой; сегодня они продолжают направлять наше восприятие этих стран. Именно неопределенность положения Восточной Европы, которая географически находилась в Европе, но не была вполне европейской, вызвала появление таких концепций, как отсталость и развитие, призванных сформулировать взаимоотношения между полюсами цивилизации и варварства. На самом деле, в XVIII веке Восточная Европа послужила Европе Западной прототипом для самой первой модели «неразвитости»; сегодня мы применяем концепцию «неразвитости» к самым разным странам земного шара.

Сама идея созвать в Белладжио, под патронажем Фонда Рокфеллера, международную конференцию ученых-экспертов для обсуждения «проблемы отсталости в Восточной Европе» глубоко созвучна представлениям Просвещения. По другую сторону Альп, в Ферне, двадцать лет продолжался симпозиум с одним-единственным участником — гений Вольтера посвятил себя проблеме восточноевропейской отсталости. В Париже физиократы регулярно сходились для обсуждения экономических аспектов той же самой проблемы в салоне старшего Мирабо. Более того, в 1774 году этот салон с большой помпой отправил в Польшу одного из физиократов, подобно тому как в 1989-м экономический факультет Гарвардского университета отправил туда же одного из своих профессоров. После революции 1989 года, когда новые правительства пытались расчистить руины коммунизма и присоединиться к мировой рыночной экономике, проблема «отсталости» в Восточной Европе стала еще более актуальной. Их стремление восполь-

зоваться советами наших экспертов и нашей экономической помощью будет, несомненно, воспринято как решающее доказательство наших экономических успехов и восточноевропейской отсталости. Готовясь преобразовать себя в экономический союз, «Европу 1992 года», Европейское сообщество создало специальный банк, Европейский банк реконструкции и Развития, чтобы помочь Восточной Европе в решении ее проблем. В 1990-х Восточная Европа будет по-прежнему находиться в неопределенном положении, балансируя между включенностью в Европу и исключенностью из нее, в экономике и в культурном признании.

Философы эпохи Просвещения исследовали и использовали эту неопределенность, примеряя ее к схеме отсталости и развития, превращая в определяющую характеристику, объединяющую различные страны под общей рубрикой Восточной Европы. Уже в эпоху Ренессанса подобная схема применялась к Польше, и Эразм в 1523 году обращался к полякам, чтобы «поздравить народ, который хотя ранее и считался варварским, но теперь достиг такого расцвета в литературе, юриспруденции, обычаях, религии и во всем остальном, способном избавить его от упрека в неотесанности, что может соперничать с отличнейшими и достохвальнейшими из всех народов»¹². Для Эразма отказ от варварства не имел никакого отношения к экономике. Монтень в XVI веке объявлял всех людей своими согражданами и обещал «не делать различия между поляком и французом», хотя за этим показным космополитизмом, пожалуй, стоит не меньше снисходительного высокомерия, чем за поздравлениями Эразма. Когда французский принц был избран в 1573 году королем Польши, а на следующий год оставил ее трон, чтобы возвратиться во Францию и стать Генрихом III, Филипп Депорт, французский поэт из его свиты, написал саркастическое «Прощание с Польшей». Это было прощание со льдом и снегом, дурными манерами и «варварским народом»¹³.

В первой половине XVI века Рабле ставил в один ряд «московитов, индейцев, персов и троглодитов»: Россия оказывалась восточной, и даже мифологической, страной¹⁴. После того как в 1550-х годах английский мореплаватель Ричард Чанселлор обнаружил арктический маршрут в Россию и была основана

торговая Московская Компания, описаниям России стали уделять больше внимания. Вместе с описаниями Нового Света они вошли в состав «Главнейших плаваний, путешествий и открытий английской нации», составленных Ричардом Хэклотом в елизаветинскую эпоху. В 1600 году французский наемник капитан Жак Маржерет вступил на службу русского царя, Бориса Годунова, и в конце концов создал самое серьезное французское описание России в семнадцатом веке. Русских он описывал как «тех, кого раньше называли скифами», «совершенно грубый и варварский народ». Кроме того, Россия в этом описании населена мифологическими чудесами флоры и фауны, включая животное-растение, пускающее в землю корни: «Овца съедает траву вокруг себя и затем умирает. Они размером с ягненка, с кудрявой шерстью. У некоторых шкура совершенно белая, у других немного пятнистая. Я видел несколько таких шкур»¹⁵. Пока капитан Маржерет находился в России, другой солдат удачи, капитан Джон Смит, пересек континент, направляясь из Англии в Османскую империю; эту экспедицию он описывал как «службу и стратагемы во время войн против турок и татар в Венгрии, Трансильвании, Валахии и Молдавии». В 1603 году он попал в плен к крымским татарам, а в 1607-м, уже в Вирджинии, — к американским индейцам Похатанского союза племен, откуда он спасся благодаря тринадцатилетней принцессе Покахонтес. Из татарского плена он спасся сам, убив своего хозяина, и затем пересек Россию, Украину и Польшу; их он описал просто как «страны, достойные скорее сочувствия, чем зависти». Благодаря своему пребыванию в татарском плену и рабстве, он мог сообщить, что татары не поддаются описанию: «Теперь вы понимаете, что Татария и Скифия — одно и то же. При этом, это нечто столь странное и обширное, что немногие — а может, и вовсе никто — смогли бы исчерпывающе описать этот край или те крайне варварские народы, которые там обитают»¹⁶. Скифы были известны как варвары (в греческой перспективе) из сочинений Геродота; в данном случае вектор варварства смещался с севера на восток. В XVIII веке понятие «скифы» толковалось расширительно, включая в себя все восточноевропейские народы, пока Гердер не позаимствовал другое наименование у варваров древности, благодаря чему Восточная Европа обрела свой сегодняшний образ славянского края.

Самое влиятельное описание России в XVII веке было написано Адамом Олеарием, который совершил свое путешествие в 1630-х годах в составе голштинского посольства, искавшего торговый путь в Персию через русскую территорию. Появление подобного проекта не только указывало на экономическое значение России, но и намекало на ее связь с Востоком; однако сам Олеарий, чей отчет был впервые издан по-немецки в 1647 году и затем непрестанно переиздавался на протяжении всего столетия в немецком, французском, голландском, английском и итальянском переводах, в общем оценивал Россию не с экономической точки зрения. Олеарий сообщал о русских, что «их кожа того же цвета, что и у остальных европейцев». Такое замечание показывало, сколь малых познаний о России он ожидал от своих читателей. «Наблюдая дух, нравы и образ жизни русских», писал Олеарий, хотя в ту эпоху лишь немногие имели эту возможность, «вы непременно причислите их к варварам». Затем он осуждал русских, в основном с точки зрения морали, за «использование отвратительных и низменных слов», за недостаток «хороших манер» — «эти люди громко рыгают и пускают ветры», за «плотскую похоть и прелюбодеяния», а также за «отвратительную развращенность, которую мы именуем содомией», совершаемую даже с лошадьми. Был, впрочем, и элемент экономических соображений в его рассуждении, что русские «годятся только для рабства», что их надо «гнать на работу плетью и дубинами»¹⁷. Век Просвещения пересмотрел восприятие России, давая ей шанс на искупление, то есть исправление нравов и возможность выйти из варварства. Перспектива подобного искупления уже проглядывает в «Краткой истории Московии», написанной Джоном Мильтоном, вероятно, в 1630-х годах. Будущий автор «Потерянного рая» и «Возвращенного рая» объяснял, что интересовался Россией «как самой северной из тех частей Европы, которые считаются цивилизованными»¹⁸. В эпоху Просвещения Россию откроют заново, как восточную окраину континента, и ее образ, и философски, и географически, окажется в одном ряду с образами других восточноевропейских земель.

23 марта 1772 года, придя к Самюэлю Джонсону, Джеймс Босуэлл обнаружил, что тот «занят, готовя четвертое издание своего “Словаря” *in folio*». Они обсудили некий неологизм,

который Джонсон исключил из словаря, считая, что он искажает английский язык; «Он не хотел признать слово “цивилизация” (*civilization*), а признавал лишь “цивильность” (*civility*). Со всей возможной почтительностью, я полагал, что “цивилизация”, от “цивиловать” (*to civilize*), лучше подходит как противопоставление “варварству” (*barbarity*)». В тот же день они обсудили этимологию и проблему языковых семей, и Джонсон заметил, что «богемское наречие действительно принадлежит к склавонским языкам». Кто-то обратил внимание на некоторое сходство богемского с немецким, на что Джонсон отозвался: «Конечно же, сэр, те части Склавонии, которые граничат с Германией, будут заимствовать немецкие слова, а те части, которые соседствуют с Татарией, будут заимствовать татарские»¹⁹. Обращаясь к этому дню сейчас, более чем два века спустя, мы видим, как параллельно развиваются эти две идеи: представление о цивилизации, описываемой как противоположность варварства, и представление о Восточной Европе, описываемой как «Склавония». Босуэлл и Джонсон рассматривали их как две отдельные проблемы, но в ретроспективе мы видим, что они довольно тесно переплетались между собой. Новая концепция цивилизации была важнейшей и незаменимой точкой отсчета, которая позволила в XVIII веке сформулировать и закрепить пока еще рудиментарную концепцию Восточной Европы.

Словарь доктора Джонсона с гордостью настаивал на почти уже ставшем архаичным определении «цивилизации» как чисто юридического термина, обозначающего превращение уголовного судебного процесса в гражданский. Тем не менее в 1770-е годы и во Франции, и в Англии другие словари — такие как иезуитский «Словарь Трево» (Париж, 1771) или «Новый и полный словарь английского языка» (Лондон, 1775) — уже признавали новое значение этого слова. Первый заметный случай употребления этого термина связывают с именем старшего Мирабо и его кружком физиократов, которые также активно интересовались Восточной Европой. Начиная с пользовавшегося большим успехом «Amis des hommes» (1756), Мирабо использовал это слово и в экономическом, и в культурном контексте, понимая цивилизацию и как увеличение богатства, и как исправление нравов. Он, однако, был очень чувствителен к проблеме «ложной цивилизации», особенно в связи с

реформаторскими устремлениями Петра Великого в России. Другой физиократ, аббат Бадё, лично посетивший Польшу и Россию, писал о стадиях и степенях цивилизованности, особенно о «развитии» цивилизации в России; он добавил к новой концепции важный элемент, оговорившись, что речь идет о «европейской цивилизации». Французская революция, особенно в понимании французских философов, еще больше увязала концепцию цивилизации с идеей «развития». Вольней представлял себе развитие цивилизации как «подражание» самой передовой нации, а Кондорсе задавался вопросом, смогут ли когда-либо все народы дотянуться до «уровня цивилизации, достигнутого самыми просвещенными, самыми свободными, самыми свободными от предрассудков народами, такими как французы и англо-американцы». В самом начале XIX столетия Огюст Конт все еще следовал «философической географии» эпохи Просвещения, используя концепцию «цивилизации» для измерения однородности «Западной Европы»²⁰.

Восточная Европа вовсе не была антиподом цивилизации, не находилась в самой бездне варварства, но скорее помещалась на шкале сравнительной развитости, которая измеряла дистанцию между варварством и цивилизацией. В конце XVIII века Сегюр описывал Санкт-Петербург как беспорядочное смешение «века варварства и века цивилизации, десятого и восемнадцатого столетий, азиатских и европейских манер, грубых скифов и утонченных европейцев»²¹. Восточная Европа по самой сути своей находилась в промежутке между двумя крайностями, и к XIX веку эти бинарные оппозиции обрели силу незыблемых формул. В своей «Человеческой комедии» Бальзак мимоходом подытожил все восточноевропейское, как оно виделось из Парижа: «Жители Украины, России, придунайских равнин, короче говоря, все славянские народы представляют собой связующее звено между Европой и Азией, между цивилизацией и варварством»²².

Впервые идея написать эту книгу пришла ко мне десять лет назад, когда я целый год проработал в Секретном архиве Ватикана, собирая материалы для исследования польско-ваканских отношений в XVIII веке. Я читал донесения, которые апостолические нунции направляли из Варшавы в Рим. В 1782 году, проведя в Варшаве семь лет, нунций Джованни Аркетти готовился к деликатной и чрезвычайно ответственной

миссии в Санкт-Петербург, ко двору Екатерины II. Среди многих прочих забот он в этот важный момент своей дипломатической карьеры был обеспокоен тем, что по прибытии в Санкт-Петербург ему предстояло поцеловать руку Екатерине. Он опасался, что в Риме этого не одобряют, поскольку подобный поцелуй мог поставить под сомнение абсолютную независимость римской католической церкви. Есть некоторая ирония в том, что Рим заботился о подобных мелочах придворного этикета, когда, по сути, дело уже шло к Великой французской революции. Забавно и столь повышенное внимание к необходимости поцеловать руку царице, чьи сексуальные излишества стали легендарными уже при ее жизни. Самым интересным для меня было то, как именно Аркетти объяснял в донесении в Рим, почему он все-таки поцелует царице руку: благодаря пребыванию в Польше, он научился лучше понимать «эти северные страны». В этой фразе он связывал воедино Россию и Польшу. По его мнению, существовала пропасть между «более развитыми народами» и «народами, развивающимися позднее». Последние, то есть «эти северные народы», отличались повышенным вниманием к этикету, например к целованию рук, пытаясь сравняться «с более утонченными народами»²³. Великолепная снисходительность, которую проявляет здесь Аркетти, показывает, как мало шансов на успех имела эта попытка с его точки зрения. При этом предложенной им шкале относительной развитости — всем этим «более» или «менее», «раньше» или «позднее» — свойственны искушенность и современность представлений об отсталости и развитии. Здесь не хватало лишь слова «цивилизация» — и смены географического вектора, которая превратила бы северные страны в страны восточные. Будучи итальянцем, Аркетти все еще смотрел на мир с точки зрения эпохи Ренессанса. Екатерина была также способна на снисходительность; она подарила Аркетти меховую шубу и позднее описывала его как «славное дитя».

Аркетти уверял, что менее развитые народы поднимали больше шума вокруг придворных манер, однако сам уцепился за эту деталь этикета и раздул ее значение до того, что в своем сознании сконструировал на ее основе карту Европы. Норберт Элиас предположил, что концепция «цивилизации» выросла из концепции «цивильности», чтобы обозначить точку наивысше-

го развития хороших манер. Понятие цивилизации было столь важно в представлениях о себе тех, кто уверен в собственной цивилизованности, что наиболее полное современное выражение оно нашло в стандартах, навязываемых другим классам или другим народам. Именно читая Аркетти, объединившего северные страны как менее развитые и менее утонченные, я начал размышлять над распределением цивилизованности по карте Европы в сознании той эпохи. Я задумался о том, что его снисходительность почти (но не полностью) предвещала снисходительное отношение к Восточной Европе в наши дни, и задавался вопросом, не стоял ли он на пороге великой смены географических координат на европейском континенте. Я стал задумываться о том, почему люди стали разделять Европу на две половины, на восток и запад.

Об Аркетти и руке Екатерины я вспомнил несколько лет назад, находясь по ту сторону «железного занавеса», в Восточной Европе. Посреди ночи я отправился к едва знакомому мне человеку, чтобы забрать у него какие-то письма и бумаги, которые я согласился переправить в своем багаже за «железный занавес». Когда я уходил, он трижды поцеловал меня то в одну, то в другую щеку — по-славянски, как он сказал. Я не мог не вспомнить об Аркетти и не задуматься о том, как детали этикета иногда овладевают нашим воображением и кажутся символами каких-то огромных различий. Подобные детали в конце концов переплелись в моем воображении с общими впечатлениями от Восточной Европы с ее подпольной политической жизнью, приглушенными разговорами и чувством тревоги при пересечении границ.

В 1989 году эта Восточная Европа прекратила свое существование вместе с «железным занавесом». Мы или найдем новые образы, символизирующие наши различия, или вновь вспомним о старых образах, которые родились еще до «холодной войны». Может быть, невероятная революция 1989 года станет для нас и поводом, и стимулом пересмотреть «ментальную картографию», карту Европы, отпечатанную в нашем сознании. В 1990 году Американская академия наук и искусств отметила эти события специальным выпуском журнала «Daedalus», вышедшим под заглавием «Восточная Европа ... Центральная Европа ... Европа»; это название, по-видимому, по-

дразнумевало пробуксовку всей нашей знаковой системы по мере того, как Европа семиотически сдвигалась и перестраивала себя в нашем сознании. Открывающая сборник статья Тимоти Гартона Эша, английского писателя, который в судьбоносные 1980-е стал самым проникательным западноевропейским исследователем Восточной Европы, была отмечена вопросительным знаком: «Mitteleuropa?», отсылая читателей к другому эссе того же автора, вышедшему еще до революции 1989 года под заголовком «Существует ли Центральная Европа?». Этот вопрос был деликатной и щекотливой проблемой ментальной картографии, поскольку сам термин «Mitteleuropa» впервые появился на сцене в 1915 году, во время Первой мировой войны, когда Фридрих Науман опубликовал в Берлине книгу под таким же заглавием, только без вопросительного знака. «Mitteleuropa» Наумана очерчивала область, предназначенную стать ареной немецкой экономической и культурной гегемонии, включая и те страны, которые традиционно относили к Восточной Европе. Эта концепция, вместе с концепциями *Osteuropa* и *Ostraum*, вновь сыграла важную идеологическую роль во время Второй мировой войны, когда Гитлер пытался претворить в жизнь программу обширных завоеваний и ужасного порабощения в Восточной Европе, начавшуюся оккупацией Чехословакии и Польши в 1939-м и достигшую наивысшей точки с началом вторжения в Югославию и СССР в 1941 году. Есть доля иронии в том, что интеллектуалы, и в Западной Европе, и в Польше, Чехословакии, Венгрии, в 1980-х годах заново открывали концепцию Центральной Европы, выступавшую теперь как идеологическое противоядие «железному занавесу». Вопрос о том, существовала ли Центральная Европа до этого, вращался потому вокруг различия между интеллектуальной конструкцией и геополитической реальностью, и Центральная Европа оставалась лишь понятием: «Ее еще нет. Вот Восточная Европа есть — это часть Европы, которую Советский Союз контролирует с помощью военной силы»²⁴. Тем не менее Восточная Европа тоже начиналась как просто идеологическая концепция, и теперь, после 1989 года, когда советское военное присутствие ушло в прошлое, она вновь оказалась лишь концепцией. Концепция эта, тесно вплетенная в историю двух последних столетий, до сих пор оказывает столь сильное влияние на политические события, что мы

почти не узнаем ее интеллектуальные корни, прячущиеся в дымке истории.

Россия может отказаться от своего военного господства в Восточной Европе, но не может отменить само понятие «Восточная Европа», поскольку и изобретала и навязывала его не она. Понятие «Восточная Европа» изобретено в Западной Европе в эпоху Просвещения, и Россию тоже включили в ее состав. Россия была объектом приложения этой концепции, а значит, и интеллектуального подчинения, ее тоже открывали, прописывали, к ней относились со снисхождением, ее помещали на карте и определяли в соответствии с теми же формулами: между Европой и Азией, между цивилизацией и варварством. Те, кто сегодня отстаивает концепцию Центральной Европы, намерены поколебать интеллектуальные основания этой репрессивной концепции и спасти Чехию и Венгрию, может быть — Польшу, возможно, даже Словению. И тем не менее они пользуются понятием «Восточная Европа», способствуя исключению остальных стран, укоренению тех самых различий, которые поддерживают западноевропейскую идентичность. Михаил Горбачев, разрушивший «железный занавес» и окончивший «холодную войну», проявил глубочайшее понимание этих разделов внутри Европы. «Мы — европейцы», — объявил он в своей книге «Перестройка» в 1987 году, рисуя в воображении картину «общего дома», простирающегося от Атлантики до Урала, отмечая «искусственность» военно-политических блоков, «архаичную природу» «железного занавеса»²⁵. Он бросил вызов тем на Западе, кто хотел бы исключить Советский Союз из Европы и уравнивать Западную Европу с Европой как таковой, то есть тем самым аксиомам, которые лежали в основании двух веков интеллектуальной истории, истории «цивилизации» в Европе, истории изобретения Восточной Европы.

¹ *Churchill Winston*. The Iron Curtain // Blood, Toil, Tears and Sweat: The Speeches of Winston Churchill, ed. David Cannadine. Boston: Houghton Mifflin, 1989. P. 303—305.

² *Tacitus*. Germania // The Agricola and the Germania, trans. H. Mattingly and S.A. Handford. London: Penguin, 1970. P. 114.

³ *Coxe William*. Travels into Poland // Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark: Interspersed with Historical Relations and Political Inquiries. London, 1785; rpt. New York: Arno Press and New York Times, 1971, preface.

⁴ *Séjour Louis-Philippe, comte de. Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Séjour*, vol. I, in *Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de France: pendant le 18e siècle*, vol. XIX, ed. M.Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859; *Ledyard John. John Ledyard's Journey Through Russia and Siberia 1787—1788: The Journal and Selected Letters*, ed. Stephen D. Watrous. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1966.

⁵ *Mansuy, Abel. Le Monde slave et les classiques français aux XVI—XVII siècles. Préface de Charles Diehl*. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1912. P. 8, 10.

⁶ *Said Edward W. Orientalism*. New York: Vintage Books, 1979. P. 1—3.

⁷ *Bernal Martin. Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization*, vol. I, *The Fabrication of Ancient Greece 1785—1985*. New Brunswick, N.J.: Rutgers Univ. Press, 1987; *Chabod Federico. Storia dell'idea d'Europa*. Bari: Editori Laterza, 1965. P. 82—121; Hay, Danys, *Europe: The Emergence of an Idea*. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1968. P. 117—127; *Duroselle Jean-Baptiste. L'Idée d'Europe dans l'histoire*. Paris: Denoël, 1965. P. 77—133; *Tazbir Janusz. Poland and the Concept of Europe in the Sixteenth-Eighteenth Centuries*, *European Studies Review* 7, no. 1 (Jan. 1977): 29—45.

⁸ *Mozart, Wolfgang Amadeus. Briefe*, ed. Horst Wandrey. Zürich: Diogenes, 1982. P. 371.

⁹ *Wallerstein Immanuel. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press, 1974. P. 97.

¹⁰ *Ibid.* P. 301.

¹¹ *The Origins of Backwardness in the Eastern Europe: Economics and Politics from the Middle Ages Until the Early Twentieth Century*. Ed. by Daniel Chirot. Berkeley: Univ. of California Press, 1989. P. 1—15.

¹² *Segal Harold B. Renaissance Culture in Poland: The Rise of Humanism 1470—1543*. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press, 1989. P. 13; *Maćszak Antoni. Progress and Under-Development in the Eyes of Renaissance and Baroque Man*, *Studia Historiae Oeconomicae* 9 (1974): 77—94.

¹³ *Mansuy A. P.* 32, 56—57.

¹⁴ *Ibid.* P. 14—15.

¹⁵ *Margeret Jacques. The Russian Empire and Grand Duchy of Muscovy: A 17th-Century French Account*, trans. Chester S.L. Dunning. Pittsburgh, Pa.: Univ. of Pittsburgh Press, 1983. P. 8, 10, 23.

¹⁶ *Smith John. Travels and Works of Captain John Smith: President of Virginia, and Admiral of New England, 1580—1631*, ed. Edward Arber, Part II. Edinburgh: John Grant, 1910. P. 805, 857, 866—868.

¹⁷ *Olearius Adam. The Travels of Olearius in Seventeenth-Century Russia*, trans. Samuel H. Baron. Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press, 1967. P. 126—147; see also *Leitsch Walter. Westeuropäische Reiseberichte über den Moskauer Staat // Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte: Aufgaben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung*, ed. Antoni Maćszak and Hans Jürgen Teuteberg. Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, 1982. P. 153—176.

¹⁸ *Milton John. A Brief History of Moscovia: And of Other Less-Known Countries Lying Eastward of Russia as far as Cathay*. London: Blackmore Press, 1929. P. 32.

¹⁹ *Boswell James. The Life of Samuel Johnson*, ed. Frank Brady. New York: New American Library, 1968. P. 236—237.

²⁰ *Elias Norbert*. The History of Manners, trans. Edmund Jephcott. New York: Pantheon Books, 1978. P. 44–50; *Moras Joachim*. Ursprung und Entwicklung des Begriffs der Zivilisation in Frankreich (1756–1830), in *Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen*, vol. 6. Hamburg: Seminar für romanische Sprachen und Kultur, 1930. P. 4–8, 32–43, 46–47, 55–57, 63; *Febvre Lucien*. Civilisation: Evolution of a Word and a Group of Ideas // *A New Kind of History: From the Writings of Febvre*, ed. Peter Burke, trans. K. Folca. New York: Harper and Row, 1973. P. 219–257.

²¹ *Ségur I*. P. 329–330.

²² *Balzac Honoré de*. Cousin Bette, trans. Marion Ayton Crawford. London: Penguin, 1965. P. 229–230.

²³ *Wolff Larry*. The Vatican and Poland in the Age of the Partitions: Diplomatic and Cultural Encounters at the Warsaw Nunciature. New York and Boulder: Columbia Univ. Press, East European Monographs, 1988. P. 178.

²⁴ *Garton Ash Timothy*. Does Central Europe Exist?, *The New York Review of Books* (Oct. 9, 1986), republished in *The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe*. New York: Random House, 1989. P. 179–213; *Garton Ash, Timothy*. Mitteleuropa? *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences* 119, no. 1 (Winter 1990): Eastern Europe ... Central Europe ... Europe. P. 1–21; *Kumar Krishan*. The 1989 Revolutions and the Idea of Europe, *Political Studies* 40 (1992): 439–461; *Evans R.J.W.* Essay and Reflection: Frontiers and National Identities in Central Europe, *The International History Review* 14, no. 3 (Aug. 1992). P. 480–502; *Okey Pobin*. Central Europe/Eastern Europe: Behind the Definitions, Past and Present 137 (Nov. 1992). P. 102–133; *Neumann Iver B.* Russia as Central Europe's Constituting Other, *East European Politics and Societies* 7, no. 2 (Spring 1993). P. 349–369.

²⁵ *Gorbachev Mikhail*. Perestroika: New Thinking for Our Country and the World. New York: Harper and Row, Perennial Library, 1988. P. 177, 180.

Глава I

ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦУ: ПУТЕШЕСТВЕННИКИ XVIII ВЕКА ОТКРЫВАЮТ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

«Эти полудикари»

В 1784 году граф Луи-Филипп де Сегюр отправился из Франции в Россию как полномочный и чрезвычайный посол Людовика XVI в Санкт-Петербурге, при дворе Екатерины II. Сегюру был всего тридцать один год, и послом его назначили потому, что его отец был военным министром Франции. Остановившись проездом в Берлине, молодой человек был принят в Потсдаме немолодым и к тому времени уже легендарным Фридрихом II. Король заметил знак ордена Цинцинната на груди у Сегюра, память о его службе под знаменами Джорджа Вашингтона во время американской Войны за независимость*. «Как могли вы столь надолго забыть все удовольствия Парижа, — спросил Фридрих саркастически, — в краю, где цивилизованность еще только в зачатке?» Такое снисходительное отношение к Америке было характерно для представлений того века об ареале цивилизованности, и оба собеседника, берлинец и парижанин, понимали, что реплика эта относится не только к пребыванию Сегюра в Америке, но и к его назначению в Санкт-Петербург. Век Просвещения полагал, что в России цивилизованность тоже только зарождалась в XVIII столетии, и за пять последующих лет Сегюру не раз предоставлялась возможность поразмышлять на эту тему. Он интересовался успехами цивилизации в отсталых странах и потому был готов пожертвовать удовольствиями, примириться с неудобствами — все ради того, чтобы лучше изучить края, ко-

* Орден Цинцинната — организация бывших офицеров американской Континентальной армии и их прямых потомков, созданная после окончания Войны за независимость; ее главой до самой своей смерти был Джордж Вашингтон. - - *Примеч. пер.*

торые у Фридриха вызывали лишь сарказм. «Какой путь вы выберете, чтобы ехать в Петербург, кратчайший?» — спросил король. Самый короткий и удобный путь был по морю. Прямой сухопутный маршрут шел вдоль побережья Балтики. «Нет, Ваше Величество, — ответил Сегюр, — я хочу проехать через Варшаву, чтобы увидеть Польшу». В ответ на что Фридрих заметил: «Это занимательная страна»¹.

И любопытство Сегюра, желавшего увидеть Польшу, и ощущение Фридриха, что любопытство это оправданно, говорили о том, что в XVIII веке возрастал интерес не только к Польше, но и к России. Для Сегюра они лежали на одном сухопутном маршруте: и для него, и для других путешественников это подчеркивало их регионально-обособленную общность. В XVII веке существование морских торговых путей — арктического из Англии в Архангельск, балтийского из Голландии в Гданьск — мешало увидеть, что Польша и Россия были частью единого географического целого. В XIX веке железная дорога из Варшавы в Санкт-Петербург и из Варшавы в Москву являла связь между ними с настойчивой очевидностью. В веке же XVIII Сегюр расплачивался за свое любопытство временем и неудобствами. Будто бы поощряя путешественника, Фридрих иронически перечислил черты, придающие Польше занимательность: «Свободная страна, где народ в неволе, республика при короле, огромный край, где почти никто не живет». Поляки отличные воины, но их армиям не хватает дисциплины. Польские мужчины отважны и рыцарственны, но твердостью характера, даже героизмом отличаются польские женщины; потому-то, насмешливо закончил Фридрих, «эти женщины — настоящие мужчины»². Обсуждая «любопытность» бессмысленно-неупорядоченной Польши, где перевернуты все представления XVIII века об обществе, политике, демографии, даже рыцарственности и культурной роли мужчин и женщин, король использовал язык противоречий и парадоксов. Но противоречия и парадоксы были спутниками анархии, анархия же дала Фридриху повод предложить в 1772 году первый раздел Польши, позаботясь о том, чтобы кое-что перепало и Пруссии.

Интересно, что Фридрих, явно претендовавший на остроумие в своих категорических суждениях о Польше, вовсе не пытался понять ее полнее, описать и объяснить ее подразумеваемую ущербность. Как ни странно, постичь Польшу можно

было, только признав ее непостижимость, неразрешимую парадоксальность ее контрастов. У Сегюра, в отличие от Фридриха, не было в отношении Польши никаких далеко идущих политических замыслов; он даже публично назвал раздел 1772 года вопиющей несправедливостью. Тем не менее его любопытство породило путевые заметки, по духу и слогу замечательно похожие на суждения не покидавшего Берлин Фридриха. Более того, язык противоречий и парадоксов Сегюр использовал при описании не только Польши, но и России. Суждения прусского короля и французского дипломата о Польше и о России ознаменовали «открытие» Восточной Европы в XVIII веке. «Занимательность» Восточной Европы, ее несходство с Европой Западной, ее отсталость воспринимались как интеллектуальная проблема — проблема неразрешимых противоречий.

Когда путешественник XX века смотрит на маршрут Сегюра, ему ясно, что, пересекая границу между Германией и Польшей, французский дипломат покинул Западную Европу и оказался в Восточной. Сегюр, однако, не мог бы выразиться так просто, так как сама идея Восточной Европы еще толком не сложилась, но только развивалась в умах и сочинениях подобных ему путешественников. В этом отчете о пятисотмильной поездке из Берлина в Варшаву замечательно то, насколько остро воспринимал Сегюр, что пересекает границу огромной значимости, хотя, в отличие от нас, он не мог объяснить значимость этой границы различиями между Западной и Восточной Европой.

Пересекающему восточную часть владений короля Прусского кажется, что он как бы покинул некую сцену, где царит украшенная усилиями искусств природа и совершенная цивилизованность. Глаз сразу же огорчают сухие пески, пространные леса.

Попав же в Польшу, начинаешь верить, что окончательно покинул Европу, и новые зрелища изумляют взор: огромная страна почти полностью покрыта хвойными деревьями, вечно зелеными и вечно печальными, которые изредка сменяются возделанными долинами, рассеянными как острова в океане; нищее, поработанное население; грязные деревни; жилища, лишь немногим отличающиеся от хижин дикарей, — все внушает мысль, что ты перенесся на десять столетий назад, к полчищам гуннов, скифов, венедов, славян и сарматов³.

Очевидно, что для Сегюра это путешествие было не просто переездом из одного королевства в другое. Он вышел за

пределы цивилизации, окончательно расстался с Европой, даже переместился во времени, вовсе покинув XVIII век. Хотя Сегюр назвал вполне конкретную дату, десять столетий, и заметил, что в Польше «вновь оживают средние века», он как будто переместился из исторического времени в эпоху доисторических хижин и варварских орд, «сокрушивших своим весом последние обломки Римской империи»⁴. Чувствительность его, разгулявшись вовсю, окрашивала наблюдения, делая печальными даже деревья. Сегюр говорил Фридриху, что желал лишь «увидеть Польшу», но он не просто видел: под его взором пейзажи, которых не касались искусство и цивилизация, совершенно преображались. Он оставил позади «сцену» и открыл для себя «новое зрелище». Этим зрелищем была Восточная Европа, но он еще не знал, как ее назвать. Куда он попал, где ехал? Не в Европе, но и не в Азии, не на Востоке. То было некое промежуточное пространство, лишенное точных временных или исторических координат, где все, даже сама природа, настолько перевернуто, что поездка по суше превращалась в плавание по «океану». Сегюр выбрал сухопутный маршрут, а оказался в море.

«Все в этой стране несообразно, — вторя Фридриху, писал Сегюр, — пустоши и дворцы, рабство крестьян и буйная вольность дворянства». Польша была «непостижимой смесью веков древних и новых, духа монархического и республиканского, феодальной гордыни и равенства, роскоши и нищеты». Глаз путешественника выискивал контрасты и составлял из обрывков наблюдений невообразимую смесь. В замке «огромное число слуг и лошадей, но почти никакой мебели — восточная роскошь, но никаких удобств». Зерна очень много, денег мало, и почти нет торговцев, кроме «бойкой толпы алчных евреев». Польское «пристрастие к войне» соседствовало с «отвращением к дисциплине»⁵. Сегюр, как и Фридрих, подчеркивал контрасты и противоречия, делавшие Польшу «занимательной» страной бессмыслицы и парадоксов, страной роскоши, где нет мебели.

«Такова была Польша, и таковы были занимавшие меня размышления, — писал Сегюр о своем путешествии, — когда, поднимаясь из безлюдья кипарисовых и сосновых лесов, где легко вообразить себя на краю света, Варшава предстала моему взору». Подобно Колумбу, он оставил Европу далеко поза-

ди, пересек океан и оказался на краю света. Польша, судя по всему, подогревала в нем преувеличенную чувствительность, туманившую подлинное значение его открытия; будь он скромнее, скажи, что достиг всего-навсего «края Европы», он был бы гораздо ближе к ускользавшему определению. Варшава неожиданно прервала занимавшие его размышления, реальная Польша мешала ему думать о Польше. Соотношение мыслей и действительности видно хотя бы из того, что Варшава «предстала» его взору, и взор этот живо приступил к критическому анализу: «По въезде я заметил еще больше этих удивительных контрастов: великолепные особняки и убогие дома, дворцы и лачуги». «Завершая картину», Сегюр описал то место, где он сам остановился, «нечто вроде дворца, где одна половина поражала благородным изяществом, а другая была лишь скопищем руин и обломков, печальным пепелищем»⁶.

Пассивность того взора, которым Сегюр невинно собирался «увидеть Польшу», поневоле внушает сомнения. Варшаве пришлось предстать перед ним беспомощной жертвой его безудержной аналитической энергии, его внутренних противоречий, превративших город в интеллектуальные руины. На ум приходит Мишель Фуко, описавший в своих историко-философских работах, как аналитический взор в его классическом виде превращает видение в знание, а знание — во власть. Сегюру, французу эпохи Просвещения, такой взор был присущ по праву рождения, но почему-то в Восточной Европе весь аналитический процесс шел вкривь и вкось. Вместо того чтобы постигать объекты через составляющие их элементы, при ближайшем рассмотрении Сегюр, как и Фридрих, находил их все более непостижимыми, даже смехотворными. Когда перед нами откровенно саркастичный Фридрих, в таком анализе легко узнать интеллектуальную агрессию, вторящую агрессии политической. Карта Польши наводила прусского короля на мысль о территориальных разделах с той же естественностью и неизбежностью, с которой сама идея Польши приглашала к риторическому анализу. В конце концов Варшава «предстала» Пруссии во время окончательного раздела Польши в 1795 году. Глядя на Польшу, Сегюр не помышлял ни о завоеваниях, ни о территориальных разделах: это был взор превосходства, притворяющегося недоумением, с которым Западная Европа открывала для себя Европу Восточную.

Противоречия множились и плодились. Разделенный на две части дворец, где остановился Сегюр, наполовину роскошный, наполовину пришедший в запустение, стоял в городе, состоявшем наполовину из дворцов и наполовину из хижин. Точно так же и сама Варшава отражала противоречия всей Польши. Согласно Сегюру, «искусства, остроумие, манеры, литература, прелесть общения соревнуются здесь с тем, что встретишь в Вене, Лондоне, Париже; но в провинции нравы поистине сарматские»⁷. Конфликт между цивилизацией и варварством был заключен в самой Польше, но, называя точки на карте, Сегюр напоминал о еще больших контрастах, о соперничестве, разделявшем европейский континент. Вена, Лондон и Париж были столицами той Европы, которую Сегюр покинул, въезжая в Польшу.

В Варшаве Сегюру настоятельно советовали отложить отъезд в Санкт-Петербург: начиналась зима 1784/85 года, шел снег. Путешественник не стал ждать и потом жалел об этом. Он мог проехать по снегу только в легких санях. Пришлось оставить багаж на хранение где-то между Белостоком и Ригой; позже ему сообщили, что тот сгорел. Со свойственной Восточной Европе парадоксальностью, «снег и огонь соединились, чтобы меня покарать»⁸. На последнем отрезке путешествия, между Ригой и Санкт-Петербургом, не отягощенный багажом Сегюр предавался в санях размышлениям. Он думал о царящем вокруг холоде, а также о Петре Великом, победившем природу, «распространив над этим вечным льдом живительное тепло цивилизации». Борьба тепла с вечным льдом была еще одним парадоксом, как сочетание огня и снега; победа же над природой превратилась в клише Просвещения еще за поколение до Сегюра, когда Вольтер писал биографию Петра. Размышления были прерваны показавшимся вдали Санкт-Петербургом, и у француза была наготове новая расхожая мудрость, чтобы приветствовать город, стоявший там, «где некогда были лишь обширные, бесплодные и смрадные болота». Ни один иностранец, посетивший город в XVIII веке, не мог взглянуть на Санкт-Петербург, не увидев этих давно исчезнувших болот и даже не услышав их запаха. В Восточной Европе образы могли многократно накладываться друг на друга, создавая смесь веков и ландшафтов.

Сегюр, конечно, был не первым французом, посетившим Санкт-Петербург. Он вспоминал знаменитый визит Дидро, гостившего у Екатерины за десять лет до того; он знал, что «многие путешественники подробно описали дворцы, храмы, многочисленные каналы, богатые здания» города, который он называл «столицей Севера». Тем не менее он решил зафиксировать свои впечатления и с наступлением весны, когда сошел снег, описал город, чьи восточные черты поражали намного больше, чем северное местоположение. Стилль — тот же, что и в записях о Польше и Варшаве.

Вид Петербурга вселяет двойное удивление; здесь слились век варварства и век цивилизации, X и XVIII столетия, азиатские и европейские манеры, грубый скиф и утонченный европеец, блестящая, гордая знать и погруженный в рабство народ.

С одной стороны, изысканные, великолепные наряды, изобильные пиршества, роскошные празднества и театры, равные тем, что украшают и оживляют общество в Париже и Лондоне; с другой, торговцы в азиатских костюмах, кучера, слуги, длиннородые крестьяне, в овчинах и меховых шапках, больших кожаных рукавицах, с топорами за широким кожаным поясом.

Эти одеяния и толстые шерстяные обмотки на ногах, образующие нечто вроде грубого чулка, воссоздают в вашем воображении скифов, даков, роксоланов и готов, некогда наводивших ужас на римлян. Все эти полудикие фигуры с барельефов Траяновой колонны в Риме как будто вновь обретают жизнь перед вашим взором⁹.

Конечно, глаза Сегюра, его всепроникающий взор оказались *вашими* глазами, *вашим* взором, взором всякого, кто посещает Санкт-Петербург, даже тех, кто путешествует заочно, читая эти мемуары. Они были напечатаны только в 1824 году, когда сам Сегюр уже состарился; тем не менее он помнил, как в России для него вновь обрели жизнь скифы, и он оживил их для своих читателей, для *вас*.

Несомненно, что в глазах Сегюра Польша и Россия лежали в одной и той же области причудливых смешений, где века и континенты, варварство и цивилизация складывались в фантастические, невероятные сочетания. Смещение элементов само по себе мешало дать этой области подходящее название. Даже дикари были полудикарями, противореча самим себе. В России все эти несообразности были в некотором смысле живее и очевиднее, чем в Польше. Варвары древности здесь просто ожили, сойдя с барельефов высеченной во II веке колонны и

обретая трехмерность. Мало того, раньше Сегюр просто говорил, что, оказавшись в Польше, он покинул Европу; в России же он открыто признал, что противоположностью Европе является именно Азия. Несмелые упоминания «восточной роскоши» в Польше сменяются в «столице Севера», Санкт-Петербурге, пылкими описаниями азиатских манер и костюмов. Направляясь из Варшавы в Санкт-Петербург, Сегюр ехал на северо-восток, даже больше на север, чем на восток. Он чувствовал, что покинул Европу, но знал, что Азия в географическом смысле слова еще не началась. Он открыл некое промежуточное пространство. На самом деле Российская империя располагалась на обоих континентах, и карты XVIII века различали «Россию в Азии» и «Россию в Европе», где, несомненно, и находился Санкт-Петербург. Но проницательный взор Сегюра обнаружил, насколько размытыми оказываются эти границы, когда речь идет о культуре. Смещение это вместе со смещением веков и позволяло Восточной Европе обрести бытие в глазах Европы Западной, в странном промежутке между цивилизацией и варварством.

«Когда я прибыл в Петербург, — писал Сегюр (было это 10 марта 1785 года), — в нем под покровом европейской цивилизации оставалось еще множество пережитков прежних времен». Сложная реальность, наслоения веков были доступны, таким образом, лишь опытному взору путешественника, способного видеть сущность за внешними формами. «Только присмотревшись внимательно», Сегюр обнаружил, «что разница между ними действительно существует; при поверхностном взгляде она совсем не ощутима (*sensible*); за полстолетия все приучились подражать иностранцам, одеваться, строить жилища, обставлять их, есть, встречаться, приветствовать, давать балы и ужины точно так же, как французы, англичане и немцы»¹⁰. В этом случае Сегюр, конечно, говорил не об одетых в овчины скифах, а об элегантной петербургской элите с ее изобильными пирами и роскошными празднествами. Способность этой элиты подражать иностранцам Сегюр оценивал по стандартам современной ему «цивильности», служившей общей мерой «цивилизovanности» в Западной Европе, то есть во Франции, Англии и Германии. Обсуждая в своей «Истории манер», как было принято есть, общаться, приветствовать друг друга, Норберт Элиас увидел в этих нормах ключ к понима-

нию того, как представители элиты в этих странах определяли себя по отношению к остальному населению. Сегюр, сам аристократ, нашел новое применение коду цивилизности, сделав его мерой различия между странами и народами. Варшава могла соперничать с Веной, Лондоном и Парижем, русские могли подражать аристократии западных стран, но внимательное «рассмотрение» всегда распознает незаметную поверхностному наблюдателю грань между внешними формами и пережитками прошлого.

По мнению Сегюра, «только в разговоре да в некоторых мелочах и виден тот знак, который показывает, где кончается современный русский и начинается древний москвит»¹¹. Точно так же во Франции XVIII века считалось, что аристократ мог за самыми безупречными манерами разглядеть буржуа. Встречи в пути, разговоры — в которых Сегюр сохранял преимущество, беседуя на родном языке, французском, — обнаруживали недоступные взгляду сокровенные детали. Цивильность при старом режиме могла сводиться к правилам и формам, доступным способному имитатору, но открытие Восточной Европы поставило вопрос о различии, основанном на более современном принципе, на неких основополагающих чертах характера. Русские несли на себе «знак», и Сегюр не собирался допускать, чтобы они выдавали себя за кого-то другого.

Способность узнать «древнего москвитя» даже в Санкт-Петербурге напоминала о том, что Петру и Петербургу предшествовала Московия. Неудивительно, таким образом, что именно визит в Москву должен был окончательно подтвердить правильность формулы, которую Сегюр применял в Санкт-Петербурге, а до того — в Польше. В июне 1785 года, находясь в свите Екатерины, Сегюр посетил Москву, «это смешение хижин простолюдинов, богатых купеческих жилищ, великолепных дворцов гордого и многочисленного дворянства, этот беспокойный народ, представляющий одновременно самые противоположные манеры, различные века, народы дикие и цивилизованные, европейское общество и азиатские базары»¹². В Москве «восточные» черты России, ее положение между Европой и Азией были еще очевиднее, затмевая ее традиционный образ северной страны. Однако Сегюр осознал, что той Москвы, которую он когда-то видел, уже нет, что «огонь по-

глотил большую ее часть»¹³. За время, прошедшее между его путешествием и выходом в свет мемуаров, французские войска Наполеона с триумфом вошли в Москву, оставили ее в плену и, побежденные, возвратились во Францию.

Сам Сегюр покинул Россию в 1789 году, с началом Французской революции. Поначалу он оставался на дипломатической службе, благодаря таким свидетельствам своих демократических симпатий, как орден Цинцинната и участие в американской Войне за независимость. В конце концов, однако, он, как и множество других дворян (в том числе и его отец), был арестован и едва не попал на гильотину. Выжив, несмотря на все превратности судьбы, он начал новую, и очень успешную, карьеру, став при Наполеоне советником, сенатором и главным церемониймейстером. Лишь после Ватерлоо, окончательно оставшись не у дел, он нашел свободное время, чтобы написать мемуары. По большей части они отражают живую реакцию путешественника и, вероятно, созданы на основании его собственных заметок и документов. И все-таки со времени его поездки в Россию сменилось целое поколение. Время от времени этот разрыв во времени подчеркивается, особенно когда он размышляет о Москве:

Я не буду долго говорить о Москве; само это слово вызывает слишком много горьких воспоминаний. Кроме того, величественная и прекрасная столица была не раз описана: мало в какой из наших семей не найдется воин, покрытый славой и ранами, чьи рассказы знакомят с дворцами, садами, храмами, лачугами, хижинами, полями, Кремлем, Китай-городом, позолоченными главами церквей, представшими нашим глазам в Москве, с поразительным зрелищем разбросанных тут и там дворцов или замков, окруженных своими деревьями¹⁴.

Глаза путешественника, таким образом, сливаются с «нашими глазами», глазами наполеоновских ветеранов, славных воинов, повествующих о той причудливой смеси, которая именовалась Москвой. И впрямь существовала непосредственная связь между интеллектуальным превосходством любопытного, анализирующего путешественника и обыкновенным завоеванием. Сын Сегюра, Филипп-Поль, участвовал в русском походе Наполеона и оставил живое описание этой кампании, послужившее Льву Толстому одним из источников в работе над «Войной и миром».

Когда Сегюр был в России полномочным послом, его главной задачей было обсуждение торгового договора — тот позволил бы Франции получить свою долю в русской торговле, которую контролировала Англия. В этом был привкус экономического империализма, но даже сам Сегюр не относился к своей миссии слишком серьезно. Он признавался: «Моя деятельность, по-видимому, сама собою свелась к роли внимательного наблюдателя при дворе, на который мы не имели влияния»¹⁵. Однако внимание наблюдателя не бывает политически нейтральным. И Россия, и Польша предложили себя взору Сегюра, и поколение спустя армии Наполеона приняли это предложение. Путешественники XVIII века, открывшие Восточную Европу где-то в промежутке между цивилизацией и варварством, между Европой и Азией, помогли привлечь взор Западной Европы к ее противоречиям.

«ПРИСУЩЕЕ ПОЛЬШЕ»

Как и Сегюр, Уильям Кокс совершил путешествие по России и Польше тридцати одного года от роду. Поездка Кокса пришлась на 1778—1779 годы; Сегюр побывал в тех же краях всего несколькими годами позже, в 1784—1785 годах. Схожесть наблюдений, сделанных англичанином и французом почти одновременно, показывает, как меняется в это время западноевропейское восприятие этих стран. Сегюр происходил из одного из знатнейших французских родов; Кокс всего лишь состоял на службе у столь же знатной английской семьи. Он был сыном придворного врача, окончил Итон и Кембридж, стал англиканским священником, а затем был приглашен наставником к шестилетнему отпрыску семьи Черчилль в их родовом поместье Бленхейм. В 1775-м он был приставлен к новому ученику, юному племяннику герцога Мальборо, которого отправляли на пять лет в образовательную поездку впечатляющего масштаба, в «Большое Путешествие» по Европе. Кокс должен был преподавать своему подопечному древние и новые языки, географию, историю, математику, поэзию, музыку и рисование, а некий капитан Флойд, которого Кокс возненавидел, отвечал за физическое воспитание молодого человека, обучая его верховой езде, стрельбе, плаванию, игре в теннис, фехто-

ванию и танцам. Мать юного аристократа писала Коксу о еще одном пункте образовательной программы, надеясь, что ее сын «отчаянно влюбится в какую-нибудь светскую даму, которая была бы достаточно умна и относилась к нему с достаточной симпатией, чтобы научить его угождать ей и в то же время держала бы его на приличествующей дистанции»¹⁶. Молодой человек, таким образом, должен был получить вполне разностороннее образование. Сам Кокс придерживался старомодных взглядов и всерьез считал «Большое Путешествие» педагогическим мероприятием, имеющим своей целью воспитание английского джентльмена. В то же время он был достаточно амбициозен, чтобы удлинить традиционный маршрут, включив в него такие новшества, как посещение Польши и России, а также Дании и Швеции. Колумб, как известно, пытался отыскать новый путь в Индию и вместо этого открыл Америку. В конце XVIII века Кокс и Сегюр отправлялись в путь, чтобы увидеть давно известные из географии «страны Севера», но в результате открыли Восточную Европу.

В 1738 году Томас Наджент, полагая, что «древний и благородный обычай путешествовать» помогает «воспитать истинного джентльмена», издал описание маршрута, которого традиционно придерживались английские туристы под названием «Большое Путешествие, или Вояж через Нидерланды, Германию, Италию, и Францию»¹⁷. К 1756 году, когда книга была переиздана, это заглавие все еще сохранило свою актуальность. Кокс с его подопечным также посетил эти края, но, когда пришла пора писать отчет о путешествии, он осознал, что читателей скорее заинтересуют другие страны, которые традиционный маршрут не затрагивал. В 1784 году, как раз когда Сегюр проезжал через Польшу и Россию, Кокс опубликовал свои «Путешествия по Польше, России, Швеции и Дании». На протяжении двух последующих десятилетий эта книга несколько раз переиздавалась в Англии и была переведена на французский. Описывая страны, до того малоизвестные и редко посещаемые, это сочинение стало важным шагом на пути к «открытию» Восточной Европы в XVIII столетии.

«Мы въехали в Польшу, — писал Кокс, датируя это событие 24 июля 1778 года, — и продолжили наш путь до Кракова через области, приобретенные австрийской династией в результате недавнего раздела»¹⁸. Другими словами, путешественники

не были, строго говоря, на территории Польского государства. Эти земли с 1772 года принадлежали империи Габсбургов, и тем не менее ощущение, что он в Польше, было у Кокса исключительно острым — настолько острым, что он должным образом регистрировал время и впечатления при пересечении границы. «Дороги были плохи, деревни малочисленны и в невероятном запустении, — писал Кокс, — хижины все построены из дерева, на вид грязны и убоги. Все производило впечатление крайней нищеты». Несколько позже, на Висле, под самым Краковом, путешественники пересекли еще одну, настоящую, границу между двумя государствами. Проходила она по мосту, «на одной стороне которого стоял австрийский солдат, на другой — польский часовой». Краков оказался «любопытным старым городом», прежде всего потому, что, «некогда находившийся почти в центре польских владений, он стал теперь пограничным». К мысли о неопределенности границ добавлялась мысль об исторических переменах. Дома в Кракове были «некогда богато обставлены и полны жителей, но ныне большинство из этих домов или покинуто, или в состоянии прискорбного упадка». Краков выглядел «разрушенной столицей», что подразумевало хронологический контраст между «первоначальной роскошью» и «падшим величием»¹⁹.

«Я никогда не видел дорогу, настолько лишенную интересных видов, как между Краковом и Варшавой, — писал Кокс. — На всем пути не встретишь ни единого предмета, способного привлечь внимание самого внимательного путешественника». Ландшафт был плоским, другие путешественники на дороге не встречались, и лишь изредка в поле зрения попадались случайные деревни, «убогий внешний вид которых соответствовал общему запустению, царящему в округе». Деревни эти всего лишь «кучка хижин», и среди них «единственным местом, предназначенным для приема путешественников, были еврейские лачуги, полностью лишенные мебели». Сегюр, как мы помним, тоже видел и хижины, и лачуги, и евреев, и отсутствие мебели. Кокс посетил эти лачуги и пригласил своих читателей последовать за ним.

Наша постель состояла только из брошенной на землю соломы, и мы почитали себя счастливыми, если солома была свежей. Даже мы, далеко не привередливые и давно привыкшие ко всем неудобствам, чувствовали себя неуютно в этом краю запустения. В боль-

шинстве стран мы брали себе за правило останавливаться на ночь, чтобы не пропустить достойных внимания зрелищ; здесь же мы предпочли продолжить наш путь, не останавливаясь в этих обителях грязи и нищеты; у нас были все основания полагать, что единственное зрелище, которого нас лишила ночная тьма, — мрачные леса, однообразные нивы и свидетельства людского страдания. Местные жители более бедны, покорны и убоги, чем все остальные народы, попадавшие на нашем пути: стоило нам остановиться, они собирались толпами вокруг нас, прося милостыню при помощи самых отчаянных жестов²⁰.

Пересекая польскую границу, иностранцы попадали в царство все возрастающих бедности и убожества, разрухи и запустения. На впечатления Кокса несомненно повлияло то, что он и подобные ему путешественники не могли найти удобного пристанища.

В этом отношении его мысли о Польше, до того мало известной английским путешественникам, почти немедленно стали общим местом. Когда леди Элизабет Крэйвен побывала там в 1785 году, то есть год спустя после «Путешествий», она уже цитировала это сочинение: «Об условиях, которые я встретила в дороге, вы сможете прочесть у господина Кокса, я же ограничусь описанием более приятных обстоятельств»²¹. Кокс не был так сдержан; он не просто писал об «этих вместилищах грязи и нищеты», но и говорил о них в светской беседе. Как-то раз, несколько позднее, когда он гостил в имении Браницких в Белостоке, одном из самых величественных дворцов Польши, «разговор коснулся способов передвижения в стране столь бедной и опустошенной, где так тяжело найти удобный ночлег». Кокс шокировал польских дворян, сообщив им, что «спал на соломе, когда мог ее достать», и назидательно сообщил графине Браницкой, что таким образом он «ознакомился с домашним хозяйством крестьян, разделив с ними ночлег и доверив им удовлетворение наших потребностей»²². Неудобствами он заплатил за достижение педагогических целей поездки, состоявших в изучении недостатков Польши, и за возможность показать эти недостатки своему ученику, своим английским читателям, и даже самим полякам.

Проезжая через Польшу, Сегюр постоянно пребывал в печальном расположении духа, а его первые впечатления от Петербурга окрашены «двойной меланхолией», вызванной видом Финского залива и размышлениями о русском деспотизме.

Кокса подобная меланхолия настигла уже в Варшаве, окрасив его восприятие контрастов этого города, которые он описывает в точности по разработанной Сегюром формуле.

Весь город представляет собой грустное зрелище, являя тот резкий контраст между богатством и бедностью, роскошью и запустением, которым пропитана вся эта несчастная страна. Улицы просторны, но плохо вымощены; церкви и общественные здания обширны и великолепны; дворцы аристократов многочисленны и роскошны; но большинство домов, особенно в пригородах, оказываются убогими и дурно выстроенными деревянными лачугами²³.

Сегюр двигался в северо-восточном направлении, из Варшавы в Санкт-Петербург, а Кокс отправился строго на восток, в Москву, через восточную часть Речи Посполитой, Великое княжество Литовское. Гродно он описал по той же привычной формуле — город, полный контрастов: «смещение запустевших лачуг, полуразвалившихся домов, дворцов, лежащих в руинах, но украшенных великолепными воротами, остатками древнего величия». Он посетил недавно заведенную в Гродно ткацкую фабрику и, поскольку его страна гордилась своим ткацким производством, заметил со снисходительным любопытством: «Эта отрасль промышленности здесь только еще в зачатке»²⁴.

В Гродно Кокс встретил французского натуралиста Жан-Эммануэля Жилибера, собиравшегося писать естественную историю Литвы, то есть рассказать о животных, растениях и минералах. Кокс отметил «зачаточное состояние естественных наук» в этих краях, подобное зачаточному состоянию промышленности, и, вероятно, счел само собой разумеющимся, что эти науки должны быть вверены не кому-нибудь, а французу. В Литве Кокс видел зубра, которым он особенно интересовался, и упомянул по этому случаю теорию Симона Палласа, немецкого натуралиста, изучавшего естественную историю России. Паллас считал, что «данный вид диких быков, в древности обитавший повсюду в Европе, теперь существует на этом континенте только в литовских лесах, кое-где в Карпатах и, возможно, на Кавказе»²⁵. Другими словами, благодаря зубру у Восточной Европы была своя естественная история, поскольку редкие виды сохранялись лишь на окраинах континента.

Еще интереснее были представители типичных для Восточной Европы человеческих типов, и Кокс писал: «На нашем пути

через Литву мы были поражены, насколько все вокруг кишело евреями, которых вообще в Польше множество, но в этом княжестве, кажется, обосновалась их главная квартира». Сегюр также заметил в Польше «бойкую толпу алчных евреев». Идея о том, что в Восточной Европе много евреев, вполне привычна в XX веке и выразилась наиболее четко в их почти полном уничтожении. В XVIII же веке их еще предстояло открыть, как и саму Восточную Европу. Когда Кокс въехал в Польшу, он относился к ним с умеренной симпатией. В Кракове он посетил могилу «Эсфири, Прекрасной Еврейки», которая, по преданию, была возлюбленной Казимира Великого в XIV веке. Он обратил внимание на «трудолюбие этого удивительного народа» и отметил, что польские евреи «контролируют всю торговлю этой страны». По дороге в Варшаву Кокс видел их «лачуги». Выехав на восток из Белостока, он был окружен толпами нищих и евреев, которые «виднелись повсюду». Литва «кишела» ими, путешественники встречали их на каждом шагу: «Если вы попросите найти переводчика, вам приведут еврея; если вы войдете в таверну, хозяин окажется евреем; если вам нужны почтовые лошади, вы их получите у еврея, и еврей будет кучером». К востоку от Минска, на землях современной Белоруссии, Кокс укрылся на ночь от непогоды в овине, где «несколько фигур в черных балахонах и с длинными бородами мешали что-то в большом котле». Человек эпохи Просвещения, Кокс не поддался «вере в колдовство или мелкие суеверия», и «по внимательном рассмотрении мы узнали наших старых знакомцев — евреев, готовивших их и нашу вечернюю трапезу»²⁶. Повидав «кишащих» «без конца» евреев, Кокс усвоил с этими «старыми знакомцами» презрительно-фамильярный тон. Его описания евреев становились все более и более настороженными, и могила прекрасной еврейки сменилась страшными фигурами в балахонах. Отмахнувшись от суеверий, Кокс доказал собственную просвещенность, одновременно показывая читателям, насколько отсталой была Восточная Европа и населявшие ее евреи.

Изучая польское население, Кокс, как и Сегюр, убедился, что Европа осталась позади: «Своими чертами, обычаями, платьем и внешним обликом поляки напоминают скорее азиатов, чем европейцев; предками их, несомненно, были татары». Важное доказательство — их манера стричь волосы: они «обривают головы, оставляя только кружок волос на затылке». Кокс ссылаясь на немецкого историка, полагавшего, что «манера

стричь волосы, принятая у поляков, возможно, самое древнее свидетельство их происхождения», так как «уже в V веке некоторые народы, известные под именем скифов, придерживались такого же обычая»²⁷. Для изучения азиатских черт Восточной Европы недостаточно обратиться к ее татарским корням; для Кокса, как и для Сегюра, главный признак азиатского происхождения — родство с варварами классической древности, со скифами. В России они словно сошли в своих овчинах с барельефов колонны Траяна; в Польше их можно узнать по стрижке, не изменившейся за тысячу с лишним лет.

Интерес к волосам поляков снова возникает у Кокса в самом конце его пути через Польшу, когда он обратил внимание на болезнь, предположительно связанную с ними.

Перед тем как завершить мое описание Польши, я должен вкратце упомянуть, что, проезжая через эту страну, мы поневоле замечаем людей со спутанными или спекшимися волосами. Это болезнь, называемая *Plica Polonica*, или «польский колтун». Такое название она получила, так как считается присущей Польше; однако она встречается в Венгрии, Татарии и у некоторых соседних народов²⁸.

Приписав эту болезнь полякам, венграм, татарам и соседним народам, Кокс очертил территорию, в которой легко узнаешь Восточную Европу. В сущности, она очень похожа на зону обитания зубра в Литве, на Карпатах и на Кавказе. Знатком естественной истории Литвы был француз, знатком древних корней польского народа был немец, и знатком «польского колтуна» был тоже иностранец, «талантливый швейцарский врач, давно поселившийся в Польше». В своем трактате, написанном по-французски, он описывал «едкие, вязкие соки, которые пропитывают трубкообразные волосы», а затем «выделяются или через их стенки, или через окончания и склеивают их в отдельные клоки или в одну сплошную массу». Симптомы включали «зуд, опухоль, сыпь, нарывы, перемежающуюся лихорадку, головную боль, вялость, упадок духа, ревматизм, подагру, а иногда даже судороги, паралич и умопомешательство». Когда болезнетворные соки впитывались волосами, образуя колтун, симптомы исчезали, но если голову обрить, то они возобновлялись, пока волосы не отрастут и не свалятся вновь. «Эту болезнь считают наследственной, и в острой стадии она заразна»²⁹.

Предполагалось, что «польский колтун» был болезнью наследственной и заразной, и именно потому его описывали как местную болезнь и в географическом, и в демографическом смысле, свойственную «соседним» странам и народам, характерную восточноевропейскую патологию. Ее распространение в Польше и Татарии удивить не могло, поскольку поляки «происходили от татарских предков». «Польский колтун», который нельзя было сбрызнуть, легко замечен постороннему наблюдателю, и для людей вроде Кокса, знавших о происхождении поляков, его связь со скифским стилем польских причесок была несомненной. Само тело поляка несло печать болезни и варварства. И впрямь, называя возможные причины «польского колтуна», Кокс прямо связал эту болезнь с отсталостью. Он упомянул, во-первых, «воздух в Польше, нездоровый из-за множества лесов и болот»; во-вторых, воду, — «хотя в Польше и достаточно хороших источников, простой народ обычно пьет что под руку попадется, из реки, из озера, из стоячего пруда»; и, в-третьих, «полное небрежение чистотой среди местных жителей». Среди этих причин первая предопределена географией, а вот вторая и особенно третья сводили все к «безразличию» и «небрежению» самих поляков. Заговорив о чистоте в самом конце польского маршрута, Кокс подвел итог теме «грязи и убожества», привлекавшей его внимание в течение всего пути. Из-за вспышек чумы в Юго-Восточной Европе, в Османской империи многие из этих тем затрагивали и другие путешественники, посетившие регион в XVIII веке. Кокс полагал, что социальные предпосылки «польского колтуна» — те же, что и проказы, также «преобладающей среди невежественных в медицине народов, не способных остановить развитие этой болезни, но редкой в тех странах, где принимают меры, чтобы предотвратить ее распространение»³⁰. Восточная Европа, таким образом, была ареалом распространения «польского колтуна», отмечавшего ее печатью невежества и отсталости.

«Вблизи цивилизованных областей Европы»

Благодаря недавним территориальным разделам, пересечение русско-польской границы было столь же географически обманчивым, как и пересечение польско-австрийской грани-

цы за месяц до того. Восемнадцатого августа «мы переправились через Березину, которую некоторые современные географы ошибочно считают новой границей между Польшей и Россией», а два дня спустя «въехали в Россию в маленькой деревне под названием Толицын, до 1772 года принадлежавшей Польше»³¹. Политические последствия раздела Польши делали границу между двумя странами расплывчатой, так что весь регион выглядел как некое единое пространство, и сходство языков только усиливало это впечатление. Нанятый Коксом переводчик был не поляком и не русским, а выходцем из Богемии, и примечание для читателей поясняло, что «и богемский, и русский языки являются диалектами склавонского». Описывая различия между Польшей и Россией, Кокс отметил, что «наиболее разительное отличие происходит из их манеры стричь волосы: русские, вместо того чтобы обривать свои головы, позволяют волосам свисать над бровями и ушами и стригут их коротко на шее»³². Это подчеркнутое внимание к волосам, и в России, и в Польше, выдает решимость путешественника найти внешние признаки, позволяющие различать чужие народы.

По дороге из Смоленска в Москву эти признаки убеждали Кокса, что он действительно движется на восток. Однажды путешественники остановились в «сносной хижине», где «наша хозяйка была настоящей азиаткой». Это было видно из ее одежды: «на ней было синее одеяние без рукавов, опускавшееся до колен и повязанное вокруг живота красным поясом; она носила кусок белого полотна, повязанный вокруг головы как тюрбан, серьги и ожерелье из пестрых бусин; ее сандалии были закреплены голубыми тесемками, обвязанными вокруг ее колен и поддерживавшими грубые полотняные обмотки, заменявшие чулки». Грубость одеяний выдавала грубость самого народа, и Кокс заключил, что «русские крестьяне в целом кажутся грубой, выносливой расой». Они носят или «грубый шерстяной балахон» ниже колен, или овчины. Подобно хозяйке-«азиатке», они носят «обмотанное вокруг ног полотно вместо чулок», а их обувь сделана из бересты. Сегюр также отмечал характерные для «полудикарей» овчины и топоры за поясом. Для Кокса эти топоры стали не просто частью одежды и элементом общей дикости внешнего облика, а признаком примитивного уровня цивилизации. Он поражался тому, как русские крестьяне строили свои дома — то есть хижины — «с помощью од-

ного лишь топора», поскольку они были «незнакомы с употреблением пилы»³³.

Как и в Польше, Кокс не упустил случая осмотреть эти хижины изнутри, тем более что только в них путешественник и мог найти ночлег. Иногда его будили куры, а однажды «компания свиней подняла меня в четыре утра, хрюкая мне прямо в ухо». В одной комнате с ним спали два его спутника и их слуги, на полу — «трое русских, с длинными бородами и в грубых рогожных штанах и рубахах», на лавке — трое женщин и на печи — «четверо почти голых детей». Позже Кокс даже намекнул на неуместность нахождения в одной комнате «мужчин, женщин и детей, без различия пола и состояния, и часто почти без одежды». Он жаловался также на «удушающую вонь»³⁴.

Встречавшиеся вдоль дороги города описывались с разочарованием, по уже устоявшейся формуле: «Издалека все эти шпили и купола, скрывающие окружавшие их лачуги, заставляют незнакомого с этой страной путешественника ожидать появления большого города; вместо этого он встретит лишь кучку деревянных хижин»³⁵. Это описание явно воспроизводит идею контраста, на этот раз между впечатляющими церковными шпилями и куполами, с одной стороны, и убогими лачугами — с другой. В устах Кокса, однако, этот контраст становится проявлением обмана и иллюзии. В описании 1778 года поражает, насколько точно оно предваряет легенду о «потемкинских деревнях», связанную с поездкой Екатерины II в Крым в 1787 году. Кокс применяет формулу обманчивой роскоши и обманутых ожиданий даже к самой Москве:

Москва возвестила о своем приближении за шесть миль появлением каких-то шпилей, возвышавшихся в самом конце широкой лесной просеки; две или три мили спустя мы въехали на холм, с которого нам открылась великолепная панорама огромного города. Он простирался в форме громадного полумесяца; неисчислимые церкви, башни, позолоченные шпили и купола, белые, красные и зеленые здания, блестя на солнце, представляли великолепное зрелище, странным образом оттенявшееся вкраплениями деревянных лачуг³⁶.

Несмотря на обширность этого города, стоило путешественнику отвести свой пораженный взор от блистающих позолоченных шпилей, как он замечал лачуги и понимал, что даже сама Москва была чем-то вроде «потемкинской деревни», го-

родом обманчивых впечатлений. Кокс был «совершенно поражен огромностью и разнообразием Москвы», поскольку «в первый раз моему вниманию представал город столь беспорядочный, столь необычный, столь исключительный и столь противоречивый». Иногда ее контрасты делали Москву вовсе не похожей на город, «поскольку местами это огромное поселение похоже на заброшенный пустырь, местами — на многолюдный город; местами на презренную деревню, местами — на величественную столицу»³⁷. В этом и выражалась власть путешественника над объектом его наблюдений: по его усмотрению, Москва в глазах Кокса могла превратиться в «презренную деревню».

Для Кокса эти московские контрасты были лишь частью глубинных противоречий, характерных для Восточной Европы. «Москву можно счесть городом, построенным по азиатскому образцу, но постепенно она становится все более и более европейской, демонстрируя беспорядочное смешение разнородных архитектурных стилей»³⁸. Открытие Восточной Европы можно представить как отвоевание, в процессе которого все больше и больше внимания приковывалось к краям, становящимся более и более европейскими. «Разнородность» и «беспорядочность» как эстетические понятия удачно дополняли общую терминологию «контрастов» и «противоречий»: чтобы передвигаться по городу, Кокс и его спутники наняли карету, запряженную «шестью лошадьми разной масти». Кучер выделялся своей «длинной бородой и овчинным балахоном», а фореиторы носили «грубые шерстяные одежды». У них с собой всегда было сено, и стоило карете остановиться, как они принимались кормить лошадей, смешиваясь с «кучками кучеров и фореиторов, которые, подобно своим скотам, также удовлетворяли позывы голода заранее запасенной пищей, столь же мало при этом церемонясь». Пока кучера ели рядом с лошадьми, Кокс посещал дворцы, построенные «в стиле истинно азиатского величия», и самое главное, построенные одним топором: «большая часть леса, использованного при сооружении этих обширных зданий, была обработана топором. Хотя я часто наблюдал плотников за работой, я ни разу не видел у них в руках пилы»³⁹. Куда бы Кокс ни обратился, он всюду видел характерные восточноевропейские черты: Азия проглядывала в стиле дворцов, и строительные методы напоминали об иных,

первобытных временах. Кучер с бородой и в овчине и плотник с его топором соответствовали описанному Сегюром русско-скифскому прототипу.

В Москве Коксу не пришлось даже воображать легендарных скифов, поскольку там встречались реальные и вполне современные жители отдаленных провинций Российской империи, выходцы с самой границы европейского континента, с Урала и Кавказа. Ужиная с графом Алексеем Орловым, екатерининским адмиралом, Кокс обратил внимание на толпу клиентов, окружавших Орлова:

В этой свите был армянин, недавно прибывший с гор Кавказа и, по обычаю своей страны, поселившийся в разбитой в саду войлочной палатке. Его одежда состояла из длинного, свободного балахона, повязанного кушаком, широких штанов и сапог. Его волосы, на татарский манер, были подстрижены в кружок, а его вооружение состояло из кинжала и лука, сделанного из бычьих рогов, связанных жилами того же животного. Он был необычайно привязан к своему господину; будучи представлен ему, он добровольно присягнул на верность и с истинно восточным преувеличением поклялся сражаться со всеми врагами графа, предложив, в доказательство искренности, отсечь собственные уши; он также пожелал, чтобы все болезни, угрожающие в будущем его господину, пали на него самого... он сплясал калмыцкий танец, во время которого он напрягал каждую мышцу и корчился как в конвульсиях, не двигаясь при этом с места. Он пригласил нас в сад, где с огромным удовольствием показал нам палатку и свое оружие, и выпустил несколько стрел, поднявшихся на удивительную высоту. Мы были поражены, насколько характер этого армянина сохранил свою природную естественность; он казался дикарем, только вступившим на путь цивилизованности⁴⁰.

Это была картина Восточной Европы в ее географической и антропологической крайности, доступная тем не менее путешественникам в саду московского дворца. Похоже, что искусственность этой ситуации не могла подорвать интерес Кокса к «природной естественности» армянина. Его образ был отчасти схож с образами американских индейцев — палатка, лук из бычьих рогов и жил, — но калмыцкий танец и татарская прическа несомненно помещали армянина в восточноевропейский контекст. Стрижка в кружок, как мы помним, объединяла в глазах Кокса Польшу и Татарию. Если армянину он приписывал «восточное преувеличение», то сам он говорил на языке западной снисходительности, сводя концепцию Восточной

Европы к образу «дикаря, только вступившего на путь цивилизованности».

Открывая Восточную Европу, путешественник мог наблюдать, как «цивилизованность» распространялась в этом краю. Его взору открывались не только отдельные дикари, но и картины общества и природы в целом. В сентябре Кокс выехал из Москвы в Санкт-Петербург, направляясь на северо-запад. Он проезжал мимо пастухов, «платьем и манерами напоминавших кочующие орды татар». Он посещал дома, где обитатели простирались на полу перед иконами «святых, грубо намалеванными на дереве, которые часто более похожи на калмыцкого идола, чем на человеческое лицо». Иногда обитатели простирались на полу даже перед Коксом и его спутниками, которых зачастую «поражало это восточное выражение подчинения»⁴¹. Эти калмыцкие и татарские образы, встречающиеся по дороге в Санкт-Петербург и напоминающие увиденного в Москве армянина, словно издевались над попытками путешественников дать четкое географическое определение своим впечатлениям. Подобно образам скифов и сарматов, отрицавшим все законы времени и истории, татарские и калмыцкие мотивы также отрицали все законы географии, создавая бесформенное антропологическое пространство, населенное едва отличимыми друг от друга примитивными народами.

Местность, через которую проезжали путешественники, «была почти непрерывным болотом», и дорога часто пропадала, в результате чего «при движении карета постоянно сотрясалась». Россия не прошла простейшую проверку на цивилизованность, проверку колесом: «Плохие дороги расшатали наше новое колесо, которое было собрано кое-как и уже подвержено преждевременному гниению; мы остановились, чтобы починить его, но ремонт был столь же ненадежен, поскольку вскоре оно опять сломалось». Подобные «механические» проблемы делали дорогу из Москвы в Санкт-Петербург наглядной иллюстрацией развития, продвижения от варварства к цивилизованности, демонстрируя, что ожидает русских крестьян с их топорами и армянина с его луком.

Отсталость русских крестьян в области механических наук по сравнению с другими европейскими народами видна даже поверхностному наблюдателю. По мере приближения к Петербургу, вблизи цивилизованных областей Европы, деревни содержали все больше

и больше удобств, и жители были лучше знакомы с необходимыми искусствами. ...Доски были реже расщеплены топором, и нам чаще попадались ямы для пилки досок, — мы уже было сочли их редкостью; жилища были более просторными и удобными, в них имелись большие окна и, как правило, дымоходы; там также было больше мебели. ...Тем не менее они крайне незначительно продвинулись на пути к цивилизованности, и мы наблюдали множество проявлений глубочайшего варварства⁴².

Присутствие мебели и использование пилы были важными признаками, поскольку они делали уровень цивилизованности видимым для путешественников, даже для «поверхностных наблюдателей». Сегюр обнаружил в Санкт-Петербурге, что «внешние формы европейской цивилизованности» скрывали незаметное поверхностному наблюдателю наследие прошлого, но Кокс, еще по дороге в Санкт-Петербург, различил «глубочайшее варварство» даже во внешних формах. В действительности его наблюдения подразумевали шкалу относительной цивилизованности, схему развития от глубочайшего варварства к обычной отсталости, постепенно приближаясь к цивилизованности как таковой. Продвижение России по пути к цивилизованности совпадало с его собственным продвижением по дороге на Санкт-Петербург, на северо-запад. Степень цивилизованности в России измерялась относительно «других европейских народов», проживающих в «более цивилизованных областях Европы». Таким образом, в сознании эпохи Просвещения складывалась карта распространения цивилизованности в Европе.

Новгород пробудил было ожидания путешественников, поскольку «на некотором удалении этот город представлял собой великолепное зрелище». Он оказался, однако, еще одной потемкинской деревней, где «наши ожидания были обмануты», и Кокс отозвался о городе точно так же, как о Кракове и Варшаве: «Ни одно другое место не вызывало во мне столько грустных размышлений о падшем величии». В Новгороде Коксу пришлось оставить свою карету, «разбитую плохими дорогами», и продолжить свой путь в Санкт-Петербург в чрезвычайно неудобной русской повозке (кибитке). «Местность, по которой мы проезжали, не могла облегчить наши страдания», писал он, «отвлечь наше внимание от нас самих и обратить его на окружающие нас виды». Путешественники продвигались вдоль «мрачной дороги» через «печальный в своем однообразии» лес.

Затем, «внезапно», Кокс увидел возделанную землю, «оживленный домами пейзаж», дорога улучшилась и стала сравнимой с «лучшими английскими шоссе», и в конце просеки открылась «панорама Петербурга, предмет наших стремлений, где наши испытания подходили к концу»⁴³. Цивилизованность, пункт конечного назначения, наконец показался в виду.

В своих размышлениях о Санкт-Петербурге Кокс сразу же обратился к теме его недавнего основания: «Прогуливаясь по этой столице, я был охвачен удивлением при мысли, что недавно, в начале этого века, место, на котором теперь стоит Петербург, было занято болотом и несколькими рыбацкими хижинами». Перенос Петром двора из старой столицы в Москве в новую столицу в Санкт-Петербурге повторял в глазах Кокса проделанное им самим путешествие. Царь стремился к «внутренним улучшениям» в России, «приблизив столицу к более цивилизованным областям Европы», чтобы «содействовать собственному намерению цивилизовать своих подданных»⁴⁴. Наблюдения путешественников, таким образом, подвели итог успехам на поприще цивилизации не только отдельных «дикарей», но России в целом. Опасность, описанная в географических координатах, состояла в том, что «если двор вернется в Москву и ослабит связи с европейскими державами прежде, чем во нравах этого народа произойдут существенные изменения, то Россия быстро вернется к своему первоначальному варварству». Раз уподобившись географическому направлению, цивилизованность становится для Кокса обратимым процессом. Даже Петербург, недавно построенный в «трясине», в «низком и болотистом месте», и «подверженный наводнениям», вплоть до «полного затопления», оказывается уязвимым с точки зрения географии⁴⁵.

Пока же петербургские особняки были, согласно Коксу, обставлены «столь же элегантно, как парижские или лондонские». Он встречал дам, носивших «высокие прически по парижской и лондонской моде зимы 1778 года». Для Кокса внешние проявления цивилизованности, так же как отсталости и варварства, вновь свелись к стилю причесок, и Санкт-Петербургу предстояло выдержать сравнение с двумя европейскими столицами. Однако при дворе Коксу удалось обнаружить «следы азиатской помпезности, смешанные с европейской утонченностью»⁴⁶. В конце концов, он находился в Восточной Европе.

Это становилось очевидным, как только он переводил свой взор с аристократии и придворных на «простой народ за работой». Он был поражен тем, что на них «мороз как будто не действовал», даже если их бороды были «покрыты комками льда». Их овчинные одежды казались хорошо приспособленными к холоду, а голые шеи «надежно защищены бородами». Кокс был поражен, увидев женщин, которые стирали одежду в Неве и делали проруби с помощью топоров. Овчины, бороды и топоры складывались в знакомую картину. Кокс наблюдал за кучерами и слугами, ждавшими на морозе своих господ и раскладывавшими костры, чтобы не замерзнуть насмерть. Эта сцена была описана как произведение искусства: «Я с удовольствием представлял себе живописные группы русских в их азиатских одеждах, с длинными бородами, собравшихся вокруг огня»⁴⁷.

Как Кокс обнаружил на придворных маскарадах, живописность достигалась благодаря костюмам. На этих маскарадах «туземцы низкого происхождения появлялись в костюмах их провинций», таким образом «демонстрируя некоторые костюмы, которые действительно носят различные обитатели Российской империи». Он наблюдал «такое разнообразие причудливых фигур, какое в других странах самое буйное воображение едва ли может изобрести и для маскарада». В Москве, расположенной между Европой и Азией, ощущение «разнообразия» создавалось благодаря «разнородной архитектуре». В Санкт-Петербурге «разнообразие» достигалось благодаря костюмам: Восточная Европа была для Кокса изобретена «самым буйным воображением... для маскарада» в других странах — например, в Англии и во Франции. Восточная Европа могла быть фантастической или смешной, но главное, она была «изобретена», и честь этого изобретения принадлежала Европе Западной. Ее живописность не ограничивалась архитектурой и платьем, а относилась и к населявшим ее народам. Здесь также преобладала «разнородность»: «Путешественник, посещающий дома русских дворян, бывает поражен разнообразием лиц и телосложений среди их слуг и домочадцев; русские, финны, лапландцы, грузины, черкасы, поляки, татары и калмыки»⁴⁸. Восточная Европа проявлялась не только в этнографически значимых деталях костюмов и причесок, но и в расовых признаках, в чертах лица и цвете кожи. Даже в Санкт-Петербурге, со-

седствующем с «более цивилизованными областями Европы», путешественнику было достаточно лишь перевести свой взгляд со светских дам на их слуг, чтобы понять, что Восточная Европа была разнородным смешением примитивных народов.

«МЕСТА, ВО ВСЕ У НАС НЕИЗВЕСТНЫЕ»

16 января 1717 года леди Мэри Уортли Монтэгю, готовясь покинуть Вену и отправиться в Константинополь, куда ее мужа назначили английским послом, с волнением писала своей сестре: «Теперь, дорогая сестра, я расстанусь с вами — надолго и с Веной — навсегда. Я намереваюсь завтра начать путешествие через Венгрию, несмотря на крайний холод и глубокий снег, которые бы остановили и куда более отважного человека». Леди Мэри была не в ладах с орфографией, но эмоциональность этого эпистолярного прощания подчеркивала значимость границы, которую ей предстояло пересечь, неизбежность «расставания» в краю, где нельзя положиться даже на почту. Отъезд леди Мэри из Вены в Венгрию в начале XVIII века сопровождался зловеще-драматическими предчувствиями, напоминая отъезд Сегюра из Берлина в Польшу в конце того же столетия. Она тоже отклонилась от наиболее удобного маршрута, из Англии в Константинополь по морю, и расставалась с Веной «навсегда», поскольку, несмотря даже на приглашение императорской четы Габсбургов, не собиралась возвращаться по суше: «Их императорские величества пригласили меня посетить Вену на обратном пути, но я не собираюсь вновь так себя утомлять». На самом деле она могла только предвкушать это утомление, поскольку само путешествие еще не началось. Отправляясь на восток, и из Вены, и из Берлина, путешественники в XVIII веке испытывали волнение. «Прощай, дражайшая сестра, — писала леди Мэри, — я дам о себе знать, если переживу это путешествие». Ее особенно беспокоило «утомление, ожидающее моего несчастного ребенка», поскольку она путешествовала со своим сыном, еще не достигшим четырехлетнего возраста⁴⁹.

Опасения леди Мэри нельзя объяснить ни удаленностью от Англии, ни особенной хрупкостью английских аристократок, поскольку ее страхи разделяли и сами венцы, у которых вос-

приятие Восточной Европы как некоей бездны обострялось географической близостью Венгрии. «Дамы, с которыми я здесь познакомилась, так хорошо ко мне относятся, что, встречая меня, всякий раз плачут, поскольку я твердо решила предпринять это путешествие», — писала она. «Всякий, кого я встречаю, пугает меня все новыми трудностями». Даже принц Евгений Савойский, одержавший свои победы как раз в тех местах, через которые пролегал ее маршрут, предупреждал леди Мэри о «пустынных равнинах, покрытых снегом, где холода столь жестоки, что многие замерзают насмерть». Она понимала, что говорит со знатоком тех краев: «Признаюсь, эти ужасы произвели на меня очень глубокое впечатление, поскольку я верю, что он говорит мне всю правду, как она есть, и никто не осведомлен лучше его». Именно победы принца Евгения на протяжении двух последних десятилетий XVII века позволили Габсбургам освободить Венгрию из-под власти Османской империи. В 1717 году он вновь замыслил кампанию против турок, которой суждено было завершиться его самым громким триумфом — взятием Белграда. Леди Мэри притворялась, что была напугана его предупреждениями, но в ее письме из Вены Александру Попу «ужасы» Восточной Европы почти обращаются в шутку:

Я полагаю, мне стоит проститься с моими друзьями с не меньшей торжественностью, как если бы я собиралась на штурм крепости, — по крайней мере, если верить здешним жителям, предупреждающим меня о всевозможных ужасах... Мне прочат, что я замерзну, утону в снегах, попаду в плен к татарам, опустошающим ту часть Венгрии, через которую пролегает мой путь. Правда, у нас будет значительный конвой, так что, возможно, я буду развлечена новым зрелищем, оказавшись на поле битвы. Лишь провидение знает, как закончатся мои приключения; если комически, то вы о них еще услышите⁵⁰.

Леди Мэри воображала, что обязательно увидит татар по дороге в Константинополь, а Кокс впоследствии обнаружил их по пути в Санкт-Петербург; это показывает, насколько устойчивым был образ Восточной Европы в представлении путешественников. В XVIII веке «Татарией» называли обширную и географически не очень четко представимую территорию, простиравшуюся от Крыма до Сибири. Некоторые европейцы действительно посещали эти края, но само слово «татары»

придавало привкус варварства областям, гораздо более обширным и аморфным, чем собственно «Татария». «Татары» встречались каждому, кто проезжал через Восточную Европу.

Для леди Мэри посещение Восточной Европы было подобно поездке на войну, штурму крепости, и территория, через которую она проезжала, была действительно зоной военных действий. Тем не менее она относилась к военным опасностям достаточно несерьезно, надеясь, что ее «развлечет новое зрелище» и ожидая «приключений», чей предполагаемый итог был довольно неопределенным, колеблясь между комическим и трагическим. В XVIII веке подобное отношение к Восточной Европе, краю приключений, лежащему за пределами традиционного «Большого Путешествия», стало типичным со стороны путешественников. Когда леди Мэри писала Попу 16 января 1717 года, она уже предвидела комический исход своего путешествия; когда ее «Письма из посольства в Турцию» были опубликованы в 1763 году, год спустя после смерти автора, драматический накал ее эпистолярного наследия воспринимался уже просто как литературный прием. 30 января леди Мэри писала своей сестре из Петербурга (где принц Евгений год назад одержал победу): «В конце концов, дражайшая сестра, я благополучно прибыла в Петербург, лишь слегка пострадав от суровости этого времени года (от которой нас надежно защитили меха), и, послав вперед слуг, нашла ночлег столь сносный, что я едва не смеюсь, вспоминая все ужасы, которые мне прочили в этих краях»⁵¹. Западноевропейское чувство юмора продолжало свое триумфальное шествие, вслед за армиями принца Евгения. Эта шутка была разыграна и пересказана столетие спустя, в 1839 году, когда Джон Паджет издал свои путевые заметки о Венгрии, точно так же намекая на комизм ситуации: «Читатель, конечно, рассмеялся бы вслед за мной, поведай я ему хотя половину тех глупых басен, которые почтенные венцы рассказывали мне о стране, в которую мы отправлялись. Никаких дорог! Никаких постоянных дворов! Никакой полиции!» Паджет как следует вооружился перед поездкой, но «не смог подстрелить ничего более опасного, чем кролик или куропатка»⁵².

За этими шутками стояло ощущение собственного превосходства и всезнания, делавшее Венгрию неопасной. От шутили-

вого тона леди Мэри немедленно перешла к тону педагогически-наставительному, описывая в письмах к сестре каждый свой день в «стране совершенно Вам неизвестной, о которой даже сами венгры могут сообщить очень мало». Этой крайне характерной уверенностью в собственной способности понять Восточную Европу лучше, чем даже те, кто ее населяют, в XVIII веке пропитан весь корпус западноевропейских познаний об этом регионе. Леди Мэри описывала свое путешествие через «лучшие равнины в мире, такие гладкие, как будто вымощенные, и чрезвычайно плодородные, но большей частью безлюдные и невозделанные, опустошенные долгой войной между султаном и императором», а также недавними габсбургскими гонениями на протестантов. В представлении леди Мэри, Венгрия была опустошена и Габсбургами, и турками: английский протестантизм путешественницы не позволял ей безоговорочно поддерживать католическую реконкисту, и потому Венгрия оказывалась в ее воображении страной, зажатой между Европой и Востоком. Ее собственная эмоциональная реакция в точности повторяла ощущения Кокса в Варшаве и Сегюра в Санкт-Петербурге: «Нет ничего более печального, чем путешествовать по Венгрии, размышляя о былом процветании этого королевства и видя столь благородный край почти ненаселенным»⁵³. Она пришла не только к соответствующему эмоциональному тону, но и к типичному для XVIII века взгляду на экономику Восточной Европы, края плодородного, но невозделанного и незаселенного.

Венгерские города, по мнению леди Мэри, были «довольно обветшалыми», а местность вокруг «чрезвычайно заросла лесом, и столь редко посещается, что мы видели невероятное количество дичи». Подобное запустение обещало «великое изобилие» провизии, включая диких кабанов и оленину. Что же касается до малочисленных венгров, то «их одяние очень примитивно и состоит только из овчины, которую вместо выделки лишь высушили на солнце, шапки и сапог из того же материала». Овчина была той униформой, по которой путешественники узнавали восточноевропейских крестьян, и для сравнения леди Мэри наблюдала знатную венгерскую даму «в наряде из алого бархата, подбитой и покрытой соболями»⁵⁴.

Леди Мэри осмотрела поле битвы при Мохаче, где в 1527 году Сулейман Великолепный одержал победу, превратившую

большую часть Венгрии в турецкую провинцию. Вслед за тем она проехала через «карловицкие поля, где принц Евгений одержал свою последнюю великую победу над турками». Она лицезрела «следы того славного кровавого дня», включая «черепа и скелеты незахороненных людей, лошадей и верблюдов», и «не могла без ужаса видеть такое количество изуродованных людских тел» и не осознавать при этом «несправедливость войн»⁵⁵. В Венгрии сознание любого путешественника оказывалось соучастником недавней реконкисты, даже если, как в случае с леди Мэри, ужасы войны перевешивали радость победы. Для того чтобы Восточная Европа была открыта и узнава, турецкая граница в представлении современников должна была откатиться на восток. Английский врач Эдвард Браун проезжал через Венгрию в 1669 году, за полвека до леди Мэри, и в своем «Кратком описании путешествий по Венгрии, Сербии, Болгарии (и так далее)», изданном в Лондоне в 1763 году, он называет Венгрию местом «самого глубокого проникновения» турок «в западные области Европы». Если Западная Европа в этом случае упоминалась прямо, то Восточная Европа оставалась чем-то неопределенным и скорее подразумевалась, чем называлась. Браун уверен, что, попадая в Венгрию, «человек покидает наш мир ... и пока не попадет в Буду, он как будто вступает в другую часть мира, очень непохожую на западные страны»⁵⁶. К концу XVII века Венгрия оказалась пропускным пунктом в Восточную Европу, где черепа и скелеты с предельной наглядностью подчеркивали мотив завоевания и искупления. XVIII век внесет в эту тему важное изменение, сконцентрировав внимание на различиях не между исламом и христианством, а между отсталостью и просвещенной цивилизованностью.

Леди Мэри посетила Белград всего за шесть месяцев до того, как этот город занял принц Евгений, одержав свою самую знаменитую, хотя и недолговечную, победу (двадцать лет спустя крепость вновь оказалась в руках турок). Триумф 1717 года и поражение 1739 года помогли приучить европейцев к мысли о том, что Белград — и Сербия в целом — вовсе не обязательно является частью Османской империи, а, подобно Венгрии, находятся в пограничной зоне, на окраине Европы. В 1717 году Белград, вне всякого сомнения, оставался для леди Мэри Востоком, и ее самым интересным тамошним приключением, о

котором она с энтузиазмом писала Попу, была встреча с Ахмет-беем, который «объяснил... многие пассажи из арабской поэзии». Она восхищалась описаниями любви в этих стихотворениях: «Они так мне понравились, что стоило бы, пожалуй, выучить арабский, задержись я здесь на несколько месяцев»⁵⁷. В 1717 году Белград казался леди Мэри самым подходящим и естественным местом для занятий арабским языком. Хотя в пути ей и встречались сербы, в ее сознании они были не особенно связаны с Белградом или даже Сербией как таковой. Она называла их «раскийцами», по имени родового клана Раска, предшествовавшего средневековому сербскому государству. Это внешне невинное обращение к прошлому выполняло ту же роль, что и ссылки на скифов и сарматов в других восточноевропейских странах. И, конечно же, когда леди Мэри впервые повстречала «раскийцев» в Будапеште, они жили «в маленьких домиках или, скорее, хижинах», напоминавших «соломенные шалаши странной конструкции» и состоявших из «одной каморки под землей и другой на поверхности». Ее представление о Сербии было довольно своеобразным — «пустынные леса *Сервии* служат прибежищем разбойников», но «раскийцы» для нее не ассоциировались ни с этим краем, ни с населявшими его разбойниками. Попу она сообщила, что раскийцы были «расой существ, очень многочисленных по всей Венгрии», — они выглядели как «бродячие цыгане», принадлежали к греческой церкви и жили в «крайнем невежестве»⁵⁸.

Как остановка в Белграде и изучение там арабской поэзии не были связаны в сознании леди Мэри с сербами, так и остановка в Софии не была связана для нее с болгарам. Ее самым большим приключением там было посещение турецких бань, где ее с «подкупающей вежливостью» принимали дамы, «попросту говоря, совершенно голые». Она отклонила их предложение раздеться, но рекомендовала эту ситуацию — «такое множество изящных обнаженных дам в различных позах» — как тему для английских живописцев. В XIX веке, готовясь к работе над своей «Турецкой баней», французский художник Жан Ингрес переписал в блокнот этот пассаж из французского перевода «Писем из посольства в Турцию». Что же касается до болгарских крестьян, то они были описаны куда менее привлекательно: «Их дома — это всего-навсего маленькие хижины из запекшейся на солнце глины». Если женщины в софийских

банях вызывали восхищение своей «белоснежной кожей», то болгарские крестьянки носили «огромное количество разноцветных стеклянных бусин» и были «хотя и не уродливы, но коренастого телосложения»⁵⁹. В Болгарии леди Мэри, точно так же как Кокс в Санкт-Петербурге, уделяла особое внимание расовым особенностям местных жителей. Как оказалось, в ее глазах смуглой кожей отличались не экзотичные турки, а именно народы, населявшие Восточную Европу.

Первого апреля леди Мэри объявила друзьям о своем прибытии в Адрианополь, современную Эдирну, «проехав через все турецкие владения в Европе», и обнаружила, что «все, что я здесь вижу, ново для меня, каждый день подобен новому эпизоду некоей оперы». Она требовала сообщить ей, «что происходит на вашей стороне земного шара». Одному из своих корреспондентов она писала: «Я теперь попала в другой мир, где все, что я вижу, выглядит как полная смена декораций». Принцессе Уэльской она хвасталась: «Мадам, сейчас я завершила путешествие, не предпринимавшееся ни одним христианином со времен греческих императоров, и я не стану сожалеть о всех перенесенных мною тяготах, если они доставляют мне возможность развлечь Ваше Королевское Высочество повествованием о местах, вовсе у нас неизвестных»⁶⁰. Адрианополь, временная резиденция султана, в 150 милях к западу от Константинополя, казался ей частью Востока. Однако сам маршрут ее путешествия пролегал через неизвестные края, похожие на изменчивые декорации, перенося ее в другой мир, мир Восточной Европы.

В Константинополе леди Мэри смогла наконец примерить турецкий костюм и посетить базары и мечети, особенно восхищаясь красотой турецких дам и объявив, что она «довольно далеко продвинулась в изучении Востока»⁶¹. Она могла, как оказалось, оценить прелести Востока, еще не доехав до Константинополя, в Белграде, Софии и Адрианополе; Восточная же Европа попадала в ее поле зрения лишь случайно, в виде глинобитных хижин и женщин приземистого сложения. На протяжении XVIII столетия культурные акценты смещались, и именно народы Восточной Европы (а также идея изгнания турок с континента) окажутся в конце концов в центре внимания. В конце века XIX маршрут, по которому путешество-

вала леди Мэри, станет маршрутом Восточного экспресса, не *проходящим через* восточные страны, а *ведущим на* Восток. Там, где леди Мэри наслаждалась восточным гостеприимством ту-рок, Агата Кристи проследует на Восток и обратно, не покидая привычного комфорта своего французского вагона. К тому времени Восточная Европа будет обнаружена, исследована, востребована и даже освобождена, но путешественники по-прежнему предпочтут наблюдать ее из окна.

«СТЕПЕНЬ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ»

В XVIII веке путешественники открывали Восточную Европу именно по дороге в Константинополь и Санкт-Петербург. В 1770-х годах Жан-Луи Карра, еще не революционер, а лишь один из многочисленных вояжеров, сформулировал соотношение между Константинополем и Санкт-Петербургом, двумя противоположными и изолированными «оконечностями» неисследованных «окраин» европейского континента: «Посетив эти две оконечности Европы, я обнаружил, что Франция поддерживает хоть какие-то политические и коммерческие отношения лишь с двумя городами на окраинах континента, Константинополем и Петербургом». Столица Востока и столица Севера были основными пунктами назначения, но путешественники неизбежно обозревали попадавшиеся вдоль дороги страны и народы. Не упустила их из виду в 1717 году и леди Мэри, ни на минуту не усомнившаяся в интересе своих корреспондентов к «местам, вовсе у нас неизвестным». Пожалуй, наиболее полно представления европейцев XVIII века отразились в сочинении под названием «Поездка в Константинополь», написанном Шарлем-Мари, маркизом де Салаберри, который совершил свое путешествие зимой 1790/91 года и напечатал отчет о нем в Париже в 1799 году. Салаберри был младшим современником Сегюра и в 1790 году, в возрасте двадцати четырех лет, отправился из революционного Парижа на восток, в изгнание. Его отец остался во Франции и погиб на гильотине во время якобинского террора, а сам Шарль-Мари позднее вернулся на родину и сражался под знаменем контрреволюции в Вандее. Публикация «Поездки в Константинополь» в 1799 году многозначительно совпала с направленным против Отто-

манской империи египетским походом Наполеона, еще раз демонстрируя связь между путешествиями и завоеванием. Салаберри, впрочем, не был бонапартистом и оставался частным лицом вплоть до самой реставрации Бурбонов, когда он стал членом палаты депутатов, «ультра среди ультра», требуя смертной казни даже за хранение революционного триколора⁶². В 1784 году Сегюр пересек Восточную Европу в качестве посланца Старого Режима, самоуверенного в своем снисходительном отношении к отсталым странам и народам. Салаберри в 1790 году был эмигрантом; он оставил Старый Режим в руинах и с горечью цеплялся за ощущение превосходства собственной цивилизации.

Первое, что увидел Салаберри в Венгрии, была коронация австрийского императора Леопольда II в Прешбурге*, показавшаяся ему *magnifique*. Венгерских дворян на их скакунах он в порыве фантазии назвал «сказочными кентаврами». Особенно заинтересовала его граница между Венгрией и Австрией, которую он, в духе новейших теорий своего времени, описал как разделяющую два национальных характера: «Насколько по своему географическому положению венгры близки к австрийцам, настолько они далеки от них по своему характеру». Это различие сразу бросалось в глаза путешественнику, стоило ему «отправиться из Австрии на восток» (*du côté de l'orient*). «Ребяческий» характер венгров проявлялся в их «любви к вольности», а сейм и конституция оказались «опасными игрушками (*joujoux*) в руках рассерженных детей». Венгров можно было отличить по их ребячеству в вопросах политики и их «крайнему пристрастию к своей стране, которую они считают первой страной в мире». Салаберри предполагал, что по этим приметам его читатели всегда смогут узнать жителей Венгрии: «Если вы услышите мужчин или женщин, стариков или юношей, ведущих подобные разговоры, это, конечно, будут венгры»⁶³.

Салаберри был наслышан о сопротивлении, которое венгры оказывали династии Габсбургов. С его точки зрения монархиста, приверженность венгров своей конституции была прояв-

* Прешбург (Пожонь по-венгерски, современная Братислава) был в этот период столицей Венгерского королевства, связанного с другими владениями дома Габсбургов личной унией; отсюда необходимость вновь вступающему на престол императору короноваться отдельно в качестве короля Венгрии. — *Примеч. пер.*

лением инфантилизма, незрелости и замедленного развития. С другой стороны, дорога на Буду пролегла через деревни, где дома напоминали «хижины дикарей», и через поля «сколь плодородные, столь и невозделанные»⁶⁴. Вне всякого сомнения, речь шла о Восточной Европе.

Буда, которую сами венгры считали «лучшим городом во всем мире», напомнила Салаберри замок Тундер-тен-Тронк у Вольтера, которым Кандид так восхищался, поскольку не видел ни одного другого. Упомянув философскую сказку, автор подготовил читателей к тому, что в Восточной Европе ничто не следует принимать всерьез. Хотя целое столетие минуло со времен освобождения Будапешта, он все еще надеялся именно там впервые встретиться с Востоком; к своему разочарованию, Салаберри нашел лишь «мечети, превращенные в церкви». Он также осмотрел «кабинет естественной истории», содержащий двуголового зайца⁶⁵. Другие путешественники, посетившие Буду и Пешт в 1790-х годах, более подробно описали его достопримечательности, особенно бои с участием различных животных, запомнившиеся немецкому знатоку естественной истории Иоахиму фон Хоффманнсегу и английскому геологу Роберту Таунсону. Хоффманнсег наблюдал на арене медведей, волков, кабанов и даже тигра; Таунсон тоже иронически отметил это «гуманное и благопристойное развлечение». Если Салаберри лишь упомянул свое посещение термальных бань в Буде, то Таунсон уделил особое внимание их аморальности и комичности: «Я наблюдал юношей и дев, стариков и детей, одних в костюме Адама, других — прикрытых лишь фиговым листком, плескавшихся вокруг, как рыба на нересте»⁶⁶.

В 1790 году подходила к концу очередная война между Габсбургами и турками, и Салаберри, как и леди Мэри за семьдесят пять лет до него, лицезрел «театр» недавней войны и «опустошенность плодороднейших земель». При ясном свете луны (*un superb clair de lune*) он обозревал следы битв и линии укреплений. Многие деревни представляли собой «картину запустения» и были населены лишь горсткой несчастных (*misérables*), напоминавших «призраки, скитающиеся среди могильных камней»⁶⁷.

Салаберри уделял большое внимание «человеческому пейзажу» и потому, путешествуя через Венгрию и Валахию, по

дороге в Бухарест, он изучал «характер» местных жителей. Если в Венгрии национальный характер открылся ему в беседах на политические темы с тамошними дворянами, то в Валахии его первая встреча с местным населением произошла при совсем иных обстоятельствах. Дороги были крайне плохи, и потому крестьяне и их лошади были мобилизованы, чтобы тащить по грязи его карету, что «позволило мне наблюдать характер этих добродушных валахов». Он был поражен «ужасными криками», которыми они подгоняли друг друга, и признался, что «всегда недолюбливал эти понукания, которые уподобляют человека животным». Салаберри испытывал сострадание к «этим бедным валахам». Он отметил разительный контраст между их «робостью» и внешним видом: «эти дикие фигуры, эти топоры за поясом, эти грязные овчины, наброшенные на левое плечо и застегнутые на груди, так что они напоминают римские одежды!»⁶⁸ И в Румынии, и в России путешественники по Восточной Европе обращали внимание на топоры и овчины; Таунсон и Хоффманнсег обнаружили их и в Венгрии. Если Таунсон полагал, что традиционный крестьянский костюм состоял из «наброшенной на плечи просторной овчинной шубы», то Хоффманнсег лишь ограничился упоминанием «овчинной безрукавки»⁶⁹.

Салаберри знал, что Валахия и Молдавия были некогда частью римской провинции Дакии и что местные жители говорили на романском языке, «хотя и искаженном». Описывая историю этой провинции, он особенно подчеркивал вторжения славянских «полчищ», а за ними подобных «вихрю» татар; грязные овчины и искаженный язык местных жителей ничем не напоминали ему о римской цивилизации. Правление господарей, назначаемых турками из числа греков-фанариотов, свелось в его сочинении к перечислению «греков, валахов или молдаван, удушенных или обезглавленных в этом столетии в связи с делами этих двух княжеств». Интриги и вымогательство господарей превратили их земли в «пустыню»⁷⁰.

Однажды в Валахии Салаберри заночевал в хижине, расположенной посреди леса, и обнаружил там «женщину в лохмотьях», укрытую «старым одеялом, время от времени колыхавшимся», как будто под ним были «котят». Пока Салаберри ел, эта женщина бросала на него голодные взоры, и в конце концов он дал ей крыло цыпленка. Женщина немедленно достала

из-под одеяла «маленького ребенка, совершенно голого» и скормила ему курятину. Салаберри показалось примечательным, что здесь, в Валахии, подобная женщина не только оказалась матерью, но проявила самоотречение и накормила ребенка, прежде чем есть самой. Он вспомнил вычитанную им где-то забавную историю об африканском готтентоте, которому как-то предложили виски; прежде чем пить самому, готтентот заставил попробовать напиток всех членов своей семьи⁷¹. Для большинства путешественников Восточная Европа располагалась между Европой и Азией, но если чувство удаленности от дома оказывалось достаточно сильным, то в воображении всех, кроме самых пунктуальных географов, вполне уместными оказывались и африканские ассоциации.

В Бухаресте Салаберри встретил местного дворянина, румынского боярина, «оригинала, которого ... решил запомнить», поскольку его история наглядно демонстрировала принадлежность Румынии к Восточной Европе и отношение, в котором она находилась к Европе Западной.

Он был в Спа, в компании с русским офицером, что довольно необычно для бояр, которым их господа не разрешают покидать княжество. Он показался мне более несчастным, чем слепцы от рождения, поскольку Спа и Бухарест отличаются друг от друга, как день и ночь. Он рассказывал мне об оставленной там любовнице, и дабы как следует описать ее, он сказал мне: «Она была прекрасна, как луна»⁷².

Эта история отлично подходила Салаберри, поскольку позволяла избежать вопроса о том, оставался ли революционный Париж по-прежнему центром и источником цивилизации. Вместо этого в ее фокусе оказался Спа, где в XVIII веке французские аристократы принимали воды и где после 1789 года они нашли пристанище в эмиграции. Восточная Европа, в противоположность Спа, была краем слепцов, страной ночи, страной по-детски незатейливых метафор. Русские и валахи были блаженными «слепцами от рождения», поскольку они никогда не видели Западной Европы. Те же немногие, кому удалось увидеть свет цивилизации, были обречены оставаться несчастными, вспоминая ее, как прекрасную любовницу. Бухарест, как и Будапешт, был замком Тундер-тен-Тронк — прекраснейшим на свете местом, для тех, конечно, кто не видел ничего иного.

Уже в Будапеште Салаберри почувствовал «величайшее стремление посетить первые же встреченные ... памятники турецкой религии, искусства и обычаев». В Валахии, по его утверждению, он обнаружил «первые проявления восточных обычаев», особенно в женской одежде. Вывод об азиатском характере Восточной Европы, от Санкт-Петербурга до Константинополя, делался именно на основании этих предполагаемых следов Востока и «стремления» путешественников обнаружить их несмотря ни на что. В Систове, на Дунае, где все еще продолжались австро-турецкие мирные переговоры, Салаберри впервые увидел верблюда и нашел его «гротескным». За семьдесят пять лет перед тем леди Мэри описала впервые встреченных ею верблюдов как «необычайных», но «уродливых существ»⁷³. Они были первыми вестниками Азии, встречавшимися уже в Восточной Европе. Салаберри, в отличие от леди Мэри с ее арабской поэзией и турецким костюмом, вовсе не был сентиментальным любителем восточной экзотики. Пересекая Балканы верхом по дороге из Систовы в Константинополь, он опасался чумы, разбойников и солдат, как турецких, так и русских. Перевалив через горы, он, однако, обнаружил роскошный край фруктовых садов, виноградников и роз, «европейский Гулистан», благоухающий аромат Персии⁷⁴.

Леди Мэри собиралась изучать арабскую поэзию в Белграде; стоило Салаберри пересечь Балканы, как он уже слышал ароматы Персии. Тем не менее даже розовые сады не могли отвлечь его от все более неприятных «турецких обычаев». Они сопровождали его на каждом шагу, становясь назойливее по мере приближения к Константинополю: «Куда ни посмотришь в этом краю, всюду встречаешь самую отвратительную непристойность (*malpropreté*)». Было что-то закономерное в том, что этот пассаж был опубликован в 1799 году, как раз когда Наполеон сражался с турками на Ближнем Востоке. «Они живут посреди отбросов, вдыхая чумные миазмы, причины которых следует искать в их ужасающей небрежности»⁷⁵. В Адрианополе леди Мэри посетила большую мечеть XVI века, шедевр архитектора Синана*: «Я была в своем турецком костюме, и меня пустили без пререканий». Мечеть, по ее мнению, была «бла-

* Ибн Абд эл-Маннан Синан (1489—1576), османский инженер и архитектор, разработал новый стиль мечетей с большим куполом. — *Примеч. пер.*

городнейшим зданием, которое я когда-либо видела». Салаберри, однако, решил осмотреть мечеть в пятницу, его туда не пустили, и он отправился восвояси, проклиная «имама, правоверных и пророка». К своему утешению, в Константинополе он узнал, что все мечети якобы выглядят одинаково⁷⁶. В самой столице Османской империи его нерасположение к туркам и их обычаям проявлялось в постоянных упоминаниях педерастии.

Кажется, что враждебность к Востоку возрастала у Салаберри «на каждом шагу» по мере его продвижения через Восточную Европу. Станным образом, но одновременно он раздувал в себе и враждебность к России, хотя она не входила в маршрут его путешествия. Тем не менее Россия часто упоминается наряду с другими «странами, через которые я проезжал», и в описание своего путешествия Салаберри включил приложение «О русских», в котором по своей свирепости, недисциплинированности, невежеству, предрассудкам, фанатизму — и даже «непристойности» (*mal-propreté*) — они приравниваются к туркам. Подводя итог, он объявил их цивилизованность «показной» (*pretendue*)⁷⁷. Путешествия в Константинополь и Санкт-Петербург — и то и другое поездки через Восточную Европу — были непосредственно связаны друг с другом, вплоть до взаимозаменяемости.

Оказавшись наконец в Константинополе, в «этой точке Европы, в шестистах шагах от Азии», Салаберри ясно осознал, что находится на краю континента⁷⁸. Переправившись через Босфор и ступив на азиатский континент, он пустился в приличные моменту глубокомысленные рассуждения: «Как может полоска моря, не более четверти лиги шириной, быть причиной такой перемены в моих мыслях? Или, скорее, как может она производить такое различие между двумя частями света, столь близкими и столь непохожими?» Если Сегюр воображал, что, пересекая польскую границу, он покидает Европу, то Салаберри, переправившись через пролив, действительно оказался в Азии. «Когда я думаю о Европе, только что мною оставленной, и Азии, находящейся теперь у меня под ногами, совершенно новое восхищение охватывает мой взор и мой дух». Он даже забыл на минуту о своем отвращении к «турецким обычаям», восхищаясь великими азиатами: Заратустрой, Мо-

исеем, Иисусом и даже Магометом. Его размышления о Европе были менее высокопарными, почти трогательно-сентиментальными: «Полоска моря шириной в шестьсот шагов разорвала нить, которую не могли разорвать девятьсот лиг суши, нить, связывавшую меня с моей страной, с Европой, с моим веком»⁷⁹. Эта связующая нить была для него особенно важна: Салаберри был эмигрантом, он покинул свою родину, Францию, и не знал, когда и при каких обстоятельствах сможет вернуться; когда-нибудь эта нить приведет его домой. С другой стороны, именно покинув Францию, он смог взамен открыть для себя Европу и узнать, как далеко она простиралась. Во время своей «поездки в Константинополь» он посетил Венгрию и Валахию, видел кентавров и готтентотов — но по-прежнему оставался в Европе.

В Константинополе Салаберри заключил, что Европа обладала неким моральным единством, основанным на «схождении чувствований, вкусов, манер, недостатков, обычаев и пороков». Это единство, конечно, не распространялось на турок, бывших за гранью «всякого сравнения». Уже их нескрываемое презрение к европейцам говорило о моральной ущербности. Салаберри допускал, что все народы (возможно, даже французы) относятся иногда свысока к другим нациям, но «недостаток этот скрывается или обнажается в зависимости от степени цивилизованности»⁸⁰. Действительно, никто лучше самого Салаберри после его поездки по Восточной Европе не знал, насколько все мы грешим снисходительным отношением к другим народам. Эта поездка показала ему, что в основе европейской общности лежат сходства и сравнения, которые он довольно бесцеремонно сводил к «степени цивилизованности» (*le plus ou moins de civilization*). В этой фразе вполне выразилось соотношение между Европой Западной и Восточной в понимании просвещенного XVIII века. В своих самых первых впечатлениях о Константинополе, сразу по окончании своего путешествия, Салаберри был еще более красноречив: «Эти страны уподобляют Европу стальному изделию, у которого работник поеленился отполировать края»⁸¹. Европейская цивилизованность, в зависимости от своей «степени», была подобна полировке, и благодаря своей путеводной нити Салаберри добрался до самых ее непополированных окраин.

¹ *Séjour L.-P., comte de. Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Séjour. Vol. I // Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de France: pendant le 18e siècle. Vol. XIX. Ed. M. Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859. P. 288—289, 293 [В переводе цитат из воспоминаний Сегюра использован старый анонимный перевод его «Записок»: Русский архив. 1907. № 9—11. — Примеч. ред.]*

² Ibid. P. 293.

³ Ibid. P. 300.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid. P. 301.

⁶ Ibid. P. 302.

⁷ Ibid. P. 301.

⁸ Ibid. P. 316—317.

⁹ Ibid. P. 329—330.

¹⁰ Ibid. P. 332—333.

¹¹ Ibid. P. 333.

¹² Ibid. P. 399.

¹³ *Séjour Louis-Philippe, comte de. Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Séjour. Vol. II // Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de France: pendant le 18e siècle. Vol. XX / Ed. M. Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859. P. 93.*

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid. Vol. I. P. 356.

¹⁶ *Seven Britons in Imperial Russia 1698—1812. Ed. by P. Putnam. Princeton (N.J.): Princeton Univ. Press, 1952. P. 237—241; см. также: Coxe, William // Dictionary of National Biography. Vol. IV. Oxford: Oxford Univ. Press, [s.a.]. P. 1346—47.*

¹⁷ *Mead W.E. The Grand Tour in the Eighteenth Century. Boston: Houghton Mifflin, 1914. P. 4.*

¹⁸ *Coxe W. Travels into Poland // Coxe W. Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark: Interspersed with Historical Relations and Political Inquiries. London, 1785 [репринт: N.Y.: Arno Press and New York Times, 1971]. P. 122.*

¹⁹ Ibid. P. 125.

²⁰ Ibid. P. 148—149.

²¹ *Craven E. A Journey Through the Crimea to Constantinople: In a Series of Letters from the Right Honourable Elizabeth Lady Craven, to His Serene Highness the Margrave of brandenbourg, anspach, and Bareith, Written in the Year MDCCLXXXVI. Dublin, 1789 [репринт: N.Y.: Arno Press and New York Times, 1970]. P. 158.*

²² *Coxe W. Op. cit. P. 186—187.*

²³ *Séjour L.-F. Op. cit. Vol. I. P. 329; Coxe W. Op. cit. P. 150.*

²⁴ *Coxe W. Op. cit. P. 191, 197, 199.*

²⁵ Ibid. P. 193.

²⁶ Ibid. P. 142, 188, 201, 205.

²⁷ Ibid. P. 143—144.

²⁸ Ibid. P. 209.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid. P. 209—210.

³¹ Ibid. P. 205; *Coxe, Travels into Poland and Russia* // *Travels in Poland, Russia, Sweden, and Denmark*, 5th ed. (London, 1802; reprinted New York: Arno Press and New York Times, 1970), I. P. 251.

³² *Coxe. Travels into Poland and Russia*, I. P. 255—256, 272; см. также: *Anthony Cross. British Knowledge of Russian Culture (1968—1801)* // *Canadian-American Slavic Studies* 13, no.4 (Winter 1979): 412—435.

³³ *Coxe. Travels into Poland and Russia*, I. P.267, 270.

³⁴ Ibid., I. P. 271—272; II. P. 68—69.

³⁵ Ibid., I. P. 268.

³⁶ Ibid., I. P. 277.

³⁷ Ibid., I. P. 283.

³⁸ Ibid., I. P. 283—285.

³⁹ Ibid., I. P. 287—289.

⁴⁰ Ibid., I. P. 306—307.

⁴¹ Ibid., II. P. 66, 69, 70.

⁴² Ibid., II. P. 62, 64, 67, 72.

⁴³ Ibid., II. P. 77, 91—94.

⁴⁴ Ibid., II. P. 97—98.

⁴⁵ Ibid., II. P. 107.

⁴⁶ Ibid., II. P. 104, 134.

⁴⁷ Ibid., II. P. 121—122.

⁴⁸ Ibid., II. P. 140, 156.

⁴⁹ *Montagu Lady Mary Wortley*. *The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu*, ed. Robert Halsband, Vol. I (1708—1720) (Oxford: Clarendon Press, 1965). P. 293—296.

⁵⁰ Ibid. P. 295—297.

⁵¹ Ibid. P. 297.

⁵² *Antalfy Gyula*. *A Thousand Years of travel in Old Hungary*, trans. Elisabeth Hoch (Hungary: Kner, 1980). P. 220.

⁵³ *Montagu*. P. 297—299.

⁵⁴ Ibid. P. 301—303.

⁵⁵ Ibid. P. 305.

⁵⁶ *Antalfy*. P. 114—118.

⁵⁷ *Montagu*. P. 307.

⁵⁸ Ibid. P. 304, 316.

⁵⁹ Ibid. P. 313—314, 320.

⁶⁰ Ibid. P. 309—310, 312.

⁶¹ Ibid. P. 337.

⁶² *Salaberry* // *La Grand Encyclopédie* (Paris: Librairie Larousse, 1886—1902). Vol. 29. P. 326—327; *Carra Jean-Louis*. *Historie de la Moldavie et de la Valachie* (Jassy: Société Typographique des Deux-Points, 1777). P. XV.

⁶³ *Salaberry d'Irumberry, Charles-Marie, marquis de*. *Voyage à Constantinople, en Italie, et aux îles de l'Archipel, par l'Allemagne et la Hongrie* (Paris: Imprimerie de Crapelet, 1799). P. 65—66, 69.

⁶⁴ Ibid. P. 76, 81.

⁶⁵ Ibid. P. 82—83.

⁶⁶ *Antalfy*. P. 189—192.

⁶⁷ *Salaberry*. P. 86, 91—92.

⁶⁸ Ibid. P. 97—98.

⁶⁹ *Antalffy*. P. 194, 201.

⁷⁰ *Salaberry*. P. 102—104, 110.

⁷¹ Ibid. P. 100—101.

⁷² Ibid. P. 124.

⁷³ Ibid. P. 82, 125; *Montagu*. P. 340.

⁷⁴ *Salaberry*. P. 134, 138.

⁷⁵ Ibid. P. 143.

⁷⁶ *Montagu*. P. 358; *Salaberry*. P. 145.

⁷⁷ *Salaberry*. P. 214—216.

⁷⁸ Ibid. P. 167.

⁷⁹ Ibid. P. 184—186.

⁸⁰ Ibid. P. 152.

⁸¹ Ibid. P. 148.

Глава II

ОБЛАДАЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПОЙ: СЕКСУАЛЬНОСТЬ, РАБСТВО И ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ

ПОСЛЕ ПОБОВ

Казанову часто подозревают в склонности приукрашивать факты; однако в своих мемуарах он указал время своего прибытия в Петербург с необычайной точностью. Он выехал из Риги в повозке 15 декабря 1764 года и, проведя в пути шестьдесят часов, 18 декабря достиг пункта своего назначения:

Я прибыл в Санкт-Петербург, когда первые лучи солнца только позолотили горизонт. Это был как раз день зимнего солнцестояния, и я наблюдал, как солнце взошло над огромной равниной ровно в девять часов двадцать четыре минуты; я могу уверить своих читателей, что самая длинная ночь на этой широте продолжается восемнадцать часов и три четверти¹.

Длинные зимние ночи бывают на севере, но взор наблюдавшего рассвет Казановы был обращен на восток. Он начал свое пребывание в Петербурге с посещения придворного маскарада, проведя там следующие шестьдесят часов и немедленно встретив напоминания о ранее посещенных им землях. Разговор велся по-немецки, танцы были французскими, и Казанова вскоре разглядел под масками не только саму Екатерину и Григория Орлова, но и одного земляка-венецианца, и свою парижскую возлюбленную.

«История моей жизни» известна как история сексуальных походов Казановы, но меняющийся фон этих походов изменяет и сам их характер. Это особенно очевидно в русских эпизодах мемуаров. Все началось здесь с ужина под Петербургом, на котором присутствовали итальянский певец-кастрат Люини; его «любовница», тоже певица, Ла Колонна; жена французского купца, показавшаяся Казанове «самой прекрас-

ной женщиной в Петербурге»; венецианка, с которой лет двадцать назад у Казановы были шашни, пока ее брат не попытался убить нашего героя на площади Святого Марка; и, наконец, русский офицер, родственник Орловых. После ужина кастрат уехал на охоту, а Казанова и русский офицер, не расположенные к столь мужественным забавам, отправились искать дичь другого рода.

Я указал ему на крестьянскую девушку удивительной красоты; он увидел ее, согласился со мной, мы направились в ее сторону, и она побежала к хижине, в которой и укрылась. Вошли туда и мы, увидели мать, отца, всю семью, а в углу — саму девицу, испуганную, как кролик, которого вот-вот разорвут гончие².

В конце концов, Казанова был на охоте, и упоминание «хижины», в которую он загнал свою жертву, роднило его рассказ со многими другими описаниями Восточной Европы.

Минут пятнадцать офицер беседовал с отцом семейства по-русски, и Казанова понял только, что они говорили о девушке, «поскольку отец подозревал ее, а она послушно, покорно подошла и встала пред ними». Затем офицер объяснил Казанове, что отец требует за девушку 100 рублей, поскольку она девственница и всего тринадцати лет от роду. Казанова попросил у офицера разъяснений:

- Предположим, я соглашусь заплатить сто рублей? Что тогда?
- Она будет у вас в услужении, и вы сможете спать с ней.
- А если она не захочет?
- О, так не бывает. Вы вправе побить ее.
- Допустим, она согласится. Скажите, если я попользуюсь ей и она мне понравится, смогу я оставить ее у себя?
- Говорю вам, вы будете ее хозяином, и, если она убежит, вы можете требовать, чтобы ее поймали; правда, она может вернуть вам эти сто рублей, которые вы за нее заплатили.
- А если я оставляю ее при себе, сколько я должен платить ей в месяц?
- Ни копейки. Только кормите, поите и отпускайте ее в баню по субботам, чтобы она могла в воскресенье пойти в церковь.
- А смогу я взять ее с собой, когда уеду из Петербурга?
- Только с особого разрешения и внеся залог. Хотя она и ваша рабыня, но прежде всего принадлежит императрице.
- Что ж, превосходно, устройте это для меня. Я заплачу сто рублей и возьму ее с собой; поверьте, я не буду обращаться с ней как с рабыней. Однако я полностью на вас полагаюсь и надеюсь, что меня не обманут³.

Итак, Казанова, легендарный мастер возведенного в науку искусства соблазнения, принужден теперь учиться правилам игры на новом поле. Ключ к этим правилам — слово, от которого ему явно становилось неловко, и это слово — рабство.

Путешественники часто называли этим словом крепостную зависимость, да и вообще тяжелые условия, в каких жили крестьяне России, Польши и европейских владений Османской империи. Это слово входило в состав формирующейся концепции Восточной Европы, объединяя соответствующие страны на основании некоторых сходных черт их социоэкономической структуры. Авторы современных нам учебников принимают эти черты как само собой разумеющееся: «В отличие от Запада, крестьяне Восточной Европы в XVI—XVIII веках потеряли свою свободу»⁴. В XVIII веке, однако, представления о «Восточной Европе» еще не стали набором аналитических категорий и складывались постепенно, на основе сравнений и различных точек зрения.

Казанова не особенно интересовался социоэкономическими структурами и воспринимал покупку девицы скорее как проявление местных сексуальных норм, чем форму феодального порабощения. Тем не менее он был достаточно осторожен и попытался избежать ключевого слова, обещая не обращаться с девушкой как с рабыней. Для Казановы эти новые возможности для сексуальных приключений показывали, что в русской жизни имелись азиатские черты: наутро, когда он отправился платить сто рублей, его приятель сказал, что может устроить ему «гарем любой величины». Отец девушки у себя в «хижине» возносил хвалу Николаю Угоднику «за ниспосланную удачу» в ожидании сделки и предложил Казанове проверить, невинна ли его дочь. Тот опять почувствовал себя неловко («Мое воспитание не позволяло мне оскорбить ее подобным осмотром»), но тем не менее «сел и, зажав ее между ног, проверил ее и обнаружил, что она была нетронута. По правде говоря, я бы не выдал ее, даже если бы это было не так»⁵. Накануне, однако, он беспокоился, что его обманут. С одной стороны, постоянное использование эвфемизмов выдает неловкость Казановы — как-никак, овладение оказалось постыдно легким; и все же клинически описанный «осмотр» явно будоражит его воображение, знакомя читателей с порнографией

обладания. Наконец деньги заплачены отцу, тот отдал их девице, она — матери. Сделка заключена.

Став хозяином девушки, Казанова начал с того, что дал своей собственности имя, словно прежде она была безымянной. Имя это, под которым она и приобрела печальную известность на страницах его мемуаров, превратило эту девушку в очень удачный символ Восточной Европы в сознании западного Просвещения: он назвал ее Заирой. «Заира» была одной из самых популярных трагедий Вольтера, впервые поставленной в Comédie-Française в 1732 году. Местом действия был гарем, главная героиня Заира христианская невольница иерусалимского султана, а сюжет основан на их роковой любви друг к другу. В пятом акте, ослепленный беспочвенной ревностью, он закалывает ее. Казалось бы, отсылка к восточной традиции здесь ясна; но это не помешало Казанове дать девушке именно такое имя, приукрасив свои похождения атрибутами гаремного романа, чтобы избавиться от неловкости, которую он почувствовал, столкнувшись в Восточной Европе с рабством.

Отсылка к Вольтеру была тем более естественна, что в это время, в 1760-х годах, сам философ чрезвычайно интересовался екатерининской Россией, и Россия отвечала столь же горячим интересом. В 1764 году Екатерина основала первую русскую школу для девочек, «Le Couvent des Demoiselles Nobles», или Смольный институт, и в 1771 году русские *demoiselles* поставили там именно «Заиру»⁶. Согласно Казанове, «в те дни русские, интересовавшиеся литературой, знали, читали и хвалили только Вольтера и, прочитав все написанное им, почитали себя столь же учеными, как их идол». В глазах Просвещения положение Восточной Европы было таково, что даже интерес к Вольтеру мог быть истолкован как свидетельство поверхностной цивилизованности. На самом деле Казанова написал свои мемуары спустя двадцать пять лет в Богемии, где вспоминал Россию давно ушедших времен: «Таковы были русские в те дни; но мне говорили — и я этому верю, — что теперь они гораздо менее поверхностны»⁷.

Казанова отвез Заиру к себе домой, «одетую по-прежнему в грубое платье», и «не выходил из дома четыре дня, пока ее не переодели на французский манер». По всей видимости, именно в это время он впервые воспользовался сексуальными

правами на свою собственность. Однако в мемуарах, что для него крайне необычно, он, обходя этот эпизод, пишет только о «переодевании на французский манер». Все приемы изощренного совращения, описаниями которых пестрят воспоминания легендарного авантюриста, совершенно неуместны в случае с тринадцатилетней Заирой, да еще к тому — его рабыней. Едва ли он мог воскликнуть, как в Венеции: «О, как сладостно сопротивление любовницы, оттягивающей счастливый миг, чтобы тем больше им насладиться!» Если он был смущен, домогаясь собственной рабыни, то очень удачно заменил описание этих домогательств рассказом о переодевании. Переодевая Заиру, Казанова познакомил ее с модой и цивилизацией, и это как бы искупало его вину. Тем не менее, переодев Заиру в своих апартаментах, Казанова затем публично раздел ее, отправившись с ней в русскую баню, «чтобы вымыться с ней в компании тридцати или сорока совершенно голых мужчин и женщин». Поход в баню дал удобный повод описать читателям обнаженную Заиру: «Грудь ее была еще неразвитой, ей шел только тринадцатый год; я вообще не увидел ни единого признака созревания. Кожа была белой как снег, и черные волосы делали ее белизну еще более ослепительной»⁸.

Казанова сравнивал Заиру со статуей Психеи, которую он видел на вилле Боргезе в Риме, но мог бы сравнить с Пигмалионовой Галатеей. Как только он передел ее «на французский манер», он начал учить ее итальянскому, и через три месяца Заира уже говорила «очень плохо, но достаточно сносно, чтобы сообщать ... о своих желаниях». Сам он, конечно, и не подумал выучить русский, поскольку «получал невообразимое удовольствие»⁹, когда она обращалась к нему по-венециански. Словом, Казанова преобразил покупку рабыни в культурный эксперимент, в попытку цивилизовать Восточную Европу. Для Кокса и Сегюра заимствования иностранных языков и мод, которые они видели в Санкт-Петербурге, были признаком поверхностной цивилизованности. Казанова же приучал к тем же самым языкам и модам крестьянскую девочку-рабыню, потратив четыре дня на французское платье и три месяца на уроки итальянского. Оставалось лишь дать Заире прочесть что-нибудь из Вольтера, чтобы окончательно превратить ее в символ поверхностной цивилизованности. Сделать этого он, одна-

ко, не мог, поскольку сама она была литературным персонажем, созданным совместными усилиями Вольтера и Казановы.

«Она полюбила меня, — самоуверенно сообщал Казанова, — и сразу же начала ревновать, однажды едва не убила». Он настаивал, что «если бы не проклятая ревность, которой она постоянно обременяла меня, и не слепая вера в карты, на которых она ежедневно гадала, я бы никогда ее не покинул»¹⁰. Склонность к насилию, суеверие, безрассудная и необузданная страстность выдавали первобытность характера, едва прикрытую французским платьем и венецианским диалектом. Постепенно эти поверхностные знаки цивилизованности позволили Казанове забыть, что его отношения с Заирой зиждутся прежде всего на факте ее рабства, на уплаченных за нее ста рублях. Тем не менее у нее были основания ревновать, если рабыня вообще имеет право на ревность. Более того, рассказ Казановы о собственных изменах показывает, что в России его сексуальность приобрела специфические черты.

Самое драматическое столкновение Казановы с Заирой началось с того, что он оставил ее дома и отправился в гости один, «будучи уверенным, что там нашлось бы несколько молодых офицеров, которые бы раздражали» его, «флиртуя с Заирой на ее родном языке». Он и в самом деле встретил в гостях русских офицеров, двух братьев, которые оба были поручиками. Младший, «блондин, хорошенький, как девушка», осыпал его такими знаками внимания во время ужина, что он «принял его за девушку в мужской одежде». Фамилия офицера была Лунин. После ужина Казанова спросил его, не переодетая ли он девушка, «но Лунин, уверенный, что своими достоинствами мужчины превосходят женщин, немедленно предъявил доказательства своего пола и заключил меня в объятия, желая узнать, смогу ли я остаться равнодушным к его красоте. Будучи уверенным, что я доволен, он приготовился осчастливить нас обоих». Тут в дело вмешалась ревнивая французенка, обзывая их грубыми именами.

Эта стычка насмешила меня; но, не будучи равнодушным к ее исходу, я не счел нужным притворяться и заявил этой шлюхе, что она не имеет права вмешиваться в наши дела. Решив, что я встал на его сторону, Лунин продемонстрировал мне все свои сокровища, даже свои белые ягодицы... Мы с молодым русским оказали другу знаки самой искренней дружбы и поклялись навечно оставаться друзьями¹¹.

С Казановой, конечно, ничто не могло продолжаться вечно, но, по крайней мере, случайный гомосексуальный эпизод был необычен для этого известного своим женолобием искателя приключений.

Знаки «мужской дружбы» и клятва верности никак не подходили на отношения между рабыней и господином. Однако Лунин и Заира были удивительно схожи тем, что привлекло в них Казанову: у Заиры — мальчишечье тело, неразвитая грудь, никаких признаков женской зрелости, а Лунина, наоборот, можно было принять за девушку. В Венеции, для сравнения, Казанова обратил внимание на девушку из-за ее «восхитительных ягодиц», немедленно ощутив «нестерпимый огонь желаний»¹². В России же Казанове открылся новый мир с новыми правилами игры, и он ставил опыты, внося двусмысленность и инверсию в свою сексуальную легенду. Для Салаберри, поколение спустя, Восток тоже ассоциировался с педерастией (хотя, в отличие от Казановы, он не нашел в ней ничего привлекательного). Вполне возможно, что восточный колорит, который вместе с именем приобрела Заира, делал в глазах Казановы естественным не только ее рабство, но и неопределенность ее половой принадлежности.

Обменявшись «знаками», Казанова и Лунин присоединились к остальным гостям и оказались вовлеченными в общую оргию, хотя «я и мой новый друг одни сохраняли голову, спокойно взирая на непрестанные соития». На рассвете любовники расстались, и Казанова вернулся домой, к Заире, которая, дожидаясь его, не сомкнула глаз.

Я прибываю к себе на квартиру, вхожу в свою комнату и лишь по чистой случайности уворачиваюсь от бутылки, которую швырнула в меня Заира и которая убила бы меня, попади она в голову. К счастью, она лишь оцарапала мне лицо. Заира в ярости бросается на пол и бьется об него головой, бегу к ней, хватаю ее, спрашиваю, что такое случилось, и, уверенный, что она помешалась, собираюсь позвать на помощь... Она указывает на двадцать пять карт, символами повествующих о бесчинствах, которым я предавался всю ночь. Там и блудница, и кровать, и соития, и даже мое преступление против природы. Я ничего не вижу; но ей кажется, будто она видит все¹³.

Казанова объявил, что собирается с ней расстаться, но она бросилась на колени, молила о прощении за свой припадок, и он обнял ее, «оказав самые красноречивые знаки своей привязанности». Она же пообещала бросить гадание на картах.

Неодобрительное отношение Казановы к суевериям Заиры смягчалось его готовностью признать (по крайней мере, перед читателями), что карты говорили правду, поведавав даже о его преступлении против природы. Если же говорить уже не о картах, а о религии, он считал русских «самыми суеверными из всех христианских народов», особенно в их приверженности Николаю Угоднику, чьи образа висят в каждом доме. «Входящий в дом сначала кланяется образу, затем хозяину. Если по какой-то причине образа не видно и, осмотрев всю комнату, русский не может его найти, он не знает, что сказать, и совершенно теряет голову»¹⁴. В случае Заиры суеверие только усиливало ее ревность и склонность к насилию, но Казанова приготовил одно эффективное средство против подобных вспышек.

Это была ревность чистой воды, и я опасался последствий, включая дурное настроение, слезы и приступы отчаяния, из-за которых я не раз принужден был ее побить, что лучше всего убеждало ее в моей любви. После побоев ее привязанность ко мне понемногу возвращалась, и мы заключали мир, скрепленный ритуалами любви¹⁵.

Побои были явно связаны и с ее рабством, и с ее сексуальностью. Когда Казанова еще только собирался купить Заиру, ему пообещали, что у него будет «право побить ее», если она откажется спать с ним. Он предпочел истолковать право рабовладельца как проявление любви, придающее ей больше пыла, а столь необычное проявление привязанности объяснял не тем, что Заира была рабыней, а особенностью русского характера. Чтобы цивилизовать Заиру, Казанова бил ее, наряжал во французское платье и учил итальянскому.

При этом он не сомневался, что обращение с Заирой позволяет ему делать обобщения о характере русских слуг.

Три обстоятельства в особенности заставили эту девушку полюбить меня. Во-первых, я часто возил ее в Екатерингоф повидаться с родными, которым всегда оставлял рубль; во-вторых, приглашая гостей на ужин, я сажал ее с собой за стол; в-третьих, я побил ее два или три раза, когда она пыталась не пустить меня ходить в гости.

Странная необходимость ожидает хозяина в России: при случае он должен бить своих слуг! Слова не производят действия, только кожаные вожди. Слуга, который всего-навсего раб в душе, задумывается после побоев и решает: «Мой хозяин не прогнал меня; он не стал бы меня бить, если бы не любил меня, так что и я должен быть к нему привязан»¹⁶.

Казанова уверял, что поначалу, сразу по приезде в Санкт-Петербург, он не имел подобных намерений: «Я хорошо относился к моему казаку, который говорил по-французски, и хотел привязать его к себе мягкостью, лишь порицая его, когда он напивался до бесчувствия». Однако приятель смеялся над его мягкотелостью и предупреждал, что помогут только побои. Вскоре Казанове пришлось с ним согласиться¹⁷. В России слуги были рабами не из-за особенностей социоэкономической структуры, а потому, что они обладали душами рабов, и Казанова старался представить себе, чем привлекательны побои с такой точки зрения, используя при этом язык своих эротических фантазий.

Как правило, не лишённые приятности приключения Казановы существенно отличались от походов маркиза де Сада поколение спустя. В России, однако, даже венецианец обнаружил, что его сексуальность принимает несколько нетрадиционные направления. Что же касается де Сада, то в «Истории Жюльетты», написанной в 1790 году, он вводит вымышленную фигуру «Московита» по имени Минский, чудовищного садиста, замучившего и сожравшего целый гарем сексуальных рабов. Затем в романе появляется сама Екатерина, заправляющая в Санкт-Петербурге изощренными садистскими оргиями. Насладившись ими вместе с французом, она ссылает его в Сибирь, где в компании с венгром и поляком тот достигает новых высот в наслаждении содомией и самобичеванием. Они бегут из Сибири (предварительно изнасиловав и съев пятнадцатилетнего мальчика): «Из Астрахани мы отправились в Тифлис, убивая, грабя, насилуя, разрушая все, что попадалось на нашем пути»¹⁸. Такова была Восточная Европа в представлении де Сада, и хотя его фантазия преображала подобным же образом и другие регионы мира, здесь частота и интенсивность сексуального насилия достигла особенной дикости.

«НА КОЛЕНЯХ ПРЕДО МНОЮ»

Когда Казанова прибыл в Санкт-Петербург, зимние ночи длились по девятнадцать часов, но уже в конце мая было светло круглые сутки: началось северное лето с его белыми ночами. «Все ими восхищаются, — писал Казанова, — но меня они

раздражали». Посему он с Заирой отправился в Москву. Во время остановки в Новгороде одна из лошадей отказалась есть, и Казанова описал последовавшую затем сцену:

Хозяин начал увещевать ее самым нежным тоном, бросал на нее ласковые и уважительные взгляды, надеясь, что пробудившиеся эмоции заставят ее поесть. После этих увещеваний он целует лошадь, обнимает ее голову и наклоняет к яслям, все без толку. Тут он начал плакать, так что я едва удерживался от смеха, видя, как он пытался смягчить слезами лошадиное сердце. Наплакавшись вволю, он снова целует ее, снова наклоняет ее голову к кормушке, но вновь все без толку. Тогда, уже разозлившись упрямством своей лошади, русский грозитя расплатой. Он выводит несчастное создание из конюшни, привязывает к столбу, хватает большую дубину и добрую четверть часа избивает лошадь что есть сил. Устав, он ведет ее в конюшню и надевает на нее хомут, после чего она ест с необычным аппетитом, а ямщик хохочет, подпрыгивает на месте и в радости выкидывает самые разные коленца. Моему изумлению не было предела. Я решил, что это могло произойти только в России, где дубина способна творить чудеса¹⁹.

Интерес Казановы к этому эпизоду, его смех и изумление отражают то обстоятельство, что все эти поцелуи и побои были в некотором смысле пародией на его собственные отношения с Заирой, которые, конечно, тоже могли иметь место только в России. Казанова слышал, что во времена Петра царю случалось прохаживаться дубиной по спинам генералов, генералы били полковников, полковники майоров и так далее вплоть до капитанов и поручиков. С русскими поручиками, конечно, Казанова был знаком не понаслышке. Ему самому случалось бить свою русскую рабыню, и, восхваляя «чудодейственность» дубины, он в своих мемуарах с ностальгией оглядывался на Россию 1765 года: «Мне говорили, что побои там ныне не в таком ходу, как раньше. Русские, к сожалению, начинают превращаться во французов»²⁰. Открыто сожалея об ушедших днях, Казанова признает, что, сколь бы он ни наслаждался, переодевая Заиру по французской моде, французские обычаи и моральные нормы в России были желательны лишь в такой степени, в какой они не мешают ему бить своих рабов.

Иерархия избивающих и избиваемых, начинавшаяся в конюшне и достигавшая самого трона, была для Казановы знаком «деспотизма», естественного в стране, где процветали рабство и телесные наказания. Когда Казанова только прибыл

в Санкт-Петербург, его предупредили, что, если он не будет бить своих слуг, те в конце концов сами побьют его. О том, что бывает, когда лошадь дает сдачи, он узнал в присутствии самой Екатерины.

Однажды утром я встретил императрицу, одетую в мужское платье и собиравшуюся кататься верхом. Ее обер-шталмейстер князь Репнин придерживал стремя лошади, на которую она садилась, как вдруг эта лошадь лягнула обер-шталмейстера с такой силой, что разбила ему колено. Императрица, с видом изумления, приказала немедленно убрать эту лошадь и объявила, что накажет смертью всякого, кто впредь осмелится привести преступное животное ей на глаза²¹.

Деспотическая власть Екатерины была основана на системе иерархического подчинения, столь всеобъемлющей, что даже иностранцам присваивали военные чины. Это чрезвычайно забавляло Казанову, и, по его словам, сам он считался генералом, тогда как его земляк, кастрат Луини, был только подполковником, а художник Торелли — капитаном. Для иностранных артистов и художников роль чиновных подданных императрицы была всего лишь шуткой, поскольку они могли в любой момент выйти из игры и покинуть пределы империи. Сами русские, однако, были в полной власти царицы. В день его первой встречи с Заирой Казанову предупредили, что его власть над ней будет всегда ограничена тем обстоятельством, что она «прежде всего принадлежит императрице». Он не мог увезти ее с собой, и его опыту в области сексуального рабства было суждено остаться чисто русским приключением.

Он мог, однако, взять Заиру в Москву, напыщенно объявив, что «тот, кто не видел Москвы, не видел России, и тот, кто встречал русских только в Петербурге, не знает русских». На основании этой, очевидно расхожей, мудрости самоуверенный путешественник мог претендовать, что «знает русских». Более характерно для Казановы другое сравнение, произнесенное тоном знатока: «Я нашел, что женщины в Москве красивей, чем в Петербурге». В первую очередь, однако, Москва привлекала его возможностью брать Заиру с собой в гости. Он запасся рекомендательными письмами и немедленно начал получать приглашения: «Все они приглашали меня на ужин вместе с моей девицей». Пигмалиону предоставлялась возможность показать публике свое творение:

Я объяснил Заире ее роль, и она была восхищена возможностью доказать, что заслуживает ту честь, которую я ей оказывал. Хорошенькая, как ангел, она всюду вызывала восторги собравшихся, которых не трогало, дочь ли она мне, любовница или служанка²².

Что же это за роль, если она равно могла быть и дочерью, и любовницей, и служанкой? Притягательность Москвы для Казановы и Заиры крылась в том, что никто здесь не ведал, кто она, тогда как в Санкт-Петербурге слишком многие знали, что он ее просто купил. Оказанная ей Казановой честь состояла в возможности притворяться, что она не была рабыней, пока сам он притворялся, что не был рабовладельцем.

По возвращении в Санкт-Петербург они, конечно, больше притворяться не могли, и роман их едва ли мог пережить крушение этой иллюзии. Казанова сразу начал помышлять о расставании с Заирой.

Заира предпочла бы, чтобы я навсегда остался в Москве. Мы не расставались ни днем, ни ночью, и она настолько влюбилась в меня, что я огорчался, думая о том мгновении, когда мне придется ее оставить. На следующий день после моего возвращения я взял ее с собой в Екатеринбург, где она показала своему отцу все мои маленькие подарки и подробно пересказала все почести, которые ей оказали как моей дочери. Добряк смеялся от души²³.

Этот смех разрушил иллюзию, напоминая, что каждый здесь знает правду. Как-никак, он торговался из-за нее, получил сто рублей, прекрасно знал, кто ее отец, а кто — нет.

К осени 1765 года Казанова был готов отправиться восвояси. Он надеялся получить должность при русском дворе, но Екатерина, несмотря на прогулки в Летнем саду и готовность внимать его рассуждениям о введении в России григорианского календаря, так ничего ему и не предложила²⁴. Он хвастался идеальными отношениями с Заирой, тем, как дешево ему обходилось счастье, и вообще экономической целесообразностью сексуального рабства. Однако вдобавок к ссорам, омрачавшим их отношения, в Санкт-Петербурге у Казановы был еще один повод для недовольства.

Меня почитали счастливым, я старался казаться счастливым, но я был несчастлив. Со времени моего тюремного заключения (в Венеции. — *Л.В.*) у меня появились геморроидальные кровотечения,

беспокоившие меня три или четыре раза в год. В Петербурге, однако, ситуация стала серьезной. Возвращавшаяся каждый день нестерпимая боль в заднем проходе сделала меня меланхоличным и несчастным²⁵.

Его анус был тщательно осмотрен хирургом, что странным образом напоминало то, как сам Казанова проверял девственность Заиры. Хирург сказал, что геморрой неоперабелен, но утешил больного тем, что болезнь эта была распространена в Санкт-Петербурге, и даже «по всей губернии, из-за невиской воды, которую здесь пьют»²⁶. Геморрой, таким образом, оказался русской болезнью, предоставляя Казанове повод поскорее уехать.

Наконец пришла пора расстаться с Заирой. Казанова беспокоился из-за того, что ее слезы причинят ему огорчения, но саму ее волновали куда менее сентиментальные вопросы, которые нужно было решить перед расставанием.

Зная, что я должен ехать и, не будучи русским, не могу взять ее с собой, Заира беспокоилась о том, что случится с нею. Ей предстояло стать собственностью того, кому я отдам ее паспорт, и она хотела узнать, кто будет этим человеком. Я провел с ней целый день и целую ночь, выказывая ей знаки моей привязанности и огорчение, которое я чувствовал, принужденный с ней расстаться²⁷.

И снова страсть его распалило именно обсуждение ее рабства и вытекающих из него последствий, которые придавали его мемуарам несколько порнографический оттенок, предоставляя читателю гадать, кто станет ее следующим господином? У Казановы был на примете семидесятилетний итальянский архитектор Ринальди, который горел желанием заполучить девицу и был даже готов отдать за нее двести рублей. Казанова сказал, что не продаст Заиру против ее воли, и заставил Ринальди явиться к ней, чтобы сообщить о своих чувствах, как будто она не рабыня. Старый архитектор, проживший к тому времени в России уже сорок лет, обратился к ней по-русски, но она подчеркнуто ответила ему по-итальянски, заявив, что у нее нет собственного мнения и все зависит исключительно от Казановы.

Позднее Заира вернулась к этой теме в разговоре со своим господином. «Мне кажется, — сказала она, — что теперь я стою гораздо больше, так как вы оставляете мне все ваши подарки,

и я могу объясниться по-итальянски». Казанова ответил: «Я не хочу дать повод для толков, будто я на тебе нажился, тем более что я уже решил подарить тебе сто рублей из тех денег, что я получу, когда отдам ему твой паспорт». Она, однако, настаивала, что она — рабыня; он в ответ отказывался признать себя ее владельцем и не хотел барыша. Тогда она предложила, чтобы он просто вернул ее отцу: «Если синьор Ринальди любит меня, скажите ему, пусть туда и придет. Он знает русский, они договорятся о цене, и я возражать не буду»²⁸. Казанова согласился, провел ночь с Заирой в последний раз и наутро отвез ее к отцу, на то же место, где впервые встретил. Она потеряла девственность, но, по ее собственным словам, ее ценность повысилась за счет других достоинств.

Казанова был доволен тем, как все разрешилось, особенно приемом, оказанным ему в доме Заиры: «Я увидел всю ее семью на коленях предо мною, обращающихся ко мне так, как обращаются только к божеству». Положение Заиры, однако, было далеко не божественно, поскольку «они называли кроватью всего лишь большой соломенный матрас, на котором спала вся семья»²⁹. Это был мир русского крестьянства, позднее встреченный у дороги Коксом, которому тоже пришлось по вкусу зрелище русских крестьян, расprostертых перед ним, как перед калмыцким идолом. Казанова принял эти почести и отправился прочь с облегчением, довольный, что завершил свой эксперимент с работорговлей и избавился от Заиры. Он объяснил читателям, что, конечно, мог вывезти ее из России, для чего пришлось бы лишь оставить залог. Однако он не стал этого делать именно потому, что любил ее: «Я любил ее и не хотел сам становиться ее рабом»³⁰. Таким образом, он полностью переосмыслил их отношения, используя язык «сентиментального рабовладения», искажавший и переворачивавший с ног на голову социоэкономическую реальность. В любом случае он к этому времени уже завел связь с французской актрисой, с которой и отправился из Санкт-Петербурга в Варшаву.

Казанова оставался в Польше с осени 1765-го до лета 1766-го и был настолько заинтересован политической ситуацией, сложившейся в результате вмешательства России во внутренние дела этой страны, что написал о ней объемистый том под названием «История волнений в Польше». Ему и самому пришлось поволноваться, поскольку сначала он оказался яблоком

раздора между двумя итальянскими танцовщицами (одна из которых некогда была его любовницей), а потом стрелялся из-за них с влиятельным польским аристократом из рода Браницких. Хотя оба дуэлянта выжили, Казанова оказался персона нон грата и уже не смог бы стать личным секретарем короля. Подобно Екатерине, Станислав Август, коронованный в 1764 году благодаря ее поддержке, также не нуждался в его услугах. Как раз тогда, когда мадам Жоффрен, которую Станислав Август называл «*taman*», с триумфом встречали в Варшаве как музу парижских философов, Казанова покидал и Варшаву и Польшу, имея основания опасаться за свою жизнь. Неудивительно, что на него не произвела впечатления польская цивилизованность. Мнение свое он выразил почти словами Сегюра: «Хотя поляки в целом довольно отесаны, в них еще жива их прежняя натура, они по-прежнему сарматы или даки»³¹. Познания Казановы о варварах древности были не слишком глубокими, и ему ничего не стоило перепутать и смешать в одну кучу обитающих на Висле поляков и живущих на Дунае румын. Именно так, из обрывков древней истории, и складывалась в XVIII веке концепция Восточной Европы.

Для Казановы Россию и Польшу связывала именно схожесть сексуальных обычаев. В Польше он остановился на неделю в Пулавах, роскошном поместье Чарторыхских, где с ним произошел эпизод, который, естественно, вызывает навязчивое ощущение дежа вю.

В Пулавах мне понравилась одна крестьянская девушка, которая приходила ко мне в комнату, но когда однажды утром я попробовал кое-что с ней сделать, она с криком выскочила на улицу. Прибежавший смотритель очень холодно спросил, почему, если девушка мне понравилась, я не действовал напрямую.

— Что значит действовать напрямую? — спросил я.

— Поговорить с ее отцом, который здесь рядом, и спросить его по-хорошему, не продаст ли он ее девственность.

— Я не говорю по-польски, договорись с ним сам.

— С удовольствием. Согласитесь вы заплатить ему пятьдесят флоринов?

— Ты шутишь! Если она девственница и кротка, как овечка, я заплачу ему сотню³².

Испуганная девушка, растерянный искатель сексуальных приключений, местный посредник, объясняющий правила игры, та же круглая сумма — все похоже на встречу с Заирой в

России. Действительно, крепостное право в Польше зачастую было столь же тяжелым бременем, как и в России, и путешественники часто упоминали о «рабстве» польских крестьян. Словом, у нашего героя был шанс начать все сначала с новой Заирой, новыми уроками итальянского и новыми побоями.

Однако на этот раз его обманули: он заплатил обещанную сумму, но девушка исчезла, «убежала, как вор»³³. Собственно, украла она самое себя. Взамен ему предлагали других девушек, но он отказался, с возмущением требуя именно ту, которая ему не досталась. Возможно, на этот раз ему просто не хватило духа вновь пройти через постыдно двусмысленную ситуацию обладания рабыней. Для западных европейцев в XVIII веке путешествие было чем-то сродни покорению новых территорий. Казанова, самый знаменитый сексуальный завоеватель своего века, уже вкусил сладость господства и той фантазии, благодаря которой даже секс в Восточной Европе приобретал необычные черты.

«КОГДА ЖЕСТОКИЕ, КОГДА ПРИЧУДЛИВЫЕ»

Едва ли не первым, что бросилось Сегюру в глаза, было «нищее, поработенное население» Польши, признак того, что он — за пределами Европы. В Санкт-Петербурге он совсем впал в «меланхолию», размышляя о «безграничном деспотизме» и видя вокруг себя лишь «господ и рабов»³⁴. Для него, для Казановы, для многих других путешественников социоэкономическое «рабство» крестьян и объяснялось и отчасти оправдывалось тем, что политически все русские были «рабами деспотичной Екатерины».

Рабство прежде всего было мерой русской цивилизованности, вернее, мерой ее отсутствия, и Сегюр рассматривал его в сравнительном аспекте. Он полагал, что «в рабстве русский народ влачит растительное существование», но, с другой стороны, до некоторой степени защищен от голода, в отличие от многих более «благоустроенных народов»; тем не менее он уверял, что народы эти «в тысячу раз счастливее благодаря своей свободе». Сегюр не одобрял рабства, но допускал, что в России (пока еще недостаточно цивилизованной) оно может быть менее пагубно, чем в других странах: «В России господа облада-

ют почти безграничной властью над своими крепостными, но справедливость требует признать, что в реальности почти все они используют эту власть с крайней умеренностью. Возможно, что с постепенным смягчением (*adoucissement*) нравов рабство, в котором находятся крестьяне, будет все более походить на прежнее (*autrefois*) положение крепостных в Европе»³⁵. Никакой революции, никакого освобождения крестьян не требуется, если рабское положение русских крестьян настолько похоже на европейское крепостное право, что постепенное смягчение нравов может стереть разницу между ними. Таким образом, Сегюр признавал, что Россия — страна европейская, что разные части континента находятся на разных ступенях развития, что цивилизация возникла в результате постепенного развития. Россия не обречена вечно влачить растительное существование, у нее есть шанс стать похожей на Европу — не современную Европу, конечно, а феодальную Европу «прежних» времен.

Тем не менее рассуждения Сегюра складывались в некий замкнутый круг: смягчение нравов могло изменить сущность рабства, но сами нравы были мерой цивилизованности, развитию которой именно рабство и мешало.

Рабство, в котором находится народ, и есть истинная причина того, что цивилизованность здесь развивается так медленно. Крепостной, у которого нет ни гордости, ни самолюбия, который низведен почти до положения животного, обладает потребностями ограниченными и исключительно физическими; он желает лишь того, без чего невозможно его печальное существование и уплата податей, возложенных на него господином³⁶.

Русские крестьяне, сперва уподобленные растениям, а затем — животным, не имели стимулов стремиться к цивилизованности, и потому внимание Сегюра обращено на их отличающихся похвальной «умеренностью» господ. Хотя, как он признавал, крестьяне и находятся в положении рабов, «с ними обращаются с мягкостью». За пять лет, проведенных им в России, он ни разу не слышал о «тирании и жестокости»³⁷. Подобные дифирамбы русским феодальным порядкам отражали прежде всего представления о благодетельном и просвещенном правлении Екатерины II, оправдывавшем в глазах Западной Европы ее самовластие.

С одной стороны, отсталость России, где все еще процветало рабство, становилась особенно очевидной для Сегюра и его читателей именно в сравнении с феодальной Европой. Однако сравнение с русским деспотизмом позволяло ему критиковать Европу современную. «В своих рассуждениях, — рассуждал сам Сегюр, — иностранцы описывают самыми яркими красками прискорбные последствия деспотического правления у русских. Но справедливости ради следует признать, что у нас нет полного права столь безоговорочно осуждать самовластье». Не позабыли ли мы, *chez nous*, о Бастилии? Сегюр взывал к объективности путешественников:

Мораль в данном случае состоит в том, что, перед тем как критиковать с излишней горячностью встречаемые в пути злоупотребления, благоразумному путешественнику стоит обернуться и посмотреть, не оставил ли он в своей собственной стране злоупотребления столь же отвратительные или смехотворные, как и встречаемые им в чужих краях. Надсмехаясь над другими народами, вам, пруссаки, стоит вспомнить о Шпандау; австрийцам — о Монгаче (в Венгрии) и Ольмюце; римлянам — о замке Святого Ангела; испанцам — об инквизиции; голландцам — о Батавии; французам — о Кайенне и Бастилии; даже вам, англичане, о тираническом похищении моряков; наконец, всем вам — о торговле неграми, которую, несмотря на множество революций и к стыду всего человечества, не удастся полностью искоренить³⁸.

В этом пассаже Сегюр предстает перед нами как украшенный знаком ордена Цинцинната борец за свободу и вольность. Его пламенная речь обращена к «более цивилизованным народам» Западной Европы — австрийцам, итальянцам испанцам, голландцам, французам, англичанам. Монгач в Венгрии и Ольмюц в Моравии упоминаются лишь постольку, поскольку они приносят бесславию австрийцам, так же как Батавия (на Яве) и Кайенна (в Гвиане) голландцам и французам. В России Сегюр почувствовал необходимость «обернуться и посмотреть» именно на Западную Европу со всеми ее недостатками.

Тем не менее эти недостатки не могли уравнивать Россию с другими европейскими странами в плане цивилизованности; скорее, несмотря на все свободолюбивое негодование Сегюра, они лишь подтверждали это неравенство. Западная Европа оставалась мерилom цивилизованности, на фоне которого наглядно проявлялась отсталость России; Россия, в свою оче-

редь, служила мерилom отсталости для «более цивилизованных народов». Западноевропейские страны были похожи на Россию именно благодаря своим недостаткам, вроде пресловутых символов деспотизма, Бастилии например, и особенно благодаря рабовладению и продолжающейся торговле черными невольниками. Сегюр, таким образом, рассматривал русское рабовладение в международном контексте. Оно могло со временем приблизиться к европейскому крепостному праву, но по своей природе (которая подчеркивалась употреблением самого слова «рабство») было сходно с тем рабством, которое оставалось «стыдом всего человечества». Как и африканских невольников, русских крестьян покупали и продавали. Казанова был в восхищении, обнаружив, что в России он может купить молодую рабыню, и воображал, что эта сделка была экзотическим восточным приключением; однако в XVIII веке европейцы покупали рабов во всех уголках земного шара. Мать самого Сегюра, например, родилась на Гаити в семье французских плантаторов-креолов, по всей вероятности рабовладельцев.

Сегюр, по его словам, верил, будто русские помещики и вправду обращались с их рабами неплохо; однако, как дипломатическому представителю Франции, ему приходилось протестовать против телесных наказаний в тех редких случаях, когда им подвергали французов. Однажды к нему явился избитый и обозленный повар-француз, «с красными и полными слез глазами». Безо всякой видимой причины он только что получил сто ударов кнутом по приказу могущественного русского вельможи. Сегюр решил непременно добиться «компенсации». «Я не потерплю, — заявлял он, — чтобы с моими соотечественниками, защищать которых я обязан, обращались подобным образом». Дело закончилось «смехотворнейшей развязкой»: обнаружилось, что француз был избит по ошибке — его приняли за русского повара, который, вероятно, что-то украл и бежал от своего хозяина. Таким образом, «побои, предназначавшиеся русскому повару-беглецу, достались несчастному французу»³⁹. Против того, чтобы избили русского повара, Сегюр, конечно, не возражал; размышляя об «иногда диких, иногда причудливых» проявлениях помещичьей власти в России, он в основном имел в виду те исключительные случаи, когда проявления эти по ошибке затрагивали иностранцев.

Упоминает он еще один случай, не только смехотворный, но и «несколько безумный»: одному банкиру, тоже иностранцу, сообщили, что Екатерина приказала сделать из него чучело. К счастью, вовремя обнаружилось, что она имела в виду комнатную собачку, которая только что умерла и которую звали так же, как и банкира. Сама Екатерина назвала этот эпизод «балаганом» и с удовольствием разрешила «смехотворную загадку». Сегюр тоже полагал, что ситуация «несомненно забавна (*plaisant*)», но одновременно она демонстрировала «удел тех людей, которые полагают необходимым безоговорочно подчиняться повелениям, сколь бы абсурдны они ни были»⁴⁰. Таким образом, социальный и политический деспотизм превращался в комедию, балаган, абсурд, когда его проявления случайно затрагивали западноевропейских путешественников.

Когда Екатерина была в Киеве в 1787 году, Сегюр надеялся представить ей маркиза де Лафайета, своего товарища времен американской Войны за независимость, как и он, кавалера ордена Цинцинната. Лафайет, однако, остался в Париже, ожидая созыва ассамблеи нотаблей, первого отголоска грядущей Французской революции, и Сегюр в Киеве занялся судьбой другого француза, пытавшегося скрыться от гнева одного русского генерала. Француз поступил к нему на службу в Санкт-Петербурге и вместе с генералом отправился в его поместья. Там, «вдали от столицы, на смену современному русскому пришел совершенный москвит. Он обращался с людьми как с рабами». Он избивал их без всякой причины и следовал за французом в Киев, чтобы подвергнуть его «примерному наказанию». В Санкт-Петербурге Сегюр был восхищен, обнаружив приметы, по которым в «современном русском» можно всегда отличить «древнего москвитя». В Киеве ему представилась возможность встретиться с москвитом в открытую, лицом к лицу. Он заявил генералу как французский посланник: «Я не потерплю, чтобы француза подвергали таким издевательствам», а позже без всякого сожаления сообщил, что многие годы спустя этого генерала убил его собственный крестьянин, расколов ему череп топором⁴¹. Для путешественников того века топор, конечно, всегда оставался символом примитивности русских крестьян.

Сегюр был возмущен, когда с французами обращались, как с русскими крестьянами, и ему были известны случаи, когда

француженки оказывались в роли Заиры. Он упоминает историю Мари-Фелисите Ля Риш, которая не была ни удачливой, ни богатой*, но отличалась «красотой и чувствительностью». Ее отец приехал в Россию, чтобы управлять фабрикой, фабрика прогорела, и девушка поступила в услужение в Санкт-Петербурге, оказавшись в классической ситуации Ричардсоновой Памелы. Она пыталась сопротивляться все более настойчивым ухаживаниям «коварного соблазнителя», русского офицера. В конце концов он изнасиловал ее, и она потеряла рассудок. Когда Сегюр посетил ее два года спустя в сумасшедшем доме, она по-прежнему была безумна. Он писал: «это печальное зрелище никогда не сотрется из моей памяти» и до конца жизни хранил портрет, который часто напоминал ему о трогательной Мари и ее несчастьях. Восприятие всего происшедшего как «зрелища», приобретение портрета, в сущности — безделушки, почти эротический тон, которым он повествовал о «трогательной Мари» и ее «коварном соблазнителе», выдают влияние романного жанра. Сюжет, согласно Сегюру, был основан на невероятной ошибке — с француженкой поступили, как с русской крестьянкой. Он предупреждал, что «в этой стране, где рабство считается нормой, опасность подстерегает тех, кто, рожденный иностранцем и свободным человеком, в силу несчастливых обстоятельств оказался в услужении и может по ошибке быть принят за самого подневольного раба»⁴². В стране всеобщего рабства принять за раба можно всякого, тем более что в России рабство основано не на расовых, а на менее очевидных, классовых различиях.

Сегюр почти повторил русское приключение Казановы в Кафе, в Крыму, где он был с Екатериной и Потемкиным. Крым, с XV века находившийся под властью Османской империи и аннексированный Россией лишь в 1783 году, был самой азиатской частью Восточной Европы. Чтобы «дать наглядное представление о нравах страны, где существует рабство», Сегюр упомянул историю, приключившуюся с ним в Кафе:

Неожиданно моему взору предстала молодая женщина, одетая *à l'asiatique*. Ее фигура, походка, глаза, лоб, рот, все ее черты сло-

* Игра слов: Фелисите (Félicité) по-французски означает «счастье, удача», а Ля Риш (La Riche) — богатая. --- *Примеч. пер.*

жились, с непостижимым сходством, в совершенное подобие моей жены.

Я замер на месте от удивления, сомневаясь, не сплю ли я. На секунду я поверил, что мадам де Сегюр прибыла из Парижа и кто-то, скрыв ее приезд от меня, устроил эту неожиданную встречу. Воображение мое мгновенно перенесло меня в страну иллюзий⁴³.

Сегюр был вдали от дома и, вероятно, очень скучал по жене. Возможно, именно эта тоска помогла ему поверить в иллюзию. Тем не менее «непостижимое сходство» напоминало ему, что как бы далеко от дома, на самой дальней границе Европы, он ни оказался, это по-прежнему Европа, и «экзотические наряды» Восточной Европы могли воссоздать перед его глазами «совершенное подобие» мадам де Сегюр.

Подстроивший все это Потемкин следил за Сегюром, который, в свою очередь, следил за «иллюзией». Когда женщина удалилась, Сегюр обратился к Потемкину, и между ними состоялся такой разговор:

— Сходство настолько совершенно? — спросил он.

— Совершенное и невероятное, — ответил я.

— *Eh, bien*, батюшка (*mon petit père*), — сказал он со смехом, — эта молодая черкешенка принадлежит человеку, который позволит мне распоряжаться ею по моему усмотрению. Когда вы вернетесь в Петербург, я ее вам подарю.

— Благодарю вас, — сказал я, — я не приму этого подарка и полагаю, что подобное проявление моих чувств к мадам де Сегюр показалось бы ей очень странным⁴⁴.

Этот разговор похож своей непосредственностью на тот, что состоялся за двадцать лет до этого у Казановы с его приятелем, русским офицером, когда они впервые увидели Заиру, с той лишь разницей, что черкешенка была подарком, а не товаром, а в роли офицера выступал самый могущественный человек в России. Это сходство показывает, что в основе подобных диалогов лежали стандартные восточноевропейские фантазии XVIII столетия, которые век XIX позаимствовал из мемуаров Казановы и Сегюра.

Черкесы обитали в горах Кавказа, на границе между Европой и Азией. Рабство играло немалую роль в их социальной структуре, и если молодую черкешенку обещали в подарок, она была, по всей видимости, рабыней. Трагедия Мари-Фелисите состояла в том, что ее «приняли за рабыню»; теперь же, бла-

годаря непостижимому и невероятному сходству между двумя женщинами, одной — из Западной Европы, другой — из Европы Восточной, Сегюр принял рабыню за собственную жену. С заведомой иронией отклонив подарок на том основании, что жена сочла бы его «очень странным», он показал превосходство западноевропейской цивилизации еще наглядней, чем принявший схожее предложение Казанова. На самом деле вся волнительность восточноевропейских приключений, да и возбуждение читателей были отчасти основаны на самой возможности таких предложений. В своем воображении читатель мог принять его вместе с Казановой или отклонить вместе с Сегюром, но обе возможности эти тесно связаны.

Сегюр вскоре обнаружил, что, отклонив подарок, он нанес Потемкину вполне азиатскую обиду. Француза обвинили в «показной деликатности», и ему пришлось пообещать, что впредь он больше не откажется от предложенных Потемкиным даров.

Он подарил мне маленького калмыка по имени Нагун; то была самая оригинальная китайская фигурка, какую только можно представить. Некоторое время я заботился о нем и устроил, чтобы его научили читать; но когда я возвращался в Париж, графиня Кобенцль (жена австрийского посла в Санкт-Петербурге. — *Л.В.*), которую он ужасно забавлял, с такой горячностью упрашивала меня уступить ей калмыка, что я сдался. Я до сих пор храню дома портрет этого маленького татарина⁴⁵.

Таким образом, Сегюр все-таки обзавелся маленьким рабом — возможно, одного возраста с его собственным сыном, остававшимся во Франции. У него уже было экзотическое имя, и он принадлежал к вполне определенному этносу, калмыкам, которых Сегюр, по своему усмотрению, мог называть то китайцами, то татарами. Калмыки, кочевой народ, родственник монголам, появились в Восточной Европе в XVII—XVIII веках, заселив земли к востоку от Волги и к северу от Каспия. В XX веке они образовали республику в составе СССР, а в 1944 году Сталин переселил их назад в Среднюю Азию, якобы в наказание за антисоветскую деятельность.

Принадлежавший Сегюру Нагун оказался в Санкт-Петербурге. Его уступили жене австрийского посла, точно так же как Заиру уступили итальянскому архитектору. Ценность их возросла за то время, что они были в рабстве: Казанова обучил

Заиру говорить по-итальянски, а Сегюр научил Нагуна читать. В его мемуарах не сообщается, на каком языке читал Нагун: без сомнения, это мог быть только французский. Сегюр взял с собой на память в Париж портрет маленького калмыка и хранил его, подобно портрету Мари-Фелисите. Французская девушка приехала в Санкт-Петербург, и ее изнасиловали «по ошибке», как русскую рабыню; калмыцкий мальчик был рабом, которого Потемкин привез в Санкт-Петербург для Сегюра и которого обучили языку и манерам, создав забавную пародию на французскую цивилизованность.

Когда в 1789 году Сегюр вернулся в Санкт-Петербург в сопровождении своего маленького раба, другой известный иностранец оказался в центре сенсационного сексуального скандала в русской столице. Джон Поль Джонс, знаменитый моряк, герой американской Войны за независимость, за год до того прибыл в Россию, приняв приглашение возглавить Черноморский флот в войне с турками. Он с успехом сражался в 1788 году, но на следующий год в Санкт-Петербурге был обвинен в изнасиловании несовершеннолетней молочницы. Одни источники говорят, что ей было четырнадцать лет, другие — двенадцать, и даже десять лет. Когда Екатерина выразила неудовольствие, петербургский свет объявил бойкот адмиралу, и едва ли не единственным его другом оставался Сегюр, его товарищ по ордену Цинцинната. Джонс сообщил Сегюру, что девочка у него дома сама обратилась к нему с непристойными предложениями, он отчитал ее, и тогда она с криками выбежала на улицу⁴⁶. Сегюр добился, чтобы эта версия стала известна Екатерине, и Джонс избежал военно-полевого суда. Тем не менее его карьера в русском флоте была окончена, и он вскоре покинул страну.

Версия, предложенная Сегюром, восстановила в XIX столетии посмертную репутацию Джонса в Америке и Европе, но в XX веке историк Сэмюэль Элиот Морисон усомнился в его благородной невинности. Морисон цитирует показания, данные Джонсом русской полиции, в которых тот сообщил, что часто «играл» с девочкой, что она была не прочь «сделать все, что только мужчина от нее захочет» и что он каждый раз давал ей денег. Настаивал он только на том, что не имел с ней соития и что она казалась ему старше, чем была на самом деле⁴⁷.

Как и Казанова, Джон Поль Джонс был известным женолюбом и вслед за Казановой проявил в России сексуальный интерес к несовершеннолетней девочке. Для него Восточная Европа тоже была краем, где сбываются сексуальные фантазии, хотя ему удалось претворить их в жизнь, не приобретая рабыню, а пользуясь услугами малолетней распутницы. Морскую карьеру он начал в 1760-х годах на судне, занимавшемся перевозкой рабов из Африки на Ямайку, а затем навсегда оставил эту «отвратительную торговлю»⁴⁸. Джонс мог обзавестись рабом в Санкт-Петербурге, как обзавелся Казанова за двадцать лет до того, а Сегюр — примерно в то же время, но он был слишком хорошо знаком с реалиями работорговли, чтобы приобретение невольника могло пробудить в нем какие-либо фантазии.

Джонс умер в Париже, в 1792 году, в разгар Французской революции. Как герой американской Войны за независимость, он удостоился во Франции торжественных похорон, столь отличавшихся от бойкота и опалы, которые он испытал в 1789 году в Санкт-Петербурге. Вспоминая о Джонсе, Сегюр, имевший слабость к характерным для России парадоксальным противоречиям, изумлялся тому, что «великая столица превратилась для него в пустыню»⁴⁹. Сам Сегюр тоже покинул Россию в 1789 году, получив известия о падении Бастилии, встреченные в России с энтузиазмом: «Французы, русские, датчане, немцы, англичане, голландцы на улицах поздравляли и обнимали друг друга, словно освободившись от тяжких цепей». Казалось, Санкт-Петербург и впрямь был частью Европы. Однако, когда Сегюр явился к Екатерине, чтобы откланяться, она не разделила его энтузиазма. «Лучше бы вам остаться у меня, — сказала она, — не отправляясь навстречу буре, предвидеть размах которой вы, вероятно, не можете». Она предостерегала его от «склонности к новой философии и вольности»⁵⁰. Несмотря на свою приверженность свободе и просвещенной философии, Сегюр, готовясь к отъезду, отдал в подарок своего личного раба и увез с собой во Францию на память портрет маленького калмыка. У него не было портрета черкесской девушки из Кафы, но портрета ему и не требовалось — у него перед глазами постоянно было ее «совершенное подобие». Он видел ее всякий раз, глядя на свою жену.

«ЗНАЯ МОЛДАВАН»

В 1699 году турки навсегда потеряли Венгрию, которая по условиям Карловицкого мирного договора вошла в состав империи Габсбургов. Несколько лет спустя трансильванский князь Ференц Ракоши поднял восстание против Габсбургов, был разбит и в 1711 году окончательно покинул пределы страны. Барон Франсуа де Тотт, сын одного из его сподвижников, венгр, рожденный в изгнании в 1733 году, был воспитан во Франции как настоящий француз эпохи Просвещения. Тотт стал профессиональным военным, артиллеристом, и оказался в конце концов неофициальным французским военным советником в османской армии, остро нуждавшейся в реформах. В 1770-х годах он обучал инженеров в Константинополе, был консультантом по артиллерийской части и преподавал тригонометрию во вновь учрежденной морской математической школе⁵¹. Сын своего века, он, по некоторым сведениям, учил турок отливать пушки, используя «Энциклопедию» Дидро как учебное пособие.

В своих мемуарах, написанных по-французски и напечатанных в 1785 году в Амстердаме, Тотт хвалился, что провел в Османской империи двадцать три года. Он возмущался «ложными понятиями» об этой стране, которые распространяли все предыдущие авторы; по его мнению, самое известное из этих описаний, сочинение леди Мэри Уортли Монтэгю, было и самым далеким от истины. Ее «Письма из посольства в Турцию» были лишь «кучей небылиц» и «абсурдных противоречий». Свое описание он предлагал «тем, кто ищет познаний», а не «тем, кто любит фантазировать». В философическом «предварительном дискурсе», которым открываются мемуары, он обратился к одной из важнейших проблем XVIII века, связи между климатом и формой правления, занимавшей писателей от Монтескье до Руссо. Тотт отрицал негласную аксиому своей эпохи, гласившую, что степень цивилизованности зависит от географической широты, и предлагал взамен несколько расплывчатую теорию о «зоне деспотизма». Эта зона помещалась «иногда в знойном поясе, иногда под самым полярным кругом» и предопределяла «то многообразие нравов, на котором основаны сегодняшние различия между нациями, в результате которых естественное, первоначальное сходство между че-

ловеческими обществами ныне столь заметно искажено»⁵². Таким образом, Тотт интересовался территорией, простиравшейся от полярного Петербурга до знойной Турции, и намеревался исследовать «разнообразие нравов», царивших среди населявших ее народов.

Тотт детально описал свою поездку через Восточную Европу по дороге в Турцию, где он собирался на практике приложить свои военные познания. Он покинул Париж в 1767 году и отправился в Вену, проследовал в Краков, чтобы познакомиться с Польшей, и затем — на Украину. Переправившись через Днестр, по которому проходила граница между Речью Посполитой и Оттоманской империей, он через Молдавию и Бессарабию направился в Крым, самую восточную точку его путешествия. Тотт понимал, что все страны, через которые он проезжает после пересечения польской границы, — часть одного географического целого, Восточной Европы: «Все трудности, которые я испытал в Польше из-за отсутствия продовольствия, нехватки лошадей и злонамеренности местных жителей, подготовили меня к тому, что мне предстояло терпеливо снести, продвигаясь к пункту моего назначения»⁵³. Маршрут, начинавшийся в Польше и проходивший через Украину, Молдавию, Бессарабию и Крым, отличался особенными, специфически местными «трудностями».

Именно по причине этих трудностей на оттоманской стороне молдавской границы Тотта, как многих других официальных или неофициальных посланников к султану, встретил «микмандар», или «тчоадар». Микмандар, в данном случае звавшийся Али-агой, брал на себя ответственность за лошадей, провизию и ночлег. Его обязанности состояли в том, чтобы заставить местное население снабжать путешественника всем необходимым.

С этой целью он поселил нас в довольно недурной деревеньке, сразу же принудив обитателей предоставить нам продовольствие. Одну из семей немедленно выселили, чтобы освободить нам место. Кроме того, двух овец закололи, зажарили и съели безо всякой платы. Все это, вдобавок к розданным безо всякой нужды оплеухам, начало настраивать меня против моего проводника⁵⁴.

Это — типичное приключение путешественника в Оттоманской империи XVIII века, а значит, типичный и крайне

неприятный эпизод в жизни крестьян, вынужденных предоставлять путешественнику ночлег. Во время переправы через Прут Али-ага, орудуя своей плетью, собрал три сотни крестьян на постройку плота, а затем, размахивая той же плетью, уверил Тотта, что крестьян повесят, если хоть одна булавка пропадет из его багажа во время переправы⁵⁵. Примерно в то же время, в 1760-х годах, Казанове объяснили, что в России слуг надо бить. Двадцать лет спустя в Валахии, по соседству с Молдавией, Салаберри слушал животные крики одетых в овчины крестьян, которых согнали на барщину, чтобы тащить его карету. По всей Восточной Европе путешественники могли увидеть, как крестьян подвергали принуждению и жестоким побоям. Эти принуждение и побои были знаками их рабского положения.

В своих мемуарах Тотт полностью приводит свой разговор с Али-агой об обращении с молдаванами. Философический диалог был, конечно, одной из любимых литературных форм эпохи Просвещения; ее блестяще использовали такие гиганты, как Вольтер и Дидро. Казанова описывал свое знакомство с основами рабовладения в России и Польше в неформальных, легких диалогах; Тотт, развивая ту же тему, следует правилам жанра и выводит мораль. Диалог его открывается возражениями просвещенного барона против излишней жестокости.

Барон: Ваша расторопность при переправе через Прут и прекрасная пища, которой вы нас довольствуете, не оставляли бы желать ничего лучшего, мой дорогой Али-ага, если бы вы меньше били этих несчастных молдаван или били их только тогда, когда они вас слушаются.

Али-ага: Какая им разница, когда их бьют, до или после? Не лучше ли покончить с этим сразу, не теряя времени?

Барон: Не теряя времени! Наилучшим ли образом вы его используете, избивая без причины этих несчастных, чья добрая воля, сила и покорность творят чудеса?

Али-ага: Месье, как это возможно? Говоря по-турецки, пожив в Константинополе, зная греков, вы не знаете, что молдаване не станут ничего делать, пока их не побьют?⁵⁶

Тотт пожаловался, что «куски, которые вы достаете побоями, застревают у меня в глотке», и просил разрешения впредь платить за провизию.

Его чувства в этом случае очень похожи на ощущения леди Мэри, которая, несмотря на нелестное мнение барона о ее сочинении, за полвека до того оказалась в сходной ситуации. Проезжая через Сербию, она с ужасом заметила, что составлявшие ее эскорт янычары под командой аги жестоко эксплуатировали местное население от ее имени. О своем возмущении она написала принцессе Уэльской:

Моему состраданию открылся здесь новый предмет. Бедняков, которые предоставили внаем 20 повозок, чтобы перевезти сюда наш багаж из Белграда, отправили назад без всякой платы, причем некоторые их лошади искалечены, а другие убиты, но хозяевам не заплатили. Несчастные собрались вокруг нашего дома, плача, вырывая волосы и бороды самым жалостливым образом, но не получили от бессердечных солдат ничего, кроме тумачков. Не могу описать Вашему Королевскому Высочеству, насколько я была растрогана этой сценой. Я бы заплатила им из собственного кармана, но деньги достались бы аге, так как он обобрал бы крестьян без всякого сожаления⁵⁷.

Тотт, которого мучили цивилизованная совесть и застревавшие в горле куски, тоже хотел заплатить. Он сказал Али-аге: «Успокойтесь, я заплачу достаточно, чтобы получить все самое лучшее. Этот способ более надежен, чем ваш». Али-ага возразил, что ничего не получится: «Говорю вам, вы не добудете даже хлеба! Я знаю молдаван, они любят побои».

Тотт настаивал, что откажется от обещанного султаном возмещения своих расходов, а крестьяне, в свою очередь, «откажутся от побоев, если, конечно, им заплатят». Али-ага согласился на эксперимент.

Али-ага: Вы этого хотите, и я согласен. Мне кажется, вам нужен подобный опыт, чтобы изучить молдаван как следует. Но когда вы их узнаете, помните: было бы несправедливо, если бы мне пришлось отправиться в постель без ужина. Если ваши деньги или ваше красноречие не смогут произвести должного воздействия, вы, конечно, сами захотите, чтобы я прибег к моему методу.

Барон: Быть по тому, раз мы пришли к согласию. Нужно только чтобы я встретил старосту, когда мы прибудем в деревню на ночлег, и мог по-дружески попросить у него продовольствия⁵⁸.

Путешественники эпохи Просвещения полагали, что они «знают» Восточную Европу, на чем и основано их превосходство: вся цель поставленного над местными жителями «опы-

та» состояла в «изучении молдаван». Точно так же Казанова считал, что надо съездить в Москву, чтобы «узнать русских». Этими знаниями путешественники делились с читателями Западной Европы — теми, конечно, «кто ищет познаний», а не теми, «кто любит фантазировать».

Наконец Тотт лицом к лицу встретился с деревенским старостой и обратился к нему по-турецки. Барон, естественно, гордился своими лингвистическими познаниями и полагал, что его предшественники, вроде леди Мэри, писали такую чушь именно потому, что не знали местных языков. Он применил на практике свое красноречие: «Вот, возьми эти деньги, мой друг, и купи нам провизии. Мне всегда нравились молдаване, и я не потерплю, чтобы с ними плохо обращались, так что, надеюсь, ты достанешь нам ягненка и немного хлеба. Остальные деньги оставь себе и выпей за мое здоровье». Замечательная речь, но, увы, старый молдаванин знаками показал, что не понимает по-турецки. Тогда Тотт произнес ту же речь по-гречески. Греческого молдаванин тоже не знал, и барон, при всех своих познаниях, так и не получил ужина. Более того, молдаванин стал показывать знаками, что «в деревне ничего нет, что люди умирают от голода». Тотт обернулся к Али-аге, упрекая его за то, что тот привел их в такую бедную деревню, где не было продовольствия, но Али-ага оставался невозмутим: «Чтобы доказать вам, что я лучше знаю молдаван, дайте мне с ним поговорить» — и пообещал: «Если через четверть часа у нас не будет самого превосходного ужина, можете вернуть мне все те удары, которые я ему отвешу»⁵⁹.

Спрятав под одеждой плеть, Али-ага «небрежно» подошел к старому молдаванину и дружелюбно похлопал его по плечу: «Здравствуй, дружище, как твои дела? Ты что, не узнаешь Али-агу, своего приятеля? Ну же, говори?» Молдаванин по-прежнему не понимал. Али-ага продолжал: «Что, дружище, ты и впрямь не знаешь турецкого?» Тут он одним ударом свалил молдаванина на землю и начал бить его ногами: «Получи, мошенник! Это научит тебя турецкому». И в самом деле, молдаванин заговорил по-турецки: «За что вы меня бьете? Разве вы не знаете, что мы бедные люди: наш господарь только что воздух у нас не отбирает?» Пропустив мимо ушей эти причитания, Али-ага обратился к Тотту: «*Eh bien*, месье, вы видите, что я хороший учитель! Он уже превосходно говорит по-турецки.

По крайней мере, мы можем поболтать, это уже кое-что». Вслед за этим Али-ага достал свою плеть и начал избивать старосту: «А, неверный! А, мошенник! У вас ничего нет? Ну, раз я научил тебя говорить по-турецки, значит, ты у меня скоро станешь богатым». Припасы появились через четверть часа. Тотт признал свое поражение: «Как не согласиться после этого, что мой способ ничего не стоил по сравнению со способом Али? Как не излечиться от моего упрямого человеколюбия?»⁶⁰

Тотт поставил на то, что обитатели Восточной Европы — тоже люди, и проиграл. Просвещенческий оптимизм и вера в человеческую природу не выдержали испытания Восточной Европой, и Тотт отправил на покой свое «упрямое человеколюбие». Сходным образом Казанова и Сегюр отказались в России от своих сомнений, шла ли речь о купле-продаже отдельно взятого раба или о жестоком угнетении крестьянства как класса. Как и Казанова, Тотт обнаружил, что некоторые люди не только заслуживают побоев, но и хотят, чтобы их били. В Восточной Европе путешественник из Европы Западной должен был умерить свой гуманный пыл, примеряясь к тому «многообразию нравов, на котором основаны сегодняшние различия между нациями». Это серьезное, казалось бы, открытие представлено в форме диалога между бароном и Али-агой (превращенного с добавлением нового персонажа, Молдаванина, в целую пьеску), близкого к жанру развлекательной литературы. В нем, без сомнения, есть и комедийные черты.

Али-ага, с его шутками об «обучении турецкому» и высокомерной уверенностью, что он знает молдаван лучше, чем Тотт, был, конечно, комическим злодеем. Он отчасти напоминает других восточных персонажей XVIII века, особенно турка Осмина из моцартовского «Похищения из сераля». Начиная с леди Мэри Уортли Монтэгю и кончая леди Элизабет Крэйвен, путешественникам приходилось полагаться на своих микмандаров, или тчоадаров, но эти проводники не пользовались у них популярностью. По дороге из Константинополя в Вену в 1786 году леди Крэйвен очень сердилась на «отвратительного тчоадара», обвиняя его во всех задержках. Особенно разъярилась она, когда, чтобы сварить себе турецкий кофе, он забрал горячую воду, предназначенную для ее утреннего шоколада⁶¹. Тотт, с другой стороны, оправдал своего турка, выигравшего пари, — Али-ага действительно «знал» молдаван. Что

же до самого молдаванина, Тотт признавал крайнюю бедность его односельчан, которых поистине грабил их господарь (кстати, тоже назначенный турецким султаном). Тем не менее молдаванин предстал перед читателем как комическая фигура, притворяясь, что не знает турецкого, и прикидываясь простаком, объясняющимся с помощью жестов. Тотт и себя изобразил в виде комического персонажа, наивно верящего в человеческую природу и получившего в Молдавии хороший урок. Но и отказываясь удобства ради от своего «упрямого человеколюбия», он утверждал превосходство западноевропейской цивилизованности, — ведь его оппоненту, Али-аге, отказываться было не от чего. Три действующих лица этой драмы представляли соответственно Западную Европу, Восточную Европу и Азию. Как оказалось, Западная Европа оправдывала, даже поощряла те пинки и побои, которыми Азия награждала Европу Восточную. Полученный при этом урок бесчеловечности был настолько жесток, что его пришлось выразить в форме комедии.

«МЕСТНЫЕ НРАВЫ»

Путешествия сами по себе, поиски продовольствия, лошадей и ночлега то и дело превращали путешественника по Восточной Европе в случайного соучастника и покровителя бесчеловечных угнетателей и рабовладельцев. Это случалось и в Османской, и в Российской империях. В 1778 году Кокс и его спутники собрались на один день съездить из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, но «в чужих странах постоянно возникают препятствия, неожиданные для тех, кто недостаточно знаком с местными нравами», и поездка заняла три дня вместо одного. У них была подорожная, позволявшая им брать почтовых лошадей, но скоро они обнаружили, что «иностранца ожидают бесконечные задержки, если его не сопровождает солдат, подгоняющий почтовых служителей»⁶². Хотя они и размахивали официальной бумагой, никто не спешил предоставить им лошадей. Они собирались выехать в пять утра, но отправились только через девять часов и проехали лишь четыре версты из сорока, после чего ямщики отказались везти их дальше.

Напрасно мы показывали подорожную. Они заявили, что обязаны отвезти нас только от одной деревни до другой, и без особых церемоний вернулись в Москву. Мы потратили еще два часа, и наш переводчик-богемец долго объяснялся на ломаном русском, пока мы не убедили жителей снабдить нас лошадьми, после чего нас опять высадили в другой деревне, в трех милях от предыдущей. Мы продолжали препираться подобным образом до самой полночи, передвигаясь между деревнями, которыми густо усыпана эта часть страны⁶³.

Перед нами комическая ситуация, в основе которой лежит попытка достать лошадей в России. Она напоминает попытки Тотта достать продовольствие в Молдавии за десять лет до того. В обеих комедиях появляется и элемент фарса, когда местные жители намеренно отказываются понимать путешественников. В случае с Коксом безнадежные попытки переводчика-богемца объясниться с крестьянами основаны на предполагаемом сходстве чешского и русского языков. Как и положено настоящей комедии, в конце концов наступила счастливая развязка, точно такая же, как и в молдавской комедии Тотта.

На второй день, когда они уже проехали половину пути, их встретил сержант, посланный им на выручку русским князем, после чего все проблемы с лошадьми легко разрешились.

Наш приятель сержант оказался очень хорошим агентом. Стоило крестьянам начать свои обычные возражения и препирательства, он немедленно разгонял их дубиной, более красноречивой, чем самые высокопарные увещевания. Мужланы, несомненно, привыкли к этому риторическому приему и сносили его терпеливо и вполне добродушно; взбравшись на козлы, они как ни в чем не бывало начинали насвистывать и распевать свои простонародные песни⁶⁴.

В данном случае сержант исполнял ту же роль, что и микмандар в Османской империи. Кокс признал, что «опыт предыдущего дня показал нам ценность нашего военного помощника»⁶⁵. Он получил такой же урок, как и Тотт, и созерцал избиение ямщиков с таким же равнодушием, иронично рассуждая о «красноречии» шпицрутена и отмечая «добродушие», с которым крестьяне только что не радовались побоям, даже пели и насвистывали.

Покинув наконец Москву и отправляясь в Санкт-Петербург, в более продолжительную поездку, Кокс не забыл полученного им урока об особенностях русской транспортной системы и напоминал своим читателям:

И впрямь, как я уже говорил, иностранцу, желающему путешествовать без задержек, необходимо не только обзавестись паспортом, но и раздобыть русского солдата, который, вместо того чтобы выслушивать возражения крестьян или дожидаться посредничества неторопливого почтмейстера, разом решает все вопросы своей могущественной дубиной⁶⁶.

Этот важный урок не просто облегчал путешествие, но, по словам самого Кокса, позволял просветить «тех, кто недостаточно знаком с местными нравами». Кокс делился с читателями своими благоприобретенными познаниями о русских, подобно тому как Тотт делился сведениями о молдаванах, особенно об объединявшей эти народы привычке к телесным наказаниям. Во второй раз упоминая в своем сочинении избивание дубиной, Кокс вновь описывает «склонность местных жителей к пению»: «даже крестьяне, выполнявшие обязанности кучера или почтальона, стоило им усесться на лошадь, немедленно заводили песню»⁶⁷. Могло показаться, что их избивали не чтобы получить лошадей, а чтобы послушать, как они поют.

Кокс прекрасно понимал, почему они не могли получить лошадей без помощи солдата: «Плата за наем этих лошадей настолько незначительна, что хозяева могут с большей выгодой использовать их на других работах»⁶⁸. Тотт, с другой стороны, приложил большие литературные усилия, показывая, что готов заплатить, дабы употребление плети не приняли за признак его скупости. Другие путешественники вполне откровенно описывали финансовые преимущества, которые дает участие в социоэкономической системе, где собственность крестьян была ничем не защищена. Путешествуя в 1794 году по Венгрии, Хоффманнсег был рад сэкономить: «Если путешественник располагает выданным властями ордером, каждая деревня была обязана предоставить ему лошадей. Таким образом, если вы знакомы с влиятельным чиновником, у которого можно раздобыть такой ордер, вы можете путешествовать очень дешево»⁶⁹.

Когда ради удобства путешественников требовалось прибегнуть к насилию, с этим было легче примириться, если били другие, например турецкий микмандар или русский сержант. Путешественник мог убедить себя, что побои здесь были естественны для социальных отношений и просто отражают «местные нравы». Проезжая в 1791 году через Венгрию к Валахии,

Салаберри собирался заночевать в селении под названием Лугош, близ Тимишоары:

В Лугоше мы послали нашу подорожную к комиссару этого графства, который переслал ее окружному судье. Тот был на балу и вернулся только два часа спустя. Комиссар распорядился дать ему несколько ударов палкой, судья приказал побить пандура, пандур — крестьян, а те уже сами побили своих лошадей. *Voilà!* Если посчитать, то по случаю нашего прибытия (*à notre occasion*) в Лугоше было роздано не менее полусотни ударов⁷⁰.

Путешественники чувствовали себя почти непричастными к побоям, для которых они послужили только предлогом, и развлекались комической стороной этой сцены. Количество ударов, подсчитанное Салаберри, — *voilà* — воспринималось почти как пародийное свидетельство важности самих путешественников. Несколько позднее Салаберри наблюдал, как валашский боярин бьет своего слугу, который должен был приготовить путешественникам комнату, разжечь огонь и принести солому для постели. Без тени возмущения французский маркиз описывал, что было дальше: «Раб не стал ни печальнее, ни расторопнее, поскольку здесь — это единственный способ что-то потребовать»⁷¹. Валахи были похожи на молдаван Тотта, и как только Салаберри достаточно изучил Восточную Европу, чтобы отождествить слугу с рабом, побои уже не требовали никакого объяснения.

Телесные наказания, к которым прибегали сами путешественники (например, побивший Заиру Казанова), официальные проводники (например, микмандар Тотта и русский сержант Кокса) и местные господа (например, валашский боярин), воспринимались как наглядное проявление царившего в Восточной Европе рабства. Одновременно Кокс очень интересовался состоянием тюрем и наказаниями в целом и старался замечать, как влияют телесные наказания на поддержание закона и порядка. Предшественница Екатерины, императрица Елизавета, отменила в России смертную казнь, а сама Екатерина запретила пытки. Вольтер во Франции и Уильям Блэкстоун в Англии приветствовали этот шаг, полагая, что он свидетельствует о благотворном воздействии Просвещения на уголовное законодательство. Кокс, однако, не спешил признавать достижения России в этой области. Как раз тогда стали раздаваться первые призывы отменить сибирскую каторгу и

ссылку, которым суждена была долгая жизнь, и Кокс одним из первых обратил на это внимание: «Даже самый благосклонный человек едва ли станет превозносить эту хваленую отмену смертной казни, вспомнив о том, что, хотя в соответствии с буквой уголовных законов злоумышленников в России и не приговаривают к смерти, многие из них обречены на гибель, подвергаясь наказаниям почти наверное, а то и откровенно, смертельным, подающим надежду на жизнь, но только продлевающим смерть»⁷². Подобные замечания почти в неизменном виде повторяются в XIX и XX веках.

Менее приемлемым с точки зрения современных нравов был рассказ о публичной порке в Санкт-Петербурге. Кокс описал ее во всех деталях, и «*knoot*», или «*knout*», стал с той поры символом русского варварства. История началась как обычный день из жизни туриста:

Однажды утром, прогуливаясь по улицам Санкт-Петербурга, вблизи рынка, я заметил большую толпу и, справившись, в чем дело, узнал, что все это множество людей собралось, дабы видеть, как осужденный за убийство преступник будет наказан кнутом. Хотя я, естественным образом, содрогнулся, представив, что увижу страдания подобного мне существа, любопытство взяло верх. Я пробрался сквозь толпу и залез на крышу деревянного строения, откуда мне во всех деталях открывалась панорама этого ужасного деяния⁷³.

Готовность подавить в себе «естественное содрогание» напоминала решимость других путешественников отставить в сторону «упрямое человеколюбие», если уж ты попал в общество рабовладельцев, где культура основана на физическом насилии. Благодаря натуралистичности деталей и подробности измерений, читатель тоже мог оценить открывавшийся вид:

Палач держал в руках кнут. Оружие это представляет собой жесткую полоску кожи, толщиной примерно с крону и три четверти дюйма шириной, привязанную к толстому плетеному ремню, который посредством железного кольца присоединен к небольшому куску кожи, прикрепленному, в свою очередь, к короткой деревянной рукоятке.

Палач... наносил удары плоской стороной кнута поперек обнаженной спины преступника в шести или семи дюймах один от другого, двигаясь от шеи к поясу. Они начинались с правого плеча и продолжались параллельно друг к другу до левого плеча. Палач не останавливался, пока не нанес 333 удара, как предписано приговором⁷⁴.

Кокс добавил, что в заключение ноздри преступника вырвали клещами, на лицо нанесли клеймо. Теперь он был готов к отправлению в сибирские рудники.

Сидя на крыше, Кокс очень смутно представлял себе «ужасы» Сибири, а значит, не мог измерить и описать их с такой же наукообразной точностью, как наказание кнутом. Мишель Фуко пишет о постепенном изменении наказаний в XVIII веке, от весьма впечатляющей казни покушавшегося на цареубийство Дамьена в 1757 году (где клещи сыграли такую важную роль) до более «цивилизованной» и «современной» исправительно-тюремной дисциплины с доступными постоянному наблюдению камерами и детальным распорядком дня. Зрелище, которое Кокс наблюдал в Санкт-Петербурге, было типичной публичной казнью Старого Режима; однако просвещенный взор описывающего это зрелище путешественника вносил в повествование элементы научного анализа (Фуко называет это «микрофизикой» власти), фиксируя толщину ремня, направление и точное число ударов.

Кокс, кажется, осознавал, что предложенный им рассказ был чересчур натуралистичен, и потому предложил несколько неуклюжее оправдание: «Я пересказывал увиденное мною с такими подробностями, потому что многие авторы допускали ошибки, описывая наказание кнутом». Несмотря на это, трудно не заметить хищное возбуждение Кокса, который живописал обнаженную спину преступника с такой же грубой прямо-той, с какой читателям Казановы предлагалось последовать за его пальцами, проверявшими девственность вновь приобретенной рабыни. Однако во время этого осмотра Заира была зажата между ляжками Казановы, тогда как Кокс наблюдал за кнутобойцем с крыши. Как мог он узнать, что кожаная полоса была «толщиной с крону и три четверти дюйма в диаметре»? В специальном примечании к тексту он заверял читателя, что это действительно «точные параметры» кнута, который он «раздобыл» в России и который теперь стал его собственностью. Так и хочется представить, как Кокс пишет свое сочинение, — он откладывает перо, берет в одну руку кнут и линейку — в другую:

Длина кожаной полосы 2 фута; ширина на конце 1/4 дюйма; у основания 1/2. — Толщина 1/8. — Длина плетеного ремня 2 фута. — Его окружность 2 и 1/2 дюйма. — Диаметр кольца 1 дюйм и 3/8. —

Длина кожаной пружины 1 дюйм и 1/2. — Длина рукоятки 1 фут, 2 и 1/2 дюйма. — Длина всего кнута 5 футов 5 дюймов и 3/8. — Вес 11 унций⁷⁵.

Кнут измерен самым тщательным образом. Хотя полученные сведения и попали только в примечание, Кокс не мог вовсе опустить их в окончательном тексте, — быть может, подобно ему, читатель найдет их любопытными.

Его книга была издана в 1784 году; в том же году маркиза де Сада перевели из башни Венсенского замка в Бастилию. В «Истории Жюльетты» один из героев, побывав в Сибири, приобрел привычку к самобичеванию, утверждая, что «эта привычка настолько затягивает, что попавшие от нее в зависимость уже не могут обходиться без порки». В сочинении Сада мы встречаем и Екатерину, конечно с кнутом в руке, и садистское примечание, в котором описывается этот инструмент, выглядит почти пародией на соответствующее примечание у Кокса:

Плеть выделана из бычьего органа; к нему приделаны три ремня из лосины. Кровь выступает от одного удара: эти орудия крайне удобны для тех, кто активно или пассивно наслаждается бичеванием. Чтобы повысить действенность, ремни снабжают металлическими наконечниками; это позволяет снимать мясо почти безо всякого усилия; сотни ударов, нанесенных старательной рукой, достаточно, чтобы убить любого. Такие плетки, с наконечниками или без, есть у всякого сладострастного русского⁷⁶.

Точно такая же плеть была у английского священника Уильяма Кокса. Сегюр привез в Париж портрет французской девушки, которую изнасиловали в России, и калмыцкого мальчика, ставшего его личным рабом. Кокс обзавелся в Восточный Европе менее сентиментальным сувениром.

«НЕСЧАСТНЫЕ, ОТВЕРЖЕННЫЕ РАБЫ!»

«Личная зависимость, в которой в Польше содержатся низшие классы, есть не что иное, как рабство, — писал Джозеф Маршалл в 1772 году в отчете о своем путешествии, — сродни деспотической власти, которую плантаторы в Вест-Индии имеют над своими африканскими рабами. По сравнению с ними, угнетение, которому подвергаются русские крестьяне,

кажется полной свободой». В то же время Маршалл полагал, что крестьяне в России находятся «почти в таком же положении, как чернокожие на наших сахарных плантациях». Он даже считал, что до вступления на трон просвещенной Екатерины «они были более порабощены, чем поляки»⁷⁷. Вопрос о том, в какой именно восточноевропейской стране положение рабов было тяжелее, оставался сложной теоретической проблемой, но Маршалл наконец высказал прямо то, на что другие только намекали: рабское состояние крестьян в Восточной Европе ничем не отличалось от положения черных рабов в Западном полушарии.

Отчет Маршалла о своих похождениях в различных европейских странах, включая Россию, Украину и Польшу, представляет собой необычную (хотя и не уникальную) главу в истории этого жанра. Нам известно о Маршалле крайне мало; то немногое, что мы знаем, позволяет предположить, что его путешествия являются плодом воображения. Джон Паркинсон, посетивший Россию в 1790-х годах, слышал в Стокгольме «примечательные истории» о Маршалле, который «издал описание своих путешествий в разных частях Европы, ни разу в жизни не побывав на Континенте»⁷⁸. Если его сочинение было и вправду выдумкой и фальшивкой, то этот случай наглядно демонстрирует, насколько благоприятную почву для авторской фантазии предоставляла Восточная Европа. Маршалл, кстати, очень интересовался почвами, представляясь как английский землевладелец, увлекшийся научной агрономией и путешествующий по Европе в познавательных целях. Он поэтому был особенно озабочен положением русских крестьян; его наблюдения, однако, свелись к ряду общих мест, вероятно позаимствованных из сочинений других путешественников. Не без некоторой оригинальности он уверял, что привез в Нортгемптоншир не кнут, а огромную украинскую картофелину размером с литровую бутылку, надеясь, что она приживется на английской почве.

Маршалл заверял, что в России ему всюду предоставляли лошадей; у него был «военный приказ крестьянам снабжать его всем необходимым» и эскорт из пяти солдат, «каждый из которых был вооружен палашом, парой пистолетов и карабином». Таким образом, ему были обеспечены и личная безопасность, и крестьянские лошади, но, к неудовольствию Маршалла, сол-

даты имели склонность избивать попадавших к ним на глаза крестьян: «Я унял это своеволие, показавшее мне, как управляется Россия». Правителей ее он считал «самыми неограниченными в Европе», полагая, что «все состояния равно являются не подданными, но рабами Императрицы». Это было очевидно уже из системы наказаний, поскольку «даже самых знатных дворян могут высечь кнутом, то есть запороть насмерть». Другие виды казни включали «вырезание языков, подвешивание за ребра и прочие упражнения в варварстве, которые показывают всю жестокость деспотизма»⁷⁹. Таким образом, рабство и телесные наказания, варварство и деспотизм оказались звеньями одной цепи. В 1748 году Монтескье в своем «Духе законов» указал на связь между рабством и деспотизмом, ставшую одной из центральных идей Просвещения: «В деспотически управляемых странах, которые уже находятся в состоянии политического рабства, рабство экономическое более терпимо, чем в странах с другим образом правления», поскольку там «положение раба и положение подданного одинаково обременительны». Маршалл согласился с этой теорией и, увлекшись вслед за Монтескье изобретением политических классификаций, начал перечислять «страны чистого деспотизма, вроде России, Турции, Персии и так далее»⁸⁰. В этом случае и рабство, и деспотизм в России приобретали столь характерные для Восточной Европы азиатские черты.

Маршалл рассуждал о том, как изменилась под влиянием рабства демографическая ситуация в России по сравнению с «самыми западными странами Европы». Хотя Россия и оказалась «более заселенной, чем я ожидал», в противоположность «распространенному мнению, что эта страна представляет собой пустыню», она все равно была «заселена очень скудно». Подобные замечания, как и всепоглощающий интерес к сельскому хозяйству, выдавали в Маршалле сторонника физиократических теорий XVIII века. Рост населения был необходим для развития сельского хозяйства, которое, в свою очередь, было единственной основой подлинного процветания и экономической мощи. Маршалл писал о необъятных размерах России, просторы которой «привели бы в изумление» обитателей «западных областей Европы», и видел только один способ заселить эту территорию: «Следует распространить свободу, разорвать рабские узы низших классов и разрешить всякому, кто пожела-

ет, становится земледельцем»⁸¹. Речь шла не о гуманитарных эмоциях, а об экономической необходимости.

Маршалл полагал, однако, что всеобщее освобождение недостижимо, поскольку русские крестьяне «столь привычны к рабству». Вместо этого он предсказывал неизбежные миграции внутри самой Восточной Европы. Маршалл заметил, что в Польше, где общественные связи ослаблены кризисом (который вскоре закончился территориальным разделом страны), «дворяне обращаются с крестьянами как с рабами в самом крайнем смысле этого слова. Когда разразится всеобщее смятение, они, конечно, сразу разбегутся»⁸². По его собственным словам, он был поражен количеством поляков, которые «стремились бежать из бедствующей Польши» в прусскую Силезию. Он думал, что Польша, должно быть, «поразительно малонаселенна», оценивая потери населения в «несколько миллионов человек» и предсказывая, что страна «превратится в пустыню». Богемия, конечно, входила в состав Священной Римской империи и была потому описана в главе «Путешествие через Германию». Тем не менее Маршалл утверждал, что крестьяне там «подвергаются злодейскому обращению», «во всех отношениях напоминая [крестьян] в Польше, с которыми обращаются ничуть не лучше». Таким образом, Богемия, Польша и Россия, вместе взятые, представляли собой край злейшего социального угнетения, истинного рабства, напоминающего Вест-Индию. Рабам на карибских островах было некуда бежать, тогда как, по мнению Маршалла, даже малейшая надежда на улучшение их положения способна как магнитом притянуть восточноевропейских крестьян. Если б Екатерина убедила их покинуть «Польшу с ее беспорядками и Турцию с ее угнетением», она могла бы превратить окружающие области в «пустыню», а свою империю в физиократическую утопию, государство трудолюбивых земледельцев⁸³.

Уильям Ричардсон провел в России четыре года, с 1768 по 1772-й, как раз тогда, когда там якобы побывал Маршалл. Ричардсон сопровождал лорда Чарльза Кэткарта, английского чрезвычайного посланника при дворе Екатерины, исполняя одновременно обязанности его секретаря и наставника его сыновей⁸⁴. Последующий период своей жизни он провел в Глазго, преподавая гуманитарные предметы в тамошнем университете, и потому его «Анекдоты о Российской империи»,

изданные в Лондоне в 1784 году, пестрят учеными цитатами из классических авторов. Описывая русские холода и сравнивая русских с древними скифами, он ссылаясь на Вергилия и утверждал, что замечания Тацита о древних германцах «вполне применимы к русским», чьи овчины, бороды и топоры выдают их варварство⁸⁵. Пересекая в 1768 году Балтику по дороге в Санкт-Петербург, Ричардсон у самого входа в Финский залив увидел «дикий, темный, неприветливый остров, первый образчик русских владений». В 1772 году, стоило ему подняться в Кронштадте на отплывающее домой английское военное судно, как у него «забилося сердце» и «потекли слезы». «Опершись о борт и размышляя о Британии», он почувствовал «неописуемое волнение»⁸⁶. Морское путешествие позволяло мгновенно перенестись из Восточной Европы в Европу Западную и наоборот, лишая путешественников возможности расставаться с Европой постепенно, пересекая сначала занимавшую промежуточное положение Польшу и обсуждая сравнительную беспросветность российского и польского рабства. Тем не менее Ричардсон, чьи мысли были заняты классическими авторами, а сердце — Англией, не уступал Маршаллу своим вниманием к проблемам рабства и своей готовностью порассуждать о его последствиях.

В июне 1769 года Ричардсон с интересом наблюдал прохождение Венеры через солнечный диск; одновременно его занимали и более земные проблемы, например «Состояние сельского хозяйства в России». Этот предмет волновал его гораздо меньше, чем Маршалла, но Ричардсон полагал себя достаточно квалифицированным, чтобы объявить маленькую русскую соху «поистине смехотворным предметом». Он счел себя вправе заключить, что «сельское хозяйство в России все еще находится в младенческой стадии, по причине рабского положения крестьян». «Младенческая стадия» была синонимом отсталости, и Ричардсон обычно описывал русских как «бородатых младенцев». «Бородатые простаки», то есть крестьяне, «даже развлекались по-младенчески»⁸⁷. Отсталость и рабство были связаны между собой, подчеркивая различия между уровнем цивилизованности в Восточной и Западной Европе и дополняя другое сочетание, рабства и деспотизма, характерное и для Восточной Европы, и для Востока как такового. С точки зрения политического устройства Ричардсон причислял Россию к «ве-

ликим азиатским империям». Она приобрела под влиянием Петра «некоторое сходство с другими европейскими государствами», но могла в любой момент «вернуться к прежнему азиатскому состоянию». Проводя свой сравнительный анализ, Ричардсон противопоставлял не Европу и Азию, а, скорее, русское рабство и «феодальную систему, возникшую на западе Европы»⁸⁸.

Свое сочинение «Рабское положение русских крестьян» Ричардсон предварил пожеланием сохранять должную перспективу:

Житель Британии, повествуя об этой стране другим англичанам, не может не выразить те мысли и чувства, которые естественным образом возникают при сравнении образа правления в ней и в других странах.

В России крестьяне, то есть большая часть подданных, находятся в удручающем рабстве. Их считают такой же собственностью господ, как лошади и собаки⁸⁹.

Удручающее положение рабов в Восточной Европе познавалось в сравнении с Европой Западной. Ричардсон объяснил, что у русских крестьян нет никакой собственности, поскольку все, чем они обладают, может «захватить их хозяин». Крестьянина можно продать и купить, и даже обменять на «собаку или лошадь». Рабское положение выражалось и в том, что «владелец может подвергнуть своих рабов любому наказанию, какому пожелает». Ричардсон слышал о женщине в Москве, которая, по слухам, убила более семидесяти своих рабов, используя «прижигания» и «другие варварские способы»; она «развлекалась, изобретая как можно более причудливые и необычные наказания». Другая заставляла своих рабов-калмыков «служить ее причудам» (хотя и не столь жестоким), вслед за Сегюром обучив их грамоте и заставляя «читать у ее изголовья, пока она не заснет, и все время, что она спит»⁹⁰. Если русские «развлечения» были варварскими, причудливыми или младенческими, то сам Ричардсон развлекался, повествуя о русских нравах. В одном письме, например, он предсказывал, что русская система образования «доставит некоторое развлечение» его корреспонденту, выпускнику Итона; в другом — обещал англиканскому священнику «очерки нравов этой страны, которые вызовут у вас улыбку»⁹¹.

Подобно Коксу, Ричардсон присутствовал при публичной порке кнутом, причем собралась такая толпа, что он не смог увидеть саму жертву. «Через равные промежутки времени над толпой вздымался бич; через равные промежутки времени повторялись удары; и за каждым ударом следовал низкий сдавленный стон страдания»⁹². Эта сцена явно щекотала Ричардсону нервы, и он был готов живописать звуковые эффекты с не меньшим возбуждением, чем Кокс — обнаженную спину преступника. Увиденная им жестокость заставила Ричардсона задуматься о том, как влияло рабство на русский национальный характер.

Подвергаемые телесным наказаниям, поставленные на один уровень с лишенными разума животными, могут ли они обладать тем духом и той возвышенностью чувств, которые отличают жителей свободных государств? Если с ними обращаются столь бесчеловечно, могут ли они быть гуманны? Я уверен, что большинство недостатков, заметных в их национальном характере, порождены деспотизмом русского государственного устройства⁹³.

Таким образом, рабство и деспотизм мешали не только сельскохозяйственному, но и эмоциональному развитию России. Упоминание о «возвышенности чувств» приводит на ум другого Ричардсона, Сэмюэля, автора «Памелы» и «Клариссы», произведшего в Англии и во Франции настоящую сентиментальную революцию. В отличие от многих других путешественников и обозревателей, Уильям Ричардсон был особенно обеспокоен тем, что в России господа могут принудить своих крестьян к браку.

Браки такого рода не могут приносить счастья. Ни муж, ни жена не будут усердны в сохранении супружеской верности: оттого низшие классы так неправдоподобно разнузданны. В подобных обстоятельствах не приходится ожидать от них особой заботы о детях⁹⁴.

Для Ричардсона и чувства стали мерой цивилизованности. Он развивает эту тему в своих «Замечаниях на последствия деспотизма», где мотивы из Лукреция переплетаются с британским взглядом на эту проблему:

Испытываешь некоторое удовлетворение, вспоминая, что, тогда как другие нации стонут под ярмом рабства, жители наших сейчас

тливых островов наслаждаются истинной свободой более, чем любая из ныне существующих или когда-либо существовавших наций. В прочих же отношениях созерцать угнетенное и страдающее человечество, размышляя о несчастьях и нравах рабов, не слишком приятно. Несчастные, отверженные рабы!⁹⁵

«Некоторое удовлетворение» подобного рода мог испытывать всякий путешественник, познающий превосходство собственной цивилизации, сопоставляя ее с Восточной Европой. Ричардсон тем временем продолжает свой сентиментальный анализ русского рабства:

Несчастные, отверженные рабы, которым отказано в правах человека, едва ли не в правах разумных существ! Они обязаны трудиться, терпеть трудности и самые тяжкие страдания... От самого рождения они во власти хищных властителей, которые могут их продавать, истязать или употреблять на любых работах по своему усмотрению. У них нет собственности, нет дома, нет ничего, что их горделивые господа не могли бы захватить и объявить своим. Конь или бык выбирает себе подругу в соответствии со своими склонностями; русские лишены и этой привилегии. Лишь только они достигнут зрелости, их могут насильно женить на любой женщине по выбору собственника, чтобы, продолжая плодить рабов, они сохраняли и множили его доход. В подобных семьях нет ни супружеского счастья, ни родительской или сыновней привязанности. Не может быть верности там, где муж и жена ненавидят друг друга или друг к другу равнодушны. Муж не заботится о детях, мать не всегда привязана к ним, бедный безвинный малютка совсем заброшен... Те, кто выживают, едва ли лучше дикарей. В ранние годы нежная привязанность не смягчила их сердца, не придала им человечности⁹⁶.

В финальном пассаже о лишенном «нежной привязанности» в «ранние годы» «бедном безвинном малютке» Ричардсон подводит итог пагубным последствиям рабства на основании недавно предложенной Руссо теории о сентиментально-мистическом значении детства. Чувствительность, недостаток которой лишает ребенка «человечности», делает его «дикарем», становится основным мерилom цивилизованности.

Если Маршалл сравнивал русских крестьян с «неграми на наших сахарных плантациях», то Ричардсон предложил сравнение с перуанскими инками. Сцены угнетения, которые он «слишком часто наблюдал», подвигли его на сочинение поэмы об ужасах рабства: «Так, благодаря иберийцу, безвинные племена перуанских джунглей *обрели человеческие черты*»⁹⁷. Кур-

сив в данном случае подчеркивал саркастический тон предложения, поскольку Ричардсон полагал, что порабощение эти черты стирает: «Эти бедняги, эти несчастные, которых покупают и продают, бьют, заковывают в кандалы, непрестанно погоняют, в конце концов теряют все человеческое»⁹⁸. Они могли и не ощущать последствий своего эмоционального отупления, становясь безразличными родителями и супругами. Описывая положение рабов, Ричардсон обращался не к ним самим, а к своим английским читателям, способным оценить важность супружеской и сыновней привязанности. Когда в XIX веке Гарриет Бичер-Стоу описала ужасы рабовладения в «Хижине дяди Тома», она взывала к сознанию современников, используя те же самые темы: разлучение жен и мужей, родителей и детей.

От «Замечаний на последствия деспотизма» Ричардсон перешел к «Национальному характеру русских». Их главный недостаток — не в отсутствии эмоций, поскольку, как он сам признавал, «они чувствуют очень живо». Проблема в том, что русские не могут разумно формулировать «общие правила поведения» (такие, например, как обязательность супружеской и сыновней привязанности) и управлять своими «переменчивыми эмоциями». Согласно Ричардсону, русские не знали меры в страсти и обмане, насилии и отчаянии, проявляя таким образом свою «крайнюю чувствительность, непокорную и неподвластную разуму». Русские «редко предвидят будущее или оглядываются назад», становясь поэтому «бородатыми детьми, подвластными лишь данному мгновению». Без помощи «настойчивого иностранца», который бы «воспользовался их временным воодушевлением», в России никогда не произойдет «великих перемен»; в армии «неуправляемую чувствительность» нужно «исправлять» посредством «строгой дисциплины»⁹⁹.

Тем не менее подлинное преображение национального характера русских возможно только в том случае, если они «приобретут полную личную безопасность и безопасность своей собственности», то есть если рабство будет уничтожено. «Бессмертной будет слава того монарха, который восстановит двадцать миллионов человек в правах разумных и рациональных существ», — писал Ричардсон; однако он не советовал Екатерине гнаться за подобным бессмертием. Освобождение должно быть долгим и постепенным, в противном случае «множе-

ство грабителей и насильников обрушится на человечество». По мнению Ричардсона, «прежде чем рабы получают полную свободу, они должны научиться осознавать, ценить и использовать это благо». Век Просвещения придерживался неоднозначных взглядов на проблему рабства, о какой части света ни шла бы речь, и Ричардсон с его колебаниями был вполне сыном своего времени. «Я заканчиваю свои утопические рассуждения, — подводил он итог, — и лишь надеюсь, что та малая доля человечества, которая наслаждается истинной свободой, будет ее хранить и использовать должным образом». Обнаружив в Восточной Европе рабство, путешественник еще раз осознал превосходство собственной цивилизации. Ричардсон покинул Россию в 1772 году, убедившись, что русские могли бы стать «уважаемой нацией», если бы удалось «научить их действовать на основании твердых принципов»¹⁰⁰.

Сочинение Кокса было издано в 1784 году, в один год с книгой Ричардсона. Оценивая «настоящее состояние цивилизованности в Российской империи», Кокс сообщал, что разочаровался в надеждах, вызванных было петровскими реформами.

Хотя эта нация, в сравнении с прошедшими временами, и достигла больших успехов на пути совершенствования, все же преувеличенные рассказы о распространившейся по всей империи цивилизованности, которые я слышал и читал, заставили меня ожидать более утонченных манер, и, должен признаться, я был изумлен варварством, в котором большинство населения до сих пор пребывает¹⁰¹.

Сравнение «манер», таким образом, позволяло вообразить шкалу сравнительной цивилизованности, шкалу «успехов на пути совершенствования», измеряя достижения наций относительно их собственного прошлого и других народов. «Распространение цивилизации среди многочисленного и рассеянного на большом пространстве народа, — писал Кокс, — не может быть минутным делом и достигается только благодаря постепенным и почти нечувствительным улучшениям»¹⁰².

Чтобы разглядеть цивилизованность, путешественник должен знать ее внешние признаки. Одной из самых известных деталей петровской легенды была его борьба с бородами. Кокс, как и многие другие, писал о бородах. Они привлекали такое внимание, поскольку предполагалось, что Петр давным-давно заставил всех русских с ними расстаться: «Несмотря на издан-

ные Петром I строжайшие указы, большинство жителей по-прежнему носят бороды и не меньше, чем их предки, привязаны к этому патриархальному обычаю». Из этого следовало, что «крестьяне, образующие большую часть нации, почти столь же несведущи в искусствах, как и до царствования Петра». Манеры могут быть более или менее утонченными в зависимости от общественного положения, но главным проявлением недостатка цивилизованности у крестьян была их неискушенность в технологических «искусствах», их скифские топоры и смехотворно маленькая соха. В известном смысле Кокс уравнил крестьян с этими примитивными орудиями, описав людей как «частную собственность землевладельцев, подобную сельскохозяйственным приспособлениям или стадам скота»¹⁰³.

Вслед за Ричардсоном, полагавшим, что рабство мешает любому усовершенствованию русского национального характера, Кокс был твердо уверен, что оно прежде всего препятствует распространению цивилизованности.

Легко увидеть, что, хотя и продвигаясь к цивилизованности, они все еще далеки от нее. Не может быть общего усовершенствования, пока большинство пребывает в полном подчинении, и никаких действительных перемен не произойдет в нравах этой нации, пока народ не обретет полную личную безопасность и безопасность своей собственности¹⁰⁴.

Эта последняя фраза очень похожа на вывод, сделанный Ричардсоном. По-видимому, к 1784 году они с Коксом пришли к единому мнению о рабстве и цивилизованности в Восточной Европе. Когда путешественники, вслед за Коксом, вопрошали: «Как можно назвать цивилизованной страну, где все еще существует рабство?» — в вопросе этом всегда был оттенок самодовольства¹⁰⁵.

¹ *Casanova Giacomo*. History of My Life. Trans. Willard Trask, Vol. 10 (London: Longman, 1971). P. 99.

² *Ibid.* P. 110—112.

³ *Ibid.* P. 112—113.

⁴ *Palmer R.R., Colton, Joel*. The Transformation of Eastern Europe, 1648—1740 // A History of the Modern World, 3rd. Ed. (New York: Alfred A. Knopf, 1965). P. 174; см. также: *Blum Jerome*. The Rise of Serfdom in Eastern Europe. American Historical Review 62, no.4 (July 1957): 807—836.

⁵ *Casanova*. History of My Life. P. 159.

⁶ Documents of Catherine the Great: The Correspondence with Voltaire and the Instruction of 1767. Ed. W.F.Reddaway (1931; New York: Russel à Russel, 1971). P. 159.

⁷ *Casanova*, History of My Life. P. 135.

⁸ *Ibid.* P. 114—116; *Casanova Giacomo*. The Life and Memoirs of Casanova, Vol. I, trans. Arthur Machen. Ed. George Dunning Gribble (1929; reprinted New York: Da Capo, 1984). P. 320.

⁹ *Casanova*. History of My Life. P. 114—115.

¹⁰ *Ibid.* P. 114—116.

¹¹ *Ibid.* P. 119.

¹² *Casanova*. The Life and Memoirs. P. 139.

¹³ *Casanova*. History of My Life. P. 120.

¹⁴ *Ibid.* P. 130.

¹⁵ *Ibid.* P. 118.

¹⁶ *Ibid.* P. 121.

¹⁷ *Ibid.* P. 121—122.

¹⁸ *Sade*, Juliette. Trans. Austryn Wainhouse. New York: Grove Press, 1968. P. 891.

¹⁹ *Casanova*. History of My Life. P. 124—125.

²⁰ *Ibid.* P. 125.

²¹ *Ibid.* P. 127.

²² *Ibid.* P. 129—130.

²³ *Ibid.* P. 131.

²⁴ *Ibid.* P. 138—142.

²⁵ *Ibid.* P. 132.

²⁶ *Ibid.* P. 133.

²⁷ *Ibid.* P. 154.

²⁸ *Ibid.* P. 156.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* P. 177.

³² *Ibid.* P. 202.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Séjour, Louis-Philippe, comte de*. Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Séjour. Vol. I // Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de France: pendant le 18e siècle. Vol. XIX. Ed. M.Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859. P. 300, 329.

³⁵ *Ibid.*, I. P. 331.

³⁶ *Ibid.*, I. P. 432.

³⁷ *Ibid.*, I. P. 343.

³⁸ *Ibid.*, I. P. 345.

³⁹ *Ibid.*, I. P. 338—340.

⁴⁰ *Ibid.*, I. P. 341—343.

⁴¹ *Séjour, Louis-Philippe, comte de*. Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Séjour. Vol. II // Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de France: pendant le 18e siècle. Vol. XX. Ed. M.Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859. P. 9—10.

⁴² *Ibid.*, I. P. 336—337.

⁴³ *Ibid.*, II. P. 79.

⁴⁴ *Ibid.*, II. P. 80.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid., II. P. 165—168.

⁴⁷ *Morison Samuel Eliot*. John Paul Jones: A Sailor's Biography (1959; New York: Times Incorporated, 1964). P. 338—393.

⁴⁸ Ibid. P. 13.

⁴⁹ Ibid. P. 406—409; *Ségur*, II. P. 166.

⁵⁰ *Ségur*, II. P. 170, 178.

⁵¹ *Lewis Bernard*. The Emergence of Modern Turkey, 2nd ed. Oxford: Oxford Univ. Press, 1968. P. 48—49.

⁵² *Tott François de*. Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartars. Amsterdam, 1785. Discours préliminaire. P. vii—xxi; *Tott*. Première partie (I). P. 5.

⁵³ *Tott*. Second partie (II). P. 6; см. также: *Vernois A.M.F. Verdy du*. Essais de Géographie, de Politique, et d'Histoire sur les possessions de l'Empereur des Turcs en Europe: pour servir de suite aux Mémoires du Baron de Tott. London, 1785.

⁵⁴ *Tott*, II. P. 11.

⁵⁵ Ibid., II. P. 12—13.

⁵⁶ Ibid., II. P. 14—15.

⁵⁷ *Montagu Lady Mary Wortley*. The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu. Ed. Robert Halsband. Vol. I (1708—1720). Oxford: Clarendon Press, 1965). P. 311.

⁵⁸ *Tott*, II. P. 17.

⁵⁹ Ibid., II. P. 18—20.

⁶⁰ Ibid., II. P. 21—23.

⁶¹ *Craven Elizabeth*. A Journey Through the Crimea to Constantinople: In a Series of Letters from the right Honourable Elizabeth Lady Craven, to His Serene Highness the Margrave of Brandebourg, Anspach, and Bareith, Written in the Year MDCCLXXXVI. Dublin, 1785; reprinted New York: Arno Press and New York Times, 1970. P. 372, 382.

⁶² *Coxe William*. Travels in Poland and Russia.

⁶³ Ibid., I. P. 391.

⁶⁴ Ibid., I. P. 392—393.

⁶⁵ Ibid., I. P. 392.

⁶⁶ Ibid., II. P. 74.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid., I. P. 390.

⁶⁹ *Antalfy Gyula*. A Thousand Years of Travel in Old Hungary, trans. Elisabeth Hoch. Hungary: Kner, 1980. P. 198—201.

⁷⁰ *Salaberry d'Irumberry Charles-Marie, marquis*. Voyage à Constantinople, en Italie, et aux îles de l'Archipel, par l'Allemagne et la Hongrie. Paris: Imprimerie de Crapelet, 1799. P. 89.

⁷¹ Ibid. P. 95.

⁷² *Coxe*. Travels in Poland and Russia, III. P. 116—117; see also *Cross Anthony*. The Philanthropist, the Travelling Tutor, and the Empress: British Visitors and Catherine II's Plans for Penal and Medical Reform // Russia and the World of the Eighteenth Century, eds. R.P. Barlett, A.G. Cross, and Karen Rasmussen. Columbus, Ohio: Slavic Publishers, 1988. P. 214—228.

⁷³ III. P. 110.

⁷⁴ Ibid., 110—111.

- ⁷⁵ Ibid.
- ⁷⁶ *Sade. Juliette*. P. 882, 885.
- ⁷⁷ *Marshall Joseph*. *Travels Through Germany, Russia, and Poland in the Years 1769 and 1770*. London, 1772: rpt. New York: Arno Press and New York Times, 1971. P. 126, 167, 243.
- ⁷⁸ *Parkinson John*. *A Tour of Russia, Siberia, and the Crimea, 1792—1794*, ed. William Collier. London: Frank Cass, 1971. P. 11.
- ⁷⁹ *Marshall*. P. 142, 174, 151.
- ⁸⁰ *Montesquieu Charles Secondat, baron*. *The Spirit of the Laws*. Trans. Thomas Nugent. New York: Hafner, 1949. Vol. I. P. 235; 3.
- ⁸¹ *Marshall*. P. 146, 196.
- ⁸² Ibid. P. 188.
- ⁸³ Ibid. P. 122, 270—271, 308.
- ⁸⁴ *Seven Britons in Imperial Russia 1698—1812*. Ed. by Peter Putman. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1952. P. 125—140; and «Richardson, William», *Dictionary of National Biography*. Oxford Univ. Press. Vol. XVI. P. 1139.
- ⁸⁵ *Richardson William*. *Anecdotes of the Russian Empire: In a Series of Letters Written, a Few Years Ago, from St. Petersburg*. London, 1784; rpt. London: Frank Cass, 1968. P. 51—54, 203—206.
- ⁸⁶ Ibid. P. 6, 475.
- ⁸⁷ Ibid. P. 68—70, 215, 247.
- ⁸⁸ Ibid. P. 374—375; see also *Venturi Franco*. *From Scotland to Russia: An Eighteenth-Century Debate on Feudalism*, In *Great Britain and Russia in the Eighteenth Century: Contacts and Comparisons*. Ed. Anthony Cross. Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1979. P. 2—24.
- ⁸⁹ *Richardson*. P. 193.
- ⁹⁰ Ibid. P. 193—196, 222.
- ⁹¹ Ibid. P. 39, 417.
- ⁹² Ibid. P. 233.
- ⁹³ Ibid. P. 197.
- ⁹⁴ Ibid. P. 199.
- ⁹⁵ Ibid. P. 239.
- ⁹⁶ Ibid. P. 240—241.
- ⁹⁷ Ibid. P. 242—243.
- ⁹⁸ Ibid. P. 241.
- ⁹⁹ Ibid. P. 244—249.
- ¹⁰⁰ Ibid. P. 253—254, 453; and *Davis David Brion*. *The Problem of Slavery in Western Culture*. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press, 1966. Chapter XIII.
- ¹⁰¹ *Coxe*. *Travels in Poland and Russia*. III. P. 135.
- ¹⁰² Ibid., III. P. 135.
- ¹⁰³ Ibid., III. P. 134—135, 152—153.
- ¹⁰⁴ Ibid., III. P. 158.
- ¹⁰⁵ Ibid., III. P. 156.

Глава III

ВООБРАЖАЯ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ: ЛИТЕРАТУРА, ФАНТАЗИЯ И ВЫМЫШЛЕННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

«Границы Европы»

Как и множество других выдающихся идей эпохи Просвещения, концепция Восточной Европы отчасти обязана своим рождением Вольтеру. Его пресловутый интерес к России вылился в панегирическую «Историю Российской империи в царствование Петра Великого», два тома которой вышли в 1759 и 1763 годах. Затем, в 1760-х и 1770-х, благодаря их с Екатериной полной взаимных восхвалений переписке, был создан образ выдающейся покровительницы Просвещения. Тем не менее карта Восточной Европы сложилась в сознании Вольтера гораздо раньше. В 1731 году, следуя в своей нашумевшей «Истории Карла XII» за шведским королем в его завоевательных походах, философ описал Польшу и Россию, Украину и Крым, чья концептуальная общность только складывалась в сознании современников. Его сочинение перевели на многие языки и неоднократно переиздавали. Приглашая своих читателей отправиться вместе с ним по следам отважного полководца через малоизученные земли, Вольтер стал первым путешественником эпохи Просвещения, посетившим Восточную Европу.

Посещение это, конечно, было путешествием в прошлое, поскольку Карл начал свои походы в 1700-м, когда Вольтеру исполнилось шесть лет, и умер в 1718 году, когда Вольтер впервые принял свой еще никому не известный творческий псевдоним. Вдобавок посещение, описанное как настоящее путешествие, было абсолютно вымышленным; его породило бурное воображение автора. Несмотря на весь интерес к России и, впоследствии, на преданность Екатерине II, Вольтер никогда не бывал восточнее Берлина, где он посещал Фридриха II. Тем не менее «История Карла XII», можно сказать, почти создала

карту Восточной Европы в сознании эпохи Просвещения, показав, что философ может изучать эти края при помощи столь необременительных транспортных средств, как любопытство и воображение. Путешественники, и в самом деле посетившие Восточную Европу, тоже могли привносить в свои отчеты воображение и заранее заготовленные философские конструкции, даже полностью на них полагаться, так что образы, возникающие под их пером, были окрашены фантазией. Восточную Европу создавали совместными интеллектуальными усилиями путешественники с богатым воображением и те, кто вообще путешествовал лишь в собственном воображении.

Карл покинул Швецию в 1700 году, переправился через Балтику и под Нарвой разбил Петра I. Поэтому описание Восточной Европы у Вольтера открывается рассказом об «очень занимательных особенностях» России. Для начала он помогает своим читателям представить себе географическое положение этой страны и уровень ее цивилизованности:

Московия, или Россия, занимает северную часть Азии и Европы, и от границ Китая она простирается, на протяжении полутора тысяч лиг, до границ Польши или Швеции. Но до правления царя Петра эта огромная страна была почти неизвестна Европе. Москвиты были менее цивилизованы, чем мексиканцы до прихода Кортеса; рождаясь рабами господ, таких же варваров, как и они сами, они прозябали в невежестве, в незнании искусств и в безразличии к собственным нуждам, что удушало всякую производительность¹.

Вольтер подчеркивал, что Россия располагается на двух континентах, в Европе и в Азии. В соответствии с географическими условностями своего времени он утверждал, что ее европейская часть — на севере континента, хотя уже к концу XVII века Петр вышел к самым берегам Черного моря. Вольтер мог предложить и другое определение России, простирающейся «от побережья Каспийского моря до Балтики», заметив, что «эта обширная часть континента все еще содержит значительные пустыни»². Но если эта «обширная часть» простиралась от Каспия до Балтики, она явно располагалась на востоке Европы. Уже в 1731 году Вольтер заигрывал с альтернативой традиционному подразделению этой общности на север и юг.

Вольтер, несомненно, знал, что часть России находится в Европе, но это не мешало ему с оттенком парадоксальности

написать, что «эта огромная страна Европе почти неизвестна». Таким образом, он подразумевал существование двух Европ: одна из них «знала» о другой, как барон Тотт «узнал» молдаван, а другая ждала, чтобы о ней «узнали». Эта другая Европа и была Восточной Европой, а для Вольтера «почти неизвестна» означало и «менее цивилизованна». Сравнение с мексиканцами до появления Кортеса, напоминающее мысль Ричардсона о том, что перуанцы «стали похожи на людей» только после пришествия иберийцев, придавало открытию Восточной Европы зловещий оттенок. Сам Вольтер, следующий по следам Карла XII, стал ее философическим Кортесом, познакомив с нею своих просвещенных читателей.

После битвы под Нарвой Вольтер последовал за Карлом в Польшу, чей трон достался польскому клиенту шведского короля, Станиславу Лещинскому. Когда Лещинского вынудили покинуть Польшу, он обосновался в Западной Европе как герцог Лотарингский, выдал дочь за Людовика XV, сделав ее королевой Франции, и стал покровителем Просвещения, в том числе и самого Вольтера. Перед нами цепь событий, связавшая Карла, его клиента Лещинского и Вольтера, которому тот, в свою очередь, покровительствовал; точка, где пересеклись судьбы шведского короля и французского философа, каждый из которых по-своему стремился установить контроль над Восточной Европой. Для Вольтера Польша вообще не вмещалась в карту современности и воспринималась как «часть древней Сарматии». Он описывал поляков во время заседания сейма, их парламента, «с саблей в руке, подобно древним сарматам». Вольтер старался «увидеть» их и показать своим читателям: «Характер древних сарматов, их предков, по-прежнему заметен в польских воинах, лишенных дисциплины и неистовых в атаке»³. Собственно, сами польские дворяне часто называли себя сарматами, подчеркивая свою кастовую обособленность и культурную самобытность, но Вольтер использовал этот ярлык совсем в другом смысле. С помощью литературных приемов перемещая поляков в область древней истории и отказываясь делать этнографическое различие между ними и их древними «предками», Вольтер получал право отнести Польшу к цивилизациям низшего порядка.

Вслед за Россией и Польшей Карл отправился на Украину, где и «увяз» (*s'enfoncer*). Разбитому под Полтавой Карлу это

принесло бесповоротное военное поражение, но Вольтеру сулило важный интеллектуальный прорыв. Увязнув на Украине, Карл оказался в краю, еще менее известном, чем Польша и Россия, а значит — еще менее цивилизованном и, самое главное, тяготевшем к югу на карте Европы. Последовав за Карлом на Украину, Вольтер не мог более притворяться, что описывает «Север» Европы. Его читателям Украина была представлена как «страна казаков, расположенная между Малой Татарией, Польшей и Московией», и этот набор, конечно, мог быть осмыслен только как Восточная Европа. Характерные черты Украины объяснялись влиянием соседствующих стран: она политически уязвима, поскольку «окружена Московией, владениями Великого Султана (Оттоманской империей. — *Примеч. пер.*), Польшей»; она отстала в области сельского хозяйства, поскольку «разорена» «разбойничьими народами», татарами и молдаванами⁴.

Украина, согласно Вольтеру, была «неизвестной страной» и, как Россия до царствования Петра, относилась к европейским странам, о которых не знала сама Европа. Вольтер стремился вывести Украину из неизвестности, объяснив, как она соотносится с соседями — Польшей, Россией, Молдавией, Татарией, Турцией. Пытаясь дать определение одной стране, он был вынужден описать целиком «эту обширную часть континента». Подобный метод был предложен шведом Карлом Линнеем, его современником, выдающимся натуралистом эпохи Просвещения, который в 1735 году в своей «Systema Naturae» описывал отдельные виды, поместив их в таблицах рядом с родственными им видами. Согласно Мишелю Фуко, на таком подходе и зиждилась эпистемология XVIII века, где «все наименования достигаются через некоторое соотношение со всеми прочими наименованиями»⁵. Когда речь зашла о наименованиях географических, данный метод принудил Вольтера перетасовать карту Европы и составить таблицу соотношений, в которой ось «север—юг» сменилась осью «запад—восток». Он связал воедино те земли, где Карл надеялся одержать свои победы; земли, которые манили иноземных захватчиков и местных бандитов; земли, которые предприимчивым путешественникам и чужестранным философам еще только предстояло открыть. С французской точки зрения подобное объединение

имело смысл, так как все эти земли казались связанными своей отсталостью.

Карл направил свою армию к «восточным пределам Украины», к восточной окраине самой Европы, где Вольтер обнаружил запорожских казаков, «самый странный народ на земле». Он описал их как «сборище потомков русских, поляков и татар». Их религия — «разновидность христианства»; их экономика, конечно, основана на «разбое»; их политическая система состоит в избрании предводителя, которому потом перерезали глотку. Самым необычным, однако, был их способ пополнения собственных рядов: «Они не терпят никаких женщин промеж себя, но просто умыкают всех детей на двадцать или тридцать лиг вокруг и выращивают их в соответствии со своими нравами (*moeurs*)»⁶. Эта занимательная теория влекла за собой выводы в духе Линнея, поскольку шведский натуралист полагал, что способ воспроизводства — ключ к определению отдельных видов. Вольтеру казалось, что запорожцы не знают естественного размножения и потому остаются странной и противоестественной смесью древних племен. Тем не менее они могли передать похищаемым ими детям свои *moeurs*, то есть нравы и обычаи. Вольтер допускал, что даже у головорезов могут быть какие-то нравы, пусть странные и примитивные. Именно они лягут в основу его суждений о всемирной истории в «Опыте о всеобщей истории и о нравах и духе народов» (1765), и уже тогда, когда он писал «Историю Карла XII», подразумевалось, что именно нравы позволяют оценить уровень цивилизации.

Карл пересек Украину в ту «памятную зиму 1709 года, которая на границах Европы была еще ужаснее, чем у нас во Франции». Вольтер понимал, что в своей «Истории» он осваивает «границы Европы», и притом границы восточные. Понимал он и то, что, несмотря на свою необычность, Украина как часть Европы тоже перенесла ту памятную зиму, которую «мы» пережили во Франции. Общее для всего континента переживание связало запорожцев с самим Вольтером; он помнил зиму 1709 года, когда ему было всего пятнадцать лет. Для Карла Украина была столь же «неизведанным краем», как и для молодого Вольтера, но, в отличие от последнего, Карл побывал там в 1709 году и заблудился именно потому, что этот край был

неизведан. «Карл продвигался в глубь этого потерянного края (*pays perdu*), не зная, куда направляется», — писал Вольтер, увлекшийся двусмысленностью «потерянный» или «заблудший»⁷. На самом деле потерялся, конечно, сам Карл, но с помощью литературного приема Вольтер искусно перевернул ситуацию с ног на голову, и потерянной, заблудшей оказалась сама Украина. Забытые земли Восточной Европы ожидали своих первооткрывателей — завоевателя Карла и философа Вольтера. Вольтер мог назвать эти земли потерянными, а там — с удовольствием находить их, описывать и классифицировать, обозначая на карте их истинное положение относительно Западной Европы.

Карл был разбит Петром под Полтавой и бежал еще дальше на юг, логически завершив свое путешествие через всю Восточную Европу от Балтики до Черного моря. Как гость (а на самом деле — пленник) турецкого султана, он нашел пристанище в Бендерах, на Днестре, между Молдавией и «Татарией». Вольтер познакомил своих читателей с Крымом, который некогда был торговым центром древних греков, затем средневековых генуэзцев, а теперь пришел в упадок, «запустение и варварство». Хотя татары и были разбойниками, они хорошо приняли Карла XII: «От скифов, их предков, им досталось неистребимое уважение к гостеприимству»⁸. Как и ранее описанные Вольтером поляки-сарматы, татары-скифы остались варварами древности. Эта формула оказалась столь удачной, что полвека спустя Кокс и Сегюр находили скифов по всей Восточной Европе.

Из Бендер султан переместил Карла в Демотику во Фракии, под Адрианополем. Король по-прежнему оставался в Европе, так никогда и не попав на Восток; в 1714 году он вернулся в Швецию. До Полтавы Вольтеру казалось, что Карл мог ниспровергнуть турецкую и персидскую империи; тогда сочинение Вольтера, следуя за его героем, превратилось бы в описание Востока⁹. Вместо этого он вместе с Карлом остался в «Демотике, в бездействии и забвении (*l'oubli*)». Читатель имел все основания недоумевать, кто же именно остался в забвении, Карл или Демотика, и за этой неясностью следовал парадокс: «Во всей Европе его полагали мертвым». Этого, конечно, быть не могло, поскольку Карл находился в Демотике, а Демотика находилась в Европе. Этому *oubli*, по-видимому, поддался даже

Вольтер, забывший простой географический факт. Восточная Европа оставалась неизведанной даже после того, как ее открыли, но Демотику, где бывали Карл и Вольтер, забыть, конечно, не могли. В 1791 году, проезжая через Демотику, на последнем отрезке своего маршрута, между Адрианополем и Константинополем, Салаберри вспомнил, что там одно время жил Карл XII¹⁰.

Карл смог покорить Восточную Европу, так как установил в своих войсках «дисциплину, дабы сделать их неуязвимыми». Петр разбил Карла под Полтавой по той же самой причине: «в его войсках была дисциплина». Согласно Фуко, в XVIII веке «дисциплина» была непримечательной оборотной стороной Просвещения, «целым набором инструментов, методов, процедур», позволявших как можно эффективней применять власть. Вольтер неоднократно упоминает дисциплину, объясняя успехи Карла и Петра в Восточной Европе. У польских воинов ее было столь же мало, как у сарматов древности. Петр собирался обучить дисциплине казаков Украины¹¹. Народы Восточной Европы предстояло не только открыть, но и дисциплинировать; Карл и Петр как мастера дисциплины стремились покорить энергию, которая прежде растрачивалась на разбой. У Карла ничего не вышло, но Петр и его преемники, от Екатерины до Сталина, добились больших успехов в покорении Восточной Европы. В своей «Истории Карла XII» Вольтер исследовал земли и народы Восточной Европы, сформулировав отношения, в которых они состояли с Европой Западной (отсталость), друг с другом (сходство) и с их древними предками (полная преемственность). Эти отношения составляли философскую основу представлений о Восточной Европе, складывавшихся в XVIII веке. «Я привел здесь общее описание природных тел, — писал в своей «Systema Naturae» Линней, — чтобы любопытный читатель с его помощью, как с помощью географической таблицы, мог направить свой путь через эти пространственные царства»¹². Если Линней имел в виду царства минералов, растений и животных, то Вольтер предлагал помощь тем читателям, кто собирался посетить царства другого рода. Предложенные в его вымышленном путешествии формулы на протяжении всего столетия повторяли в отчетах даже те путешественники, которые действительно побывали в Восточной Европе, и даже те,

кто стремился отменить или исправить вынесенный им приговор. В то же время до самого конца *ancien régime* любопытные читатели в Западной Европе, путешествующие мысленно, не покидая мягкого кресла, могли быть уверены в превосходстве своей просвещенной цивилизации, стоило им вслед за Вольтером вообразить Европу Восточную.

«БОЛЕЕ ГРУБЫЕ И НЕВОСПИТАННЫЕ НАРОДЫ»

В 1751 году Готхольд Эфраим Лессинг, тогда еще молодой и никому не известный журналист, напечатал в Берлине рецензию на книгу «*Polonia litterata*», только что вышедшую в Бреслау, написанную на латыни поляком и повествующую о современной польской литературе. Лессинг сообщал, что Станислав Понятовский (отец будущего короля Польши) издавал в это время свои замечания на «Историю Карла XII». Особое внимание Лессинг обратил на то, что готовится издание «Заиры» Вольтера в польском переводе. Упомянув об этих отголосках французского Просвещения, Лессинг отметил распространение в Польше литературы на латыни (рецензируемая им книга, например) и готовность польских авторов «по примеру других стран возрождать свой собственный язык». Главное же, данное сочинение «тем более привлечет внимание любопытствующих, что оно знакомит нас с сегодняшним состоянием учености в краю, который слишком многие до сих пор полагают погруженным в варварство»¹³. Ранние воззрения Лессинга, прославившегося позднее в качестве гиганта немецкого Просвещения, демонстрируют, таким образом, известную широту взглядов. Польша для него — это лишь варварский край; тем не менее наибольшей похвалы она удостоивается именно за готовность следовать примеру других стран. В эпоху Просвещения именно таким был классический образ Восточной Европы, стоящей где-то между варварством и цивилизацией и оцениваемой в соответствии со стандартами, установленными в Европе Западной.

В 1758 году Лессинг набросал замысел так никогда и не законченной им пьесы «Гороскоп»; действие должно было происходить в Подолии, украинской провинции, входящей в Речь Посполитую¹⁴. К тому времени Лессинг был уже известным дра-

матургом, который обратил на себя внимание в 1755 году, написав «Мисс Сара Сампсон», новаторскую буржуазную трагедию, где, в отличие от неоклассических пьес, не было ни шаблонных аристократов, ни мифологических героев. «Гороскоп» буржуазной трагедией не был, а герои пьесы были подчеркнута дворянского происхождения. Кроме этого, в отличие от «Мисс Сары Сампсон», действие разворачивалось вдали от Англии, в Подолии, в XV веке, и знатные персонажи были поляками и татарами. Замышляя менее современную, по его собственным стандартам, драму, Лессинг искал для нее подходящий фон и нашел его на Украине. Необходимость такого фона, где развитие сюжета могло бы питаться за счет суеверий, пророчеств и гороскопов, следовала из самого замысла пьесы, основанного на предсказании в эдиповом духе: Лукас Опалинский убьет своего отца, Петруса Опалинского, подольского воеводу. Как географический символ Украина была квинтэссенцией Восточной Европы. Вольтер, следовавший за Карлом XII, обнаружил, что она явно не была ни Севером, ни Востоком. Словом, она могла быть только Восточной Европой.

Главная героиня пьесы — Анна Массальская из Львова, похищенная татарами и влюбившаяся в одного из них, по имени Зузи. Когда Анну спасли отец и сын Опалинские, они тут же влюбились в нее, идя навстречу своей эдиповой судьбе. Тем временем Зузи следовал за Анной, притворяясь поляком, и был узнан лишь своим соотечественником Амру. Единственный герой западноевропейского происхождения — врач Опалинских, англичанин по имени Коннор, представлявший науку в краю суеверий. Хотя в 1751 году в своей рецензии Лессинг противопоставил себя тем, кто считал Польшу страной, «погруженной в варварство», сохранившиеся фрагменты «Гороскопа» не опровергают этого предрассудка. Пограничные стычки между поляками и татарами, сопровождавшиеся захватом пленников, ставили знак равенства между двумя сторонами. У поляков, по крайней мере, фамилии звучат правдоподобно, например Опалинский и Массальская; татарам же достались совершенно фантастические прозвища вроде «Зузи» и «Амру». Любовь Анны к Зузи не требовала какого-либо культурного снисхождения с ее стороны, и союзу двух влюбленных мешала вражда между их народами, а не разделявшая их культурная пропасть. Более того, во дворце Опалинских Зузи без

труда выдавал себя за поляка. И поляки и татары были частью Восточной Европы, где поколение назад их обнаружил (и оставил) Вольтер, назвавший их сарматами и скифами. Как родственные виды в Линнеевых таблицах, поляки и татары в драме Лессинга не должны были спариваться, несмотря на биологическое сходство между ними.

В 1732 году в «Заире» Вольтер обратился к теме трагической любви христианки и султана-мусульманина в средневековом Иерусалиме, а в 1779 году сам Лессинг с огромным успехом описал в «Натане Мудром» любовь еврейки и христианина-крестоносца; действие там тоже разворачивалось в Иерусалиме. Однако в «Гороскопе», где не делалось различий между религиями, даже такой просвещенный драматург, как Лессинг, не смог разобраться в хитросплетении предначертанных звездами трагических противоречий между влюбленными, а также между родителями и детьми. «Гороскоп» 1758 года остался лишь незавершенным наброском неоклассического повествования о предрассудках и насилии на границе Европы, Эдиповой истории на украинском фоне. Гердер в 1769 году, видимо, следовал похожей логике, когда, описывая «дикие народы» Восточной Европы, пророчествовал, что «Украина станет новой Грецией»¹⁵. Именно неустойчивость ее положения между дикостью и варварством, с одной стороны, и заимствуемой цивилизованностью — с другой, делала полную двусмысленных ассоциаций Восточную Европу менее удачным фоном для драм Лессинга, чем Иерусалим, несомненно принадлежащий Востоку.

В 1760 году Вольтер создал небольшой диалог в стихах, где подчеркивал потенциальную роль Восточной Европы в фантазиях просвещенческой литературы. Он назывался «Россиянин в Париже» и был аннотирован как «небольшая поэма александрийским стихом, которую сложил в 1760 году, в месяце мае, г-н Иван Алетоф, секретарь русского посольства». Этот вымышленный персонаж описан во введении: «Как известно всему свету, г-н Алетоф, выучив французский в своем родном Архангельске, упражнялся в изящном слоге с невероятным усердием и достиг еще более невероятных успехов». Это небольшое стихотворение вышло как раз в промежутке между двумя объемистыми томами вольтеровской «Истории Петра Великого». Если эти тома были сочинением француза, пишущего о России, то стихотворение вводило новый литературный прием,

описывая события с точки зрения вымышленного русского героя. В диалоге участвовали два действующих лица, «Le Parisien» и «Le Russe». Парижанин приветствовал гостя стихотворной хвалой Петру Великому, усилиями которого «искусства, манеры и законы рождены» в России. На это русский отвечал, что прибыл в Париж «просветить себя, учиться у вас». Он описывал себя и Россию в точном соответствии с формулами Просвещения, что неудивительно, поскольку именно Вольтер участвовал в создании этих формул:

Как грубый скиф в Афины,
Я прибыл учиться на берега Сены,
Заклиная вас, робкий и любопытный,
Рассеять тьму, что все еще застилает мой взор.

(Je viens pour me former sur les bords de la Seine;
C'est un Scythe grossier voyageant dans Athène
Qui vous conjure ici, timide et curieux,
De dissiper la nuit qui couvre encore ses yeux.)¹⁶

«Афинянин»-парижанин с удивлением отвечал на столь смиренные слова новоявленного скифа: «Чему можно научиться на берегах Запада?» Франция более не страна Мольера и пала столь низко, что восхищается Руссо; если русский и в самом деле ищет просвещения, у него нет — и еще долго не будет — причины возвращаться в Париж. Таким образом, этот литературный прием, описание с точки зрения вымышленного русского, используется, чтобы критиковать французскую культуру.

Однако самой пространной попыткой противопоставить Восточную и Западную Европу, используя этот прием, была повесть Жан-Поля Марата «Польские письма», написанная в 1770-х. Главным образцом для подражания были для него, конечно, «Персидские письма» Монтескье. Лессинг использовал Восточную Европу как альтернативу Востоку в качестве драматического фона для своих произведений, Марат же попытался произвести аналогичную замену, глядя на события глазами не перса, а поляка. Монтескье стал фактически крестным отцом Просвещения, изобретя путешествующего по Франции перса Узбека и критически анализируя общество, религию и цивилизацию во Франции с точки зрения выхода с Востока. Это сочинение оставалось крайне влиятельным, и

Марату, чья ненависть к *ancien régime* была гораздо сильнее, чем у Монтескье, пришлась по душе его формула. Он выдумал поляка, путешествующего по Западной Европе, через Англию, Францию, Голландию и Швейцарию, и наполнил два глубокомысленных тома его далеко не оригинальными наблюдениями, которые были изданы лишь в XX веке в качестве литературного курьеза. Будущий революционер и «друг народа», которому было суждено умереть в собственной ванне в 1793 году, был начинающим философом и ученым-просветителем. В 1773 году он опубликовал двухтомный «Философский опыт о человеке», в 1774-м — «Цепи рабства», а затем посвятил свои силы изучению оптики и электричества, а также изобретению подозрительно чудодейственного лекарства от туберкулеза. Тем не менее интерес к Польше побудил его написать не только «Польские письма», но и романтическую повесть в письмах «Приключения молодого графа Потовского», где действие происходило в Польше. Повесть эта тоже не была опубликована при жизни Марата, но предвосхитила триумфальное вторжение романтических приключений с польским колоритом во французскую литературу 1780-х годов, начавшееся с появлением «Любовных походов кавалера де Фоблаза» Жан-Батиста Луве дю Кудрэ.

В «Польских письмах» Марат вложил свое недовольство *ancien régime* в уста польского дворянина по имени Камия, писавшего в Краков своему другу по имени Шава. Поправки в рукописи показывают, что Марат не сразу выбрал имя своему польскому персонажу: до «Камии» он был «Пуски», а еще раньше — «Собески». В именах Камия и Шава чувствуется, конечно, некий неопределенно-восточный колорит, напоминающий татар Зузи и Амру у Лессинга. «Персидские письма» Монтескье включали не только послания из Франции, но и шокирующие публику ответные письма из Персии, повествующие о гареме, который главный герой оставил в Испагане, его женах и евнухах-невольниках. Монтескье был полон энтузиазма, воссоздавая во всех подробностях точку зрения вымышленного мусульманина-перса. Сочинение же Марата почти не содержит писем из Польши; читатель не найдет там ни вестей из дома, ни описания жизни главного героя в Польше, ни деталей, которые отличали бы его точку зрения от точки зрения разочарованного француза эпохи Просвещения, например са-

мого Марата. Марат знал об этом пробеле и вложил в уста Камии формальное оправдание: «Тебя, возможно, удивит, что я не сравниваю нашу страну с другими странами; но я сознательно избегал подобных параллелей. Человек едва ли может быть беспристрастным судьей, когда речь идет о его стране»¹⁷. По всей видимости, несколько причин объясняют этот пробел: Марат был плохим писателем; он очень мало знал о Польше; наконец, различие между точками зрения выходцев из Восточной Европы и Европы Западной гораздо сложнее уловить, чем различия между взглядами француза и перса.

Поляк у Марата полностью разделял мнение Западной Европы о собственной цивилизованности и в своем первом письме заявил о намерении «проехать через цивилизованные страны Европы». Что касается Восточной Европы, то фальшивость французской цивилизации он обличал именно с точки зрения «более грубых и невоспитанных народов». Иногда замечания Камии о французах выглядели как пародия на высказывания путешественников по Восточной Европе, например, когда он сожалел, что «народ, столь обласканный во всех отношениях Природой» отличается таким легкомыслием и безнравственностью и что, несмотря на плодородную почву и благоприятный климат, столь многие там пребывают в нищете¹⁸. В самом начале своего путешествия Камия отказался от польского платья и отправился к французскому портному, хотя сам же пишет, что французские наряды «смехотворны», особенно потому, что они узкие, «как сбруя». «Какое различие между ними и благородным, свободным платьем поляков!» — восклицал он. В переодетом Камии посторонний наблюдатель, как и читатель его писем, не смог бы узнать поляка.

Отправившись из Франции в Англию и Голландию, Камия окончательно заговорил как француз эпохи Просвещения. Он счел англичан «холодными, скучными, трезвыми» и восхищался лишь их государственным устройством, основанным на «мудром ограничении власти». Он немедленно обнаружил, что англичанин «почитает свою нацию превосходящей любую другую во всем свете», но, немного понаблюдав, решил, что «считать их совершенными существами — странное безумие»¹⁹. В Нидерландах Камия заключил, что «голландец обладает отвратительными манерами» и «ничего не знает об удобствах или правилах поведения в обществе». Устами Камии явно говорит

французская цивилизация, например, когда он порицает склонность голландцев к коммерции: «Эти люди думают только о деньгах, говорят только о деньгах, любят только деньги»²⁰.

Таким образом, для Марата польский персонаж был лишь предлогом, чтобы поставить под сомнение фальшивые ценности западноевропейской культуры, и хотя его «Польские письма» не были опубликованы, столь неудачно использованный им литературный прием привел к появлению одного из излюбленных стереотипов литературы XIX века. После восстания Костюшко в 1794 году и восстаний 1830 и 1863 годов польский эмигрант приобрел романтическую привлекательность, по крайней мере в литературе, где законченный образ польского изгнанника в Западной Европе складывается уже в самом начале века, с выходом в свет в 1803 году первого издания «Тадеуша Варшавского» мисс Джейн Портер. В этом сочинении граф Тадеуш Собески, которому достались отвергнутая Маратом фамилия и неизбежно напоминавшее о Костюшко имя, предстает единственным истинным дворянином в английском аристократическом обществе, покоряя трепещущие сердца читателей, главной героини и самой писательницы. В 1847 году в «*Comédie humaine*» Бальзака появляется еще один польский персонаж, граф Венцеслав Стейнбок, которого зловредная кузина Бетти спасает от самоубийства. В предсмертной записке он выдает свое патриотическое отчаяние, цитируя знаменитое восклицание Костюшко, *Finis Poloniae!* В 1872 году в «Миддлмарч» Джорджа Элиота* перед нами Уил Ладислав, внук польского эмигранта, быть может — самого Тадеуша Варшавского, описанного мисс Портер. Уил оказался единственным мужчиной, достойным руки самой одухотворенной героини, Доротеи, которая к концу повести становится «госпожой Ладислав». За год до того, в 1871 году, Луиза Мэй Олкотт опубликовала свои личные воспоминания и литературные записки. Она вспоминала, как за шесть лет до того, в Париже, подружилась с молодым поляком, дравшимся против русских в 1863 году: «Лучшим и самым даровитым в моем выводе мальчиков был поляк, Ладислав Вишневский — надо два раза икнуть, а затем чихнуть, чтобы безошибочно произнести его имя»²¹. Она сама, правда, называла его «Ладди», а в 1868 году

* Псевдоним писательницы Мэри Анн Эванс (1819—1880). — *Примеч. ред.*

в «Маленьких женщинах» опять изменила его имя, на этот раз на Лори, и сделала его другом Джо*.

Польский герой из сочинения Марата так и не попал в Америку, проведя большую часть второго тома «Польских писем» в горах Швейцарии, где мудрый отшельник преподавал ему философию скептицизма. Камия узнал, что любая мораль относительна — в Китае и в Риме, в Древней Греции и во Франции, в Константинополе и в Индии она иная. Вторя маркизу де Саду, Марат намекал, что даже запрет на инцест «не имеет основания в Природе». «Китаец, татарин, негр, европеец» рассматривают одно и то же каждый со своей точки зрения. Если моральные нормы оказались подозрительно разнообразными, то общества и правительства во всем мире удручают своим однообразием. Скептик не видит различий между Западной и Восточной Европой, поскольку «в Греции, Польше, Англии и Франции под именем илота, крепостного, или узника вы увидите миллионы поработенных людей». Даже различия между Европой и Востоком меркнут, поскольку «алчность одного человека может поработить целые народы в Азии, Африке и Европе». Камия огорчен подобными открытиями, восклицая: «Зачем только я решил покинуть свой дом!» Затем, однако, он встретил мудрого философа, принесшего ему утешительное известие, что всю мораль можно свести к простому правилу: «Подчиняйся законам своей страны»²². Обнаружив, что Камия — путешествующий инкогнито польский принц, наш миролюбивый философ отправил его домой, наказав употребить на пользу все то, что он узнал в чужих странах.

Государственное устройство твоей страны очень несовершенно; оно унаследовано от варварских времен и приносит позор всему человечеству. Когда народ стонет под столь тяжким ярмом, для него большая удача найти доброго и просвещенного государя... Мягкостью своего правления дай подданным почувствовать себя свободными, разбив уродливые цепи рабства²³.

Путешествующий по Западной Европе поляк узнает, что его страна пребывает в варварстве, искоренить которое предстоит просвещенному властителю.

* В «Маленьких женщинах» и трех остальных романах о семействе Марч Лори — не поляк, а итальянец. Это не значит, конечно, что его образ не вызван воспоминаниями о Ладди. — *Примеч. ред.*

Нет сомнения, что, осуждая «уродливые цепи рабства» в Польше, писатели одновременно осуждали и общественное устройство во Франции, поскольку, как заметил в «Общественном договоре» Руссо, люди «повсюду в цепях». В конце «Польских писем» Марат даже предупреждал о приближении «шквала», который уничтожит правителей-тиранов и обрушит «насилие на головы их верных министров»²⁴. Тем не менее тот же самый Марат, революционер, который вскоре будет радоваться грудам голов на гильотине, спокойно рекомендовал мягкое правление просвещенного государя как самое подходящее для Восточной Европы. Вольтер полагал, что Восточная Европа нуждается в дисциплине и подчинении, которое несли ей Карл или Петр; Марат считал, что Польша должна находиться под властью самовластного государя. Отсталость Восточной Европы позволяла мечтать о твердой власти даже тем западноевропейцам, которые у себя дома были пламенными потрясателями основ.

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ВОЛКОМ»

Полнее всего представление о Восточной Европе как крае, где властвует фантазия, отразилось в «Путешествиях и удивительных приключениях барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе. Описание «путешествий» вымышленного барона вышло в свет в Англии в 1785 году, через год после публикации сочинений Кокса и Ричардсона, и, подобно появившемуся в 1786 году немецкому переводу, немедленно получило огромную популярность. Как и его герой, сам Распе был немцем, но благодаря династическим связям между Англией и его родным Ганновером его сомнительная карьера протекала по обе стороны Ла-Манша. Образование он получил в Геттингене и, по всей видимости, именно там и услышал рассказы о невероятном бароне. В 1767 году Распе стал хранителем коллекции драгоценных камней в Касселе, и перед ним открылись столь благоприятные возможности для хищений, что в 1775 году ему пришлось бежать в Англию. Именно там барон Мюнхгаузен появился на свет и отправился в первое из своих поразительных путешествий: «Из Рима я отправился в Россию, в самый разгар зимы, справедливо полагая, что мороз и снег исправят

дороги в Северной Германии, Польше, Курляндии и Ливонии, которые все путешественники описывают как необычайно плохие»²⁵. С самого начала Мюнхгаузен и Распе демонстрируют знакомство с описаниями путешествий по Восточной Европе, на фоне которых они и плели свои причудливые фантазии. Книга впервые вышла в свет как раз тогда, когда поездка Сегюра по точно такому же маршруту подходила к концу.

Первое, что Мюнхгаузен увидел в Восточной Европе, был «бедный старик», лежавший «на пожухлом лугу в Польше, посреди дороги, беспомощный, дрожащий, едва имеющий чем прикрыть свою наготу». Это — последнее привычное зрелище, встреченное им на пути в Санкт-Петербург, а также один из последних эпизодов, где участвуют люди. Для Мюнхгаузена Восточная Европа — край фантастических приключений среди свирепых зверей, победа над которыми была метафорой завоевания и цивилизационного превосходства. Он мчался на санях «вглубь России», как вдруг неожиданно появился «ужасный волк, который помчался за мной, подгоняемый зимним голодом». Спасшись от него в самый последний момент, барон продемонстрировал, что в Восточной Европе путешественник неизбежно оставался хозяином положения.

Механически я упал ниц в санях и предоставил моей лошади вывезти нас в безопасность. Сразу вслед за этим случилось то, чего я желал, но на что не надеялся и чего не ожидал. Волк не обратил на меня ни малейшего внимания, но прыгнул через меня и, с яростью обрушившись на лошадь, немедленно принялся рвать и пожирать заднюю часть несчастного животного, которое от боли и ужаса мчалось все быстрее. Незамеченный, находясь в безопасности, я поднял украдкой голову и с ужасом узрел, что волк уже прогрыз дыру в лошадином теле. Вскоре за тем, он почти протиснулся внутрь. Тогда я воспользовался этим и обрушился на него с рукоятью своей плетки. Это неожиданное нападение с тылу так испугало его, что он рванулся вперед со всей силы; труп лошади упал на землю, но на его месте в упряжке оказался волк, а я, со своей стороны, хлестал его, не останавливаясь: галопом мы благополучно доскакали до Санкт-Петербурга, вопреки и моим, и его ожиданиям, и к изумлению зрителей²⁶.

Вне всякого сомнения, самое важное здесь — дисциплинирующее воздействие сбруи, наглядная способность западноевропейского путешественника усмирять. Однако на самом деле петербургские зеваки видели, конечно, лишь запряженного

волка; от их взоров был скрыт сам процесс усмирения с его жестокими подробностями. Английским читателям, которые познакомились с этим эпизодом всего лишь через год после того, как прочитали Кокса, избиеение волка, должно быть, казалось до боли знакомым, напоминая избиеение людей, фирменный знак русского общества с его рабовладельческими порядками. Однако использование «рукоятки» кнута для «неожиданного нападения с тыла» превращало усмирение волка в анальное изнасилование, сексуальное покорение дикости, совершенное при помощи плети и с веселой жестокостью. Как мы помним, для маркиза де Сада в его «Истории Жюльетты» Восточная Европа тоже была прежде всего ареной анальных изнасилований, хотя его герои и героини находили для того возможности и в других уголках земного шара.

В Санкт-Петербурге барон Мюнхгаузен вращался в «изящном обществе» и в своем сочинении намекал на сексуальные победы более изящного свойства, чем изнасилование волка. Ожидая в Санкт-Петербурге назначения в русскую армию, он проводил время в фантастических охотничьих подвигах. Наткнувшись на «прекрасную черно-бурую лису, чью драгоценную шкуру было жаль портить пулей или дробью», он прибил лису к дереву, достал плеть и «попросту выбил ее из ее собственной шкуры»²⁷. Следующая встреча с русским волком была еще более интимной.

Ужасный волк бросился на меня столь внезапно и был так близок ко мне, что я не мог сделать ничего иного, кроме как последовать механически моим инстинктам и засунуть свой кулак ему в открытую пасть. Безопасности ради, я просовывал ее все дальше и дальше, пока рука моя не оказалась на уровне его плеч. Как было мне от него отцепиться? Я был не слишком доволен своим неловким положением лицом к лицу с волком; мы глядели в глаза друг другу без особой приязни. Если я уберу свою руку, животное набросится на меня с еще большей яростью; я прочел это в его горящих глазах. Короче говоря, я ухватил его за хвост, вывернул, как перчатку, и швырнул на землю, там его и оставив²⁸.

Барон снова описывал чрезвычайно грубое изнасилование, начиная с самого первого инстинктивного движения и до просовывания кулака до тех пор, когда расцепиться уже невозможно. Однако еще большее удовлетворение Мюнхгаузену удалось испытать от встречи с медведем, на этот раз в Польше.

Что вы скажете на это, к примеру? Однажды, в польском лесу, и светлое время суток, и порох подошли к концу. Когда я уже направлялся домой, ужасающий медведь погнался за мной с огромной скоростью, с раскрытой пастью, готовый наброситься на меня. Мгновенно я обыскал все карманы в поисках пули и пороха, но тщетно; я нашел лишь два запасных кремня. Один я швырнул со всей силы в открытую пасть чудища, попав ему прямо в самую глотку. Это причинило ему боль и заставило повернуться кругом, так что я мог прицелиться вторым кремнем прямо ему в черный ход, что и сделал с необычайным успехом; он залетел внутрь, столкнулся в желудке с первым кремнем, высек огонь, и страшный взрыв разорвал медведя²⁹.

Медведь подвергся и оральному, и анальному насилию, «прямо в самую глотку» и «в черный ход». На этот раз, конечно, барон испортил шкуру.

В ходе последующих приключений Мюнхгаузену представилась возможность послать тысячи медвежьих шкур самой русской императрице, которая, должно быть, оценила сексуальный подтекст подношения, поскольку в ответ она благодарила барона и пригласила его «разделить с ней ее ложе и ее трон»; барон, однако, «в учтивейших выражениях» отклонил предложение. В «Жюльетте» де Сада «учтивость» означала нечто прямо противоположное: «Екатерина желала испытать все возможные способы наслаждения, и вы, конечно, понимаете, что я ни в чем ей не отказывал; в особенности ее задница, самая великолепная задница, какую я только видел в жизни, принесла мне бесконечные приятности и развлечения»³⁰. Вместе с Екатериной герой де Сада предался самым диким и садистским сексуальным подвигам, во многом аналогичным тому, что Мюнхгаузен вытворял с животными Восточной Европы; однако фантазии де Сада требовали человеческих жертв.

Впрочем, обращение барона с животными не обязательно приводило к летальному исходу. Посетив однажды некое поместье в Литве, он увидел коня, которого никто не осмеливался объездить.

Одним махом я оказался у него на спине, чего он не ожидал, и привел его к мягкости и покорности с помощью искусных приемов верховой езды, которыми я владел в совершенстве. Дабы вполне продемонстрировать это дамам и уберечь их от ненужного беспокойства, я заставил его одним прыжком вскочить в открытое окно чайной гостиной, пройти несколько раз вокруг шагом, рысью и галопом и наконец вскочить на чайный столик, очаровательно по-

вторив там свой урок в миниатюре, что доставило чрезвычайное удовольствие дамам, поскольку он проделал все столь изумительно, что не разбил ни одной чашки или блюда³¹.

Благодаря столь искусной верховой езде барон Мюнхгаузен разрешил основное для Восточной Европы противоречие между дикостью и цивилизацией, которое и символизировал необъезженный конь на уставленном чайной посудой столе. Ему, конечно, сразу же предложили коня в подарок, и он отправился на своем литовском скакуне в битву с турками в составе русской армии. Таким образом, прославивший барона Мюнхгаузена первый том «Путешествий и удивительных приключений» установил его репутацию как лучшего солдата, охотника и наездника по всей Восточной Европе.

Искусство верховой езды, предполагавшее воспитание через укрощение и взнуздывание, было важным элементом образа Восточной Европы в живописи 1780-х. В 1781 году Жак-Луи Давид выставил в парижском Салоне свое полотно «Граф Поттоцкий», изображавшее польского дворянина верхом на замершем в идеальной позе подчеркнуто мускулистом скакуне, покорно склонившем закрытую романтической гривой голову. В 1782 году, в ознаменование столетней годовщины восшествия на трон Петра I, Екатерина II открыла в Санкт-Петербурге бронзовую конную статую работы французского скульптора Этьена-Мориса Фальконе. Во Франции Фальконе пользовался покровительством мадам де Помпадур, а в 1766 году, после ее смерти, отправился по приглашению Екатерины в Россию. Уже в 1770-м он работал над статуей Петра, и видевший его эскизы Ричардсон назвал их «аллегорическими». Статуя императора, верхом на коне, на пьедестале из дикого камня, символизировала «трудности, которые Петр преодолел в своих великих усилиях, преображая русских»³². В XIX веке «Медный всадник» Пушкина сделал статую частью русской культуры, но в предыдущем столетии она оставалась творением француза, увидевшего Россию глазами Просвещения. Польский всадник Давида и русский всадник Фальконе подчеркивали те живописные и аллегорические стереотипы, которым барон Мюнхгаузен придал столь неправдоподобную литературную форму, с блеском демонстрируя в Литве свое искусство верховой езды на уставленном чайной посудой столе.

По его собственному утверждению, барон Мюнхгаузен проявил доблесть в боях с турками. Когда враг обратился в бегство, «резвость моего литовского скакуна сделала меня первым в погоне». В конце концов, однако, он попал в плен и был продан в рабство. Не исключено, что данное приключение позаимствовано из сочинения Кокса, которое вышло в свет за год до того и описывало встречу автора с Джорджем Брауном, ирландским эмигрантом в России, который принимал участие в той же войне, что и вымышленный барон Мюнхгаузен, попал в плен и оказался в рабстве. Французский посол в Константинополе выкупил Брауна, он вернулся в Россию и при Екатерине II стал рижским генерал-губернатором. Мюнхгаузен, конечно, бежал из рабства более живописным способом. Охраняя однажды султанскую пасеку, он потерял одну из пчел и обнаружил, что на нее напали два медведя. Барон метнул в них серебряный топорик, но «благодаря неловкому повороту руки он полетел вверх и продолжал подниматься, пока не достиг Луны». Чтобы достать топорик, Мюнхгаузену пришлось забраться на Луну по бобовому стеблю³³. Из России он попал в Турцию, а из Турции на Луну, установив таким образом шкалу географической удаленности. Удивительные происшествия случались именно в Восточной Европе, поскольку поблизости находилась Азия, а чуть дальше — открытый космос.

Впоследствии барон Мюнхгаузен вернулся в Константинополь, где стал фаворитом султана, и Распе подчеркнуто ввел своего героя в контекст современной ему литературы о путешествиях, описав его соперничество с бароном де Тоттом, чьи мемуары увидели свет одновременно с приключениями Мюнхгаузена. Считалось, что Тотту, бывшему артиллеристом в армии султана, удалось выстрелить из самой большой в мире пушки; Мюнхгаузен «решился ни в чем не уступить французу» и хвастался собственными подвигами в Турции, в которых фигурировала та же огромная и смехотворно фаллическая пушка. Не задумываясь, Распе сочинил генеалогию «хвастливого, чванного Тотта», сделав его побочным отпрыском папы Клементя XIV и римской торговли устрицами³⁴. Таким образом, он превратил Тотта в полувымышленный персонаж, подобный Мюнхгаузену, вплетая их обоих в кружево литературы о путешествиях, которая в любом случае содержала элементы вымысла. Другой моделью, с которой Распе сопоставлял своего ге-

роя и его путешествия, был Гулливер Свифта, и седьмое английское издание вышло в 1793 году под заглавием «Возрожденный Гулливер».

Если вышедший в 1785 году первый том был посвящен его путешествиям в Восточной Европе, то центральным элементом второго было путешествие в Африку. Поскольку он был издан в 1792 году, в разгар Французской революции, то в финале Мюнхгаузен начитался Эдмунда Бёрка и вступил в битву с «тремя ужасными призраками» — Вольтером, Руссо и Вельзевулом, чтобы спасти Марию-Антуанетту. Ранее, в самом сердце Африки, где Мюнхгаузен вводил «европейские науки и искусства», он обнаружил занятые древние надписи, доказывающие, что африканцы «произошли от жителей Луны». Распе включил выдержку из этой надписи, снабдив ее примечанием для специалистов («*Vide Otrckocsus de Orig. Hung.*») и кратким описанием:

Эти знаки я представил на рассмотрение прославленному знатоку древностей и в следующем томе докажу, ко всеобщему удовлетворению, что должно было существовать непосредственное сообщение между жителями Луны и древними скифами, и скифы эти населяли вовсе не Россию, но центральные области Африки, что я могу с избытком доказать моему ученому и трудолюбивому другу. Вышеприведенные слова, написанные нашими буквами, выглядят как *Срегнах дна скоохтон*; то есть «Скифы произошли с небес»³⁵.

По всей видимости, эта игровая бессмыслица пародировала современную тенденцию возводить к скифам все отсталые народы, произвольно позаимствованные из вольтеровской Татари и России Сегюра. Загадочная ссылка на *Orig. Hung.* косвенно связывала со скифами и венгров. Для Мюнхгаузена, как и для некоторых других путешественников, Восточная Европа оказалась связанной с Африкой, причем удаленность обеих частей света подчеркивалась общим родством их жителей с обитателями Луны.

По дороге назад, в Восточную Европу, Мюнхгаузен попал в дебри Северной Америки. Там, в руках американских «дикарей», барон подвергся унижительному скальпированию, но после продолжительного путешествия по «этой пространной пустыне» оказался на русской границе, в замке «Нарескина Роскимоумоуского». Имя это — откровенно комедийное; подходящим напарником для Роскимоумоуского был дикий мед-

ведь. Мюнхгаузену пришлось уложить их обоих в единоборстве с помощью приема, который подчеркивал родство между зверем и варваром:

В тот же момент на меня напал огромный медведь, но я вогнал все еще бывший у меня в руке эфес сломанной шпаги ему прямо в пасть, с корнем вырвав язык. Затем я схватил его труп за задние лапы и, размахивая им над головой, нанес Нарескину ошеломивший его удар его же собственным медведем. Я продолжал наносить удары головой медведя по голове Нарескину, пока, после одного удачного взмаха, его голова не оказалась меж челюстей медведя, и поскольку эта тварь была еще отчасти жива и билась в конвульсиях, зубы сомкнулись, как у шелкунчика³⁶.

Таким образом, торжествующий путешественник обратил дикость Восточной Европы против нее самой.

Перед тем как отправиться на спасение Марии-Антуанетты, Мюнхгаузен нанес последний визит в Санкт-Петербург, где женился на царице, восстановил мир между Россией и Турцией и отправил команду русских и турецких рабочих на сооружение важного канала.

Затем во главе миллиона русских саперов я проследовал к Суэцкому перешейку, где присоединил к своему отряду миллион турок, вооруженных лопатами и кирками. Они собрались не затем, чтобы резать друг другу глотки, а чтобы, к их общей выгоде, способствовать торговле и цивилизации, дабы все богатства Индии потекли через этот новый канал в Европу³⁷.

Итак, Мюнхгаузен избрал самый подходящий способ содействовать делу цивилизации и установлению связей между Европой и Азией — воспользовался рабским трудом миллионов людей.

«Я ТЕПЕРЬ ПУНКИТИТИТИ»

Использование при описании Восточной Европы бессмысленных слов, сочинение неправдоподобных татарских имен или скифских надписей восходили к тому обстоятельству, что славянские языки, не говоря уже о венгерском, были, как правило, неизвестны западноевропейским путешественникам. Однако Вольфгангу Амадею Моцарту, гению XVIII века, который

мог даже бессмыслицу превратить в нечто изящное, удалось во время поездки из Вены в Прагу нанести на карту самый расплывчатый участок границы между Восточной Европой и Европой Западной. Очевидная ирония принятого в XX веке разделения Европы состоит в том, что Прага, как это видно на любой карте континента, лежит к северо-западу от Вены, но тем не менее считается одной из восточноевропейских столиц. Подобное, казалось бы, обманчивое наименование объясняется геополитическими обстоятельствами XX столетия, решениями Версаля и Ялты, а также различиями между славянами и германцами, столь важными для националистов XIX века. В XVIII веке Богемия обычно считали немецким государством, то есть частью Священной Римской империи, хотя было известно, что Габсбурги носили корону Святого Венцеслава на тех же основаниях, что и корону Святого Стефана в Венгрии. В самой Богемии и в ее столице Праге проживали и немцы и чехи, и хотя Богемия продолжали считать частью Германии, в XVIII веке росло ощущение, что жители ее далеко не всегда немцы. Нанимая чеха-переводчика перед поездкой в Россию, Кокс понимал, что чехи — славяне. Моцарт, который любил Прагу и которого в Праге любили, быть может, больше, чем в Вене, понимал, что, направляясь на северо-запад, в Богемия, он оказывался в славянском и потому чуждом краю.

В январе 1787 года Моцарт впервые отправился в Прагу, чтобы дирижировать «Женитьбой Фигаро», премьеры которой в Вене в 1786 году прошла не слишком успешно. 15 января он писал из Праги своему венскому другу, Готфриду фон Яквину: «Я должен признаться, что, хотя я наслаждаюсь здесь всеми возможными любезностями и почестями и Прага на самом деле очень красивое и приятное место, я по-прежнему очень стремлюсь попасть назад в Вену». Вслед за этим, возможно неосознанным, выражением тоски по дому Моцарт представил необычный отчет о своей поездке в Прагу, обратившись к фон Яквину следующим образом:

Теперь прощай, дражайший друг, дражайший Хиккити Хорки! Это твоё имя, так и знай. По дороге мы все придумали себе имена («*auf unserer Reise Namen erfunden*»); они следуют далее. Я теперь Пункититити. Моя жена — Шабла Пумфа. Хофер — Розка Пумпа. Штадлер — Нотшибикитшиби. Мой слуга Йозеф — Сагадарата, мой

пес Гуркель — Шомантцки. Госпожа Кёлленберг — Рунцифунци. PS (для мадемуазель Кру): Рамло теперь Шуримури, Фрейштадлер — Гулимаули. Будь так любезен, сообщи ему его имя³⁸.

Именно подобное ребячество легло позднее в основу моцартовской легенды, но одновременно оно комически выражало и чувство отчуждения, посещавшее путешественников по Восточной Европе. Моцарт родился в Зальцбурге, постоянно жил в Вене, родным языком для него был немецкий, и он явно не чувствовал себя дома в славянской Богемии, чей язык звучал для него как набор бессмысленных звуков. Вообще-то Моцарт был вполне космополитичным европейцем, понимавшим язык почти любой страны — куда его только не закидывала музыкальная карьера, — Италии, Франции, германских государств, но чешского он не понимал. Для путешественников незнание языка создавало неудобства, но и предоставляло простор воображению. Моцарт воспользовался этой возможностью, чтобы сочинить новые имена всем своим спутникам и даже оставшимся дома друзьям. Он свободно использовал те же элементы псевдославянских и псевдовосточных звукосочетаний, что и другие авторы, хотя придуманные им имена куда более изощренно-абсурдны: Пункититити, Хиккити Хорки, Рунцифунци, Гулимаули, Нотшибикитшиби. Подобные персонажи составляют достойную компанию своему современнику, Нарескину Роскимоумоускому из Распе. Герой сочинения Марата переписывался с «Шавой» из Кракова; Моцарт продвинулся гораздо дальше, окрестив свою возлюбленную Констанцию «Шаблой Пумфой».

Во время своего визита в Прагу Моцарт дирижировал не только «Женитьбой Фигаро», но и симфонией ре-мажор, известной впоследствии как «Пражская симфония». Он дал сольный концерт, который, по воспоминаниям начала XIX века, напоминал музыкальную оргию.

В заключение Моцарт добрые полчаса импровизировал на фортепиано, накалив до предела энтузиазм восхищенных богемцев, так что, когда его окатили штормом аплодисментов, он решил, что должен опять сесть за фортепиано. Поток новых импровизаций произвел еще более потрясающий эффект, в результате чего распаленный зал окатил его аплодисментами в третий раз... Из партера раздался громкий голос, прокричавший «Из Фигаро!», после чего Моцарт начал с мотива популярной арии «*Non piu andrai farfallone*»

и сыграл экспромтом дюжину исключительно интересных и артистичных вариаций, так что это замечательное представление завершилось самым опьянительным празднованием, бывшим, конечно, моментом его наивысшей славы и совершенно восхитившим вконец опьяненных богемцев³⁹.

Эти воспоминания были написаны, конечно, в эпоху романтизма и подыгрывали уже начавшей складываться моцартовской легенде, но некоторые их элементы выдают ощущения композитора, посетившего Восточную Европу в XVIII веке. Прежде всего это, несомненно, моцартовское упоение «фантазией», освобождение от сковывающих его классических форм, свобода импровизировать. Но главное, сами богемцы в этом описании выглядят не только увлеченными ценителями музыки, но и «воспаленными», «отчаянными», опьяненными. Их эмоции находятся полностью во власти виртуозного исполнителя, равно подчинившего себе и фортепиано, и аудиторию. Пражский «триумф» Моцарта был столь же важной частью его легенды, как и привязанность Праги к нему.

Такую музыкальную репутацию Богемия приобрела еще до его приезда. Чарльз Берни, английский органист и автор «Всеобщей истории музыки», еще в 1771 году назвал Богемию «европейской консерваторией», имея в виду количество музыкантов в этой стране. Просветитель Фридрих Мельхиор фон Гримм, покровитель Моцарта, друг Дидро, состоявший в переписке с Екатериной II, основал в 1753 году международный вестник французской культуры под названием «Correspondance Littéraire»; в том же году он опубликовал там небольшой памфлет под заголовком «Маленький пророк из богемского Брода». Этим маленьким пророком был уличный скрипач, сверхъестественным образом перенесшийся через всю Европу из Богемии в Париж и, как оракул, защищавший истинный дух музыки, сражаясь против неестественных правил французской оперы. Он был пророком упадка и гибели, заката французской цивилизации:

И далекие народы увидят творения ваших отцов; они увидят их на сценах своих театров и будут восхищаться ими, не вспоминая вашего имени; ибо ваша слава минет, и по сравнению с вашими отцами вы будете то же, что нынешние греки по сравнению с греками древними, то есть варварским и глупым народом.

И я, Гавриил Иоанн Непомук Франциск де Пауло Вальдсторк, называемый также Вальдстёркель, изучавший философию и мораль-

ную теологию в Великой Коллегии Преподобных Отцов Иезуитов, рожденный в Бёмиш-Броде в Богемии, я плакал над участью этого края, поскольку мое сердце нежно от природы⁴⁰.

В представлении Гримма, описание Богемии, сожалеющей об участи Франции, звучало как ироническая инверсия. Хотя вымышленный богемский скрипач и мог предвидеть новое пришествие варварства во Франции, Хёстер Линч Пиоцци, посетивший Прагу в 1786 году, всего за несколько месяцев до Моцарта, обнаружил, что там «все выглядело так же, как и пять столетий назад»⁴¹. Он оперировал теми же терминами, что и другие путешественники по Восточной Европе.

Что касается юного Моцарта, то он подружился с немолодым богемским композитором Йозефом Мысливечекком, которого в итальянских музыкальных кругах называли просто «*il Boemo*». самого Моцарта, будущего создателя Нотшибикитшиби, конечно, не могла утешить непроезжимость этого чешского имени. Не исключено, что в музыкальном плане Моцарт почерпнул что-то и у Мысливечека, и из чешских народных песен, подобно Гайдну с его венгерскими мотивами⁴². Тем не менее, согласно легенде, при первом посещении Праги все произошло ровно наоборот — чешская народная музыка попала под влияние Моцарта, подарившего уникальную мелодию бедному уличному музыканту. Главный музыкальный подарок Моцарта Праге, более важный, чем даже симфония ре-мажор, был еще впереди: композитор пообещал вернуться и вознаградить пражан новой оперой за тот прием, которым они удостоили «Фигаро». Этой оперой стал «Don Giovanni».

Возвращение Моцарта в Прагу осенью того же года с новой оперой, которую он заканчивал в самую последнюю минуту, стало составной частью его легенды. В 1855 году немецкий поэт-романтик Эдуард Мёрике посвятил этой легенде повесть «Моцарт по дороге в Прагу». Мёрике наделил своего Моцарта трогательной чувствительностью и совершенно детской очаровательностью; композитор останавливался на обочине, чтобы показать Констанции красоту окружающего леса: «Видишь ли, в моей юности я проехал пол-Европы, я видел Альпы и океан, все самое величественное и самое прекрасное во вселенной; а теперь я как идиот случайно остановился в самом обычном хвойном лесу на границе Богемии, потерявши голову от изумления и восторга, что нечто подобное мо-

жет и вправду существовать». На самом деле все, должно быть, обстояло несколько иначе; из его январского письма видно, что на границе Богемии «идиотизм» Моцарта выражался не в торгах по поводу соснового леса; он превратил себя в Пунктитити, а Констанцию — в Шаблу Пумфу. Любопытно, что в XX веке, по крайней мере — в одном немецком издании Моцарта, легкомысленный абзац с новыми именами был аккуратно опущен, представляя читателям образ более серьезного Моцарта на пути в Прагу⁴³.

В 1787 году Казанова тоже гостил в Богемии, в замке графа Вальдштейна. Старый авантюрист отправился в Прагу, чтобы договориться об издании своего «Icosameron», фантастической истории инцеста, брака между братом и сестрой, которые затем совершили путешествие к центру земли, в страну мегамикров. Мегамикры эти были плавающими существами, чуть более полуметра длиной, «всех вообразимых расцветок, кроме белой и черной», которые общались при помощи особого языка, «гармонического пения»⁴⁴. Казанова мог присутствовать на премьере «Don Giovanni», в котором он, конечно, узнал бы отзвук одержанной им самим череды сексуальных побед. В данном случае, однако, завоевателем был Моцарт, во второй раз за один год с триумфом выступавший в Праге. Восторженный прием «Don Giovanni» в Праге якобы заставил Моцарта воскликнуть: «*Meine Prager verstehen mich*» («Мои пражане меня понимают»); изречение это стало девизом неумирающей легенды об особых отношениях между городом и великим композитором⁴⁵. Пражане, таким образом, ценили его музыку, а сам Моцарт, с его слабостью к словесным играм, несомненно забавлялся иронической ситуацией, когда они прекрасно его понимали, а он сам, попав к чехам, не понимал ни единого слова. Они аплодировали Вольфгангу Амадею, не зная, что одновременно аплодируют Пунктитити.

У Моцарта были все основания запомнить, как Прага его поняла: когда «Don Giovanni» поставили в Вене в 1788 году, прием был заметно хуже. Лоренцо Да Понте, автор либретто, записал в изумлении:

И «Don Giovanni» им не понравился! Что же на это сказал император? «Опера божественна, быть может — даже лучше, чем «Фигаро», но это блюдо не по зубам моим венцам»⁴⁶.

Небрежное упоминание «моих венцев» — император, несомненно, считал, что знает их вкусы, — недалеко ушло от моцартовского «мои пражане». В конце концов, есть что-то неуловимо имперское, даже самонадеянное в этой знаменитой фразе, превратившей жителей Праги в верных и любящих подданных композитора.

Потемкин надеялся выписать Моцарта в Санкт-Петербург, а сам Моцарт обзавелся книгой под названием «Географическое и топографическое описание для путешествий по всем землям Австрийской Монархии, а также дороги на Санкт-Петербург через Польшу». Подобное путешествие, несомненно, привело бы к новым победам, а также к появлению новых комических имен⁴⁷. Приняв в Богемии имя Пунктитити, Моцарт не перестал быть заезжим гостем из Вены, даже наоборот, комически подчеркнул свое чуть снисходительное отчуждение. Он мог называть себя Пунктитити, но сборник немецких стихов, изданный в Праге в 1787 году, превозносил его как «германского Аполлона» и приветствовал словами: «Германия, твоя родина, протягивает тебе руки»⁴⁸. Это обращение словно эхом отразилось в словах дона Джованни, соблазняющего крестьянскую девушку Зерлину: «*La ci darem la mano*».

Имперская сторона отношений между Моцартом и пражанами проявилась более отчетливо во время третьего и последнего приезда летом 1791 года, всего за несколько месяцев до его смерти. Он прибыл на премьеру «*La Clemenza di Tito*», посвященной милосердию римского императора Тита и написанной на коронацию нового Габсбурга, императора Леопольда II, королем Богемии. Другой немецкий путешественник в Праге, Александр фон Клейст, вел записи о своей поездке на эту коронацию, изданные на следующий год в Дрездене под названием «Фантазии на пути в Прагу». У Клейста, подобно Моцарту, фантазии эти выливались в то, что он воображал себя кем-то другим. «Было ли это мечтанием (*Schwärmerei*) или обычным человеческим чувством, — писал Клейст, присутствовавший на премьере «*La Clemenza di Tito*», — в тот момент я скорее желал быть Моцартом, чем Леопольдом»⁴⁹. Образы императора и композитора сливались воедино: оба они были повелителями Праги, с триумфом приехавшими из Вены и волновавшими воображение прочих немецких путешественников. Клейст превратил преданность Моцарту в вопрос

германской национальной гордости, отмечая особый энтузиазм «наших немецких слушателей». На самого Леопольда «La Clemenza di Tito» не произвела особого впечатления, а его супруга, императрица Мария-Луиза Испанская, проведенная вместе с Леопольдом много лет в Тоскане, отдала своеобразную дань немецким качествам итальянской оперы Моцарта, якобы отмахнувшись от нее с царственной грубостью как от «*una porcheria tedesca*»⁵⁰.

Первым биографом Моцарта стал в 1798 году богемец, Франц Ксавье Немецек, описавший его печальный отъезд из Праги в 1791 году, «с предчувствием приближающейся смерти». В Вене некоторые приписывали фатальный недуг нездоровому «богемскому воздуху» и даже богемскому пиву, но Немецек утверждал, что в декабре, когда Моцарт скончался, в Праге пролили больше слез, чем в Вене. Уже на следующий год, в 1792 году, пражская газета писала о том, что в этом городе по-особому «понимают» композитора: «Кажется, что Моцарт сочинял для Богемии; его музыку нигде не понимают и не исполняют лучше, чем в Праге»⁵¹. Его либреттист Да Понте вернулся в 1792 году в Прагу и видел на сцене три их совместных произведения, «Figaro», «Don Giovanni» и «Così fan tutte». В своих мемуарах он вспоминает «энтузиазм богемцев», вызванный Моцартом, их восхищение даже теми его произведениями, которые «меньше всего ценят в других странах», и способность «совершенно» понимать его дар, который другие народы признали лишь «после многих, многих представлений»⁵². Однако, отдавая должное художественному вкусу богемцев, Да Понте не обошелся без иронической инверсии, подобно тому как вымышленный богемский скрипач у Гримма пророчествовал в Париже, обличая фальшь французской оперы. Перед тем как покинуть Богемию, Да Понте разыскал другого венецианца, Казанову, который был ему должен, но тот не смог расплатиться. Моцарт умер, и, не пользуясь более популярностью в Вене, Да Понте не знал, где и как ему устроить свое будущее. В 1792 году Казанова настоятельно советовал ему отправиться в Лондон. Он так и сделал и закончил свою долгую карьеру, преподавая итальянский в Нью-Йорке в Колумбийском университете. В 1791 году, однако, он думал отправиться в Санкт-Петербург⁵³.

В 1794 году в Прагу приехал ученик Моцарта, Франц Ксавье Зюссмайер. Он сопровождал Моцарта в Прагу в 1791 году на премьеру «La Clemenza di Tito»; ходили слухи, что именно он написал речитативы для этой оперы, пока Моцарт в спешке занимался собственно музыкальной композицией. Именно Зюссмайер закончил реквием после смерти Моцарта, и его приезд в Прагу в 1794 году дал повод поддерживать моцартовскую легенду. Зюссмайер сочинил «Песнь богемцев» к императорскому дню рождения. Леопольд уже умер, на престол вступил его сын Франц, но казалось, что ректор пражского университета все еще пытается разрешить коронационную дилемму 1791 года — кто именно виновник торжества, Моцарт или Леопольд? — пытаюсь примирить любовь Богемии к Моцарту с ее верностью Габсбургам. Ректор приветствовал Зюссмайера следующими словами:

Посредством прекрасной, ошеломляющей музыки вы еще более воспламеняете наши сердца любовью к нашим обожаемым монархам. ...Используйте и далее ваш великий талант во славу Господа и на прославление нашего Императора Франца, если однажды вам посчастливится подняться до уровня бессмертного Моцарта ... не забывайте, что богемцы, эта достойная нация, из-за своей верности монархам, из-за разных своих прекрасных поступков, совершенных по столь различным случаям, и более всего из-за своей врожденной способности к музыке, — столь славная нация, я бы сказал, — именно богемцы лучше других умели дорожить вашим талантом⁵⁴.

Не было никакой опасности, что скучный Зюссмайер поднимется до уровня своего учителя, и в 1794 году в лице его ученика Прага все еще приветствовала самого Моцарта. Настойчиво подчеркивая, что политическая лояльность Вене и умение ценить музыку неразрывно переплетены, уверяя даже, что музыка вдохновляет политическую преданность, ректор отметил, что в моцартовском музыкальном триумфе в Праге был немалый элемент «покорения» богемцев заезжим композитором.

В 1937 году, в 150-ю годовщину пражской премьеры «Don Giovanni», Поль Неттл закончил свою книгу «Моцарт в Богемии», благочестиво надеясь восстановить дух прошлого, «дух гармонии и примирения», когда «немцы и чехи вместе приветствовали Моцарта как “своего повелителя”»⁵⁵. Книга написа-

на по-немецки и вышла в Праге в 1938 году, в год Мюнхенского сговора, оставившего Богемию на милость Германии. На самом деле отношения между «немцами и чехами», которые «вместе приветствовали» Моцарта, «германского Аполлона», всегда были асимметричными, по умолчанию основанными на политическом неравенстве, и эта асимметрия отражала культурно сконструированное неравенство между Западной Европой и Европой Восточной.

В 1794 году в Праге Зюссмайер присутствовал на представлении своей итальянской оперы «Турок в Италии». Восточная Европа, занимавшая промежуток между Европой и Азией, особенно подходила для работы над сочинением о встрече Востока с Западом. Немецкая опера Моцарта «Похищение из сераля» повествовала не о турках в Европе, а о драматических приключениях европейцев в Турции; в 1782 году она стала его первым большим успехом в Вене и в 1783 году была встречена с не меньшим энтузиазмом в Праге. В 1780-х годах в Варшаве француз Фрассине де Ларок написал комедию «Два француза на Украине»⁵⁶. Лессинг попытался написать трагедию, где действие происходит там же, но в конце концов сдался; вероятно, комедийная форма более уместна при работе с подобным материалом.

В «Похищении из сераля» Моцарт предлагал комический образ Востока, но чтобы обнаружить у него представления о Восточной Европе, чтобы почувствовать дух Пунктитити в его оперных творениях, мы должны обратиться к «*Così fan tutte*». Впервые представленная в Вене в 1790 году, эта опера была последней совместной работой Моцарта и Да Понте; в основе ее лежала история двух неаполитанцев, которые решили убедиться в верности двух дам из Феррары и стали ухаживать за ними, изменив свое обличье. Герои переодеваются албанцами, и дамы не могут их узнать. Когда кавалеры в первый раз появляются в новом обличье, горничная обеих дам, Деспина, посвященная в тайну розыгрыша, выражает веселье Моцарта и Да Понте. Без особой на то нужды в либретто указано, что Деспина поет *ridendo*, со смехом:

Che sembianze! Che vestiti!
Che figure! Che mustacchi!
Io non so se son valacchi,
O se turchi son costor.

(Что за облик! Что за платье!
Что за вид! Что за усы!
Не пойму, они валахи
Или турки...)⁵⁷

Они, конечно, и не турки, и не валахи, но албанцы, и веселые сомнения Деспины полностью соответствуют отношению европейцев того столетия, небрежно смешивавших восточно-европейские и восточные народы. Рифмуя «*mustacchi*» и «*valacchi*», Да Понте указывал, как легко изобразить на сцене некоторые из этих народов. Сюжет оперы основан на невероятном предположении, что две дамы не могут узнать своих переодетых возлюбленных, но в то же время допуская, что на каком-то более глубинном уровне они их узнали, заново влюбляясь каждая в своего поклонника. Промежуточное положение Восточной Европы как области фантазии и приключений между Европой и Азией, между цивилизацией и варварством, позволяло разрешить неопределенность между истинным обликом и обманом, между комедией и романтической историей.

Во втором акте Деспина переодевается нотариусом, чтобы зарегистрировать мнимый брак между двумя новыми парами:

Quelle, dame ferraresi;
Questi, nobili albanesi.

(Вот феррарские дворянки;
Вот албанские дворяне.)⁵⁸

Торжественно провозглашать бракосочетание между «*ferraresi*» и «*albanesi*» комично уже само по себе. Рифмуя эти слова, создатели оперы намекали и на различия, и на сходства между народами «разных» Европ: Восточная была родственна Западной ровно настолько, чтобы служить ей комической рифмой. Согласно либретто, в финале героям достаточно появиться «без шляпы, без плаща, без усов», хотя и в албанских костюмах, чтобы дамы их узнали⁵⁹.

Чтобы понять, почему в «*Così fan tutte*» участвуют албанцы, а не, скажем, богемцы, необходимо вспомнить, что либретто написал в Италии венецианец Да Понте. Албания расположена на побережье Адриатики, находившейся некогда под безраздельным владычеством венецианской державы. Именно венецианцы соперничали с турками за господство в Албании,

именно итальянцы вторглись туда в 1938 году, чтобы сделать ее провинцией новой империи, которую пытался создать Муссолини. В XVIII веке Албания все еще находилась под властью турок, но исторически она была объектом имперских притязаний, и в глазах венецианца Албания — то же, что Богемия в глазах Моцарта, уроженца Вены. Более того, на протяжении XVIII века Габсбурги последовательно развивали свою адриатическую гавань в Триесте, а в 1790 году, в год «*Così fan tutte*», их армии сражались с турками в Юго-Восточной Европе. Моцарту было несложно предаваться тому же комическому восторгу, какой он испытал на пути в Прагу, только на этот раз применительно к уморительным лжеалбанцам из сочиненного Да Понто либретто. В конце концов, в Богемии он и сам с удовольствием примерял новую комическую маску. Албанские костюмы в «*Così fan tutte*» должны были поразить не только впечатлительных красавиц из Феррары, но и любителей музыки, воображение которых отзывалось на восточноевропейские фантазии и комедии.

Венская публика была вполне готова воспринять такую комедию, поскольку различные народы, населявшие империю Габсбургов, вполне зримо присутствовали в самой столице. Йоган Пеццль в своем «Очерке Вены» 1786 года, описал население города как театрализованный каталог экзотических костюмов.

Здесь вы часто встретите венгра, чопорно выступающего в своем отороченном мехом доломане, обтягивающих штанах, достающих почти до лодыжек, с длинной косичкой; или круглоголового поляка, с его монашеской стрижкой и широкими рукавами; и тот и другой никогда не расстаются со своими сапогами. — Армяне, валахи и молдаване, в своих полуазиатских костюмах, тоже не редкость. — Сербы с их закрученными усами занимают целую улицу. ...Польские евреи, все закутанные в черное, с заросшими бородами лицами, а волосы закручены узлами: живая сатира на избранный народ. Богемские крестьяне в высоких сапогах; венгерские и трансильванские погонщики в овечьих шубах; хорваты с черными трубами на головах — все они добавляют забавные штрихи к этой общей толчее⁶⁰.

Восточная Европа была подобна театральному действию, разыгранному на венских улицах, где каждый из населявших империю народов сводился к своему «полуазиатскому» костюму, от валахов до богемцев, от овечьих шуб до закрученных усов.

Моцарт и Да Понте тоже повстречали бы и оценили эти «забавные штрихи», ведь композитор и либреттист, в конце концов, тоже развлекали почтенную публику.

«В НЕИЗВЕСТНЫХ КРАЯХ, ПОТЕРЯВ ОРИЕНТАЦИЮ»

Описания вымышленных путешествий по Восточной Европе, вроде сочинений барона Мюнхгаузена, выходили в свет одновременно с пародируемыми ими повествованиями реальных путешествий, например Тотта и Кокса. Одновременно с этим такие путешественники, как Моцарт и сам Казанова, добавляли к своим рассказам вымышленные детали и экзотические имена, тоже помогая стирать границу между фантазией и реальностью. Воображаемые путешествия Вольтера, проследовавшего за Карлом XII через всю Восточную Европу, стали литературной моделью для последующих вояжеров, смотревших на этот регион сквозь призму культурных фантазий и литературных приемов. Введенный Вольтером образ искателя приключений, пролагающего свой путь сквозь «неизвестные края», послужил основой для самой первой записи в дневнике Александра-Мориса Бланк де Ланётт, графа д'Отрива, покинувшего в 1785 году французское посольство в Константинополе, чтобы занять должность при молдавском дворе.

Если секретарь молдавского господаря отправляется из Перы, полагая, что может путешествовать по Европе, словно во Франции, он тут же сталкивается со своим первым приключением. К вечеру он обнаруживает, что оказался один, в неизвестных краях, потерявшим ориентацию (*désorienté*)⁶¹.

Свои «неизвестные края» д'Отрив обнаружил в самой Европе, стоило ему только пересечь ее границу. Он повторил в обратном направлении путешествие Салаберри, доказав, что Восточную Европу можно открыть и когда едешь с запада на восток и с востока на запад. Константинополь, несмотря на всю свою экзотичность, был, по крайней мере, «известен», тогда как, покинув Азию, герой сразу же «потерял ориентацию». Потерю эту только усугубляли неожиданные столкновения с бездомными народами Восточной Европы. Через восемь дней по выезде из Константинополя д'Отрив обнаружил колонию

евреев, «перемещенных из Польши по приказу Мухаммеда IV, завоевавшего Подолию». Еще через три дня он встретил крымских татар, поселившихся в Болгарии два года назад, когда их земли были заняты русскими⁶².

Уже в первую неделю своего путешествия д'Отрив объявил, что в Восточной Европе нетрудно потерять и философскую ориентацию, усомнившись в основных идеалах Просвещения. Увидев распятых вдоль дороги воров, он отказался оценивать это по западноевропейским стандартам:

Даже отсюда мне слышны вопли наших философов! Хмм, пусть они как-нибудь попробуют побывать в чужих краях! Если бы господин де Беккариа повидал здешних головорезов, он был бы менее склонен к нежностям!⁶³

Тотт получил такой же урок в Молдавии, «излечившись» от своего «упрямого человеколюбия». «О преступлениях и наказаниях» Чезаре Беккариа стало важнейшим текстом эпохи Просвещения сразу же после публикации в 1764 году, но д'Отрив отбросил все его доводы против пыток, жестоких наказаний и смертной казни как неуместные в «неизвестных краях», в которых миланец Беккариа никогда не бывал. Д'Отрив не смягчился, даже обнаружив, что распятые далеко не всегда были ворами, — когда случаются кражи, турецкие власти не слишком разборчивы, казня подозреваемых. В Родопских (или Балканских) горах они «находили какого-нибудь все еще полудикого пастуха, едва похожего на человека и не способного разумно рассуждать». Этого было довольно: «Повесить болгарина»⁶⁴. Хотя д'Отрив и допускал, что болгарин невиновен, но он был «непохож на человека», не способен рассуждать, и потому человеческие принципы эпохи Просвещения были в его случае неуместными.

Самому д'Отриву, прожившему год в Константинополе, предстояло пробыть два года представителем и просвещенным советником молдавского господаря. В 1785 году ему был 31 год. Хотя он учился у монахов-ораторианцев и иногда упоминается под титулом аббата, его религиозные воззрения оказались достаточно непрочными и вообще исчезли с приходом Французской революции. Он служил французским консулом в Нью-Йорке, а при Наполеоне стал директором Национальных архивов в Париже.

«Эта Болгария, само имя которой внушает страх, — одна из красивейших стран Европы», — писал д’Отрив. «Нигде не найти более очаровательных равнин, более пологих склонов и ландшафта, более приспособленного воспринять все блага культуры (*culture*)». Эта Болгария, от своего диковинного имени до изящно описанных красот ландшафта, стала литературным открытием д’Отрива. Даже самая суть Восточной Европы, ее готовность воспринять *culture* — что могло означать и цивилизацию, сельскохозяйственную культивацию — дала повод к художественным прикрасам. Д’Отрив заметил, что буйволы, лошади, коровы, овцы и козы живут «вперемешку» в своих хлевах, но стоит им оказаться на склоне, «особи каждого вида собираются вместе, образуя живописные группы»⁶⁵. Склонность подмечать все «живописное» вновь и вновь заслоняла менее приятные болгарские впечатления.

Самая первая болгарская деревня, попавшаяся на пути д’Отрива через девять дней после начала путешествия, называлась Коджа-Торла. Это имя позабавило бы Моцарта, но сама деревня была далека от процветания: «Невозможно представить себе ничего более убогого, чем вид этого несчастного хутора, где полновластным хозяином становится любой из всадников Великого Султана, который каждый год мучает своих злосчастных подданных тысячей новых способов». За год до того они пытались бежать, но были пойманы и получили «тысячи палочных ударов». Телесные наказания и феодальное угнетение наблюдались по всей Восточной Европе, но д’Отрив не уделил им особенного внимания и принялся описывать «примечательные» дома с трубами, похожими на улы, женщин с их разноцветными вышивками, маленьких девочек, выпрашивающих монеты, из которых они делали украшения, позднее становившиеся их приданым. В целом, полагал д’Отрив, «они выглядят менее несчастными, чем наши крестьяне», кажутся «более мягкими и общительными». Он выяснил, что крестьяне обитали под одной крышей с коровами, буйволами, овцами, гусями и козами, и решил, что живость деревенских жителей, их взгляд и выражение лиц придавали им «несколько козлиный вид», особенно благодаря мохнатым шапкам. На следующий день он покинул Коджа-Торлу и по дороге обозрел еще одну деревню: «С высоты гор можно разглядеть мужчин, женщин и детей, копошащихся подобно муравейнику, собирающихся в

отряды; самые любопытные и самые подвижные отправлялись в путешествия, танцуя и распевая вокруг своих повозок»⁶⁶. Д'Отрив бросал им монеты, и очень кстати, поскольку его муравьиная аллегория превратила нищую болгарскую деревню в какое-то чудо живописности.

На следующий день, покидая Карабунари, д'Отрив с удовлетворением повстречал еще более «восхитительный вид»; на этот раз включающий сцену охоты:

Тридцать великолепных псов, белых как снег, легких как ветер на равнинах, сотня охотников на столь же стремительных лошадях... Voilà, сцена, которой я наслаждался с высоты длинных холмов на стыке Родопских и Балканских гор. Менее чем за две минуты они затравили шесть зайцев, которые мчались подобно стрелам, под лай своры и крики охотников⁶⁷.

Охотники оказались крымскими татарами, но значение этой «сцены» в дневнике д'Отрива в том, что охота на зайцев, которой он так «наслаждался», представляет собой литературный вариант услышанной за два дня до того истории о жестокой погоне за крепостными из Коджа-Торлы.

Хотя неприятные впечатления и были скрыты великолепными видами, отделить одно от другого было сложно. Проехав мимо охотников, д'Отрив остановился отдохнуть на «хуторе, самом ужасном и в Болгарии, и во всем мире», который был тем не менее частью «прекрасной равнины, которую я только что воспевал». Проблема была в том, что хутор этот, говоря попросту, был немислимо грязен: «Здесь было грязно, как в болоте; улицы, поля, дома, все состоит из грязи; обитатели уродливы, грязны и, я полагаю, больны, все в щетине, вшах и лохмотьях». Но стоило грязной деревеньке остаться позади, как путешественник оказался лицом к лицу с Балканами и «панорамой огромного, темного и густого леса»; он надеялся сделать «какие-нибудь новые наблюдения касательно физических и моральных свойств горцев»⁶⁸. Он встретил девяносточетырехлетнего старика, который измерял свой возраст воспоминаниями о трех Русско-турецких войнах, восходившими к самому началу столетия: «Но судьбы двух империй значили мало для старика, который лишь надеялся пережить своего ровесника-турка из той же деревни». Комическая притча о стариках-соперниках намекала на то, что этнические взаимоотношения в

восточноевропейских горах складывались совершенно независимо от хитросплетений международной политики и никак на нее не влияли. Хотя горы «не слишком высоки, но крайне неприступны», он горячо «рекомендовал художникам и поэтам» их исключительную живописность. «Пересекающим Болгарию путешественникам стоит опасаться лишь морозов, зимы, разбойников и волков», — заключал д'Отрив⁶⁹. Он иронически успокаивал своих предполагаемых читателей, приглашая их последовать за ним в Болгарию:

Ужасные дороги доведут вас до самого Счиали-Кавака; после отдыха вам предстоит тащиться еще три часа через грязь огромного, очень красивого леса, где вы не услышите другого звука, кроме звука собственного ружья, из которого вы стреляете время от времени, чтобы предупредить тех, кто не слишком торопится или, наоборот, торопится слишком сильно... и *voilà*, именно так и пересекают пресловутые Балканы⁷⁰.

Д'Отрив был полон решимости привезти *вас* с собой в Восточную Европу со всей ее грязью, вкладывая вам в руки ружье, убеждая вас стрелять из него, понуждая ваших проводников и носильщиков двигаться размеренно. Пока вы пересекали Балканы, д'Отрив лежал в своей повозке, «приговоренный к желудочным коликам, мучимый тошнотой».

Через две недели после выезда из Константинополя путевой дневник д'Отрива все больше и больше начинает превращаться в собрание литературных аллюзий. Еще не оправившись от своего медицинского мученичества, он уже обнаружил в Болгарии религиозную утопию:

Потом я проследовал в молчании и без всякого интереса через Чингуали, Кайали, Эрубиалар, Кучуфлар, Чарви, деревни наполовину турецкие, наполовину болгарские, где мусульмане и христиане живут вместе, не испытывая ненависти, даже в содружестве, вместе пьют плохое вино в нарушение поста и рамадана... и остаются честными⁷¹.

Элементы фантазии здесь тем более ощутимы, что, по собственному признанию д'Отрива, он не выходил из повозки по причине тошноты и едва ли мог внимательно изучить эти пять деревень. Свою фразеологию он, несомненно, почерпнул у Вольтера, особенно описание того, как крестьяне «вместе пьют

плохое вино в нарушение поста и рамадана»; подобные отзвуки «Кандида», «Задига» и даже «Философического словаря» придавали его «путевым заметкам» сильнейший привкус литературности.

Если д'Отрив и мог иногда сойти за аббата-ораторианца, то лишь за такого, какие были типичны для эпохи Просвещения. Он горячо одобрял мирное сосуществование и даже взаимопроникновение разных религий.

Священники и имамы с одинаковым снисхождением относятся к союзам между приверженцами обеих религий. Нередко можно увидеть тюрбаны и образа укрывающиеся под одной крышей, и Коран с Евангелием, лежащими друг на друге⁷².

Подобно тому как война между двумя империями, Русской и Турецкой, не имела никакого отношения к соперничеству между двумя стариками, религиозные войны, оказывается, никак не влияли на быт живущих в Болгарии вперемешку представителей различных вер. Чем больше д'Отрив пытался сосредоточить внимание на самих народах, населявших Восточную Европу, тем больше эти народы превращались в обычную литературную конструкцию эпохи Просвещения, скорее мыслительную, чем действительную. Д'Отрив объяснял религиозный мир в регионе «невежеством и грубостью необразованных и непросвещенных народов» и, как типичный аббат Века Разума, философски отпускал им грехи: «Этот религиозный скептицизм, столь миролюбивый и столь кроткий, показался мне в высшей степени простительным». Оказывается, населявшие Болгарию народы вовсе не были «дикарями, не способными разумно рассуждать ни о чем», хотя за неделю до того именно так, слово в слово, д'Отрив описывал болгар, обвиненных в воровстве и повешенных в Балканских горах. Лично совершив путешествие через Балканы, д'Отрив понял, насколько философски амбивалентна цивилизованность, и заключил с вольтеровской иронией: «Эти несчастные, таким образом, очень далеки от цивилизации, поскольку в них нет тех страстей, которые благодаря предрассудкам делаются столь распространенными и столь неискоренимыми»⁷³.

На Дунае, на границе между Болгарией и Валахией, д'Отрив задумался было о чуме, но отмел подобные мысли:

Окрестности Силистрии усыпаны кладбищами, которые вымощены свежими могилами; предместья напоминают пустыню, и, добавляя печальности этому пейзажу, воображению повсюду видится смерть, окруженная трупам и умирающими и изрыгающая из своего смердящего рта ядовитую заразу. Я не знаю, как передать впечатление, которое произвел на меня среди ужасов этой сцены воздушный змей, взвившийся в небо и весело плавающий над городом. Мысль о стае детей, бегающих и возящихся вокруг его бечевки, тотчас же пронзила мою душу; их смех, который я, казалось, слышал, рассеял преследовавшие меня грустные видения, и две тысячи болгар, турок, армян, христиан, явившихся, чтобы увидеть наши флаги, услышать наши барабаны и есть из наших рук в течение более чем часа, уже не причинили мне страха — все благодаря этому змею⁷⁴.

«Воображение» д’Отрива разыгралось до того, что начинало подменять наблюдение: на смену зрелищу смерти является всепобеждающее зрелище радостных детей. На следующую ночь, уже переправившись через Дунай и оказавшись в Валахии, д’Отрив пережил новую «пытку», его «заели блохи». Он, однако, выстоял в схватке при помощи еще одного видения.

Я видел себя самого, испещренного красными точками и круглыми пятнами, которые из-за своей многочисленности касались друг друга и скорее напоминали те маленькие чешуйки, из которых состояли сплошные доспехи древних даков, в чьей стране я имел несчастье отправляться на ночлег в первый раз⁷⁵.

Даже если эти пятна и точки приносили мучение, по крайней мере, они не были знаками чумы. Д’Отрив немедленно преобразил свою уязвимость в фантастический образ блестящих доспехов и вслед за многими путешественниками по Восточной Европе вообразил себя не в современной Валахии, а в древней Дакии. Соответственно он продолжал наслаждаться, глядя, как дети играют «в грязи, голые и проворные, словно обезьянки»⁷⁶.

Д’Отрив обнаружил сходство между Молдавией и Валахией, хотя путешественник XVIII века еще не мог объяснить соотношение между ними существованием такой категории, как Румыния: «Точки, в которых эти два государства соприкасаются, напоминают друг друга совершенно; одинаковые превратности судьбы, одинаковые несчастья, одинаковая история довели валахов и молдаван до полнейшего физического и морального однообразия». Слова вроде «довели» и «несчастья»

означали, что оба народа одинаково отстали. Несмотря на это, д'Отрив не побрезговал насладиться «чрезвычайной почтительностью [молдаван] к любому, кто выглядит приближенным господаря»⁷⁷. За два дня до окончания поездки, в Яссах, он насладился наконец фантазией о чем-то большем, чем почтительность местных жителей. Он остановился в доме, где его внимание привлекла восемнадцатилетняя девушка, работавшая над вышивкой: «Руки этой вышивальщицы были столь же прекрасны, как у наших герцогинь». Д'Отрив поужинал и отправился в постель, испытывая «желания другого рода», но решил уважать добродетель этой девушки. Дневниковые записи за этот и за следующий день не сообщают, остался ли он верен своей решимости.

Прощай, прекрасная вышивальщица! Молдаванин, который сделает тебя счастливой, будет и сам очень счастлив, если, подобно мне, оценит твою красоту... на прощание я даю ей денег; она берет их, опускает глаза, целует мне руку; что до меня, то я восхищаюсь ею, как мадонной Корреджио⁷⁸.

Воображение д'Отрива, то галантное, то благочестивое, вечером превратило девушку в герцогиню, а наутро — в мадонну; но, прибегая к многозначительным околичностям как раз перед тем, как передать ей деньги, путешественник оставил нас гадать, что же случилось той ночью. Д'Отрив с его богатым воображением нашел в Восточной Европе столько возможностей поупражняться в фантазиях и литературных стилизациях, что, конечно, мог предоставить некоторые эпизоды воображению своих читателей.

«САМОЕ ГОРЯЧЕЕ ВОООБРАЖЕНИЕ»

Год спустя по маршруту д'Отрива проследовала леди Элизабет Крэйвен. Отправляясь из Константинополя, она отвергла дорогу через Белград, якобы кишашую разбойниками: «Я ознакомилась с картами и с мнениями наиболее сведущих здешних путешественников, и меня уверили, что я могу легко и быстро проехать через Болгарию, Валахию и Трансильванию до Вены». Затем, однако, она получила новые предостережения о «гораздо большей опасности в случае следования новым

маршрутом, поскольку в этих странах еще больше разбойников и убийц, и ... каждую милю будут попадаться головы, насаженные на кол»⁷⁹. Она решила не верить этим рассказам, но тем не менее путешествовала с «парой отличных маленьких английских пистолетов», которые носила на поясе. Как она писала, «большинство женщин испугались бы предпринимаемого мною путешествия; но, попав в страну Магомета, я должна выбраться из нее, так что я радостно и весело отправлюсь в путь». То обстоятельство, что она женщина, придавало и самому путешествию, и рассказу о нем особенный привкус авантюризма. Она сама обыгрывала эту тему, например в описании Болгарии:

Болгария лишь отчасти цивилизована, и когда мне попадался работающий в поле турок, он всегда имел при себе ружье... Подобные зрелища, а также леса, через которые я проезжала, настолько мало избитые путешественниками, что кусты и деревья оторвали дверцу моей кареты, привели бы в трепет любую утонченную даму⁸⁰.

Таким образом, читателей — и утонченных дам — приглашали содрогнуться вместе с автором. На самом деле у нее была попутчица, «*Mademoiselle*», француженка с маленькой белой собачкой, и обеих утонченных дам сопровождал официальный турецкий проводник — «мой отвратительный тчоадар», — который отвечал за все детали их путешествия.

Валахский господарь и его супруга докучали леди Крэйвен просьбами остаться у них на год, вероятно считая ее еще более завидной находкой, чем д'Отрив, находившийся тогда в соседней Молдавии, «но я заверила их, что и на двадцать четыре часа не останусь в Бухаресте». Тем не менее она отметила как приятный сюрприз, что Валахия — не вполне азиатская страна: «Ужин был сервирован гораздо более по-европейски, чем я могла бы себе представить: я не ожидала встретить такие предметы, как стол на высоких ножках и стулья». Леди Крэйвен увезла с собой на память «несколько носовых платков с очень красивой вышивкой»⁸¹. Горные и лесные пейзажи Валахии приводили ее в восхищение: «Невозможно представить себе ничего более дикого и романтического... но подобные виды не могут перевесить ужасное состояние дорог». Действительно, хотя через горы карету тащили двадцать крестьян, та опрокинулась, и путешественницы оказались на земле, при-

чем «мадемуазель» была вне себя и непрерывно кричала: «*Je suis morte*». С вполне английским интересом к сельскому хозяйству, леди Крэйвен восхищалась «жирным черноземом» Валахии и пришла к заключению, что «эту страну вполне можно назвать драгоценным камнем в грубой оправе. Чем бы могла она стать, попади она в руки трудолюбия и хорошего вкуса!». Метафора «драгоценного камня в грубой оправе» удачно передавала представление леди Крэйвен о Восточной Европе, намекая на недостаток отделки и полировки; если бы не такой недостаток, эти страны вполне могли бы стать достойными утонченной дамы. Вдоль границы между Османской империей и владениями Габсбургов пролегали Трансильванские Альпы, или Южные Карпаты, «эти очаровательные горы, созданные, конечно, не для того, чтобы укрывать угнетенных подданных или беглых убийц». Она испытала облегчение, увидев наконец габсбургского орла в Трансильвании и «почувствовав себя под защитой Империи». Старый таможенник сообщил ей, что он «никогда до этого не видел и не слышал, чтобы дама пересекала эту границу». Свой рассказ леди Крэйвен превратила в драматическую повесть о приключениях утонченной дамы, исследующей страны, где роль заезжих авантюристов играли, как правило, мужчины. Как раз когда она пересекала границу, император Иосиф II осматривал свои полки в Трансильвании. Он «послал мне обещание дождаться моего приезда, что ... и сделал». Его особенно заинтересовали карты, собранные леди Крэйвен во время путешествия; они, «кажется, очень ему понравились»⁸². Всего лишь год спустя, в 1787 году, Иосиф II начал войну с Турцией, свою последнюю большую внешнеполитическую авантюру. Он собирался завоевать именно Молдавию и Валахию, так что интерес к картам и рассказам леди Крэйвен был неслучаен. Несмотря на свою грубую оправу, драгоценный камень казался императору вполне привлекательным, и если бы Габсбургам удалось добраться до Бухареста, они бы задержались там надолго.

Для самой леди Крэйвен ее путешествие из Константинополя в Вену было лишь последним отрезком куда более длинной поездки через Восточную Европу, которую она совершила в 1786 году. В 1783 году она рассталась с мужем, и в 1785-м, находясь в Италии, решила отправиться на север: «Раз уж я отправилась в дорогу, я повидаю дворы и народы, которые

видели лишь немногие женщины». Ее маршрут пролегал через Вену до Кракова и Варшавы и далее до Санкт-Петербурга, оттуда — на юг до самого Крыма, затем по Черному морю до Константинополя и, наконец, через Болгарию и Валахию назад в Вену. Он включал, таким образом, все три главных направления, которые описывали Восточную Европу для путешественников XVIII века: во-первых, через Польшу в Санкт-Петербург; во-вторых, в Константинополь через страны Юго-Восточной Европы (в данном случае, в обратном порядке); между ними — крымский маршрут, который связывал Санкт-Петербург с Константинополем и задавал для Восточной Европы ось с севера на юг. Именно этот отрезок стал наиболее знаменитым маршрутом десятилетия после того, как год спустя, в 1787 году, свое путешествие в Крым совершила Екатерина II. В дороге ее сопровождал император Иосиф II, возможно изучивший как следует карты, подаренные леди Крэйвен, которая могла теперь рассчитывать, что ажиотаж вокруг поездки двух царственных особ подогреет интерес к ее «Путешествию в Константинополь через Крым», вышедшему в 1789 году в Дублине. Издав эту книгу, она намеревалась показать, «где побывала настоящая леди Крэйвен», поскольку некая самозванка пользовалась ее именем «чуть не во всех гостиницах Франции, Швейцарии и Англии», выдавая себя за «жену моего мужа»⁸³. Описав свои путешествия, она надеялась защитить свое доброе имя от скандальных историй, связанных с «этим дерзким обманом», доказав, что все это время настоящая леди Крэйвен путешествовала по Восточной Европе, тогда как самозванка (по всей видимости, в сопровождении лорда Крэйвена) совершала более традиционную поездку по Европе Западной. Сюжет с двумя дамами, претендующими на одно и то же имя, каждая — в своей части континента, превращал Восточную Европу в территорию авантюры, но одновременно и аутентичности, тогда как Западная Европа оказалась царством непристойности и фальши. Концепция «цивилизации» вновь становилась амбивалентной; один из драгоценных камней заключен в грубую оправу, но другой и вовсе оказался подделкой. Книга леди Крэйвен написана в форме писем с дороги от автора к маркграфу Бранденбурга, Ансбаха и Байрейта. Она называет его «дорогим братом», подписываясь «ваша любящая сестра», но в 1791 году,

когда лорд Крэйвен умер, а Восточная Европа осталась позади, маркграф перестал быть братом и стал ее вторым мужем.

Первое знакомство леди Крэйвен с Восточной Европой состоялось в декабре 1785 года в Вене, где она восхищалась униформами польских и венгерских полков императорской армии и выразила мнение, что «каждой нации следует сохранять наряды своей страны, и человечеству нет нужды, подобно обезьянам, перенимать одежды друг у друга». Из Вены она отправилась в Краков и обнаружила «печальные доказательства» политического краха Польского государства. Представив себя на мгновение представительницей чужой нации, она заключила: «если бы я родилась польским дворянином», то не стала бы спасать свою страну от раздела. Находясь в январе 1787 года в Варшаве, леди Крэйвен узнала, что слуги и карлики польских магнатов находятся в «полной собственности своих хозяев». В беседе с ней король Станислав Август высказался весьма лестно об Англии, что «могло бы внушить мне преувеличенное мнение о моей стране, если бы только я могла полюбить ее еще больше; но слово *комфорт*, которое понимаешь, только когда там находишься, давно запечатлело свою ценность в моем сознании»⁸⁴. На не отделимых друг от друга образах комфорта и цивилизации зиждилась твердая уверенность в собственном превосходстве, которую ощущали путешествующие по Восточной Европе.

В феврале, уже в Санкт-Петербурге, она еще сильнее ощутила, что «изящества, основанного на ... чистоте и порядке, не встретить нигде, кроме Англии». Контрасты российской столицы, традиционно отмечаемые путешественниками, корбили леди Крэйвен, и она приглашала маркграфа и своих читателей последовать за ней: «Чтобы попасть в гостиную с превосходными паркетными полами, вы проходите по лестнице, построенной самым грубым образом из низкосортного дерева, и видите отвратительную грязь. Кучер одет в овчинный тулуп»⁸⁵. Равным образом она была недовольна вкусами русского дворянства: «Нынешние моды совершенно смехотворны и не приспособлены к здешнему климату; французские полупрозрачные ткани и цветы не предназначались для русских красавиц». Увидев Екатерину II в «русском» — «очень красивом» — платье, леди Крэйвен окончательно убедилась, что каждая нация должна придерживаться своей собственной моды. Помимо это-

го, на нее произвел большое впечатление «превосходный» бал, данный Сегюром в Санкт-Петербурге на Масленицу⁸⁶.

Главная причина ее недовольства Санкт-Петербургом вполне выдавала мотивы, побудившие леди Крэйвен отправиться в странствия. Даже самое горячее воображение застывало здесь под воздействием зимнего холода. Здесь было не место поэтам и художникам: «цветы фантазии обречены завянуть и умереть там, где не встретишь весны». Леди Крэйвен путешествовала по Восточной Европе, чтобы найти пищу своей фантазии, и если та не могла расцвести в Санкт-Петербурге, ей предстояло отправиться в дальнейший путь. Сидя за ужином рядом с Потемкиным, она вспомнила, что Крым, находившийся в его персональном ведении, был с 1783 года частью Российской империи. Это побудило ее задуматься о том, что, быть может, в один прекрасный день «простирающаяся от Севера до Юга империя предпочтет наслаждаться лучами солнца», столицу перенесут в Крым, а Санкт-Петербург «превратится в склад»⁸⁷. Именно эта воображаемая ось, проходящая с севера на юг, позволяла описывать Восточную Европу как восточную часть континента. Карл XII и Вольтер открыли ее почти случайно, блуждая от побед и завоеваний к поражениям и плену, от России с Польшей к Украине и Крыму. В крымском путешествии Екатерины II ничего случайного, конечно, не было; каждая станция на ее пути оказалась роскошно убранной для встречи императорского поезда. Приготовления шли вовсю уже в 1786 году, так что леди Крэйвен смогла воспользоваться некоторыми постройками, приготовляемыми для императрицы.

«Воображение» леди Крэйвен влекло ее на юг; оно даже могло по собственной прихоти переместить туда столицу империи. Это вполне вписывалось в интеллектуальную историю того десятилетия: в том же самом 1786 году из Веймара в Италию отправился Гете, в поисках пищи своему художественному воображению открывая западноевропейский юг. По собственному признанию, его «влекло непреодолимое желание», принуждая совершить «это долгое, одинокое путешествие к центру мира», в Рим, где «претворились в жизнь все мечтания моей юности»⁸⁸. Леди Крэйвен ощущала схожую потребность открыть для себя южную окраину Восточной Европы; при этом она двигалась вдоль оси север—юг, пролегающей параллельно итальянскому маршруту Гете. Концептуальная поляризация

континента на две составляющие, Западную Европу и Восточную Европу, зависела от четкости этих двух осей, связавших одна Германию и Италию, другая — Балтику и Черное море. Тем не менее приключения леди Крэйвен отличались от путешествия Гете, поскольку они привели ее не в центр мира, а скорее на край света, в неизведанные земли Крымского полуострова. С другой стороны, мотивы, увлекавшие в путь их обоих, были все же сходными; ибо как раз в 1786 году в Италии Гете смог наконец завершить свою «Ифигению в Тавриде». А чем был Крым, как не древней Тавридой? Спасенная Артемидой в тот миг, когда Агамемнон собирался принести ее в жертву, Ифигения томила в «священных, мрачных узах рабства», в неприютном Крыму: «Здесь мой дух не может чувствовать себя дома»⁸⁹.

Крым едва ли мог стать домом и для леди Крэйвен, но впечатление манило ее. В Санкт-Петербурге она не поверила предупреждавшим ее, что «воздух [в Крыму] нездоров, вода отравлена» и она, конечно, умрет, если туда отправится. Она знала, что «вновь присоединенная страна, как и приезжая красавица, всегда находит своих клеветников»; леди Крэйвен довелось услышать как минимум один благоприятный отзыв, так что, по ее мнению, она бы не пожалела, если б купила татарское поместье. В марте она уже была в Москве по пути на юг. Восторги по поводу «полуострова, называемого Тавридой, который, судя по климату и расположению, должен быть прелестной страной и приобретением, с которым России не следует расставаться» только возрастали. Леди Крэйвен была уверена, что «Таврида должна, конечно, стать настоящим сокровищем для потомков»⁹⁰. Крым, таким образом, превратился в сокровище, точно так же как Валахия — в драгоценный камень. Подобная лексика небрежно превращала неизведанные земли в царственные игрушки.

Проезжая по Украине, она остановилась в Полтаве, чтобы осмотреть поле битвы, где Петр укротил «буйный дух Карла Двенадцатого», но собственная неукротимая натура звала ее дальше в Крым. Еще в дороге она вспоминала, что он считался во времена османского владычества центром работорговли — «большим рынком, где продают черкесов», а кроме того, что там обитали древние скифы, а затем сарматы — и здесь, почти случайно, ее описание было исторически достоверным.

По всей вероятности, скифы, чье имя несло в себе мощный смысловой заряд и по прихоти авторов связывалось в XVIII веке почти с каждым уголком Восточной Европы, действительно обитали в этих краях до IV века н.э., когда их победили сарматы. Леди Крэйвен пересекла *Степи*, «хотя я бы назвала их пустыней», и вступила в края, населенные татарами. Она послала слугу, чьи смехотворные страхи в течение всего путешествия немало ее позабавили, в татарскую деревню и получила его испуганный рассказ, что татары «очень дурной темнокожий народ». Сама путешественница никак не отозвалась о цвете их кожи, но заметила: «эта деревня не внушила мне высокого мнения о татарской чистоплотности; никогда я не видела более грязного, более убогого места». Деревня была просто кучкой хижин и в сочетании с «величественным пейзажем» навела леди Крэйвен на лстящие ее британскому самолюбию размышления о «примитивном состоянии [всего остального] мира». Цивилизацию она привезла с собой: «Я остановилась там и приготовила чай». Безукоризненная англичанка, она всегда возила с собой «чайный прибор»⁹¹.

Это была настоящая Татария, но представления леди Крэйвен об ее этнической принадлежности были довольно пестрыми, особенно когда разговор шел о находящихся там военных. Она встретила русского генерала, казацкого офицера и даже отряд албанцев. Ее верховая езда привела казака в восхищение: «Когда, вернувшись домой, я спрыгнула с лошади, он поцеловал край моего платья и сказал на своем языке что-то непонятное, но генерал сообщил мне, что он сделал мне самый большой комплимент, какой только можно представить, а именно, что я достойна быть казаком»⁹². Восточноевропейский фон этой сцены, непонятный язык и экстравагантный жест подчинения должным образом стимулировали ее воображение. Позже она присутствовала на казачьем празднике и последовавшем за ним «развлечении».

После ужина я наблюдала в окно превосходную потешную битву между казаками; и я видела трех калмыков, самых уродливых и свирепо выглядящих людей, каких только можно себе вообразить; у них глубоко посаженные глаза, наклоненные вниз в сторону носа, и необычайно квадратные челюсти. Эти калмыки столь ловко обходятся со своим луком и стрелами, что один из них убил гуся на расстоянии в сто шагов, а другой разбил яйцо с пятидесяти⁹³.

Для леди Крэйвен этот край был и этнографическим музеем, и театральными подмостками. Глядя, как ей на забаву свирепые люди инсценируют собственную дикость, она исследовала строение их челюстей. Спустя пятьдесят лет после того, как Вольтер описал сражения Карла XII, запечатлев в сознании просвещенной публики пугающую странность казаков и татар, леди Крэйвен в тех же самых местах могла наслаждаться потешной битвой. Она рассыпала похвалы татарскому «гостеприимству», вторя Вольтеру (который, впрочем, не имел об этом гостеприимстве никакого представления)⁹⁴. Вообще-то, ощущение собственного превосходства, которое она испытывала, когда казак целовал край ее платья, было прямым последствием завоевания Крыма другой женщиной. Год спустя обозреть эти места явилась сама Екатерина.

В конце концов леди Крэйвен достигла самой окончательности полуострова, новой русской гавани и военно-морской базы в Севастополе, откуда она могла отплыть в Константинополь. Она обозревала гавань, в особенности громадный корабль, названный «Слава Екатерины», и заключила, что «все европейские флоты могли бы укрыться от бури и неприятеля в этих бухтах и заливах»⁹⁵. Эта своеобразная и явно империалистическая фантазия с ходом времени стала менее невероятной; в XIX веке корабли и войска европейских держав действительно прибыли в Крым, а затянувшаяся на год осада Севастополя стала легендарной. Как и многие другие воображаемые победы, которые одерживали в XVIII веке путешественники по Восточной Европе, фантазии леди Крэйвен осуществились однажды в виде военной авантюры.

Севастополь распалил ее воображение до такой степени, что она еще более детально узрела будущность Крыма, которую и описала в послании маркиграфу Ансбаху:

Хотя я и не видела всего полуострова, я полагаю, что совершенно с ним знакома, и хотя это недавнее знакомство, я искренне желаю ему быть населенным людьми трудолюбивыми. ...Может ли хоть одно разумное существо, дорогой сэр, обозреть природу, без малейшего содействия искусств, во всем ее изяществе и красе, протягивающей промышленности свою щедрую руку, и не отдать ей должное? Да, признаюсь, я бы желала видеть здесь поселение добрых английских семейств; основание мануфактур, как их заводят в Англии, посылающих к нам плоды этой страны⁹⁶.

Это — империализм в полном смысле слова. Леди Крэйвен не замедлила развернуть свежеприобретенные познания о Крыме, накопившиеся за месяц «совершенного» знакомства, в целую просвещенческую фантазию, привлекательную для «всякого разумного существа», будь оно мужчиной или женщиной. На помощь изяществу и красотам природы она призывала искусство мануфактурного производства и экономической эксплуатации. «Это не мечтания или поэтические преувеличения, — настаивала леди Крэйвен. — Это искреннее желание того, кто почитает все человечество одной семьей»⁹⁷. На самом деле речь, конечно, шла о мечтаниях, и она знала, что и ее маркиз, и все ее читатели именно так и подумают, но, возможно, смогут разделить с ней эти видения. Несмотря на экономический подтекст видений, империализм леди Крэйвен оставался прежде всего империализмом фантазии. Она отправилась в крымское путешествие, чтобы найти пищу своему воображению, подобно Гете, отправившемуся параллельным курсом в Италию, и ее восточноевропейские мечты были плодом этого путешествия.

«ОБРАЗ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

В январе 1787 года Екатерина Великая, она же «Северная Клеопатра», покинула Санкт-Петербург и отправилась в путешествие через всю свою империю, чтобы посетить недавно присоединенный Крым. Таким образом, она пересекала Европу от Балтики до Черного моря. «Со всех сторон меня уверяли, что мое продвижение будет усыпано преградами и неприятностями», — сообщала она впоследствии. «Люди желали напугать меня утомительностью маршрута, сухостью пустынь, вредоносностью климата». Подобно леди Крэйвен, царицу пытались отговорить от посещения Крыма, и, подобно леди Крэйвен, приключения еще больше манили Екатерину: «Возражать мне — значит только раззадоривать меня»⁹⁸. Она везла с собой официальных свидетелей ее триумфального продвижения, представителей западноевропейских государств при ее дворе — английского, австрийского и французского послов. Последним был граф де Сегюр.

«Объявление об этом большом путешествии и его ожидание сильно возбудили наше любопытство, — писал Сегюр. — Когда мы только еще собирались его предпринять, оно уже, казалось, легло грузом на наши плечи; можно сказать, что то было предчувствие долгих бурь и ужасных потрясений, которые не замедлят последовать». Быть может, поездка в Крым отвлекла его внимание от углубляющегося политического кризиса во Франции, надвигающейся Французской революции. Санкт-Петербург казался расположенным гораздо ближе к дому, чем Крым, и Сегюр опасался, что его переписка прервется, он не сможет получать известий о жене, детях, отце, правительстве. В любом случае он был обязан следовать за Екатериной по долгу службы, и его «печаль была лишь легким облачком», которое «исчезло как ночной сон»⁹⁹. Вскоре путешествие подарило ему новые мечты, стойкие к дневному свету.

Сегюр предупреждал своих читателей, что его записки будут отличаться от обычных сочинений путешественников эпохи Просвещения, и сам он не ожидает «увидеть местности и людей в их естественном состоянии» — ведь нельзя понять «наши деревенские нравы, увидев однажды, как их представляют в Опере». На самом деле желающие могли познакомиться с оперным образом французской деревни даже в Москве, и Уильям Кокс в 1778 году присутствовал в Московском воспитательном доме на представлении пасторальной оперы Жан-Жака Руссо «La Devin du village» в русском переводе. В свою очередь, крымское путешествие 1778 года стало оперным действием, представлением под открытым небом эпических пропорций.

Иллюзия почти всегда привлекательней реальности, и нет сомнения, что представляемая Екатерине II на каждом шагу волшебная панорама, которую я постараюсь вкратце описать, будет благодаря своей новизне для многих более любопытна, чем гораздо более полезные в других отношениях отзывы некоторых ученых, которые путешествовали повсюду и философически обозрели эти просторы России, возникшей столь недавно из тьмы (*ténèbres*), чтобы с самого первого своего броска к цивилизации в одно мгновение стать столь могущественной и столь огромной¹⁰⁰.

Слово «иллюзия» стало девизом Сегюра в его попытках изобразить волшебную панораму России, как ее наблюдала Екатерина II. Он знал, что речь не шла о «философическом»

произведении, вроде тех, с помощью которых Век Философов стремился «открыть» для себя Россию; с другой стороны, он намекнул, что фантастическое сочинение может оказаться даже более уместным, если описываешь фантастический скачок России из тьмы к цивилизации.

Этот вояж отличался от других путешествий еще и тем, что, хотя формально Екатерина в сопровождении двора совершала поездку для обозрения России, на самом деле именно ее путешествующий двор и превратился в «центр всеобщего любопытства», даже в «настоящее представление». Столь важные для путешественников XVIII века «наблюдения» в данном случае утонули в «непрекращающемся шуме добровольных или заказных восхвалений», которыми собравшиеся вдоль пути ее следования толпы встречали императрицу. «Всеобщему любопытству» русской толпы вторила вся Европа, с энтузиазмом следившая за продвижением Екатерины по сообщениям в прессе. Даже поколение спустя отчеты дипломатических представителей и мемуары Сегюра представлялись читателям как «любопытные по своей новизне». Сам Сегюр гордился тем, что стал «свидетелем» «необыкновенного путешествия, приковавшего к себе внимание Европы». Никто не осознавал все это лучше, чем сама Екатерина, и, как вспоминал Сегюр, «мы обсуждали все домыслы, которые рождаются в Европе в связи с этим путешествием». Как в «Карле XII» Вольтера, именно Западная Европа была той Европой, которая обозревала и строила догадки. Самим путешественникам почти казалось, что они оставили Европу позади, предавшись восточным фантазиям; они были уверены, что их путешествие выглядит совершенно «восточным» для тех, кто наблюдает за ним издали. Когда в Херсоне к Екатерине присоединился Иосиф II, «мы делали вид, будто все вокруг воображают, что они с императором собирались покорить Турцию, Персию, возможно даже Индию и Японию»¹⁰¹. Это была крайне причудливая ситуация: сами путешественники стремились представить, что же именно Западная Европа воображала об их восточноевропейском вояже. Вполне естественно, этот вояж немедленно преображался в фантазии о завоевании, и особенно в восточные фантазии.

Отправляясь в январе из Санкт-Петербурга, путешественники кутались в медвежьи шубы, чтобы защититься от холода.

Долгие зимние ночи северных широт скрашивало изумительное искусственное освещение.

Благодаря восточной роскоши, у нас не было недостатка в ярком свете, рассеивающем тьму (*ténèbres*): совсем рядом друг с другом по обеим сторонам дороги возвышались огромные пылающие пирамиды из ели, кипарисов, березы и сосны; таким образом, мы проезжали по огненной дороге, сияющей ярче дневного света. Так, посреди самой мрачной ночи гордая самодержица Севера желала и приказывала «Да будет свет!»¹⁰²

Эти пылающие деревья, триумф дня над ночью, метафора самой России, идущей из *ténèbres* к свету цивилизации, были лишь первыми из волшебных, «восточных» эффектов этого путешествия. Волшебство продолжалось и днем, когда заснеженные равнины начинали сверкать «с великолепием хрустала и бриллиантов». Хотя путешественники должны были пересечь на речные суда лишь в Киеве, на Днепре, воображение Сегюра забегало вперед и преображало зимние равнины в «замерзшее море», а сани — во «флотилии легких лодок». Крестьяне с заиндевелившими бородами собирались посмотреть на путешественников, которые останавливались в небольших придорожных дворцах, построенных «как по волшебству». Там, развалившись на подушках диванов, они были недостижимы для «сурового климата и нищеты этого края», наслаждаясь «тонкими винами» и «редкими плодами», а также развлечениями, которые очаровательная женщина всегда приносит в любую компанию, «даже когда она самовластная монархиня»¹⁰³.

В подобной ситуации Екатерина могла спокойно поддразнивать Сегюра по поводу представлений о России, царящих во Франции: «Держу пари, господин граф, что в это самое мгновение в Париже ваши прекрасные дамы, ваши изящные господа и ваши мудрецы глубоко жалеют вас, путешествующего в краю медведей, в варварской стране, в сопровождении надоедливой царицы»¹⁰⁴. Сегюр тактично напомнил ей о том, как восхищался ею Вольтер (хотя сам философ уже десять лет как умер). В то же время он знал, что Екатерине известно о том, что «многие, особенно во Франции и в Париже, еще почитают Россию азиатской страной, бедной, погруженной в невежество, *ténèbres* и варварство», не делая различия между «новой, европейской Россией и деревенской, азиатской Москвией»¹⁰⁵. Да и как он мог этого не знать, если в своих мемуарах он сам

представил следующему поколению именно такой образ России? В то же время Екатерина и французский посол при ее дворе могли шутить на эту тему по дороге в Крым именно потому, что целью путешествия было не опровержение, но драматическое обострение французских представлений о Восточной Европе. Сама Екатерина была немкой, и ей было близко представление об азиатском варварстве России, оправдывающем ее собственный просвещенный деспотизм. Теперь она собиралась поглотить Крым, а вместе с ним усвоить и представления об «азиатской» Восточной Европе. Путешествие императрицы с самого начала было украшено «восточными» эффектами и замыслено как демонстрация ее власти над варварами и медведями. Если западноевропейское воображение сможет переварить Крым, то присвоенный Екатериной полуостров одновременно окажется под властью прекрасных парижских дам.

В Смоленске путешественники достигли верховьев Днепра и вспомнили о том, что река эта впадает в Черное море, достигнуть которого и им самим предстояло. В Смоленске в честь Екатерины был дан бал, на котором, как и в Санкт-Петербурге, Сегюр сумел разглядеть, что, хотя «поверхность (*superficie*) имеет вид цивилизованности, внимательный наблюдатель с легкостью найдет под этой тонкой оболочкой Московию старых времен»¹⁰⁶. Цивилизация, по всей видимости, не относилась к тем «редким плодам», которые доступны в России. Сегюр нашел Смоленск «очень живописным», но позднее, когда он писал свои мемуары, среди пришедших ему на ум картин был образ города в огне, сдающегося Наполеону, образ горьких плодов завоевания. В феврале Екатерина прибыла в Киев, где ее свите пришлось ждать целых три месяца до наступления весны, чтобы сошел лед и можно было отправиться вниз по Днепру. Сегюр сообщал, что название города было сарматского происхождения, что некогда он был завоеван крымскими татарами, а также входил в состав Польши. Благодаря этим ассоциациям с древними и современными элементами Восточной Европы, Киев несомненно оказывался ее частью. С архитектурной точки зрения он был «причудливым смещением величественных руин и убогих лачуг»¹⁰⁷.

Этнически Киев представлялся не менее причудливой смесью. Среди прислуживавших Екатерине были «те самые зна-

менитые казаки с Дона, богато одетые *à l'asiatique* — знаменитые, среди прочего, своей «недисциплинированностью» — и татары, «некогда повелевавшие Россией, а ныне смиренно склонившиеся под игом женщины». Там были и кочевники-киргизы, и «те самые дикие калмыки, точное подобие гуннов, чье уродство некогда наводило такой ужас на Европу». Восточно-европейские ужасы, таким образом, отошли в прошлое и сводились теперь к красочному развлечению для заезжих путешественников. Знакомая формула контрастов и смешений, выручавшая Сегюра в Санкт-Петербурге и Москве, приобрела здесь пьянящий привкус фантастического: «Это было подобно волшебному театру, где, казалось, встречались и перемешивались древние времена и современность, цивилизация и варварство и, наконец, самое пикантное противопоставление разнообразнейших и взаимоисключающих фигур, нравов и костюмов»¹⁰⁸. Эта пикантность стимулировала фантазию Сегюра, жившего в Киеве, «подобно русскому боярину», или, добавляя этой фантазии специфически киевский колорит, «подобно потомкам Рюрика и Владимира»¹⁰⁹. Он вспомнил, как однажды по пути в Россию ему довелось разыграть роль польского воеводы, и нетрудно угадать, что, оказавшись в Крыму, он с легкостью принял роль паши, развалившегося на своем диване.

В Киеве к путешественникам присоединился человек, который вскоре стал истинной душой этой компании, — известный своей обходительностью Шарль-Жозеф, принц де Линь, чьи непрекращающиеся рассказы еще много лет спустя поддерживали разговоры о крымском путешествии по всей Европе. Хотя сам принц был родом из Брюсселя, его культурные и политические симпатии принадлежали иногда Франции, иногда Габсбургам. Он провел некоторое время в Польше, где его даже недолго прочили в короли, но теперь полет его фантазии привлекла Екатерина, не только пригласив его в Крым, но и подарив ему земли на самом полуострове, как раз на том месте, где, согласно легенде, Ифигения была жрицей Артемиды. Сегюр очень обрадовался такому попутчику и признавался, что «живостью своего воображения он одушевит даже самое холодное общество». Более того, стоило принцу прибыть в Киев, как «тепло» его присутствия оказало совершенно магический эффект: «С этого мгновения, казалось нам, мы чувствовали, что

суровость угрюмой зимы стала смягчаться и что веселая весна не замедлит возродиться»¹¹⁰. Лед начал таять, и первого мая лодки спустили на воду.

При дворе в Киеве, как не преминули заметить спутники императрицы, отсутствовал Потемкин, по слухам приготавливший «блестящее зрелище» вдоль реки по пути следования Екатерины. Наконец они смогли обозреть плоды его трудов, проплывая мимо на своих галерах, и немедленно их глазам предстали «потемкинские деревни»:

Города, деревни, усадьбы и иногда даже сельские хижины были до такой степени изукрашены и скрыты триумфальными арками, цветочными гирляндами, изящным архитектурным убранством, что вид их доводил иллюзию до того, что они на наших глазах преобразались в превосходные города, во внезапно возведенные дворцы, в созданные волшебством сады¹¹¹.

Это путешествие с самого начала было вояжем иллюзий, и само слово «иллюзия» постоянно повторяется во всех его описаниях. Путешественникам, обозревавшим Россию с борта своих галер и не имевшим возможности подсмотреть, что происходит за фасадами в стиле рококо, открывалась перспектива, идеально способствующая поддержанию иллюзий. Принц де Линь увидел «прозрачные ткани, кружева, меха, гирлянды» и цинично заметил, что они словно «вышли из модных лавок на улице Сент-Оноре»¹¹². Именно стиль рококо делали Париж мадам Помпадур лидером вкуса, изящества и цивилизованности, и теперь он же примирял зияющие «контрасты» Восточной Европы, превращая деревенские хижины в дворцы, потемкинские деревни — в города. Иллюзорные превращения подчеркивали самую главную иллюзию екатерининского путешествия в Крым, иллюзию цивилизации.

Перед тем как покинуть Киев, Сегюр узнал о созыве ассамблеи нотаблей во Франции, что давало надежду на политические и финансовые реформы. Как французский посол, он принимал всеобщие поздравления: «Счастливые дни, которые никогда не вернутся! Что за добродетельные иллюзии окружали нас!»¹¹³ Оглядываясь назад в своих мемуарах, Сегюр мог связывать воедино иллюзии 1787 года, давшие подобным ему людям веру в возможность цивилизованных реформ в Западной Европе и цивилизующего преобразования Европы Восточной.

Вдобавок к архитектурным украшениям, зрелище, которое открывалось на Днепре взору путешественников, включало и народы, которым предстояло подвергнуться преобразующему воздействию цивилизации. «Воздух оглашался звуками гармоничной музыки, раздававшимися с наших лодок, — писал Сегюр. — Разнообразные костюмы зрителей по обеим сторонам реки постоянно производили все новые роскошные движущиеся картины». Это была опера в полном смысле слова, с музыкой и костюмами; именно костюмы особенно «возбуждали... воображение». Все поздравляли Екатерину с тем, что ей удалось «смягчить еще недавно столь грубые и косные нравы» ее подданных, и выражали надежду на блестящее будущее «диких племен, все еще населяющих отдаленнейшие части ее империи». Екатерина воображала, как племена эти сидят в шатрах, среди своих стад, нуждаясь в малом и желая малого, и сомневалась: «Желая цивилизовать их, я не знаю, не испорчу ли я их». Это, впрочем, было лишь притворной сентиментальностью в стиле Руссо: проплывая мимо бывших владений запорожцев, которых полвека назад Вольтер описал как само воплощение необычайности, как разбойников и головорезов, Сегюр отлично знал, какими способами сентиментальная царица прививала дикарям цивилизацию: «Разрушив наконец эту странную республику, Екатерина II основала на ее территории несколько регулярных казачьих полков»¹¹⁴. Как и предвидел Вольтер, военная дисциплина несла с собой благословение цивилизованности — или, возможно, цивилизация несла военную дисциплину? Подогревавшие воображение пестрые наряды были лишь живописными униформами иллюзорной цивилизованности, частью театрализованного представления.

Сегюр воображал себе карту, где «древние орды гуннов, киргизов и татар» загнаны в угол распространением цивилизации, которая все более ограничивает простор их разбойничьих набегов: «Долгое время, благодаря своему бродячему образу жизни, благодаря чинимым ими вторжениям и опустошениям, наводили они ужас на весь мир; но этот мир, ныне цивилизованный, населенный, вооруженный и просвещенный, отнял у них всякую возможность завоеваний». Этим миром была Европа, и екатерининское путешествие в Крым вытаскивало на свет последний уголок Европы, где еще преобладали «древние орды», где цивилизация и просвещение еще не были

готовы полностью исключить их из Европы, «испортить» и расписать по полкам. В Кременчуге путешественников встречали «зрелищем» военных маневров, где «казаки, с пиками в руках, издавали громкие клики». Принц де Линь сказал о Кременчуге, что его «название непоэтично»; не исключено, впрочем, что оно понравилось бы Моцарту. Однако, как истинный импресарио, Потемкин сумел придать ему поэтичность с помощью казачьих кликов. Чем дальше продвигалась процессия на юг, тем больше Сегюр отдавал должное воображению Потемкина: «Он мог неким волшебством побеждать все препятствия, преодолевать саму природу, сокращать расстояния, приукрашать нищету, скрывать от нашего взора однообразие песчаных равнин». Флотилия почему-то останавливалась только в «живописных местах». Берега «одушевлялись» и «оживлялись» крестьянами и стадами, а к самой императорской эскадре подплывали маленькие лодочки с крестьянскими мальчиками и девочками, распевавшими «сельские напевы»¹¹⁵. Блестящая победа Потемкина над природой словно пародировала процесс цивилизации, обращая его в обман зрения. Никто, однако, не поддался на этот обман. Сегюр знал, что клики казаков и деревенские напевы — лишь звуковые эффекты, а потемкинские деревни состоят лишь из фасадов. Наследием этого путешествия стала легенда о Восточной Европе как стране иллюзий, но таких, которые любой представитель Европы Западной может различить без труда.

Граф де Сегюр и принц де Линь плыли на одной галере, жили в одной каюте, и кровати их разделяла лишь легкая перегородка. Принц не переставал поражать графа «живостью своего воображения» и будил его среди ночи, чтобы продекламировать сочиненные экспромтом стихи и песни. Проплывая «через земли казаков и направляясь к татарам», два путешественника забавлялись, ведя через перегородку шуточную переписку¹¹⁶. Позволяя своему воображению играть с лишними поэтичности названиями и известными своей свирепостью племенами, эти два представителя французской цивилизации напоминали своим настроением Моцарта, ехавшего в том же самом году в Прагу. Из них двоих принц де Линь был известен легкомысленностью своих острот; Сегюр находил «фривольность» принца восхитительно «пикантной». Снисходительное настроение обоих господ подогревалось и пьянящей

близостью к коронованным спутникам. Они были восхищены приглашением «тыкать» царице, и принц находил особенно волнительной ни с чем не сообразную неформальность обращения «*ta majesté*». Они наслаждались возможностью посочувствовать несчастному королю Польши, Станиславу Августу, который приехал встретиться с Екатериной на Днепре, но удостоился лишь скудного политического внимания от женщины, бывшей когда-то его любовницей. Принц де Линь, некогда сам мечтавший о польской короне, не замедлил пустить в обращение презрительное *bon mot* о Станиславе Августе: «Он потратил три месяца и три миллиона, чтобы увидеть императрицу на три часа»¹¹⁷. Когда император Иосиф II присоединился наконец в Херсоне к свите императрицы, он настаивал на сохранении своего обычного инкогнито: «Он твердо желал, чтобы с ним обращались как с путешественником, а не как с монархом». Путешествие создавало иллюзорное карнавальное равенство между спутниками, императором и императрицей, принцем и графом; все они могли притворяться простыми путешественниками по Восточной Европе отчасти потому, что в своих фантазиях воображали себя коронованными особами. Инкогнито императора Иосифа, ставшего халифом Гарун аль-Рашидом из «Тысячи и одной ночи», давало пищу «восточным» фантазиям его спутников. Прогуливаясь вечером с Сегюром, он изумлялся, что они «бродят посреди татарских пустынь». Когда пришли известия о восстании в Австрийских Нидерландах, принц де Линь дразнил императора, намекая, что татары были, оказывается, более верными подданными, чем фламандцы¹¹⁸. Нелепость такого сравнения Западной Европы с Европой Восточной придала этому замечанию оттенок остроумия.

Путешественники пересекли степи, зеленую пустыню, которую Сегюр назвал «азиатской», зная, что она простиралась от самой Европы до китайских границ. Степь для Сегюра была прежде всего формой ландшафта, ожидавшей воздействия цивилизации.

Та часть степи, где мы оказались, на которую цивилизация стремится распространить свои завоевания и труды, напоминает чистый холст, на котором художник только начинает создавать великолепную картину, помещая где хутор, где рощу, где возделанные нивы; но, продвигаясь медленно, его работа еще более века сохранит вид пустыни¹¹⁹.

Все путешественники XVIII века молчаливо разделяли представление о цивилизации как о некоей силе, которой предстоит завоевать Восточную Европу, но именно крымский вояж Екатерины был следующим логическим шагом, сосредоточив внимание на образе цивилизации как художественной силы, медленном накоплении живописных деталей. Хотя Потемкин мог, конечно, лишь символически приукрасить безбрежность степей, путешественники высоко оценили присутствие татарских кочевников с их верблюдами и шатрами, привносивших «немного жизни в этот однообразный пейзаж». Он еще более развлекал гостей Екатерины, «заставив появиться» пятьдесят казачьих эскадронов: «Их живописные азиатские костюмы, живость их маневров, резвость их коней, их скачки наперегонки, их клики, их пики заставляли мгновенно забыть о существовании степей»¹²⁰. Эта сценическая, хореографическая дикость, эта роскошная опера отсталости была первой, декоративной, ступенью на пути к цивилизации.

«От одной иллюзии к другой»

«Крымский полуостров, — писал Сегюр, наконец добравшись туда, — ограничен с востока Азовским морем, с юга и запада Черным морем, а с севера скован пустынями древней Скифии». Для путешественников по Восточной Европе в XVIII веке перегруженная ассоциациями «древняя Скифия» могла быть столь же реальным географическим объектом, как и Черное море; Сегюр вполне аккуратно описал ее местоположение, к северу от Крыма, две тысячи лет назад. Путешественники оставили степь позади, и теперь их окружали цветы и фрукты, лавры и виноградники, уже не только как украшения в стиле рококо, но и как вполне натуральная флора. Согласно Сегюру, холодная северная погода в одно мгновение сменилась итальянским климатом, теплом Венеции и Неаполя. Как раз когда Сегюр достиг Крыма, Гете, следующий параллельным маршрутом, оказался в Неаполе, также пробудившем его поэтическое воображение: «Многоцветные фрукты и цветы, которыми себя украшает природа, как будто приглашают людей убрать себя и свое имущество в самые яркие цвета, какие только бывают»¹²¹. Когда Гете обозревал в Неаполе настоящее извер-

жение Везувия с его сияющей в ночи расплавленной лавой, участники крымского путешествия могли, благодаря заботам Потемкина, наслаждаться «представлением Везувия», освещавшим пейзаж и превращавшим ночь в день¹²². Восточная Европа превратилась в фантастического, иллюзорного двойника Европы Западной.

Крым предстал взору Сегюра усыпанным цветами и фруктами именно потому, что весь вояж, начиная с самых первых гирлянд, подготовил его к восприятию Восточной Европы с точки зрения живописности. На самом деле еще до отправления в путь Сегюр оценивал природные ресурсы Крыма с вполне практической точки зрения. Пытаясь убедить Потемкина, что торговля с Францией предпочтительнее британского преобладания в русской экономике, он особенно выделял «южную коммерцию» России. Сегюр настаивал, что «только мы можем открыть рынки для произведений этого огромного, но почти пустынного края, населить, цивилизовать, обогатить и возглавлять который поручила ему государыня». Они были близки к заключению необычного торгового соглашения между южными провинциями России и Франции, причем для Восточной Европы опять нашелся географический двойник в Европе Западной, и два региона оказались связанными планами экономической эксплуатации¹²³. Подобно леди Крэйвен, глядевшей на севастопольскую гавань и воображавшей там английских торговцев и поселенцев, находившийся в Санкт-Петербурге Сегюр, обращая мысленным взором к Крыму, видел французскую коммерцию, за которой следовала цивилизация.

Однако когда он действительно попал в Крым в 1787 году, его фантазии оказались гораздо более прихотливыми. Рядом с ним был принц де Линь, интересовавшийся, что подумает «Европа», если татары умыкнут всю их компанию, включая Екатерину и Иосифа, и доставят в качестве пленников к султану в Константинополь. Восток был совсем рядом, по ту сторону Черного моря, и принц размышлял о том, чтобы «покинуть Европу, если так и вправду можно назвать то», что они видели, «столь мало ее напоминающее»¹²⁴. Крым был той точкой, где Восточная Европа наименее походила на «Европу», хотя его принадлежность к ней и была географическим фактом. Попав в Бахчисарай, столицу Крымского ханства до его присоединения к России, Сегюр всячески старался об этом забыть. Там, в

Бахчисарае, «можно было поверить, что мы и вправду перенеслись в какой-нибудь город Турции или Персии, с той единственной разницей, что у нас была возможность все осмотреть, не опасаясь тех унижений, с которыми христиане принуждены смиряться на Востоке». В Крыму Восточная Европа становилась иллюзорным Востоком, где власть принадлежала европейцам, в особенности власть, позволявшая им все изучать и осматривать. Они проникали даже в дворцовые гаремы, но им и этого было мало: «Покоренные мусульмане не могли отказать нам ни в чем, потому мы входили в мечети во время молитвы». Проявив подобным образом свою учтивость, представители просвещенной цивилизации были, естественно, оскорблены видом крутящихся дервишей, «одним из тех зрелищ, которые огорчают человеческий разум»¹²⁵.

Сам же Сегюр создал восточную фантазию, более по своему вкусу, и, работая над мемуарами, он все еще помнил ее в деталях:

Я помню, как, лежа на своем диване, подавленный крайней жарой, но с восхищением наслаждаясь журчанием воды, прохладой тени и ароматом цветов, я предался восточной праздности, мечтаньям и растительному существованию, подобно настоящему паше; в тот же миг я увидел перед собой маленького старика в длинном одеянии, с белой бородой и красной ермолкой на голове.

Его вид, его смиренное поведение, его азиатское приветствие довершили иллюзию, и я поверил на секунду, что я был и вправду мусульманским государем, чей ага или бостанги явился принести свою присягу.

Поскольку этот раб немного говорил на языке франков, то есть на плохом итальянском, я узнал от него, что когда-то он был садовником хана Шахин-Гирея. Я взял его своим проводником¹²⁶.

Именно почти волшебное, «в тот же миг», появление раба увенчало собой прочие атрибуты восточной роскоши и превратило Сегюра, бывшего всего лишь графом, в полновластного монарха. Поскольку этот раб, подобно обученной Казановой Заире, немного говорил по-итальянски, он тоже превращался в отражение региона-двойника, южной оконечности Западной Европы. И без того полное иллюзий путешествие увенчалось квинтэссенцией восточноевропейских иллюзий: подобно Моцарту на пути в Прагу, Сегюр выдумал себе новый образ.

Пока во дворце татарского хана граф воображал себя пашой, разыгравшийся принц де Линь сообщал своим корреспон-

дентам, что на самом деле Сегюр разместился в покоях ханского черного евнуха. Хотя принц и развлекался, разрушая фантазии своего приятеля, сам он был столь же склонен предаться собственным мечтам. Его воображение было «свежим, розовым и кругленьким, как щечки *madame la marquise*», писал он из Крыма французской маркизе, вероятно имея в виду польстить ей. Проживая во дворце — «нашем дворце», — который был неопределенно «мавританским, арабским, китайским и турецким», он не претендовал на какой-то конкретный титул, вроде паши. «Я более не знаю, ни где я, — записывал принц, — ни в каком я веке». Воображение принца было столь свежим, столь розовым, столь восприимчивым, что для него Крым поднимал вопрос о том, кто он такой, лишь в самой общей форме. Расположенная где-то посередине между Европой и Востоком, между цивилизацией и варварством, между подлинным и подделкой, Восточная Европа в той или иной степени ставила всех путешественников XVIII века перед необходимостью выбора. Принц де Линь видел движущиеся холмы, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся верблюдьими горбами, и размышлял, не оказался ли он среди волхвов на дороге в Вифлеем. Он видел юных горских князей, одетых в серебро, вооруженных луками и стрелами на белых скакунах, и сомневался, не в древней ли он Персии во времена Кира Великого¹²⁷. Даже в век, прославившийся своим космополитизмом, принц де Линь выделялся как истинный космополит без государственной принадлежности; путешествуя в России, он еще более наслаждался этим состоянием: «Я люблю всюду принадлежать к сословию иностранцев, француз в Австрии, австриец во Франции, и тот и другой в России; вот способ всюду наслаждаться и нигде не попадать в зависимость»¹²⁸. Эта независимость не сводилась к проблеме подданства, и в Восточной Европе принц успешно культивировал свободу воображения и свободу выбора идентичности.

В Севастополе Сегюр восхищался крепостью и флотом, а сразу за стенами нового города путешественники осмотрели древние руины, где Ифигения и Орест, «казалось, предстали пред нашими глазами». Именно здесь, согласно легенде, стоял храм Ифигении в Тавриде: «Именно в окрестностях этого места, столь богатого на воспоминания и иллюзии, императрица подарила землю принцу де Линю; она не смогла бы вы-

брать ничего более подходящего вкусам сего принца»¹²⁹. Сегюр был прав, предполагая, что принц де Линь, как никто другой, был готов обзавестись недвижимостью в краю, столь богатым на иллюзии.

Посещая свое новое поместье, на месте храма Ифигении, принц восседал на турецком ковре и сочинял письмо маркизе. Он описывал себя в окружении татар, наблюдающих, как он пишет, и возводящих в восхищении глаза, словно он — второй Магомет. Вокруг него росли пальмы, оливковые, вишневые, абрикосовые и персиковые деревья, украшавшие «самое прекрасное и самое интересное место во всем свете». В Италии Гете пробовал фиги и груши и восхищался лимонными деревьями, признаваясь в Риме, что «все мечты моей юности обрели жизнь». Он был убежден, что «в этом месте всякий, кто пристально смотрит вокруг и имеет глаза, чтобы видеть, несомненно, станет тверже характером». В Крыму же все было иначе: принц де Линь объявил себя «новым существом», но, в отличие от Гете, не смог ни встретить воспоминания своей юности, ни укрепить свой характер. «Я спрашиваю себя, кто я такой и по какой случайности я оказался здесь», — писал он, и наблюдавшие за ним татары, наверно, задавались тем же вопросом. «Я подвожу итог моей непоследовательной жизни». Среди татар принц нашел некоего албанца, который, подобно «албанцам» Моцарта, немного говорил по-итальянски, и через этого переводчика попытался выяснить у татар, счастливы ли они и знают ли, что теперь принадлежат ему. «Я благословил лентяев (*les paresseux*)», повторял он вновь и вновь, наслаждаясь ощущением благосклонного превосходства, которое он испытывал не только как их принц, но и как их пророк¹³⁰.

Хотя принц и сам был одним из развалившихся на турецком ковре лентяев, его воображение бодрствовало: «Что же тогда я здесь делаю? Турецкий ли я пленник? Выброшен ли я на берег кораблекрушением?» Подобные фантазии казались ему ничуть не более невероятными, чем само приглашение от Екатерины: «Она предложила мне последовать за ней в эти очаровательные края, которым она дала имя Тавриды, и, признавая мою склонность к Ифигениям, она подарила мне то место, где стоял храм, в котором дочь Агамемнона была жрицей»¹³¹. Его «склонность к Ифигениям» была, несомненно, того же рода, что и «склонность к Заирам» у Казановы. Подобно Заи-

ре, Ифигения в Тавриде также содержалась «в мрачных, священных узах рабства», и принц де Линь в Тавриде имел все основания надеяться, что он сможет найти среди татар в своем поместье кого-то по своему вкусу и назвать ее в соответствии со своими фантазиями. Скорее всего, фантазируя об Ифигении в Тавриде, принц имел в виду драму Еврипида, а также получившую незадолго до того известность оперу Кристофа Глюка. Эта оперная «*Iphigénie en Tauride*» была поставлена в Париже в 1779 году, а затем в 1781-м в Вене, когда Иосиф II встречал в столице габсбургских владений сына Екатерины Павла. Публикация гетевской «Ифигении в Тавриде» в 1787 году также внесла свой вклад в повышенную восприимчивость западноевропейской публики к легенде о крымском путешествии Екатерины.

Сам принц де Линь не вполне убедительно заигрывал с идеей остаться в Тавриде и поселиться в своем новом поместье: «Пропади пропадом едва ли не все на свете, почему бы мне не осесть здесь?» Он мог бы построить дворец, насадить виноградники и «обратить татар-мусульман, заставив их пить вино». Однако не успел принц дописать эти строки, как слух его поразил призыв к молитве, раздавшийся с окрестных минаретов; фривольные фантазии о том, как ему цивилизовать Крым, растаяли: «Моя левая рука потянулась к несуществующей бороде; моя правая рука легла мне на грудь; я благословил моих лентяев и покинул их». Его воображаемая борода позволила принцу почувствовать себя как дома в Восточной Европе, но гладко выбритый подбородок напомнил, что дом далеко. Поэтому он отправился прочь.

Я взялся за свой совсем было рассеянный ум; я кое-как привел в порядок свои нестройные мысли. Я огляделся вокруг, с сочувствием к этим прекрасным местам, которые я никогда более не увижу и которые позволили мне провести самый восхитительный день моей жизни¹³².

Пребывание в Крыму не только не «укрепило» характер принца (если это вообще было возможно), но, напротив, рассеяло его ум, нарушило стройность его мыслей, растворило его идентичность. Такое потакание своим слабостям было основано на представлении о Восточной Европе как стране фантазий и иллюзий.

Тем, однако, кто приподнимал покров крымских иллюзий, грозили опасности и разочарования. Перед отъездом принц де Линь и граф де Сегюр попали в переделку, когда принц дал волю своему любопытству и обратился к графу с предложением:

«Что толку, — сказал он мне, — разгуливать в этом обширном саду, если мы не позволяем себе ознакомиться с цветами? Перед тем как покинуть Татарию, я должен хотя бы раз взглянуть на татарскую женщину без чадры; я совершенно решился на это. Не желаете ли составить мне компанию в этом предприятии?»¹³³

Они отправились на разведку и обнаружили трех женщин, купающихся в ручье на опушке леса: «Но, увы! К нашему разочарованию, среди них не было ни молодых, ни хорошеньких». Женщины заметили наблюдателей и подняли крик, после чего за двумя отважными искателями приключений погнались татарские мужчины, размахивая кинжалами и швыряя камни. Екатерина выбрала их, как нашаливших мальчишек, но позволила им подглядывать из-за ширмы, когда она давала аудиенцию татарской княжне¹³⁴. Те виды, которые открывались путешественникам, были тщательно выстроены Потемкиным, и даже чтобы насладиться подглядыванием, им приходилось прибегать к предварительной постановке.

В то же время искусство создающих эти иллюзии администраторов и хореографов заслуживало внимания и высокой оценки. «Я отлично могу распознавать ловкость рук (*escamotage*)», — писал де Линь. Он гордился своей способностью проникать взглядом в суть вещей и считал, что Екатерина одурачена потемкинскими деревнями, «городами без улиц, улицами без домов и домами без крыш, окон и дверей»¹³⁵. Обманчивый спектакль был спланирован так, чтобы воззвать к воображению путешественников, их чувству цивилизационного превосходства и превратить их самих в авторов и распространителей фантастических легенд о екатерининской империи. «Нас ведут от одной иллюзии к другой», — заявил император Иосиф II, подводя итог путешествию¹³⁶.

Для Сегюра окончить это путешествие значило «оставить стремительную и разнообразную деятельность романа, возвратиться к медленному и задумчивому ходу истории». Если путешествующий по Восточной Европе жил жизнью романного

героя, то неудивительно, что путешественники приносили известную долю воображения в свои рассказы и что среди них мог оказаться вымышленный барон Мюнхгаузен. Что же касается истории, то не вызывает сомнения, что путешественники по Крыму, подобно столь многим путешествовавшим в XVIII веке по Восточной Европе, были фантастически бесцеремонны в своем творческом безразличии к историческим эпохам и фактам. Принц де Линь забрел из Тавриды античных мифов в древнюю Персию и оказался на пути в библейский Вифлеем. Сегюр бросил через плечо полный сожаления взгляд:

Покинув эту сказочную страну, я никогда уже не смогу каждое мгновение открывать, как во время нашего триумфально-романного похода, новые поводы для удивления: флоты, построенные в одну минуту, эскадры казаков и татар, спешащие из глубин Азии, освещенные дороги, огненные горы, очарованные дворцы, возникшие в одну ночь сады, пещеры дикарей, храмы Дианы, восхитительные гаремы, кочевые племена, бродящих в пустыне верблюдов и дромадеров, валашских господарей, кавказских князей, угнетенных грузинских царей, предлагающих свою верность и обращающих свои мольбы к царице Севера.

Я должен был вернуться к сухим политическим расчетам¹³⁷.

После посещения сказочной страны политика, подобно истории, сулила лишь разочарования. Сегюр, без сомнения, вполне оценил смысл этого сказочного намека, подчинив свои удивительные воспоминания всеподавляющему образу Екатерины, царицы Севера. Тем не менее на пути в Крым она действительно была царицей, пришедшей с Севера, и посещаемая ею сказочная империя, словно по волшебству поднимавшаяся из «глубин Азии», была совершенно «восточной», хотя и лежала в границах Европы. Именно этот исторический момент наиболее остро олицетворил драму и дилемму Восточной Европы.

Сегюр обратился спиной к «Востоку» как раз в тот момент, когда с «Запада» начали приходить первые намеки на «всеобщую революцию». Французская революция, «предмет размышлений, надежд и страхов, гораздо более серьезных и глубоких, чем чувства, вызванные короткой и блестящей мечтой о Тавриде, этой главой из “Тысячи и одной ночи”, иллюзия которой растаяла лишь мгновение назад»¹³⁸. Пришествие Французской революции в Западной Европе было настоящей историей и настоящей политикой, тогда как Восточная Европа оказы-

валась по сравнению с этим лишь неосязаемой империей снов и иллюзий. Принц де Линь обозначил это противопоставление в письме своей маркизе из Крыма, написанном в 1787 году: «Подданных этой империи, которых мы столь часто по доброте своей жалеем, не интересуют ваши Генеральные Штаты; они умоляют философов не просвещать их»¹³⁹. Легкомысленный принц сразу осознал, что в Восточной Европе можно укрыться от неумолимого течения XVIII столетия.

Для последней остановки на пути из Крыма в Санкт-Петербург приберегалось еще одно, последнее зрелище. Путешественники остановились в Полтаве, на Украине, где в 1709 году Петр разбил Карла XII, а в 1731 году, в «Истории Карла XII», Вольтер установил литературную вешку, отмечавшую открытие им Восточной Европы. Сегюр оценил историческое значение Полтавы, описав ее как потемкинскую деревню наоборот, чей скромный вид скрывал ее истинную историческую значимость:

Полтава, маленький городок, плохо укрепленный, очень мало-населенный, который не может предложить ни здания, ни памятника, достойного, чтобы на нем остановился взор, был бы известен лишь эрудиту; но в 1709 г. славная победа и ужасное поражение сделали его бессмертным, приковав к нему внимание Европы!¹⁴⁰

Это высказывание вполне достойно самого Вольтера, подразумевая существование двух Европ; одна из них обращала внимание на достойные того предметы, другая надеялась приковать к себе это внимание. Сегюр явился в Полтаву, дабы обозреть, что она могла «предложить» его «взору». В данном случае предложение оказалось великолепным, ибо Потемкин, в последний раз выступая как импресарио, инсценировал в наизидание Екатерине и ее гостям Полтавскую битву. Сегюр описал «ожившую картину, живущую,двигающуюся, в конце почти реальную». Екатерина оценила эту дань памяти Петра, и «величественное и великолепное зрелище достойно увенчало ее вояж, столь же похожий на роман, сколь важный исторически»¹⁴¹.

Сегюр объяснял историческую важность этой битвы для России в соответствии с представлениями Просвещения о распространении цивилизации в Восточной Европе: «Если бы Петр потерпел поражение, то эта пространная империя об-

ратилась бы, возможно навсегда, к тьме и варварству». Эта битва «изменила судьбы Севера и Востока Европы»¹⁴². Ненавязчивой фразой «Восток Европы» Сегюр дал Восточной Европе имя, завершив ее открытие XVIII веком. В 1731 году, даже следуя за Карлом XII на юг после поражения при Полтаве, Вольтер не мог порвать с традиционным представлением о России как «северной» стране. Сегюр, проехав в 1787 году до самого Крыма и вернувшись назад в Санкт-Петербург, не мог не заметить, что Россия более не лежала на «севере», не мог пройти мимо «Востока Европы», с его верблюдами и гаремами, то есть Восточной Европы. Во Франции вот-вот должна была начаться потрясшая мир политическая революция, а в Крыму и на Украине, в череде иллюзий и спектаклей, завершался важнейший культурный переворот, которому суждено было изменить карту Европы в глазах всемогущего наблюдателя. Западная Европа сосредоточила свое цивилизованное внимание на Европе Восточной, одновременно определив и самое себя.

Кода: «АТАКА ЛЕГКОЙ БРИГАДЫ»

В 1820-х годах лорд Байрон отправил своего эпического героя, Дон Жуана, в Россию XVIII века с тем, чтобы покорить там Екатерину. Самого Байрона приводила в восхищение поэтическая комичность русских имен, и он в шутку изумлялся устрашающим рифмам и ритмам, ожидавшим англоязычного поэта, который решил бы последовать за своей музой в Восточную Европу.

Но русские готовились к атаке.
Увы, богиня Слава! Как мне быть?
Достойны восхваления казаки,
Но как их имена произносить?

(Песнь VII, стих 14.

Здесь и далее Байрон в пер. Татьяны Гнедич)

С откровенной иронией Байрон посвятил этот стих воинам «великого народа (в оригинале — «new and polished nation», «юная и цивилизованная нация». — *Примеч..пер.*) / Чьи имена не выговорить сроду». Если описание России как «цивилизо-

ванной нации» напоминало своей ироничностью вольтеровские фразы, то комичность непронизимых имен ближе по духу к Моцарту и барону Мюнхгаузену:

На «ишкин», «ушкин», «ашкин», «ивский», «овский», —
 Но мне годится только Разумовский.
 Куракин, Мускин-Пушкин, Коклобской,
 Коклотской, Шерематов и Хремахов —
 Взгляните: что ни имя, то герой!
 Ни перед чем не знающие страха,
 Такие молодцы бросались в бой
 На муфтиев и самого аллаха
 И кожей правоверных мусульман
 Свой полковой чинили барабан.

(Песнь VII, Стих 16, 15)

Комическое сочетание имен вроде «Мускин-Пушкин» с описанием полкового барабана, который чинят кожей поверженных врагов, досталось Байрону по наследству от эпохи Просвещения и типичных для этой эпохи представлений о Восточной Европе.

В 1850-х английские, французские и итальянские войска высадились в Крыму чтобы сразиться с русскими за участь Восточной Европы, которая зависела от поддержания баланса между Санкт-Петербургом и Константинополем. В 1786 году леди Крэйвен уверяла, что нарисованный ею имперский образ Крымского полуострова не был просто «поэтическим выражением»; в 1855 году лорд Теннисон создал поэтический монумент, увековечивший Крым как поле битвы между Западной Европой и Европой Восточной:

Метет от редута свинцовой метелью,
 Редет бригада под русской шрапнелью,
 Но первый рассеян оплот:
 Казаки, солдаты, покинув куртины,
 Бегут, обратив к неприятелю спины, —
 Они, а не эти шестьсот!..
 Но вышли из левиафановой пасти
 Шестьсот кавалеров возвышенной страсти —
 Затем, чтоб остаться в веках.
 Утихло сражение, долина дымится,
 Но слава героев вовек не затмится,
 Вовек не рассеется в прах.

(Пер. Юрия Колкера)

«Поэтический образ» Теннисона, с его катящимися русскими, поставил Восточную Европу на причитающееся ей место в сознании Викторианской эпохи, но сам по себе Крым был хорошо знаком воображению западноевропейской публики. Начиная со времени знаменитого путешествия Екатерины II, полуостров был окружен аурой таинственности, пережившей XVIII век; в XIX и XX веках он стал ареной битв и дипломатических конфликтов.

В XX столетии Крым опять сыграл судьбоносную роль в истории Восточной Европы: именно в Ялту, в Крым, прибыли в 1945 году Рузвельт и Черчилль, чтобы встретиться со Сталиным и обсудить послевоенную расстановку сил. Именно в Крыму они боролись за будущее Польши, и их неспособность разрешить этот спор закончилась во время «холодной войны» разделом Европы, превратившим едва уловимые культурные различия XVIII века в грубые геополитические реалии. Позже, в том же 1945 году, Трумэн, Эттли и Сталин встретились в Потсдаме и вновь не смогли дипломатическими средствами избежать раздела Европы. Сам Потсдам тоже играл важную роль в открытии Восточной Европы XVIII веком, поскольку именно там, при дворе Фридриха, путешественники вроде Сегюра прощались с Европой и отбывали в Польшу. Потсдам был превосходным пунктом отправления, подобно тому как Крым был точкой конечного назначения для путешествующих по Восточной Европе. Вполне уместно, что и в XX столетии Потсдам и Ялта оказались неразрывно связанными с участью Восточной Европы. Покров иллюзии стал «железным занавесом»; оставить за ним Восточную Европу стало возможным лишь потому, что она давным-давно была нарисована в воображении Европы Западной, открыта, присвоена и отставлена ею в сторону.

¹ *Voltaire*. Histoire de Charles XII. Paris: Garnier-Flammarion, 1968. P. 44; см. также: *Gossman, Lionel*. Voltaire's Charles XII: History into art // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Ed. Theodore Besterman. Vol. XXV. Geneva: Institut et Musée Voltaire, 1963. P. 691—720; *Brumfitt J.H.* Voltaire: Historian. London: Oxford Univ. Press, 1958. P. 5—25; *Diaz Furio*. Voltaire Storico, Turin: Giulio Einaudi, 1958. P. 77—109.

² *Voltaire*. Histoire de Charles XII. P. 49.

- ³ Ibid. P. 53, 68—72.
- ⁴ Ibid. P. 118, 123—124.
- ⁵ Ibid. P. 126; *Foucault Michel*. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage Books, 1973. P. 144.
- ⁶ *Voltaire*. Histoire de Charles XII. P. 129—130.
- ⁷ Ibid. P. 125.
- ⁸ Ibid. P. 157—158.
- ⁹ Ibid. P. 115.
- ¹⁰ Ibid. P. 202—203; *Salaberry d'Irumberry Charles-Marie, marquis de*. Voyage à Constantinople, en Italie, et aux îles de l'Archipel, par l'Allemagne et la Hongrie. Paris: Imprimerie de Crapelet, 1799. P. 146.
- ¹¹ *Voltaire*. Histoire de Charles XII. P. 60, 97, 124, 130; *Foucault Michel*. Discipline and Punish The Birth of the Prison. Trans. Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1979. P. 215.
- ¹² *Linnaeus Carolus*. Systema Naturae, 1735; Facsimile of the First Edition. Eds. M.S.J. Engel-Ledeboer, H. Engel. Nieuwkoop: B. De Gaaf, 1964. P. 19.
- ¹³ *Lessing Gotthold Ephraim*. Zeitungsartikel und Rezensionen: Berlinische privilegierte Zeitung, 1751 // Werke. Vol. VIII. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1970. P. 159—160.
- ¹⁴ *Lessing Gotthold Ephraim*. Der Horoskop // Werke. Vol. VIII. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1970. P. 196—204.
- ¹⁵ *Herder Johan Gottfried*. Journal meiner Reise im Jahr 1769. Ed. Katharina Mommsen. Stuttgart: Philip Reclam, 1976. P. 78.
- ¹⁶ *Voltaire*. Le Russe à Paris // Oeuvres complètes de Voltaire. Vol. 10. Paris, 1978; rpt. Leichtenstein: Kraus Reprints Limited, 1967. P. 119—131.
- ¹⁷ *Marat Jean-Paul*. Polish Letters. Boston, 1905; rpt. New York: Benjamin Blom, 1971. I. P. 200.
- ¹⁸ Ibid., I. P. 101—122, 123, 147, 167.
- ¹⁹ Ibid., I. P. 168, 172, 180, 211.
- ²⁰ Ibid., P. 1—3.
- ²¹ *Miss Porter Jane*. Thaddeus of Warsaw: A Tale Founded on Polish Heroism. New York: A.L. Burt, n.d. P.ix; *Balzac Honoré de*. Cousin Bette. Trans. Marion Ayton Crawford. London: Penguin, 1965. P. 73; *Eliot George*. Middlemarch. Ed. W.J. Harvey. London: Penguin, 1965; *Alcott Louisa May*. My Boys // Aunt Jo's Scrapbag. Ed. Helen Martin. Boston: Little, Brown, 1929. P. 326.
- ²² *Marat Jean-Paul*. Polish Letters. I. P. 106, 114, 181; II. P. 65, 136—137, 199.
- ²³ Ibid., II. P. 211—212.
- ²⁴ *Rousseau Jean-Jacques*. The Social Contract. Trans. Maurice Cranston. London: Penguin, 1968. P. 49; *Marat Jean-Paul*. Polish Letters. II. P. 213.
- ²⁵ *Raspe Rudolf Eric*. The Travels and Surprising Adventures of Baron Munchausen. London; Daedalus, 1988. P. 9; *Raspe, Rudolf Eric* // Dictionary of National Biography. Oxford Univ. Press. Vol. XVI. P. 744—746; *Adams, Percy G*. Travelers and Travel Liars, 1660—1800. Berkeley: Univ. of California Press, 1962. P. 216—217.
- ²⁶ *Raspe*. P. 10—12.
- ²⁷ Ibid. P. 13, 17.
- ²⁸ Ibid. P. 23—24.
- ²⁹ Ibid. P. 23.

³⁰ Ibid. P. 75; *Sade Marquis de Juliette*. Trans Austryn wainhouse. New York: Grove Press, 1968. P. 875.

³¹ *Raspe*. P. 29.

³² *Richardson William*. Anecdotes of the Russian Empire; In a Series of Letters Written, a Few Years Ago, from St. Petersburg. London, 1784; rpt. London: Frank Cass, 1968. P. 177.

³³ *Coxe William*. Travels in Poland and Russia // Travels in Poland, Russia. Sweden, and Denmark. 5th ed. London: 1802; rpt. New York: Arno Press and New York Times, 1970. II. P. 244—245; *Raspe*. P. 32—37.

³⁴ *Raspe*. P. 28.

³⁵ Ibid. P. 191—192.

³⁶ Ibid. P. 240—248.

³⁷ Ibid. P. 253.

³⁸ *Mozart Wolfgang Amadeus*. Briefe. Ed. Hosrt Wandrey. Zürich: Diogenes, 1982. P. 370—371.

³⁹ *Nettl Paul*. Mozart in Böhmen, neubearbeitete und erweiterte Ausgabe von Rudolf Freiherrn von Prochazkas Mozart in Prag. Prague: Verlag Neumann, 1938. P. 96—97.

⁴⁰ *Grimm Friedrich Melchior von*. The Little Prophet of Boehischbroda // Source Readings in Music History: The Classic Era. Ed. Oliver Strunk. New York: Norton, 1965. P. 60—61.

⁴¹ *Piozi Hester Lynch*. Observations and Reflections: Made in the Course of Journey Through France, Italy, and Germany. Ed. Herbert Barrows. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1967. P. 383.

⁴² *Nettl*. P. 57—65

⁴³ *Mörke Eduard*. Mozart on the Way to Prague. Trans. Walter Aphilips, Catherine Alison Philips // German Novellas of Realism. I. Ed. Jeffrey L. Sammons. New York: Continuum, 1989. P. 255; *Mozart Wolfgang Amadeus*. Mozarts Briefe. Ed. Wilhelm A. Bauer, Otto Erich Deutsch. Frankfurt: Fischer Bscherei, 1960. P. 149.

⁴⁴ *Casanova Giacomo*. Casanva's Isocameron. Trans. Rachel Zurer. New York: Jenna Press, 1986. P. 20—22.

⁴⁵ *Nettl*. P. 158.

⁴⁶ *De Ponte Lorenzo*. Memorie // Memorie, I libretti mozartiani: Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Cosm fan tutte. Milan: Garzanti, 1981. P. 129.

⁴⁷ *Madariaga Isabel de*. Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven, Conn.; Yale Univ. Press, 1981. P. 534; *Stepow Andrew*. The Mozart-Da Ponte Operas: The Cultural and Musical Background to Le Noze di Figaro, Don Giovanni, and Cosm fa tutte. Oxford: Clarendon Press, 1988. P. 39.

⁴⁸ *Nettl*. P. 79—80.

⁴⁹ Ibid. P. 193.

⁵⁰ Ibid. P. 201—202.

⁵¹ Ibid. P. 216—221.

⁵² *De Ponte*. Memorie. P. 168—169.

⁵³ Ibid. P. 141—142.

⁵⁴ *Nettl*. P. 207—208.

⁵⁵ Ibid. P. 238.

⁵⁶ *Fabre Jean*. Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des Lumières: Etude de Cosmopolitisme. Paris: Edition Ophrys, 1952. P. 462.

⁵⁷ *De Ponte Lorenzo*. Così fan tutte // Memorie, I libretti mozartiani: Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte. Milan: Garzanti, 1981. P. 1622.

⁵⁸ Ibid. P. 680.

⁵⁹ Ibid. P. 685.

⁶⁰ *Pezz/ Johan*. Sketch of Vienna // H.C. Robbins Laddon. Mozart and Vienna. New York: Schirmer, 1991. P. 65—66.

⁶¹ *Hauterive Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, comte d'*. Journal inedit d'un voyage: de Constantinople à Jassi, capitale de la Moldavie dans l'hiver de 1785 // Mémoire sur l'état ancien et actuel de la Moldavie: Présenté S.A.S le prince Alexandre Ypsilanti, Hospodar régnant, en 1787, par le comte d'Hauterive. Bucharest: L'Institut d'arts graphiques Carol Göbl, 1902. P. 286; см. также: Hauterive // La Grande Encyclopédie. Paris: Librairie Larousse, 1886—1902. Vol. 19. P. 935—936.

⁶² *Hauterive*. P. 301, 305.

⁶³ Ibid. P. 295.

⁶⁴ Ibid. P. 299.

⁶⁵ Ibid. P. 293, 304.

⁶⁶ Ibid. P. 302—304.

⁶⁷ Ibid. P. 305.

⁶⁸ Ibid. P. 306—307.

⁶⁹ Ibid. P. 307—308.

⁷⁰ Ibid. P. 309—310.

⁷¹ Ibid. P. 310—311.

⁷² Ibid. P. 312.

⁷³ Ibid. P. 311—313.

⁷⁴ Ibid. P. 315.

⁷⁵ Ibid. P. 317.

⁷⁶ Ibid. P. 318.

⁷⁷ Ibid. P. 323.

⁷⁸ Ibid. P. 327.

⁷⁹ *Craven Elizabeth*. A Journey Through the Crimea to Constantinople: In a series of Letters from the Right Honorable Elizabeth Lady Crave, to His Serene Highness the Margrave of Brandenburg, Anspach, and Bareith, Written in the Year MDCCLXXXVI. Dublin, 1789; rpt. New York: Arno Press and New York Times, 1970. P. 361—362; см. также: Anspach, Elizabeth. // Dictionary of National Biography. Oxford univ. Press). Vol. I. P. 508—509.

⁸⁰ *Craven*. P. 372, 377, 380.

⁸¹ Ibid. P. 392—396.

⁸² Ibid. P. 401—409.

⁸³ Ibid. P. 5

⁸⁴ Ibid. P. 146, 153, 156—157, 161—162.

⁸⁵ Ibid. P. 171—172.

⁸⁶ Ibid. P. 167—171.

⁸⁷ Ibid. P. 168, 174—175.

⁸⁸ *Goethe Johan Wolfgang von*. Italian Journey: 1786—1788. Trans. W.H. Auden, Elizabeth Mayer. San Francisco: North Point Press, 1982. P. 115—116.

⁸⁹ *Goethe Johan Wolfgang von*. Iphigenia in Tauris. Trans. Charles E. Passage. New York: Frederick Ungar, 1963. P. 21—22.

- ⁹⁰ *Craven*. P. 184, 191.
- ⁹¹ *Ibid.* P. 194, 200, 205, 214—217.
- ⁹² *Ibid.* P. 225.
- ⁹³ *Ibid.* P. 233—234.
- ⁹⁴ *Ibid.* P. 234.
- ⁹⁵ *Ibid.* P. 247.
- ⁹⁶ *Ibid.* P. 248—249.
- ⁹⁷ *Ibid.* P. 249.
- ⁹⁸ *Séguir Louis-Philippe, comte de*. Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Séguir. Vol. II // Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de France: pendant le 18e siècle. Vol. XX. Ed. M. Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859. P. 87.
- ⁹⁹ *Séguir Louis-Philippe, comte de*. Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Séguir. Vol. I // Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de France: pendant le 18e siècle. Vol. XIX. Ed. M. Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859. P. 428—429.
- ¹⁰⁰ *Ibid.*, I. P. 425.
- ¹⁰¹ *Ibid.*, II. P. 43, 41.
- ¹⁰² *Ibid.*, I. P. 429.
- ¹⁰³ *Ibid.* P. 429—430, 434.
- ¹⁰⁴ *Ibid.* P. 436.
- ¹⁰⁵ *Ibid.* P. 436—437.
- ¹⁰⁶ *Ibid.* P. 438—439.
- ¹⁰⁷ *Ibid.*, II. P. 1—2.
- ¹⁰⁸ *Ibid.* P. 4.
- ¹⁰⁹ *Ibid.* P. 6.
- ¹¹⁰ *Ibid.*, I. P. 422—423; II. P. 14.
- ¹¹¹ *Ibid.*, II. P. 13, 30.
- ¹¹² *Ligne Charles-Joseph, prince de*. Correspondance et pensées du Prince de Ligne // Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de France: pendant le 18e siècle. Vol. XX. Ed. M. Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859. P. 9—10
- ¹¹³ *Séguir*, II. P. 21.
- ¹¹⁴ *Ibid.* P. 30—36.
- ¹¹⁵ *Ibid.* P. 32, 41—43; *Ligne*. P. 69.
- ¹¹⁶ *Séguir*, II. P. 44.
- ¹¹⁷ *Ibid.*, I. P. 423; *Ligne*. P. 70—71
- ¹¹⁸ *Séguir*, II. P. 51, 55; *Ligne*. P. 75.
- ¹¹⁹ *Séguir*, II. P. 47.
- ¹²⁰ *Ibid.* P. 54.
- ¹²¹ *Ibid.* P. 57—58; *Goethe*. Italian Journey. P. 318.
- ¹²² *Ligne*. P. 71; *Goethe*. Italian Journey. P. 318.
- ¹²³ *Séguir*, I. P. 374.
- ¹²⁴ *Ibid.*, II. P. 60; *Ligne*. P. 88.
- ¹²⁵ *Séguir*, P. 63—65.
- ¹²⁶ *Ibid.* P. 64.
- ¹²⁷ *Ligne*. P. 73—74.
- ¹²⁸ *Ibid.* P. 92.
- ¹²⁹ *Séguir*, II. P. 76—70; *Alexander John T. Catherine the Great: Life and Legend*. Oxford: Oxford Univ. Press, 1989. P. 260.

¹³⁰ *Ligne*. P. 77—81; *Goethe*. Italian Journey. P. 26, 116, 124.

¹³¹ *Ligne*. P. 28.

¹³² *Ibid.* P. 82—85.

¹³³ *Ségur*, II. P. 72.

¹³⁴ *Ibid.* P. 72—74.

¹³⁵ *Ligne*. P. 89.

¹³⁶ *Ségur*, II. P. 85.

¹³⁷ *Ibid.* P. 96—97.

¹³⁸ *Ibid.* P. 97.

¹³⁹ *Ligne*. P. 86.

¹⁴⁰ *Ségur*, II. P. 88.

¹⁴¹ *Ibid.* P. 90.

¹⁴² *Ibid.* P. 87—89.

Глава IV

НАНОСЯ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ НА КАРТУ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ КУЛЬТУРЫ

«ЗАВЕРШИТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ ГЕОГРАФИЮ»

В своей «Истории Карла XII» Вольтер описывает переговоры, состоявшиеся в 1707 году между двумя величайшими полководцами своего времени, королем Швеции и герцогом Мальборо. Сам Вольтер слышал об обстоятельствах этой встречи двадцать лет спустя в Англии от престарелой Сарры Черчилль, герцогини Мальборо; он сообщает, что герцог заметил у Карла «на столе карту Московии». Эта карта оказалась ключом к стратегическим замыслам Карла, и Джон Черчилль немедленно понял, что «истинное намерение короля Швеции и его единственная цель — вслед за королем Польши лишить престола и царя»¹. Карта на столе была символом земель, которые предстояло завоевать; более того, казалось, что карта сама как бы приглашает и поощряет завоевателя. Позже, пересекая на пути к полтавской катастрофе «неизведанные земли» Украины («эти затерянные земли»), Карл, как уверяет Вольтер, «сомневался в правильности выбранной дороги». Таким образом, и неудача его русского похода, и его изначальное решение отправиться в этот поход были отчасти обусловлены состоянием современной ему картографии.

С исторической точки зрения предложенный Вольтером сюжет вполне правдоподобен, поскольку в начале XVIII века карты Восточной Европы были и в самом деле несовершенны по западноевропейским меркам. Составление подробных карт этой части мира, продолжавшееся в течение всего столетия, часто под руководством иностранных специалистов, было важной частью общего «открытия» Восточной Европы, в ходе которого создавались и упорядочивались знания об «этих забытых землях». И действительно, история Вольтера уже сама по

себе была разновидностью философской карты, энциклопедией Восточной Европы, где различные сведения располагались вдоль маршрута шведского короля; начерченный на современной Вольтеру карте, этот маршрут и определял территорию Восточной Европы. Карты представляли собой ту географическую основу, которая упорядочивала другие отрасли знания, от естественной истории до историй национальных. Более того, возникающее разделение Европы приобретало на картах наглядность. На протяжении XVIII века в западноевропейских атласах публиковались карты Восточной Европы, и в результате Наполеон был знаком с территорией России намного лучше, чем Карл XII, — хотя это и не принесло успеха его завоевательным планам. После триумфального путешествия по Украине и Крыму в 1787 году Сегюр и другие сопровождавшие Екатерину послы получили в подарок медальоны, на одной стороне которых был профиль самой императрицы, а на другой — карта их путешествия. В начале XVIII века развернутая на столе карта служила приглашением к завоеванию; в конце века путешествующие дипломаты увозили с собой в Париж, Лондон и Вену карту на медальоне. Она свидетельствовала о том, что забытые земли Восточной Европы были найдены, изучены, измерены и нанесены на карты в соответствии с нормами просвещенной Западной Европы.

В 1695 году Николя Сансон, придворный картограф Людовика XIV, издал в Париже «Новое введение в географию, для употребления Его Высочества Дофина, посредством которого возможно с легкостью и с небольшой затратой времени изучить географию и разделение всех частей света». Сансон включил в свой атлас и карту «Царских Владений», покрытую маленькими изображениями деревьев; чем ближе к восточному краю карты (который, кстати, обозначал и границу между Европой и Азией), тем больше деревьев на карте и тем меньше названий, обозначающих населенные пункты². Преобладание маленьких деревьев позволяло изучить карту «с легкостью» и отражало зачаточное состояние русской картографии в конце XVII века. В начале XVIII столетия Петр организовал многочисленные экспедиции, чтобы создать улучшенные карты России. Эти экспедиции были основаны на сотрудничестве русских и иностранных специалистов; более того, Петр уделял

особое внимание публикации новых карт не только в России, но и за границей. Характер отношений между Восточной Европой и Европой Западной приводил к тому, что «нанести Россию на карту» значило включить эту карту в атласы, публикуемые в таких признанных центрах картографии, как Амстердам и Париж³.

Развитие петровских картографических проектов повторяло, естественно, повороты его внешней политики. Так, за его прорывом к Азовскому морю в 1699 году последовало составление новой карты Азова в 1701-м, исполненной по всем правилам голландских картографов Андриэном Скунебеком. В 1719 году Петр создал свое собственное картографическое бюро, основанное на крайне неустойчивом сотрудничестве между Иваном Кирилловым и Жозефом-Николя Делилем, чей брат Гийом был Первым географом Королевской академии наук в Париже. Делиль настаивал на использовании в России более точной астрономической съемки, в то время как Кириллов предлагал использовать в качестве ориентиров реки, чтобы скорее достигнуть цели, то есть составить полный атлас России. Этот атлас появился в 1745 году, но характерно, что «Atlas Universel» Робера, изданный в Париже в 1757 году, уже претендовал на превосходство своих карт Европейской России над русским атласом, который рекомендовалось использовать с «осмотрительностью» из-за неаккуратностей в изображении приграничных территорий⁴. Непрекращающаяся экспансия Российской империи на протяжении всего XVIII века обеспечивала иностранным картографам постоянную занятость, делая географию неотъемлемой частью любого труда о международных отношениях. В 1772 году Жан-Батист д'Анвиль, составитель атласов, секретарь герцога Орлеанского и член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук, издал в Париже свой труд под названием «L'Empire de Russie, son origine et ses accroissements»⁵. В этом же году произошел первый раздел Польши, и Российская империя «увеличилась» еще раз.

Со своей стороны, Санкт-Петербургская академия наук поддерживала экспедиции целого ряда немецких ученых, которые расширили познания о географии России и дополнили их фундаментальными трудами по геологии и натуральной истории. В 1768 году, в царствование Екатерины, натуралист Петр Симон Паллас, родившийся в Берлине, учившийся в

Галле, Геттингене, Лейдене и Лондоне и особенно интересовавшийся ленточными червями, отправился из Петербурга, чтобы изучить Россию от края до края. Начав с географии, он с легкостью переходил к геологии Урала и этнографии Сибири, описывая ископаемые древности, цветы и насекомых России. Кокс отдает должное счастливому совпадению интересов Екатерины, которая «осознавала недостатки топографических описаний и предвидела преимущества, происходящие от посещения учеными мужами отдаленных частей ее пространств владений», и Палласа, движимого в своей безграничной любознательности «необоримым желанием посетить края, столь мало изученные»⁶. В 1787 году Екатерина совершила фантастически роскошное путешествие в Крым. В 1793—1794 годах вслед за ней на Юг отправился Паллас, разогнав своими географическими и этнографическими исследованиями туман потемкинских иллюзий и осуществив интеллектуальное покорение этого края посредством науки. Исследования Палласа устранили наконец с мифологической карты России такие чудеса природы, как «*boronets*», или «скифский ягненок», растущий на стебле подобно овощу, который упоминал в своем труде средневековый путешественник Мандевиль. В существование этого животного вполне верил капитан Маржерет в начале XVII века, а один английский путешественник все еще искал его в низовьях Волги в 1730-х годах⁷.

В Польше король Станислав-Август поддерживал исследования французского натуралиста Эмманюэля Жильбера, который в 1770-х отправился из Лиона в Литву, чтобы применить принципы Линнея к изучению литовской природы, подобно тому как Паллас сделал это в екатерининской России. Кокс обнаружил Жильбера в Гродно, где тот составлял «*Flora Lituanica*» почти параллельно с «*Flora Russica*» Палласа. Как и Паллас, Жильбер испытывал особенное удовольствие, описывая неизученные «земли, не менее девственные, чем Канада» (совсем незадолго до того, в 1763 году, потерянная французами). Однако в Польше естественная история была подчинена картографии, тем более что для Станислава Августа составление карт и атласов было, согласно Жану Фабру, «одной из главных задач его царствования»⁸. Территориальные потери, которые Польша понесла в результате первого раздела, только усиливали желание сохранить на карте образ Речи Посполитой в ее

прежних границах. Перед тем как Папа Римский запретил их орден в 1773 году, данные для составителей атласа собирали иезуиты, но в общем и целом все предприятие было в руках французов, картографа Шарля де Пертэ и гравера Жака-Николя Тардьё. Решив следовать наиболее строгим научным стандартам астрономической съемки, они работали очень медленно, лишь в 1783 году начав издавать карты отдельных воеводств. В 1792 году, в разгар революций и во Франции, и в Польше, Станислав Август тревожился о том, что «географические работы могут оказаться в опасности». В 1794 году король отказался передать Костюшко незаконченные карты, необходимые для стратегического планирования его восстания против России, по преданию воскликнув: «Я скорее отдам мои бриллианты, чем мои карты!» Даже после окончательного раздела Польши, исчезнувшей с геополитической карты Европы, король без королевства по-прежнему переписывался с де Пертэ, пытаясь по памяти снабдить его необходимыми для атласа географическими деталями⁹. Хотя французские картографы стремились отразить территориальную экспансию Российской империи, они же одновременно помогли сохранить образ старой Польши, несмотря на то что ее уже не существовало как самостоятельного государства.

Украинские земли, входившие в состав и Речи Посполитой, и Российской империи, были одними из наименее изученных в Европе. Если Карл XII «сомневался в правильности выбранной дороги», то Джозеф Маршалл в 1769 году был полон тех же сомнений: «Эта страна лежит столь далеко от маршрутов всех путешественников, что едва ли раз в столетие ее посещает кто-нибудь, записывающий свои наблюдения, чтобы поделиться ими с остальным миром». Хотя вероятно, что и сам Маршалл предпочел не посещать эти края, а позаимствовал свои наблюдения из книг других авторов, он сожалел, что «наши географы, издающие свои работы каждый день, столь рабски повторяют друг друга, и факты, относящиеся к 1578 году, преподносятся как единственные сведения, доступные нам в 1769 году. Я встретил это в просмотренных мною работах по всеобщей географии». Быть может, английские путешественники действительно полагались на работы елизаветинских географов, но в распоряжении французов было «Описание Укра-

ины», изданное Гийомом Ле Вассер де Бопланом в Руане в 1660 году. В 1772 году Маршалл уверенно писал о географии Украины:

Предполагалось, что лен и конопля, прибывающие к нам из мест столь северных, как Петербург, произрастают посреди вечных снегов и морозов; однако, хотя мы и ввозим их с шестидесятой широты, растут они на Украине, которая лежит между сорок седьмой и пятьдесят второй широтой и обладает климатом, не менее мягким и приятным, чем любой другой в Европе: это широта Южной Франции¹⁰.

Таким образом, Маршалл молчаливо признает «восточный» характер Восточной Европы, сообщая, что Россия — это не только морозы и северные снега. Подобно тому как это было с Италией и Крымом, отношения между Францией и Украиной определялись общностью географической широты. И все же сущность Восточной Европы диктовалась в XVIII веке ее сопротивлением географической локализации и описанию. В 1769 году, например, боевые действия между русской армией и барскими конфедератами изменили политические границы двух стран за целых три года до официального раздела Польши, и Маршалл писал о «провинциях, некогда принадлежащих Польше и показанных в этом качестве на всех картах», но находящихся теперь под властью России. Он заключает, что «в столь отдаленных частях света происходят взличайшие изменения, оставаясь при этом совершенно неизвестными»¹¹.

Что до Украины, различные территории, сменив польское господство на русское, одновременно переходили из географического и научного ведения де Пертэ и Жильбера под крыло д'Анвиля и Палласа. Что же касается Крыма, аннексированного Россией в 1783 году, то еще до посещения полуострова Екатериной и Палласом леди Крэйвен писала маркграфу Ансбаху: «У меня есть несколько карт этой страны, искусно начерченных и раскрашенных, которые я буду иметь честь представить вам при нашей встрече». Позднее, в Венгрии, она показала их Иосифу II, который «просидел два с половиной часа, рассматривая <...> карты и подарки», причем, «как кажется, карты доставили ему большое удовольствие»¹².

Попытки Западной Европы картографически подчинить Восточную Европу встретили наиболее серьезное сопротивление в Османской империи. Здесь не было ни Екатерины, ни

Станислава Августа, чтобы встречать посланцев науки и просвещения с распростертыми объятиями. Не получая помощи от Константинополя, западноевропейские картографы испытывали разочарование, откровенно выраженное в «Atlas Universel» Робера в 1757 году:

Если в случае различных частей Европы, которые посещаются путешественниками, мы имели удовольствие встретить содействие со стороны ученых, работавших в этих странах, мы не можем сказать, что имели такие же преимущества, описывая земли, подвластные Османской империи. Мы желали бы с большим успехом завершить (*terminer*) европейскую географию; однако доступ в эти страны затруднителен для просвещенных людей (*gens éclairés*), не позволяя надеяться, что они будут когда-либо удовлетворительно освещены (*lumières*) в географии; поскольку получаемые нами от путешественников отзывы недостаточны, чтобы подтвердить топографические детали посещаемых ими стран. Для этого путешественникам пришлось бы изучить математику¹³.

Этот пассаж подчеркивает тесные взаимоотношения между картографами и путешественниками: путешественник находился в зависимости от доступных ему карт, картограф же зависел от тех наблюдений, которые ему предоставляли путешественники. Картография, несомненно, отождествлялась с Просвещением и воспринималась как дело «просвещенных людей», стремящихся пролить свет на самые неизведанные углы континента. Более того, этот «свет картографии» ассоциировался со светом цивилизации, поскольку Восточную Европу часто описывали как выходящую из тьмы (*ténèbres*). Интересно, что заявленная решимость создать карты Османской империи совпала по времени с возникновением «восточного вопроса», разрешение которого в области практической политики означало изгнание турок из Европы.

В 1757 году, когда вышел «Atlas Universel», до создания полного атласа мира было еще далеко — взволновавшее европейцев открытие Таити произошло только в 1767-м; однако ограниченная цель, создание атласа Европы, казалась вполне достижимой. «Atlas Universel» отмечал все возрастающий интерес к географии «Азии, Африки и даже Европы»¹⁴. В восточной части континента у географов было еще много работы, и картография была одной из тех арен, где и взгляд Западной Европы, и ее «свет» фокусировались на Европе Восточной.

«СТЕРТАЯ С КАРТЫ МИРА»

Хотя картографы и настаивали, что в основе их деятельности лежат исключительно астрономия и математика, на самом деле в нее постоянно вмешивались силы, далеко не объективные. На протяжении всего XVIII века войны и договоры перекраивали карту Европы, особенно ее восточной части, но одновременно сами карты и атласы, отображая якобы объективную географическую реальность, получали над ней известную власть. Леди Крэйвен хвасталась «очень искусно нарисованными и раскрашенными» картами, но ни рисование, ни раскрашивание не относились к точным наукам. Хотя печатание типографским способом способствовало некоторой стандартизации самих изображений, раскрашивали печатные карты зачастую от руки, и делали это не обязательно профессиональные картографы, что добавляло самому наглядному из элементов карты некоторый оттенок артистической вольности. Именно те, кто раскрашивали карту мира, решали, где провести спорную границу между Европой и Азией. Именно те, кто раскрашивали карту континента, решали, какие территории изображать как самостоятельные политические образования, и даже когда их карандаш старался следовать международным договоренностям, сами эти договоренности они тоже могли трактовать по-разному. Более того, даже наносившиеся типографским способом элементы карты, например расположение городов по отношению друг к другу, рекам и побережьям, их долгота и широта, были подвержены колебаниям, поскольку в XVIII веке картография еще не выработала авторитетного описания Восточной Европы. «Atlas Universel» Робера жаловался на отсутствие картографического единообразия в случае Турции, и без того непросто: «Надо лишь сравнить между собой различные карты этой империи, чтобы убедиться, благодаря малому сходству между ними, сколь мало доверия они заслуживают»¹⁵.

Расширение российских владений и сокращение турецких требовали особенно пристального внимания к изменяющимся границам. Перед еще более сложной дилеммой ставили картографов две другие восточноевропейские страны, Венгрия начала XVIII века и Польша конца столетия. Карловицкий мирный договор 1699 года зафиксировал освобождение Вен-

грии от турок (хотя Буда попала в руки Габсбургов еще в 1686 году), и тем не менее картографы продолжали закрашивать венгерские земли тем же цветом, что и остальные оттоманские владения в Европе. Объяснялось это не только профессиональной инерцией, но и вполне насущным вопросом о том, как с картографической точки зрения классифицировать новую Венгрию. Дело в том, что освобожденная от турок Венгрия сразу же попала под власть Габсбургов, и с 1703 по 1711 год восставшие под руководством Ференца Ракоши безуспешно пытались добиться для нее независимости. Тем не менее парижские картографы XVIII века согласились признать эту прозрачную независимость, отчасти благодаря нелюбви французов к Габсбургам, а отчасти потому, что окрашивать Венгрию в цвета Священной Римской империи германской нации казалось совершенно несообразным. В 1757 году «Atlas Universel» все еще горячо защищал охранявшую свое влияние карту 1700 года, где Венгрия и Оттоманская империя были по-прежнему неразличимы.

Никому не придет в голову упрекать покойного Гийома Делиля, который в 1700 году позволил Венгрии остаться в составе турецких владений в Европе, поскольку этот искусный географ отлично знал, что она не являлась частью этой империи. Эти недостатки или, скорее, эти легкие небрежности, к которым только и цепляются едкие и праздные натуры, следует приписать нашей великой занятости, которая не всегда позволяет нам проверять, как раскрашиваются карты¹⁶.

Однако данная небрежность оказалась достаточно значимой, чтобы обращать на себя внимание даже полвека спустя. Едкие замечания праздных натур, не принадлежавших к философской или картографической элите, — тех, кому иногда позволяли раскрашивать карты, но кого никогда не допускали к высокой науке их составления, — только подчеркивали, что именно картографам принадлежала власть формировать в глазах публики картину мира. Возникшее в XVIII веке представление о существовании Восточной Европы, промежуточной области между Европой и Востоком, придало культурную обоснованность стремлению представить Венгрию как независимое, не принадлежащее ни туркам, ни Габсбургам политическое образование.

Разделы Польши в 1772, 1793 и 1795 годах принесли картографам не меньше проблем, чем освобождение Венгрии в самом начале века. Маршалл утверждал, что к 1769 году военные действия лишили карты всякой достоверности, уверяя его, что он в Польше (на самом-то деле он был в Англии), несмотря на то, что в городе, о котором шла речь, был «русский гарнизон, русские власти, одним словом, почти ничего польского». Раздел 1772 года остался в общественном сознании как сговор монархов, беспорядочно перекраивавших карту, как это изображено на известной французской карикатуре «Королевский пирог», где Екатерина, Фридрих и Иосиф обозначают свои притязания на развернутой перед ними огромной карте Польши¹⁷. Международные отношения эпохи Просвещения были основаны на математически выверенном балансе сил, так что монархам и государственным мужам приходилось как следует изучать географию, чтобы сохранять его в ходе взаимно оговоренных расширений своих владений.

Стоящая перед картографами дилемма состояла в том, насколько быстро и насколько полно им следует отражать на картах инициативы монархов. Проблема стала еще более щекотливой после 1795 года, когда третий раздел вообще устранил Польшу с европейской карты. Страны — участницы раздела могли согласиться (как, например, в секретном договоре 1797 года), что даже само название Польши «должно исчезнуть отныне и навсегда», но на парижских и амстердамских картографов это правило едва ли распространялось¹⁸. Название Польши могло оставаться на карте, даже если ее раскраска отражала реальность произошедших разделов. Как ни странно, с одной стороны, картография изображала Польшу как область, открытую для разделов и аннексий, с другой — предоставляла частям исчезнувшего государства возможность культурного сопротивления, запечатляя их на картах и в умах. Томас Джефферсон писал о «стране, стертой с карты мира благодаря несогласию среди своих собственных граждан», но концепция «стирания» была плохо совместима с картографическими технологиями XVIII века. Как и надеялся Станислав Август, трудясь вместе с Пертэ и Тардьё над своим атласом, развитие научной картографии было культурной силой, способной защитить страну от международных хищников. В 1797 году это признали и американские газеты, сожалевшие, что «вско-

рости лишь историк, географ и журналист будут помнить» Польшу¹⁹.

Вдобавок к политическим и культурным осложнениям, с которыми сталкивались географы, пытаясь изобразить на карте составные части Восточной Европы, стремление «завершить европейскую географию» приковывало их внимание к проблеме границ между Европой и Азией. В районе Константинополя такой границей, конечно, были Проливы, но в целом конфигурация евразийского континента позволяла провести множество линий раздела — вовсе не обязательно там, где мы проводим границу сегодня, то есть с севера на юг вдоль Уральских гор до северного побережья Каспия. На карте мира, открывающей изданное Сансоном в 1695 году «Новое введение в географию», Московия изображалась как нечто отдельное от Европы, а значит, по всей видимости, находящееся в Азии. Однако уже на следующей странице «Географическая таблица», перечисляющая «Части земного шара», прямо включала Московию в состав Европы. Этот разрыв между изображением и описанием только углублялся на последующих страницах, где сначала приводилась карта Европы, включавшей Московию в качестве своей восточной границы, а затем карта Азии, в западной части которой располагалась все та же Московия. Дофину предлагалось составить свое собственное мнение по этому вопросу²⁰. В 1716 году парижский «*Almanach Royal*» включал в состав европейских монархий Польшу (но не Московию); уже год спустя Московия тоже попала в этот список²¹. На протяжении всего XVIII века Европа Западная сохраняла преимущество перед Восточной Европой, присвоив себе право решать, что находится в Европе, а что в Азии, как с географической, так и с культурной точек зрения.

Сомнения о европейской или азиатской принадлежности Московии были, конечно, связаны с сомнениями о том, где же проходит граница между двумя континентами. По мере того как Восточная Европа притягивала к себе все больший интерес, этот вопрос становился еще более захватывающим; но в основе этого интереса лежала неразбериха. Античный географ Птолемей полагал, что граница между Европой и Азией протекает по реке Дон, известной в древности под названием Танаис, впадающей в Азовское море, которое, в свою очередь, через Керченский пролив соединяется с Черным морем. Такая Ев-

ропа, ограниченная рамками географически известного мира, была значительно меньше той, которую мы знаем сегодня. Лишь в эпоху Ренессанса и Великих географических открытий, уже в Италии, на нарисованной в 1459 году карте («*Mar-ramundi*» фра Мауро) в качестве альтернативной демаркационной линии предлагалась Волга, существенно сдвигая границы Европы от Черного до Каспийского моря и приближая ее к известным нам сегодня очертаниям²². Пока она шла вдоль рек, впадающих каждая в свое море, граница в обоих этих случаях была достаточной четкой; однако дальше к северу начиналась неопределенность. Сигизмунд фон Герберштейн посетил Россию как посланник Габсбургов и в 1549 году опубликовал в Вене отчет, ставший самым детальным и самым читаемым в XVI веке описанием России. «Если провести прямую линию от устья Танаиса до его истока, — рассуждал Герберштейн, — то получится, что Москва находится в Азии, а не в Европе»²³. Основным источником географических познаний Герберштейна, дополнявшим его личные наблюдения, был «Трактат о двух Сарматиях, азиатской и европейской», вышедший впервые в 1517 году на латыни в Кракове и затем переиздававшийся и переводившийся на протяжении всего XVI столетия. Его польский автор, Мечовита, описывал «Европейскую Сарматию», простирающуюся от Вислы до Дона, и «Азиатскую Сарматию», располагающуюся между Доном и Каспийским морем. Само название «Сарматия» пришло из античной истории и вовсе не было географическим термином; более того, реки и моря позволяли проводить лишь крайне неточные границы, поскольку географические познания о них также не отличались точностью. Мечовита считал, что Волга впадает в Черное море, а не в Каспийское; Герберштейн исправил его ошибку²⁴.

Для Петра, уже в начале XVIII столетия, необходимость провести границу между двумя симметричными частями его владений, Россией европейской и Россией азиатской (причем последней отводилась роль полуколонии), стала вопросом государственной политики и национальной самоидентификации. Его советником в вопросах географии стал Василий Татищев, который и предложил Уральские горы в качестве линии раздела между двумя континентами. Примерно в то же время с таким же предложением выступил швед Филипп Йохан фон

Страленберг, так что два географа спорили о том, кому же первому пришла в голову эта идея²⁵. Страленберг считал вопрос о границе между двумя континентами важнейшей географической проблемой современности и был уверен, что нашел ей решение: «Вот что следует отметить касательно границы между Европой и Азией: хотя на некоторых новейших картах, из-за неуверенности, где же ее провести, эта граница была вовсе опущена, я на своей карте показал ее столь ясно, что она теперь определена навсегда»²⁶. Тем не менее в течение XVIII века Уральские горы остались лишь одной из нескольких возможных линий раздела между Европой и Азией. Немецкий географ Иоганн Георг Гмелин отправился далеко за Урал и в 1747 году поместил границу между континентами на Енисее²⁷.

На протяжении всего столетия карты Европы позволяли ей все более и более расширяться на Восток, вслед за общим развитием географических познаний. Помещенное в правом нижнем углу карты Черное море означало более узкое понимание европейского континента, тогда как появление там Каспия намекало на расширенное толкование Европы. На карте, изданной Хоманном в 1720 году в Нюрнберге, Европа доходила только до Дона и Азовского моря. Каспийское море на карту не попало, но далее на север Российская империя простиралась до самого края карты, оставляя границу между Европой и Азией неопределенной. На другой карте, выпущенной Десно в 1772 году в Париже, уже появляется северо-восточный берег Каспия, однако граница между двумя континентами по-прежнему не указывается, обозначая тем самым, что Европа может простираться до самого Урала²⁸.

Если же граница между континентами и обозначалась, этого обычно достигали за счет раскраски, а не за счет наносимых типографским способом линий, оставляя, таким образом, место для различных интерпретаций. На карте Гийома Делиля (изданной в 1700 году в Париже) граница между «Европейской Московией» и «Азиатской Московией» обозначалась цветной линией, проходившей вдоль Дона, а затем прямо на север, примерно на 40 градусах восточной долготы, очерчивая Европу в очень узком понимании. Карта Хааса (1743, Нюрнберг) раздвигала пределы континента, закрашивая пространство до устья Дона на юге, а затем более или менее по диаго-

нали до самой Новой Земли на 60 градусах восточной долготы²⁹. В 1757 году «Atlas Universel» включал карту мира, показывающую Евразийский материк полностью, причем Европа (ограниченная зеленой линией) и Азия (ограниченная красной линией) были разделены диагональю, проходившей с юго-востока на северо-запад³⁰.

Эта диагональная граница была компромиссом между двумя возможными вариантами ее прохождения, строго на север от Азовского моря и строго на север от Каспия. В то же время она была очень удобным культурным инструментом, подразумевающая не очень четкую линию раздела между Востоком и Западом и способствуя образу Восточной Европы как чего-то неопределенного и расплывчатого. В XVIII веке неожиданно обнаружилось, что Европа простирается далеко на восток и что эти восточные земли ожидают того, кто их опишет и предъявит на них права; Азия, однако, была по-прежнему в непосредственной близости, отделенная лишь изменчивой и прозрачной границей. В 1759 году в «Петре Великом» Вольтера, обследуя провинции своей империи, царь предупреждал, что «границы Европы и Азии там по-прежнему неясны» и «никто более не знает, где кончается Европа и начинается Азия»³¹. В 1787 году в Крыму принца де Линя тешила мысль о том, что Азия была совсем неподалеку, и в основе его восточных фантазий лежала традиция географической неопределенности, возведенной в ранг искусства.

«ГЕРМАНЦЫ И ГУННЫ»

Хотя геополитические изменения и приводили к смене географических представлений, картографы, однако, могли по-прежнему интерпретировать международные отношения сквозь призму культуры. В 1696 году, в возрасте двадцати четырех лет, Петр спустился к низовьям Дона во главе созданной им первой русской флотилии; год спустя он отправился на верфи Англии и Голландии, замыслив создание морского флота. Тем не менее уже в 1696 году у него было достаточно кораблей, чтобы завоевать Азов в устье Дона, вслед за чем голландцы провели для него картографическую съемку тех мест. Именно по Дону проходил один из традиционных вариантов границы

между Европой и Азией, и этот ключевой пункт оказался теперь под контролем Петра. Более того, захватив выход на юг, он самым резким образом поставил под вопрос образ России как северной страны, придав ей элемент восточности. Екатерина довела эту переориентацию до логического завершения, сначала аннексировав, а затем посетив Крым. На самом деле уже в 1713 году, после неудачной войны с турками, Петр был вынужден вернуть Азов Оттоманской империи, и только в 1739 году, после очередной войны, его преемники смогли отвоевать город. Тем не менее взятие Азова Петром в 1696 году и начерченная Шунебеком в 1701 году карта приковали к этой крепости в устье Дона внимание всей Европы. Более того, статус Азова, переходившего в течение полувека от турок к русским и назад, стал от этого еще более неопределенным, что и без того было характерно для Восточной Европы. Конечные точки той оси, которая задавала структуру Восточной Европы, могли быть ее частью, как Санкт-Петербург, а могли и не быть. Азов, одно из возможных мест встречи между Европой и Азией, мог становиться восточным городом, как турецкая крепость на русской реке, или аванпостом Восточной Европы, как морская база на принадлежащем туркам море.

В 1699 году, после шестнадцатилетней войны, начавшейся с осады Вены в 1683 году, Карловицкий мирный договор закрепил переход Венгрии под власть Габсбургов. Английский путешественник Эдуард Браун посетил в 1669 году тогда еще оттоманскую Венгрию, и турецкие проводники смеялись над его попытками ориентироваться по карте; даже Дунай был обозначен неверно³². После 1699 года завоевание расчистило дорогу картографам, но одновременно встал вопрос о том, как обозначать политическую принадлежность Венгрии на европейской карте. Завоевание Венгрии, как и завоевание Азова, изменило геополитический баланс в Европе, ознаменовав собой начало территориального отступления Оттоманской империи. Еще в 1684 году папа Иннокентий XI стал крестным отцом Священной лиги, созданной для крестового похода против турок под верховенством Габсбургов; в XVIII веке войны такого рода все больше и больше становились секулярными политическими предприятиями. Более того, с точки зрения безразличного к религии века Просвещения отступление ислама казалось гораздо менее значимым, чем отступление оттоман-

ского Востока, с его недостатком *lumières* и нежеланием способствовать успехам географии.

В 1676 году, на волне интереса ко всему восточному, госпожа де Савиньи ознакомилась с сочинением о «венгерских войнах», «небольшой историей визирей, султанских интриг и гаремов, которую можно читать с приятностью»; эту книжку она рекомендовала своей дочери. В 1685 году, в разгар войны Священной лиги, Жан де Ванель издал в Париже свою книгу о Венгрии, которая неоднократно переиздавалась в XVIII веке. Де Ванель включил в нее географическое описание страны и элементарные сведения о национальном характере: «Жители этого королевства, имея большую склонность к войне, чем к торговле или искусствам, очень мало заботятся о чистоте своих жилищ». Через год после освобождения Буды от турок, в 1687 году, немецкий путешественник Якоб Тёллиус обнаружил, что город «сровняли с землей во время осады»³³. По заключении Карловицкого договора 1699 года Венгрию нужно было восстановить материально под властью Габсбургов и восстановить культурно под надзором Просвещения.

В 1700 году Карл XII переправился через Балтику и, разбив Петра под Нарвой, начал «Великую Северную войну» самым благоприятным для Швеции образом. Этой войне суждено было продолжаться двадцать лет и закончиться Ништадтским мирным договором, по которому Швеция уступила России Ливонию, Эстонию и Ингрию, то есть юго-восточное побережье Балтики от Риги до Санкт-Петербурга. Подобный исход Северной войны, отступление Швеции в Скандинавию и Финляндию, подорвал саму концепцию «Севера» как геополитического образования, впервые четко отделив Швецию от России и Польши. Однако на протяжении двух десятилетий сама география военных действий, раскиданные повсюду места сражений сделали «северность» Великой Северной войны еще более проблематичной, поощряя концептуальную перетасовку Европы. На карте Сансона, напечатанной в 1702 году в Амстердаме, был изображен «Театр войны между Северными коронами». Слово «Украина» было нанесено у самого края карты, показывая, что она находится за этим краем и вне театра военных действий. Тем не менее именно на Украине, под Полтавой, произошло в 1709 году самое знаменитое и самое важное сражение той войны. Когда на следующий год турки

вступили в войну с Петром, он атаковал их в Молдавии, потерпел поражение на реке Прут и в 1713 году был вынужден уступить им совершенно не северный Азов. Если в 1702 году кто-то собирался следить за ходом этой войны по карте «Севера», то еще задолго до ее окончания ему понадобилась бы карта более низких широт. В 1708 году в Лондоне Герман Молл издал вполне отвечавшую такой задаче «Карту Московии, Польши, Малой Татарии и Черного моря»³⁴. Подобное сочетание различных земель не вполне соответствовало географической традиции, но амбиции Петра и Карла и ход Северной войны, которую они вели между собой, сделали такую карту и необходимой, и возможной.

Когда в 1731 году Вольтер писал своего «Карла XII», он, по сути дела, переложил эту карту в прозе. Описывая события со шведской точки зрения, он лишь подчеркнул географическую противоречивость привычных терминов «Север» и «Северная война». И действительно, в 1730 году в Стокгольме Страленберг издал на немецком книгу под названием «*Das nord— und östliche theil von Europa und Asia*», включавшую кроме прочего и новые сведения о Сибири. Нескладное название книги, с его «северными и восточными частями», зафиксировало тот момент, когда европейская ось симметрии еще находилась в процессе переориентации. У Страленберга была возможность изучить свой предмет, когда он служил под знаменами Карла XII, а затем находился в России в качестве военнопленного. Его восхищали «удивительные пути Провидения: хотя война обычно приносит упадок почти всем искусствам, тем не менее географической науке она часто приносит развитие и улучшение». Более того, ниспосланные Провидением успехи географии, открытие нецивилизованных стран и народов, немедленно наводили Страленберга на размышления о совершенстве собственной цивилизации:

Возможно, что не каждого читателя развлекут мои описания сих холодных и отчасти пустынных краев, где грубые манеры и невежество, как в религии, так и в мирских делах, преобладают невозбранно и лишают туземцев истинного пользования теми благословениями, которыми природа столь щедро и необычайно наделила некоторые из этих стран. Посему, когда мы сравниваем грубое и жалкое состояние этих народов с цивилизованными государствами Европы, где поддерживаются лучшие и разумнейшие нравы, где процветают науки и искусства, где у нас нет недостатка в средствах

познать истинного Бога и Его служение, у нас появляются величайшие причины воздать хвалу Божественному Провидению, возрадоваться нашему счастливому состоянию и сожалеть об отверженности и слепоте этих народов³⁵.

Это противопоставление между краем цветущих наук и искусств и краем грубых нравов и слепого невежества ясно показывает, что для Страленберга в 1730 году, как и для Вольтера в 1731-м, географическое открытие Восточной Европы осмысливалось только через аксиомы западноевропейской цивилизации и просвещения.

Книга Страленберга была переведена на английский и в 1736 году вышла в Лондоне под названием «Историко-географическое описание северных и восточных частей Европы и Азии». Новая смысловая ориентация континента была, однако, отвергнута во французском переводе, и он вышел в 1757 году в Амстердаме под заглавием «Description historique de l'empire russe», как раз вовремя, чтобы Вольтер мог справиться с ним, работая над «Петром Великим»³⁶. В конце концов новую формулировку пришлось признать и французам, и, стоя в 1787 году на поле Полтавской битвы, Сегюр размышлял о «судьбах севера и востока Европы». Украина, в конце концов, лежала на широте Франции, и путь из Парижа в Полтаву шел прямо на восток.

В 1703 году, в самом начале войны, Петр начал строить крепость в болотистом устье Невы, в Ингрии, только что отвоеванной им у шведов. Здесь, на Неве, на выходящем в Балтийское море Финском заливе построили верфь, а затем появился город, ставший новой столицей Петра, Санкт-Петербургом. Возведение города там, где раньше были только болота, стало частью петровской легенды, а в конце концов и метафорой построения цивилизации в России. В своем «Петре Великом» Вольтер утверждал, что в XVII веке в России «почти все еще только предстояло сделать», подчеркивая, что подвиг Петра состоял именно в «сотворении»³⁷. Если Буду пришлось отстраивать заново, то Санкт-Петербург был сотворен из ничего. Петр, таким образом, буквально начертал новое имя, свое собственное, на карте Европы, и европейским географам пришлось внести эту точку в свои атласы.

Санкт-Петербург и Азов, с их верфями, выходящими каждая в свое море, отражали петровскую озабоченность поиском

выходов к морю и развитием российской военной мощи. В то же время Санкт-Петербург и Азов были теснейшим образом связаны между собой как две противоположные оконечности новой географической оси. Прошли времена, когда старая Московия расползалась во все стороны из своей расположенной в центре столицы, Москвы. Петровская Россия простиралась от Балтики до Черного моря вдоль оси, которая при сравнении с другими европейскими государствами символизировала восточный характер России. Екатерина лишь зафиксировала эти оконечности, превратив Севастополь в свою военно-морскую базу на Черном море и пригласив туда из Санкт-Петербурга гостей, чтобы полюбоваться линейным кораблем «Слава Екатерины». На протяжении XVIII века эта новая ось оставалась культурно дезориентирующей. Путешествуя из Москвы в Санкт-Петербург, Кокс ощущал, что он приближается «к цивилизованным частям Европы», в то время как Сегюр, плывя вниз по Днепру, на юг, в Крым, явно считал, что движется на Восток. Такое смещение севера и юга, востока и запада означало, что, вне зависимости от показаний компаса, Восточная Европа в XVIII столетии неизбежно помещалась где-то в промежулке между Европой и Азией.

В 1703 году, когда Петр решил нанести на карту Санкт-Петербург, Ференц Ракоши начал свое восстание против Габсбургов. Это восстание заставило Европу, особенно Францию, обратить на Венгрию самое пристальное внимание и сформировало образ Венгрии, который сохранялся на протяжении всего XVIII века. Венгерское восстание, продолжавшееся с 1703 по 1711 год, совпало по времени не только с Северной войной, позволив Ракоши надеяться на помощь Петра, но и Войной за испанское наследство между Бурбонами и Габсбургами, отчего французы и венгры оказались крайне заинтересованными друг в друге. В 1703 году манифест Ракоши, объявлявший о начале восстания, был немедленно переправлен в Париж, переведен и опубликован. В том же году в Париже была напечатана карта Венгрии работы Гийома Делиля, а в Амстердаме — Герарда Валка³⁸. Голландцы следили за судьбами Венгрии с гораздо меньшей симпатией, поскольку с 1701 года вместе с Англией и Габсбургами состояли в направленном против Франции «Великом Союзе». Война за будущее Испании гарантиро-

вала, таким образом, что глаза всей Европы будут прикованы к Венгрии.

Изучая, как проявлялся интерес к венгерским событиям во французских памфлетах и газетах тех лет, венгерский историк Бела Кёпешти отмечает, что по иронии политической истории Людовик XIV, этот яркий поборник абсолютизма, официально поддерживал венгерские притязания на независимость и право избирать себе короля. Так, в «*Gazette de Paris*» соратников Ракоши никогда не называли «бунтовщиками»; сначала их именовали «недовольными», а после 1708 года, по указке самого Людовика XIV, просто «конфедератами»³⁹. Эташ Ле Нобль создал серию памфлетов в форме басен, на манер Лафонтена, горячо поддерживая венгерских повстанцев. В 1705 году он сочинил стихотворную басню «Орел, царь журавлей», повествовавшую о габсбургском орле и венгерских журавлях, а в 1706-м написал «Басню о львиной пещере», где Ракоши был представлен в виде хитрого лиса, боровшегося со львом, то есть Габсбургами⁴⁰. Главным соперником Ле Нобля в интеллектуальной среде был Николя Гудвиль, который писал от имени французских гугенотов, изгнанных в союзную Габсбургам Голландию. Гудвиль не сочинял басен, но употреблял метафоры из животного мира, отчего дискуссия еще более напоминала главу из естественной истории. Работая в Гааге в 1705 году, он объявил венгров «чудовищами бесчеловечности», хуже лапландцев или ирокезов. Гудвиль, таким образом, уравнивал метафорических «чудовищ» с примитивными народами, что прямо отражало современные представления о Восточной Европе. Естественно-историческая метафорика опять всплыла в 1706 году, когда Гудвиль сожалел, что «германцы не добились еще солидного преимущества над венграми». Проблему он видел в том, что «восстание это напоминает тело животного: если отсечь одну конечность, то ярость вскипает, и оно лишь становится сильнее». Полемизирующие в 1707 году о Венгрии Ле Нобль и Гудвиль странным образом прибегают к одной и той же терминологии. Если Гудвиль обличал «мерзкую тварь» и ее «варварское упорство», то Ле Нобль с уважением отзывался об этом «необычном звере», то есть «народе, борющемся за свою свободу»⁴¹.

Маркиз де Боннак, французский посол в Польше, переправлял в Венгрию французских солдат и претендовал на специ-

альные познания об этом звере, дравшемся за свою вольность. «Нужно как следует знать венгров или поляков, — писал де Боннак, — чтобы понять, сколь глубоко вольность укоренилась в их сердцах». Речь, таким образом, шла не о звериной натуре этих народов, а лишь об их биологии: «Дети несут ее в своих сердцах с самого детства и всасывают ее с молоком матери». Упоминание материнской груди делает созданный де Боннаком портрет Польши прообразом картины, нарисованной в 1772 году Руссо. Де Боннак сам видел, как поляки восстали против своего саксонского короля Августа Сильного, союзника Петра Великого, в поддержку Станислава Лещинского, ставленника Карла XII. Подразумевая существование неких общих характеристик, связывавших Венгрию и Польшу, французы переводили карту современных войн на язык региональных обобщений. Если для поляков и венгров общей была идея вольности, то военная тактика объединяла их с татарами. Маршал Клод де Виллар поддразнивал в своих письмах генерал-лейтенанта Пьера Дезаллёра, представлявшего Людовика XIV в лагере Ракоши, удивляясь, «как человек, прошедший службу в пехоте, приспосабливается к этим маленьким татарским войнам». Намекая на то, что у восставших нет регулярной военной организации, маршал Франции писал о «различиях между германцами и гуннами». Он не мог знать, что во время другой войны, двести лет спустя, гуннами станут сами германцы. Для де Виллара венгры ассоциировались с гуннами древности и с современными татарами, превращая Восточную Европу в смешение разнообразных отсталых народов. В 1707 году Ле Нобль издал сочинение под названием «История князя Ракоши, или Война недовольных», объясняя, что в этой войне почти не было «регулярных» сражений, «потому что венгры, на манер татар, не сражаются, стоя на месте». Шарль Ферриоль, французский посол в Константинополе, изучая венгров с этой выгодной позиции, в 1711 году, в самом конце восстания, объявил невозможным «принудить их к дисциплине, на которую они неспособны»⁴². Следуя за Карлом XII, Вольтер впоследствии точно так же обнаружил неспособность к дисциплине у всех народов Восточной Европы.

Французское географическое описание 1708 года признавало Венгрию «одной из самых прекрасных стран на свете». Главной отличительной чертой самих венгров, однако, было их

этническое происхождение: «Народ, который владеет такой прекрасной страной, пришел из Татарии, где принадлежал к племени гуннов, столь известному своими опустошениями и своей жестокостью». В 1711 году, когда Ракоши был уже на грани окончательного разгрома, географические параметры «непобедимой Венгрии» определялись в представлении парижан ее бывшей доблестью, ограниченной лишь «Адриатикой, с одной стороны, и Черным морем — с другой»⁴³. Это задавало набор ориентиров, подобно тому как Санкт-Петербург и Азов определяли параметры балтийско-черноморской оси. Венгрию больше нельзя было принять за составную часть оттоманского Востока, но ее образ сопротивлялся также и натиску габсбургских армий, определяя тем самым пространство Восточной Европы и стремясь заполнить его целиком.

«Виды уникальные и своеобразные»

В 1704 году, год спустя после начала венгерского восстания, Джон Черчилль, герцог Мальборо, объединил свои силы с армией лучшего полководца империи Габсбургов Евгения Савойского и разбил французов в битве при Бленхейме, на Дунае. Такой исход битвы стал ударом и для венгров, поскольку победа Габсбургов не сулила ничего хорошего их недавно начавшемуся восстанию. На родине Черчилля, в Англии, логика внешнеполитических союзов оказалась сильнее, чем симпатии к венграм. Даниэль Дефо полагал, что венгры должны быть благодарны Габсбургам за освобождение от турок; с другой стороны, Джонатан Свифт в 1711 году писал в «Поведении союзников», что Габсбургам следовало пойти на компромисс с венграми и сосредоточить все силы на борьбе с Францией. С его точки зрения, император «решил пожертвовать общим делом союзников ради своей личной страсти, ради покорения и порабощения ничтожного народа»⁴⁴. В 1712 году, год спустя после окончательного поражения венгров, Герман Молл напечатал в Англии карту, посвященную «Его Милости Джону, герцогу Мальборо, князю Миндлейхемскому», поскольку к этому времени Черчилль уже получил за свои победы титул князя Священной Римской империи. Эта империя была изображена на карте, представлявшей «страны, принадлежащие

Австрийскому Дому», то есть «Новой карте Германии, Венгрии, Трансильвании и Швейцарии». Это была не просто новая карта, но новый способ составлять карты; соединив в одном названии Венгрию и Германию, она воспевала триумф Габсбургов и поражение Ракоши, носившего, кстати, титул князя Трансильванского.

Однако в XVIII веке подобное сочетание не прижилось на картах Европы. Голландская карта Цюрнера (1712 г.), составленная для Августа, курфюрста Саксонского и короля польского, не слишком сочувствовала делу венгерской независимости, но изобразила Восточную Европу как отдельное географическое пространство, просто-напросто закрасив Венгрию одним цветом с «Turcia-Euorae», оттоманской Европой. Благодаря подбору контрастных цветов, желтая Венгрия наглядно отделялась от выкрашенной в розовый Священной Римской империи и сливалась с Хорватией, Боснией, Далмацией, Трансильванией, Валахией, Молдавией, Бессарабией, Болгарией и Сербией. На карте Гийома Делиля, напечатанной в 1724 году в Париже, выделенные штриховкой линии границ давали понять, что Венгрия — часть «Turquie d'Europe». На голландской карте де Витта, напечатанной в Амстердаме в 1730 году и претендовавшей на титул «*accuratissima*», Венгрия вместе с Молдавией, Валахией и Болгарией входила в состав оттоманской Европы⁴⁵. Изображать Венгрию как часть Оттоманской империи после 1699 года было попросту неправдой, если говорить о правде политической независимости. Европейские картографы имели в виду другую правду, правду образов и ассоциаций, которая часто перевешивала, казалось бы, незыблемые факты международных отношений.

Приняв некий компромисс, картографы в течение всего XVIII века закрашивали Венгрию отдельным цветом, изображая ее как самостоятельное политическое образование, не связанное ни с Габсбургской, ни с Оттоманской империей. Такая возможность избежать разрешения насущных политических вопросов была подготовлена восстанием Ракоши в самом начале столетия, когда политическая судьба Венгрии была и в самом деле неясна, поскольку венгры с оружием в руках сражались за свою независимость. На картах неопределенность переходного периода надолго пережила Сотмарский мирный договор 1711 года, оформивший победу габсбургских армий, а

вместе с этим и габсбургских притязаний на наследственное правление. Совершенно случайное событие еще более усилило влияние этого периода на картографию последующих поколений. В 1706 году, когда восстание было в самом разгаре, произошло солнечное затмение, представлявшее огромный интерес для научной картографии, поскольку его использовали в астрономических вычислениях при составлении карт. Момент затмения стал, таким образом, единой картографической точкой отсчета, и карты еще долго изображали мир, каким он был в 1706 году. С научной точки зрения это событие не должно было повлиять на то, как раскрашивались карты; но раскрашивание — неточная наука, и карты по-прежнему отражали неопределенность политического статуса Венгрии в 1706 году, изображая ее как независимое государство. В 1720 году в Нюрнберге Йоган Хоманн напечатал карту «*Europa Eclipsata*», то есть карту Европы 1706 года, на которой Венгрия и Трансильвания выделены зеленым цветом. В 1743 году Йоган Хасс составил карту Европы, изданную затем наследниками Хоманна, по-прежнему настаивая на существовании «Венгрии» как отдельного политического образования, в данном случае включавшего также Молдавию, Валахию и Болгарию; эту карту еще раз напечатали в 1777 году⁴⁶. Таким образом, на протяжении более чем векового правления Габсбургов карты по традиции следовали основанному на политической неопределенности культурному стереотипу, изображая Венгрию как самостоятельное государство. Наиболее правдоподобной с политической точки зрения была посвященная герцогу Мальборо карта Молла, но эта правдоподобность не смогла перевесить глубоко укорененные ассоциации и представления, на которых и зиждилась сама концепция Восточной Европы.

Если Венгрию, Молдавию, Валахию и Болгарию легко можно было закрасить одним и тем же цветом, поскольку они граничили друг с другом, то культурная и географическая связь между Венгрией и Богемией была куда менее очевидной. В 1720 году Анри Абрам Шателен напечатал в Амстердаме «*Atlas Historique*», обещая включить в него не только новые карты, но и «трактаты по истории каждого государства, написанные г-ном Гудвилем». Этот Гудвиль был тем самым работавшим в Голландии французским эмигрантом, который во время восстания Ракоши отстаивал в своих сочинениях интересы Габ-

сбургов. Как и следовало ожидать, история в изложении этого автора соответствовала его политическим взглядам: «Венгры, как говорят, произошли от скифов, жестокого народа, который жил только кровопролитием». Они были «варварами» и на протяжении Средних веков регулярно получали от Священной Римской империи «заслуженное наказание за свои разбои и жестокость»⁴⁷. Однако именно организация атласа наиболее ярко отражает политические взгляды Шателена и Гудвиля. Первая часть атласа включала карты Германии, Пруссии, Венгрии и Богемии, почти повторяя сочетание стран на карте, составленной Моллом в 1712 году для герцога Мальборо. Географические и исторические описания земель были затем сгруппированы таким образом, что о Венгрии и Богемии речь шла в одной главе.

Сначала в атласе шла карта Венгрии, а затем карта Богемии; их нельзя было поместить на одной карте, поскольку эти две страны не имели общих границ. Именно в том и заключалась необычность такого географического сочетания. Следом шла карта «различных стран и земель, расположенных на Дунае», на которой были изображены уже оба княжества. Данная карта тоже была не вполне обычной, представляя одновременно «древность и современность» и помещая рядом такие названия, как Венгрия и Паннония, Украина и Сарматия, Болгария и Мезия, Валахия и Дакия, Богемия и Бойохемум (*Boiohemum*). Сочетания эти были, однако, совершенно уместными на карте Восточной Европы, которая и сама находилась где-то между древностью и современным миром; если у Богемии нет своего античного названия, его следует изобрести, хотя бы и коверкая латынь. Отдельные карты Венгрии и Богемии содержали «хронологии королей», намекавшие на связь между двумя королевствами. Объединявшая их карта придунайских земель содержала поясняющее «замечание»: «Поскольку королевства Венгрия и Богемия и области Силезия и Моравия почитаются наследственными владениями Императора, то, дабы не возвращаться к этому еще раз, сочтено уместным включить их в историю Империи и по возможности представить сокращенное описание народов, населявших эти королевства в древности»⁴⁸.

Эту связь еще более подчеркивала следующая за картами таблица, «Генеалогическая схема королей Венгрии и Богемии, и Краткое изложение образа правления этих двух королевств».

Две королевские генеалогии излагались параллельно до 1526 года, когда Людовик Ягеллон, король Венгрии и Богемии, погиб в битве с турками при Мохаче; большая часть Венгрии отошла Османской империи, но Габсбурги унаследовали обе короны. После этого две королевские генеалогии превращаются в одну, в генеалогию династии Габсбургов. Хотя атлас вышел в свет в 1720 году, эту схему сопровождала анахроничная ссылка на времена венгерского восстания: «Все королевство сейчас находится в волнениях, так как большая часть сословий последовала за князем Ракоши, а другие сохранили верность императору, отчего сие королевство пребывает в печальном и крайне жалком состоянии»⁴⁹. За этим следовало замечание о том, что «Богемия, подобно Венгрии, тоже знавала времена волнений и смятения», имея в виду «бунтовщиков», разгромленных Габсбургами во время Тридцатилетней войны. Таким образом, Венгрия и Богемия были объединены в атласе как две принадлежащие дому Габсбургов короны (венгерская Святого Стефана и богемская Святого Венцеслава), как две области, где волнения и смятения бросали вызов императорской власти. Объединив их на одной карте и на одной генеалогической схеме, Шателен и Гудвиль прочили Венгрии 1720 года судьбу, аналогичную участи Богемии, разгромленной в 1620 году в битве у Белой Горы.

При этом, подчеркивая эту параллель, сулящую низвести Венгрию до положения Богемии, авторы одновременно привлекали внимание к различиям между Богемией и прочими землями Священной Римской империи. Для Гудвиля это явно было географическим парадоксом:

Хотя эту область помещают на всех картах Германии, хотя она входит в состав Империи, она остается отдельным государством. Своими законами и обычаями она не походит на германские земли, даже язык у нее особенный; и по обоим этим причинам сия область остается в этом обширном краю видом уникальным и своеобразным⁵⁰.

Настаивая на сходстве Богемии с Венгрией, «Atlas Historique» одновременно подчеркивал, что Богемия — не германская область. На карте Богемии появилось «замечание», гласившее, что «Богемия некогда состояла в зависимости от Империи, но затем мало-помалу от нее отделилась»⁵¹. Горячо поддерживая присоединение Богемии и Венгрии к монархии Габсбур-

гов, амстердамский атлас, однако, в конце концов изобрел для Богемии новый тип «отдельности» («вид уникальный и своеобразный»), основанной на языке и обычаях. Хотя здесь явно имелось в виду противопоставление славянского и германского, прямо оно не упоминалось; такое противопоставление могло подчеркнуть связь Богемии с другими землями Восточной Европы, но оно едва ли подкрепляло сравнение с Венгрией.

В XVIII веке география вполне могла включать всевозможнейшие описания и пояснения, так что карта Венгрии в «Atlas Historique» была испещрена «замечаниями» об истории, языке и нравах. «Их язык почти ни на что не похож», — сообщала карта о венграх, вторя «замечаниям» на предшествующей карте Богемии. Что касается их нравов, то они «не слишком отличны от турецких». Венгры «непостоянный» и «воинственный» народ, который «страстно любит лошадей, охоту и веселую жизнь, но не любит германцев»⁵². Даже в такой форме этот пассаж был менее прямолинейным, чем некоторые из более ранних «географических» наблюдений, как, например, во «Введении в географию», вышедшем в Париже в 1708 году и сообщавшем, что венгры «любят войну и лошадей»⁵³.

Гудвиль, впрочем, осознавал, что, несмотря на свои якобы турецкие обычаи, Венгрия больше не была частью Османской империи. Европа вернула себе Венгрию, и ее качества он, видимо, оценивал с точки зрения будущих путешественников или даже колонистов: с одной стороны, плодородная почва и хорошие пастбища, с другой — нездоровый воздух, плохая вода и даже похожая на вход в преисподнюю «пропасть», которая «смердела» так, что пролетающие над ней птицы падали замертво. Еще интересней сообщение об изобилии рыбы в венгерских реках. Гудвиль ссылался на современников, полагавших, что для людей, склонных к размышлениям, рыба полезнее, чем мясо, поскольку она разжижает кровь, делая дух более восприимчивым к зарождающимся идеям. Следовательно, «Венгрия — лечебница Литературной республики («Lieu de Santé de la Republique des Lettres»): всем нам, жалким сочинителям, которые, возможно, по причине густой крови развращают публику своими вредными и отвратительными трудами, не мешало бы удалиться сюда на покой»⁵⁴. Это, конечно, шутка — невозможно представить себе Венгрию, край скифов, татар и гуннов, курортом для европейских интеллектуалов. Но подобные шутки демонстрировали готовность этих интеллектуалов раз-

делить с Габсбургами плоды их завоеваний и присвоить себе Венгрию. Они могли по своему усмотрению удалиться в Венгрию на покой, присоединяя ее к Литературной республике в качестве курорта. «Жалкие сочинители» века Просвещения, гордого своей густой кровью, отличались грубой самоуверенностью, и их не могли запугать критики — те, кто критиковал их «вредные и отвратительные труды»; то было голландское Просвещение еще до своего прихода во Францию. Просвещение с самого начала нуждалось в другой Европе: сравнение с ней позволило бы ему установить превосходство собственной цивилизации. Никто из граждан Литературной республики не собирался, конечно, ни удалиться на покой в Венгрию, ни питаться рыбой.

После того как политики завоевали, географы изучили, а интеллектуалы присвоили Венгрию, они обратились к оставшимся оттоманским владениям в Европе. В своей работе «Восточный вопрос в австрийской политике, 1700—1790» историк Карл Рёйдер показал, что этот вопрос, появление которого обычно относят к концу XVIII столетия, встал уже в самом его начале. В 1715 году, всего четыре года спустя после разгрома Ракоши, имперский эмиссар в Вене восторженно писал о новой возможности «разбить турок», «а также, с милостью Божьей, вовсе выкинуть их из Европы»⁵⁵. На всем протяжении XVIII века «восточный вопрос» был политической дилеммой, всецело поглотившей Вену и приковывавшей внимание к тем землям оттоманской Европы, которые могут быть отвоеваны у турок. Когда Венгрию не объединяли с другой габсбургской провинцией, Богемией, ее наносили на карту и закрашивали вместе с принадлежащими туркам Молдавией и Валахией. Парадокс «*Turquie d'Europe*», находящейся в Европе, но явно восточной по своей сути, сыграл ключевую роль в возникновении самой концепции Восточной Европы, и амбиции Габсбургов, вне зависимости от военных и политических шансов их реализовать, внесли свой вклад в развитие этой идеи.

В 1717 году вся Европа говорила о триумфе Евгения Савойского, воспользовавшегося туманом, чтобы взять Белград, и вернувшего Западу восточную крепость, где лишь за шесть месяцев до того леди Мэри Уортли Монтэгу изучала арабскую поэзию. Не имело значения, что уже в 1739 году Австрии пришлось сдать Белград: как и в случае Азова, тоже переходивше-

го из рук в руки, на такой неопределенности политического статуса и была основана концепция Восточной Европы. После взятия Белграда император размышлял о приобретении Молдавии и Валахии, а военные эксперты в венском гофкриксрате планировали наступление на Софию⁵⁶. Продолжающаяся Война за испанское наследство на время исключила возможность столь увлекательных экспедиций, и в 1718 году Османская империя и империя Габсбургов заключили мир в Пассаровице. Несмотря на это, взятие Белграда и подготовившее его завоевание и покорение Венгрии побудили государственных мужей, и не только в Вене, мечтать о завоеваниях в османской Европе. Картографы не задумываясь объединяли Венгрию, Валахию, Молдавию и Болгарию, не обращая внимания на государственные границы, а граждане Литературной республики были, казалось, готовы в поисках рыбных мест спуститься по Дунаю до самого Черного моря. Сам Евгений Савойский, который имперские проекты оценивал с точки зрения их военной и административной осуществимости, с сомнением относился к предполагаемому продвижению Габсбургов вглубь Юго-Восточной Сербии. Он писал императору: «Я не нахожу, что обладание этими удаленными местами будет полезно Вашему Величеству, поскольку расстояние до них и трудность сообщения принесут более беспокойств, чем выгод»⁵⁷. Установление господства над Восточной Европой было не просто военно-административной проблемой — эта затея воспринималась как вызов современной философии и географии. Если государственные деятели размышляли о турках и о том, как «вовсе выкинуть их из Европы», то географы стремились изучить османскую Европу и тем самым «завершить европейскую географию».

«РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИИ»

Международные конфликты первых двух десятилетий XVIII века привлекли к карте Восточной Европы внимание Европы Западной, сформулировав вопросы и подходы, которые оставались актуальными до самого конца столетия. Карловицкий договор 1699 года, Полтавская битва 1709 года, Сотмарский мирный договор 1711 года, взятие Белграда в 1717 году

и Ништадтский договор 1721 года сделали расширение Российской империи и территориальное отступление турок главными геополитическими проблемами той эпохи, подчеркивая одновременно, насколько неопределенной и неустойчивой была принадлежность польской и венгерской корон. Станислав Лещинский, ставленник Карла XII, занимавший польский трон с 1704 по 1709 год, потерял корону после полтавского поражения своего покровителя. Август II, бывший также курфюрстом Саксонским, вновь оказался на польском троне в 1709 году, за два года до того, как в 1711 году Габсбурги вернули себе корону Венгрии. Ракоши нашел убежище в Османской империи и поселился на берегу Черного моря; его мемуары были посмертно изданы в Париже. Потеряв польский трон, Лещинский укрылся во Франции. В 1725 году его дочь стала королевой Франции, обреченной на участь многострадальной жены любвеобильного Людовика XV, а сам Лещинский оставался королем без королевства, человеком без своего места на карте. Разрешение территориальных проблем короля Станислава, тестя французского монарха, стало предметом международного конфликта и поводом для Войны за польское наследство, завершившейся в 1730-х годах мирным договором.

В 1731 году «Карл XII» Вольтера принес широкую известность короткому правлению Лещинского в Польше за двадцать лет до того. Вольтер даже использовал Лещинского в качестве источника информации: «Король Станислав оказал мне честь, изложив свою беседу на латыни с королем Швеции». Лещинский также оказал Вольтеру честь, подтвердив аккуратность его повествования о Польше: «Он говорил о Польше и всех происходящих там событиях так, как будто был их очевидцем»⁵⁸. В 1733 году умер Август II, и собравшееся польское дворянство избрало королем Лещинского; его недолгое второе царствование длилось только полгода. В ходе Войны за польское наследство русская армия изгнала короля Станислава и посадила на трон Августа III, законного сына покойного короля (имевшего, кроме того, более трехсот побочных отпрысков). Французский экспедиционный корпус прибыл в Польшу слишком поздно, чтобы сохранить Лещинскому трон, но по условиям Венского мира 1738 года его территориальные проблемы были наконец разрешены: он стал герцогом Лотарингии и Бара, сохранив также титул короля Польши. Бар в его герцогском

титуле относился к городу Бар-ле-Дюк в Лотарингии; однако существовал еще один Бар, в Подолии, на польской Украине, который поколение спустя стал символом антирусского сопротивления. Эта потенциальная двусмысленность подчеркивала ненормальность ситуации, при которой у Польши существовал второй король, правивший на самом деле Лотарингией и словно пародировавший настоящего короля Польши, чей двор находился в Саксонии. Карта Восточной Европы была объектом разделов и переделов, отдававших все более и более неопределенным духом, не только духом военной мощи и политических комбинаций, но и духом фантазии и самозванства.

Двор Станислава Лещинского, короля Польши, находился в Люневиле; в Нанси он основал академию, которую посещали все философы Просвещения. Именно в Люневиле Вольтер потерял главную любовь своей жизни, маркизу де Шатле, которая ушла в 1748 году к другому и умерла родами год спустя. В 1749 году Лещинский издал во Франции книгу о свободе и польской конституции под названием «Вольный голос». В 1751 году он защищал в своих сочинениях науки и искусства от нападков Руссо. В 1761-м под влиянием «Вольного голоса» аббат Габриэль-Франсуа Койе опубликовал «Историю Яна Собеского», сразу ставшую литературным событием, и в 1763 году его пригласили в академию в Нанси⁵⁹. Его книга, в свою очередь, стала основным источником сведений о Польше для Луи Жакура, работавшего над соответствующей статьей для «Энциклопедии», главного проекта Просвещения. Жакур замкнул интеллектуальный круг, упомянув в «Энциклопедии» того, кто «в одной из французских провинций демонстрирует, чего бы он мог достичь в королевстве»⁶⁰. Лотарингия Лещинского стала миниатюрной моделью Польши, перемещенной на карту Западной Европы и демонстрирующей возможности просвещения и прогресса на фоне принимаемой за аксиому восточно-европейской отсталости.

В академии Нанси был и свой географ. Парижский «Atlas Universel» 1757 года был создан Робером, придворным географом Людовика XV; вместе с ним работал также его сын, Робер де Вогонди, член академии Нанси, называвший себя придворным географом короля Польши, герцога Лотарингии и Бара. Начатый еще в 1740-х годах, этот атлас вполне сознатель-

но задумывался как проект века Просвещения, построенный на предположении, что «науки, повсеместно расцветающие в наш век, столь способствовали развитию географии»⁶¹. В этом атласе карта Польши, составленная французским географом, который служил польскому королю, управлявшему французской провинцией, вполне естественно следовала французским образцам. Самым важным из этих образцов была карта Польши, составленная в конце XVII века Никола Сансоном, включавшая также карту Украины работы Боплана. Однако создатели «Atlas Universel» внесли дополнения в карту Сансона, объединив ее с картой Литвы работы некоего польского иезуита, напечатанной в Нюрнберге в 1749 году. Этот атлас был составлен отцом и сыном; один из них являлся придворным географом Людовика XV, другой — Станислава Лещинского. Среди подписавшихся на атлас были королевская фаворитка мадам де Помпадур, министр иностранных дел Шуазель, секретарь французского посольства в Варшаве и полдюжины лиц, состоявших на службе у Августа III, курфюрста Саксонского, другого, настоящего, короля Польши. Французские географы, таким образом, были как бы посредниками между двумя королями Польши, а академия в Нанси поставляла карты, которыми пользовалось правительство в Варшаве. Кроме того, Робер де Вогонди составил карту Европы (изданную в 1770 году в Лондоне), следующим образом объяснявшую государственное устройство Польши: «Поляки имеют одного Главу, который носит титул и живет в роскоши, подобающей королю, но его власть так ограничена, что, по сути, он не более чем первый, или главный регент Республики»⁶². Подобная оценка польской конституции была вполне традиционной в XVIII веке, но никто лучше Робера де Вогонди, «члена академии Нанси», не знал, что с 1738 года до самой смерти Станислава Лещинского в 1766 году (когда Лотарингия наконец вернулась под власть Франции) в Польше были два «главы», один — еще более номинальный, чем другой.

Русско-австрийский союз против Лещинского в Войне за польское наследство плавно перешел в 1736 году в совместную войну против турок. В международных отношениях возникала параллель между Оттоманской империей и Речью Посполитой: и та и другая оказались объектами агрессии, аннексии и господства. Существование такой связи помогло в дальней-

шем сформулировать концепцию Восточной Европы. В 1732 году в Гааге Луиджи Фердинандо Марсильи издал по-итальянски свое сочинение, доказывая, что в военном отношении Турецкая империя слаба и что возможно загнать ислам назад, «в самые дальние оконечности Аравии». Но в 1736 году скончался Евгений Савойский, а в 1739-м Габсбургам пришлось расстаться с Белградом. Хотя русские и вернули себе Азов, война с турками была интересна скорее порождаемыми ею обширными планами, чем конкретными территориальными изменениями. В 1737 году военное министерство в Вене мечтало о присоединении почти всей оттоманской Европы, даже перечисляя предполагаемые к завоеванию земли: «Такая граница приведет под власть императора Сербское королевство, большую часть Болгарского королевства, Македонское королевство, турецкую Далмацию, все Боснийское королевство, провинции Албанию, Эпир, Ахею и проч.». Одновременно Россия дала понять, что планирует присоединить Валахию, Молдавию и Крым⁶³. Повышенное внимание военных и дипломатов к этим областям подчеркивало несовершенство современной картографии: в Лондоне, например, было невозможно достать карту театра Русско-турецкой войны. Двадцать лет спустя «Atlas Universel» все еще жаловался на недостаток географических сведений для составления карты «Turquie d'Europe»: «Молдавия, Болгария и остальная Турция вовсе не предоставили нам [данных]»⁶⁴. Русские и австрийские государственные мужи домогались как раз тех земель, изучить которые мечтали географы. Оба желания неизбежно связывались между собой, и осуществить одно, по всей видимости, было невозможно, не осуществив другого.

Если в 1730 году в центре международных отношений находились Польша и оттоманская Европа, то в середине столетия внимание Европы было приковано к Войне за австрийское наследство (1740—1749) и Семилетней войне (1756—1763). Продолжавшаяся все это время борьба между Фридрихом Великим и Марией-Терезией началась с вторжения Фридриха в Силезию и попыток Марии-Терезии вернуть ее. Силезия принадлежала богемским королям и вместе с Богемией попала под власть Габсбургов в 1526 году; когда Силезию захватил Фридрих, она одновременно перестала быть владением Габсбургов, провинцией королевства Богемия и частью Восточной Евро-

пы. Однако ей суждено было вернуться в состав Восточной Европы: в 1945 году, после поражения Германии, Силезия отошла Польше. С вторжения Фридриха в Силезию в 1740 году его войны в сознании Европы ассоциировались именно с этой провинцией, но здесь в качестве театра военных действий выступала именно Богемия. «Глаза всей Европы были обращены к Праге», — писал сам Вольтер; как придворный историк Людовика XV, он в 1752 году издал «Историю Войны 1741 года»⁶⁵. Век Просвещения глядел на эти события глазами Вольтера, а король и его придворные испытывали особый интерес к этим событиям, поскольку после оккупации Силезии Фридрихом в Богемию вторглись французские войска; одним из французских командиров был отец Сегюра. Писал ли Вольтер о Польше, работая над «Историей Карла XII», или о Богемии, он в обоих случаях мог быть «очевидцем», оставаясь вдали от описываемых стран и событий.

В 1741 году соединенная франко-баварская армия взяла Прагу, и на следующий год Мария-Терезия — которую и Вольтер и Фридрих признавали лишь «королевой Венгрии» — отрядила свои войска, чтобы вернуть столицу Богемии. Для Вольтера королева Венгрии с ее венгерскими войсками ассоциировалась с чем-то варварским, и он сообщал своим читателям, что Мария-Терезия заказала «амазонский костюм для триумфального въезда верхом в Прагу». Мария-Терезия, конечно, вовсе не была амазонкой, а Вольтер явно сочувствовал французскому гарнизону в осажденном городе, который пал к концу 1742 года: «оказаться в таком положении, вдали от родины, среди людей, чью речь они не понимали и которые их ненавидели»⁶⁶. Вольтеру всюду виделись непонятные языки, и потому Прага, к которой он привлек внимание всей Европы, стала еще более чуждой. В 1742 году внимание Вольтера привлекли взятие, а затем сдача Праги французами, так что он обратился к трудам о Яне Гусе и религиозной истории Богемии; однако в последующие годы сражения за этот город еще не раз потрясали Европу⁶⁷. В 1744 году Фридрих сперва занял Прагу, а затем сдал ее; в 1757 году, в самом начале Семилетней войны, он выиграл битву под ее стенами, а потом был вынужден снять осаду крепости. Это чередование завоеваний и отступлений превратило Прагу в объект непрекращающегося военного соперничества, подобно Белграду и Азову в пер-

вой половине столетия. Если Азов был расположен на Дону, на расплывчатой восточной границе, а Белград на Дунае был пограничной крепостью отступающего оттоманского Востока, то Прага стала — и навсегда осталась — западной оконечностью Восточной Европы.

Посмертная публикация в 1739 году в Париже мемуаров Ракоши отражала антигабсбургские настроения во Франции в период между окончанием Войны за польское наследство в 1738 году и началом Войны за австрийское наследство в 1740 году⁶⁸. Однако во время Семилетней войны подобные настроения стали неуместными, поскольку Франция и Габсбурги неожиданно оказались союзниками, вместе сражающимися против Пруссии и Англии. Франция теперь полагалась на стойкость венгерских солдат Марии-Терезии, и имя Ракоши вызывало у французов лишь смущение. С другой стороны, имя Петра Великого неожиданно обрело новую популярность, поскольку среди союзников Людовика XV была теперь и русская царица Елизавета Петровна. Неудивительно, что в 1759 году, в разгар Семилетней войны, Вольтер выпустил первый том своей истории Петра.

Петр некогда собирался выдать свою дочь Елизавету за Людовика XV и сделать ее французской королевой. Вместо этого именно французский посол в Санкт-Петербурге стал душой заговора, в 1741 году возведшего Елизавету на русский престол. Во время ее царствования в Россию пришли французская культура, французские моды, французские манеры и французский язык. В Санкт-Петербург прибывали французские актеры и актрисы, французский доктор, посланный Людовиком XV следить за здоровьем Елизаветы, и даже географ, Жозеф-Николя Делиль, завершивший наконец работу над долгожданным атласом России, изданным в 1745-м. Вместе с Францией и Австрией Россия вступила в Семилетнюю войну и в 1757 году вторглась в Восточную Пруссию. Вышедшая в 1759 году «История Петра Великого» содержала описание казаков в русской армии, ставшее неожиданно актуальным, поскольку они теперь были союзниками французов: «Они служат при армиях в качестве иррегулярных войск, и горе тому, кто попадет им в руки»⁶⁹. В 1760 году в руки казаков попал Берлин, и русская армия оказалась на границе Западной Европы. В письме Вольтеру Фридрих довольно критически отзывался об «Истории Петра Великого»:

Умоляю вас, скажите, что заставило вас написать историю сибирских волков и медведей? И что вы можете сообщить о царе, чего нет в «Жизни Карла XII»? Я не стану читать жизнеописание этих варваров; я был бы рад, если бы мог игнорировать сам факт их существования в нашем полушарии⁷⁰.

Но русские были не просто в том же полушарии, что и Фридрих; они были в Берлине. Сам Фридрих в «Истории моего времени», написанной в 1746 году, но вышедшей с исправлениями в 1775-м, приписывал победы русских «многочисленности татар, казаков и калмыков в их армиях». «Соседи» Российской империи имели все основания опасаться этих «бродячих орд грабителей и поджигателей», этих волков и медведей⁷¹.

Как показала Семилетняя война, с точки зрения географии Западная Европа и Европа Восточная были соседями. В 1760—1761 годах Оливер Голдсмит опубликовал в лондонском «The Public Ledger» свои «Китайские письма», вышедшие в 1762 году отдельным томом под названием «Гражданин мира». В одном из них Фум Хоам писал Чи Алтанги: «Я не могу не почитать Российскую империю естественным врагом более западных частей Европы». Китайцы Голдсмита полагали, что Россия находится «на той стадии между утонченностью и варварством, которая, кажется, более подходит для военных успехов» и угрожает «затопить весь мир варварским вторжением»⁷². Императрица Елизавета умерла в 1762 году, и ее наследник Петр заключил мир с Пруссией, но к этому времени Лондон уже узнал о географической поляризации между восточными и западными частями Европы.

«ЭТИ ВАРВАРСКИЕ КРАЯ»

В 1762 году Джеймс Портер, бывший с 1746 года английским послом в Константинополе, вышел в отставку и вернулся в Англию. В XIX веке его внук счел нужным объяснить, почему в 1762 году Портер не отправился морем: «Испытывая крайнее отвращение к морю, он отказался вернуться на фрегате, который привез его преемника, и предпринял путешествие в Англию по суше — задача, о трудности которой наше поко-

ление, испорченное удобствами хороших шоссе и железных дорог, едва ли может составить истинное представление»⁷³. Как и в случае с сухопутным маршрутом в Россию через территорию Польши, занимательность путешествия в Константинополь и обратно по суше была для заезжих иностранцев прямо пропорциональна сопровождавшим его трудностям. В 1762 году задачу Портера еще более усложняли продолжающиеся военные действия, поскольку европейские союзы времен Евгения Савойского и герцога Мальборо распались и Австрия и Англия оказались противниками, так что Портер не мог следовать обычным путем из Константинополя через принадлежащую Габсбургам Венгрию в Вену. В сопровождении своей жены, двух детей (девочки четырех лет и мальчика двух лет) и нескольких спутников он отправился через Болгарию и Молдавию в Польшу. Оттуда они попали в союзную Пруссию — по дороге в Берлин им встречались «деревни, сожженные и разрушенные русскими» — затем в Голландию и, наконец, домой, в Англию⁷⁴.

Путешественники старались с юмором воспринимать тяготы дороги. Когда в одной из турецких деревень на их пути открылась чума и пришлось разбить палаточный лагерь в поле, жена Портера развлекалась, наблюдая за одним из своих спутников. «Падре Боскович, — записала она, — представил нам совершеннейшую комедию, благодаря своему возбуждению и тем хлопотам, в которые он пустился, стараясь расположить свою кровать и прочие удобства в наилучшем порядке, какой только возможен в нашем положении». Более того, когда багаж задержали, «его суета и волнение немало нас позабавили»⁷⁵. Речь шла о Руджеро Джузеппе Босковиче, который был не только забавным спутником, но и священником-иезуитом, астрономом и физиком с международной репутацией и, кроме того, видным ученым-географом. Он родился в 1711 году в Дубровнике, чем и объясняется его славянская фамилия; его отец был сербом, а мать итальянкой. Четырнадцати лет от роду его отправили учиться в иезуитскую коллегию в Риме, и в культурном отношении он стал совершенным итальянцем. С 1740 года он преподавал математику в «Collegio Romano», а в 1744 году вступил в орден иезуитов. В 1736-м Боскович опубликовал свою первую научную работу о пятнах на Солнце, затем последовал целый поток трудов о северном сиянии, о гравитации, о те-

лескопах, о форме Земли, об орбитах планет, о делении дробей. В 1742 году Папа Римский потребовал от него заняться такой математической проблемой, как возможное падение купола собора Святого Петра. В 1750 году Боскович отверг предложения португальского короля участвовать в составлении карты Бразилии и вместо этого взялся за другой географический проект ближе к дому, а именно за составление карты папского государства. Наблюдая за его манипуляциями с геодезическими инструментами, крестьяне принимали Босковича за колдуна. На латыни его отчет об этом проекте был опубликован в Риме в 1755 году, но именно заглавие французского перевода, «*Voyage astronomique et géographique*», вышедшего в 1770 году, подчеркивало связь между задействованными в данном случае научными дисциплинами. В 1760 году Боскович посетил Лондон, встретил там Бенджамина Франклина, был избран в члены Королевского Общества и издал на латыни эпическую поэму о солнечном затмении. Из Лондона он отправился в Константинополь, надеясь наблюдать там прохождение Венеры через солнечный диск в 1761 году. По дороге Боскович остановился в Нанси, где его чествовал покровитель Просвещения Станислав Лещинский⁷⁶.

Когда в 1762 году Боскович вместе с семьей посла Портера покинул Константинополь, он направлялся в Санкт-Петербург, поскольку его избрали членом Российской академии наук. Травмы и болезни помешали ему попасть в русскую столицу, но до Польши он добрался, посетив по дороге Болгарию и Молдавию; картографы очень сокрушались об отсутствии удовлетворительных карт этих областей Османской империи. За пять лет до того составители «*Atlas Universel*» сожалели, что «доступ в эти края затруднен для людей просвещенных», а отчеты заезжих туристов не могли принести пользы, поскольку «для этого путешественникам пришлось бы изучить математику». Боскович был одним из виднейших математиков и астрономов в Европе. Супруге английского посла он мог казаться суетливым, но географическую науку ее мнение не слишком интересовало.

В 1762 году Боскович вел путевой дневник; его французский перевод был издан в 1772 году в Лозанне, а в 1784-м вышел в свет итальянский оригинал с предисловием автора. Из

этого предисловия видно, что с самого начала своего путешествия через эти малоизученные земли Боскович постоянно помнил о нуждах географической науки.

Я написал отчет об этом небольшом отрезке моих путешествий через земли, очень малоизученные, и в очень своеобразной манере, отмечая... места, через которые или вблизи которых я проезжал, и время отправления и прибытия в каждое, что помогает выверить карту этой части Османской империи, которую Заннони составил в Версале, как он сам меня уверял, по приказу графа де Верженна ... Мне было довольно досадно не иметь при себе никаких переносных инструментов, которые бы позволили мне правильно определить точное географическое положение самих этих мест⁷⁷.

На самом деле у Босковича было с собой несколько астрономических приборов, которые в Яссах произвели большое впечатление на молдавского господаря; среди них был «маленький инструмент, содержащий малое подвижное металлическое зеркало, сделанное мною в Лондоне, которое я обычно использовал в камере-обскуре, чтобы проектировать на стену изображение Солнца, показывая на нем пятна и затмения». Из дневника видно, что, несмотря на последующие сожаления Босковича об отсутствии переносных инструментов и невозможности точных вычислений, он был глубоко увлечен определением широты и долготы Галаты на Дунае. Наблюдая в полдень за отражением истинного горизонта в водах Дуная, он определил, что его широта равна 45 градусам и 23 минутам, «что несколько меньше, чем та, которую указывают на различных картах». С долготой ему не очень повезло, поскольку для ее определения необходимо было знать «точно определенное расположение Луны в этот день в каком-нибудь хорошо известном краю (*paese cognito*)»⁷⁸. Составление карты неизвестной Восточной Европы зависело, таким образом, не только от западноевропейских астрономов, но и от астрономической информации, доступной в это время только в Западной Европе.

Научное и географическое разделение на «хорошо известные» и «малоизвестные» земли точно отражало культурные различия между двумя половинами континента и отлично объясняло, чем именно Восточная Европа интересна для просвещенного путешественника.

Меня привлекала возможность увидеть Болгарию и Молдавию, земли, столь отличающиеся от тех, которые я обозревал в более

устроенных частях Европы; земли, через которые путешественник не может проехать, не встретив самых серьезных неудобств и опасностей, а потому я не упустил подобной возможности присоединиться к свите посла, которому способствуют государственные власти⁷⁹.

«Малоизученные земли», таким образом, противопоставлялись «более устроенным частям Европы», явно подразумевая, что хорошо изученные земли, в свою очередь, противопоставлены менее устроенным частям континента. Боскович даже обратился к теме варварства, сожалея, что не смог составить о нем более подробный отчет:

Отсутствие соответствующих инструментов, незнание языка той страны, через которую я проезжал (хотя у меня иногда и были переводчики), и скорость нашего продвижения, позволившая остановиться лишь на несколько дней на границах Молдавии и в самой ее середине, — все это не позволяло делать наблюдения на месте и исследовать количество объектов, что было бы необходимо для создания более полного («*un'opera più compiuta*») и в целом более полезного сочинения; и все же это краткое повествование не будет бесполезным или скучным уже потому, что содержит сведения о том, как можно путешествовать с королевским послом в тех варварских краях⁸⁰.

Поскольку Западная Европа ничего не знала о Европе Восточной, последняя считалась варварским краем, и Боскович полагал, что эпоха Просвещения должна создать «более полный» свод знаний об этих странах. Сам он считал, что его собственное сочинение не «*opera*», а лишь «*operetta*», как он назвал его в предисловии⁸¹.

В 1758 году Джон Роке, придворный топограф принца Уэльского, составил карту «Почтовых трактов Европы», украсив ее изображением конных повозок, нагруженных мешками с письмами; карта указывала две главные дороги на восток. Одна из них вела на юго-восток из Вены, шла вдоль Дуная через Буду и Белград и далее по территории Оттоманской империи; другая шла из Вены на северо-восток, на Варшаву⁸². Боскович, проехавший от Константинополя до самой Варшавы, пересек по дороге оба традиционных маршрута и открыл центральную ось, задававшую координаты Восточной Европы. Немногие путешественники до конца осознавали, что образующие Восточную Европу страны располагаются столь близко друг к другу, как это выяснил сам Боскович, когда, переправившись через

Днестр, попал из турецкой Молдавии на польскую Украину. Английский посол, его супруга-голландка и сопровождавший их итальянский астроном были живым олицетворением другой, параллельной оси, проходившей из Роттердама в Рим и задававшей координаты уже Западной Европе; именно эта ось определяла культурную перспективу путешественников.

Хотя Боскович и сожалел о недостатке надежных приборов и времени для проведения географических измерений, как раз благодаря отсутствию инструментов его географическому сознанию открылись новые подходы к составлению карты Восточной Европы. Сам Боскович был итальянцем далматского происхождения и потому, несмотря на свои заявления о полном незнании «местного языка», обладал некоторой восприимчивостью к славянским и романским языкам. Это позволило ему в путевом дневнике попытаться хотя бы приблизительно установить этнографические координаты Болгарии и Молдавии в контексте Восточной Европы. Более того, как иезуит, он был особенно чувствителен не только к различиям между многочисленными религиями этого региона, между христианами и мусульманами, между православными и католиками, но и к разности в уровне религиозной образованности. В результате Боскович смог набросать нетрадиционную карту этих краев, предложив новую, более современную систему отсчета, основанную на языке и религии, которым он уделял такое внимание в своем дневнике. С тех пор эта система координат давно стала привычной для любой карты Восточной Европы, где политические границы потеряли стабильность уже в XVIII веке, и новые картографические правила позволяют отразить сложнейшие этнографические смещения.

Путешественники выехали из Константинополя 24 мая 1762 года. Два дня спустя Боскович увидел татар («у них были луки и стрелы»), перегонявших табуны лошадей, а вскоре и караван верблюдов, двигавшийся на Константинополь⁸³. 30 мая путешественники прибыли в город, где Боскович обнаружил, что его обитатели «по большей части турки», хотя среди них иногда встречались и греки. Дом, где его разместили, показался ему темным и грязным, но, что удивительно, хозяин этим даже гордился: «Столь многое следует из недостатка образования и идей, и столь верно, что все среди людей относительно». Позднее он посетил дом православного священника и нашел его

«несравненно более омерзительным»⁸⁴. Боскович полагал, что в лежавших на его пути странах действуют иные, «относительные», цивилизационные стандарты, так что неудивительно, что, когда дело дошло до ночлега, его волнения показались миссис Портер чрезмерными.

Первого июня, через неделю после отбытия из Константинополя, путешественники снова повстречали татар и лошадей, а затем добрались до Канары, первой болгарской деревни на их пути, и остановились там на ночь. Дома в деревне, по мнению Босковича, были бедными, но чистыми. Еще более его поразила собственная способность понимать обитателей деревни: «Местный язык является одним из славянских наречий, как и язык Рагузы, мой родной язык, так что я мог изъясниться сам и немного понимать, что они говорили»⁸⁵. Это был редкий, едва ли не уникальный случай в XVIII веке: благодаря случайным обстоятельствам своего рождения путешествующий по Восточной Европе западноевропейский ученый, представитель просвещенной цивилизации, мог распознать в попадавшихся ему навстречу местных жителей славян и попытаться в простой беседе выяснить сущность славянства. Как оказалось, инструмент, необходимый для составления этнографической и лингвистической карты Восточной Европы, был у Босковича всегда при себе. Основополагающий принцип этой карты — уверенность в существовании единого славянского языка, подразделяемого на множество наречий; а в высшей степени мобильным инструментом был родной язык самого путешественника.

Падре Боскович разыскал в болгарской деревне местного священника, «молодого человека двадцати пяти лет, женатого, и уже с детьми». В православной церкви священство не влечет за собой безбрачия, так что, по мнению Босковича, они с этим молодым человеком смотрели на религию и церковь с совершенно различных точек зрения. «Он родился в этой деревне, — писал Боскович, — и, насколько я мог понять, был, кажется, рукоположен в Константинополе». Неясно, насколько они со священником понимали друг друга, но Боскович узнал достаточно, чтобы прийти к выводу о совершенном невежестве своего собеседника и его односельчан:

Его невежество, как и невежество всех этих бедняков, совершенно невероятно. Они не знают о своей религии ничего, кроме

постов и праздников, крестного знамения и поклонения кое-каким иконам (среди которых нередко встречаются весьма отвратительные и уродливые), и самого слова «христианин». Насколько я смог выяснить в тот вечер, говоря на своем родном языке и также задавая через переводчика вопросы по-турецки, который они все понимают, они не знают ни «Отче наш», ни «Верую», ни основных таинств церкви⁸⁶.

Боскович использовал свое знание славянского наречия, чтобы подтвердить, что между ним и болгарами нет ничего общего. Неодобрительное отношение к восточному православию было вполне традиционным для католиков; ново здесь то, что в данном случае это неодобрение основано на полупонятой беседе с болгарскими крестьянами на их же собственном языке и связано с их славянским происхождением. В тот же самый вечер Боскович споткнулся на какой-то лестнице — «из самого грубого дерева, к тому же полуразвалившейся» — и повредил себе ногу. Эта травма привела к заражению, которое мучило его всю дорогу, в конце концов вынудив остановиться в Польше и отказаться от поездки в Санкт-Петербург.

«ДАЛЕКО ПРОСТИРАЮЩЕЕСЯ ОТСТАЛОЕ ВАРВАРСТВО»

В деревню Факи, «88 домов, все принадлежат болгарским христианам», Боскович прибыл 2 июня. 4 июня он добрался до Карабунари, «очень большой деревни, насчитывающей от пяти до шести сотен турецких и болгарских домов». На следующий день он проехал через татарскую деревню Харманли, пожалованную султаном крымскому князю. В тот день Боскович с интересом отметил «коз и овец в одном смешанном стаде». 6 июня, в Карнабате, он наткнулся на ярмарку, где толпились «турки, греки, евреи, нагруженные тысячей обычных мелочей». Константинопольский еврей продавал зеркала, которые могли бы заинтересовать Босковича как отражатели для его астрономических или геодезических приборов. На страницах дневника уже проступает образ этнографического смешения в Болгарии, еще более интересного, чем смешение коз и овец в одном стаде. 10 июня в Счиаликаваке Боскович насчитал 200 болгарских и 50 турецких домов: «Болгары сказали нам, что они живут в наилучшем согласии с турками. Заключают они

и смешанные браки». Там были даже цыгане, которые «играли на кое-каких инструментах и заставили плясать мальчика и девочку»⁸⁷.

13 июня из 300 домов в Енибазаре, «городе, где вперемешку живут турки и христиане», Боскович насчитал 50, принадлежавших болгарским христианам, хотя сам остановился на ночлег у валашской семьи. Здесь тоже царило религиозное невежество: «Расспрашивая различных христиан в этом городе, я ясно увидел, что они были христианами лишь по имени и в силу обряда крещения, не зная, как и многие в этом несчастном краю, ничего, кроме крестного знамения, даже “Отче наш”»⁸⁸. Уже вооруженный готовыми обобщениями, Боскович 15 июля попал в Кослидже, «большое селение, насчитывающее 200 христианских домов и 300 турецких». Путешественники остановились в христианских домах, оказавшихся вполне сносными по сравнению с «болгарским обычаем и нищетой этих краев». Боскович читал книгу, когда его посетил православный священник: «У меня в руках был Светоний, которого я читал, чтобы развлечь себя». Боскович смог общаться с гостем «с помощью моих познаний в славянском языке», а Светоний помог ему убедиться в невежестве своего собеседника:

О Риме он не знал ничего, как и о Папе и религиозных разногласиях; он спросил меня, есть ли в Риме священники. Не полагаясь на свое понимание, я употребил также нескольких переводчиков, дабы убедиться в подобном невежестве⁸⁹.

Словом, Боскович, лишь отчасти понимавший своих собеседников, опять использовал свои скудные познания в языке, чтобы убедиться в невежестве местных жителей. Удаленность православного священника от цивилизации стала еще очевиднее, когда тот удивился, что у Босковича и Портера нет бород. «Он спросил меня, — сообщил иезуит, — не наложил ли на меня кто-нибудь епитимью, приказав сбрить ее в качестве наказания, и был поражен, услышав, что в наших краях это в обычае»⁹⁰. Боскович глядел на все глазами Англии и Италии, противопоставляя «болгарский обычай» обычаю «наших краев».

19 июня путешественники прибыли в Балтагикиои, «деревню, состоящую из двух групп домов», турецкой и болгарской. Поговорив с болгарам, они узнали, что «их часть уже издав-

на была довольно здоровой, что в турецкой части бывали смертельные случаи; вероятно, это была чума»⁹¹. Не без опасения путешественники отправились в дорогу и 21 июня достигли Дуная, разделявшего Болгарию и Молдавию. Эта граница поставила перед ними новые лингвистические, этнографические и географические проблемы.

Теперь Боскович встретил людей, которые «говорили на валашском языке, довольно непохожем на болгарский». Болгарский он мог понимать благодаря проведенному в Далмации детству; у него были все предпосылки одолеть и румынский, на котором говорили в Молдавии и Валахии, так как, по его собственному наблюдению, валашский был «смесью разных языков, по большей части итальянского и латыни». С четырнадцати лет (сейчас ему был пятьдесят один) Боскович жил в Италии; его латынь была безупречной, поскольку именно на ней он писал свои научные трактаты, не говоря уже об эпической поэме, посвященной солнечным затмениям. Однако в румынском он преуспел гораздо меньше, чем в болгарском. Прибыв 29 июня в Пучен, он заметил, что дома там «едва ли лучше, чем в Болгарии», и обратился к местным православным священникам за дальнейшей информацией: «Молдаване по происхождению, они говорят только по-молдавански, так что я не мог понимать их или изъясняться сам». Он мог лишь исследовать составные части языковой «смеси», на которой они говорили, обнаружив, что она состояла не только из итальянского и латыни, но также и «отчасти из славянского языка и турецкого». То же самое слово определяло и его первые впечатления по пересечении Дуная, поскольку население Молдавии представляло собой «смешение выходцев из стольких разных земель»; Босковичу, высчитывавшему этнический состав болгарских деревень, пришлось теперь забыть о своих математических склонностях. Такую же неразбериху он обнаружил и на самом высшем уровне, где его сбили с толку турецкое господство над Молдавией и ее греческий господарь, подчинение православной церкви константинопольскому патриарху и покровительство, оказываемое Польшей католическому меньшинству. Тем не менее, расположившись на постой, Боскович воочию убедился, что он теперь чуть ближе к цивилизации. По дороге в Яссы путешественники провели ночь в монастыре, и хотя он показался им «бедным в сравнении со зданиями в бо-

лее развитых европейских землях», он был «великолепен, рядом с домами, а скорее, хижинами болгарских деревень»⁹². Боскович полагал, что «неразвитые» европейские области можно расположить на относительной шкале отсутствия цивилизации.

Славянское происхождение Босковича помогло ему провести соответствующие измерения, и, находясь на берегах Дуная, он сделал этимологические наблюдения, позволившие забыть о Молдавии и связать Болгарию прямо с Польшей. Узнав, что турецкий губернатор Болгарии звался Али-ага Воевода, он объяснил, что «Воевода есть славянское слово» и что «в Польше губернаторы называют себя воеводами». Обнаружив на маленьком дунайском островке деревню под названием Мокрова, он заметил, что «*мокro* на славянском языке означает *влажно*». В Молдавии он обратил внимание на использование славянского слова «*miasto*», «которым здесь, как и в Польше, называют города». Речь шла о городе под названием Бырлад, который, по мнению Босковича, был просто деревней; в Бырладе связь с Польшей подчеркивалась и присутствием евреев: «они разгуливают, как в Польше, в неких длинных черных одеяниях». Боскович также выяснил, что за несколько лет до того город был разграблен и разорен татарами⁹³. Таким образом, его восприимчивость к славянским словам помогла Босковичу разобраться в своих впечатлениях и создать ощущение непрерывности, связывающее воедино его путешествие из Болгарии в Молдавию и далее в Польшу.

Молдавия показалась Босковичу «чрезвычайно красивой», но заброшенной и неводеланной, «подобно пустыне». Однажды путешественники увидели в отдалении всадника, но он скрылся, едва завидев их, опасаясь, что турецкий эскорт отберет его лошадь (именно это турки и собирались сделать). Боскович узнал, что греки-фанариоты, занимавшие пост молдавских господарей, покупали свою должность в Константинополе, а затем старались возместить расходы «любым способом, грабя, вымогая, отнимая имущество» у своих подданных. Верный сын века Просвещения, Боскович возмущился «жестокому деспотизму» в «угнетенной стране». Тем не менее он был польщен, когда господарь Григорий Калимаки лично пригласил его в гости: «...он сказал, что уже знал меня понаслышке и что ему очень приятно узнать о моем проезде через Яссы». Господарь

почтил заезжую знаменитость, предложив Босковичу кофе и сладости. «Я был искренне удивлен, — писал Боскович, — никоим образом не ожидая такой изысканности в подобном краю», не предполагая, что «литератор» вроде него мог рассчитывать на «отличный прием в краю невежества и варварства»⁹⁴. Приятная неожиданность подразумевала, что Молдавия связана с Литературной республикой и там почитают ее светил.

Такая, второсортная, причастность к цивилизации была еще очевиднее в Польше, как ее увидел Боскович. На польской Украине он оказался почетным гостем Станислава Понятовского, чьи владения были отделены от османской Молдавии лишь Днестром. Его сыну Станиславу Августу было суждено стать следующим королем Польши, но Боскович превозносил отца, «чей гений известен всей Европе». Такой репутацией Понятовский обязан «Карлу XII» Вольтера, бывшему настоящей библией во всем, что касалось Восточной Европы; помимо прочего, в этом сочинении описывались военные и дипломатические достижения Станислава на службе у шведского короля в начале столетия. Теперь же Боскович восхищался образцовым городом под названием Залешик, который Понятовский возвел в своих владениях. Апартаменты Босковича в недостроенном дворце были «наудобнейшим помещением, меблированным согласно обычаям развитых европейских стран, до которых мы наконец добрались и где мы вновь свободно вздохнули после столь далеко простиравшегося отсталого варварства». Османская Европа была «неразвитым» краем, но и Польша тоже еще не принадлежала к «развитым европейским странам». Боскович отметил немецких колонистов, выписанных с целью «поощрить многие искусства и ремесла, которые в Польше пребывают в чрезвычайном забвении». Очевидно, что для Босковича Залешик олицетворял лишь возможность развития цивилизации в Польше, и эта возможность, даже более чем прямая убежденность в варварстве местных жителей, определяла в XVIII веке представления о Восточной Европе. Тем не менее, сообщая, что за ужином во дворце он встретил «всех развитых людей, какие только имелись в округе», их «развитие» Боскович оценивал весьма критически⁹⁵.

Споткнувшись в Болгарии на грубой лестнице, Боскович прохромал через всю Восточную Европу и ко времени своего приезда в Польшу был уже серьезно обеспокоен: «Моя нога



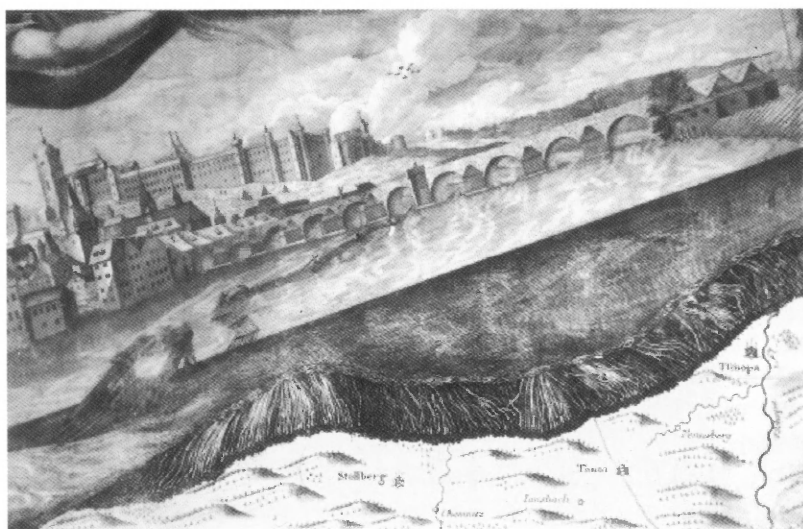
Деталь карты: *Mapra geographica regni Bohemiae...* — s. l., 1720



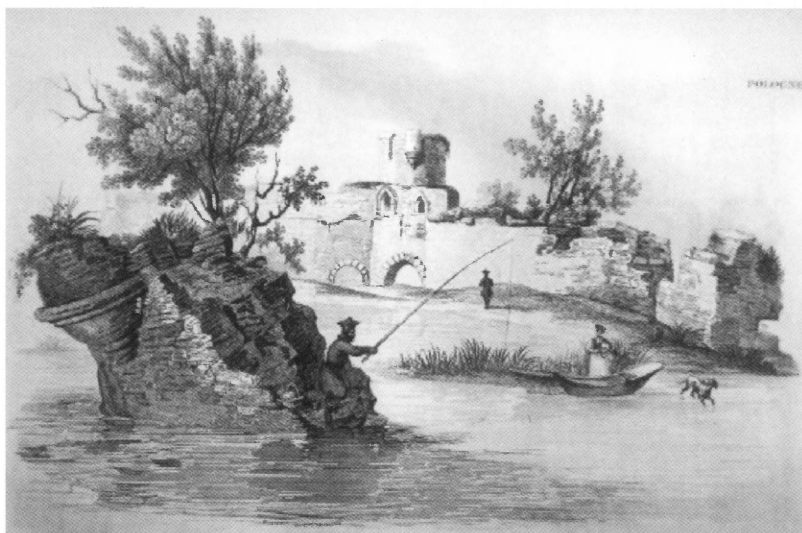
Карта Московии или Великой России
В: Homann J. *Atlas novus terrarum orbis imperia...* — 1752



Карта Украины
В: Homann J. Atlas novus terrarum orbis imperia... — 1752

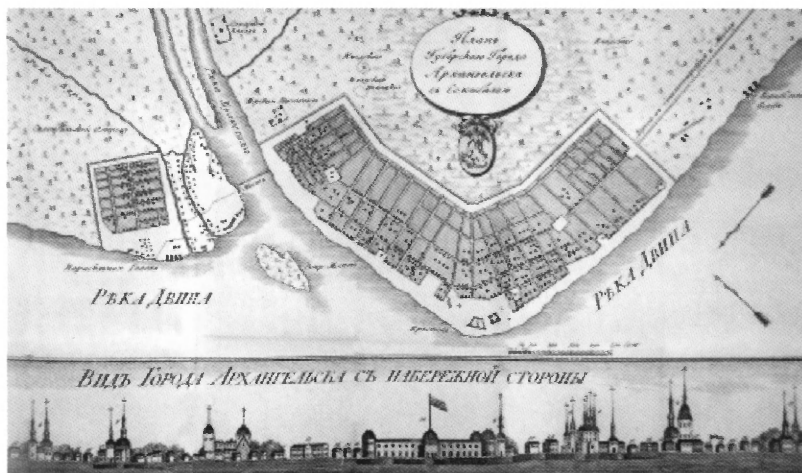


Вид Праги: Градчаны и Карлов мост
Деталь карты: Марра geographica regni Bohemiae... — s. l., 1720



Вид Каунаса

Ил. в кн.: La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque. — T.I. — Paris, 1836—1837



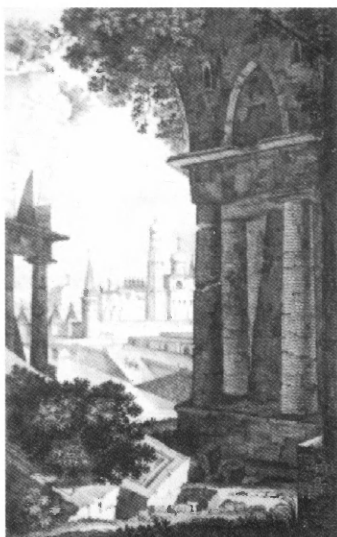
«Вид города Архангельска с набережной стороны»

Ил. в кн.: Молчанов К. Описание Архангельской губернии. — Спб., 1813



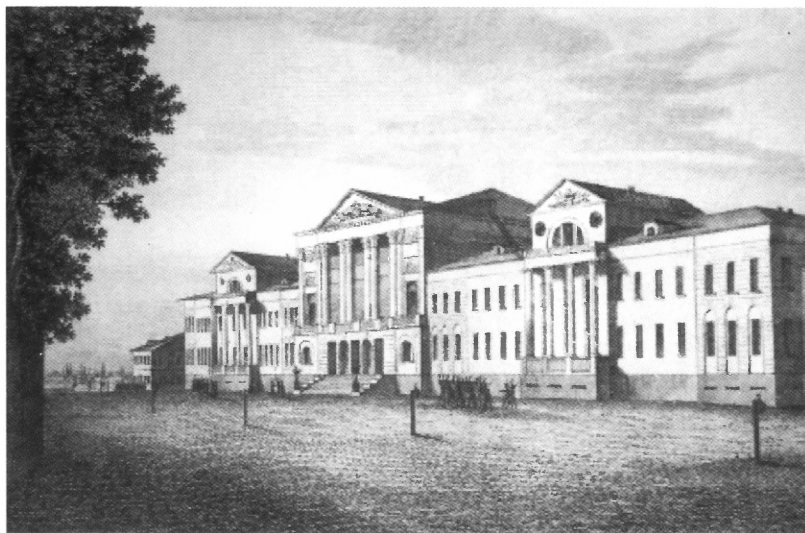
Поляк

Ил. в кн.: Maréchal N.S.
Costumes civils actuels
de tous les peuples connus... —
T. 3. — Paris, 1788



Вид на Кремль

Ил. в кн.: Лекуант де Лаво Г.
Путеводитель в Москве. —
М., 1824



Военный госпиталь

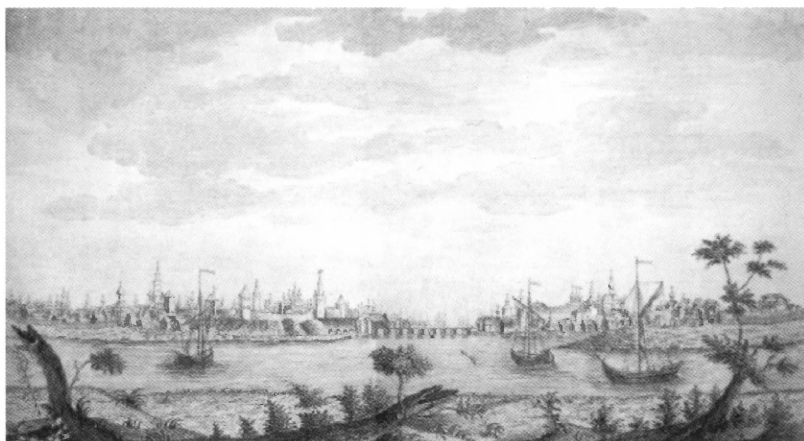
Ил. в кн.: Лекуант де Лаво Г. Путеводитель в Москве. — М., 1824



«Вид Баклани» — (Баклань — село, расположенное на реке Судости в Черниговской губ. в 25 км от Почепа.).
Ил. в кн.: Гунн О. Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию. — М., 1806



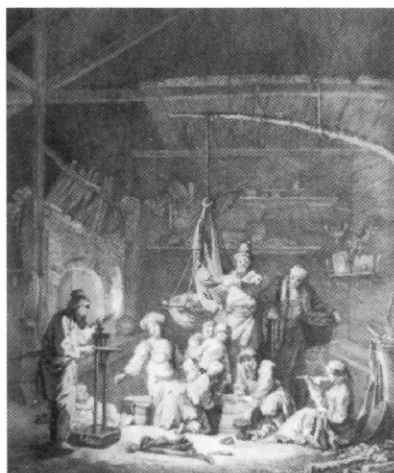
«Русские: сбивенщик, трубочист и колбасник»
Ил. в кн.: Галерея света, или Собрание эстампов с изображением различных обитающих на земле народов. — Спб., 1816



Вид Новгорода

Ил. в кн.: Максимович Л.М., Шекатов А.

Словарь географический Российского государства. — Ч. 4, М., 1803



Русский ужин

Ил. в кн.: Chappe d'Auteroche J.
Voyage en Sibérie, fait par ordre
du roi en 1761... — T.I. —
Paris, 1768



Наказание кнутом

Ил. в кн.: Chappe d'Auteroche J.
Voyage en Sibérie, fait par ordre
du roi en 1761... — T.I. —
Paris, 1768



Русские сани

Ил. в кн.: Chappe d'Auteroche J. Voyage en Sibérie, fait par ordre du roi en 1761... — T.1. — Paris, 1768



«Семик»

Ил. в кн.: Свиньин П.П. Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей. — Спб, 1816. Семик — праздник, сочетавший традиции «славянского язычества» и православия (праздновался за три дня до Троицы, сопровождался народными гуляниями, хороводами, завиванием венков).



Каменец Подольский

Ил. в кн.: *La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque*. — T.2. — Paris, 1836—1837



Замок в Луцке на Волыни

Ил. в кн.: *La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque*. — T.2. — Paris, 1836—1837



«Дом боярский в Крайове»
 (Крайова — город в Малой Валахии, Румыния)
 Титульный лист в кн.: Бантыш-Каменский Д.Н. Путешествие
 в Молдавию, Валахию и Сербию Д.Б.К. — М., 1810



«Шведская могила» (совместное захоронение русских
 и шведских воинов под Полтавой)
 Ил. в кн.: Бантыш-Каменский Д.Н. Путешествие в Молдавию,
 Валахию и Сербию Д.Б.К. — М., 1810



Валашская женщина

Ил. в кн.: Maréchal N.S. Costumes
civils actuels de tous les peuples
connus... — Т. 4. — Paris, 1788



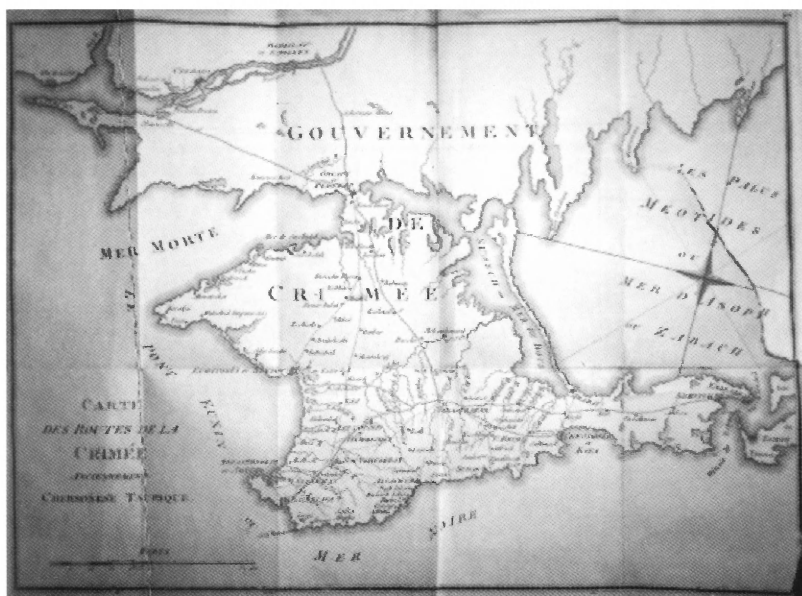
Болгарин

Ил. в кн.: Maréchal N.S. Costumes
civils actuels de tous les peuples
connus... — Т. 1. — Paris, 1788



Венгр

Ил. в кн.: Maréchal N.S. Costumes
civils actuels de tous les peuples
connus... — Т. 1. — Paris, 1788



Карта Крыма

Ил. в кн.: Craven E. Voyage en Crimée et à Constantinople, en 1786. — London, 1789



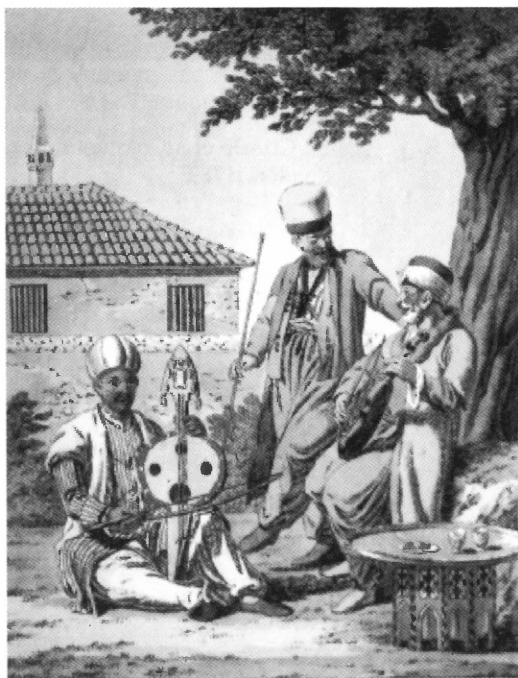
Севастопольская бухта

Ил. в кн.: Pallas P.S. Observations faites dans un voyage entrepris dans les gouvernements méridionaux de l'empire de Russie dans les années 1793 et 1794. — T. 2. Leipzig, 1801



Вид Бахчисарая

Ил. в кн.: Pallas P.S. Observations faites dans un voyage entrepris dans les gouvernements méridionaux de l'empire de Russie dans les années 1793 et 1794. — Т. 2. Leipzig, 1801



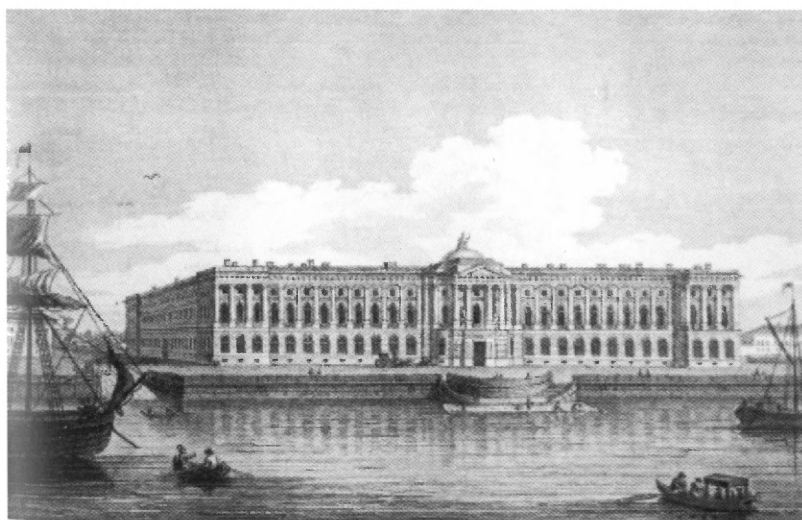
Музыканты: татарин и ногаец

Ил. в кн.: Pallas P.S. Observations faites dans un voyage entrepris dans les gouvernements méridionaux de l'empire de Russie dans les années 1793 et 1794. — Т. 2. Leipzig, 1801



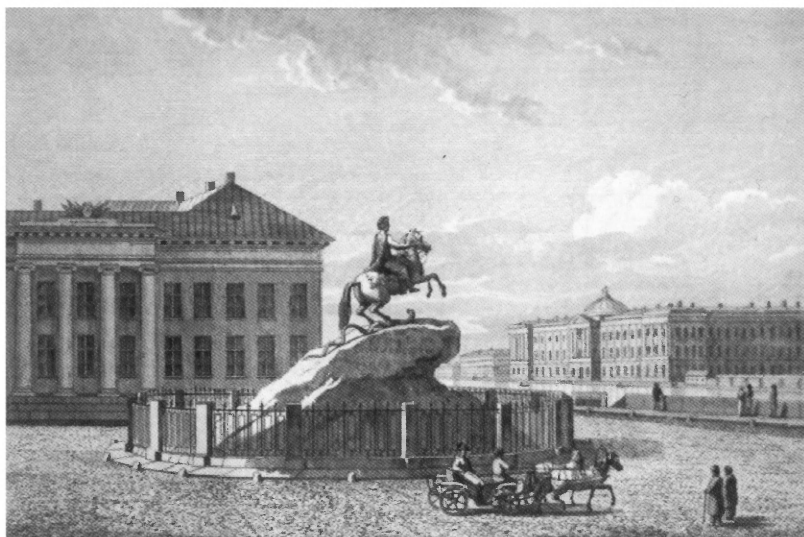
Морлаки

Ил. в кн.: Fortis A. Travels into Dalmatia... — London, 1778



Академия свободных художеств

Ил. в кн.: Свиньин П.П. Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей. — Спб, 1816



Памятник Петра Великого («Медный Всадник»)
Ил. в кн.: Свиньин П.П. Достопамятности Санктпетербурга
и его окрестностей. — Спб, 1816



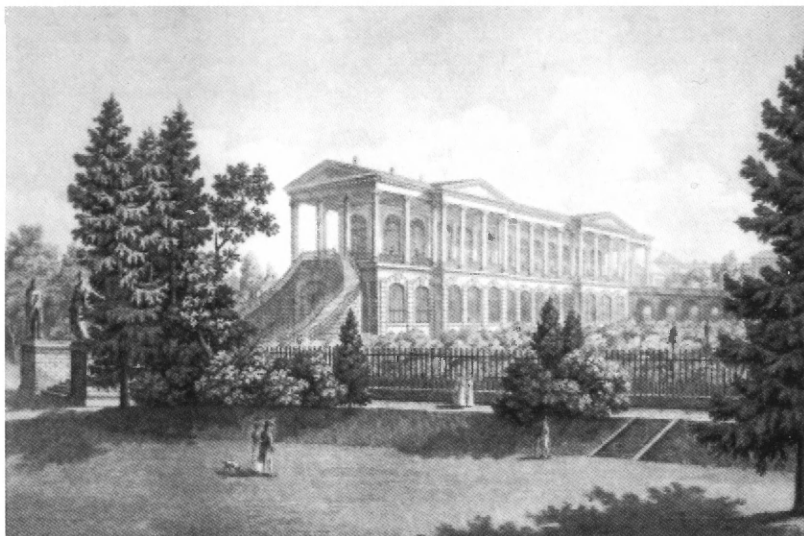
«Вид Казани во время водополюя реки Казанки, к северо-западу»
Ил. в кн.: Максимович Л.М., Шекатов А. Словарь
географический Российского государства. — 4.3, М., 1804



Екатерина II
 Титульный лист в кн.: **Философическая и политическая переписка императрицы Екатерины II с г. Вольтером.** — Спб., 1802



Вольтер
 Ил. в кн.: **Философическая и политическая переписка императрицы Екатерины II с г. Вольтером.** — Спб., 1802



«Камеронова колоннада в Царском селе»
Ил. в кн.: Свиньин П.П. Достопамятности Санктпетербурга
и его окрестностей. — Спб, 1816.



Аллегория Франции, Священной Римской империи, Польши
и России с маршрутом поездки автора в Сибирь.
Ил. в кн.: Chappe d'Auteroche J. Voyage en Sibérie, fait par ordre
du roi en 1761... — T.1. — Paris, 1768

становилась все хуже и хуже, и на ране начало выделяться какое-то черное вещество, вызвавшее подозрения на гангрену». Затем уже в Залешике рассеянный профессор свалился в «не-что вроде большого колодца», имевшего какое-то отношение к местной образцовой мануфактуре. Это добавило к старой ране еще и ушиб икры, так что Боскович теперь почти не мог ходить. Его поскорее отвезли в иезуитскую коллегию в Каменец-Подольский, где среди своих братьев по ордену он надеялся получить квалифицированную медицинскую помощь.

Мои собратья, одного из которых я знал еще в Риме, уделили мне всевозможное внимание, но, поскольку там не было ни хорошего доктора (он был в отъезде), ни хорошего хирурга, я, к своему величайшему несчастью, попал в руки чрезвычайно невежественного человека, который все совершенно испортил, вызвав также внутреннее нарушение, причинив мне воспаление крови и жестокую лихорадку⁹⁶.

Словом, Босковичу пришлось отказаться от поездки в Санкт-Петербург и провести некоторое время в Варшаве, восстанавливая силы. Разочарование в надежде найти в Каменце хорошего доктора лишь подвело итог путешествию, во время которого его собственные жалобы вместе с постоянными слухами о чуме превратили Восточную Европу в территорию бедствий и болезней, не сдерживаемых никакой медициной. «Но даже и там», еще в Болгарии, философски заметил Боскович, «больные могут поправиться, а могут и умереть, и люди, как и везде, стареют»⁹⁷.

Однако последнее слово о восточноевропейских болезнях осталось за миссис Портер, которая «с безразличием» бросила несчастного Босковича в Залешике («Саличик» в ее написании), несмотря на возможную гангрену, и покинула владения Понятовских, отправившись осматривать поместья семьи Чарторыйских:

Обычно, выходя из кареты, я попадала в вестибюль, полный мелких дворян, бывших домочадцами или вассалами князя, одетых в очень идущие им польские костюмы. Приближаясь ко мне, они склонялись на одно колено, поднося подол моего платья к своим губам или ко лбу, целовали его и желали мне благоденствия. Среди них иногда попадались некоторые с польским колтуном, бичом этой страны. Один из симптомов, кажется, это кровь, сочащаяся из основания волос⁹⁸.

Эта сцена очень ярко отражала отношения между Западной Европой и Европой Восточной. Голландская дама стояла, пока коленопреклоненные поляки целовали ее платье в знак почтения, которое легко можно было принять за выражение покорности. Пока они склонялись перед ней, она пользовалась случаем, чтобы изучить их волосы на предмет пресловутого колтуна. Эта болезнь даже больше, чем «очень идущие им польские костюмы», выдавала в них поляков, подтверждая их варварскую сущность медицинскими фактами, — варварство было кровью начертано на их головах. В данном случае западноевропейский взор выказывал непревзойденные чудеса проницательности, и анализ цивилизационный оказывался неотличим от анализа клинического. В конце концов миссис Портер добралась до Голландии: «Мне казалось, что я в раю, так я обрадовалась, попав в Голландию, — я восхищалась окружавшей меня чистотой, и тем более поражалась ей, что провела много месяцев в краю, находящемся в состоянии совершенно противоположном».

В Варшаве Боскович гостил у Понятовского-младшего, будущего короля, и настолько заинтересовался польскими делами, что написал «*Essai politique sur la Pologne*», изданное в Париже в 1764 году, в тот самый год, когда в Польше выбирали нового короля. К тому времени Боскович уже вернулся в Рим, издав там технический трактат об осушении Понтинских болот. В тот же самый год он переехал в Милан, основав и возглавив там новую астрономическую обсерваторию, снабженную новейшими инструментами. Завистливые собраты-ученые начали строить против него козни, и в 1773 году обвинения в завышенных затратах вынудили его уйти в отставку. В тот же несчастливый для Босковича год папа распустил орден иезуитов, с которым он себя отождествлял, и ученый остался «почти сиротой»⁹⁹. Следующие десять лет он провел в Париже, занимаясь исследованиями по заказу королевского флота и издав французский перевод своей поэмы («*Les Eclipses*») с посвящением своему новому покровителю Людовику XVI. В 1782 году он вернулся в Италию, чтобы следить за изданием в 1784 году своего собрания сочинений, включавшего и «Дневник путешествия из Константинополя через Польшу».

Это описание Юго-Восточной Европы вносило существенные поправки в географические представления середины XVIII столетия. Напечатанная в 1743 году и переизданная в

1777-м карта Хасса все еще изображала Болгарию, Молдавию, Валахию и Сербию в составе огромной «Венгерии». На туристической карте 1744 года, напечатанной под названием «Путешествие датчанина», европейские маршруты шли только до Вены, а в пустующем юго-восточном углу взамен географических объектов помещались изображения гор и шатров¹⁰⁰. Подчеркивая лингвистическую и религиозную подоплеку этничности, отчет Босковича предлагал более изощренный подход к картографированию Восточной Европы.

Вполне возможно, что поездка Босковича не прошла для него бесследно. Ощукая себя славянином, он обратился в 1768 году в Милане к австрийскому наместнику Ломбардии, протестуя против неверного написания своего имени в каталоге библиотеки Падуанского университета, где он значился как «Босковик». Не теряя интереса к необычным народам, он в 1785 году писал о существовании жизни на других планетах:

Огромное пространство между нами и звездами гораздо более населено, чем это можно себе представить. Один Господь ведает, сколь многое — и какие именно виды; возможно, нечто из рода кротов, которым не нужен свет, — вмещает то пространство, кажущееся нам огромным по нашей собственной невообразимой крошечности, но способное вместить множества существ, не только подобных нам, но и гораздо большего размера¹⁰¹.

В «Atlas Universel» оттоманскую Европу изображали краем кромешной тьмы, которого не достиг еще «свет» научной географии, так что тамошние народы были тоже «из рода кротов». К 1785 году Боскович уже страдал от умственного расстройства, проявлявшегося самым различным образом, от меланхолии до навязчивых идей, бреда и попытки самоубийства. В 1787 году он умер. Памятником этому астроному и географу стало его собственное имя, которое теперь носит не какая-нибудь болгарская деревушка, а лунный кратер.

«В Азии и в Европе»

Сам Боскович признавал, что написал лишь «краткий отчет» о путешествии, и упоминал о важности «создания более полного и в целом более полезного сочинения». Это характерное для XVIII века стремление к полноте знаний наиболее ярко

отразилось в «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера, последние тома которой готовились к публикации, как раз пока Боскович путешествовал по Восточной Европе. В ее основе лежало убеждение, что теперь, в XVIII веке, все области человеческого знания от «А» до «Я» можно подвергнуть пересмотру на новой, рациональной основе. Земли Восточной Европы, рассматриваемые обычно в качестве *географических* объектов, были рассыпаны по всем семнадцати томам «Энциклопедии», но, вместе взятые, эти статьи представляли собой кодекс сведений о Восточной Европе, доступных в середине столетия.

Первый том, вышедший в 1751 году, среди прочих статей на букву «А» повествовал об «Agnus Scythicus», пресловутом скифском ягненке, полуовоще, полуживотном, одном из чудес русской природы; энциклопедисты отнеслись к его существованию очень скептически и использовали его как повод, чтобы высмеять религиозные суеверия¹⁰². Во втором томе, изданном в 1752 году, собственно землям Восточной Европы уделялось очень мало внимания: им были посвящены лишь две статьи на букву «Б»: «Богемия» и «Болгария». За каждым объяснявшимся в «Энциклопедии» термином следовало особое сокращение, указывавшее область знаний, к которой он принадлежал; в данном случае это была география: «BOHEME (Géog.) royaume de l'Europe», королевство в Европе. Далее в одном коротком абзаце упоминались столица Богемии (Прага), плодородная почва, рудоносные шахты этого края и преуспевающие стекольные мануфактуры. В заключение подводился итог политическому устройству, национальному характеру и этническому составу: «Это королевство принадлежит австрийскому дому. Богемцы очень трудолюбивы; их язык представляет собой разновидность славянского (*l'Esclavon*)»¹⁰³. Статья о Болгарии была столь же короткой, однако любопытным образом речь здесь шла о двух различных географических объектах. С одной стороны, «BULGARIE (la grande)» была «азиатской областью в русской Татарии», с другой — «BULGARIE (la petite)» — «турецкой провинцией в Европе»¹⁰⁴. Описывая Болгарию исключительно как географический объект, «Энциклопедия» смогла поместить ее одновременно и в Азии, и в Европе; азиатская составляющая была частью Российской империи и управлялась потому из Европы, а европейская часть, входив-

шая в состав Османской империи, управлялась соответственно из Азии. Болгария, как и полагалось восточноевропейской стране, в географическом отношении находилась между Азией и Европой.

Эта географическая стратегия набрала полную силу в гораздо более пространной статье о Венгрии — «обширной области в Азии и в Европе», — появившейся в восьмом томе «Энциклопедии». Тома с восьмого по семнадцатый вышли в 1765 году под фиктивной маркой швейцарского издателя, в попытке обойти таким образом королевский эдикт 1759 года, запрещавший их публикацию во Франции. Пространные статьи о Венгрии, Польше, России и Татарии, появившиеся в томах восьмом, двенадцатом, четырнадцатом и пятнадцатом соответственно, обладали известным концептуальным единством благодаря тому, что вышли из-под пера одного и того же автора, вечного энциклопедиста, шевалье Луи де Жакура. Просматривая стопку вышедших в 1765 году томов, Вольтер заметил, что «на три четверти их написал шевалье де Жакур». Собственный вклад Вольтера был более скромным, но все равно немалым — он написал около четверти всей «Энциклопедии». Француз, получивший образование в Женеве, Лейдене и Кембридже, де Жакур в своих статьях затронул все основные темы западноевропейского Просвещения. Хотя сам он больше всего интересовался медициной и естественными науками, Жакур брался за статьи на всевозможные темы; подобную всеядность не всегда одобряли его коллеги-энциклопедисты. Дидро, который должен был быть признателен де Жакуру за написание четвертой части всей «Энциклопедии», заметил: «Шевалье де Жакур? — Не бойтесь, что ему наскучит вымучивать из себя статьи; он для этого предназначен самим богом». Гримм выразился в том же духе: «Огромное число всевозможных статей, включая и самые важнейшие, были предоставлены заботам шевалье де Жакура, человека крайнего усердия и неистребимого трудолюбия, но безжалостного компилятора, который лишь собирал фрагменты из книг, как самых известных, так и весьма посредственных»¹⁰⁵. Подобный метод компиляции гарантировал, что статьи отражали стандартные для XVIII века воззрения: помещая Венгрию «в Азии и в Европе», де Жакур не следовал лишь собственным предрассудкам.

На самом деле такое восприятие Венгрии в «Энциклопедии» было совершенно аналогичным разделению Болгарии на две составные части. В обоих случаях, когда современная география помещала некую область на карте Европы (хотя и Восточной), «Энциклопедия» ссылалась на географию античную, чтобы показать связь этой области с ее азиатской предшественницей.

Азиатская Венгрия, или Великая Венгрия, была в древности родиной гуннов, или венгров, которые переместились в Европу в эпоху упадка Римской империи: г-н Делиль помещает ее к востоку от Азиатской Болгарии ... Валахия располагалась к югу от Венгрии; таким образом, три народа, болгары, венгры и валахи, были соседями в Азии, подобно тому как сейчас они соседствуют в Европе¹⁰⁶.

Здесь смежное расположение, связывающее воедино земли Восточной Европы, становится почти географически предначертанной судьбой. Если Венгрию, Болгарию и Валахию на карте Европы иногда закрашивали одним цветом, причиной тому была не только их недавняя принадлежность Османской империи, но и их общие азиатские корни. Древние азиатские государства аккуратно перенесли на карту современной Европы вместе с народами, которые «переместились в Европу» и воссоздали там свои старые географические соотношения.

Средневековую Венгрию описывали через ее составные части, таким образом еще более подчеркивая исторические связи между различными областями Восточной Европы.

Венгерская монархия включала в начале XIV столетия собственно Венгрию, Трансильванию, Молдавию, Валахию, Хорватию, Боснию, Далмацию и Сербию; но распространением своих пределов в те времена она напоминала море, которое иногда вскипает и выходит из берегов лишь за тем, чтобы вскоре туда вернуться. Успехи османского оружия необычайно сократили размеры этой монархии, и от нее были отделены целые провинции, хотя, по Пассаровицкому мирному договору, император возвратил некоторые части Валахии, Болгарии, Сербии и Хорватии¹⁰⁷.

Восточная Европа походила на море, где переменчивые границы двигались вслед за приливами и отливами. В конце концов этим странам удалось избежать поглощения как Европой, так и Востоком, и ни энциклопедисты, ни географы не могли с уверенностью указать их постоянное положение.

Слепо следуя стереотипам своего времени, де Жакур вполне мог ошибаться. «Венгерский язык является разновидностью славянского, — совершенно ошибочно утверждал он, — и потому отчасти связан с языками Богемии, Польши и России»¹⁰⁸. Принадлежа к угрофинской языковой семье, венгерский язык не имел совершенно никакого отношения к чешскому, польскому или русскому, и эта ошибка показывает не только наличие погрешностей в самой «Энциклопедии», но и интеллектуальную притягательность формирующейся концепции Восточной Европы. Одной страны было вполне достаточно, чтобы вызвать в воображении образ всего региона. Венгрия, как ее изображала «Энциклопедия», была географически неотделима от Болгарии с Валахией и лингвистически сливалась с Богемией, Польшей и Россией.

Связь между Венгрией и Польшей становилась еще более очевидной, когда речь зашла о политическом устройстве и социальной структуре: «Некогда в Венгрии существовало самоуправление, как сейчас в Польше; она выбирала своих королей и свой сейм». Более того, «дворяне имели те же права, что и в Польше», особенно над своими крестьянами, поскольку «население находилось, и по-прежнему находится, в рабстве»¹⁰⁹. Венгрия и Польша вновь упоминались вместе, когда речь зашла о царствовании Людовика Великого в XIV веке, который под конец правил обоими королевствами: «Его подданные по достоинству называли его Великим; однако он был почти неизвестен в Европе; он правил людьми, которые не умели известить о его славе другие народы». Это противопоставление Польши и Венгрии, с одной стороны, и Европы — с другой, было основано на соотношении известных и неизвестных земель, поддерживаемом Просвещением на протяжении всего столетия. Цитируя Вольтера, полагавшего, что венгры не способны распорядиться природными богатствами своей страны, де Жакур становился на сторону уже устоявшихся представлений эпохи Просвещения.

Напрасно, говорит г-н де Вольтер, природа поместила в этой земле золотые и серебряные копи, а также подлинные сокровища, нивы и виноградники; напрасно она поместила там людей сильных, крепких, одухотворенных! Там не видишь почти ничего, кроме пустыни¹¹⁰.

Жакур (скорее всего, никогда не *видевший* Венгрии) цитировал Вольтера (который тоже никогда не *видел* Венгрии) в доказательство того, что в Польше не *видишь* ничего, кроме пустыни. Взор Просвещения показывал здесь чудеса своей проницательности. Упоминание пропадающих без пользы природных богатств и нетронутых сокровищ наводило на мысль о необходимости более эффективного хозяйствования, и де Жакур завершал свой текст обильными восхвалениями Марии-Терезии из дома Габсбургов, «властительницы сердец» и властительницы Венгрии. Не упоминая прямо неудобного теперь имени Ракоши, французская «Энциклопедия», в соответствии с духом нового дипломатического союза 1756 года, подтверждала принадлежность Венгрии империи Габсбургов¹¹¹.

Описание Польши в «Энциклопедии» начиналось небольшой статьей о «географии» этого «обширного европейского королевства», за которым следовал более пространный рассказ о его «истории и образе правления». Де Жакур обещал, что «общая картина» Польши — «ее очерк, который я собираюсь набросать» — будет «полезной», стимулируя политические и философские дискуссии; в качестве своего основного источника он отсылал читателей к «Истории Яна Собеского» Койе¹¹². Эту книгу восприняли очень неоднозначно, поскольку сочувственное описание в ней польских республиканских установлений, основанное на реформаторском манифесте Станислава Лещинского, выглядело довольно революционным в монархической Франции времен Людовика XV. Однако, хотя де Жакур прибегал к обширным заимствованиям из Койе и хвалил Лещинского, его собственные замечания о политической системе в Польше были вполне критическими. Он восхищался «величественным зрелищем» польского сейма, которого он, скорее всего, никогда и не видел, — но, как и следовало ожидать, осуждал пресловутое право вето, которым обладал каждый шляхтич; это право, «если иногда и приносит несколько пользы, все равно причиняет больше вреда». В целом же, по его заключению, «это королевство на севере Европы столь неудачно использует свою вольность и право избирать себе короля, что его пример, как кажется, служит утешением тем соседним народам, которые потеряли оба эти преимущества». Де Жакур отзывался еще более уничижительно о крепостном праве в Польше, сравнивая его с азиатским рабством. В своем описа-

нии он создал образ «обнаженных детей, которые страдают от тягот холодного климата, в одном помещении с домашними животными» и сожалел о рабах, которым неизвестны слова «мое поле, мои дети, моя жена». Де Жакур задавался вопросом, что раньше приведет к падению Польши, «крайности рабства» или «излишки вольности»¹¹³.

Поляки, «когда они еще были сарматами», повелевали огромной державой, простиравшейся от Дона до Вислы, от Черного моря до Балтики, то есть включавшей в себя всю Восточную Европу, даже Богемию. Де Жакур объяснял создание этой империи «дикими инстинктами» этого «варварского народа». Поляки, однако, не смогли сохранить «наследие» своих сарматских предков, и постепенно их владения свелись к границам современной Польши. Представление о Польше как о государстве с постоянно уменьшающейся территорией, о польской истории как о процессе непрерывного сокращения указывало на географические последствия «истории и образа правления», подготавливая читателей к событиям грядущих десятилетий, когда в результате разделов Польша исчезла с карты. Вполне возможно, что география и образ правления Польши описывались в двух разных статьях именно потому, что она уже представлялась автору примером неудачного государственного устройства, лишенным географического выражения. Подобно тому как поляки утратили империю своих сарматских предков, они не смогли сохранить черты характера этих древних варваров: «поляки напоминают своих сарматских предков менее, чем татары напоминают своих прародителей». Однако де Жакур преподносил это различие в духе Руссо, как перемену к худшему: «Они забыли простоту и умеренность своих сарматских предков». Он не одобрял, что поляки заимствуют французские моды, «смешивающиеся с восточной роскошью». В отдельном примечании о коронации польских королей де Жакур описывал ее так, как он якобы ее *видел*: «Здесь видишь азиатское великолепие вперемешку с европейским вкусом»¹¹⁴. Именно благодаря такому смешению европейского и восточного, варварства и цивилизации, Польша и принадлежала к Восточной Европе.

В соответствии с антиклерикальным духом «Энциклопедии», обращение Польши в христианство в X веке вовсе не трактовалось как избавление от варварства. Де Жакур описывал

эпоху, когда обращения добивались пыткой, когда евшим в пост мясо вырывали зубы, а прелюбодеев подвешивали на гвозде, вбитом «в орудие их преступления». Если Польша стала впоследствии «раем для евреев» и более терпима в религиозном отношении, чем любая другая европейская страна, это было случайным последствием ее отсталости: «Польша, однако, пребывала в варварстве дольше, чем Испания, Франция, Англия и Германия; это доказывает, что полузнание приносит больше бедствий, чем прямое невежество». Этим перечислением стран подчеркивался контраст между варварством Польши и сомнительной полувцилизированностью Западной Европы. Верность поляков католичеству была еще одним доказательством их отсталости, поскольку «преувеличенная преданность указаниям Рима», то есть «слепое подчинение поляков», объяснялась «сугубым страхом», который они якобы испытывали¹¹⁵.

Подобно Венгрии, Польша осуждалась за небрежение своими природными богатствами: «Природа наделила эту страну всем, что нужно для жизни, — зерном, медом, воском, рыбой, дичью; и всем, что нужно, чтобы разбогатеть, — зерном, пастбищами, скотом, шерстью, кожами, соляными копиями, металлами, минералами; однако в Европе нет народа беднее». Сочетание богатого края и нищего народа символизировало парадоксальное несоответствие общества окружающей среде. Де Жакур описывал недостаток экономического развития как географическую бессмыслицу, когда земля стоит не больше, чем ее абстрактный образ, нанесенный на карту:

И вода, и почва — все призывает здесь к развитию торговли; но торговли не видно. Множество ручьев и живописных рек, Дунай, Буг, Днестр, Висла, Неман, Днепр, служат лишь образами на географической карте. Давно замечено, что не составило бы труда посредством каналов соединить северный океан и Черное море, а с ними и западную и восточную коммерцию; но Польша, неоднократно униженная вражескими флотами, не только не строит купеческие суда, но даже не обзавелась небольшой военной эскадрой¹¹⁶.

Польские реки были лишь линиями на карте, бесполезными для самих поляков, но пробуждающими воображение западноевропейских географов, для которых Восточная Европа неизбежно становилась местом встречи Востока с Западом. Заметим, что возможность посредством рек соединить восток с западом была обманчивой, так как польские реки, по боль-

шей части, текли с юга на север или наоборот. Характерно и то, что «Энциклопедия» допускала элементарную ошибку, предоставляя Польше выход к «северному океану», тогда как на самом деле ее северное побережье омывалось Балтикой. Сколько бы ни называли Польшу северной страной, в ней явно не было ничего арктического.

Возможно, де Жакур смешивал Польшу с Россией, которая только и могла соединить Арктику с Черным морем. Западных наблюдателей в XVIII веке особенно интересовало строительство каналов в России. «Путешествия в России» Кокса содержали «План Вышневолоцкого канала, соединяющего Балтику с Каспием», а также «План Ладожского канала», который должен был связать с Балтикой Белое море¹¹⁷. Существовал и затянувшийся проект Волго-Донского канала, предполагавший в конце концов связать с Балтикой Черное и Каспийское моря. Этот проект был поручен Петром Великим английскому инженеру Джону Перри. На протяжении XVIII века и в Польше, и в России каналостроительные авантюры служили коммерческим отражением самой концепции Восточной Европы, перевода карту ее подчеркнуто восточных областей на язык водных путей, связывающих северные моря с южными.

«Это государство, более обширное, чем Франция, насчитывает лишь пять миллионов жителей», — сообщала «Энциклопедия» о Польше, но, подобно географам, демографы эпохи Просвещения тоже могли ошибаться. На самом деле население Польши было близко к двенадцати миллиону. «Энциклопедия» упорно предлагала всеобъемлющую картину небрежения природными ресурсами и экономической недоразвитости, подчеркивая тем самым тему развития. Де Жакур перечислял недостатки польской культуры: «Здесь нет своих художников, нет театра, архитектура пребывает в младенчестве, история лишена всякого изящества, математика едва развита, серьезная философия почти неизвестна». Оставалась, однако, надежда на развитие по заграничным образцам: «Со временем все вызревает. Возможно, однажды и Польша достигнет всего того, что было доведено до совершенства в другом климате». Образы незрелости и несовершенства помогали описать недоразвитость Восточной Европы по сравнению с Европой Западной. Де Жакур предоставил Марии-Терезии распоряжаться в Венгрии

и заключил статью о Польше призывом найти «великого короля». Описывая такого короля, он цитировал Койе: требовался некто, «кто, видя вокруг плодородную почву, живописные реки, Балтийское и Черное моря, даст своему королевству корабли, мануфактуры, торговлю, финансы и людей», кто, отменив крепостное право, принесет в Польшу «рвение, трудолюбие, искусства, науки, честь и благосостояние»¹¹⁸. В своих действиях такой король будет руководствоваться просвещенческой концепцией польской географии и направит страну на соответствующий курс развития, выводя цивилизационные формы из географических фактов.

«КОНСКОЕ МЯСО И МОЛОКО КОБЫЛИЦ»

Статья о России в четырнадцатом томе «Энциклопедии» отнесена к разделу «современной географии» и начинается с того, что помещает Россию сразу на двух континентах: «обширные земли, образующие великую империю, лежат как в Европе, так и в Азии». Несмотря на это четкое разделение, де Жакур впоследствии описывал Россию в целом как страну одновременно и европейскую, и азиатскую и, несмотря на свою приверженность «современной» географии, почти немедленно обратился к обсуждению древних славян. Ссылаясь на описание России в недавно вышедшем первом томе вольтеровской истории Петра Великого, де Жакур вкратце обозрел провинции империи и назвал Новгород самым ранним поселением древних славян. «Но откуда пришли эти славяне, — вслед за Вольтером задавался он вопросом, — чей язык разнесли они по всему северо-востоку Европы?»¹¹⁹ Ни де Жакур, ни Вольтер не могли ответить на этот вопрос, но вполне значимо помещали современных славян на «северо-востоке Европы», делая шаг в сторону от традиционного образа «Севера», шаг к современной концепции Восточной Европы.

Объясняя историческое значение Петра, де Жакур подчеркивал и идею восточности, опять вторя Вольтеру: «До царствования Петра обычаи, одежда и нравы в России всегда напоминали более Азию, чем христианскую Европу». Де Жакур обнаружил в прошлом и сходство в образе правления России и Турции, сравнивая стрельцов с янычарами и полагая, что

царский титул «произошел скорее от персидских шахов, чем от римских цезарей»¹²⁰. Говоря о коммерции, он отметил, что «русский народ единственный имеет сухопутное сообщение с Китаем»; что же касается общественных бань, то «в России ими пользуются столь же часто, как и в Турции». Петр, однако, смог повернуть Россию лицом к Европе:

В царствование Петра русские люди, которые ценили Европу и жили в больших городах, обрели цивилизованность, склонность к коммерции, интерес к наукам и искусствам, любовь к зрелищам и остроумным новшествам. Великий человек, который затеял все эти перемены, родился, к счастью, в подходящее для них время. Он привил в своих владениях искусства, доведенные до совершенства его соседями. Как оказалось, среди его подданных, уже готовых воспринять их, эти искусства в пятьдесят лет достигли больших успехов, чем где бы то ни было за три или четыре столетия; однако они не пустили еще корней достаточно глубоких, чтобы некоторый период варварства не мог разрушить это прекрасное здание, возведенное в империи малолюдной и управляемой деспотически, никогда не знавшей благотворного воздействия природы¹²¹.

Для России стать цивилизованной означало сделать выбор в пользу Европы, причем заявить о своей приверженности Западу должен был не только Петр, но и весь русский народ. Русских уже ожидали цивилизованные науки и искусства, доведенные до совершенства их соседями. Находившаяся между этими соседями, с одной стороны, и многочисленными азиатскими влияниями — с другой, Восточная Европа делала выбор между продвижением к цивилизации или возвратом к варварству.

Самым мощным источником восточного влияния в России была Татария и населявшие ее татары, которые неизменно описывались как оплот варварства. Век Просвещения мог признать и за Китаем, и за Персией, и за Турцией право на их собственную восточную цивилизованность, но татарам напрасно было ждать подобного снисхождения. Во времена Батые Россия была частью Татарской империи, а в Петровскую эпоху Татария вошла в состав империи Российской; хотя стороны и менялись местами, татарское влияние по-прежнему учитывалось в общем балансе сил Европы и Азии, цивилизации и варварства. Статья де Жакура в пятнадцатом томе о непреходящем варварстве татар была необходимым приложением к его статье о развитии цивилизации в России, помещенной

в томе четырнадцатом. В данном случае география уступила этнографии, и за длинной статьей о татарах следовала лишь короткая заметка о Татарии; и народ, и страна при этом описывались как объекты современной географии. В зависимости от политической принадлежности, Татария разделялась на три части, китайскую, русскую и независимую. Дополнительные примечания упоминали Крымскую Татарию и Малую Татарию; эти термины иногда употреблялись как взаимозаменяемые для обозначения Крымского полуострова и Северного Причерноморья, в отличие от Великой Татарии, которая, подобно другим призрачным царствам древности, Великой Болгарии и Великой Венгрии, располагалась в Азии¹²².

Однако в конце XVII века Великую Татарию все еще можно было найти на карте. В «Новом введении в географию» (1665) Сансона на карте мира «Московия» изображалась как самостоятельное образование между «Европой» на западе и «Великой Татарией» на востоке. «Малая Татария», однако, была обозначена в составе «Турции в Европе»¹²³. Карта Европы Гийома Делиля, напечатанная в Париже в 1700 году, уже различала «Европейскую Московию» и «Азиатскую Московию», по аналогии с «Европейской Турцией» и «Азиатской Турцией». На голландской карте Европы 1712 года Цюрнера у самого края континента появилось слово «Сибирь», в течение столетия постепенно вытеснявшее «Великую Татарию» с карты Северной Азии¹²⁴. Изданные Страленбергом в 1730 году в Стокгольме «Северные и Восточные части Европы и Азии» обещали читателям детальное описание «России, Сибири и Великой Татарии». С изданием в 1768 году в Париже «Путешествия в Сибирь» аббата Жана Шапе д'Отроша Сибирь стала объектом, достойным отдельного описания. Если «Великая Татария» на протяжении XVIII столетия теряла свое значение как географическая концепция, то включавшая Крымский полуостров «Малая Татария» сохранила свое место не только на карте мира, но и на карте Европы. Хотя формально она и зависела от Константинополя, ее часто закрашивали отдельным цветом, например на карте Цюрнера 1712 года. В конце концов, подобно Великой Татарии, превратившейся в Сибирь, Малая Татария стала просто Крымом.

Когда де Жакур сочинял свои статьи для «Энциклопедии», Татария как географический объект была уже не так интересна ему, как татарская нация. Он описал ее как «народ, насе-

ляющий почти всю Северную Азию», забыв на мгновение о его присутствии на юге Европы. За этим, совершенно в духе Линнея, следовала классификация, подразделявшая татар на пятнадцать основных народностей, расположенных в алфавитном порядке. Барабинские татары, например, были приписаны к Великой Татарии, а бугские татары проживали, натурально, в Европе, на западном побережье Черного моря, в устье Дуная. Калмыки не имели «постоянного места жительства, но только войлочные палатки, которые они разбивают и вновь собирают в одно мгновение» на всем пространстве от Монголии до Волги¹²⁵.

Согласно де Жакуру, крымские татары напоминали калмыков, «не будучи при этом столь уродливыми». Они были небольшого роста, крепкого телосложения, со «смуглой кожей, полуоткрытыми свиными глазками, плоским лицом, небольшим ртом, белыми, как слоновая кость, зубами и почти без бород». Де Жакур явно пытался охарактеризовать их как отдельную расу, и характеристика эта выходила не очень лестной. В довершение отталкивающего образа крымских татар оставалось лишь сообщить, что «конское мясо и молоко кобылиц — их любимые лакомства»¹²⁶. Когда Робер де Вагонди издал в 1762 году в Париже свой «Новый карманный атлас», одна из карт, основываясь на цвете кожи, сообщала, что вся Европа населена белой расой, а другая, основываясь на чертах лица, демонстрировала, что обитатели Малой Татарии, с их «плоскими лицами и продолговатыми глазами», с расовой точки зрения отличаются от европейцев¹²⁷. Широко заимствовавший в своей статье о «Разнообразии человеческого рода» из «Естественной истории» Бюффона, де Жакур следовал традиционным представлениям века Просвещения, полагаясь на расовые характеристики, чтобы показать, что, хотя крымские татары и проживают в Европе, они остаются чуждым азиатским народом.

Де Жакур не стал упоминать, что, населяя побережье Каспийского моря вокруг устья Волги, черкесские татары были, таким образом, жителями Европы. Их «язык, обычаи, склонности, даже внешность» выдавали в них татар. Что касается внешности, то они «довольно уродливы», хотя их женщины и признанные красавицы, как это однажды обнаружил Сегюр. Мужчины подвергались обрезанию «и соблюдали другие мусульманские обряды». Дагестанские татары, жившие вдоль Каспия, удостоились титула «самых уродливых из всех му-

сультманских татар». Кожа у них «очень смуглая». Монгольские татары «занимают самую значительную часть Великой Татарии», к востоку от калмыков и вплоть до самого «Азиатского моря». Ногайские татары, жившие на Волге и вдоль Каспия, напоминали дагестанских татар, «за исключением того, что у них морщинистые лица, как у старух». Узбекские татары, располагавшиеся в самом конце списка, помещались в Великой Бухарии, «обширной провинции Великой Татарии»¹²⁸.

Рассматривая историю татар в сравнении с прочими варварами, де Жакур заметил, что покорившие Римскую империю готы принесли с собой монархию и вольность, а татары, где бы они ни появлялись, несли лишь рабство и деспотизм. Тем не менее огромность их завоеваний «поражает наше воображение». Де Жакур полагал «унизительным для человеческой природы, что эти варварские народы покорили почти все наше полушарие», что «этот народ столь злобной внешности» стал «господином вселенной». Он упомянул эпоху Чингисхана, при чем дворе «можно было видеть смешение татарского варварства и азиатской роскоши», а также «колесницы древних скифов, которые и по сию пору употребляются крымскими татарами». Для де Жакура, «видевшего» татар как толпу варваров, поражающих европейское воображение, было вполне естественным расположить их в алфавитном порядке, от башкир до узбеков, изучая соотношение их языков, обычаев, наклонностей и (мерзкой) внешности. Что, однако, трудно было принять, так это их многочисленность в Европе, то есть в Восточной Европе. «Этот обширный источник невежественных, сильных и воинственных людей изрыгает свое содержимое почти по всему нашему полушарию», — писал де Жакур. Он уверял читателей, что татары и сегодня все еще сражаются с луками и стрелами, и потому цивилизация находится в безопасности: «Не стоит более опасаться великих переселений этих народов; цивилизованные нации защищены от варварских набегов»¹²⁹. Однако неверно говорить лишь о вторжениях и набегах извне, поскольку татары живут и в границах Европы, вдоль черноморского и каспийского побережий, в устьях Дуная и Волги. В 1944 году Сталин депортировал 250 тысяч крымских татар, всех до последнего, в Сибирь и Среднюю Азию; сейчас они наконец возвращаются домой, в Крым, в Европу.

Перед тем как обратиться к статье о Польше, Венгрии, России и Татарии, де Жакур написал для шестого тома «Эн-

циклопедии» короткую заметку о европейском континенте. Он не стал давать географическое определение его восточной границы. Хотя Европа и была «самой маленькой среди четырех частей света», она считалась самой важной «благодаря своей торговле, своему судоходству, своему плодородию, своей просвещенности и трудолюбию своих народов, своим познаниям в науках, искусствах, свободных профессиях и, самое главное, благодаря христианству»¹³⁰. В последующих статьях де Жакур писал о различных европейских землях и народах, не дотянувших до установленных им высоких стандартов цивилизованности; для этих стран вышеперечисленные атрибуты европейскости были не самодовольной декларацией собственных успехов, а программой развития. Де Жакуру также пришлось писать статьи и о всех этих странах, расширяя тем самым очертания Европы, как она описывалась в «Энциклопедии». Однако автором статьи «География» в седьмом томе был не он. Ее сочинил Робер де Вогонди вместе со своим отцом, издававшим «Atlas Universel», членом основанной Станиславом Лещинским Академии в Нанси. Среди прочего в его статье упоминался Боскович и составленная им карта папских владений. Упоминался там и Петр Великий, принесший в Россию «науки», в том числе и географию; там упоминался Жозеф Делиль, прибывший в Россию для составления атласа. «Начало нашего столетия, — объявил Робер вполне в духе энциклопедистов, — следует считать временем общего возрождения географии во Франции; и, так сказать, во всех прочих европейских странах, ключ к чему, как мне кажется, предоставило это королевство»¹³¹. География в XVIII веке была тесно связана с наукой подчинения, устанавливая отношения Франции с прочими европейскими странами и Европы с остальным миром. Начиная с атласов и кончая энциклопедиями, география устанавливала границы Восточной Европы и наносила ее карту в сознании века Просвещения.

¹ *Voltaire*. Histoire de Charles XII (Paris: Garnier-Flammarion, 1968). P. 13; *Harley J.B.* Maps, Knowledge, and Power. The Iconography of Landscape: Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments, ed. Denis Cosgrove and Stephen Daniels (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). P. 277—312.

² *Sanson Nicolas*. Nouvelle introduction à la Geographie pour l'usage de Monseigneur le Dauphin: Par laquelle on apprendre en peu de temps et avec

facilité la Geographie, et la Division de toutes les parties du Monde: les Empires, les Monarchies, Royaumes et Etats qui le composent separament. Paris: Chez Hubert Jaillot, 1696. P. 25.

³ *Bagrow Leo*. History of Cartography. 2nd ed. Ed. R.A. Scelton. Trans. D.L. Paisey. Chicago: Precedent Publishing, 1985. P. 174—175; см. также: *Bagrow Leo*. A History of Cartography of Russia up to 1600. Ed. Henry W. Castner. Ontario: Walker Press, 1957; *Bagrow Leo*. A History of Russian Cartography up to 1800. Ed. Henry W. Castner. Ontario: Walker Press, 1975.

⁴ *Vaugondy Robert de*. Atlas Universel. Vol. I. Paris, 1757. P. 22.

⁵ *Mohrenschildt Dmitri von*. Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-Century France. New York: Columbia Univ. Press, 1936. P. 212.

⁶ *Coxe William*. Travels in Poland and Russia // Travels in Poland, Russia, Sweden, and Denmark. 5th ed. London: 1802; rpt. New York: Arno Press and New York Times, 1970. III. P. 210—211.

⁷ *Anderson M.S.* Britain's Discovery of Russia 1553—1815. New York: St. Martin's Press, 1985. P. 80.

⁸ *Fabre Jean*. Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des Lumières: Etude de Cosmopolitisme. Paris: Edition Ophrys, 1952. P. 380, 486, 669, note 62.

⁹ *Fabre*. P. 381.

¹⁰ *Marshall Joseph*. Travels Through Germany, Russia, and Poland in the Years 1769 and 1770. London, 1772; rpt. New York: Arno Press and New York Times, 1971. P. 179—180.

¹¹ *Ibid.* P. 179, 183.

¹² *Craven Elizabeth*. A Journey Through the Crimea to Constantinople: In a series of Letters from the Right Honorable Elizabeth Lady Crave, to His Serene Highness the Margrave of Brandenburg, Anspach, and Bareith, Written in the Year MDCCLXXXVI. Dublin, 1789; rpt. New York: Arno Press and New York Times, 1970.

¹³ *Robert*. Atlas Universel. P. 30.

¹⁴ *Ibid.* P. 21, 30.

¹⁵ *Ibid.* P. 30; см. также: *Dainville François de*. S.J., Le Langage de Géographes: Termes, Signes, Colers des Cartes Anciennes 1500—1800. Paris: Editions A. et J. Picard, 1964.

¹⁶ *Robert*. Atlas Universel. P. 23.

¹⁷ *Zamoyski Adam*. The Polish Way: A thousand-Year History of the Poles and Their Cultur. New York: Franklin Watts, 1988, figure 112; *Marshall*. P. 184.

¹⁸ *Davies Norman*. God's Playground: A History of Poland, Vol. I New York: Columbia Univ. Press, 1984. P. 542.

¹⁹ *Wandycz Piotr*. The United States and Poland. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1980. P. 49.

²⁰ *Sanson*. P. 3—7.

²¹ *Parker W.H.* Europe: How Far? // The Geographical Journal 126, Part 3 (Sept. 1960): 285.

²² *Mansuy Abel*. Le Monde Slave et les Classiques Français aux XVIe—XVIIe siècles, préface de Charles Diehl. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1912. P. 10—11; *Parker*. P. 128.

²³ *Mansuy*. P. 16.

²⁴ *Samuel Fiszman*. The Significance of the Polish Renaissance and Baroque for Eastern Slavic Nations. In The Polish Renaissance in its European Context, ed. Samuel Fiszman. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1988. P. 238—242.

²⁵ *Bassin Mark*. Russia Between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space // *Slavic Review* 50, no. 1 (Spring 1991); 5–7.

²⁶ *Strahlenberg Philipp Johann von*. An Historico-Geographical Description of the North and Eastern Parts of Europe and Asia; But more particularly of Russia, Siberia, and Great Tartary; Both in their Ancient and Modern State: Together with an Entire New Polyglot-Table of the Dialects of 32 Tartarian Nations; As Also, a Large and Accurate Map of those Countries; and variety of Cuts, representing Asiatick-Scythian Antiquities. Written Originally in High German by Mr. Philip John von Strahlenberg, a Swedish Officer, Thirteen Years Captive in Those Parts. London: J. Brotherton, J. Hazard, W. Medows, T. Cox, T. Astley, S. Austen, L. Gulliver, and C. Corbet, 1738. P. 16–17.

²⁷ *Parker*. P. 287.

²⁸ *Homann*. Europa. Nürnberg, 1820 (коллекция карт Гарвардского университета); *Desnos*. L'Europe divisée selon l'étendue de ses principales parties. Paris, 1772 (Гарвард).

²⁹ *Delisle*. L'Europe. Paris, 1700 (Гарвард); *Haas*. Europa. Nürnberg, 1743; rpt. 1777 (Гарвард).

³⁰ *Robert*. Atlas Universel. P. 21.

³¹ *Voltaire*. Histoire de l'empire de Russie sous le Pierre le Grand // Oeuvres complètes de Voltaire. Vol. 16 (Paris, 1787; rpt. Liechtenstein: Kraus Reprint Limited, 1976). P. 408.

³² *Antalfy Gyula*. A Thousand Years of Travel in Old Hungary. Trans. Elizabeth Hoch (Hungary: Kner, 1980). P. 117–118.

³³ *Köpeszi Béla*. La France et la Hongrie au début du XVIII siècle: Etude d'histoire des relations diplomatiques et d'histoire des idées. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1917. P. 537–538; *Antalfy*. P. 172.

³⁴ *Anderson*. P. 62.

³⁵ *Strahlenberg*. P. 5–6.

³⁶ *Anderson*. P. 85; *Mohrenschildt*. P. 187; *Cox Edward Godfrey*. A Reference Guide to the Literature of Travel. Vol. I. (Univ. of Washington Publications in Latin and Literature. Volume 9, November 1935; rpt. New York: Greenwood Press, 1969). P. 194.

³⁷ *Lortholary Albert*. Le Mirage russe en France au XVIII siècle. Paris: Boivin, 1951. P. 61.

³⁸ *Köpeszi*. P. 376, 528.

³⁹ *Ibid.* P. 381, 585–586.

⁴⁰ *Ibid.* P. 458.

⁴¹ *Ibid.* P. 455, 464, 470, 473, 481, 485–486.

⁴² *Ibid.* P. 346–349, 546.

⁴³ *Ibid.* P. 386, 488.

⁴⁴ *Ibid.* P. 593.

⁴⁵ *Moll*. A New Map of Germany, Hungary, Transylvania, and the Suisse, 1712 (Гарвард); *Zner*. Europa, 1712 (Гарвард); *Delisle*. Carte d'Europe. Paris, 1724 (Гарвард); *De Witt*. Acuratissima Europae. Amsterdam, 1730 (Гарвард).

⁴⁶ *Homann*. Europa. Nürnberg, 1720 (Гарвард); *Homann*. Europa. Nürnberg, 1730 (Гарвард); *Haas*. Europa. Nürnberg, 1743; rpt. 1777 (Гарвард).

⁴⁷ *Guedeville Nicolas*. Dissertation sur la Hongrie et sur la Boheme // Atlas Historique ou Nouvelle Introduction à l'Histoire, à la Chronologie, et à la Géographie Ancienne et Moderne. Vol. II. Henri Abraham Châtelain. Amsterdam: Chez l'Honoré Châtelain, 1720.

- ⁴⁸ Carte Ancienne et Moderne: Des Differents Etats et Pays au long du Danube // Atlas Historique (1720).
- ⁴⁹ Carte Genealogique des Rois de Hongrie et de Boheme; et l'Abregé du Gouvernement de ces deux Royaumes // Atlas Historique (1720).
- ⁵⁰ *Gueudeville*. Atlas Historique (1720).
- ⁵¹ Carte du Royaume de Boheme // Atlas Historique (1720).
- ⁵² Nouvelle Carte de la Hongrie // Atlas Historique (1720).
- ⁵³ *Köpeszi*. P. 522—524.
- ⁵⁴ *Gueudeville*. Atlas Historique (1720). P. 68—71.
- ⁵⁵ *Roider Karl A.* Austria's Eastern Question 1700—1790. Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1982. P. 44.
- ⁵⁶ *Ibid.* P. 52.
- ⁵⁷ *Ibid.* P. 57.
- ⁵⁸ *Voltaire*. Histoire de Charles XII. P. 89—90; *Besterman Theodore*. Voltaire, 3rd ed. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1976. P. 640.
- ⁵⁹ *Fabre Jean*. Stanislas Leszczyński et le mouvement philosophique en France au XVIII^e siècle // Pierre Francastel (ed.) Utopie et Institutions au XVIII^e siècle: Le Pragmatism des Lumières. (Paris and the Hague: Mouton:1963). P. 25—41; см. также: Rostworowski Emmanuel. Stanisław Leszczyński et les Lumieres à la Polonaise // Pierre Francastel (ed.) Utopie et Institutions au XVIII^e siècle: Le Pragmatism des Lumières. Paris and the Hague: Mouton:1963. P. 15—24.
- ⁶⁰ *Jaucourt Louis de*. Pologne // Encyclopédie: ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, nouvelle impression en facsimilé de la première édition de 1751—1780. Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 1967. Vol. XII. P. 931.
- ⁶¹ *Robert*. Atlas Universel. P. 35.
- ⁶² *Vaugondy Robert de*. A New and Accurate Map of Europe. London, 1770 (Гарвард).
- ⁶³ *Roider*. P. 72—73, 80.
- ⁶⁴ *Anderson*. P. 83; *Robert*. Atlas Universel. P. 30.
- ⁶⁵ *Voltaire*. Histoire de la guerre de 1741. Paris: Editions Garnier Frres, 1971. P. 33.
- ⁶⁶ *Ibid.* P. 33—34.
- ⁶⁷ *Lavicka Jan*. Voltaire et la Bohême. Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Vol. 219. Oxford: Voltaire Foundation, 1983. P. 109.
- ⁶⁸ *Köpeszi*. P. 553.
- ⁶⁹ *Anderson*. P. 139—140; *Voltaire*. Histoire de l'empire de Russie sous le Pierre le Grand. P. 405.
- ⁷⁰ *Gusdord Georges*. Les Principes de la pensée au siècle des lumières. Paris: Payot, 1971. P. 128.
- ⁷¹ L'Histoire de mon temps // Oeuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse. Vol. I. Berlin: Chez Voss, 1788. P. 69.
- ⁷² Goldsmith Oliver. The Citizen of the World. (London: J.M. Dent, 1934). Chapter LXXXVII. P. 240—241.
- ⁷³ James Porter, Turkey; Its History and Progress: From the Journals and Correspondence of Sir James Porter. Vol. I. London: Hurts and Blackett, 1854. P. 8.
- ⁷⁴ Letter from Lady Porter to her sister, Mdlle de Hochepied, at Pera, containing an account of Sir James Porter's journey from Constantinople to

London, with two children, Greek nurse and servant, and accompanied by several gentlemen; among others, the learned Jesuit, Father Boscowitz, who has published a detail of this journey // Porter James. Turkey; Its History and Progress: From the Journals and Correspondence of Sir James Porter. Vol. I. London: Hurts and Blackett, 1854. P. 379.

⁷⁵ Letter from Lady Porter. P. 374.

⁷⁶ Boscovich // Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. XIII. Rome, 1971. P. 221—230.

⁷⁷ Boscovich Ruggiero Guisepppe. Giornale di un Viaggio da Constantinopoli in Polonia dell'abbate Ruggiero Giuseppe Boscovich. Milan: Giordano Editore, 1966. P. 5.

⁷⁸ Ibid. P. 86, 110.

⁷⁹ Ibid. P. 3—4.

⁸⁰ Ibid. P. 6.

⁸¹ Ibid. P. 8.

⁸² *Rocque*. Carte Generale des Postes de l'Europe, 1758 (Гарвард).

⁸³ Ibid. P. 21—22.

⁸⁴ Ibid. P. 31.

⁸⁵ Ibid. P. 34.

⁸⁶ Ibid. P. 35.

⁸⁷ Ibid. P. 37—42, 50.

⁸⁸ Ibid. P. 59—62.

⁸⁹ Ibid. P. 62.

⁹⁰ Ibid. P. 69—71.

⁹¹ Ibid. P. 74, 79, 87, 102.

⁹² Ibid. P. 72—75, 89—90.

⁹³ Ibid. P. 90—92, 106—107.

⁹⁴ Ibid. P. 125—126.

⁹⁵ Ibid. P. 122, 127—128.

⁹⁶ Ibid. P. 65.

⁹⁷ Letter from Lady Porter. P. 377.

⁹⁸ Ibid. P. 390.

⁹⁹ *Boscovich*. P. 9.

¹⁰⁰ *Haas*. Europa. Nürnberg, 1743; rpt. 1777 (Гарвард); *Le Voyage d'un Danois*, 1744 (Гарвард).

¹⁰¹ *Boscovich*. P. xx, 190—191.

¹⁰² *Darnton Robert*. The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie 1775—1800. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1979. P. 8.

¹⁰³ *Bulgarie* // Encyclopédie. Vol. II. P. 462.

¹⁰⁴ *Boheme* // Encyclopédie: ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, nouvelle impression en facsimilé de la première édition de 1751—1780. Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 1967. Vol. II. P. 294.

¹⁰⁵ *Lough John*. Louis, Chevalier de Jacourt (1704—1780): A Biographical Sketch // The Encyclopédie in Eighteenth-Century England and Other Studies. Newcastle upon Tyne: Oriel Press, 1970. P. 25, 49—51.

¹⁰⁶ *Jacourt Louis de*. Hongrie // Encyclopédie. Vol. VIII. 284.

¹⁰⁷ Ibid. P. 284—285.

¹⁰⁸ Ibid. P. 285.

¹⁰⁹ Ibid.

- ¹¹⁰ Ibid., P. 285—286.
- ¹¹¹ Ibid. P. 286.
- ¹¹² Jacourt Louis de. Pologne // Encyclopédie, Vol. XII. P. 925.
- ¹¹³ Ibid. P. 928—933.
- ¹¹⁴ Ibid. P. 925, 929, 934.
- ¹¹⁵ Ibid. P. 930—931.
- ¹¹⁶ Ibid. P. 931.
- ¹¹⁷ Coxe. Travels in Poland and Russia. Vol. III. P. 369—376.
- ¹¹⁸ Jacourt. Pologne // Encyclopédie. Vol. XII. P. 931—934.
- ¹¹⁹ Jacourt Louis de. Russie // Encyclopédie. Vol. XIV. P. 442; *Voltaire*. Histoire de l'empire de Russie sous le Pierre le Grand. P. 403.
- ¹²⁰ Jacourt Louis de. Russie // Encyclopédie. Vol. XIV. P. 443; *Voltaire*. Histoire de l'empire de Russie sous le Pierre le Grand. P. 419—421.
- ¹²¹ Jacourt Louis de. Russie // Encyclopédie. Vol. XIV. P. 445.
- ¹²² Jacourt Louis de. Tartares // Encyclopédie. Vol. XV. P. 926; см. также: *Fisher Alan W.* The Crimean Tatars (Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1978).
- ¹²³ *Sanson*. P. 3—5.
- ¹²⁴ *Delisle*. L'europe. Paris, 1700 (Гарвард); *Zürner*. Europa, 1712 (Гарвард).
- ¹²⁵ Jacourt Louis de. Tartares // Encyclopédie. Vol. XV. P. 920.
- ¹²⁶ Ibid. P. 921.
- ¹²⁷ *Vaugondy Robert de*. Nouvel Atlas Portatif. Paris: Chez Robert, 1762, карты III, IV.
- ¹²⁸ Jacourt Louis de. Tartares // Encyclopédie. Vol. XV. P. 921—923.
- ¹²⁹ Ibid. P. 924—926.
- ¹³⁰ Jacourt Louis de. Europe // Encyclopédie. Vol. VI. P. 211—212.
- ¹³¹ *Vaugondy Robert de*. Géographie // Encyclopédie. Vol. VII. P. 611—612.

Глава V

ОБРАЩАЯСЬ К ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Часть I: Россия в сочинениях Вольтера

«Галопом к Адрианополю»

«Вашему Величеству приходится направлять армии, — писал Вольтер Екатерине II в 1770 году, — в Валахии, в Польше, в Бесарабии, в Грузии; но Вы находите время писать мне». Однако обмен письмами во время военных действий не был исключением в истории их переписки; наоборот, как раз во время войны с Турцией и Польшей в 1768—1774 годах, первой длинной войны, которую пришлось вести Екатерине, они стали обмениваться письмами с невиданной для мирного времени частотой. В основе внешней политики Екатерины лежали честолюбивые мечты о господстве одновременно в Турции и Польше; по мере осуществления ее замыслов на военных картах, в сознании просвещенной публики северо-восточная и юго-восточная оконечности континента сливались воедино, образуя однородную географическую общность, Восточную Европу. В письмах того времени Вольтер предлагал Екатерине свои философские комментарии к ее военным операциям; Валахия, Польша, Бессарабия и Грузия представляли там как строительные блоки для рождающейся новой европейской географии. «Воображение мое и г-на д'Аламбера, — писал Екатерине Вольтер в том же 1770 году, имея в виду коллективное сознание Просвещения, — летит к Дарданеллам, к Дунаю, к Черному морю, к Бендерам, в Крым и особенно в Санкт-Петербург»¹. Воображению философа было тем легче нарисовать карту Восточной Европы, что эпистолярный жанр позволял ему оставаться дома, в Ферни, в Швейцарии, пока слова его пускались в полет через всю Европу, добираясь до самого Санкт-Петербурга. Если передвижения войск на карте связывали воедино различные области

Восточной Европы от Санкт-Петербурга до Дарданелл, то почтовые тракты подчеркивали одновременно и географическую удаленность, и интеллектуальную достижимость этих краев, символом которых был адрес на отправляющихся на восток конвертах. Когда в 1758 году была напечатана карта почтовых дорог Европы, на ней все еще не было России, а дорога из Вены растворялась где-то к востоку от Варшавы². К 1770 году Вольтер мог легко переписываться с Екатериной, но, связывая корреспондентов, эта переписка одновременно подчеркивала лежащую между ними пропасть.

Вольтеру было не впервой совершать заочное путешествие по Восточной Европе: он уже побывал там в обществе Карла XII, который, кстати, гостя у татар, стоял лагерем как раз в Бендерах. Особое напряжение письмам Вольтера к Екатерине придавало настоящее *déjà vu*, которое испытывал старый философ, вновь открывая для себя места, впервые исследованные им сорок лет назад, во время работы над историей шведского короля. В «Карле XII» Вольтеру-историку приходилось прятаться в тени своего героя, чтобы придать правдоподобие повествованию о разных народах и странах; эпистолярный же жанр давал полную свободу географическому воображению писателя. И Вольтер и Екатерина всячески афишировали свою переписку, и после смерти Вольтера в 1778 году Бомарше подготовил некоторые из их писем к публикации. Доступные широкой публике, они внесли свою лепту в сотворение Восточной Европы веком Просвещения.

Начиная с XVIII века и до наших дней критики никак не могли простить Вольтера, решившего написать историю завоевателя вроде короля Карла. При этом они упускают из виду, какое культурное значение имело заочное открытие философам восточноевропейских стран и народов. Восторженная похвала, которую Вольтер расточал екатерининским полководцам, вызвала еще больше нареканий; но за этими нареканиями теряется эпистолярное волнение, которое он испытывал, возвращаясь в те же края в свите нового завоевателя. «Достаточно того, — ликовал он, — что совсем скоро Вы станете абсолютной повелительницей Молдавии, Валахии, почти всей Бессарабии, азовского и кавказского побережий Черного моря», — хотя он, конечно, мечтал о большем. Ознакомившись с этим списком имен собственных, Екатерина в 1771 году откликнулась на вольтеровский интерес к географии:

Не правда ли, здесь мы находим множество сведений для исправления и расширения географических карт? В ходе этой войны мы услышали названия мест, о которых мы никогда не слышали раньше и которые географы почитали пустыней³.

В ее словах прочитывается та теснейшая связь, которая существовала в XVIII веке между геополитическим подчинением и географическим изучением Восточной Европы. В своем ответе Вольтер принимал эту связь как нечто само собой разумеющееся; поскольку войска Екатерины только что вошли в Крым, он ожидал составления карты этого края. «Сносных у нас до сих пор никогда не было», — заметил он, осуждая географическое невежество турок. «Вы обладаете прекрасной страной, но вы не знаете ее. Моя императрица нас с ней познакомит»⁴.

Война не только приковывала внимание к отдельным местностям и географическим названиям, но также и устанавливала связи и соотношения между ними. Война, которую Россия вела против Польши и Турции с 1768 по 1774 год, превратила в единый театр военных действий почти всю Восточную Европу, поместив ее на военную карту. В конце своего царствования, с 1787 по 1795 год, Екатерине придется еще раз воевать с Турцией и Польшей; эта война закончится последним разделом Польши, увенчавшим геополитические и географические тенденции предыдущих десятилетий. В письмах Вольтера, несомненного лидера Просвещения, Восточная Европа почти точно совпадала с театром екатерининских войн. В 1773 году он писал: «Я ожидаю весьма немногого от Провидения и Вашего гения», которые должны были «упорядочить тот хаос, в который погружены земли от Данцига до устья Дуная», принести триумф «света» (*lumière*) над «тьмой» (*ténèbres*)⁵. Вольтер включил в программу Просвещения покорение Восточной Европы, привнесение порядка в те края, в которых его не было, — не было только потому, что так сказал сам философ. С тем же самым интеллектуальным превосходством Восточная Европа была объявлена краем тьмы и хаоса. Однако подлинным новшеством, невозможным, пожалуй, до начала этой войны, было то, что в сознании Вольтера слились воедино восточноевропейские реки, связав Гданьск в устье Вислы, на Балтике, с устьем Дуная, на Черном море.

В своей переписке с Екатериной Вольтер особенно налегал на типичные для эпохи Просвещения представления о власти и империи, прославляя императрицу как «абсолютную повелительницу» малоизвестных земель; его формула восточноевропейского абсолютизма добавляла к элементам политической теории привкус своих частных фантазий. В своих сочинениях Руссо предложил альтернативу подобной риторике, описав освобождение Восточной Европы на основе принципа национального суверенитета. Однако и этот принцип Восточной Европе предлагал век Просвещения, и не случайно Руссо изложил свои соображения в форме открытого письма к полякам. Обращаясь в своих письмах к Восточной Европе, и Руссо и Вольтер сами становились политическими первооткрывателями неизученных земель. «Мне кажется, что это я переправляюсь через Дунай», — писал Вольтер в 1773 году. «В мечтах я сажусь на коня и скачу галопом к Адрианополю»⁶.

«Я СТАРШЕ, ЧЕМ ВАША ИМПЕРИЯ»

Переписка между Екатериной и Вольтером началась в 1763 году, когда императрица написала философу, чтобы поблагодарить его за второй том «Петра Великого». С выходом этого труда и с окончанием в том же году Семилетней войны завершился первый этап открытия Восточной Европы веком Просвещения; начался новый этап, этап еще более динамичного культурного и внешнеполитического интереса к этому региону, когда в центре внимания оказалась поражающая воображение фигура самой императрицы Екатерины. Германская принцесса, она прибыла в Россию в 1744 году, четырнадцати лет от роду, чтобы выйти замуж за наследника престола, внука Петра Великого. В 1763 году он сменил на троне императрицу Елизавету, а затем в ходе дворцового переворота был смещен Екатериной; потеряв корону, он был, ко всеобщему удовлетворению, вскоре убит. Когда год спустя Екатерина написала Вольтеру, ей было 34 года, она провела на престоле всего лишь один год и все еще старалась укрепить свои позиции и дома, и на международной арене. Она знала, что в предыдущее царствование Вольтер пользовался покровительством русского двора, создавая по заказу Елизаветы Петровны историю

ее царственного отца и получая необходимые материалы лично от Ивана Шувалова, фаворита императрицы. Екатерина поблагодарила Вольтера за его труды небрежной фразой, которую можно было отнести и к автору, и к предмету его исследования: «Правда, что нельзя достаточно надивиться гению этого великого человека»⁷.

В своем письме 1763 года Екатерина попыталась наладить личный контакт с Вольтером. Она слышала, что Вольтер лестно о ней отзывался; он и вправду был известен лестью, расточаемой коронованным особам, и Екатерина скоро стала излюбленным объектом его восхвалений. Сейчас же, с примерной скромностью, она советовала философу поберечь свои похвалы до тех пор, пока она, проведшая на троне лишь один год, не станет действительно их достойной; в противном случае скороспелые восхваления повредят «репутации» их обоих. Это слово как нельзя более точно описывает основу их будущих взаимоотношений, которые в первую очередь были уравниванием из двух гигантских репутаций, занимавших центральные позиции в культуре, политике и международных отношениях своего времени. В 1763 году масштабом своей репутации Вольтер даже превосходил Екатерину: она всего лишь организовала один блестящий дворцовый переворот, а он оставался королем европейских просветителей на протяжении жизни целого поколения. Императрица писала, что 1746 год стал поворотным пунктом в ее интеллектуальном развитии: именно тогда «мне в руки случайно попали ваши сочинения», и «с тех пор, я не переставала их перечитывать». Она была не прочь познакомиться с другими книгами подобного уровня, «но где же их взять?»⁸

В 1763 году, оглядываясь назад, Екатерина назвала точную дату своего знакомства с сочинениями Вольтера; эта дата неразрывно связана с ее приездом в Россию и превращением в настоящую русскую. Она пересекла границу империи в 1744-м и в том же году торжественно перешла в православие, отрекшись даже от своего имени София и став отныне и навсегда Екатериной. На следующий год она окончательно обрусела, выйдя замуж за наследника престола, хотя брак этот, скорее всего, так и остался формальностью. Затем в 1746 году она открыла для себя Вольтера и, несмотря на свое недавнее превращение в русскую, стала поклонницей французского Просвещения — так, по крайней

мере, она описывала себя и свои интеллектуальные предпочтения в 1763 году. Год 1746-й был важным пунктом и в отношениях Вольтера с Россией: именно тогда он был избран членом-корреспондентом Академии наук в Санкт-Петербурге. Сами академики были, однако, недовольны, что работу над жизнеописанием Петра поручили ему, и такие академические столпы, как немец Герхард Миллер и русский Михаил Ломоносов, подвергли рукопись Вольтера жесткой критике⁹. Уделяя в своем письме особое внимание 1746 году, Екатерина напоминала Вольтеру, что и он был в некотором смысле иностранцем, прибывшим в Россию вслед за ней. Ее, великую княгиню, ожидали при дворе личные и политические неприятности; он, член-корреспондент, стал жертвой академической зависти. Вопреки всем династическим правилам, переворот 1762 года принес Екатерине политическую власть, а их начавшаяся в 1763 году переписка означала полный триумф философии Вольтера в России, сделав его царским советником и приближенным, недостижимым для его академических соперников.

В том первом письме 1763 года Екатерина намеренно не упоминала Руссо, подчеркивая свою приверженность к Вольтеру. Год 1762-й, год екатерининского переворота, был и годом переворота философского, который совершил Руссо, опубликовав «Общественный договор» и «Эмиля»; на сцену взошло новое поколение просветителей, и взошло с таким шумом, что даже старый Вольтер не мог не заметить перемен. Помимо множества других радикальных новшеств, которые предложил Руссо, в своем «Общественном договоре» он оспаривал и взгляды Вольтера на Россию.

Петр обладал талантом подражательным, у него не было подлинного гения, того, что творит все из ничего. Кое-что из сделанного им было хорошо, большая часть была не к месту. Он понимал, что его народ был диким, но совершенно не понял, что он еще не дошел до уставов гражданского общества. Он хотел сразу просветить и благоустроить свой народ, в то время как его надо было еще приучать трудностям этого. Он хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских. Он помешал своим подданным стать когда-нибудь тем, чем они могли бы стать, убедив их, что они были тем, чем они не являются. Так наставник-француз воспитывает своего питомца, чтобы тот блистал в детстве, а затем навсегда остался ничтожеством. Российская им-

перия пожелает покорить Европу — и сама будет покорена. Татары, ее подданные или соседи, станут ее, как и нашими, повелителями¹⁰.
(Перевод А.Д. Хяютина и В.С. Алексеева-Попова)

В известном смысле представления Руссо о России (где он никогда не был) вполне укладывались в образ Восточной Европы в вольтеровской «Истории Карла XII», изображавшей дикие, недисциплинированные народы, не имеющие ничего общего с французами, англичанами и немцами.

В первом томе истории Петра Великого, выпущенном в 1759 году, автор без всякого стеснения заявлял о предмете своего исследования: «Возможно, из всех государей его деяния более всех достойны быть донесенными до потомства». Вольтер описывал Петра вполне библейским языком: «Петр был рожден, и Россия обрела бытие»¹¹. Руссо, несомненно, бросал Вольтеру вызов, включая в «Общественный договор» уничижительные замечания о Петре, отказывая ему в «подлинном гении» как раз тогда, когда готовился к выходу в свет второй том «Истории Петра Великого». Превознося до небес гений своего предшественника (которому «нельзя достаточно надивиться»), Екатерина становилась на сторону Вольтера в его споре с Руссо, обещая продемонстрировать лживость его «пророчества». В центре этого пророчества была победа татар над цивилизацией, и философские войны, несомненно, подогрели энтузиазм, с которым Вольтер приветствовал войны настоящие, ведущиеся с 1768 года Екатериной против поляков, турок и татар. Эти войны неизбежно превратили Руссо в защитника Польши. В 1783 году императрица аннексировала Крым, а в 1772, 1792 и 1795 годах приняла участие в разделах Речи Посполитой. На географических картах полная победа осталась за Екатериной, но в философии обе противоположные точки зрения, и Вольтера и Руссо, сохранили свою роль соперничающих идеологических полюсов, сообща определяя современное политическое видение Восточной Европы.

Что же касается Вольтера, то он стал активно переписываться с Екатериной лишь начиная с 1765 года, посвятив ей свою «Философию истории», написанную под псевдонимом «аббат Базен» и якобы «отредактированную» племянником этого подозрительно антицерковного церковника. Вольтер сообщил Екатерине, что его книгу пока еще не сожгли во Франции, а

«в народе полагают, что он написал ее в Ваших владениях, ибо истина приходит с севера»¹². Никто не держался столь упорно за традиционную категорию «севера», как Вольтер, который сам же и лишил ее всякого смысла своим открытием Восточной Европы. Он проявил изрядную тонкость, обозначив дистанцию между Восточной Европой и Европой Западной и придумав для того вымышленного аббата, якобы проживающего во владениях Екатерины, пока сам Вольтер оставался в своем поместье в Ферне. Любопытно, что сперва, в 1758 году, Вольтер собирался осесть в Лотарингии, став подданным Станислава Лещинского, фиктивного короля Польши¹³. Этой символической эмиграции Вольтера в Восточную Европу не суждено было состояться, и он нашел себе пристанище в Ферне, на границе между Францией и Швейцарией, укрывшись от врагов Просвещения, располагавшихся с обеих сторон границы.

«Племянник Базена сообщил мне, — писал Вольтер Екатерине, — что он был очень привязан к Ею Высочеству Принцессе Цербстской, матери Вашего Величества, и, по его словам, она была очень красивой и одухотворенной особой». Вольтер действительно встречался с матерью Екатерины, хотя «привязанность» к ней «племянника» была в лучшем случае лишь вежливым преувеличением его подлинных эмоций. Восхваление красоты и одухотворенности матери Екатерины, в сочетании с двусмысленной «привязанностью», указывало на возможный роман между ней и вымышленным вторым «я» Вольтера; в этом случае сама Екатерина становилась фиктивной дочерью французского Просвещения. Она, по-видимому, заметила этот подтекст, ответив, что «привязанность Базена-племянника к моей покойной матери обращают на него мое особое внимание». Означало ли это, что Базен-племянник находился вместе с ней в России? Из последующих писем Вольтера Екатерине явствует, что она (или, по крайней мере, «представляющий» ее медальон) пребывала у него в Ферне: «Наиболее драгоценен для меня представляющий Вас медальон. Черты Вашего Величества напоминают Принцессу, Вашу матушку»¹⁴. Эпистолярный жанр позволял философу и императрице предаваться игривым перемещениям во времени и пространстве, пока их письма перемещались взад и вперед по дорогам Европы. В своей переписке Екатерина и Вольтер пытались установить

отношения между Западной Европой и Европой Восточной, в основу которых ложились выдуманные отношения между Екатериной, встретившей в Санкт-Петербурге книги Вольтера, и Вольтером, встречавшим в Париже ее мать.

Фигура матери была особенно важна в переписке Екатерины с Вольтером, поскольку она подчеркивала, что в России императрица была иностранкой. Повстречав в 1770 году некоего русского князя, Вольтер сообщал Екатерине, что «очарован чрезвычайной политичностью Ваших подданных», которую он приписывал влиянию императрицы и ее матери: «Вы принесли в Вашу империю все изящество Ее Высочества Принцессы, Вашей матушки, еще более приумножив его». Вольтер, таким образом, настаивал, что все принесенное Екатериной в Россию принесено из-за границы. «Мне всегда доставляют удовольствие, — отвечала Екатерина, — ваши воспоминания о моей матери»¹⁵. Словом, в переписке с Вольтером эти воспоминания напоминали о нерусском происхождении императрицы.

То, что Екатерина стала «русской», вызывало вопросы уже в 1765 году, в первом письме Вольтера: «Осмелюсь ли сказать, Ваше Величество, я немного сердит, что вы зовете себя Екатериной». Екатериной ее крестили; в поэтических же целях он предпочел бы называть ее Юноной, Минервой или Венерой. По-видимому, Вольтер придерживался обычной просвещенческой точки зрения, считая, что любой мужчина или женщина, от Екатерины до Казановы, может по приезду в Россию сочинить себе новое имя и новое прошлое, которые становились признаком их превосходства. Екатерина могла назваться богиней, а Вольтер, сопоставляя себя с русскими властителями, принимал вид мифического старца.

Мадам, я старше, чем город, где Вы правите и который Вы украшаете своей особой. Осмелюсь добавить, я старше, чем Ваша империя, если считать ее основание с этого созидателя, Петра Великого, чьи труды Вы доводите до совершенства¹⁶.

Если Россия была пространством сотворения, где Екатерина доводила до совершенства труды Петра и умножала принесенное ее матерью изящество, то Вольтер мог испытывать и совершенствовать свою интеллектуальную программу, применяя ее принципы к сырому восточноевропейскому материалу. Воль-

тер прославлял Екатерину как богиню Просвещения в России и объявил ее своей музой, благодаря которой он может довести до конца свою разностороннюю философскую деятельность. В 1731 году в «Истории Карла XII» Вольтер с воодушевлением объявил о своем открытии Восточной Европы, за которым последовали вышедшие в 1759 и 1763 годах два тома «Истории Российской империи в царствование Петра Великого». Затем прозвучал фантастический финальный аккорд, переписка с Екатериной, которую философ вел с 1763 года до самой своей смерти в 1778 году.

«РАССЕИВАЯ ХАОС»

Историк Альберт Лортолари писал о «русском мираже во Франции» XVIII века, о некоем иллюзорном образе, прошедшем путь от «петровского мифа» до «екатерининской легенды» и ставшем любимым детищем философов Просвещения¹⁷. Рождение петровского мифа восходит к визиту самого царя во Францию в 1717 году и панегирику, написанному для французской Академии наук Бернаром де Фонтенелем после смерти Петра в 1725 году. Миф этот получил дальнейшее развитие, прежде всего под пером Вольтера, чей исключительный авторитет и влияние сделали Петра главным героем и центральным политическим персонажем Просвещения (хотя Руссо в «Общественном договоре» и отстоял возможность критической интерпретации). В 1759 году, одновременно с выходом в свет первого тома вольтеровской истории Петра, миф этот обрел новую жизнь и новую жанровую форму, когда вдохновленный сочинениями Вольтера Антуан Тома начал работу над «Петриадой», задуманной по образцу «Энеиды» Вергилия. С одобрения Вольтера, Тома посвятил этому проекту остаток своих дней, устраивая публичные чтения поэмы по мере ее написания; однако до своей смерти в 1785 году он не успел ни опубликовать, ни даже закончить рукописи. В первых главах подчеркивались уроки в науке цивилизованности, которые Петр вынес из своих поездок в Англию, Францию и Голландию. Стихи, которыми Тома излагал уже устоявшиеся банальности петровского мифа, были подчас ужасными:

Je vois le despotisme en tes heureuses mains,
 Étonné de servir au bonheur de humains...
 (Я вижу, как деспотизм в твоих счастливых руках,
 Удивлен, что служит благу человечества...)

Et, du trop lent destin changeant l'ordre commun,
 Que dix siècles pressés viennent s'unir en un.
 (И изменяя общий ход медлительной судьбы,
 Так, что десять столетий пролетают как одно.)¹⁸

Просвещенный абсолютизм и ускоренный прогресс были взаимозависимыми составляющими петровского мифа, превращавшими Восточную Европу в заповедник отсталости и неразвитости.

Сам Вольтер утверждал, что лично видел Петра, когда царь приезжал в Париж в 1717 году; однако об этой встрече он вспомнил лишь в 1759 году, накануне выхода в свет первого тома «Истории Петра Великого». «Когда я увидел 40 лет назад, как он посещал парижские мастерские, — вспоминал Вольтер, — ни он, ни я не предполагали, что когда-нибудь я буду писать его историю»¹⁹. Молодой Вольтер действительно мог видеть царя в 1717 году, но его воспоминания, подобно воспоминаниям о матери русской императрицы, были, несомненно, частью игры, придававшей личный оттенок литературным встречам, превращая их в блестящие мифы и легенды. Другие очевидцы, оставившие свои воспоминания о визите Петра в Париж, пытались как-то соотнести его образ с собственными представлениями о русском «варварстве». Маршал Виллеруа полагал, что «этот якобы варварский государь совсем не таков». Сен-Симон, в целом восхищавшийся Петром, разглядел в нем, однако, «сильный отпечаток старинного варварства этой страны» и высокомерно приветствовал «этого монарха, который желал вывести себя и свою страну из варварства»²⁰. Получалось, что развитие варварских земель зависело от цивилизующих реформ варварского государя. Этого парадокса удалось наконец избежать, когда просвещенный абсолютизм был признан универсальным средством для разрешения всех проблем Восточной Европы; с воцарением Екатерины, нерусской по происхождению, наступает триумф просвещенного абсолютизма.

В 1717 году Петр посетил французскую Академию наук и был избран ее почетным членом; с собой он привез несколько

карт России, высоко оцененных академиками. Когда Петр умер в 1725 году, Фонтенель, секретарь академии, составил ему панегирик, подобно тому как два года спустя он составил панегирик сэру Исааку Ньютону. Фонтенель, написавший известные «Диалоги мертвецов», вполне подходил для составления посмертного панегирика, а работа над «Множественностью миров» подготовила его к риторическому открытию России. В сочинении Фонтенеля заложены основные сюжетные линии, преобладавшие в XVIII веке в петровском мифе; он описал процесс развития, в котором сама Россия была для царя чистым холстом, нулевой отметкой цивилизации: «Все в Московии надо было сотворить, и ничего — улучшить». Петру пришлось «создать новую нацию». Его гипотеза предполагала существование разных уровней цивилизованности, так что Россия училась у «более мудрых и более политических наций», с тем чтобы вскоре достичь «своего уровня», двигаясь в ускоренном темпе, подгоняя «медленное развитие, через которое им было необходимо пройти»²¹. Эти фразы приобрели программный характер, и, задумывая в 1750-х годах своего «Петра Великого», Вольтер лишь слегка подправил фонтенелевские формулы, которые теперь более точно отражали относительный уровень развития в России до Петра: «почти все еще предстояло создать»²².

Впервые Петр появился в сочинениях Вольтера как грозный соперник Карла XII в его борьбе за господство над Восточной Европой. Он был и персонажем, и исторической проблемой. По мере того как в 1730-х годах с огромным успехом выходили все новые и новые переиздания «Истории Карла XII», самого Вольтера стало смущать, что он поддерживает дух завоеваний, который олицетворял Карл. В издании 1739 года Вольтер добавил новые материалы, разрабатывая характер Петра и превращая его в альтернативного героя: «Этот человек в одиночку изменил величайшую империю в мире». Тем не менее, по мнению Вольтера, царю не хватало «человечности»: его отношение к Петру оставалось уравновешенным и даже критическим. «Жестокость его развлечений, свирепость его манер и его варварская мстительность примешались к его многочисленным достоинствам. Он цивилизовал (*poliçait*) свой народ, но сам был дикарем». Петр лично казнил преступников, и Вольтер заметил, что «в Африке есть государи, которые

проливают кровь подданных своими собственными руками, но этих монархов почитают варварами». Он даже упомянул, что Петр осудил и казнил собственного сына, и это бросает тень на «все доброе, что он сделал своим подданным»²³. Перенеся внимание с Карла на Петра, Вольтер создал более утонченную концепцию господства в Восточной Европе, господства как цивилизующего процесса, а не просто завоевания. К тому же Петр (русский, которого можно счесть африканцем, которого можно счесть варваром) олицетворял национального героя, противостоящего иноземцам, шведскому искателю приключений или германским принцам.

В 1748 году Монтескье включил в свой «Дух законов» несколько замечаний о Петре; дополнительные сведения можно было почерпнуть из сочинения Вольтера под названием «Анекдоты о царе Петре Великом», предварительного наброска более подробного описания. Монтескье сделал Петра главным героем главы о «естественных способах изменять нравы и обычаи страны». Попытки изменить их законодательным путем отвергались как неестественные, а принудительное бритье бород и укорачивание кафтанов Монтескье считал проявлениями «тирании», к тому же и вовсе не нужными в России:

Легкость и быстрота, с которой эта нация цивилизовалась, прямо показывают, что сей государь имел незаслуженно низкое мнение о своем народе: они не были дикарями, хотя он и любил их так называть. Жестокие способы, которые он употреблял, были излишними; он бы достиг своей цели и более мягкими способами²⁴.

Монтескье придерживался теории о «влиянии климата» на нравы и обычаи, из которой следовали принципиальные различия между Европой и Азией, а также между Севером и Югом самой Европы. Внимание к климату как политическому фактору в XVIII веке отчасти отвлекало внимание от формирующейся концепции Восточной Европы; сам же Монтескье, твердо убежденный в существовании «Севера», не сомневался, что Россия — часть Европы. В допетровской Руси нравы и обычаи восходили к завоевателям-татарам и «не были согласны с климатом»; варварство здесь — всего лишь аномалия. Поэтому Петр не навязывал свою волю, «даруя европейской нации европейские манеры и обычаи»²⁵. Допуская, что возможны европейские страны, где господствуют неевропейские обычаи, Мон-

теские предложил новый и важный подход к проведению философских границ.

Монтескье писал о России издалека, рассуждая о климате, тяготы которого ему так и не довелось испытать. В 1728 году он оказался в Вене и получил приглашение посетить Санкт-Петербург; раздумывая, ехать или нет, он заказал копию фонтенелевского панегирика. В конце концов самой восточной точкой его маршрута стала Венгрия, откуда он повернул в Венецию. «Я хотел увидеть Венгрию, — писал он, — поскольку все европейские государства некогда были то, что Венгрия сейчас, и я хотел познакомиться с нравами наших предков»²⁶. И Венгрию, которую он и в самом деле видел, и Россию, которую он лишь воображал, Монтескье признавал европейскими государствами; что же касается до обычаев и нравов, то между Восточной Европой и Европой Западной пролегла пропасть, и эти два региона могла связывать лишь теория отсталости и развития.

Вольтер сочинил свои «Анекдоты» в 1748 году, когда русские отказались предоставить ему материалы для подробного описания петровского царствования. В 1745 году он обратился к Елизавете, предложив написать о ее отце, «создать памятник его славе на языке, на котором сейчас говорят почти при всех европейских дворах»²⁷. Однако русская Академия еще не была готова доверить жизнеописание Петра иностранцу. Таким образом, отвергнутый русскими Вольтер имел свои причины возразить Монтескье, утверждая, что эта нация всем обязана Петру. «До него, — писал Вольтер в начале своих «Анекдотов», — его народ знал лишь самые начала искусств, которым нас учит нужда». В заключение предполагаемая первобытность этого народа подчеркивалась пародийными математическими расчетами, показывающими, сколь маловероятно, чтобы среди варваров появился некто подобный Петру, «гений, столь противный духу своего народа», и цивилизовал их. Монтескье не находил ничего титанического в достижениях Петра, который лишь сообщил европейской нации европейские манеры; Вольтер же сравнивал Петра с Прометеем, прямо заявляя, что «приобщить Россию к цивилизации» значит привнести изящные искусства с другого края континента: «Сейчас в Петербурге есть французские актеры и итальянские оперы. Великолепие и даже вкус всюду вытесняют варварство».

Даже французский язык при дворе Елизаветы (как «почти при всех европейских дворах») распространялся «по мере того, как эта страна становилась цивилизованной». В сущности, Вольтер предлагал и способ измерять относительный уровень развития, и саму модель развития, подходящую для любой страны: «В Африке все еще остаются обширные области, которым нужен свой царь Петр»²⁸. Именно в Восточной Европе просвещенный абсолютизм доказал свою состоятельность как политическая теория, универсальная формула движения к цивилизации.

Наконец в 1757 году, когда Франция и Россия стали союзниками в Семилетней войне, Санкт-Петербург откликнулся на давний интерес Вольтера к подробному жизнеописанию Петра. «Вы предлагаете мне, — отвечал он, — то, чего я желал в течение тридцати лет; я не мог бы лучше завершить свою карьеру, чем посвятить мои последние дни и силы этому труду». Для Вольтера работа над историей Петра была логическим развитием интереса, зародившегося десятки лет назад, и когда два года спустя на свет наконец появился первый том, он не указал на нем своего имени, но подписался как «автор *Истории Карла XII*»²⁹. Вопреки жалобам о «последних днях и силах», ему оставалось жить еще целых двадцать лет. Преувеличение собственной дряхлости (в 1757 году ему было 63 года) вполне согласуется с планами Вольтера, намеревавшегося отклонить приглашение Елизаветы, которая звала его в Санкт-Петербург для архивных изысканий.

Отказавшись, он завязал обширную переписку по поводу написания «Истории» прежде всего с Иваном Шуваловым, фаворитом Елизаветы, который обеспечил ему покровительство императрицы и в какой-то мере усмирил недовольных русских академиков. Самое же главное, Шувалов посылал Вольтеру исторические источники, так что Петра, известного любителя путешествий, снова отправили в Западную Европу, чтобы позировать для философического портрета³⁰. С самого начала автор намеревался сделать свое сочинение фактом европейской культуры: оно писалось по-французски, а читателями должны были стать все европейские дворы. В своем письме Вольтер напоминал об этом Шувалову, отвергая провинциальный взгляд на проблему: «Мы говорим обо всей Европе, так что ни вам, ни мне не следует ограничивать наш вид шпильями Санкт-

Петербурга»³¹. Шпилей этих Вольтер никогда не видел и уж, конечно, не знал, какая с них открывается панорама, но в письмах как бы принимал точку зрения своего русского корреспондента («ни вы, ни я»), дабы вместе они могли преодолеть ее ограниченность.

Именно авторство Вольтера превратило книгу о Петре в событие европейского масштаба, и сам философ вполне это осознавал: «Я предстану перед всей Европой, представляя ей эту историю». Именно по этой причине он сопротивлялся давлению русских, пытавшихся добиться от его сочинения еще большей хвалебности. «Многие образованные люди в Европе уже осуждают меня за то, что я собираюсь писать панегирик и играть роль льстеца», — писал он Шувалову в 1758 году, за год до публикации своего труда³². В 1763 году, когда оба тома уже вышли в свет, д'Аламбер в частном письме сообщал, что труд Вольтера «вызывает у меня тошноту низостью и пошлостью своих восхвалений», а по уверению принца де Линя, сам Вольтер признавался ему, что его соблазнили драгоценные меха, принесенные ему в подарок. Двадцатый век не отменил сурового приговора этой книге, и Питер Гэй называет ее «собранием отвратительной лести, притворяющимся историей»³³.

Несомненно, что с 1757 по 1763 год, во время работы над этим замыслом, Вольтер действительно испытывал давление из Санкт-Петербурга; однако источником его зависимости была не слабость к лисьим мехам, а потребность в исторических источниках. Вольтер, сам иностранец, писал свою историю Петра, в значительной мере опираясь на сочинения других иностранцев, главным образом на географический труд Страленберга (изданный по-немецки в Стокгольме в 1730 году и по-французски в Амстердаме в 1757 году, когда Вольтер начал работу над книгой) и воспоминания Джона Перри о его службе Петру в качестве морского инженера (изданные по-английски в Лондоне в 1716-м и по-французски в Париже в 1717 году, когда там был Петр). Вольтер, однако, рассчитывал, что его труд выиграет от использования русских источников, и они действительно прибыли, сначала в 1757 году карты, а затем переводы русских мемуаров, в избытке снабженных военными подробностями. Он хотел «разобраться в хаосе петербургских архивов», подобно тому как императрице Екатерине, на его взгляд, следо-

вало «упорядочить этот хаос» в Восточной Европе, от Гданьска до устья Дуная³⁴.

Предоставлявшиеся ему архивные выборки неизбежно определяли форму и содержание книги, но русские корреспонденты Вольтера слали ему и прямые указания, и критические замечания, заставляя его вполне обоснованно опасаться, что он окажется в роли «лстеца». В 1758 году он получил от Ломоносова три сочинения о Петре: «Слово похвальное Петру Великому», «Сравнение с Александром Великим и Ликургом», а также «Опровержение некоторых авторов», — которые не отдали должное Петру, в особенности самому Вольтеру и его «Истории Карла XII». Подобные предварительные наставления от Ломоносова говорили о все той же враждебности Петербургской академии; о ней же свидетельствовала и реакция Миллера, откликнувшегося на рукопись Вольтера сотнями поправок и особенно придиравшегося к французскому написанию русских имен. Вольтер избежал необходимости их учитывать, опубликовав свое сочинение в Женеве в 1759 году, якобы для того, чтобы опередить готовящиеся к выходу в Гамбурге и Гааге пиратские издания. Таким образом, неистребимый интерес Западной Европы и к Вольтеру, и к Петру перечеркнул последние попытки Петербургской академии взять образ царя под свой контроль. В 1763 году, в предисловии ко второму тому, Вольтер издевался над полученными им поправками к тому первому. Описывая, к примеру, первобытные народы Российской империи, он упомянул, что они поклоняются овчине, и его немедленно поправили: не овчина, а медвежья шкура. «Медвежья шкура гораздо достойнее поклонения, чем овечья, — саркастически писал Вольтер, — и надобно носить ослиную шкуру, чтобы заботиться подобной безделицей»³⁵. Так он превратил академиков в ослов; но «безделица» была не просто этнографической неточностью. Овчины, вновь и вновь возникавшие в описаниях Восточной Европы, были признанной эмблемой отсталости, и, возможно, Вольтер не случайно сделал именно их предметом поклонения.

Самой серьезной проблемой, которая возникла в переписке, развернувшейся вокруг работы над жизнеописанием Петра, была судьба царевича Алексея. «Печальный конец царевича немного меня смущает», — писал Вольтер Шувалову в 1759

году, предвидя возможные проблемы со вторым томом; у Миллера уже были наготове поправки к нему. Вольтер, конечно, готов был оправдать Петра, приговорившего сына к смерти, и оправдание это обуславливалось его общими представлениями о Петре и России, то есть его убеждением, что «этот человек в одиночку изменил величайшую империю в мире». Алексей хотел вернуть Россию к старым порядкам, «вновь погрузить ее во тьму», так что у Петра не оставалось иного выбора, кроме как «пожертвовать своим сыном ради безопасности империи»³⁶. Собственно говоря, именно такую версию и отстаивал Ломоносов, но Вольтеру пришлось пройти через щекотливый обмен мнениями с Санкт-Петербургом о столь своевременной смерти царевича в тюрьме. Вольтера просили поверить, что тот умер от естественных причин, возможно, от потрясения, когда ему объявили смертный приговор, но ни в коем случае не был убит по приказу Петра. В конце концов он не без иронии написал, что люди столь молодые «очень редко» умирают сами собой при зачитании им смертного приговора, но «доктора допускают такую возможность»³⁷. Смерть царевича и прочие подобные темы «смущали» Вольтера, напоминая ему его собственный тезис: «Он цивилизовал свой народ, но сам был дикарем». Чтобы обойти изобретенную им самим формулу, Вольтер объявил в 1757 году в письме Шувалову, что его не интересует частная жизнь Петра; он намеревается создать не жизнеописание, а «Историю Российской империи при Петре Великом»³⁸.

Уже начиная с 1745 года Вольтер называл свое сочинение «памятником» Петру, а затем и прямо «статуей», чье «живописное воздействие» зависело от сокрытия чересчур мелких деталей и личных изъянов. Как и у классических творений Фидия, эти мелочи «затмевались и стирались в сравнении с великими добродетелями, которыми Петр был обязан лишь себе, и в сравнении с героическими деяниями, на которые подтолкнули его эти добродетели»³⁹. Сочинение Вольтера превращалось в нечто вроде памятника герою, чьим шедевром была Россия, как сам он был шедевром Вольтера. Этот памятник был завершен с выходом в 1763 году второго тома, а в 1766 году в Санкт-Петербург отправился Фальконе, чтобы начать работу над настоящей статуей. Бронзовый Петр был помещен на гигантской скале дикого камня, подчеркивая, подобно монументу, созданному Вольтером, соотношение между

царем-героем и Россией, которая была сырым материалом для его творческих упражнений.

В сочинении Вольтера роль этой скалы играло помещенное в начале первого тома пространное «Описание России», ее первобытных племен, поклоняющихся овчине или чему там еще. Оно вышло в свет как раз вовремя, чтобы послужить основой для статьи де Жакура в четырнадцатом томе «Энциклопедии». Вольтер описывал край, где «все еще сливаются границы Европы и Азии», где «скифы, гунны, массагеты, славяне, кимерийцы, готы и сарматы и сейчас находятся в подданстве у царей»⁴⁰. Первый том завершался победой Петра над Карлом XII при Полтаве, и хотя Вольтер уже однажды побывал в лагере Карла, теперь он стал мудрее и понимал, что на кону стоит сама цивилизация. Если Петр проиграет, Россия «погрузится обратно в хаос»; если ему суждено победить, он сможет «цивилизовать (*policer*) обширную часть мира»⁴¹.

В своей монографии, посвященной «России Вольтера», Кэролин Уайлдбергер заключает, что «оптимизм Вольтера по поводу России был безграничен, поскольку он был одним из проявлений его оптимизма по поводу цивилизации в целом»⁴². Этот оптимизм достигает высшей точки в его описании Полтавы как триумфа цивилизации, но в 1759 году, когда вышел в свет первый том, появился еще и «Кандид», где оптимизм как таковой безжалостно осмеян, а вера в предназначение представлена нелепым заблуждением. К этому важнейшему повороту Вольтера подтолкнули жестокости продолжающейся Семилетней войны; он уморительно высмеивал философский оптимизм доктора Панглосса, и все-таки сам был Панглоссом, когда с усердным оптимизмом восхвалял успехи цивилизации в России. В «Кандиде» Европа — поле битвы между мародерствующими дикарями Восточной Европы, болгарами и аvaraми; но одновременно «История Петра Великого» предоставляет скифам, гуннам, славянам и сарматам надежду приобщиться к цивилизации. Год спустя, в 1760-м, в своей поэме «Русский в Париже» он, казалось, потерял долю былой уверенности: «Чему можно научиться на берегах Запада?»⁴³

В описании Вольтера взоры Петра были обращены к «нашим частям Европы», он «желал ввести в своих владениях не турецкие, не персидские, а наши обычаи». Употребляя первое лицо множественного числа, автор отождествлял себя с Запад-

ной Европой, «нашими частями Европы». Петр хотел ввести «платье наших народов», которому противопоставлялись одеяния прочих народов, круг которых очертил Вольтер, отметив сходство русского платья с одеяниями «поляков, татар и венгров древности»⁴⁴. Эти народы не были частью ни турецкого и персидского Востока, ни «наших частей Европы»: зажатые между ними, они были Восточной Европой. Работая над «Историей Петра Великого», Вольтер оговаривал свои шаги в переписке с русскими, и его сочинение стало чем-то вроде зеркала (но не железным занавесом), в котором читатели могли видеть свое собственное отражение, восхищаясь Петром за то, что он восхищался их платьем, их обычаями, их частью Европы. Положение двух сторон относительно друг друга видно уже из того, что Вольтер описывал западноевропейские путешествия Петра (даже уверял, что видел его в 1717 году в Париже), но сам отклонил приглашение в Санкт-Петербург. Его труд, плод длительной переписки, стал поводом завязать еще один обмен письмами, когда в 1763 году Вольтер послал Екатерине второй том своей истории.

«Ужинать в Софии»

«Мне кажется, — писал Вольтер Екатерине в 1766 году, — что если бы другой великий человек, Петр I, обосновался не на Ладожском озере, а в климате более мягком, если бы он выбрал Киев или какую-либо другую местность на юге, то, несмотря на мой возраст, я бы действительно оказался у ваших ног». До конца своих дней предавался он подобным эпистолярным мечтаниям о своем визите к Екатерине. Однако предполагаемые препятствия, суровый северный климат Санкт-Петербурга предоставили свободу его воображению и позволили ему в своих фантазиях встречать Екатерину по всей Восточной Европе. «Сейчас все взоры должны повернуться к звезде Севера», — говорил Вольтер в следующем письме, но никто более него не стремился подорвать эту традиционную условность, образ Российской империи как северной страны. Его собственный взор, подобно внешнеполитическим амбициям Екатерины, неизбежно переносился с севера на юг, обнаруживая там земли, наделенные явно восточными чертами. «Если

вы хотите совершать чудеса, — писал он в 1767-м, — постарайтесь сделать ваш климат чуть жарче». Речь, однако, шла не о метеорологическом чуде, а о неудачном географическом расположении самой России: «Когда вы поместите Россию на тридцатой широте вместо шестидесятой, я попрошу у вас позволения приехать туда, чтобы окончить свои дни»⁴⁵. В Восточной Европе даже факты географической науки находились в полном распоряжении просвещенного абсолютизма и капризных философов. Если перемещение с шестидесятой широты на тридцатую перенесло бы Санкт-Петербург куда-нибудь в окрестности Каира, то компромиссная сорок пятая широта приходилась на Крымский полуостров, где двадцать лет спустя, в 1787 году, к Екатерине действительно присоединились посланцы Западной Европы, вроде Сегюра и принца де Линя. Задолго до того, в 1773 году, Дидро доказал, что посещение Санкт-Петербурга вполне достижимо даже для стареющего философа.

Екатерина подыгрывала восточноевропейским фантазиям Вольтера, живописуя ему свои собственные путешествия. Она сожалела о невозможности чудесным образом изменить русский климат, но обещала осушить окрестные болота в надежде оздоровить петербургский. Наконец, она объявила о своем намерении совершить путешествие через всю Россию по Волге: «И, быть может, неожиданно для вас, вы получите письмо, отправленное из какой-нибудь хижины в Азии». Екатерина явно ссылалась на предложенный самим Вольтером образ империи, где «все еще сливаются границы Европы и Азии», намекая, что он может быть неожиданно вовлечен в азиатскую переписку. Она сдержала обещание и два месяца спустя написала ему из Казани: «Вот я и в Азии; я желала увидеть ее своими собственными глазами»⁴⁶. На самом деле Казань, стоящая на восточном берегу Волги, могла оказаться в Азии лишь на картах XVIII века, где границы так были подвижны. Они, однако, уже вытеснялись более современными картами, недвусмысленно помещавшими Казань в Европе. Если сама Екатерина, находясь в Казани, могла пребывать в некоторой неуверенности относительно границ между Европой и Азией, то ее далекий корреспондент во Франции тем более чувствовал эту утонченную географическую неопределенность. В конце концов, его «Описание России» в «Истории Петра Великого» заключало, что за Азовом «никто

более не знает, где кончается Европа и начинается Азия»⁴⁷.

Екатерина прямо обыгрывала в письмах фантазии Вольтера, сообщая ему из Казани о своем намерении ввести по всей России единообразные законы: «Вообразите только, что они должны употребляться и в Европе, и в Азии. Какое различие климатов, народов, обычаев, даже мнений!» Вольтер отвечал ей ссылкой на предисловие к его «Петру Великому», открывавшемуся риторическим вопросом: «Кто мог бы предсказать в 1700 году, что великолепный и утонченный двор будет основан на отдаленном берегу Финского залива?» Теперь, обсуждая с Екатериной ее Уложенную комиссию, он дополнил подробностями этот образ. «Я не мог бы предположить в 1700 году, что однажды Разум, — писал Вольтер (которому в 1700 году было лишь шесть лет от роду), — посетит Москву в облике принцессы, рожденной в Германии, и что она соберет в одной зале идолопоклонников, мусульман, православных, католиков, лютеран, которые все станут ее детьми». Он подчеркивал ее германское происхождение и объявил, что «в глубине сердца» он — тоже ее подданный. Мало того, он даже вообразил вымышленного автора своей книги в устье Волги, на границе между Европой и Азией: «Покойный аббат Базен часто говорил, что ужасно боится холода, но если бы не был так стар, обосновался бы к югу от Астрахани, чтобы насладиться жизнью под сению Ваших законов»⁴⁸. Восторги Вольтера по поводу кодификации законов Екатериной II были естественным продолжением петровского мифа, который он же сам ранее кодифицировал; когда под властью абсолютного монарха оказывались отсталые страны и народы Восточной Европы, эта власть безоговорочно признавалась орудием цивилизации и просвещения. В своей книге «Политические взгляды Вольтера» Питер Гэй заметил, что, когда речь шла о Екатерине, Вольтер был, вне всякого сомнения, сторонником просвещенного деспотизма, полагая, что «благодетельное самодержавие не может быть уместным в западных странах, но оно вполне уместно в стране, чье население все еще пребывает в почти первобытном состоянии»⁴⁹.

С 1768 года Екатерина воевала с Польшей и Турцией, и Вольтер предавался фантазиям о расширении ее владений, об объединении Восточной Европы под властью Разума, которую

олицетворяла собой немецкая принцесса.

С одной стороны, она принуждает поляков к терпимости и счастью, несмотря на сопротивление папского нунция; а с другой, она, похоже, ведет дела с мусульманами, несмотря на сопротивление Магомета. Ваше Величество, если они пойдут на Вас войной, то результатом может стать то, чего некогда намеревался достичь Петр Великий, а именно сделать Константинополь столицей Российской империи. Эти варвары заслуживают, чтобы героиня наказала их за недостаток уважения, который они до сих пор выказывали дамам. Совершенно очевидно, что люди, пренебрегающие изящными искусствами и запирающие женщин, заслуживают быть уничтоженными. ... Я прошу у Вашего Величества разрешения приехать и поместиться у Ваших ног и провести несколько дней при Вашем дворе, как только он будет перенесен в Константинополь; и я искренне считаю, что если Турок будет когда-либо изгнан из Европы, то сделают это русские⁵⁰.

В этом абзаце первый философ Просвещения предложил современную формулировку «восточного вопроса». Турок предстояло изгнать из Европы в наказание за варварские обычаи и пренебрежение искусствами; они заслуживали наказания, даже уничтожения, чтобы вся Европа могла вернуться в лоно цивилизации. Екатерина только что публично продемонстрировала свою приверженность науке и цивилизации, сделав себе прививку против оспы, и рекомендовала «Кандида» как великолепное обезболивающее средство. «Кандид» завершается благополучной встречей всех главных героев в Константинополе, и Екатерина с энтузиазмом отнеслась к фантазиям Вольтера, назначившего ей там встречу. Она посулила ему, «к его въезду в Константинополь», греческие одежды, подбитые «драгоценнейшими сибирскими мехами»⁵¹. Изобретение таких одежд показывало, что Греция, как часть все того же Восточного вопроса, все еще считалась причастной к открытию и освобождению Восточной Европы; однако эпоха эллинизма вскоре провела черту между истинными наследниками древней цивилизации и потомками древних варваров.

В 1769 году Вольтер был, как никогда, убежден, что турок нужно «навечно изгнать в Азию». Пока Екатерина читала его «Кандида», он читал французский перевод «Наказа», данного ею Уложенной комиссии, и говорил, что тот превосходит законы Солона и Ликурга. В Ферне Вольтер устроил его публичное чтение, и шестнадцатилетний швейцарский парень огром-

ного роста воскликнул: «Боже мой, как бы я хотел быть русским!» Вольтер отвечал: «Это зависит только от тебя» — и привел в пример швейцарца Франсуа Пиктета, который стал секретарем Екатерины. Он мог бы привести в пример и саму Екатерину. Предполагалось, что всякий может стать русским по собственному желанию или даже по прихоти, подобно тому как Восточная Европа была излюбленным маршрутом воображаемых путешествий. В данном случае Вольтер готов был отправить вместо себя шестнадцатилетнего швейцарца, подобно тому как раньше он посылал вымышленного аббата Базена. Этот юноша был достаточно молод, чтобы добраться до Риги с ее суровым климатом, выучить там немецкий и русский и затем поступить на службу к Екатерине в Санкт-Петербурге. Вымышленное путешествие Вольтера на этом не заканчивалось: «Если Ваше Величество решит, как я надеюсь, обосноваться в Константинополе, он быстро выучит греческий, поскольку турецкий язык должен быть изгнан из Европы, как и все, говорящие на нем»⁵². Здесь Вольтер отсылает нас к концепции Европы, куда более близкой к нашим современным представлениям, — Европы, определяемой лингвистически через противопоставление той области, где распространены азиатские языки; Гердер в те годы уже трудился над своими сочинениями, показывая связь между языком и культурой.

В 1769 году Вольтер следил за успехами екатерининских армий; в его воображении они достигали самых отдаленных углов Восточной Европы. В мае он спрашивал: «Азов уже в Ваших руках?» Или: «Вы также и повелительница Таганрога?». Затем, обращая свое эпистолярное внимание на другой театр военных действий, он воображал Екатерину «на дороге в Адрианополь», который он считал целью, достойной «северной законодательницы», хотя Адрианополь, конечно, не имел к северу никакого отношения. Себе Вольтер присвоил роль императора Иосифа II, воображая, что «если бы я был молодым императором Священной Римской империи, меня бы вскоре узрели Босния и Сербия, а затем я пригласил бы Вас на ужин в Софию или Филиппополис». Для Вольтера его фантазии о завоеваниях принимали личный оттенок; он становился повелителем Боснии и Сербии и готовился встретить Екатерину в Болгарии, «после чего мы всё разделим между собой (*nous partagerions*)». Очень важно, что он употребляет глагол *partager* за три года до раздела Польши, который якобы шокировал всю

Европу, в том числе и самого Вольтера. Указывать, какие именно земли они будут делить, особой нужды не было — когда на столе была вся Восточная Европа, от Азова до Адрианополя, от Болгарии до Боснии, объект для раздела нашелся бы. В конце письма Вольтер выбил в честь Екатерины воображаемую медаль, где она именовалась «*Triomphatrice de l'empire ottoman, et pacificatrice de la Pologne*»⁵³.

В сентябре Вольтер назвал победы, одержанные Екатериной под Азовом и Таганрогом, «жемчужинами» ее короны и полагал, что «Мустафа никогда не испортит Вам прическу». Султан вообще постоянно подвергался осмеянию, и то, что мусульманская Турция заключила с католической Польшей союз против Екатерины, было, по мнению Вольтера, достойно «итальянского фарса». На самом же деле именно они с Екатериной превратили Восточную Европу в подмости фарса, приглашая друг друга на ужин в Софию. Народы Восточной Европы выступали здесь как объект соперничества между султаном, царицей и престарелым философом: «Хотя я и стар, меня привлекают эти прекрасные черкешенки, давшие Вашему Величеству клятву верности и, без сомнения, дающие такую же клятву своим возлюбленным. Благодарение Господу, Мустафа не дотронется до них»⁵⁴. Это и в самом деле был фарс.

И все же Вольтер казался вполне искренним, когда уверял, что готов отправиться в Санкт-Петербург:

По правде говоря, мне будет семьдесят семь лет, и я не обладаю турецким здоровьем; но я не вижу, кто бы мог, в хорошую погоду, помешать мне отправиться с приветствиями к Звезде Севера и Проклятию Полумесяца. Наша мадам Жоффрен неплохо перенесла поездку в Варшаву, и почему бы в апреле мне не предпринять путешествие в Санкт-Петербург? Я прибуду в июне и вернусь в сентябре: если я умру по дороге, я велю написать на своей скромной могиле: «Здесь лежит поклонник августейшей Екатерины, которому выпала честь умереть, когда он направлялся засвидетельствовать ей свое глубочайшее почтение»⁵⁵.

Мадам Жоффрен посетила Варшаву в 1766 году, но на намерения Вольтера, возможно, повлиял еще один, более отдаленный пример — поездка в Стокгольм Декарта, умершего там в 1650 году, в гостях у королевы Кристины. Екатерина не нуждалась в столь хрупких гостях. Игриво принимая предполагаемый приезд Вольтера в Константинополь и приглашение на

ужин в Софии, она тем не менее сразу же отвергла его санкт-петербургские планы. Она не желала подвергать его тяготам «столь долгого и утомительного путешествия» и была бы «безутешна», если б пострадало его здоровье: «ни я сама, ни вся Европа мне этого не простят»⁵⁶.

Эпистолярное восхищение Вольтера Восточной Европой достигло новых фантастических высот. «Мадам, — объявил он в октябре, — убивая турок, Ваше Императорское Величество продлевает мои дни». Он был готов вскочить с кровати «с криком *Аллах, Катарина!*» и даже «*Te Catharinam Laudamus, te dominam confitemur*». Он сам был ее пророком: «Архангел Гавриил сообщил мне о совершенном бегстве всей оттоманской армии, о взятии Хотина и указал мне своим перстом дорогу на Яссы». Царица, таким образом, «отмстила Европе». При этом Екатерина получала титул *domina*, «властительница», а архангел указывал на границы ее европейских владений, Украину и Молдавию, в самом сердце Восточной Европы. В марте 1770 года, когда весна была уже на носу, Вольтер еще и не думал собираться в дорогу. На самом деле в очередном порыве воображения он уже предвкушал встречу не с Екатериной, а с самим Петром, «которого я скоро посетую в ином мире». В этом выдуманном мире он мог повстречаться и с султаном: «Почему бы ему не оказаться в Венеции во время карнавала 1771 года, вместе с Кандидом?»⁵⁷ Там, в Венеции, Кандид повстречал шесть свергнутых монархов, включая одного султана, двух королей Польши и одного царя, Ивана VI, который царствовал в России несколько месяцев в 1740—1741 годах и был, к облегчению Екатерины, убит в заточении в 1766 году, вскоре после ее восшествия на престол. По мере того как Екатерина прикарманивала все новые восточноевропейские земли, Вольтер готовился встречать все больше монархов на этом карнавале свергнутых и ограбленных.

В 1770 году Вольтер отправился в путешествие по Дунаю, куда еще не добрались армии Екатерины, открывая лежащие по его берегам восточноевропейские земли.

Я бы все равно желал, чтобы течение Дуная и судоходство по этой реке принадлежали Вам на всем протяжении Валахии, Молдавии и даже Бессарабии. Я не знаю, прошу ли я слишком многого или, наоборот, слишком малого: решить это предстоит Вам⁵⁸.

Даже предоставляя право окончательно распорядиться при-

дунайскими землями Екатерине, Вольтер считал возможным давать ей советы. «Я боялся, что Дунай невозможно пересечь», — писал он в сентябре, захваченный ходом военных действий. «Я, конечно, знаю об этом так мало, что даже не решаюсь спросить, сможет ли Ваша армия переправиться через Дунай, — писал он уже в октябре. — Мне остается лишь загадывать желания». Тем не менее военные достижения императрицы не успевали за пожеланиями Вольтера, так что ему оставалось лишь сетовать на то, что «турецкая раса еще не изгнана из Европы». В том же письме он восхищался Екатериной, ведущей войну за обладание «восточной империей»; но что же за восточная империя пригрезилась ему на берегах Дуная? Очевидно, если бы турок изгнали из Европы, оставленные ими земли были бы не восточными, а европейскими. В следующем письме он поздравлял Екатерину со взятием Бендер и удивлялся, почему она все еще не в Адрианополе; оба этих города тоже были частью Европы, но Европы Восточной. Сраженный недугом, он лежал в Ферне, и лишь известия о победах Екатерины могли вернуть ему силы. В декабре он признавался, что Екатерина возбудила в нем причудливые желания (*«un peu romanesque»*), и думал, что умрет от горя, если она не завоюет Константинополя. В самом начале 1771 года его воображение было занято лишь Дунаем, Черным морем, Адрианополем и Греческим архипелагом; он был готов «на носилках отправиться» в завоеванный Екатериной Константинополь⁵⁹. Не покидая кровати, Вольтер обзавелся в Восточной Европе собственной империей.

«СОЗДАНИЕ НОВОЙ ВСЕЛЕННОЙ»

В Ферне Вольтер поддерживал курсы часовщиков и в 1771 году вместо ружей и пистолетов посылал Екатерине партии швейцарских часов. Он писал, что мечтает основать поселение часовщиков в Астрахани, на Волге, где ранее он поселил вымышленного аббата Базена. Екатерина поддержала эту выдумку, вызвавшись навестить Вольтера в Астрахани, но предложила ему подумать взамен о Таганроге, на Азовском море, где климат был мягче и здоровее. Петр, уверяла она, некогда намеревался основать там столицу, лишь позднее остановив свой

выбор на Санкт-Петербурге⁶⁰. «В этом случае, я велю на носилках отнести меня в Таганрог», — отвечал Вольтер. Там собирался и закончить свой земной путь, ни *à la grecque*, ни *à la romaine*, то есть без выполнения церковных обрядов: «Ваше Величество позволяет каждому отбывать в мир иной так, как ему заблагорассудится». Когда Вольтер и вправду скончался в Париже в 1778 году, вокруг его отпевания разгорелся настоящий скандал; в 1771 году он представлял Восточную Европу фантастическим краем, где можно избежать этих проблем.

Узнав о покорении Екатериной Крыма, Вольтер вновь обрратил свое воображение к этому краю «прекрасной Ифигении». Он вспомнил, что Аполлон подарил татарину Абарису волшебную стрелу, которая могла переносить его с одного конца света на другой. Теперь же, благодаря екатерининским завоеваниям, Вольтер мог присвоить себе этот волшебный трофей: «Если бы у меня была эта стрела, я бы уже сегодня оказался в Санкт-Петербурге, вместо того чтобы, как глупец, слать знаки своего глубочайшего уважения и неколебимой привязанности повелительнице Азова, Каффы и моего сердца отсюда, из подножий Альп». Екатерина предложила отправить крымского хана танцевать в «Комеди Франсез», хотя, пожалуй, сам Вольтер пригласил бы его присоединиться к Кандиду на венецианском карнавале⁶¹. В первый день нового, 1772 года Вольтеру в его воображении рисовалась арена екатерининских побед, ее владения, простирающиеся непрерывно от Крыма до Польши и объединенные общей отсталостью и предрассудками. Крым представлялся ему «краем, где Ифигения резала головы всем иностранцам в честь прескверной деревянной статуи, похожей на Богоматерь Ченстоховскую». Двумя неделями позже Восточная Европа виделась ему как коллекция разных земель, и он воспевал присутствие там Екатерины: «Ваш дух проникает во все углы Крыма, Молдавии, Валахии, Польши, Болгарии»⁶².

В 1769 году Вольтер собирался разделить Оттоманскую империю и ужинать с Екатериной в Софии, а теперь, в 1772 году, пока Россия, Пруссия и Австрия готовились к разделу Польши, он восхвалял этот раздел как «благородное» и «полезное» дело, средство против анархии. Он по-прежнему настаивал на вторжении еще и в оттоманскую Европу, поскольку теперь, покончив с «этим великим проектом» в Польше, Екатерина могла осуществить «тот, другой», чтобы однажды воцариться в «трех

столицах: Петербурге, Москве и Византии»⁶³. Вольтер представлял себе кампанию против турок как пародию на крестовый поход (не без примеси, конечно, итальянского фарса) и в конце 1772 году послал в Санкт-Петербург его сценарий:

Я проповедую этот маленький крестовый поход уже четыре года. Некоторые праздные умы вроде меня настаивают, что недалеко то время, когда Святая Мария-Терезия, в согласии со Святой Екатериной, воплотят в жизнь мои горячие молитвы; что ничто не может быть легче, чем занять в одну кампанию Боснию и Сербию и даровать Вам победу под Адрианополем. Что это будет за милое зрелище, когда две императрицы надерут Мустафе уши и отправят его восвояси в Азию.

Они говорят, что, если эти две отважные дамы так хорошо поняли друг друга, что изменили облик Польши, они поймут друг друга еще лучше, чтобы изменить и Турцию.

Вот время великих перемен, вот создание новой вселенной от Архангельска до Борисфена⁶⁴.

На самом деле Екатерина отметила создание новой империи в 1787 году, отправившись вместе с Сегюром вниз по течению Борисфена, то есть Днепра. Риторика сотворения и великих перемен была во многом позаимствована из «Истории Петра Великого», но в 1772 году Вольтер имел в виду нечто большее, чем просто Российскую империю (хотя и меньшее, чем вселенная): в его воображении рисовалась потерянная некогда часть Европы, простиравшаяся от Архангельска до Адрианополя. При этом становилась очевидной роль «праздных умов вроде меня», то есть философов Просвещения, императорских суфлеров, проповедников крестовых походов, зрителей, ради которых и затевался весь этот спектакль. В 1773 году Вольтер набросал письмо, с которым Екатерина должна была обратиться к Марии-Терезии («моей дражайшей Марии»), напоминая ей, что турки дважды осаждали Вену и что теперь пришло время уничтожить их. Для императриц продолжение этой кампании будет «развлечением месяца самое большое на три — на четыре, после чего вы вместе устроите все, как вы устроили в Польше». Вольтер был в отчаянии от того, что мир заключался слишком рано и турки остались в Европе; он цеплялся за свою старую фантазию, собираясь лично (*c'est moi*) переправиться через Дунай и скакать «галопом к Адрианополю»⁶⁵.

Однако, как Вольтер и предполагал, Мария-Терезия не

слишком-то стремилась к разделу Османской империи. Раздел католической Польши она считала деянием позорным, быть может, даже смертным грехом, совершить который ее вынудили государственные соображения, и расчленение Турции, хотя и мусульманской державы, вызывало у нее такое же отвращение. Более того, османские владения в Европе, вроде Боснии и Сербии, она считала «нездоровыми» и «безлюдными» и думала, что присоединение их скорее ослабит, чем усилит ее империю. Даже Кауниц, смотревший на предлагаемый раздел более благосклонно, решил в 1771 году, что с приобретением Валахии и Молдавии в состав империи Габсбургов войдут «самые дикие народы»⁶⁶. Сам Вольтер, который в 1773 году был готов скакать галопом к Адрианополю во Фракии, в 1756 году с пренебрежением писал об этом крае в своем «Опыте о нравах». «Наши части Европы, — писал Вольтер, — должно быть, имели в нравах своих и своем духе характер, которого недостает во Фракии, где турки основали столицу своей империи, или в Татарии, из которой они некогда пришли»⁶⁷. Для Вольтера, однако, отсталость Восточной Европы, мерилom которой и служили манеры, была не препятствием для аннексии, а, напротив, оправданием имперских попыток вернуть ее в лоно цивилизации.

Среди прочих предупреждений, которые Вольтер слал своей «дражайшей Марии», он писал в 1773 году, что, если турков не выгнать теперь из Европы, барон де Тотт («у которого достает гения») подготовит их к будущим войнам. Начиная с 1770 года имя де Тотта регулярно всплывало в письмах Вольтера к Екатерине: «Как француз, я немного огорчаюсь, когда слышу, что шевалье де Тотт укрепляет Дарданеллы»⁶⁸. Вольтер считал Тотта представителем Франции в Константинополе, а потому не только врагом Екатерины, но и своим личным соперником за право покорить Восточную Европу, опираясь на мудрость Запада. Его наиболее очевидным соперником был, конечно, Руссо, философ, как и он, но придерживавшийся прямо противоположных взглядов на Россию и Польшу; тем не менее Тотт все равно беспокоил Вольтера — беспокоил именно потому, что как офицер, как инженер, даже как путешественник мог вести битву за Восточную Европу недоступными Вольтеру способами. Стоило Тотту опубликовать в 1785 году свои мемуары, как ему немедленно бросил вызов его

вымышленный соперник, барон Мюнхгаузен. Пребывание Тотта в Константинополе придало в глазах Вольтера почти эпический характер продолжающимся в Восточной Европе войнам, где французы, подобно олимпийским богам, сражались на обеих сторонах. В 1771 году Тотт удостоился иронического поздравления как «защитник Мустафы и Корана»; сообщалось, что в Польше некоторые французы сражались против Екатерины, на стороне Барской конфедерации. Среди них был и один писатель, Станислас-Жан де Буффлер, родом из Лотарингии, сын любовницы Станислава Лещинского. «Я умоляю Ваше Величество захватить его в плен, — с иронией обращался Вольтер к Екатерине, — он Вас немало позабавит». Более того, «он будет складывать Вам песни; рисовать с Вас этюды; он напишет Ваш портрет, хотя и хуже, чем те, которые мои колонисты в Ферне рисуют на своих часах». Вне зависимости от их партийной принадлежности, Вольтер неизбежно рассматривал французов как посланцев наук и искусств в Восточной Европе. Поскольку Буффлер и Тотт оказались среди врагов Екатерины, Вольтер тем решительнее встал под ее знамена. Она была «первейшим лицом во всей вселенной», и он не сомневался, что Екатерина «одной рукой унизит оттоманскую гордость, а другой умиротворит Польшу». Хотя он не мог строить крепостей на Дарданеллах или бороться с фанатизмом в Польше, Вольтер надеялся, что однажды он и его часовщики из Ферне будут «трудиться на благо обширной Российской империи»⁶⁹.

Обнаружив, что французы сражаются против Екатерины, тогда как некоторые татары встают на ее сторону, Вольтер объявил, что «татары оказались цивилизованными, а французы превратились в скифов». Что до самого Вольтера, то «если бы я был моложе, я стал бы русским»⁷⁰. Весь эффект такой риторической инверсии цивилизационного соотношения между Западной Европой и Европой Восточной был основан на откровенно ироническом изумлении: французы стали скифами! Вольтер стал русским!

Сам Вольтер понимал, что может принести Екатерине лишь весьма ограниченную пользу. «Мадам, — писал он в начале 1772 года, — я боюсь, что Ваше Императорское Величество утомят письма старого швейцарского резонера, который ничем не может Вам услужить, который может предложить Вам лишь свое бесполезное усердие, который сердечно ненавидит Мус-

тафу, который не любит польских конфедератов и который в своей пустыни лишь взывает к форелям Женевского озера: «Восславим Екатерину II»». Роль Вольтера сводилась к поздравительным письмам, но посредством этих писем императрица и философ могли обмениваться тривиальными символами цивилизации. В 1772 году Вольтер предложил отредактировать Мольера, сделав его пьесы пригодными для воспитанниц Смольного института в Санкт-Петербурге. «Этот небольшой труд развлечет меня, — писал он, — и не причинит ущерба моему здоровью». Рекомендовал он и подходящую к случаю новую пьесу, где действовали «татары двух видов (*espèces*)», обещая прислать ее, как только она появится в печати. Екатерина отвечала, что воспитанницы уже представляли на сцене «Заиру» самого Вольтера. Она с благодарностью приняла его предложение кастрировать французскую классику и, не без легкого эротического оттенка, заверила старика, что юные смолянки представляют собой прелестное зрелище: «Если бы вы только могли их видеть, они заслужили бы ваше одобрение». Как раз в это время Екатерина принимала у себя при дворе молодого татарского князя, чьи крымские владения она только что завоевала; по воскресеньям он ездил с ней в Смольный смотреть представляемые институтками пьесы. Дабы Вольтер не опасался, что она «пускает волка к агнцам», Екатерина заверила его, что князя отделяет от девушек на сцене двойная балюстрада⁷¹. Эта ситуация отлично отражала общие заботы двух цивилизаторов: Вольтер поставлял в Петербург французские пьесы о татарах, Екатерина в Петербурге знакомила татар с французскими драмами в исполнении русских девушек.

Весной 1772 года Екатерина послала Вольтеру семена, чтобы он мог посадить в Ферне сибирские кедры. В мае он опустил семена в землю, отметив их восточноевропейское происхождение: «Быть может, однажды эти кедры укроют в своей тени каких-нибудь женевцев; но женевцы, по крайней мере, не встретят в их тени сарматских конфедератов». С удовольствием услышав о его посадках, Екатерина отметила, что, каждый в своих владениях, они предаются схожим занятиям.

Вы сеете семена в Ферне; этой весной я делаю то же самое в Царском Селе. Вам, возможно, будет трудно выговорить это имя; я, однако, нахожу это место превосходным, потому что именно там я сею и сажаю. Баронесса Тундер-тен-Тронк считала свой замок

самым прекрасным из всех возможных замков. Мои кедры уже длинной с мизинец; а как ваши? Я теперь без ума от английских садов⁷².

Екатерина и Вольтер обнаружили тот мир, где исчезали основные различия между Ферне и Царским Селом, между Западной Европой и Европой Восточной, тот самый лучший из всех миров, изобретенный Вольтером, где Кандид мог сажать свой сад. Единственным напоминанием обо всем, что разделяло двух корреспондентов, было название, которое «вам, возможно, будет трудно выговорить». Вольтер не забыл эту фразу и позднее в том же году с сарказмом отозвался о «Богоматери Ченстоховской, чье имя мне очень трудно выговорить»⁷³. Эта игра ничуть не утомляла Екатерину и Вольтера, так как в письмах имена, конечно, не надо было выговаривать. Тем не менее взаимное признание общей слабости помогало сконструировать область непроницаемой славянской фонетики, простиравшуюся от екатерининского замка в России до укрепленного монастыря ее врагов в Польше.

«Я просил у Вашего Величества сибирских кедров, — писал Вольтер. — Теперь я осмеливаюсь просить у Вас петербургских комедий». Речь, возможно, шла о ее собственных любительских сочинениях, но в любом случае их надо было послать во французском переводе, так как Вольтер объявил себя слишком старым, чтобы учить русский. В конце 1772 года он отправил еще одного путешественника посетить Россию и выучить русский вместо себя, молодого человека, «который на треть немец, на треть фламандец, на треть испанец и хочет сменить эти три трети и стать совершенно русским». Это уравнивание вновь подчеркивало различия между Россией и Западной Европой, одновременно предполагая возможность превращений и пересаживаний на новую почву. Однако самым важным посетителем Санкт-Петербурга в 1773 году был и не юный протеже, и не вымышленный персонаж Вольтера, а его собрат по философскому цеху, Дени Дидро. Вольтер писал Екатерине, что Дидро «счастливейший из французов, поскольку он отправляется к Вашему двору». Это путешествие, однако, глубоко беспокоило Вольтера, бросая вызов главной иллюзии, на которой и основывалась вся переписка с Екатериной, — иллюзии, что философский и географический занавес, отделяющий Восточную Европу от Европы Западной, преодолим лишь посредством волшебной стрелы или переписки. Теперь же Дидро готовил-

ся лицом к лицу столкнуться с русской реальностью, а Вольтеру оставалось фантазировать и принимать в своих письмах напыщенные позы: «Я же простираю свои руки к звезде Севера»⁷⁴. Ему не суждено было скакать галопом к Адрианополю.

«МЕЧТАНИЯ НАЕДИНЕ С САМИМ СОБОЙ»

Жак Анри Бернарден де Сен-Пьер прибыл в Санкт-Петербург в 1762 году, всего через месяц после переворота, приведшего на престол Екатерину. Он пересекал Балтику на одном судне с англичанами, французами и немцами, которые все надеялись составить себе в России состояние, подвизаясь в качестве певцов, танцоров или даже парикмахеров; они несли цивилизованные искусства в страну, где в них предполагалась нужда. Такая компания может показаться странной для Бернардена де Сен-Пьера, который много позднее, в 1788 году, прославился как автор «Поля и Виргинии», живописавший любовную идиллию на уединенном острове, затерянном вдали от цивилизации. В 1762 году, однако, он сам был искателем приключений, надеявшимся составить состояние и делавшим ставку на развитие цивилизации в России. Конечно, можно сказать, что и сама Екатерина была в России иностранной авантюристкой, сорвавшей в тот год невиданный куш. Бернарден де Сен-Пьер хотел основать в ее владениях, на Аральском море, «небольшую республику европейцев» (то есть привлечь еще больше авантюристов), которая бы служила торговым посредником между Европой и Азией. Русское правительство, однако, не спешило поддержать его планы, и, разочаровавшись, он в 1764 году отправился в Польшу, где в конце концов стал одним из французов, к смущению Вольтера, сражавшихся против Екатерины⁷⁵.

В 1764 году, когда Бернарден де Сен-Пьер отбыл из России, туда прибыл другой, гораздо более фривольный авантюрист, а именно Казанова. В Санкт-Петербурге он очутился в окружении французских и итальянских певиц и танцоров, включая нескольких ветеранов, приплывших на одном судне с Бернарденем де Сен-Пьером. Казанова тоже надеялся произвести впечатление на Екатерину. В своих мемуарах он утверждает, что прогуливался с царицей в Летнем саду и советовал

вести в России григорианский календарь. Он хотел поступить к ней на службу, «хотя сам не знал, к какой должности» гордился в стране, которая ему «к тому же не нравилась», разочаровался и в 1765 году отправился все в ту же Польшу⁷⁶. Возможность прогуливаться с Екатериной и наставлять ее в деле просвещенного реформаторства воплощала в себе самую суть восточноевропейских фантазий, лелеемых западными философами и искателями приключений. При этом их мечты о власти, о влиянии на государственные дела, о доступе к источнику законов и распоряжений были отлично приспособлены к эпистолярному жанру; Вольтер и Екатерина сажали кедры каждый в своем саду, хотя им не суждено было вместе прогуливаться ни в одном из них. Посетив Санкт-Петербург, Дидро нашел самый убедительный способ претворить эту фантазию в жизнь. Барон Мюнхгаузен довел ее до абсурда, переплюнув самого Казанову по части императорских милостей: он якобы получил от Екатерины ни много ни мало как предложение «разделить с ней постель и трон», которое галантно отклонил⁷⁷.

Этот мудрый отказ был не просто выдумкой, но отголоском, по крайней мере, одного в высшей степени знаменитого и публично отвергнутого приглашения (хотя и не столь экстравагантного — постель и престол). Речь идет о Жане д'Аламбере, сотруднике Дидро по «Энциклопедии», которого Екатерина пригласила в 1762 году воспитателем к своему сыну и наследнику. Письмо с приглашением было опубликовано французской Академией как свидетельство успехов Просвещения в России, а Тома, работавший над своей «Петриадой», превозносил до небес писательские способности Екатерины, как поистине невероятные «для древней страны татар и скифов». Многие восхищались отказом д'Аламбера как проявлением независимости, хотя сам он в письме Вольтеру объяснял его другими мотивами: «Я тоже страдаю геморроем»⁷⁸. Смерть своего убитого заговорщиками мужа Екатерина объяснила «геморроидальными коликами», так что в ответе д'Аламбера можно было прочесть и долю сарказма. С другой стороны, в 1765 году в Санкт-Петербурге Казанова действительно мучился геморроем. Когда д'Аламбер в 1772 году написал Екатерине, призывая ее во имя философских принципов вернуть свободу французам, попавшим в плен в Польше, она ответила ему очень прохладно и безо всякого интереса. Отказ д'Аламбера мог бы и

забыться по прошествии десяти лет, тем более что в 1773 году Екатерине предстоял визит другой знаменитости — Дидро.

О поездке в Россию Дидро начал подумывать еще в 1765 году. Как раз в тот год Казанова прогуливался с Екатериной в Летнем саду, и как раз в тот год началась ее переписка с Вольтером. В тот же самый год Дидро, оказавшись на мели, решил продать свою библиотеку, и, услышав об этом, Екатерина не только приобрела ее, но и оставила в его пожизненном распоряжении, выплачивая ему ежегодную стипендию за сохранение книг, ставших теперь ее собственностью. Вольтер был крайне воодушевлен придуманной Екатериной инверсией цивилизационных ролей: «Кто бы мог предположить пятьдесят лет назад, что скифы столь благородным образом вознаграждают в Париже добродетели, науки и философию, с которыми у нас обходятся недостойно?» Однако благодарственных писем было недостаточно, чтобы вознаградить подобную щедрость. «Если я не съезжу туда, — терзался Дидро, — я не смогу оправдаться ни перед ней, ни перед самим собой»⁷⁹. Его библиотека отправилась в Петербург после смерти Дидро; самому же философу пришлось совершить это путешествие еще при жизни. Он, однако, колебался и продолжал воспевать ее славу издали, призывая философов поддержать ее начинания, приобретая по ее поручению книги и картины для отправки в Петербург, отряжая впереди себя своих протеже.

В 1766 году в Россию отправился Фальконе, чтобы взяться за памятник, который Екатерина хотела воздвигнуть Петру; в 1773-м он встретил в Петербурге Дидро и оставался там до 1778 года. В письме мадам Жоффрен в Париж Екатерина не скрывала, что приглашение Фальконе она согласовала с высшими философскими авторитетами: «Г-н Дидро посоветовал мне приобрести человека, который, как мне кажется, не имеет себе равных; это Фальконе, и он все собирается приступить к статуе Петра Великого»⁸⁰. В 1767 году Дидро отправил к ней менее приятного гостя, физиократа Лемерсье де ла Ривьера. Его приезд был столь же тщательно подготовлен, и Дидро теперь просил находившегося в Санкт-Петербурге Фальконе представить Лемерсье Екатерине: «Когда у императрицы будет этот человек, ей не понадобятся все эти Кенэ, Мирабо, Вольтеры, Дидро и д'Аламберы». Лемерсье мог даже «примирить ее с потерей Монтескье», который умер в 1755 году. Один-един-

ственный экономист-философ, автор одной прославившей его книги, вышедшей совсем недавно, в 1767 году, мог заменить собой все западноевропейское Просвещение, особенно самого Дидро, так до сих пор и не посетившего Россию. Случай с Лемерсье, однако, наглядно показал, какая неловкость могла возникнуть при личной встрече абсолютного монарха и просвещенного философа, особенно в Восточной Европе, где на роль носителя цивилизации и господина мог претендовать всякий. На дворе был 1767 год, год Уложенной комиссии и «Наказа», но Екатерина обнаружила, что покойный Монтескье был менее высокомерным философским наставником, чем живой и здравствующий Лемерсье. Он только недавно вернулся с Мартиники, где представлял интересы французской короны, и теперь возомнил себя представителем Просвещения в России. Он решил пересмотреть самую знаменитую фразу из Фонтенелева панегирика, *«tout était à faire»* («все еще только предстояло создать»), и изложил свой вердикт в письме аббату Рейналю, другому знатоку Вест-Индии: «Все еще только предстоит создать в этой стране; а еще вернее, все еще только предстоит разрушить и создать заново»⁸¹.

Екатерина возненавидела Лемерсье, и хотя уже в 1768 году он уехал домой во Францию, она не забыла о нем. В 1774 году она писала Вольтеру о Лемерсье, «который шесть лет тому назад возомнил, что мы ходили на четвереньках, и любезно взял на себя беспокойство прибыть с Мартиники, дабы научить нас ходить прямо». В 1787 году, по дороге в Крым, она сказала Сегюру, что Лемерсье «взял себе в голову, будто я позвала его помочь мне управлять империей, вывести нас из тьмы варварства благодаря его обширным способностям». В 1788 году эта история была представлена на сцене Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге: окарикатуренный Лемерсье был главным персонажем в драме «Regimania». «Я, несомненно, поеду в Россию, — писал Дидро в письме Фальконе в 1768 году, уже после скандала с Лемерсье, — но никого больше туда не отправлю»⁸². Тем не менее он еще пять лет откладывал свою поездку.

Первый том «Энциклопедии» вышел в 1751 году, а последний появился только в 1772-м. Завершив труд всей своей жизни в Западной Европе, он наконец отправился в Россию, прибыв в Санкт-Петербург в октябре 1773 года. С точки зрения Западной Европы он снисходил до встречи с Екатериной,

и несмотря на все его поэтическое воспевание Петра, Тома считал эту «встречу императрицы и философа» чем-то чрезвычайным. По свидетельству Тома, общественное мнение не одобряло этой поездки, полагая Дидро «божеством», которое «не должно никогда покидать своего святилища». Самого Дидро беспокоили лежащие впереди расстояния, которые отделят его от друзей «земным полудиаметром». Он опасался умереть вдали от дома, подобно Декарту⁸³. Тем не менее Дидро провел в Санкт-Петербурге зиму 1773/74 года; он иногда хворал, но тем не менее выжил. В Санкт-Петербурге он регулярно встречался и подолгу беседовал с Екатериной. По свидетельству Гримма, бывшего в России одновременно с ним, Дидро вовсе не принимал торжественных поз и не играл во «встречу императрицы и философа»; напротив, он «хватает ее ладони, берет ее под руку, барабанит по столу, как будто он посреди синагоги на рю Руайаль». Он так бурно жестикулировал, что Екатерине якобы пришлось поставить между ними столик, чтобы философ не наставлял ей синяков. Несмотря на это, она восхищалась его «неутомимым воображением» и причисляла Дидро к «самым необычайным людям, когда-либо жившим на свете»⁸⁴. Его воображение питала сама Екатерина, ее самодержавная власть над Россией и значение этой власти как средства практически применить философию в деле цивилизации — на расстоянии земного полудиаметра, в Восточной Европе.

Этот же самый наркотик пропитал страницы писем, которыми обменивались Вольтер и Екатерина, прячась на полях и между строк, среди их взаимных восхвалений. Насколько Дидро мог затрагивать те же самые вопросы при личной встрече с императрицей, хватая ее за руку и барабанив по столу, видно из его интереснейших меморандумов, написанных во время пребывания в Санкт-Петербурге. Дидро писал пространные сочинения в форме писем, адресованных Екатерине, несмотря на то, что благодаря частым встречам с императрицей отправлять их не было особой нужды. Эти сочинения были записью не того, о чем Дидро говорил с Екатериной (хотя их потом и опубликовали как «беседы», или *«entretiens»*), а того, о чем он хотел бы, но не мог говорить прямо. Екатерина оставила их у себя, и записная книжка Дидро, в переплете красной марокканской кожи, хранилась в России на протяжении XIX века, была подарена Морису Турно в 1882-м и опубликована в Париже в

1899 году⁸⁵.

«Беседа», которая лучше всего отражает особенности этой литературной формы, носит многозначительное заглавие «Мечтания Дени-Философа наедине с самим собой». Эта «беседа» написана в форме письма к «Вашему Императорскому Величеству», иногда просто к «Мадам», но для Дидро оно сохраняло оттенок обращенной к самому себе задумчивой мечтательности. Подобно остававшемуся далеко в Ферне Вольтеру, Дидро, даже находясь в Санкт-Петербурге, даже хватая Екатерину за руки, не мог сбросить оковы своего неистощимого воображения, дававшего простор его фантазии, но преграждавшего непосредственный доступ к императрице. Занавес, протянутый между Западной Европой и Европой Восточной, разделял Философию и Власть, подобно барьеру, так что Дидро проехал половину земного диаметра, чтобы поговорить с самим собой. С самого начала в его записках неловко соединялись взаимоисключающие элементы частного размышления и эпистолярного обращения: «Я беру на себя смелость обратиться к Вашему Императорскому Величеству с этими мечтаниями». В конце записной книжки Дидро призывал Екатерину проявить снисхождение к «мечтаниям», открывавшим ей «картину сколь тщетных, столь и необычных усилий болтуна, возомнившего своим маленьким умишком, будто он управляет великой империей»⁸⁶. Дидро приходилось уничижительно называть свои меморандумы «мечтаниями» и адресовать их не Екатерине, а самому себе, именно потому, что в этих «беседах» он явно брал на себя лишнее. Его сны наяву лишь чуть-чуть не дотягивали до фантазий барона Мюнхгаузена.

Поездка Дидро была знаком его личной признательности, но французское правительство поручило ему по мере сил улучшить отношения с Россией. В «Мечтаниях наедине с самим собой» он подтверждал культурные связи между Францией и Россией, начиная с культа самой Екатерины:

В Париже нет ни одного порядочного человека, ни одного человека, хоть немного одухотворенного и просвещенного, кто бы не восхищался Вашим Величеством. На ее стороне все академии, все мудрецы, все писатели, и они этого не скрывают. Все прославляют ее величие, ее добродетели, ее гений, ее доброту, те усилия, которые она предпринимает, чтобы водворить науки и искусства в своих владениях⁸⁷.

Тем не менее, писал Дидро, несмотря на все эти восхвале-

ния, французы все равно ее недооценивают. Отбросив формальности императорского титула, он обратился к ней напрямую, в обычном для писем втором лице: «Мои добрые соотечественники полагают, что знают Вас (*vous connaître*)!» Дидро обещал научить их еще больше ценить ее. Однако, приближаясь к заключению, Дидро неожиданно обращается не к Екатерине, а к тем самым соотечественникам, предлагая им присоединиться к своей фантазии, в центре которой — Екатерина: «О! Друзья мои! Представьте эту женщину на троне Франции!» Сделав своих друзей-французов ее подданными, Дидро сразу же пригласил их в Россию: «Приезжайте в Петербург хотя бы на месяц. Приезжайте освободиться от давно унижающих вас оков; только тогда вы почувствуете себя теми, кто вы есть на самом деле!»⁸⁸ К концу столетия личные мечтания Дидро (которые он распространял на всех своих соотечественников) стали сюжетом водевилей, вроде поставленного в Париже в 1802 году «*Allons en Russie!*» («*Поедемте в Россию!*»). Подобное путешествие было в то время якобы не просто «модой», а «настоящим фурором». Действующие лица включали художника, актрису, танцора, парикмахера и писателя, которые надеялись приобрести в России состояние⁸⁹. Десять лет спустя припев «*Allons en Russie!*» был подхвачен Наполеоном.

В своих мечтаниях Дидро заявлял, что обзавелся новой душой на русской границе, в Риге, и уверял своих друзей: «Я никогда не чувствовал себя более свободным, чем проживая в стране, которую вы зовете страной рабов, и никогда не чувствовал более поработанным, чем проживая в стране, которую вы зовете свободной». Он почти дословно повторил эту формулу в письме Екатерине из Гааги в 1774 году: прибыв туда из России, он сразу сообщил ей, что, к большому сожалению, в Риге к нему вернулась «противная, мелкая, трусливая душонка, которую я там оставил». То, что Дидро в России не ощущал себя рабом, совсем неудивительно, поскольку он не трудился вместе с крепостными, а беседовал с царицей. Новая, свободная душа, которую он якобы в себе обнаружил, была, в сущности, мыльным пузырем интеллектуальной экстерриториальности, отгородившей его от окружающего мира и принудившей мечтать наедине с самим собой. Намереваясь обратиться к Екатерине, он вместо этого обращался к своим друзьям во Франции, поскольку только они и могли оценить то, что он испытал в России. Они могли отличить страну рабов от страны свобод-

ных людей; он просто поменял местами слова, сохранив карту, построенную на все том же противопоставлении; новым был лишь код для ее чтения. Свободным в стране предполагаемого рабства он ощущал себя именно потому, что в стране этой посетители из Западной Европы представляли себя господами.

Духовное преображение Дидро в Риге стало началом непрерывных русских мечтаний, приобретших литературную форму в «Мечтаниях наедине с самим собой». Эта «беседа» завершилась буйной международной фантазией:

И затем, я бы с радостью перенесся (*transporté*), чтобы увидеть мой народ соединенным с Россией, множество русских в Париже и множество французов в Петербурге. Ни одна нация в Европе не офранцузилась (*se francise*) быстрее, чем русские, и языком, и манерами⁹⁰.

Двойственное значение слова «перенесся» подчеркивало, что для Дидро поездка в Россию означала самопроизвольное «перемещение» в его собственном сознании; так и Вольтер мог путешествовать по Восточной Европе, не покидая Ферне. В Санкт-Петербурге Дидро воспевал офранцузенную Россию; единая Европа в его представлении могла быть лишь Европой французской. Оптимистические фантазии о культурном обмене чем-то напоминали водевильный припев «*Allons en Russie!*», и хотя отдельные люди перемещались в обоих направлениях, с запада на восток и с востока на запад, вектор культурного влияния, несомненно, указывал на Санкт-Петербург. В то же время, надзирая, из любезности Екатерине, за русскими студентами в Париже, он убедился, что и русских можно совратить французскими пороками, если не «подвергать их суровой дисциплине»⁹¹. Превращение во француза, в цивилизованного человека возможно лишь благодаря дисциплине; превращение в русского, и для Дидро, и для Вольтера, было уделом фантазий и мечтаний.

«Исполнить план цивилизования»

Дидро беседовал с Екатериной, хватал ее ладони, брал ее под руку, но обсуждать Россию он предпочел с самим собой. Хотя его пребывание в России и позволило устроить «встречу императрицы и философа», сам Дидро при этом занимал до-

вольно пассивную позицию и не решился отстаивать право философии на более активную роль. В одной из «бесед» он отважился дать конкретный совет, но предварительно обставил свою самонадеянность тысячей извинений, и уже сама конкретность этого совета подчеркивала неуместность более отвлеченного философствования. Казанова советовал Екатерине сменить календарь; Дидро предложил ей перенести столицу. Его записка озаглавлена: «О столице и о подлинном центре империи. Сочинение слепца, который взялся судить о красках». И Дидро, и век Просвещения в целом всегда интересовались образом слепца как эпистемологической моделью; в данном случае этот образ символизировал барьеры, разделяющие философию и власть, Западную Европу и Европу Восточную. Дидро начал с насмешек над Лемерсье и над самим собой:

Я не писал в Петербург из Риги, в отличие от француза, славшего письма из Берлина в Москву, человека достойного и честного, но до смешного уверенного, что его способности и прежние должности дают повод исполняться важностью: «Подождите, Ваше Величество: нельзя сделать ничего путного, не выслушав прежде меня; если кто-нибудь и знает, как управлять империей, так это я! (*c'est moi!*)». Даже будь это правдой, уже сам его тон насмешил бы любого⁹².

За пятнадцать лет до постановки «Regimania» в Эрмитажном театре Дидро, на потеху Екатерине, превратил в их частной переписке Лемерсье в персонаж фарса. Тем не менее именно сам Дидро рекомендовал его императрице в 1767 году, и за пародийным тоном их «беседы» еще проступали следы этой рекомендации — в конце концов, Лемерсье оставался «человеком достойным и честным». Дидро знал, что благодаря его собственной самонадеянности, хотя и смягченной напряженной рефлексией и обильными оговорками, он и сам может показаться «болтуном, возмнившим своим маленьким умишком, будто он управляет великой империей». Он, однако, извинял эту свою слабость, осознавая, что Екатерина терпит его, подобно тому «как она позволила бы одному из своих детей лепетать все невинные глупости, которые им приходят на ум»⁹³. После этих оговорок он перешел к своему предложению перенести столицу из Петербурга в Москву.

Именно таким манипуляциям Западная Европа подверга-

ла в XVIII веке карту Европы Восточной; несколько лет любимым развлечением Вольтера было размышлять о переносе российской столицы в Киев, в Азов или в Константинополь. XX век показал, что самым удачным было предложение Дидро, но в XVIII веке Екатерина прощала обоим философам их самонадеянность именно из-за очевидной фантастичности их рекомендаций. Дидро был обеспокоен нравами (*moeurs*) Петербурга, где «вперемешку толпились все нации мира», отчего город приобрел «нрав Арлекина». Он, конечно, имел в виду разношерстную компанию художников, актрис и парикмахеров, пливших на одном судне с Бернарден де Сен-Пьером; среди них могли быть и итальянские актеры, которые представляли комедию дель арте и одного из ее героев, самого Арлекина. Был в этой толпе, конечно, и заезжий французский философ, вроде самого Дидро. Тем не менее всех этих иностранных персонажей можно было описать как побочный продукт цивилизации, а отвращение, которое они вызывали у Дидро, выдавало мелькавший у него скептицизм по поводу всей многообещающей программы, которую Просвещение готовило для Восточной Европы. Разве не был и сам он лишь Арлекином при екатерининском дворе? Подавив в себе сомнения, он воображал, что в Москве все будет по-другому: «Собирается ли Ваше Величество осветить (*éclairer*) обширное помещение одним-единственным факелом? Где следует ей поместить этот факел, дабы все окружающее пространство было освещено наилучшим образом?»⁹⁴ В центре, конечно, то есть в Москве; Дидро, однако, не уточнил, в чьей руке этот факел, царицы или философа. Не подумал он и о том, что, подобно летящим на свет мошкам, вслед за двором в Москву неизбежно последуют и парикмахеры с танцорами.

Надежды Дидро на Москву тоже были частью его мечтаний, поскольку сам он никогда не бывал в этом городе. «Я упустил возможность посетить Москву и немного сожалею об этом», — писал он позднее. «Петербург — это лишь императорский двор, и там в одну кучу смешались дворцы и хижины». В типичной манере своего века, его собственное замешательство превратилось в хаотичность самого города. Он признавался, что «едва ли видел что-либо, кроме самой государыни»⁹⁵. Но если он видел лишь государыню, как мог он говорить с ней о России? Что мог он знать? Завершая свое собрание «бесед», он

умолял ее извинить его «мечтания» и поздравлял с «освобождением» от ребяческих «заиканий самопровозглашенного философа»⁹⁶. На эпистолярном удалении философу было проще отстоять свои позиции в Восточной Европе. Заиканий не было, например, в переписке Вольтера, которая содержала много разговоров о путешествиях и поддерживалась волнением из-за того, что они постоянно откладываются.

Дидро покинул Санкт-Петербург в марте 1774 года; он предпочел распрощаться с Екатериной в письменной форме, курьезным образом предположив, что личное прощание будет слишком тяжелым для них обоих. Пока он был в России, он писал ей письма, так называемые «беседы», и отъезд возвращал их отношения в привычное эпистолярное русло.

Всю свою жизнь я буду поздравлять себя с поездкой в Петербург. Всю свою жизнь я буду напоминать себе о тех мгновениях, когда Ваше Величество забыло о разделяющей нас бесконечной дистанции и не побрезговало снизойти до меня, дабы скрыть мою ничтожность. Я горю желанием рассказать об этом моим соотечественникам⁹⁷.

Он уже готов был оставить Екатерину и вновь обратиться к беседам со своими соотечественниками-французами; это было вполне естественно, если учесть, что, даже беседуя с Екатериной, он то и дело обращался к своим землякам: «О, мои друзья!» Поскольку Дидро составлял свое прощальное письмо к Екатерине в одиночестве, вполне естественно, что обращался он к себе самому, поздравлял себя самого, напоминал себе самому. Он писал о том, что Екатерина снизошла до общения с ним, забыв о дистанции между ними, между императрицей и философом. Однако, проведя шесть месяцев в одном с ней городе, регулярно встречаясь и подолгу беседуя, он сам часто забывал об их географической близости. Вплоть до самого отъезда дух эпистолярных мечтаний отделял его и от Екатерины, и от России.

По дороге назад в Западную Европу Дидро предпочел и есть и спать в карете, не выходя из нее до самой Гааги. В Гамбурге он написал Карлу Филиппу Иммануилу Баху, представляясь ему и одновременно пытаясь вновь обрести свою временно оставленную идентичность:

Я француз; меня зовут Дидро. Я пользуюсь некоторой извест-

ностью в своем краю как писатель; я автор нескольких пьес, среди которых *«Père de famille»*, может быть, вам неизвестна. Я еду из Петербурга⁹⁸.

Рига осталась позади, он оказался дома, в Западной Европе, и снова стал самим собой. В письме из Гааги он рассказывал Екатерине о своем путешествии, снеге и холодах, сопровождавших его до самой Риги и сменившихся затем чудесной погодой. Он представил ей универсальную формулу для предстоящих ему разговоров:

«Ну, имели ли вы честь приблизиться к Ее Императорскому Величеству?»

«Без сомнения».

«Часто ли вы ее видели?»

«Очень часто».

«Великая ли она государыня?»

«Конечно великая»⁹⁹.

Он не мог, казалось, связать более двух слов в одно предложение и просил Екатерину простить ему затмение памяти: «О! Если бы я только мог вспомнить все, что я ощущал в присутствии Вашего Величества!» Центральный элемент его поездки, личные беседы с Екатериной, которые он так недавно обещал помнить всю свою жизнь, уже начинали исчезать из его памяти, оставшись, возможно, в Риге, где он вновь ощутил себя французом по имени Дидро, пользующимся некоторой известностью как писатель. Свое письмо он завершил очень эмоционально: «Вновь я омываю Ваши руки своими слезами»¹⁰⁰. На самом деле он мог лишь омочить страницы своего письма; к тому же омочить ее рук он не смог даже в Санкт-Петербурге, поскольку прощание их тоже приняло форму письма.

В сентябре он все еще оставался в Гааге (в Париж он вернулся лишь в октябре) и написал Екатерине, поздравляя ее с Кучук-Кайнарджийским миром: «Что за мир! Что за славный мир!» Совершенно в духе Вольтера, Дидро восхищался «кончиком шпаги у неприятельского горла» и объявил себя счастливым, подобно «преданнейшим из Ваших подданных». Таким образом, он, возможно, напоминал и Екатерине, и себе самому, что, радуясь «как человек, как философ и как русский», на самом деле не был ее подданным. Подобно Вольтеру, он мог

по своему желанию превращаться в русского, не становясь при этом подданным Екатерины; Карлу Филиппу Иммануилу Баху он уже подчеркнуто представлялся французом, возвращающимся из Санкт-Петербурга. Дидро надеялся, что заключенный мир продлится как можно дольше, и Екатерина сможет доказать, что способна не только одерживать военные победы: «Благодаря развитию разума, наше восхищение вызывают не те доблести, которыми обладали Александр и Цезарь». Оказавшись в Западной Европе, в безопасности эпистолярного удаления, философы Просвещения с большей уверенностью решали, кто заслуживает их восхищения. Дидро напоминал Екатерине о замыслах Петра, противопоставляя их состоянию своей собственной страны: «Вам предстоит придать форму юной нации; нам предстоит омолодить старую». Он предсказывал, что по достижении императрицей «некоторой степени совершенства» в деле преобразования России ее ожидает признание всего мира: «Как раньше посещали Спарту, Египет и Грецию, так будут посещать Россию»¹⁰¹. Примечательно, что Дидро писал так, словно посещение России было делом утопического будущего и сам он только что не провел там шесть месяцев. Даже побывав в России, Дидро, подобно Вольтеру, воспринимал эту поездку как что-то воображаемое, планируемое, откладываемое и прямо-таки фантастическое.

В том же самом письме Дидро обещал, к удовольствию Екатерины, исправить в новом издании «Энциклопедии» статью де Жакура; одновременно он намекал, что и сама Екатерина, возможно, нуждается в исправлении. Так, он перечитывал ее «Наказ»: «Я взял на себя дерзость перечитать его с пером в руке»¹⁰². Впрочем, никаких критических замечаний за этой сознательной декларацией философской самонадеянности не следовало, и, получив в 1784 году, после смерти Дидро, приобретенные ею в 1765 году книги и бумаги, Екатерина, скорее всего, уже не помнила о его «дерзости». Среди этих бумаг была рукопись под названием «Замечания на Наказ Императрицы Всероссийской», ознакомившись с которой Екатерина осталась недовольна. «Это сочинение, — с раздражением писала она своему верному Гримму, — есть настоящий детский лепет». Именно в таких выражениях сам Дидро описывал свою ребяческую болтовню и заикания во время бесед с императрицей. «Он, должно быть, сочинил это по возвращении домой, —

заклЮчила Екатерина, — поскольку мне он об этом никогда не рассказывал»¹⁰³. К 1787 году, когда она заговорила о Дидро с де Сегюром, было очевидно, что знакомство с посмертными критическими замечаниями совершенно заслонило ее воспоминания о визите философа. По ее словам, во время их бесед Дидро хотел все «перевернуть» в России, а существующие порядки «заменить неудобноисполнимыми теориями». Она уверяла, что ей едва удавалось вставить слово во время их бесед, так что «случайно зашедший очевидец принял бы нас двоих, его за строгого учителя, а меня — за почтительную ученицу». Он читал ей лекции по праву, государственному управлению, политике и экономике. Наконец, «говоря начистоту», она поставила Дидро на место:

Господин Дидро, я выслушала с величайшим удовольствием все, что внушил вам ваш блестящий ум, но со всеми вашими замечательными принципами, которые я отлично понимаю, можно сочинять великолепные книги и совершать дурные деяния. В своих реформаторских планах вы забываете разницу между нами: вы, вы творите лишь на бумаге, которая все стерпит; она гладка, податлива и не представляет препятствий ни вашему воображению, ни вашему перу; я же, бедная императрица, я творю на человеческой коже, которая, совсем наоборот, легко раздражима и чувствительна¹⁰⁴.

Вот что, как в 1787 году она говорила де Сегюру, она якобы сказала в 1774 году Дидро; несомненно, именно это она хотела бы сказать, увидев замечания об ее «Наказе». Однако из записки самого Дидро явствует, что во время пребывания в Санкт-Петербурге ему так и не хватило смелости наставлять Екатерину в законодательстве или политике и что самой смелой его фантазией был совет перенести столицу в Москву. Данная ему Екатериной отповедь была, скорее всего, апокрифом; она показывает тем не менее, что императрица прекрасно понимала стремление философов рассматривать Восточную Европу как поле для их «творчества», как абстрактное пространство, которое «не представляет препятствий» ни воображению, ни перу.

Взявшись за перо сразу по возвращении из России в 1774 году, Дидро начал с замечания, что в политике единственным обладателем суверенитета является нация, а единственным источником права — народ. Далее он сообщил, что Екатерина — «деспот», и поставил вопрос: предполагал ли ее «Наказ»

создание такого свода законов, после введения которого она искренне намеревается «отречься» от своего деспотизма? Конечно, он хотел бы затронуть этот вопрос в Санкт-Петербурге, но так и не осмелился, а теперь, наедине с самим собой, вообразил, будто находится в обществе женщины, которую он видел часто и недавно и которую ему не суждено никогда больше встретить.

Если когда она читает только что написанное мною и прислушивается к своей совести, сердце ее трепещет от радости, тогда она более не желает обладать рабами; если же она дрожит и кровь ее стынет, если она бледнеет, тогда она думает о себе лучше, чем она есть на самом деле¹⁰⁵.

В своих фантазиях философ желал сказать императрице правду, воззвать к ее совести, обезоружить ее, одержать почти сексуальную победу и оставить ее дрожащей или трепещущей. Екатерина, однако, прочла эти строки лишь после его смерти и отомстила ему в разговоре с де Сегюром, уверяя, что с самого начала раскусила его. То, что и Екатерине и Дидро пришлось дополнять свои многочисленные разговоры вымышленными беседами, показывает, сколь несвободны они были во время своих непосредственных встреч в Санкт-Петербурге.

«Россия есть европейская держава», — объявила Екатерина в своем «Наказе»; это было не просто констатацией географического факта, но программным политическим заявлением, в основе которого лежало «открытие» России веком Просвещения. «Неважно, — писал Дидро, — азиатская ли она или европейская», а что касается нравов в целом, они не могут быть «ни африканскими, ни азиатскими, ни европейскими», а лишь хорошими или дурными¹⁰⁶. Дидро отвергал традиционные представления о континентальных культурных границах, поскольку неопределенность Восточной Европы плохо укладывалась в предложенную Монтескье дихотомию между Европой и Азией. С географической точки зрения екатерининский «Наказ» отмечал, что «Российская империя простирается на 32 градуса широты и 165 градусов долготы», подтверждая тем самым, что столь обширная держава нуждается в абсолютном монархе. Однако Дидро в своем комментарии полагал эти измерения фактором не политическим, а цивилизационным: «Цивилизование этой огромной страны вдруг всей сразу кажется мне

проектом, выходящим за рамки человеческих сил». А потому он предлагал три совета, и первый, как и следовало ожидать, был перенести столицу в Москву. Кроме того, он предложил создать в России образцовый уезд, в котором можно было бы «исполнить план цивилизования». В предложении цивилизовать несуществующие уезды как в капле отразился век Просвещения, и Дидро пояснил предполагаемый эффект этого плана с помощью аналогии: «Этот уезд будет относительно остальной империи то же, что Франция в Европе — относительно окружающих ее стран»¹⁰⁷. То, что Дидро представил Францию в роли главного источника цивилизации в Европе, показывает степень его культурной ангажированности. Он мог заявлять, что не делает различий между Африкой, Азией и Европой — но только лишь потому, что все три континента следовали одной и той же модели развития вслед за одной и той же образцовой страной.

Внимание, которое Дидро уделял России, не было столь всеобъемлющим, как вольтеровское видение Восточной Европы; Дидро, однако, был более амбициозен в философских обобщениях, предлагая на основании своих русских наблюдений универсальную схему отсталости и развития, причем развитие это осуществлялось по заранее разработанному плану. Третий совет Дидро — после перемещения столицы и основания образцового уезда — основать в России швейцарскую колонию¹⁰⁸. Вольтер в переписке с Екатериной постоянно обращался к похожей фантазии, намереваясь основать поселение часовщиков в Астрахани или Азове.

«ВАШ РУССКИЙ СТАРИК ИЗ ФЕРНЕ»

В ноябре 1773 года в письме к Екатерине Вольтер сравнивал ту роль, которую он сам и бывший тогда в Санкт-Петербурге Дидро играли в Восточной Европе, с ролью Тотта в Константинополе и де Боффлера в Польше. «Мы не попадаем в плен как глупцы; мы не возимся с артиллерией, в которой ничего не понимаем», — объяснял Вольтер. «Мы — секулярные миссионеры, проповедующие поклонение Святой Екатерине, и мы можем похвастаться, что церковь наша вполне универсальна». Для Вольтера в Ферне культ Екатерины всегда оста-

вался тождественным делу Просвещения в Восточной Европе. С другой стороны, Дидро по возвращении из Санкт-Петербурга ощущал потребность возносить саму Екатерину, хотя бы по-смертно. Задача «секулярных миссионеров» была неопределенно двойственной: им надо было поклоняться Екатерине в Западной Европе и воспевать успехи цивилизации в Европе Восточной. Первое было вполне практическим проектом, не составлявшим для сановников Литературной республики никакого труда. Второе, однако, было более абстрактно-философским, задуманным на расстоянии, и развивалось как фантазия или даже фарс. Поклонявшиеся Екатерине, писал Вольтер, ждали ее крещения в Константинополе, «в присутствии пророка Гримма», а Мария-Терезия, учредившая в Вене комиссию общественной добродетели, могла совершить тот же обряд в Боснии или Сербии¹⁰⁹.

Однако именно в это время Екатерина была чуть менее восприимчива к игривым выдумкам, поскольку ее внимание было приковано к тяжелейшему внутривластическому кризису ее царствования, народному восстанию под руководством казака Емельяна Пугачева, объявившего себя не кем иным, как ее покойным свергнутым супругом, императором Петром III. Дидро, кажется, имел лишь самое отдаленное представление об этих волнениях во внутренних областях империи, совпавших по времени с его пребыванием в Санкт-Петербурге. Однако в январе 1774 года сама Екатерина сообщила в письме Вольтеру, что некий «разбойник с большой дороги» разоряет Оренбургскую губернию, которую она описала как край татар и ссыльных преступников, подобных тем, которыми заселяли британские колонии в Америке; в 1774 году эти колонии также были на грани восстания. Что до самого Пугачева, то Екатерина заверила Вольтера, что «этот урод рода человеческого несколько не мешает мне наслаждаться беседами с Дидро»¹¹⁰. В феврале Вольтер ответил ей в своей типичной манере, упомянув для начала очередное воображаемое путешествие: «Мадам, письмо, которым Ваше Императорское Величество оказало мне честь 19 января, мысленно перенесло меня в Оренбург и представило г-ну Пугачеву; кажется, что этот фарс устроен господином де Тоттом». Восточная Европа снова стала сценой фарса, где изобретательные прищельцы с Запада выдумывали действующую

ших лиц и планировали мизансцены. Рассказ Екатерины об Оренбурге, расположенном к югу от Уральских гор, произвел на Вольтера большое впечатление, и воображение перенесло философа на восточную границу континента. На самом деле основные события пугачевского восстания происходили между реками Уралом и Волгой; эта территория сегодня считается европейской, но в XVIII веке ее часто относили к Азии. В 1774 году Пугачев спалил Казань на Волге, тот самый город, откуда в 1767-м Екатерина приветствовала Вольтера словами «вот я и в Азии»¹¹¹. Если Дидро изобрел образцовый уезд, откуда просвещение распространится по всей Российской империи, то Вольтер представлял себе Оренбург как край наименьшего просвещения, «землю варваров», сконструированную на основании все той же модели развития. «Ваши лучи не могут проникнуть всюду одновременно», — писал он Екатерине. «Империя в две тысячи лиг длиной может сделаться цивилизованной (*«se police»*) лишь по прошествии времени»¹¹². Самого Пугачева он отметал как обычную марионетку, порожденную воображением де Тотта. Ключом к пониманию мятежа против Екатерины и против цивилизации была для Вольтера именно культурная география Восточной Европы.

В письме Вольтер выражал надежду, что по дороге из Санкт-Петербурга Дидро остановится у него в Ферне рассказать о своих встречах с Екатериной: «Если он не посетит берега Женевского озера, то я сам отправлюсь в путь, чтобы быть похороненным на берегах Ладоги»¹¹³. Вольтер ревновал к Дидро, лично посетившему Екатерину, и в августе 1774 года разразился эпистолярным протестом против ее «безразличия»: «Ваше Императорское Величество отказались от меня ради Дидро, или Гримма, или какого-нибудь другого любимца». Вольтер обвинил ее в неблагодарности, поскольку «ради нее он ссорился со всеми турками, а также с г-ном маркизом де Пугачевым». Он решил, что «никогда не полюбит другую императрицу», и ему тем проще было сдержать слово, что восьмидесятилетнему Вольтеру оставалось жить лишь четыре года. Тем не менее он подписался «Ваш русский старик из Ферне». Екатерина мило-стиво заверила его в своей неизменной благосклонности и дружбе, принимая его верность в том же тоне, в каком он предложил ее: «Вы хороший русский». Смягчившись, он ответил,

что в этом году его, к сожалению, не будет в «толпе европейцев и азиатов», заверяющих ее в своей преданности; он, однако, просил разрешения прибыть «через год, или через два, или через десять лет». Вместо того чтобы отправиться самому, он рекомендовал очередного юного швейцарца, инженера, который желал поступить к ней на службу и который «составит план Константинополя и затмит шевалье де Тотта». Война, однако, продолжалась лишь в его воображении; он, конечно, знал о подписании Кучук-Кайнарджийского мирного договора. Перебои в переписке с Екатериной в 1774 году были вызваны не только визитом Дидро, но и затуханием войны, которая в его воображении превращала Восточную Европу в предмет имперских фантазий. Географические образы мелькали в его письмах, перемешиваясь с самой откровенной и жалкой ревностью к швейцарскому инженеру, своему протектору: «Ваше Величество не помешает мне ревновать ко всем этим двадцатипятилетним, которые могут отправиться на Неву и на Босфор, которые могут служить Вам головой и руками»¹¹⁴. Родившийся у него в голове образ Восточной Европы, поставленный на службу Екатерине, пережил их обоих, влияя на ход европейской истории в течение двух последующих веков.

В письмах последних лет теперь уже непреодолимая географическая дистанция между ними перетолковывалась как религиозное переживание Вольтера, верного последователя культа Святой Екатерины. В 1775 году он сообщает, что заказал портрет, где сам он что-то пишет на фоне ее портрета. Эта художественная фантазия, объединившая их на одном холсте, должна была напомнить Екатерине о том, кто обожал ее, «как мистики обожают Господа». В самом последнем письме 1777 года он называл ее недавние реформаторские планы «вселенским Евангелием» и надеялся, что она по-прежнему знает, как изгнать турок из Европы. В своих заключительных словах он обращался к Восточной Европе с молитвой, которая переносила его через весь континент, из Ферне в Санкт-Петербург: «Я падаю ниц перед Вами и рыдаю в конвульсиях: алла, алла, Катерина резул, алла!» Фарс подошел к концу. Обожествление Екатерины питалось культурными подменами и географическими образами, питая их переписку, полную фантазий и эмоций.

¹ *Voltaire and Catherine*. Correspondence // Documents of Catherine the Great: The Correspondence with Voltaire and the Instruction of 1767. Ed. W.F. Reddaway. New York: Russel à Russel, 1871. P. 58, 77.

² *Rocque*. Carte Generale des Postes de l'Europe, 1758.

³ *Voltaire and Catherine*. P. 79, 124.

⁴ Ibid. P. 133.

⁵ Ibid. P. 181.

⁶ Ibid. P. 186.

⁷ Ibid. P. 1.

⁸ Ibid. P. 2; см. также: *Griffiths David*. To Live Forever: Catherine II, Voltaire, and the Pursuit of Immortality // Russia and the World of the Eighteenth Century. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1988. P. 446—468; *Madariaga Isabel de*. Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 1981. P. 372—342; *Alexander John T.* Catherine the Great: Life and Legend. Oxford: Oxford Univ. Press, 1989. P. 97—142.

⁹ *Wildberger Carolyn*. Voltaire's Russia; Window on the East // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Vol. CLXIV. Ed. Theodore Besterman. Oxford: Voltaire Foundation at the Taylor Institution, 1976. P. 54, 141.

¹⁰ *Rousseau Jean-Jacques*. The Social Contract. Trans. Maurice Cranston. London: Penguin, 1968. P. 90.

¹¹ *Voltaire*. Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand // Oeuvres complètes de Voltaire. Vol. 16. Paris, 1878; rpt. Liechtenstein: Kraus Reprint Limited, 1967. P. 377, 427.

¹² *Voltaire and Catherine*. P. 3

¹³ *Besterman Theodore*. Voltaire. 3rd ed. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1976. P. 406.

¹⁴ *Voltaire and Catherine*. P. 3—6.

¹⁵ Ibid. P. 48, 51.

¹⁶ Ibid. P. 6—7.

¹⁷ *Lortholary, Albert*. Le Mirage russe en France au XVIIIe siècle. Paris: Boivin, 1951.

¹⁸ *Lortholary*. P. 74—76; *Mohrenschildt Dmitri von*. Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-Century France. New York: Columbia Univ. Press, 1936. P. 275—280.

¹⁹ *Wildberger*. P. 27.

²⁰ *Mohrenschildt*. P. 32; *Saint-Simon Louis de Rouvroy, duc de*. Memoirs of Louis XIV and his Court and of the Regency. Vol. III. New York: Collier, 1910. P. 1011

²¹ *Lortholary*. P. 23—25.

²² *Wildberger*. P. 76.

²³ *Voltaire*. Histoire de Charles XII. Paris: Garnier-Flammarion, 1968. P. 51.

²⁴ *Montesquieu Charles Secondat, baron de*. The Spirit of the Laws. Trans. Thomas Nugent. New York: Hafner, 1949. I. P. 299.

²⁵ *Montesquieu*. I. P. 299.

²⁶ *Lortholary*. P. 33. *Köpeszi Béla*. La France et la Hongrie au début du XVIIIe siècle: Etudes d'histoire des relations diplomatiques et d'histoire des idées. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971. P. 603—604.

²⁷ *Wildberger*. P. 32.

²⁸ *Voltaire*. Anecdotes sur le czar Pierre le Grand // Oeuvres complètes de Voltaire. Vol. 23. Paris, 1787; rpt. Liechtenstein: Kraus Reprint, 1967. P. 281—293.

- ²⁹ *Wildberger*. P. 33, 49.
- ³⁰ *Lortholary*. P. 48.
- ³¹ *Wildberger*. P. 41.
- ³² *Ibid.* P. 43.
- ³³ *Ibid.* P. 124—127; *Gay Peter*. *The Enlightenment: An Interpretation: The Science of Freedom*. New York: W.W. Norton, 1977. P. 67.
- ³⁴ *Wildberger*. P. 52—53.
- ³⁵ *Ibid.* P. 37—38, 54—61.
- ³⁶ *Ibid.* P. 119—120; *Voltaire*. *Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand*. P. 586.
- ³⁷ *Wildberger*. P. 120—122; *Voltaire*. *Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand*. P. 589.
- ³⁸ *Wildberger*. P. 46.
- ³⁹ *Ibid.* P. 45—47.
- ⁴⁰ *Voltaire*. *Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand*. P. 408, 415, 427.
- ⁴¹ *Ibid.* P. 506—509.
- ⁴² *Wildberger*. P. 278—279.
- ⁴³ *Voltaire*. *Le Russe à Paris // Oeuvres complètes de Voltaire*. Vol. 10. Paris, 1978; rpt. Leichtenstein: Kraus Reprints Limited, 1967. P. 121.
- ⁴⁴ *Voltaire*. *Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand*. P. 456, 468.
- ⁴⁵ *Voltaire and Catherine*. P. 9—10, 15.
- ⁴⁶ *Ibid.* P. 15—18.
- ⁴⁷ *Voltaire*. *Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand*. P. 408.
- ⁴⁸ *Voltaire and Catherine*. P. 17—19; *Voltaire*. *Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand*. P. 377.
- ⁴⁹ *Gay Peter*. *Voltaire's Politics: The Poet as Realist*. 2nd ed. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 1988. P. 180.
- ⁵⁰ *Voltaire and Catherine*. P. 20.
- ⁵¹ *Ibid.* P. 23.
- ⁵² *Ibid.* P. 25—27.
- ⁵³ *Ibid.* P. 28—29.
- ⁵⁴ *Ibid.* P. 33—34.
- ⁵⁵ *Ibid.* P. 34.
- ⁵⁶ *Ibid.* P. 35.
- ⁵⁷ *Ibid.* P. 38, 48.
- ⁵⁸ *Ibid.* P. 60.
- ⁵⁹ *Ibid.* P. 73, 81—83, 90, 97.
- ⁶⁰ *Ibid.* P. 93, 100—101.
- ⁶¹ *Ibid.* P. 117, 123—126.
- ⁶² *Ibid.* P. 148—150.
- ⁶³ *Ibid.* P. 162.
- ⁶⁴ *Ibid.* P. 172.
- ⁶⁵ *Ibid.* P. 186—187.
- ⁶⁶ *Roider Karl A.* *Austria's Eastern question 1700—1790*. Princeton, N.J.; Princeton Univ. Press, 1982. P. 132, 156—157.
- ⁶⁷ *Voltaire*. *Essay sur les mœurs // Oeuvres complètes de Voltaire*. Vol. III. Paris: Chez Furne, 1985. P. 607—609.
- ⁶⁸ *Voltaire and Catherine*. P. 84, 187.
- ⁶⁹ *Ibid.* P. 118—119.

- ⁷⁰ Ibid. P. 138, 149.
- ⁷¹ Ibid. P. 154—161.
- ⁷² Ibid. P. 161—163.
- ⁷³ Ibid. P. 171.
- ⁷⁴ Ibid. P. 169, 176, 186.
- ⁷⁵ *Lortholary*. P. 174—176.
- ⁷⁶ *Casanova Giacomo*. History of My Life. Trans. Williard Trask. Vol. 10. London: Longman, 1971. P. 103—141, 142.
- ⁷⁷ *Raspe Rudolf Eric*. The Travels and Surprising Adventures of Baron Munchausen. London; Daedalus, 1988. P. 75.
- ⁷⁸ *Mohrenschildt*. P. 145; *Lortholary*. P. 90—91; *Alexander*. P. 14.
- ⁷⁹ *Lortholary*. P. 97—98.
- ⁸⁰ *Mohrenschildt*. P. 94.
- ⁸¹ *Lortholary*. P. 179—181.
- ⁸² *Voltaire and Catherine*. P. 203; *Lortholary*. P. 184—186; *Séguir Louis-Philippe comte de*. Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Séguir. Vol. I // Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de France: pendant le 18e siècle, vol. XIX, ed. M.Fs.Barrière (Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859). P. 442—443.
- ⁸³ *Lortholary*. P. 212—213.
- ⁸⁴ *Voltaire and Catherine*. P. 192; *Tourneux Maurice*. Diderot et Catherine II. Paris: Calmann Lévy, 1899. P. 75—76.
- ⁸⁵ *Tourneux*. P. 83.
- ⁸⁶ *Diderot Denis*. Entretiens avec Catherine II (1773) // Oeuvres politiques. Ed. Paul Vernière. Paris: Editions Garnier Frères, 1963. P. 257—258, 326.
- ⁸⁷ *Diderot*. Entretiens. P. 206; см. также: *Wilson Arthur*. Diderot in Russia, 1773—1774 // The Eighteenth-Century in Russia. Ed. J.G. Garrard. Oxford: Clarendon Press, 1973. P. 166—197; *Madariaga Isabel de*. Catherine and the Philosophes // Russia and the West in the Eighteenth Century. Newtonville, Mass.; Oriental Research Partners, 1983. P. 30—52.
- ⁸⁸ *Diderot*. Entretiens. P. 30—52.
- ⁸⁹ *Mohrenschildt*. P.
- ⁹⁰ *Diderot*. Entretiens. P. 266—267; *Tourneux*. P. 492.
- ⁹¹ *Mohrenschildt*. P. 55.
- ⁹² *Diderot*. Entretiens. P. 301.
- ⁹³ Ibid. P. 302.
- ⁹⁴ Ibid. P. 309—310.
- ⁹⁵ *Lortholary*. P. 217—218.
- ⁹⁶ *Diderot*. Entretiens. P. 326.
- ⁹⁷ *Tourneux*. P. 472.
- ⁹⁸ Ibid. P. 475—476.
- ⁹⁹ Ibid. P. 477, 481—482.
- ¹⁰⁰ Ibid. P. 482.
- ¹⁰¹ Ibid. P. 485—489.
- ¹⁰² Ibid. P. 492.
- ¹⁰³ *Lortholary*. P. 236, 379, note 146.
- ¹⁰⁴ *Séguir*. I. P. 444—445.
- ¹⁰⁵ *Diderot Denis*. Observations sur le Nakaz (1774) // Oeuvres politiques. Ed. Paul Vernière. Paris: Editions Garnier Frères, 1963. P. 343—345.
- ¹⁰⁶ *Diderot*. Observations. P. 349.

¹⁰⁷ Ibid. P. 350—351.

¹⁰⁸ Ibid. P. 351.

¹⁰⁹ *Voltaire and Catherine*. P. 190.

¹¹⁰ Ibid. P. 194.

¹¹¹ Ibid. P. 195.

¹¹² Ibid. P. 196.

¹¹³ Ibid. P. 198—201.

¹¹⁴ Ibid. P. 206, 213.

Глава VI

ОБРАЩАЯСЬ К ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Часть II: Польша в сочинениях Руссо

«УДАЧИ ВАМ, ХРАБРЫЕ ПОЛЯКИ»

«**М**ы трое, Дидро, д'Аламбер и я, воздвигаем Вам алтари», — писал Вольтер Екатерине в декабре 1766 года. Даже с учетом того, что д'Аламбер уже отклонил приглашение совершить паломничество к ее трону, а Дидро неопровержимых доказательств своей преданности еще не представил, список приверженцев нового культа был достаточно впечатляющим. Тем не менее он еще не был исчерпывающим, Просвещение не было единодушным в своей оценке императрицы, и в том же месяце фаворит Екатерины Григорий Орлов послал любезное приглашение самому выдающемуся среди воздержавшихся, Жан-Жаку Руссо. Англичанин Джордж Макартни описывал Орлова как человека колоссального роста, но «совершенно не усовершенствованного чтением»; он уж конечно не проливал слез над страницами «Новой Элоизы» и мог пригласить Руссо в Россию только по прямому указанию Екатерины. Орлов благодарил Руссо — за «наставления, которые я почерпнул из ваших книг, хотя вы и писали их не для меня» и приглашал философа пожить в пасторальной простоте в его поместье под Санкт-Петербургом, где «жители не знают ни английского, ни французского, и тем более ни греческого, ни латыни». Руссо отвечал из Англии, отклоняя приглашение в тех же самых выражениях, которыми Вольтер оправдывал неготовность к настоящей, невыдуманной поездке в Россию: «Если бы я был живее, моложе и менее болезненным и если бы вы были ближе к солнцу...»¹ Далее философ уверял, что недостаточно общителен для подобного визита, не умеет поддерживать разговор, любит уединенную жизнь и к тому же интересуется только садоводством.

В 1762 году, во время работы над своим «Общественным договором», Руссо уже довольно критически относился к фигуре Петра; десять лет спустя, работая над сочинениями о Польше, он превратился в открытого противника Екатерины. И Руссо и Вольтер умерли в 1778 году; к этому времени они прославились своими прямо противоположными пристрастиями в Восточной Европе: Вольтер выступал на стороне России против Польши, Руссо — на стороне Польши против России. При этом, несмотря на столь непримиримую противоположность их симпатий, они в совершенно идентичных выражениях отказывались посетить Восточную Европу: если Вольтер никогда не бывал в Санкт-Петербурге, то Руссо так и не съездил в Варшаву. Скорее и для Руссо, и для Вольтера, с их соперничающими взглядами на Восточную Европу, Польша и Россия были идеологическими лабораториями, в которых век Просвещения изучал возможности для теоретических манипуляций в гипотетическом пространстве.

«Если не знать совершенно Нацию, на благо которой трудишься, — предупреждал Руссо в самом начале «Соображений об образе правления в Польше», — то предпринимаемые во имя нее труды, сколь бы превосходными они ни были сами по себе, никогда не принесут практической пользы, тем более когда речь идет о нации установившейся, у которой вкусы, нравы, предрассудки и пороки слишком укоренены, чтобы новые семена могли их легко заглушить»². В 1766 году Руссо отказался посетить Россию, так как интересовался только садоводством; пять лет спустя он согласился писать о Польше (в которой никогда не бывал), объяснив свой отказ также в садоводческих терминах. В «Общественном договоре» он осуждал Петра, который «помешал своим подданным стать когда-нибудь тем, чем они могли бы стать, принуждая их становиться тем, чем они не были». Он сравнивал русского царя с французским учителем, который формирует умы своих учеников, не считаясь с их врожденными способностями и наклонностями. Руссо мог бы уподобить Петра создателям французских регулярных садов эпохи классицизма с их строгой симметрией. В XVIII веке на смену им пришли «натуральные» сады в английском вкусе; одним из них как раз и был Эрмовиль, где приютился Руссо. Тем не менее за «натуральностью» английских садов тоже стояли планирование и кропотливое возвращение, хотя и менее очевидные;

уважение Руссо к польским «корням», то есть вкусам, нравам, предрассудкам и порокам, не могло скрыть его склонность к философическому садоводству. Он ничуть не скрывал, что роль политического наставника, принятую им в «Соображениях», следовало бы поручить самим полякам или, по крайней мере, «кому-нибудь, кто на месте изучал польскую нацию и ее соседей». Сам он был всего лишь иностранцем и мог предложить только самые «общие взгляды»³. Однако именно девственное невежество в этой области, полное незнание польской нации и ее соседей позволили Руссо выдвигать оригинальные теории и сформулировать отличное от Вольтера видение Восточной Европы, развивая одновременно свои «общие взгляды», то есть политическую теорию патриотизма.

Руссо задумывал «Соображения» как сочинение не только о Польше, но и для Польши, «нации, на благо которой трудишься». Эта фраза несла в себе двойной смысл — и покровительства, и поучения: Польша заказала Руссо это сочинение, и теперь то само давало Польше наставления. В первой же строке Руссо и указывает на своего заказчика, и называет свой главный источник информации: «Картина государственного управления в Польше, составленная графом Вильегорским, и прилагаемые здесь размышления могут быть поучительны для всякого, кто пожелает создать подробный план преобразования тамошнего образа правления»⁴. В данном случае Руссо был как раз тем самым «всяким»; считалось, что писать о Польше может любой, и просвещенную публику приглашали высказывать свои соображения. Годы, прошедшие между восстанием Барской конфедерации против российского господства в 1768 году и первым разделом Польши 1772 года, были и в самом деле периодом исключительного интереса к этой стране. Помимо Руссо и Вольтера, открыто занимавших по этому вопросу диаметрально противоположные позиции, события тех лет вызвали и несколько неожиданные отклики, вроде сочиненного Маратом романа в письмах «Приключения юного графа Потовского» и пространной, благонамеренной «Истории возмущений в Польше» Казановы.

Михал Вильегорский прибыл в Париж в 1770 году как представитель Барской конфедерации. Там он надеялся превратить абстрактные симпатии Шуазеля в более активные шаги французского правительства; однако министерство Шуазеля пало в

конце того же года, и самые важные свои дипломатические победы Вильегорский одержал среди философов Просвещения. Приглашая интеллектуалов к работе над проектами конституционных реформ в Польше, расчетливый Вильегорский добился их симпатий, мобилизовал их на поддержку Конфедерации; он даже вдохновил на создание соответствующих рукописей аббата Мабли и самого Руссо. И «Образ правления и законы Польши» Мабли, и «Соображения» Руссо написаны между 1770 и 1772 годами, хотя и напечатаны позднее; сочинение самого Вильегорского, который, по его собственному признанию, был главным источником информации для Руссо, вышло по-французски в 1775 году (в Лондоне); в нем автор уже ссылается на Руссо в подтверждение своих выводов. На самом деле, полностью полагаясь в своих «Соображениях» на сочинение Вильегорского, Руссо продемонстрировал не только свою партийную ангажированность, но и научную дистанцию, отделявшую философа с его планом преобразования польского правительства от самой Польши, предмета его исследований.

Руссо разрешил проблему дистанции между собой и предметом своих исследований с помощью литературного приема: он придал своему труду эпистолярную форму. Он был иностранцем, ровно ничего не знавшим о Польше, так что, отнюдь не притворяясь сочинением всеведущего знатока, его «Соображения» вновь и вновь объявляли себя открытым письмом, обращением к Польше и к полякам. Интеллектуальная пропасть, разделявшая автора и его предмет, изображалась как эпистолярное пространство, отделявшее Западную Европу от Европы Восточной. «Удачи вам, храбрые поляки», — писал Руссо, неожиданно вводя прямое обращение в свою первую главу («Состоянии вопроса»). С этого момента его повествование то и дело ведется во втором лице, превращавшем его отношения с Польшей как объектом философского изучения в эпистолярные отношения с поляками: «Вы любите свободу, и вы достойны ее; вы защищали ее от могущественного и коварного врага»⁵. Написанные в форме открытого письма, обращенного к целой нации, «Соображения» и по форме, и по содержанию представляли разительный контраст частным письмам Вольтера, адресованным одному-единственному лицу, абсолютному монарху; этот монарх, конечно, и был тем самым «могущественным и коварным врагом», которого обличал Руссо.

Обозревая политическое устройство Польского государства, Руссо чаще предлагал мелкие исправления, чем обширные реформы, стараясь не заглушать укоренившиеся растения новыми семенами: «Исправьте, по возможности, вашу конституцию там, где возможны злоупотребления, но не презирайте то, что делает вас тем, что вы есть». Руссо, таким образом, выразил во втором лице свои критические замечания в адрес Петра, ставшегося сделать русских «тем, чем они не были». Уважение Руссо к польской конституции доходило до того, что он даже рекомендовал сохранить *liberum veto*, то есть такой порядок, когда для принятия резолюции требуется единогласное решение всех депутатов сейма; при этом он считал слишком частое использование *liberum veto* «варварством» и предлагал карать смертной казнью тех, кто им злоупотребляет. В целом же, хотя в «Общественном договоре» Руссо даровал «законодателю» огромные полномочия, когда Вильегорский предложил ему роль такого законодателя в Польше, его предложения были довольно скромными. Он советовал вводить перемены только с «крайней осмотрительностью». Дело в том, что законы должны управлять «сердцами граждан», а потому важнейшими для Руссо были не конституционные перемены, а вопрос, «как управлять сердцами и внушить им любовь к стране и ее законам?»⁶ Ответ на него предлагался в его «Соображениях», и именно поэтому они стали не просто критическим разбором польского государственного устройства, а оригинальным сочинением, обогатившим политическую теорию эпохи Просвещения.

Вначале Руссо определяет суть польской проблемы через обычный набор уже знакомых нам формул, с помощью которых век Просвещения описывал Восточную Европу. В Польше, считал Руссо, нет ни «экономического порядка», ни «воинской дисциплины». Поэтому единственная надежда выжить в окружении воинственных соседей — и здесь Руссо решительно порывает с традиционными представлениями — «основать Республику в сердцах поляков», то есть таком «убежище, где никакая сила не сможет ни дотянуться до нее, ни ее разрушить». Соседние державы могут «проглотить вас», предупреждал Руссо, но они не смогут «переварить» страну, которая находится в сердцах своих граждан. «Патриотическое усердие» было единственным надежным оплотом республики, и он приводил в

пример дух Барской конфедерации, которая к тому времени еще не была окончательно разгромлена; засев в Ченстохове, конфедераты отбивались от русских вплоть до первого раздела Польши в 1772 году. Но раз, в представлении Руссо, Польша находилась в сердцах ее граждан и была недоступна воздействию внешних сил, то ни неизбежное поражение, ни даже территориальное расчленение не могли дискредитировать политическую стратегию, которую он предложил полякам. «Если вы добьетесь, чтобы поляк никогда не мог стать русским, я заявляю вам, что Россия никогда не подчинит себе Польшу»⁷. Это был чрезвычайно важный момент в переписке между философом («Я») и нацией («вы»); Руссо уже признал поляков «достойными свободы» и теперь становился гарантом этой свободы, диктуя ее новое понимание. Это был также революционный момент в интеллектуальной истории, поскольку именно в этих фразах Руссо сформулировал идеологию современного национализма. Руссо обращался к полякам, которые никогда не могли стать русскими, полякам, которые носили свою страну в сердце, и, как показали последующие два столетия европейской истории, этот взгляд на поляков и Польшу оказался пророческим.

В своем «Карле XII» Вольтер предложил набросок «естественной истории» Восточной Европы, таблицу, где земли и народы организованы в соответствии с принципами Линнея. Вольтеровская таблица подчинила Восточную Европу господству как завоевателей, так и философов. Сорок лет спустя Руссо использовал те же самые принципы естественной истории, но вывернул таблицу наизнанку, сделав уникальность отдельных видов признаком их силы, а не залогом неизбежного подчинения. Восточная Европа была объектом наблюдений. Он обнаружил на ее пространстве поляков, которые не могли стать русскими, и возвестил всему миру их неистребимую самобытность, бросая тем самым вызов вольтеровским представлениям о цивилизации и господстве.

В изложении Руссо естественная история не сводилась к изучению наций и классификации их в соответствии с их природными особенностями. Самобытность наций можно было культивировать, что придавало некую целенаправленность политике и деятельности политических философов, вроде самого Руссо, которых, в сущности, призывали в качестве консультантов. Он рекомендовал установить в Польше такие

институты, которые могли бы «образовать дух нации, ее характер, вкусы и манеры народа; которые делали бы его самим собой, а не чем-то другим; которые пробуждают в нем пламенную любовь к стране, основанную на неискоренимых обычаях». На самом деле уже в основе его рассуждений лежала посылка, что каждая нация уникальна, подобно биологическим видам, и характеризуется своими вкусами, манерами, предрассудками и пороками, которые «слишком укоренены, чтобы новые семена могли их легко заглушить». Возвращаясь вновь к теме укорененности, Руссо показал, что национальная идентичность формировалась в результате диалектического взаимодействия между природой и цивилизацией, между изучением дикой флоры и терпеливым взращиванием в садовых условиях. Взращивать, даже насаждать самобытную национальную идентичность необходимо именно потому, что существуют противоборствующие силы, старающиеся ее стереть. «Нет больше французов, немцев, испанцев и даже англичан, — объявлял он, возможно, несколько преждевременно. — Есть только европейцы». Уничтожительно упоминаемая здесь Европа была, конечно, Европой Западной, где «у всех те же вкусы, те же страсти, те же манеры». Польше, однако, он предлагал бросить вызов этому единообразию: «Направьте страсти поляков в другую сторону; вы придадите их душам национальную физиономию, которая будет отличать их от других народов»⁸. Первоначально эти «вы», к которым обращался Руссо, были сами «отважные поляки», но в данном случае он подразумевает некое внешнее воздействие, формирующее национальную физиономию Польши. С той же уверенностью, с какой в «Общественном договоре» вся полнота власти передавалась законодателю, а в «Эмиле» — наставнику, Руссо предполагал, что такой всемогущий персонаж должен быть и в Польше.

Однако сотворение национального характера требовало внимания к деталям, а Руссо откровенно признавался, что о Польше знает очень мало.

Сжатого изложения польских манер, любезно сообщенного мне г-ном Вильегорским, недостаточно, чтобы познакомить меня с их гражданскими и внутривнутриполитическими обыкновениями. Но великий народ, который всегда мало общался со своими соседями, не может не иметь множества собственных обычаев, которые, быть может, искажаются день ото дня по общей склонности всей Европы перенимать вкусы и нравы французов⁹.

Руссо настойчиво искал народ, «который всегда мало общался со своими соседями»; эта настойчивость не только отвечала его представлениям о подразделении человечества на отдельные виды, но и бросала вызов традиционно небрежному смешению в одну кучу всех восточноевропейских народов. Вольтер отмечал сходство польского, русского, татарского и венгерского платья, и Руссо вознамерился доказать, что в Польше сохранялся свой, ни на что не похожий национальный костюм, защищенный от всех иноземных, в первую очередь французских, влияний. «Делайте все вопреки этому царю, которым все восхищаются», — велел Руссо, но при этом предписывал полякам определенную форму одежды с той же настойчивостью, что и Петр русским. «Да не осмелится ни один поляк появиться при дворе одетым по-французски», — писал Руссо о варшавском дворе, которого сам он никогда не видел¹⁰. С другой стороны, Дидро, посетивший Санкт-Петербургский двор как раз вскоре после того, как Руссо сочинил свои «Соображения», восторгался тем, с какой скоростью русский народ «офранцузивается». Наличие таких противоположных подходов показывает, что речь шла не просто о платье, но о судьбах «цивилизации по-французски» как таковой. Вызов, который Руссо бросал принципам Просвещения, восходил еще к его «Рассуждениям»; вызовом этим он ставил под сомнение цивилизацию, даже отвергал ее. Изобретая свою Восточную Европу, Руссо объединял Польшу и Россию как страны, стоявшие перед судьбоносным выбором: принять или отвергнуть «общее направление всей Европы».

Центральное предложение «Соображений», более важное, чем все планы конституционной реформы, — совет создать национальную систему образования.

Именно образование призвано дать душу национальному телу и так направлять их мнения и вкусы, что они будут патриотами по собственной склонности, по собственной страсти, по необходимости. Открывая глаза, ребенок должен видеть свою страну и не видеть ничего иного до самой смерти. Всякий истинный республиканец с молоком матери всасывает любовь к своей стране¹¹.

Именно благодаря подобным замечаниям Руссо стал родоначальником современного национализма, и стимулировал его политическое воображение именно пример Польши. Руссо,

который сам никогда Польши не видел, определял и диктовал, что должен и чего не должен видеть всякий поляк с детства и до самой смерти. Вольтер переписывался с самодержавной императрицей, возвышаясь вместе с ней над восточноевропейскими народами; Руссо обращался напрямую к самим народам, предписывая им ту или иную идентичность. «Француз, англичанин, испанец, итальянец почти ничем не отличаются друг от друга», — объявил Руссо, но поляк «должен быть поляком»¹². Дополняя русскими этот каталог взаимозаменяемых европейцев, он подчеркивал всю извращенность петровской программы, преувеличивая одновременно ее успешность и косвенно предупреждая поляков, что и они могут пополнить этот список, если не последуют увещаниям Руссо.

Впрочем, в «Общественном договоре» он предсказывал Российской империи еще одну опасность, обещая, что «татары, ее подданные или соседи, станут ее повелителями — и нашими». В представлении Руссо, Восточная Европа столкнулась с континентальным кризисом, она разрывалась между двумя полюсами: французскими вкусами и манерами, с одной стороны, и татарскими опустошительными вторжениями — с другой. Философ не сводил это столкновение к привычному противостоянию цивилизации и варварства, Европы и Азии, поскольку не был готов выступать в защиту цивилизации и Европы. Вместо этого он пытался разрешить дилемму, представляя Восточную Европу в качестве горнила, в котором загораются нации.

Для Вольтера изобретение Восточной Европы было прежде всего картографической операцией; он открывал отдельные ее части и присоединял их друг к другу, следуя по карте за завоевательными походами Карла и Екатерины. Перенеся Польшу с карты в сердца поляков, Руссо освободил ее от ограничений, накладываемых картографической наукой. На самом деле он вообще не был большим поклонником географии, и изучение карт, бессмысленно абстрактных изображений, не входило в программу воспитания Эмиля. Если Эмиль и обращался к картам, он должен был узнать лишь «названия городов, стран и рек, о существовании которых он может получить представление только из той бумаги, которую мы ему показываем»¹³. Переписка Вольтера с Екатериной прекрасно иллюстрировала этот ненавистный Руссо синдром: карты позволяли

философу оставаться в Ферне и одновременно «переноситься на Дарданеллы, на Дунай, на Черное море, к Бендерам, в Крым и особенно в Санкт-Петербург». Оказавшись на картах Екатерины и Вольтера, картах завоеваний и разделов, Польша была обречена на гибель. Но той Польше, о которой говорил Руссо, это не угрожало — благодаря философу она была в безопасности, переместившись еще за двадцать лет до своего уничтожения с карты Европы в сердца своих граждан. Осознавая накануне первого раздела, что Польше на карте угрожает опасность, Руссо превратил эту страну в отправную точку для своей политической теории национальной идентичности. На карте Екатерина могла быть неограниченной повелительницей; зато, по мнению Руссо, настоящих русских больше не было в природе. Что же касается Польши, она могла исчезнуть с карты, сохранив при этом свою «национальную физиономию». Польша стала той точкой, в которой Руссо вывернул наизнанку вольтеровскую карту Восточной Европы.

Жан Старобинский рассматривал жизнь и творчество Руссо как борьбу за достижение «прозрачности», возможности непосредственного восприятия интеллектуальных и эмоциональных истин. В описании Руссо Польша проступала сквозь полупрозрачный занавес, отделявший философа и его читателей от Восточной Европы; «Соображения» были эпистолярной попыткой достичь «прозрачности», найти доступ к сердцам поляков, навязать им их собственную польскую идентичность. Руссо и вправду удалось ухватить самую суть польской проблемы, проблемы национального выживания в отсутствие политической независимости; однако наибольшим успехом созданные им образы и идеология патриотизма пользовались у революционного поколения во Франции. Руссо знал о Польше слишком мало, чтобы быть уверенным, что попал в цель, и заключил свои «Соображения» тем же интеллектуальным самоуничтожением, которое Дидро выказывал в беседах с Екатериной. «Быть может, все это лишь нагромождение химер», — писал Руссо, объявляя «мечтаниями» свои так называемые «соображения»¹⁴. Как и в случае с Дидро, за прямым обращением скрывались рефлексия, мечтания и личные фантазии. Польша, подобно России с оговорками принятая в состав Европы, заставляла эпоху Просвещения пересмотреть свои политические ценности и представления.

«НА КРАЙ СВЕТА»

«Не поедете ли вы в Польшу с мадам Жоффрен?» — писал Вольтер Жану-Франсуа Мармонтелю. Это была шутка: путешествие Мармонтеля в Польшу было столь же маловероятно, как и визит самого Вольтера. Ироничность этого обращения показывала, что поездка мадам Жоффрен, хозяйки самого знаменитого парижского салона эпохи Просвещения, была событием общественного значения, вызывавшим пристальный интерес и позволявшим философам совершать воображаемые путешествия в ее свите. Гримм, профессиональный интеллектуальный сплетник, сообщал, что визит мадам Жоффрен к королю Станиславу Августу в 1766 году был «предметом разговоров и любопытства публики на протяжении всего лета». Гримм полагал, что визит этот, свидетельствующий об «изумительной смелости», представлял «частное лицо, отправляющееся на край света, чтобы насладиться дружбой великого короля»¹⁵. Возможно, что он черпал храбрость именно в этом примере, когда в том же году сам отправился еще дальше, чтобы посетить еще более выдающегося монарха. Вольтер писал из Ферне мадам Жоффрен в Варшаву, сожалея, что не может совершить «такое же путешествие», но назвал ее поездку «эпохальным событием для всех мыслящих людей во Франции». С другой стороны, мадам Деффан, хозяйка конкурирующего парижского салона, в своей переписке с Горацио Уолполом высмеивала путешественницу, называя ее «мадам Жоффренской» и превращая тем самым в персонаж восточноевропейского фарса¹⁶. Тем не менее в качестве комического курьеза или эпохального события поездка мадам Жоффрен в 1766 году оставалась самой знаменитой встречей Просвещения с Восточной Европой вплоть до самого визита Дидро в Санкт-Петербург в 1773-м. Мадам Жоффрен тоже оставалась самым видным покровителем Польши среди деятелей Просвещения, пока Руссо, так и не посетивший этой страны, не написал свои «Соображения».

Мари Терез Родэ, или мадам Жоффрен, была супругой состоятельного парижского буржуа; в 1750-х она основала очень успешный салон, который посещали все виднейшие философы Просвещения. Она принимала у себя и таких его отцов-основателей, как Фонтенель и Монтескье, и издателей «Энцик-

лопедии», Дидро и д'Аламбера. Мармонтель, сам завсегда тай ее вечеров по средам, сообщал, что «она не имела ни малейшего понятия ни об искусстве, ни о литературе и узнавала или читала что-либо лишь по случайности», но тем не менее «достигла совершенства в искусстве направлять беседу» и умеряла споры своих гостей, «устанавливая предел их свободе и в случае нужды пристраивая их словом или жестом, словно держа за невидимые нити»¹⁷. В 1753 году Станислав Понятовский, верный последователь Карла XII, рекомендовал ей своего сына, будущего короля Польши, когда двадцати одного года от роду тот на шесть месяцев приехал в Париж. Она приняла молодого человека по-матерински — он с тех пор называл ее *taman*; а сам юный Понятовский произвел благоприятное впечатление на ее философов, обладая теми безупречными французскими манерами, которые Руссо позднее объявил гибельными для Польши. Фонтенель даже поинтересовался, говорит ли молодой поляк «по-польски столь же хорошо, как и по-французски»¹⁸. В 1758 году мадам Жоффрен принимала находившуюся в Париже проездом принцессу Ангальт-Цербстскую, мать Екатерины, произведшую благоприятное впечатление на Вольтера. Поэтому, когда в 1762 году Екатерина захватила русский престол, а в 1764-м возвела на польский трон своего любовника, мадам Жоффрен оказалась доверенным лицом и корреспондентом двух царствующих особ. Оба ее корреспондента вскоре ухватились за возможность пригласить ее в Восточную Европу.

В сентябре 1764 года Станислав Август писал мадам Жоффрен, своей «*chère taman*» из Варшавы, с гордостью сообщая о своем избрании королем Польши:

Я имел удовольствие быть названным устами всех женщин, так же как и мужчин, моего народа, присутствовавших на этих выборах, поскольку примас, проезжая мимо их экипажей, оказал им любезность, спросив, кого они желали в короли. Почему и вас не было там? Вы бы назвали своего сына!¹⁹

Ее там не было, потому что она была не полячкой, а, напротив того, совершеннейшей парижанкой. Она родилась в Париже в 1699 году, умерла там же в 1777 году и вообще редко покидала Париж, если не считать путешествия в Варшаву в 1766 году. Тем не менее с самого избрания Станислава Авгу-

ста в 1764 году они постоянно пишут друг другу о ее маловероятном приезде в Польшу, а король сетует, что ее все еще нет.

Ma chère maman, так я теперь больше вас никогда не увижу? Не наслажусь никогда сладостью, мудростью ваших мнений (*vos avis*)? Оттуда, где вы находитесь, вы можете посылать мне свои максимы (*maxims*), но для советов (*conseils*) я недостижим²⁰.

В этом пассаже, звучащем отчасти как предупреждение, Станислав Август изложил для мадам Жоффрен политическую дилемму взаимодействия западноевропейского Просвещения с просвещенным абсолютизмом в Восточной Европе. Философам казалось, что на востоке Европы — арена политической драматургии, край возможностей и экспериментов, где «все еще предстоит совершить». Однако действенность их мудрости ограничивало расстояние: советы не доходили так далеко, оказываясь «вне зоны досягаемости». Дело, впрочем, было не только в пролежавших между ними верстах, как обнаружил Дидро, посетивший в 1773 году Санкт-Петербург и оказавшийся менее, чем когда-либо, способным оказывать философское влияние на Екатерину. Содержание королевской переписки с мадам Жоффрен полностью соответствовало предложенному Станиславом Августом разделению на общие максимы, монополией на которые обладал Париж, и конкретными советами, которые он заранее считал находящимися вне досягаемости даже самого знаменитого философского салона французской столицы.

В октябре он писал об этом еще более прямо: «Поскольку для всякого бывает уместно подтвердить в начале царствования старинные договоры, я начинаю с того, что самым искренним, самым торжественным, самым нерушимым образом уполномочиваю вас по-прежнему искренне сообщать мне ваши мнения». Таким образом, с очаровательной напускной торжественностью он санкционировал эпистолярную передачу «мнений». Затем он обратил внимание своего корреспондента на расстояние между Парижем и Варшавой: «Кроме этого, я оставляю за собой право не всегда следовать в точности вашим советам, поскольку невозможно, чтобы на таком удалении вам были в точности известны все факты»²¹. Эта переписка необычна тем, что Станислав Август и мадам Жоффрен совершенно сознательно обращались в своих письмах к невозможности

получать и посылать советы по почте, через весь европейский континент. Несмотря на то что он был монархом с довольно ограниченными полномочиями, подчас — почти марионеткой, а она была скорее хозяйкой популярного салона, чем философом, эта проблема особенно занимала их, когда речь шла о роли просвещенного абсолютизма в Восточной Европе.

В своем первом письме новому королю мадам Жоффрен приветствовала его в том же тоне небрежного кощунства, в котором Вольтер писал Екатерине: «Мой дражайший сын, мой дражайший король, мой дражайший Станислав Август! Вот и вы, три различных лица в одном; вы моя Троица!» С тем же пародийным религиозным рвением она сообщила о своих надеждах на счастливую будущность Польши: «Я вижу Польшу восставшей из пепла, я вижу ее сверкающей, подобно новому Иерусалиму!» Если он воображал, что она была в Польше и присутствовала при его избрании, то мадам Жоффрен притворялась, что в своем воображении видела Польшу. Она немедленно упомянула, что могла бы приехать:

Сердце мое стремится к вам, и мое тело рвется последовать за ним. Вот! Мой дражайший сын, если вы столь великий король, как я желаю и надеюсь, почему бы мне не отправиться к вам, чтобы восхищаться вами как новым Соломоном? Я не желаю обращать внимание на невозможность такой поездки²².

Условное наклонение показывало, что поездка, которую они осмелились задумать, маячила на горизонте, колеблясь между возможным и невозможным, бросая вызов воображению. На мгновение все это напоминало библейскую аллегорию, где Варшава была Иерусалимом, а Станислав Август — Соломоном. Именуя себя Царицей Савской, мадам Жоффрен уже предвидела, что подобное паломничество станет настоящей сенсацией. «Когда царица Савская отправилась на встречу с Соломоном, у нее наверняка был оруженосец», — два года спустя писал Вольтер Мармонтелю, отведя эту роль именно ему. «Вы бы совершили очаровательное путешествие!»²³

Объявив поездку и желательной, и возможной, мадам Жоффрен сразу же открыла свои побудительные мотивы, сославшись на предыдущие письма: «Ваше Величество совершенно правы, говоря, что я нахожусь вне зоны действенности советов; а максимы, даже самые изящные, слишком общи». Она не

желала ограничиться одними лишь максимами, и путешествие в Варшаву могло бы, казалось, разрешить дилемму, представленную перед ней Станиславом Августом. Прежде всего она расспрашивала и наставляла его в связи с планами его женитьбы; как и предполагалось, возможность обсуждать эту тему была ограничена и эпистолярной дистанцией между ними, и необходимостью осмотрительности. Он отказался отвечать на ее настойчивые запросы: «Вы находитесь на удалении пятисот лиг, а я — король, и кто поручится мне, что письмо это останется скрытым от человеческих глаз?» Ограничения, накладываемые эпистолярной формой общения, вновь наводили его на мысль о визите: «Ах, почему вы не можете приехать повидать меня!» Пока же король мог лишь предложить, чтобы их переписка о королевской женитьбе оставалась односторонней: «Я не могу сказать вам, женюсь ли я и с кем именно я сочетаюсь браком, но мне доставит величайшее удовольствие получать от вас всевозможные идеи, мнения, советы...» Такую форму общения едва ли можно назвать перепиской: предоставляя мадам Жоффрен свободу говорить все, что ей придет в голову, Станислав Август снимал с себя обязательство не только следовать ее советам, но и вообще отвечать на ее послания. Из его письма мадам Жоффрен не узнавала никаких подробностей о его предстоящей женитьбе: в нем лишь описывалась карета, которую король заказывал во Франции при ее посредничестве. Он хотел, чтобы обивка была желтой и в карете был светильник для чтения²⁴. Не только французская философия, но и французские вкусы определяли в XVIII веке стандарты цивилизации, которыми измерялась дистанция между Западной Европой и Европой Восточной; и мадам Жоффрен, и эпоха Просвещения стремились предписывать не только выбор обивки.

Впрочем, беспокойство короля о конфиденциальности переписки было оправданным, тем более что эпистолярные взаимоотношения с мадам Жоффрен, подобно отношениям Екатерины и Вольтера, были задуманы им для пропаганды его просвещенного образа в Западной Европе. «На всех моих друзьях произвело большое впечатление первое письмо, которое Ваше Величество написали мне после своего избрания, — писала мадам Жоффрен. — Я прочла им первую страницу; они все были очарованы, но письмо не покидало моих рук». Она, таким образом, обещала ему и широкую рекламу, и сохране-

ние тайны; весь эпизод отражал сложное переплетение публичных и частных устремлений, определявших форму и содержание переписки. Впрочем, мадам Жоффрен была не столь осторожна за год до того, когда первое письмо к ней Екатерины, к смущению обеих сторон, в конце концов попало в газеты. «Я опасалась писать вам во второй раз, — сухо заметила Екатерина, — дабы вы не подумали, что я стремлюсь прославиться своими письмами»²⁵.

Когда Станислав Август был избран на польский трон, устроившая это избрание Екатерина написала мадам Жоффрен, поздравляя ее так: с успехом «вашего сына». Екатерина набожно приписала его избрание Провидению («я не имею представления, как именно он стал королем») и даже предположила здесь влияние самой мадам Жоффрен: «Говорят, что ваш сын держит себя чудесно, и я этому очень рада; я предоставляю вашей материнской нежности поправлять его в случае нужды». Право наставлять саму себя она не собиралась предоставлять никому в Париже; более того, она намеревалась собственными силами исправлять поведение Станислава Августа, если оно начнет расходиться с целями ее польской политики. В конце 1764 года, когда мадам Жоффрен уже задумывалась о посещении Варшавы, Екатерина представляла ее визит в Санкт-Петербург и в письме в Париж рисовала их воображаемую встречу. Эта встреча не сопровождалась падениями ниц в персидском стиле:

Если вы войдете в мою комнату, я скажу вам: «Мадам, присаживайтесь, давайте поболтаем попросту». У вас будет кресло напротив моего, между нами будет столик²⁶.

В центре этой фантазии — встреча на равных Философии и Власти (даже если целью этой встречи была лишь болтовня); однако когда в 1773 году Санкт-Петербург посетил Дидро, между ним и Екатериной поставили маленький столик, дабы оградить императрицу от его фамильярности. Кресло, предложенное мадам Жоффрен, сродни креслам всех тех литераторов, которые в XVIII веке совершали, не вылезая из них, воображаемые путешествия в Восточную Европу.

Когда Станислав Август встретил мадам Жоффрен в Париже, он был еще молодым человеком; всю свою жизнь он сожалел, что не побывал в Риме и не встретил Вольтера. Екате-

рина никогда не бывала в Париже, как она сама с ироническим самоуничижением признавалась мадам Жоффрен; царица оставалась в России и притворялась изумленной, что занимает «людей, находящихся за девятьсот лиг отсюда». Петр бывал в Париже, но для Екатерины континентальная пропасть в 900 лиг, отделявшая ее от корреспондентов, была необходима, чтобы поддержать в Западной Европе ореол таинственности вокруг своей особы. Своих корреспондентов она приглашала к себе в гости, а мадам Жоффрен даже сообщила (тут Екатерина притворялась, что недооценивает свои познания во французском): «Если вы выучите русский, то много меня обяжете»²⁷. Это, конечно, должно было прозвучать иронически, поскольку мадам Жоффрен вряд ли собиралась учить русский и даже по-французски писала не слишком хорошо — она была не в ладах с орфографией.

Письма самой мадам Жоффрен к Екатерине до нас не дошли, но она, несомненно, откликнулась на предложение посидеть в Санкт-Петербурге за столиком, поскольку следующей весной императрица вернулась к этой теме в своем письме: «Я ничуть не забыла, мадам, что предложила вам место напротив себя, отделенное от меня лишь столиком». Екатерина, однако, не спрашивала у нее советов и не интересовалась ее мнением о том, как ей управлять Россией. «У вас (*chez vous*) люди обладают ложными понятиями о России», — прямо заявила Екатерина, и это ее «*vous*» включало и «Вас, мадам, столь сведущую и столь просвещенную»²⁸. Определяя пределы дозволенного эпистолярного вмешательства в свою политику, Екатерина была гораздо жестче, чем Станислав Август, и даже посещение Санкт-Петербурга сулило лишь возможность «поболтать». Именно так Дидро и описывал свои беседы с Екатериной в 1773 году: в его словах, помимо напускной скромности, сквозило еще и раздражение из-за неудавшегося диалога, из-за преграды в виде столика, из-за невозможности откровенной беседы наедине.

В марте 1765 года Станислав Август стал серьезней подумывать о приезде мадам Жоффрен: «Возможно ли, чтобы Вы задумались об осуществлении своего путешествия в Польшу?» Он все еще придерживался условного наклонения, но поездка эта казалась теперь достаточно реальной, чтобы породить в нем несколько двойственное отношение:

О, *ma chère maman!* Возможно ли? Возможно ли? Но вам хорошо известно, что мне бы хотелось уже сейчас заботиться лишь о том, чтобы были прекрасные дороги, прекрасные мосты, хороший ночлег, короче, все, что необходимо для того, чтобы вы не сказали: «Что за скверное (*vilain*) королевство у моего сына!»²⁹

Таким образом, он заранее приписал ей все обычные жалобы западных европейцев, путешествовавших в XVIII веке по Восточной Европе; одновременно он брал на себя обязательство когда-нибудь стереть различия между двумя половинами европейского континента. Уверенность в высокомерно-снисходительном отношении мадам Жоффрен к его королевству определяла взаимные роли корреспондентов, обозначая и отношения между ними двумя, и отношения между Западной Европой и Европой Восточной. В ее ответном письме путешествие в Польшу впервые обсуждалось не в сослагательном наклонении, как фантазия, а как нечто решенное и назначенное на следующий год: «Я покину Париж 1 апреля и буду двигаться потихоньку, пока только земля будет выносить меня, к самому подножию Вашего трона, и там я умру в Ваших объятиях от радости, от удовольствия и от любви». Тем не менее она еще не настолько забылась в экстазе, чтобы не напомнить королю, что он обещал позаботиться о ее удобствах, когда она будет в Польше.

Мой дражайший сын, мне покажутся прекрасными все дороги, ведущие меня к этому счастливому моменту; я не буду судить о них до тех пор, пока не придет пора покидать вас, когда, я полагаю, они покажутся мне отвратительными. Я смеялась, читая, что, по вашему мнению, я буду восклицать: «Что за скверное королевство у моего сына!» Конечно, я сочту его недостойным вас³⁰.

Подобно Руссо, самонадеянно признававшему поляков «достойными» вольности, мадам Жоффрен готовилась признать их недостойными своего просвещенного монарха. Она смеялась над королем, предвидевшим ее восклицания, но лишь потому, что, по ее собственному признанию, его предположение абсолютно верно.

На самом деле именно эта «скверность», эта заметная на каждом мосту и на каждой дороге недостойность делала просвещенный абсолютизм столь убедительно уместным в Восточной Европе. Эпоха Просвещения выгородила себе в Западной

Европе свое собственное королевство, и в ожидании встречи с Польшей мадам Жоффрен даже возложила на себя корону. «Да, да, подобно Царице Савской, я отправлюсь восхищаться Вашей мудростью», — объявила она. «Раз мой сын — царствует, я вполне могу уподобить себя царице». Так свершилось воображаемое коронование мадам Жоффрен, которая вечерами по средам дергала за невидимые нити, направляя беседы парижских философов. Случалось ли ей задуматься, что завоевание и власть могут выражаться в различных формах? Ее дочь, мадам де ла Ферте-Имбо, уверяла, что мадам Жоффрен обладала «душой Александра»³¹.

«Словно спустясь с другой планеты»

В мае мадам Жоффрен писала королю, чтобы сообщить, что предстоящая поездка не кажется ей «невозможной», объявить, что она «не напугана и не обеспокоена женскими слабостями», и обсудить причины, по которым она считает путешествие в Польшу неотложным.

Я не смогу поддерживать многолетнее сообщение с вами, если мои представления о вашем духе, о его широте, о его природе и о его способностях не будут обновляться. ... Наши отношения станут безжизненными, если все, что я вам говорю, не имеет больше никакого отношения ко всему тому, что вы чувствуете и что вас окружает³².

Таким образом, само путешествие становилось необходимым, чтобы поддержать жизнеспособность их переписки. Письма были основной формой «сообщений» между ними, связывающей их через пролегшую между ними пропасть, но личное пребывание мадам Жоффрен в Польше на протяжении нескольких месяцев должно было оправдать многолетний обмен посланиями. Без этой поездки она постепенно потеряла бы истинное представление о своем корреспонденте и не знала бы, что его «окружает». Окружала его Польша; его двор и его придворные были для нее «множеством лиц, принадлежащих к совершенно иному виду». Письмо завершалось тройным призывом придерживаться высоких стандартов в их переписке: «Откровенность, откровенность, откровенность!»³³ Подобно

Руссо, мадам Жоффрен осознала, что воспринимает Польшу сквозь занавес, в прозрачности которого она уверена не была.

Король тоже тревожился: «*Ma chère maman*, я не пожалел бы никаких сокровищ, чтобы проводить с вами каждый день своей жизни, и все же я опасаясь воздействия громадных различий, которые вы обнаружите между всем окружающим вас там, где вы находитесь сейчас, и тем, что вы встретите здесь». Географическая удаленность создавала «громадные различия», непроходимую пропасть:

Вы, несомненно, повидали многое, но вам не приходилось испытывать столь значительные перемещения; вы, так сказать, никогда не покидали Парижа, а теперь сразу отправитесь до самой Польши (*jusqu'en Pologne*)! Нет, я поверю этому, только когда увижу своими глазами, и, признаюсь, почти столь же опасаясь увидеть вас здесь, сколь и желаю³⁴.

Переписка могла сгладить громадные различия, даже если речь шла о «самой Польше», но перемещение создавало брешь в стене, разделяющей два различных мира. В июне 1765 года, за целый год до приезда мадам Жоффрен, король, разрывавшийся между опасениями и желанием встречи, признался, что перемещение это требует самых тщательных приготовлений и репетиций:

Вы остановитесь в моем дворце, на одном этаже со мной. ... Вы будете обедать и ужинать *chez vous*, если пожелаете, или со мной. ... В вашем распоряжении будет карета. ... Как только я узнаю, едете ли вы через Вену, Дрезден или Берлин, я вышлю впереди вас человека, говорящего по-французски, по-немецки и по-польски³⁵.

Въезд мадам Жоффрен в Польшу должен был стать решающим этапом ее путешествия, пересечением границы; двадцать лет спустя Сегюр воспримет эти мгновения как расставание с Европой как таковой. Приготовления к приезду мадам Жоффрен должны были определенным образом организовать ощущение этих «громадных различий», и газеты среди прочих слухов печатали домыслы, будто в Варшаве ее ожидал дом, планировка и внутреннее убранство которого в точности повторяли ее собственное жилище на улице Сен-Онорэ в Париже. Идея симметричной мимикрии, подчеркивающей различия между Западной Европой и Европой Восточной, волновала умы

и после смерти Вольтера в 1778 году, когда Екатерина подумывала о том, чтобы возвести в Царском Селе точную копию усадьбы в Ферне и поместить там библиотеку покойного французского философа³⁶.

В июне 1765 года мадам Жоффрен желала знать, которая из трех предложенных королем дорог в Польшу «наименее скверная» и какова варшавская вода: «Когда у меня есть хорошая вода, мне более ничего не нужно». Одновременно она была занята подготовкой путевых удобств, продолжая надзирать за постройкой королевской кареты и пересылая в Варшаву клочки желтого атласа, чтобы Станислав Август мог окончательно выбрать обивку. Кроме того, она предложила полякам помочь в приобретении бриллиантов мадам де Помпадур, которая скончалась незадолго до того; однако главной темой разговоров того лета оставалось ее собственное перемещение.

Весь свет, то есть мои друзья и мое общество, настолько восхищаются вашим дружеским отношением ко мне, они все говорят, что я просто обязана отправиться повидать вас. Я выпрямляюсь, поджимаю губы и отвечаю на манер оракула: «Нет ничего невозможного». Мысль о возможности посетить Вас, мой дражайший сын, столь восхитительна для меня, что не проходит ни дня, когда бы я не делала каких-то приготовлений, покупок, не наводила справок в этой связи³⁷.

Достоинства этого проекта существенно возрастали благодаря широкому общественному интересу к ее «невозможному» приключению. В то лето мадам Жоффрен совершала небольшие прогулки вокруг Парижа, «как те маленькие птички, что учатся летать», и друзья ее предполагали, в полном соответствии с ее замыслом, что она пробует свои силы перед дорогой в Варшаву³⁸.

Назвав посещение Польши восхитительным, мадам Жоффрен сразу же применила это слово к соседнему объекту на карте: «Я снова получила восхитительное письмо оттуда, оттуда (*là-bas, là-bas*). Поистине она очаровательная женщина». Эта женщина, конечно, не кто иная, как сама Екатерина, о чьем очаровании Станислав Август знал не понаслышке; выражение «*là-bas, là-bas*» не раз встречалось в его переписке с мадам Жоффрен и относилось к России, лежащей «за» Польшей. В своем письме Станислав Август совсем уж косвенным образом

обозначил положение России относительно Польши, предложив мадам Жоффрен «новости из еще более далекого [края]» («*les nouvelles de plus loin*»)³⁹. Польша далеко, но Россия еще дальше. Из деликатности, вызванной и личными, и политическими соображениями, мадам Жоффрен и Станислав Август ни Россию, ни Екатерину прямо не называли. Взойдя на трон, он был все еще влюблен в Екатерину, быть может, даже надеялся, что они поженятся и объединят свои государства, но она предпочла ему новых возлюбленных и манипулировала им из Санкт-Петербурга. Теперь он писал мадам Жоффрен, что, должно быть, никогда не сможет любить с такой «широтой сердца», с таким слепым обожанием:

Но поскольку, когда любовь уходит, потребность в дружбе усиливается, *taman* достанется то, что было предназначено для *la-bas*, *la-bas*! Вы правы, она очаровательная женщина! Но отсюда далеко до *la-bas*, *la-bas*!⁴⁰

Король, таким образом, превратил свои романтические чувства к Екатерине в сыновью преданность гораздо более старой женщине, которую он теперь пылко ожидал в Варшаве. Екатерина в Санкт-Петербурге по-прежнему оставалась его главной политической покровительницей, но мадам Жоффрен могла теперь претендовать на его сердце от имени Просвещения в Париже. Руссо закрепил эти притязания, обращаясь прямо к сердцам поляков.

Если в 1765 году король выбирал между двумя женщинами, то мадам Жоффрен выбирала между двумя суверенами, поскольку она по-прежнему переписывалась с обоими. Желая продемонстрировать свои предпочтения, она этим летом совершила эпистолярное предательство, переслав в Варшаву полученные от Екатерины письма, чтобы Станислав Август тоже прочитал их. Среди них, по всей видимости, были и мартовское письмо о «столике», и июньское «восхитительное письмо», в котором Екатерина сообщала, что «живет как калмык», все время в дороге, и от такой жизни «парижские дамы попадали бы в обморок»⁴¹. Мадам Жоффрен, однако, готовилась покинуть Париж, и, возвращая ей письма из «*là-bas*, *là-bas*», Станислав Август торжественно ожидал ее приезда. «То, что вы совершаете из одной лишь дружбы, так сказать, совершенно беспримерно, — писал он, — поскольку вы приедете из Пари-

жа в Польшу исключительно затем, чтобы получить возможность любить меня не менее глубоко и, возможно, с большей пользой, чем до этого». В Варшаве у него не было бескорыстных советников, но мадам Жоффрен, прибывающая из Парижа в Польшу, «словно спускаясь с другой планеты», сможет говорить «беспристрастно». На ее тройной призыв к искренности он ответил страстным тройным призывом приехать: «*Oh! Venez, venez, venez, ma chère maman!*»⁴² Переезд из Западной Европы в Восточную сравнивался с межпланетным путешествием, а ее присутствие в Польше, по его мнению, несло практическую пользу, ибо давало надежду на беспристрастный совет с планеты Просвещения.

На Новый, 1766 год Станислав Август писал мадам Жоффрен, беспокоясь о том, как отнесется Екатерина к предполагаемому путешествию: «Мне лишь приходит в голову, что *là-bas, là-bas*, быть может, позавидуют тому, что вы делаете для меня, и, возможно, попробуют внушить вам желательность того, чтобы вы проехали еще четыреста лиг»⁴³. Грамматика этой конструкции поистине зубодробительна, отражая щекогливость трехсторонних отношений; но внушения и приглашения Екатерины не действовали на мадам Жоффрен. В 1766 году, том самом году, когда Руссо отклонил приглашение Орлова, она окончательно отвергла Россию и открыла свою Восточную Европу в Польше.

В январе она объявила: «Я не боюсь скверных дорог». Она решила довериться назначенному ей провожатому, говорящему на трех языках: «Я закрою глаза и буду думать лишь об удовольствии, которое я получу от встречи с Вашим Величеством». Поездка в Варшаву становилась делом слепой веры, и она с самого начала отставила в сторону все опасения: «Я отправлюсь, как если бы я ехала в Шало, ближайшую к Парижу деревню». Ее отъезд пришелся на конец мая, и в начале июня она достигла Вены. Императрица Мария-Терезия приняла ее в Шенбрунне, где гостя из Парижа была очарована красотой одиннадцатилетней принцессы Марии-Антуанетты и обещала послать благосклонный отзыв во Францию, где уже обдумывали брак этой девочки с будущим королем. Только выехав из Вены в Варшаву, мадам Жоффрен по-настоящему пересекла границу Восточной Европы, подобно леди Мэри Уортли Монтэгю, отправившейся из Вены в Белград за 50 лет до того. В

Вене она встретилась со своим провожатым, которого Станислав Август послал вместе с необходимыми дорожными принадлежностями — постелью, мебелью, столовым серебром. В своем письме в Вену король предвкушал ее прибытие в Варшаву в «плоти и крови» и воображал, что ее присутствие покажется плодом «волшебства»⁴⁴. Однако средства передвижения едва ли были волшебными, поскольку, как и во время екатерининского путешествия в Крым двадцать лет спустя, волшебство это было результатом тщательных приготовлений. Когда мадам Жоффрен посетила Польшу в 1766 году, сам Станислав Август следил за подготовкой всех деталей ее путешествия, и все же ее приезд в Восточную Европу казался королю чем-то фантастическим, словно она сошла с другой планеты.

«НЕДОСТОЙНОСТЬ ПОЛЯКОВ»

«Я прибыла в Варшаву, как если бы я лишь выбралась из моего кресла», — сообщала мадам Жоффрен в Париж своей дочери, поддерживая образ волшебного путешествия и намекая, что она действительно закрыла глаза в Вене, а открыла их уже в Варшаве. Король тоже, казалось, относился к ее приезду как фокусник к удачному трюку; он приветствовал ее возгласом: «*Voilà tatan!*» Затем она описывала его «радостный восторг» от их встречи: в тот момент, когда он обнял ее, у нее колотилось сердце и дрожали руки и ноги. «Говорить о том, что может польстить моему самолюбию, я не стану», — пообещала мадам Жоффрен своей дочери и немедленно сообщила о своей «блестящей свите» в Варшаве: «старые и молодые господа, все королевские придворные, в моем распоряжении». С полным отсутствием политической проницательности, она решила, что короля обожают «все, кто его окружает». В Западной Европе ее поездка была сенсацией, и она не преминула измерить интерес публики к собственной персоне. «Если о моем путешествии говорили в Париже, я уверяю вас, что в Вене о нем говорили еще больше». Мадам Жоффрен писала в Париж своей дочери, мадам де ла Ферте-Имбо, и слегка журила ее за то, что та показывала всем ее письма, — «мне кажется, вы немного виновны в том шуме, которым я столь недовольна». Однако в действительности этот галдеж едва ли был не-

угоден мадам Жоффрен, и она с радостью подогревала любопытство парижан: «Поскольку скромность не позволяет мне самой рассказать о своих успехах во всех областях, по возвращении в Париж я поступлю, как в рыцарских романах, — обзаведусь оруженосцем, чтобы описывать их»⁴⁵. Хотя Польша и была у ее ног — «в моем распоряжении», — лишь Париж мог стать ареной истинного и окончательного триумфа.

Ее мысль о том, чтобы обзавестись оруженосцем для живописания своих приключений, полностью совпала с той ролью, которую Вольтер прочил Мармонтелю: «Когда Царица Савская отправилась на встречу с Соломоном, у нее, наверное, был оруженосец». И впрямь, было вполне естественно ожидать что философы, особенно завсегдатаи ее салона, станут воспевать ее путешествие: в течение своего пребывания в Варшаве мадам Жоффрен переписывалась и с Мармонтелем, и с Вольтером. Мармонтель начал свое письмо в Варшаву ссылкой на аббата де Сен-Пьера и его «Проект вечного мира» 1713 года, составленный в XVIII веке устав лиги наций, создаваемой с целью сохранения европейского мира. Аббат, должно быть, надеялся, размышлял Мармонтель, что «однажды Истина посетит европейские дворы». Он как бы отождествлял мадам Жоффрен с этой аллегорической путешественницей. Мармонтель, не только посещавший ее салон, но и живший в ее доме, приписывал международную значимость ее поездке в роли Истины:

Наш добрый аббат предполагал, что не только появятся монархи, столь благие, что позволят ей растрогать и убедить себя, но и что эти монархи найдутся даже в краях, на протяжении многих веков порождавших бичи человечества и источники разорений, опустошивших вселенную⁴⁶.

Визит мадам Жоффрен к Станиславу Августу был «счастливым предвестьем» будущего Европы, где «вечный мир» распространится даже на те «края», которые еще недавно находились в мрачной тени татарской угрозы, то есть земли Восточной Европы. Подобные образы, несомненно, подготовили всеобщее изумление, окружавшее поездку мадам Жоффрен. Шестидесятисемилетняя женщина, известная своей буржуазной респектабельностью и безупречным здравым смыслом, отправилась в края, которые в сознании современников были

связаны с «бичами человечества» и вселенскими опустошениями. Она становилась посланницей Просвещения и в этом качестве должна была установить связь между монархом и парижскими философами. В своих письмах в Варшаву Вольтер поручал ей «свидетельствовать» о том, чего может достичь просвещенный монарх. Это последнее письмо настолько не было их с мадам Жоффрен частным делом, что надпись на конверте предлагала королю вскрыть его, словно сам адресат уже выбыл из Варшавы⁴⁷.

Но, как ни странно, узнать содержание самого знаменитого письма, полученного мадам Жоффрен в Польше, оказалось невозможным. Его прислал аббат де Бретейль, чей почерк был абсолютно неудобочитаем. Мадам Жоффрен сообщала домой в Париж об этих каракулях:

Дабы этот великолепный образчик получил всю известность, которой он заслуживает, я положила его на стол и воскликнула: «Спешите все, князья и княгини, воеводы, старосты, кастеляны и их супруги, и ты, простой народ, спешите! Вот иероглифы, которые надо растолковать, и десять дукатов победителю». Все сословия собрались, но дукаты остались у меня⁴⁸.

Перед нами проходит весь польский двор, поименованный в соответствии с чинами и рангами, состоящий в распоряжении мадам Жоффрен. Вся шутка состояла в невозможности разобрать письмо из Парижа, но шутка эта в полной мере достигла своего эффекта только тогда, когда мадам Жоффрен послала в Париж полный отчет о приключениях письма в Польше. Копии ее рассказа ходили по рукам, и если верить Гримму, его прочло все парижское общество⁴⁹. Речь, таким образом, идет о двух восприятиях, восприятии «иероглифов» польскими придворными в Варшаве и восприятии вполне удобочитаемого письма мадам Жоффрен в парижских салонах. Шутка основана не только на неумении француза писать разборчиво, но и на неумении поляков прочесть письмо, их растерянности перед иероглифической загадкой. Сама мадам Жоффрен письмо расшифровала, полагаясь на свое «ясновидение». Взятые вместе иероглифическое письмо, его восприятие и рассказ об этом восприятии образовывали нечто вроде «урока письменности», подобного тому, который Клод Леви-Стросс упоминает, описывая племя намбиквара в Бразилии

XX века, а Жак Деррида позднее толкует как ключ к пониманию «грамматологии», зародившейся как раз в век Руссо⁵⁰. Власть и престиж письменного слова, иероглифического знака позволяли мадам Жоффрен инсценировать пародийную мистификацию, с помощью которой она убедила Париж в том, что у нее есть собственные польские придворные («в моем распоряжении»).

И тем не менее мы не знаем, как развивалась в Варшаве ее дружба с королем, самая главная нить, связывавшая ее с Польшей, поскольку, естественным образом, их переписка прервалась, пока они три месяца жили в одном дворце. Хотя ее и встречали с «радостным восторгом», хотя она и рекомендовала короля Вольтеру как образец просвещенного монарха, в Варшаве произошло что-то, глубоко ее обеспокоившее. Она отбыла в сентябре, и, пересылая ей в Вену письмо Вольтера, король в своем собственном письме впервые за всю историю их переписки назвал ее на *«ты»*. Она, однако, так рассердилась, что в ответном письме швырнула эту фамильярность обратно ему в лицо: «Я считаю это *ты* каким-то бесовским наваждением»⁵¹. Лишь два года спустя, в 1768 году, она взорвалась и высказала все свое негодование по поводу путешествия; однако это письмо или затерялось, или было уничтожено, и сохранились лишь последующие ссылки на него.

Письмо, которое Ваше Величество называет «ужасным письмом», было совершенно необходимо, чтобы я могла облегчить свое сердце; с самого возвращения из Польши я делала все возможное, чтобы сдержаться, но сердце мое было столь переполнено, что не могло не излиться: сейчас оно чисто и недоступно более для горячи⁵².

Этой ссылки на «ужасное письмо» 1768 года достаточно, чтобы предположить, что непосредственное общение мадам Жоффрен со Станиславом Августом в Польше прошло столь же неудачно, как и встреча Дидро с Екатериной в России. В 1772 году мадам Жоффрен призналась в письме мадам Неккер, хозяйке другого знаменитого салона, что ей отвратительно ее путешествие в Польшу шестилетней давности. Все произошло ровно так, как и предсказывал король еще до ее отправления в путь, опасаясь, что она сочтет Польшу «скверным королевством», и сожалея, что нет времени устроить

«прекрасные дороги, прекрасные мосты, хороший ночлег». Мадам Жоффрен живо вспоминала «дороги, которые нельзя назвать дорогами, ночлег в конюшнях, из которых надо было сначала выгонять животных, несъедобный хлеб, отвратительную воду»⁵³. Это совсем не похоже на «волшебство», но ее отзыв вполне соответствовал обычным жалобам путешественников по Восточной Европе. Быть может, не случайно мадам Жоффрен решилась предать гласности свои претензии к Польше именно в 1772 году, когда королевство подверглось совершенному унижению первого раздела.

Мемуары Станислава Августа содержат намеки на некоторые разногласия между ним и его гостей по поводу искусства и убранства комнат. В Варшаве кто-то нашептал мадам Жоффрен, что король отзывался пренебрежительно о ее вкусе; она была задета и полна негодования. После этого она закатывала королю «самые бурные сцены», которые ему иногда казались «даже комическими», и весь визит доставил ему больше беспокойства, чем удовольствия. Кроме того, он волновался о том, что она скажет по возвращении в Париж: «Она такая пылкая и настолько не управляет своим языком, что, если ее рассердить, она может сильно повредить королю в глазах иностранной публики». Последнее слово он оставил за собой, в своих мемуарах (которые ей не пришлось прочесть), уверяя потомков, что у нее больше «претензий», чем вкуса⁵⁴.

Так задним числом описывал неприятности между ними сам король, но другое описание, оставленное его политическим противником, Казтаном Солтыком, епископом Краковским, наводит на мысль, что в основе разногласий лежало нечто большее, чем просто различия во вкусах и уязвленное самолюбие. В конце августа, за несколько недель до ее отъезда из Варшавы, епископ заметил в письме, что «король, должно быть, уже терпеть не может мадам Жоффрен, поскольку она все время говорит ему правду». Епископ был далек от Просвещения, и тем не менее в своем восприятии французской гостьи он близок к Мармонтелю. Для Солтыка она — символ нелицеприятной правды, а для Мармонтеля — сама Истина. Мадам Жоффрен настраивалась на «откровенность, откровенность, откровенность», но непосредственная встреча Просвещения с Восточной Европой вне литературного контекста трансконтинентальной переписки могла закончиться ужасной неловко-

стью. Говоря о взаимоотношениях Станислава Августа и эпохи Просвещения, Жан Фабр заключил, что в данном случае «очарование не могло пережить непосредственной встречи»⁵⁵.

В июле мадам Жоффрен писала из Варшавы д'Аламберу, что ее откровенность натолкнулась на ограничения: «Что за ужасная участь быть королем Польши! Я не осмеливаюсь сказать ему, каким несчастным я его считаю». Несчастье, видимо, следовало из самой природы его королевства, и госте не удавалось выразить беспрепятственно и полностью именно свое недовольство Польшей. Еще до того, как попасть туда, она предсказывала, что сочтет эту страну «недостойной» своего сына, а оказавшись там, нашла ее еще менее достойной себя самой. Она писала д'Аламберу: «Все, что я видела с тех пор, как покинула свои пенаты, побуждает меня благодарить Бога за то, что я родилась во Франции, и за то, что я частное лицо»⁵⁶. Именно так и конструировали Восточную Европу в XVIII веке, относясь к ней свысока от имени более совершенной западноевропейской цивилизации. Мадам Жоффрен посетила Польшу лишь затем, чтобы обнаружить, как приятно быть француженкой. Кроме того, она радовалась, что была частным лицом, а не суверенным государем; это казалось бы несущественным, если бы, отправляясь в Польшу, она не возложила на себя корону Царицы Савской. Тем летом д'Аламбер получил еще одно письмо из Восточной Европы, автор которого был и вправду суверенным государем. Этим автором была Екатерина, знавшая, что мадам Жоффрен находилась в Варшаве, и воспринимавшая эту поездку как отвержение и Санкт-Петербурга, и ее самой. В августе она холодно написала д'Аламберу: «Я узнала о путешествии мадам Жоффрен уже после ее отъезда. Я никогда не предлагала и никогда не предложу ей побывать здесь», — вероятно, из-за чрезмерной «суровости климата». По возвращении в Париж мадам Жоффрен получила от Екатерины последнее, длинное письмо, в котором та хвасталась своими отношениями с Дидро и Вольтером, а также тем, что «приобрела» Фальконе⁵⁷. Ей нелегко было простить француженке, что та предпочла обнаружить все преимущества своего французского рождения в Польше, а не в России.

Хотя мадам Жоффрен и утверждала, что летом 1766 года сочувствовала «ужасному положению» польского короля, настоящие трудности у него начались только осенью, после ее

отъезда. На сейме 1766 года Екатерина заблокировала его программу конституционных реформ и вызвала затяжной политический кризис, сопровождавшийся русским вмешательством во внутренние дела Польши; это привело в 1768 году к созданию Барской конфедерации, восставшей и против России, и против короля. Станислав Август был низложен, похищен, едва не убит и сохранил свою корону только благодаря победам русского оружия и лишь ценой унижительного расчленения своего королевства в 1772 году, Руссо, поддержавший. Конфедерацию и презиравший Станислава Августа за его связи с Россией, заключил в «Соображениях», что «сейчас он, пожалуй, просто неудачник». Подобно мадам Жоффрен, он жалел польского короля; подобно ей, он осмелился представить, пойдет ли ему корона, если бы он «оказался на его месте»⁵⁸.

Хотя мадам Жоффрен и осталась недовольна своей поездкой в Польшу, по возвращении она выказала полное самообладание. Ее рассказ о прибытии в Варшаву — «как если бы» — эхом вторит рассказу Гримма о ее прибытии в Париж «так мало уставшей, словно она вернулась с прогулки». Ее путешествие, он полагал, было «просто невообразимым», особенно для женщины ее возраста⁵⁹. Первое же письмо, полученное ею в Париже от Станислава Августа накануне судьбоносного сейма, восстановило между ними эпистолярную дистанцию, вновь делая их отношения понятными для парижан и удобными для нее:

Ma chère maman! ах! *ma chère maman!* Вы уже довольно далеко отсюда! Тем хуже для меня, но тем лучше для вас! Вы не смогли бы выносить мои неприятности, если бы видели их вблизи⁶⁰.

Хотя в этих словах и проглядывал намек на некоторую напряженность, сопровождавшую ее пребывание в Варшаве, уже к следующей весне стереотипы и иллюзии эпистолярного общения возобладали над неловкими воспоминаниями о непосредственной встрече. «*Ma chère maman*, вы уже в пяти сотнях лиг от меня, — писал король, — но дружба, эта потребность души, переносит меня к вам и заставляет меня писать так, как если бы я был рядом с вами»⁶¹. Переписка восстановила очарование, разрушенное непосредственной встречей.

К началу 1767 года мадам Жоффрен вновь стала поставщиком цивилизации в Польшу. Она справлялась, сможет ли мадемуазель Кларон, знаменитая французская актриса, появиться

ся на варшавской сцене при столь неопределенной политической ситуации. Она устроила так, что Станислав Август стал получать «Correspondance Littéraire» Гримма с обзором текущих культурных новостей Просвещения. Она переслала в Варшаву копию «Велизария» Мармонтеля. Именно благодаря ей король получил бюст Вольтера, но она отказалась послать свой собственный портрет, упорно отзываясь о себе в третьем лице:

Вот что мадам Жоффрен, проживающая на улице Сен-Онорэ, отвечает по поводу портрета. Она признает, что в Варшаве, забывшись однажды от любви к своему королю, она пообещала ему оригинал ее портрета работы Натъе; но по возвращении домой к ней отчасти вернулось хладнокровие, и она считает нахальством посылку своего портрета в Польшу⁶².

Она опасалась показаться «смешной», поднимая суету вокруг собственного портрета, однако те же доводы она могла бы привести и против самой поездки. Она повторила свой адрес, улица Сен-Онорэ, как бы подчеркивая, что никогда больше не отправится в Польшу, даже в виде портрета.

В конце 1767 года она признала путешествие в Польшу единственным «необычайным происшествием» в своей подробно спланированной и тщательно выверенной жизни, с еженедельными приемами художников по понедельникам и философов по средам. Она заверила Станислава Августа, что поездка все-таки была успешной:

Для меня она была вполне успешной. Я увидела моего короля, я увидела тех, кто его окружает, и, наконец, то, что я видела, я видела как следует; я довольна, что набралась смелости совершить эту поездку, и счастлива, что она прошла без всяких несчастных случаев. Вернувшись домой, я возобновила мою жизнь в обычном жанре⁶³.

Все одобрение, высказанное мадам Жоффрен в адрес Польши, заключено в сфинксоподобном бормотании «то, что я видела, я видела как следует», но и того достаточно, чтобы показать, как она горда, что непосредственно ознакомилась с этой страной. К началу 1768 года, желая выказать молодость духа, она заметила, что, вопреки «рассудку, мудрости и размышлениям», ее сердце, «быть может, вернуло бы ее опять в Польшу». На самом деле Польша стала для мадам Жоффрен, как и для Руссо, краем, куда сердце ее имеет прямой доступ. Она гово-

рила о Станиславе Августе с приезжими из Польши и немедленно увлекалась: «Я могу поверить, что я все еще в Варшаве»⁶⁴.

В 1769 году, когда политическое положение Станислава Августа становилось все более бедственным, мадам Жоффрен не могла заставить себя задуматься о Польше: «Я прячу голову в мешок»⁶⁵. Тем не менее уже в следующем письме она строит фантастические предположения о том, что было бы, если бы она задержалась в Польше: «Нет сомнения, что, если бы я все еще была в Варшаве, все это все равно бы случилось». Политические противники короля постарались бы опорочить ее дружеские чувства к нему, дабы предотвратить любое возможное влияние с ее стороны. В конце концов, предположение, что она могла остаться в Варшаве, было менее фантастическим, чем идея, что ее присутствие изменило бы политические судьбы Польши — возможность, которую она, видимо, рассматривала, даже если и отрицала ее вероятность. При этом, благодаря своему посещению Польши, мадам Жоффрен могла претендовать на то, что в совершенстве понимает невероятно сложную политическую ситуацию в этой стране:

Одни лишь дружеские чувства привели меня к Вашему двору, где я отлично увидела то, чего не могла видеть с того удаления, на котором я нахожусь; но я увидела это так хорошо, что сейчас, отсюда, где я нахожусь, я вижу все, что там происходит⁶⁶.

Хотя она и уехала как раз накануне сейма 1766 года, на котором и разразился кризис, само ее путешествие придавало Польше прозрачность, позволяя ей ясно видеть все происходящее там издалека, из Парижа, даже с мешком на голове. Руссо, конечно, стремился добиться от Польши той же прозрачности, но так никогда в Польше и не побывал. Свет Просвещения, таким образом, позволял взгляду западноевропейского философа проникать даже в самые темные углы.

Мадам Жоффрен сохранила в памяти почти фотографический образ Польши, сделанный летом 1766 года, и впоследствии считала его безупречным и не нуждавшимся ни в каких поправках. В 1770 году она отказывалась расспрашивать приезжавших в Париж поляков, «из опасения узнать о новых несчастьях». Более того, она сообщила королю: «Я не могу слышать даже имени Польши без содрогания»⁶⁷. Ее ужас соответствовал об-

щей географической сдержанности их корреспонденции, резко отличавшейся от переписки между Вольтером и Екатериной, наслаждавшихся географическими названиями с карты Восточной Европы, «которых никто до этого не слышал». Станислав Август иногда вводил такие названия в свои письма, но мадам Жоффрен не проявляла к ним ни малейшего интереса; такое безразличие вполне подходило тому, кто путешествовал через континент с закрытыми глазами, волшебным образом материализуясь уже в Варшаве. В 1768 году король упомянул, что название Барской конфедерации происходило от города Бар «в Подолии, по соседству с турками и татарами»; именно такие сведения больше всего интересовали Вольтера. Король писал мадам Жоффрен, что французский агент в Крыму подбивал турок объявить России войну⁶⁸. Он сообщил ей, что крестьяне на Украине восстали и совершают массовые убийства, — но такие известия были случайными и чуждыми общему духу их эпистолярного общения.

Я не могу сказать вам, выразить вам, до какой степени сердце мое проникнуто вами, вашей дружбой, и до какой степени иногда, например сейчас, когда я пишу вам, я бы хотел побеседовать с вами. Мне кажется иногда, что я вижу вас, оставляя титулы и страсти за дверями, мы садимся поболтать непринужденно, называя все вещи своими именами и смеясь над всеми теми важными несчастьями, которые нам приходится уважать⁶⁹.

Представляя мадам Жоффрен, король почти видел галлюцинации; галлюцинации были у нее и когда она представляла себе Польшу. При этом конфедераты в Подолии, крестьяне на Украине и агенты в Крыму оставались лишь призраками за плечами у короля, о которых он забывал, пока писал письмо, а она не замечала, поскольку побывала в Варшаве, и этого с нее достаточно. В 1772 году Станислав Август объяснил ей, что Ченстохова, последний оплот конфедератов, был «маленькая крепость у границы с Силезией, известная из-за чудотворного образа Богородицы»⁷⁰.

Приближаясь к своему семидесятилетию, мадам Жоффрен объявила Станиславу Августу: «Я ежедневно собираюсь в Польшу»; иными словами, она готовится умереть. Польша, таким образом, была метафорой для ожидавшего ее последнего путешествия. Тем не менее в 1770 году, когда Станислав Август

попросил ее переслать ему в Польшу, за 500 лиг, немного парижского веселья, она ответила отказом, ибо пребывала в мрачном настроении. «Я видела в Варшаве зародыш всех ваших несчастий», — зловеще утверждала она⁷¹. В 1773 году, после первого раздела, она судила Польшу очень строго и еще сильнее настаивала на том, что предвидела все заранее:

Я признаюсь Вашему Величеству, что несправедливости, заблуждения и недостойность поляков причиняли мне боль, но вовсе не удивили меня. Я видела в течение тех месяцев, что я провела в Варшаве, зародыш всего того, что теперь появилось на поверхности. Мне кажется, что я позволила Вашему Величеству увидеть это краем глаза, но я не хотела показать это слишком ясно, ибо я не видела лекарства и не желала отнять поддерживавшую Вас надежду⁷².

Взор наблюдающих извне оказывался всепроникающим, по крайней мере — в ретроспективе. Польша была вне зоны действия философических советов из Парижа: «У меня нет ни советов, ни мнений, ни утешений для Вашего Величества». Ей самой было нечего сказать о Польше, и она лишь подтвердила: «когда кто-нибудь говорит о ней, мне хочется спрятать голову в мешок». Станиславу Августу она предложила отречься, прибавив: «Я бы отправилась в Рим». Она в последний раз притворилась коронованной особой, но лишь затем, чтобы показать, как надо презирать корону и отказываться от нее. Ему она предлагала стать кардиналом и жить на покое. «Прошу прощения за эту чушь, — писала она, — но Ваше государство выводит меня из себя»⁷³. Как раз в это время Дидро находился в Санкт-Петербурге, представляя Екатерине свои соображения в письменном виде и на всякий случай неловко извиняясь за то, что говорит чушь.

В переписке мадам Жоффрен и Станислава Августа упоминалась и поездка Дидро в Санкт-Петербург, поскольку философ не сделал остановки в Варшаве. Мадам Жоффрен оскорбила Екатерину, не пожелав после Польши посетить еще и Россию, а Дидро оскорбил Станислава Августа, проехав через Польшу и не явившись засвидетельствовать королю свое почтение. В 1774 году мадам Жоффрен утешала короля тем, что с Дидро в любом случае скучно, он чересчур «мечтатель», и рекомендовала взамен Гримма, который по пути из Санкт-Петербурга был не прочь завести еще одного коронованного приятеля⁷⁴. В том же письме она сообщала о новом француз-

ском короле, Людовике XVI, и выражала мнение, что парижане, в отличие от поляков, умеют «любить своего короля». Здесь мадам Жоффрен оказалась плохой пророчицей — из всех монархов той эпохи лишь Людовик XVI закончил свое царствование еще более печальным образом, чем Станислав Август. Пока Париж праздновал начало нового царствования, мадам Жоффрен ожидала Гримма: «Для меня будет очень сладостно поговорить о Вашем Величестве». Когда они с Гриммом наконец встретились и побеседовали о Польше, разговор этот принес не только сладость, но и горечь:

Увы, он говорит мне, что во всей Варшаве нашел опечаленным лишь Ваше Величество. Он привел меня в негодование, рассказывая, что народ веселится, что они там танцуют и поют; в общем, что в Варшаве вовсе не ощущаются общественные бедствия. Народ, столь бесчувственный, предназначен быть покоренным⁷⁵.

Она уже осудила поляков за их «недостойность» и теперь, под воздействием рассказов Гримма, наконец призналась в том, что перешла на вольтеровские позиции в оценке произошедших разделов. Поляки не только недостойны, они еще и «предназначены быть покоренными». Преданность Руссо делу польской свободы привела к появлению новой и блестящей концепции Восточной Европы, основанной на национальной идентичности, которую нельзя ни расчленить, ни покорить. Мадам Жоффрен в своей переписке со Станиславом Августом присоединилась к более традиционной формуле просвещенного абсолютизма, сотрудничеству Философии и Власти, управлению отсталыми землями, где дороги нельзя назвать дорогами, а вода «отвратительна». И в самом деле, ведь она, в образе аллегорической Истины, лично проделала путешествие в Восточную Европу, и то, что она видела там, она видела как следует.

«ПОСЛЕДНИЙ НАРОД В ЕВРОПЕ»

Сенсационная поездка мадам Жоффрен в Варшаву в 1766 году и последовавший сразу же за ней затяжной кризис, закончившийся разделом Польши в 1772-м, привлекли беспрецедентное внимание иностранцев к этой стране и ее месту в Восточной Европе. В 1765 году статья Жакура о Польше,

помещенная в «Энциклопедии», зафиксировала общепринятый минимум основных сведений и критических суждений; после 1766 года последовал настоящий взрыв интереса к Польше и изобилие писаний о ней, среди которых «Соображения» Руссо были лишь одним эпизодом, хотя и наиболее значительным с точки зрения мировой интеллектуальной истории. Накал интереса к Польше в эти годы был сравним с интересом к Венгрии в течение первых десяти лет XVIII века, и сходство это стало еще более очевидным после восстания Барской конфедерации против России в 1768 году. Война, которую конфедераты вели против Екатерины, поляризовала общественное мнение в Европе, особенно во Франции, подобно тому как это было с восстанием Ракоши против Габсбургов в 1703 году. Манифест Ракоши был незамедлительно переведен на французский и обнародован в Париже, и манифест Барской конфедерации был в 1770 году издан там же, чтобы оправдать Польшу в глазах иностранного общественного мнения. Наконец, интерес к Венгрии, порожденный восстанием Ракоши, привел к тому, что страну эту нанесли на карту Европы, откуда Габсбурги уже не могли ее стереть; сходным образом сенсационное внимание к Польше в годы, предшествовавшие первому разделу, произвели глубочайшее воздействие, придавшее некое постоянство обычной географической нестабильности. Руссо в «Соображениях» уже мог представить, что Польша перестанет существовать как государство, и предусмотрел, что, несмотря на эту катастрофу, она обретет непреходящее место на карте в рамках заново переосмысленной картографии. Барскую конфедерацию он приветствовал настойчивым предписанием: «Необходимо начертать эту великую эпоху во всех польских сердцах»⁷⁶. Тем не менее, хотя Руссо и делал вид, что занимается искусством гравировки на польских сердцах, его «Соображения» были наиболее привлекательны именно для западноевропейских читателей, с их сознанием, воспоминаниями и картографическими образами.

Энтузиазм, с которым Руссо поддержал Барскую конфедерацию, был лишь реакцией на презрение Вольтера, логически его дополняя; презрение это, в свою очередь, было побочным продуктом вольтеровской преданности Екатерине. Идеологические соперники среди философов Просвещения могли об-

ращаться к Польше или России, выбирая один из двух взаимоисключающих образов Восточной Европы. В действительности же интерес Вольтера к Польше был так же стар (хотя и не так силен), как его интерес к России, и в «Карле XII» просвещенная публика заочно знакомилась с двумя действующими лицами, Станиславом Лещинским и Станиславом Понятовским, отцом Станислава Августа. Позже Лещинский принимал Вольтера при своем дворе в Лотарингии, оказывал ему покровительство и даже еще раз стал литературным персонажем, появившись в «Кандиде» среди шести изгнанных королей: «Провидение даровало мне еще одно королевство, где мне удалось сделать больше добра, чем все короли Сарматии смогли когда-либо сделать на берегах Вислы». В 1761 году Вольтер обозначил точки отсчета для измерения польской отсталости в письме французскому дипломатическому представителю в Варшаве, Пьеру Эннину: «Я по-прежнему даю полякам пятьсот лет, чтобы научиться делать лионские ткани и севрский фарфор». Эннин надеялся переманить Вольтера «на сторону Польши» (*«du côté de la Pologne»*): отсюда видно, что к этому времени отношение к Польше уже стало для философов Просвещения признаком партийной принадлежности. Идея измерять уровень относительной развитости в столетиях обязана своим рождением работе маркиза д'Аржансона «Соображения о древнем и нынешнем образе правления во Франции». Эта книга вышла в 1764 году, но Вольтер читал рукопись еще в 1739-м. Именно к д'Аржансону обращался Вольтер, когда объявил Польшу, с ее «жалкой конституцией», «прекрасным предметом для разглагольствований»⁷⁷. Именно в таком положении она оказалась после 1766 года, предоставляя просвещенным авторам предмет для разглагольствований.

Это отлично понимала Екатерина, когда она выбрала поводом для русского вмешательства во внутренние дела Польши проблему религиозной терпимости и переправила Вольтеру разнообразные материалы на эту тему, подготовленные в Санкт-Петербурге. На всем протяжении 1760-х годов Вольтер боролся с «позором» католической нетерпимости во Франции, проявившейся в делах Каласа, Сирвена и Ле Барра. Вопрос об участии некатолических диссидентов в Польше был очень близок ему и очень удобен для Екатерины, и в 1767 году он сочинил «Опыт исторический и критический о несогласиях церк-

вей в Польше», вышедший под именем Жозефа Бурдильона, вымышленного профессора-всезнайки. Это произведение, направленное против католичества в Польше, было естественным наследником периодических изданий и памфлетов, выходивших в XVIII веке в протестантской Англии (а также в Пруссии), в которых выражалось возмущение польскими бесчинствами, начиная с волнений и экзекуций в Торuni в 1724 году. В сочинении Вольтера польская проблема толковалась расширительно, распространяясь и на соседние земли и очерчивая, таким образом, область екатерининских имперских устремлений: «Она не только устанавливает терпимость дома, но и стремится возродить ее среди ее соседей». Исправляя окончание после раздела 1772 года, Вольтер заключил: «Так был рассеян польский хаос»⁷⁸. Эта фраза повторяла общее отношение Вольтера к Восточной Европе, выразившееся в его призыве к Екатерине «рассеять хаос» от Гданьска до Дуная.

Вольтеру недостаточно было рассказывать о Польше; он хотел, воспользовавшись возможностью, обратиться напрямую к самим полякам. В 1767 году, когда Бурдильон уже высказал свои соображения по польскому вопросу, Вольтер написал Станиславу Августу, призывая короля к политике просвещенного абсолютизма:

Ваше Величество, этот Бурдильон воображает, что Польша была бы намного богаче, более населенной и счастливой, если бы ее крепостные были освобождены, если бы их тела и души обрели свободу, если бы остатки готическо-славянско-римско-сарматского образа правления были однажды упразднены государем, который бы принял звание не первенствующего сына церкви, но первенствующего сына Разума⁷⁹.

Совершенная смехотворность «готическо-славянско-римско-сарматского образа правления» делала реформы тем более уместными в Польше, а эпистолярная форма, письмо в Восточную Европу, обозначала вектор просвещенного влияния. В 1768 году Вольтер изложил свой призыв к польской нации в «Обращении к католическим конфедератам в Каменце, в Польше», приписанном прусскому офицеру по имени Кайзерлинг. «Отважные поляки, — обращался он к ним в тех же выражениях, что и Руссо несколько лет спустя, — желали бы вы сейчас быть рабами и вассалами теологического Рима?» Поля-

ки осмелились жаловаться, что Екатерина ввела русские войска в Польшу, и еще спрашивают, есть ли у нее на это право: «Я отвечаю вам, что это то право, по которому сосед тащит воду в горящий дом соседа». Русскую армию послали «установить в Польше терпимость». Вольтер напоминал полякам, что Екатерина приобрела библиотеку Дидро, и заключал презрительно: «Друзья мои, научитесь читать для начала, и тогда и вам кто-нибудь купит библиотеки»⁸⁰. Как и более дружелюбное обращение Руссо к отважным полякам, слова Вольтера предназначались его читателям в Западной Европе, которые, таким образом, могли воочию наблюдать, как философия несет полякам истину. Иллюзорность его мнимой аудитории была тем более очевидна в «Проповеди попа Николая Любомирского, говоренной в церкви Свято-Терпимской, в деревне литвянской», написанной Вольтером в 1771 году. То, что проповедь эта предназначалась парижской публике, а не литовским крестьянам, очевидно уже потому, что она была ответом на манифест Барской конфедерации, опубликованный в Париже в предыдущем году. «Я имею честь послать Вашему Императорскому Величеству перевод литовской проповеди, — писал Вольтер Екатерине. — Это скромный ответ на грубые и смехотворные вымыслы, которые польские конфедераты напечатали в Париже». Вольтер, таким образом, был полностью вовлечен в екатерининский поход на Польшу, и настолько, что в 1769 году Станислав Август подумывал об открытии дипломатического фронта в Ферне и отправил агента, чтобы, заручившись посредничеством Вольтера, добиться от Екатерины мирных переговоров⁸¹. Вольтер отказался ему помочь — то ли он был слишком увлечен екатерининскими войнами и завоеваниями, то ли как философ и сам хорошо понимал, что не может влиять на действия Екатерины в Польше, а может лишь оправдывать и воспевать их.

То, что вольтеровская проповедь 1771 года была обращена к западноевропейской аудитории, видно и из пародийных славянских имен «Любомирский» и «Свято-Терпимский» (*Chari-teski* и *Saint Toleranski*), превращавших польский кризис в восточноевропейскую комедию. Вольтер обращался с польской ситуацией как с литературным развлечением, а как раз в то же время молодой Марат писал «Приключения юного графа Потовского», роман в письмах, где использовал современную ему

Польшу и войну Барской конфедерации как фон для романтической истории. Всеобщность интеллектуального увлечения Польшей с 1770 по 1772 год была поразительной: поощряемые Вильегорским, Мабли и Руссо писали свои трактаты, Вольтер в Ферне обращался к полякам с сатирическими памфлетами, а Марат, работавший ветеринаром в Англии, в Ньюкасле, сочинял там свой роман. Если в «Польских письмах» Марат предлагал взглянуть на Западную Европу глазами поляка, то в «Приключениях» он живописал ощущения поляков, оказавшихся в гуще польского политического кризиса, который мешал воссоединиться двум юным влюбленным. Он использовал польские и псевдопольские фамилии — Потовский, Пулавский, Огиский, Собеский, — носители которых рассуждали о польских делах, причем одни восторженно поддерживали Барскую конфедерацию, а другие ее презрительно осуждали, что отражало различие мнений по этому вопросу и в Западной Европе, и в самой Польше.

Главный герой, которого ужасали зверства гражданской войны и иностранных вторжений, в конце концов осудил конфедератов, называя их «кучкой варваров». Однако окончательное суждение о состоянии дел в собственной стране сложилось у него после беседы с заезжим французом. Марат скромно называет поляка *«moi»* («я»), а француза — *«lui»* («он»):

Moi: Ты кажешься мне человеком знающим; мне будет приятно услышать, что ты думаешь о состоянии дел в несчастной Польше.

Lui: Вы пропали, и, быть может, пропали совершенно; но что за несчастья ни обрушились бы на вас, вы их, несомненно, заслужили.

Moi: Объяснись, пожалуйста, ибо я не понимаю тебя.

Lui: В состоянии анархии, в котором вы живете, как одни из вас могут не стать жертвами других или добычей ваших соседей? Ваш образ правления есть наихудший из всех существующих⁸².

Этот вымышленный диалог между поляком и французом с его суровым приговором приводился в вымышленном же письме от одного поляка к другому; само оно, в свою очередь, было частью романа в письмах, написанного о Польше французом, проживающим в Англии. Таким образом, само расположение литературного материала в конечном итоге утверждало главенство Западной Европы. Если польские сочинения Марата оставались неопубликованными до 1847 года, то Жан-Батист Лув

дю Кувре написал и издал в 1780-х годах «Любовные похождения шевалье де Фоблаза», где польский сюжет отсылал читателей в прошлое, ко временам Конфедерации. Французская публика настолько заинтересовалась романтической историей Лозвинского и Лодойской, что де Кувре переработал ее в драматическую комедию, «Лодойская и татары»; комедия эта, а также основанная на ней опера Керубини были поставлены в 1791 году в революционном Париже⁸³.

Вольтер использовал историю Станислава Августа и барских конфедератов в своей трагедии «Законы Миноса»; хотя она и была написана примерно во время первого раздела, действие в ней происходило на древнем Крите. Просвещенный царь жаловался: «Фанатизм и мятежи / Вечно беспокоят мою несчастную страну»⁸⁴. Эта пьеса так и не увидела сцены; еще меньше внимания привлекло сатирическое стихотворение о Польше «Война конфедератов», которое Фридрих Великий написал в 1771 году, чтобы развлечь Вольтера. Руссо, Марат и Фридрих писали почти одновременно, но если Руссо симпатизировал полякам, а Марат колебался, то Фридрих был полон злобного презрения. В качестве наиболее уместной в данном случае музыки у него выступает богиня глупости:

Avec plaisir elle vit la Pologne
Le même encore qu'à la création
Brute, stupide et sans instruction?
Staroste, juif, serf, palatine ivrogne,
Tous végétaux qui vivaient sans vergogne.

Она с удовольствием увидела Польшу,
Не изменившуюся с начала времен,
Грубую, глупую и необразованную,
Староста, еврей, крепостной, пьяный воевода,
Вот овощи, которые не знают стыда⁸⁵.

Фридрих не только рифмовал *Pologne* (Польша) с *ivrogne* (пьяный) и *vergogne* (стыд), но и составил традиционную восточноевропейскую комедию из «множества слабоумных, чье имя оканчивается на -ский». Однако и эта комичность, и презрение, капающие с ядовитого пера, обнажали подспудную связь между поэзией и властью, типичную для всех произведений, посвященных польскому кризису, как он виделся Западной Европе. Фридрих как раз задумывал свой план расчле-

нения Польши, и Вольтер оценил сходство между этим стихотворением и разделом 1772 года: «Ваши деяния почти сравнялись с Вашим стихотворением о конфедератах. Приятно уничтожить народ и сложить о нем песню». Вольтер видел взаимосвязь между двумя талантами и льстил Фридриху: «Никто никогда не сочинял стихов и не завоевывал королевств с такой легкостью». Более того, Вольтер и сам раздел считал плодом гениального воображения, подобным поэме: «Предполагается, что именно вы, Ваше Величество, придумали расчленив Польшу, и я этому верю; в этом есть нечто гениальное». Что до самого Фридриха, то он начал злополучный 1772 год письмом Вольтеру, где приветствовал поляков как «последний народ в Европе»⁸⁶. Именно эта иерархия народов, которых, несмотря на все унижения и вторжения, все же считали европейцами, определяла для Фридриха его поэтическое и политическое восприятие Восточной Европы.

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ»

Такое ранжирование различных народов указывало одновременно и на возможность развития, и сторонники одного из важнейших экономических течений в XVIII веке, физиократы, проявляли особенный интерес к Польше именно в годы ее политического кризиса. Уже в наше время, после 1989 года, агонизирующая польская экономика стала лабораторным образцом для проверки действенности рыночного капитализма, а иностранные экономисты слетались в Варшаву со своими лекциями и рецептами. Точно так же, за два века до того, физиократы с их протокапиталистическими взглядами ухватились за возможность использовать польский кризис, чтобы экспортировать свои экономические теории и использовать эту страну для постановки научных экспериментов. Основателем этой доктрины был Франсуа Кенэ, написавший в 1758 году «*Tableau économiq̃ue*», где доказывался приоритет сельского хозяйства перед коммерцией, преимущества свободной торговли, основанной на принципе *laissez faire*, и полезность единого налога на землю. Рассматривая Восточную Европу в свете этих идей, физиократы надеялись распространить влияние своих экономических доктрин на Польшу и Россию. Именно своей напи-

санной в физиократическом духе диссертации под названием «Естественный и основной порядок благоустроенных обществ» Лемерсье был обязан приглашением в Санкт-Петербург в 1767 году. В том же году Мирабо-старший, отец известного революционера, придал физиократическому течению организационную форму, устраивая у себя дома ужины по вторникам; к концу года он уже мог похвалиться в письме Руссо, что его салон отправил Лемерсье в Россию «с несколькими помощниками, которых мы ему придали, чтобы насадить там экономическое законодательство»⁸⁷. Их ожидали разочарования, но, очевидно, высокомерное поведение Лемерсье объясняется не только особенностями его характера; он был представителем целого научного направления, которое видело Восточную Европу в таком же свете.

Польский проект физиократов также зародился в парижском салоне Мирабо, когда в 1767 году там появился Игнаций Массальский, епископ Виленский; этот светский церковник и хронический картежник, увлекавшийся к тому же экономикой, приехал во Францию, дабы переждать опасную для себя политическую ситуацию в Польше. У него были прекрасные связи за границей, и в 1771 году мадам Жоффрен устроила обучение его племянника и племянницы во Франции, а в 1779-м Мирабо помог сосватать ту же племянницу за самого герцога де Линя⁸⁸. В 1767 году Массальский был готов поддержать приезд физиократов в Польшу, и подходящий кандидат был найден в лице аббата Николя Бадё, которому обещали церковную должность в Литве. Подобно Лемерсье, он написал в 1767 году сочинение в физиократическом духе; трактат под названием «Начальное введение в экономическую философию» отразил его критический интерес к проблемам деспотизма и рабства в России и Польше. Для Бадё вопросы экономики явно были неотделимы от общего взгляда на цивилизацию в Восточной Европе: «Что может быть абсурднее и призрачнее, чем идея цивилизовать целую империю, оставив всех работников прикрепленными к земле?!» Современное общественное мнение рассматривало его поездку в Польшу как физиократическое «дополнение» к путешествию Лемерсье в Россию. Издаваемый Бадё журнал, «Ephémérides», сообщая в 1768 году о его отъезде, объявил, что «его ждет в Польше карьера, достойная его любви к человечеству». В Польше, однако, его ожидали с не-

которым беспокойством, опасаясь, что, «привыкший к удовольствиям и удобствам Парижа, он, быть может, сочтет немного странной жизнь в Польше, и тем более в Литве»⁸⁹.

Вполне естественно, что Бадё интересовался в Польше прежде всего производством зерна, и его экономическая программа сводилась по большей части к тому, как устроить вывоз польского зерна во Францию. Более того, оценивая в своем донесении в «*Ephémérides*» сельскохозяйственное благосостояние Польши, он подсчитал, что зерна, напрасно потраченного на изготовление плохого пива и водки, хватило бы, чтобы «питать французское королевство на протяжении трех лет». Очевидно, его физиократический интерес к сельскому хозяйству в Польше нес на себе оттенок колониальной расчетливости: если Польша соответствует теоретическому идеалу преимущественно аграрной экономики, это не только достойно восхищения само по себе, но и очень выгодно для Франции. В Литву Бадё, однако, прибыл в самый разгар военных действий, чьи ужасы Марат, оставаясь в Ньюкасле, мог только воображать; этого было вполне достаточно, чтобы помешать построению сельскохозяйственной утопии. Проведя в Литве одну зиму, Бадё отправился в Санкт-Петербург, откуда Лемерсье только что настоятельно предложили уехать. Благодаря некоторому содействию Фальконе, Бадё удалось преподнести Екатерине поэму; она, однако, отмахнулась от «несчастливого аббатика», и в 1769 году его выслали из России за то, что он публично осуждал намерения Фридриха II в отношении Польши⁹⁰. К концу лета он был уже дома во Франции, продержавшись в Восточной Европе меньше года.

Этого, однако, было вполне достаточно, чтобы Бадё приобрел репутацию знатока Польши и начал работу над «Письмами о действительном положении дел в Польше и происхождении ее несчастий», которые печатались частями в «*Ephémérides*» в 1770—1771 годах. Оказалось, что в Польше нет не только «искусств», но и «торговли», и даже «сельского хозяйства, достойного этого названия», поскольку слишком много земли там лежит под паром. Кроме того, в те же самые годы Бадё опубликовал «Экономические советы просвещенным гражданам польской республики касательно сбора податей». Это сочинение написано в жанре эпистолярного обращения, убеждавшего поляков, что они готовы к восприятию физиократических

теорий. Он уверял, что «прямое обложение валового сельскохозяйственного продукта подходит [им] больше, чем любому другому народу», обосновывая тем самым претензии физиократов на управление польскими землями⁹¹.

Не только Бадё, вернувшийся из Польши, писал как эксперт по польским делам; Лемерсье, вернувшийся из России, тоже нашел что сказать о Речи Посполитой. Одновременно с Бадё он работал над сочинением «Общая польза поляков, или Замечания о средствах умиротворить навсегда настоящие волнения в Польше, совершенствуя ее правление и примиряя ее подлинные интересы с подлинными интересами других народов». Обращался он тоже прямо к полякам, подобно Руссо, в тоне политического одобрения, который, возможно, подогревало его недавнее изгнание из России. «Благородные поляки, основания вашего правительства достойны восхищения», — объявлял он; «вам нужно лишь сделать несколько шагов, дабы довести его до совершенства». Его предложения лежали в экономической плоскости, содержали дружелюбные отсылки к «Экономическим советам» самого Бадё и включали установление «закона собственности» и «вольной торговли». Даже Руссо, интересовавшийся в основном политическими и культурными проблемами, не смог удержаться в своих «Соображениях» от экономических рассуждений; он тоже настаивал на приоритете сельского хозяйства, отдаленно напоминая физиократов тем энтузиазмом, с которым стремился ограничить польскую экономику аграрным сектором. В духе утопической фантазии он расписывал пагубность финансов и даже денег, замечая с неподражаемой снисходительностью: «Возделывайте как следует свои поля и не беспокойтесь об остальном»⁹².

Словом, около 1770 года во Франции тратили немало интеллектуальной энергии на решение польской проблемы, и всеобщее внимание к данному предмету было, пожалуй, важнее, чем имевшиеся политические или академические расхождения. Мабли поддерживал более радикальные реформы в Польше, чем Руссо, предлагая отменить шляхетское право вето, конфедерации и выборность короля. По сравнению с Руссо и Мабли, Бадё и Лемерсье уделяли больше внимания экономическим проблемам. Однако точки зрения, которых придерживались различные французы, объединяло то, что они посвящали Польше и ее проблемам всю свою интеллектуальную энергию,

необоримо стремясь писать об этой стране и обращаться к ее жителям. По мере циркуляции и последующей публикации рукописей в 1770—1780-х годах становилось очевидным, что на самом деле они обращены к просвещенной публике в Западной Европе и идеологическим контекстом для них служит французское Просвещение. Польша лишь предоставляла интеллектуальный повод (для Бадё, на мгновение, призрак достойной «карьеры»), который был даже более многообещающим, чем Россия, поскольку казался более доступным. Сделать свою карьеру в России, или сделать Россию своей карьерой, можно было лишь при личной встрече или в личной переписке с Екатериной, тогда как к полякам — отважным полякам, благородным полякам — можно было обращаться с самыми общими советами на любую тему.

Планы преобразования Польши в физиократическом духе не остановились немедленно вслед за разделом. Новый русский посол в Варшаве после 1772 года, Отто Магнус Штакельберг, стал самым могущественным человеком в Польше, помыкая Станиславом Августом и унижая его; король сравнивал посла с римскими проконсулами. Кроме всего прочего, Штакельберг был убежденным физиократом — именно он в 1767 году первым порекомендовал Екатерине злополучного Лемерсье. В 1773 году он сообщал в Санкт-Петербург о своих планах преобразований в Польше, включавших введение свободной торговли, гарантий частной собственности и «учреждение единого поземельного налога, следуя системе экономистов»⁹³. Таким образом, всемогущий екатерининский посол относился к идеям физиократов с энтузиазмом, Станислав Август — с симпатией, а главой вновь созданной Комиссии народного просвещения, возможно первого Министерства просвещения в Европе, был не кто иной, как сам Массальский, виленский епископ-физиократ. Реформа образования была, конечно, главной заповедью «Соображений» Руссо; тем не менее Массальский не очень его жаловал и пригласил Бадё вернуться в Польшу, чтобы принять участие в работе этой комиссии. Однако тот, наведя кое-какие справки через мадам Жоффрен, решил, что ему уже хватило польских приключений, и отказался. Место досталось другому физиократу, Пьеру-Самюэлю Дюпону де Немюру, вместе с Бадё выпускавшему «*Ephémé-*

rides». Кроме того, польский князь Адам Чарторыйский предложил Дюпону стать частным наставником своих детей⁹⁴.

У Дюпона были некоторые обязательства при баденском дворе, но маркиграф Карл-Фридрих, симпатизировавший физиократам, написал Мирабо, что Дюпон, конечно, должен отправиться в Польшу, не упуская возможности «принести безграничное благо целой нации». Сам Дюпон воспринимал роль физиократической доктрины с не меньшей самонадеянностью: это видно из его прощального обращения к салону Мирабо весной 1774 года. Он объявлял своим коллегам-физиократам, что их «ученики были избраны» восстановить Польшу, а значит, там «предполагают следовать вашим советам, желая быть так или иначе причастными к этой академии». Безличная потребность в совете, безличное желание причастности приписывалось самой Польше; именно эта ссылка на безличные желания и стремления позволяла философам Просвещения утверждать собственную значимость. «Моему воображению видится, — разглагольствовал Дюпон, — высокая честь создания нации посредством народного образования». Эту же самую формулу «создания нации» французские интеллектуалы, начиная с фонтенелевского панегирика, использовали и применительно к петровским реформам в России; теперь им самим предстояла такая же созидательная деятельность в Польше. «Мои друзья, мои дорогие друзья, уроните несколько слез, когда я уеду!» — восклицал Дюпон, обращаясь к сентиментальным физиократам и обещая поддерживать «честь вашего ученика», а если надо — даже погибнуть в Польше. Кому-то придется отвезти домой его прах — «тело, изношенное после двенадцатилетнего служения». Когда он уезжал, его представления о том, что ожидает его в этой стране, стали еще более драматичными:

Я отправляюсь в Польшу, дабы плавать в пустоте, почти как Сатана в описании Мильтона, изнемогая в этом пространстве в усилиях сколь обширных, столь и бесплодных. Я отправляюсь в край интриг, зависти, тайных сговоров, тиранов, рабов, гордости, непостоянства, слабости и сумасшествия⁹⁵.

Польша представала самой преисподней, населенной всевозможнейшими демонами, то есть поляками, которые сами и были главным препятствием его титаническим усилиям «создать нацию».

«Знаменитый и долгожданный г-н Дюпон прибыл наконец с женой и детьми», — цинично сообщал в декабре из Варшавы один бывший иезуит. Формально Дюпон занимал в комиссии должность секретаря для иностранной переписки; для начала он отменил планы своего патрона Массальского по созданию приходских школ. Самоуверенность его объяснялась тем, что он прибыл в Восточную Европу из Европы Западной, твердо веря в ее интеллектуальное преимущество. Это очевидно, если познакомиться, скажем, с его планами создания польской академии. На его взгляд, она должна поддерживать переводы на польский язык, справляясь предварительно у западных ученых, какие книги этого достойны. Академия наук в Париже будет рекомендовать классические работы по математике; Королевское общество в Лондоне будет оценивать сочинения по химии, электричеству и физике; Экономическое общество в Берне займется аграрными науками. Наконец, физиократический кружок Мирабо в Париже будет отвечать за мораль, социальную экономию, политику, гражданские законы и «прочее». Англия, Швейцария и Франция входили, таким образом, в созвездие высшей, западноевропейской, цивилизации; Польша должна была светиться их отраженным светом, а Париж физиократов был самой яркой звездой. Затем Дюпон составил учебный план для польских студентов, наивысшей точкой которого было изучение работ Кенэ и Мирабо. Циничный бывший иезуит приписал этот план «воспаленному сознанию» и заметил, что «ни один преподаватель здесь не взялся ему следовать»⁹⁶.

В Польше, как и в других местах, подобные планы было легче составить, чем осуществить, и к октябрю Дюпон был глубоко разочарован, сообщая в Баден: «Нас обманули». Затем он предположил, что Бадё преувеличил ожидавшие его в Польше возможности, «дабы отправить меня на должность, которой он не желал для себя». Польские школы, метафорически объяснял Дюпон, это «воздушные замки». Обвинял он, конечно, во всем поляков, выражая свои претензии в терминах цивилизации и дикости:

Жители Польши все еще крепостные рабы и дикари; и что за усилия потребуются, чтобы вывести их из крепостного состояния, которое неизбежно и ведет к дикости! Я составил несколько записок по этой проблеме, которым аплодируют сегодня, о которых за-

будут завтра, с которыми будут справляться и которые, быть может, приведут в исполнение через сотню лет⁹⁷.

Отсталость измерялась столетиями, и век — вполне преодолимое препятствие по сравнению с пятью столетиями, которые, по мнению Вольтера, понадобятся полякам, чтобы научиться изготавливать севрский фарфор.

Год 1774-й был не только годом больших надежд для физиократов в Польше, но и годом больших возможностей в самой Франции. С восшествием на престол молодого Людовика XVI правительство возглавил убежденный физиократ Анн-Робер Тюрго. Его указ, объявлявший о разрешении свободной торговли зерном, был опубликован с предисловием, написанным самим Дюпоном. Уже готовясь к отъезду, он получил предложение занять должность губернатора на французском острове Маврикий, в Индийском океане, к востоку от Мадагаскара, но предпочел отправиться в Польшу. Однако стоило ему добратся до Варшавы, как Людовик XVI приказал вернуться во Францию, чтобы работать в правительстве Тюрго. Дюпон послушался, причем довольно охотно. Его «изношенное тело» возвращалось домой, пробыв в Польше не двенадцать лет, как ожидалось, а лишь три месяца. Проезжая через Германию, он написал с дороги уже престарелому, восьмидесятилетнему Кенэ, доживавшему последний год своей жизни, изображая польский эксперимент как «пытку», а ожидаемое возвращение домой — как «радость». Особенно «утомительно» было обучать четырнадцатилетнего Чарторыйского-сына — хотя в будущем маленький князь станет одним из самых влиятельных польских политических деятелей XIX века. Помимо всего прочего, Дюпон выражал в письме к Кенэ свое удовольствие, что возвращается «в первую страну Европы», то есть во Францию: «Ибо, дорогой Учитель, я убедился собственными глазами, что даже в несчастиях, наполняющих нас желчью, французы есть и были первая нация нашего континента»⁹⁸. Наблюдения, сделанные Дюпоном в Польше, убедили его в превосходстве Франции, подобно тому как возвратившаяся из Варшавы мадам Жоффрен говорила, что счастлива быть француженкой. Если Фридрих презирал поляков, «последний народ в Европе», то Дюпон был убежден в первенстве французов; таким образом, отношение западноевропейских философов к Польше легло в основу

иерархии народов, различных моделей развития и шкалы относительной отсталости.

В 1776 году Адам Смит опубликовал в Лондоне свое «Богатство народов». Он восхищался физиократами и вслед за ними выступал за свободу торговли; однако его экономическая теория сделала учение физиократов, с его упором на сельское хозяйство, безнадежно устаревшим. В «Богатстве народов» он мельком бросает замечание, из которого видно, как он представляет себе экономическую иерархию европейских народов:

Польша, где по-прежнему сохраняется феодальная система, сегодня такая же нищая, какой она была до открытия Америки. Цена зерна, впрочем, выросла в денежном выражении; истинная же стоимость драгоценных металлов в Польше упала, так же как и в остальных странах Европы⁹⁹.

Для Смита Польша была нищей и отсталой страной, но тамошние цены на зерно и стоимость драгоценных металлов доказывали, что она все же оставалась частью Европы. Когда Смиту понадобилось описать состояние мексиканской и перуанской экономики до открытия Америки, он заверял читателей, что «в искусствах, в сельском хозяйстве и в торговле их жители были куда невежественнее, чем украинские татары в настоящее время»¹⁰⁰. Таким образом, «украинские татары» стали у него символом крайней степени отсталости в Европе. Смит полагал себя достаточно компетентным, чтобы рассуждать о невежестве «украинских татар», — но почему речь идет не об украинских казаках или крымских татарах? Именно эта небрежность в отношении этнических категорий, это смешение соседних стран и народов показывают, как непреодолимо распространялись в XVIII веке новые представления о Восточной Европе.

«ПОЛЬСКАЯ АНАРХИЯ»

У Адама Смита Польша удостоилась лишь случайного упоминания, тогда как Руссо, Мабли, Бадё, Лемерсье и Марат посвящали ей целые рукописи; тем не менее для них всех Польша была лишь одним из многих предметов, интересовавших их на протяжении творческой карьеры. Однако среди

французов, писавших в эти годы о Польше, был один, который посвятил ей всю свою карьеру, большую часть энергии и усилий; это был Клод-Карломан де Рюльер, автор «Истории польской анархии». Рюльер начал свои исследования в 1768 году, работая в Министерстве иностранных дел под началом Шуазеля, который в общем симпатизировал Барской конфедерации. После 1770 года Рюльер, подобно многим другим, поддерживал тесные отношения с находящимся в Париже Вильегорским, охотно поставлявшим ему сведения по новейшей польской истории. Работу над первым черновым вариантом своей рукописи он закончил в 1770—1771 годах как раз тогда, когда писали свои труды Мабли и Руссо, с которыми он поддерживал постоянный обмен мнениями. Тем не менее остальные авторы использовали эту тему лишь как повод выразить свои общие экономические и политические воззрения, а Рюльер стал профессиональным историком Польши. Не его одного польский кризис подтолкнул к историческим размышлениям: Казанова, еще не обнаруживший, что его истинное призвание — эротические воспоминания, написал по-итальянски объемистую «Историю волнений в Польше», изданную анонимно в Гориции в 1774 году. Рюльер работал над еще одним, более пространным трудом, который остался незавершенным и был опубликован лишь в начале XIX века. Даже тогда его появление вызвало ожесточенные споры; тем не менее значительную часть столетия он считался лучшей европейской работой по польской истории, и в 1862 году вышло его новое, каноническое издание.

Рюльер начал свою карьеру специалиста по Восточной Европе ровно за год до этой даты, но не в Польше, а в России, где он присутствовал при екатерининском перевороте 1762 года, находясь в составе французского посольства. Пять лет спустя в Париже он начал читать в салонах отрывки из своей рукописи «Анекдоты русской революции», начинавшейся следующими словами:

Я был на месте событий и стал очевидцем революции, сбросившей внука Петра Великого с всероссийского престола и возведшего на него чужестранку. Я видел эту принцессу в тот самый день, когда она бежала из дворца, заставив своего супруга отдать ей в руки и свою жизнь, и свою империю¹⁰¹.

Откровенность этого описания была неприятна Екатерине, пытавшейся через Дидро и Гримма выкупить рукопись и предотвратить ее публикацию. Те прибегли к посредничеству мадам Жоффрен, которая оскорбила Рюльера, предложив ему большую взятку. Ей и самой не очень нравилось его откровенное описание прошлой близости между Екатериной и Станиславом Августом. Мадам Жоффрен могла составить собственное мнение по этому поводу, поскольку она приглашала Рюльера читать у нее в салоне после того, как он выступил в салоне ее соперницы, мадам дю Деффан. Даже сами Дидро и Гримм, считавшие этот труд «сплетением лжи», присутствовали на этих чтениях. Талейран вспоминает в своих мемуарах, что сочинение Рюльера стало одним из излюбленных салонных текстов (вместе с «Женитьбой Фигаро» Бомарше), которые гостям приходилось слушать за каждым ужином. В 1776 году, находясь в дипломатической поездке, Рюльер устраивал чтения в Вене и Берлине. Он, однако, обещал не публиковать сочинение при жизни Екатерины, и хотя императрица была несколько старше, ей удалось пережить Рюльера. Она умерла в 1796 году, и немедленно, уже в 1797 году, книга вышла по-французски, а также в английском, немецком и голландском переводах¹⁰².

Сам Рюльер полагал, что Екатерина не должна была обижаться на его книгу, и в безуспешной попытке снискать ее расположение даже сочинил льстивую оду, восславляя в стандартных формулах превращение пустынь в плодородные провинции и подчиняя древних скифов ее законам. Согласно Рюльеру, он описал восшествие Екатерины на престол, чтобы «ввести в рассказ об этом ужасном событии все обстоятельства, иногда смешные, относящиеся к обычаям русского народа». Описывая «распушенность русских обычаев», ему приходилось поминать столь «уморительные анекдоты», что они делали серьезность «смехотворной», тем самым придавая сочинению салонную привлекательность комедии нравов. «Русский народ ленив, весел, распутен, — писал Рюльер, — и хотя мягкость последнего царствования придала некоторую утонченность умам и некоторую пристойность манерам, немного времени прошло с тех пор, как этот варварский двор празднеством отмечал бракосочетание шута с козой». Он мог многословно писать о России, поскольку его век уже накопил набор фор-

мул для обращения с данным предметом, создавая иллюзию, что познать Россию легче легкого: «Более чем достаточно провести восемь дней в России, чтобы со знанием дела говорить о русских, — все в них так и бросается в глаза»¹⁰³.

Рюльер, однако, провел в Санкт-Петербурге не дни, а месяцы, в отличие от Варшавы, где в 1762 году он остановился лишь на несколько часов, в продолжение которых он к тому же еще и спал, по дороге в Россию, «не раздеваясь, я на три часа свалился в Варшаве на постель». Остальная часть его путешествия через Польшу была примечательна отсутствием продовольствия по причине продолжающегося на Страстной неделе поста: «Путешествия ужасны в это время года»¹⁰⁴. В 1768 году Шуазель заказал ему трактат о Польше, который должен был познакомить с этой страной будущего Людовика XVI; помимо довольно ограниченного знакомства с голодом и холодом, о подготовленности Рюльера к такому поручению свидетельствовали лишь его рукопись о России и его репутация врага Екатерины. Для Шуазеля как государственного деятеля, для Рюльера как историка Россия и Польша были тесно связаны и почти взаимозаменяемы. На теснейшую связь между ними указывало первое же предложение в его трактате: «Поляки и русские представляют собой подразделения той многочисленной народности, под общим наименованием словен, или славян, которая распространилась двенадцать столетий назад по всему востоку Европы (*l'orient de l'Europe*) и на чьем языке говорят от гор Македонии и берегов Адриатического залива до островов Ледового моря»¹⁰⁵. Так, с самого начала, данная история Польши была историей «востока Европы»; далее во введении предлагался очерк содержания данного трактата, от общего славянского происхождения русских и поляков до политического пути каждого из них к деспотизму и республиканскому устройству соответственно, и, наконец, к новейшей истории русских покушений на независимость Польши.

По мнению Рюльера, историку, пишущему о Восточной Европе, приходилось преодолевать препятствия, происходящие из самой природы России и Польши:

Как проследить цепь событий через бурные колебания анархии? Как изобразить поразительное множество персонажей так, чтобы они не сливались друг с другом ... Как проникнуть в те потайные по-

кои, где, в недрах сластолюбия, тиран вершит судьбы многочисленных народов... Долгие путешествия, предпринятые с целью личного знакомства почти со всеми дворами, государями и министрами, которых мне приходится изображать; личные связи с главами враждующих партий, получение самых достоверных воспоминаний и неисчислимые отзывы, посылаемые французскому правительству из всех стран, позволяют мне с уверенностью говорить о большинстве событий, интриг и характеров¹⁰⁶.

Рюльер считал, что в своем сочинении, разыскивая и прослеживая цепь событий, продираясь сквозь хитросплетения анархии, поднимая завесу и проникая в секреты, которые скрывали Восточную Европу от Европы Западной, он совершает интеллектуальный подвиг. В 1770 году, в разгар своих исследований, Рюльер не только близко общался с Вильегорским, но и пользовался покровительством Шуазеля, а значит, и доступом к архивам Министерства иностранных дел. Однако в том же году Шуазель попал в опалу, и Рюльер потерял свою должность; тем не менее у него к этому времени было достаточно материалов, чтобы в 1771 году закончить первый вариант рукописи. В 1774 году на престол взошел Людовик XVI, и Верженн, новый министр иностранных дел, посоветовал королю вернуть Рюльеру его должность, чтобы тот мог продолжить работу над историей Польши. Она должна была закончиться историческим объяснением «развязки столь неожиданной, как расчленение этой республики»¹⁰⁷. Рюльера, вновь работавшего на правительство, в 1776 году отправили с дипломатической миссией в Вену и Берлин, два города, служившие на протяжении всего столетия отправной точкой для направляющихся в Польшу.

Несмотря на свои заявления о «предпринятых долгих путешествиях», Рюльер в 1776 году так и не поехал в Польшу. Убедительные доводы в пользу такого решения содержались в письме из Польши, куда по приглашению Вильегорского недавно прибыл Мабли. Быть может, Мабли чувствовал, что одного французского философа (то есть самого себя) будет там более чем достаточно; в любом случае, отговаривая Рюльера от поездки, он писал ему в Вену, «чтобы предупредить того, кто написал историю недавней революции в России, что русские здесь — полные хозяева». Если Рюльер все же решится приехать, ему следует принять чужое имя и быть готовым к аресту и высылке в Санкт-Петербург. Однако, по мнению Мабли,

русские были не единственной причиной держаться в стороне от Польши. Проблема отчасти была в ней самой; благодаря взаимозаменяемости восточноевропейских стран, эта проблема была проблемой всего региона: «Что за страна Польша! С таким же успехом я поехал бы в Татарию!» Возмущение Мабли дорожными условиями в Польше было вполне традиционным и приближалось к негодованию мадам Жоффрен. «Чтобы вам не пришлось спать на земле, захватите с собой кровать», — предупреждал он Рюльера. «Чтобы избежать смерти от голода и жажды, захватите с собой еду и даже воду, ибо свинство (сочнопpeгie) и леность поляков истребляют и зачатки промышленности»¹⁰⁸.

Такими письмами обменивались между собой два самых горячих друга Польши во всей Франции. Рюльер, вне всякого сомнения, поверил этому описанию, поскольку в 1762 году ему уже приходилось голодать, галопом пересекая Польшу на Страстной неделе, во время своего «ужасного путешествия». Отговаривая Рюльера от поездки, Мабли камня на камне не оставил в своем описании этой страны; от продовольственных проблем он обратился к проблемам, подстерегающим там исследователя:

Я не знаю, поможет ли приезд сюда вам в ваших исследованиях: здесь царствуют страннейшие предрассудки и самое варварское невежество. Вы встретите людей, которые не знают ни положения своих собственных дел, ни положения дел в Европе¹⁰⁹.

Ничто не могло выразить более наглядно аксиомы французского отношения к Польше, чем убежденность, что в эту страну не стоит ехать, даже чтобы изучать ее, поскольку поляки в своем «варварском невежестве» не понимают ни себя самих, ни положения своих дел. Раз Польшу лучше всего изучать и объяснять на расстоянии, Рюльеру оставалось искать во Франции источник, который пролил бы «свет» на предмет его исследований; Мабли, впрочем, предложил переслать ему свои собственные впечатления и даже составить свое собственное описание — «если у меня найдется на это время»¹¹⁰. Рюльер не поехал в Польшу, но, возможно, заглядывал в «Политическое положение Польши в 1776 году», написанное Мабли.

Рюльер доработал свою рукопись и к 1782 году уже читал отрывки из нее в парижских салонах, в том числе и у мадам

Неккер; он был убежден, что этот его труд о Польше, подобно сочинению о России, не мог быть опубликован, поскольку затрагивает слишком многих частных лиц и государей, которые еще живы. Если в 1770-х годах, в начале работы над книгой, главным консультантом Рюльера был Вильегорский, то к концу десятилетия он работал в тесном сотрудничестве с Леонаром Тома, виртуозным стилистом и оратором, завсегдатаем салона мадам Неккер. Литературные вкусы Тома, без сомнения, помогли придать рукописи ее салонную привлекательность: «В изображении города Варшавы во время сейма есть нечто живописное, приятно поражающее воображение». Решив не ездить в Польшу в 1776 году, Рюльер погрузился в Париже в работу над живописными эффектами, привлекательными для «воображения, которое столь часто определяло просвещенческий образ Восточной Европы. Тома показалось скучным одно из описаний казаков, но другой пассаж удостоился высокой оценки: «Что за ужасное и глубокое впечатление производят картины украинской резни!»¹¹¹

Необходимость подыскать казакам, а также и татарам подходящую роль в этом сочинении хорошо вписывалась в общее намерение Рюльера написать историю «востока Европы». Для Рюльера новейшая история Польши была неизбежно и историей России, а также и прочих земель; с другой стороны, те, кто, подобно Вольтеру, смотрел на Восточную Европу сквозь призму России, открывали и прочие, негласно связанные с ней страны. Интерес Рюльера к татарам восходил к его знакомству с «Общественным договором», предсказывавшим их господство над Россией, и в 1763 году он писал Руссо: «Правда, что татары — это ужасный народ, но стоит ли бояться их до такой степени, как вы?» В десятой книге «Польской анархии» Рюльер обращается к этому вопросу в связи с Русско-турецкой войной, с ходом которой теснейшим образом переплелась судьба Барской конфедерации. Работая в архивах французского правительства, он мог справляться с донесениями французских агентов в Константинополе и в Крыму, таких как барон де Тотт и Шарль де Пейсоннель¹¹². Даже польская история Казановы, подобно хронике состоящая из погодных записей, включала специальные главы о «Происхождении казаков», а также «татар, турок, поляков и московитов»¹¹³.

В Варшаве Станислав Август произвел самое благоприятное впечатление на Казанову, которого, вероятно, особенно интересовал король, взошедший на престол через кровать Екатерины; он описан в мемуарах Казановы как «красивый и с мужественной внешностью». Однако для Рюльера, как и для Руссо, он вовсе не был героем, и даже его мужественность подвергалась сомнению¹¹⁴. Героями Рюльера были конфедераты, особенно Казимир Пулаский, которого он встречал во Франции после 1772 года. Через Бенджамина Франклина историк помог ему устроиться в американскую армию во время Войны за независимость, и в 1779 году поляк погиб под Саванной¹¹⁵. В 1783 году Рюльер показывал свою рукопись молодому Талейрану, который счел «поразительным» выбор Польши как объекта исследования, согласившись, что вместе с недавно обретшей независимостью Америкой она — «единственная страна, достойная историка». Талейран, таким образом, понимал, что Польша была для философов Просвещения, для Рюльера, для Руссо, для физиократов, лишь поводом выразить свои идеологические воззрения, но чувствовал, что «Польская анархия» была недостаточно философской. «Я так и не встретил нигде народ, который и составляет это королевство», — возмущенно писал он Рюльеру. «От одной страницы к другой ждешь, когда же, наконец, на смену историку придет философ». Пользовавшаяся успехом в салонах рукопись несла на себе, конечно, печать *ancien régime*, но, умирая в 1791 году, Рюльер работал над историей разворачивавшейся вокруг него Французской революции¹¹⁶.

После смерти Рюльера между его семьей и французским правительством началась продолжительная борьба за неопубликованную рукопись о Польше. Обе стороны заручились поддержкой тех, кто при жизни предыдущего поколения участвовал в связях эпохи Просвещения с Восточной Европой. Правительство было представлено Пьером Эннином, писавшим Вольтеру из Варшавы в 1761 году; родственники Рюльера советовались с Мармонтелем, который в 1766 году писал мадам Жоффрен из Варшавы. Революционный шторм захлестнул эту тяжбу, брат Рюльера погиб во время сентябрьской резни 1792 года, но в 1805 году, уже при Наполеоне, рукопись купил один парижский издатель. Ее отредактировали, вычистив из нее

антирусскую направленность, а значит, и политический пафос; слово «варвар» было выпущено всюду, где оно относилось к русским¹¹⁷. Таким образом, и в случае России, и в случае Польши выбор между двумя тесно переплетенными идеологическими альтернативами сводился лишь к редакторской правке, а различие между цивилизацией и варварством было подвержено произвольным изъятиям и исправлениям. Однако в 1806 году правительство неожиданно перехватило отредактированную и уже готовую к публикации рукопись, намереваясь отменить правку и вернуться к первоначальному тексту. Министром иностранных дел в это время был Талейран, читавший первоначальную рукопись еще в 1783 году и критиковавший ее за недостаточно республиканский дух. Теперь же Наполеон задумал воссоздать Польское государство, отчасти чтобы оказать давление на Россию, сражавшуюся в то время против французов в составе Третьей коалиции; в этой ситуации польские симпатии Рюльера казались вполне уместными. В 1807 году император создал Великое Герцогство Варшавское, а в Париже в четырех томах наконец-то вышла «История польской анархии».

Интеллектуальная привязанность французов к Польше в кризисный период после 1766 года оказалась теперь переплетенной с французским имперским присутствием в Восточной Европе в эпоху Наполеона. Посмертную карьеру Рюльера, однако, ожидал еще один резкий поворот; стоило четвертому тому его книги выйти в свет в 1807 году, как Наполеон заключил с Россией Тильзитский мир (продолжавшийся до самого 1812 года, когда Великая армия вторглась в Российскую империю). Теперь царь Александр, внук Екатерины, протестовал против издания Рюльера во Франции, и в 1808 году национальный архив решил исследовать подлинность первоначальной рукописи. Директором архивов в это время был тот самый д'Отрив, восхищавшийся «живописностью» Болгарии в 1785-м на пути в Молдавию. В 1810 году национальная академия осудила Рюльера-историка за предвзятость; самым многословным среди его академических критиков был престарелый физиократ Дюпон, отправившийся в 1774 году в Варшаву и присвоивший себе «высокую честь создания нации посредством народного образования». Его слова вполне можно было применить к интеллектуальным отношениям с Польшей целого поколения, вклю-

чая и самого Дюпона: он сравнил сочинение Рюльера с «одним из тех романов, которые столь некстати называют историческими»¹¹⁸.

«РЕСПУБЛИКА ВОСТОКА»

За год до Французской революции маркиз де Сад, опасный сексуальный преступник, обладавший своеобразным литературным талантом, находился в заточении в Бастилии и работал над романом в письмах «Алина и Валькур». Один из его философических протагонистов сначала обосновал утверждение, что «инцест есть установление человеческое и божественное», а затем непринужденно предложил заново разделить Европу, оставив «только четыре республики под названиями Запад, Север, Восток и Юг». Продолжавшаяся на протяжении всего XVIII века концептуальная смена континентальной оси «север—юг» на ось «запад—восток» достигла равновесия в неустойчивом воображении маркиза де Сада, превратившего Восточную Европу в республику Востока:

Россия образует республику Востока; я желаю, чтобы она уступила туркам, которых я отправлю из Европы восвояси, все азиатские владения Санкт-Петербурга. ... В качестве возмещения я присоединю к ней Польшу, Татарию и все оставшиеся от турок владения в Европе¹¹⁹.

Карта перекраивалась с небрежной самоуверенностью, и даже Россия подверглась разделу, чтобы установить четкую границу между Восточной Европой и Азией, между европейской республикой Востока и самим Востоком как таковым. Консолидация Восточной Европы в одно целое была затем представлена как возмещение России за понесенные ею потери. Подобные геополитические фантазии недалеко ушли от замыслов Вольтера, которые он взволнованно излагал в письмах к Екатерине, и пока де Сад занимался творчеством в Бастилии, эти фантазии обретали второе дыхание. Начиная с 1788 года Иосиф и Екатерина вновь вели войну с Османской империей. Армия Габсбургов опять осадила Белград, а русская армия вступила в Молдавию. Дипломаты работали над сложными схемами взаимных компенсаций, отрезая и передавая из

рук в руки части Польши и Османской империи во имя жадной утопии стратегического равновесия. Этот международный кризис достиг своей наивысшей точки с территориальными разделами Польши в 1793 и 1795 годах.

Поначалу казалось, что турецкая война Екатерины представила полякам шанс вернуть себе независимость; это они и попытались сделать на Четырехлетнем сейме 1788—1792 годов. Тем самым, когда в 1789 году разразилась Французская революция, в Польше была в разгаре своя, параллельная революция; обе они в 1791 году произвели конституции. В польской революции ведущую роль играл сам Станислав Август, которому помогали два итальянца, служившие связующим звеном между ним и философами Просвещения, остававшимися за границей. Сципионе Пьятолли, прибывший в Польшу из Флоренции как частный учитель, в конце концов участвовал в написании польской конституции. Филиппо Мачеи, работавший в Европе на Патрика Генри и Томаса Джефферсона во время американской Войны за независимость, теперь представлял Станислава Августа в революционном Париже, состоя в дружеских отношениях с Лафайетом. В 1790 году, когда Станислав Август пожертвовал свои драгоценности на дело независимости, Мармонтель из Франции приветствовал его патриотизм и послал новое издание «Велизария», первое издание которого за двадцать лет до того было посвящено Екатерине. Польский король ответил, что похвала из Парижа напомнила ему о словах, сказанных Александром Македонским: «О, афиняне, что только не сделаешь, чтобы заслужить вашу похвалу!» Он подчеркнул, что не собирается нескромно сравнить себя с Александром, а лишь уподобляет Париж Афинам древности¹²⁰. В этой формуле вновь подтверждается иерархия европейских наций, остававшаяся в силе, даже когда и Франция и Польша были заняты каждой своей революцией.

Французские революционеры, со своей стороны, приветствовали польскую конституцию 3 мая 1791 года с умеренным энтузиазмом и неуверенной снисходительностью. Самые преувеличенные восхваления польской конституции во всей Западной Европе раздавались из уст Эдмунда Бёрка, красноречивейшего из всех идеологических противников Французской революции. Он одобрял бескровность польской революции, подчеркивая тем самым, как потрясен он был революцией

французской. Изумляясь, что поляки, «не имеющие искусств, промышленности, торговли или свободы», неожиданно произвели «счастливое чудо» мирной революции, он явно смотрел на них глазами Западной Европы. Тем временем французские революционеры поставили польских революционеров на место, особо подчеркивая их отсталость. Камилл Демулен в 1791 году допускал, что, «принимая во внимание точку, откуда польский народ начал свой путь, видно, что, если говорить относительно, они сделали столь же большой рывок к свободе, как и мы»; другой парижский революционер с удовольствием отмечал, что пример Франции «повторяют на окраине Европы». В обращении к французам оговорка об относительности польской революции принималась как данность: «Польша только что совершила революцию, без сомнения, очень достойную для этой страны, но, господа, желали бы вы иметь такую конституцию?» Французские революционеры могли обратиться и прямо к полякам, в любимой риторической манере эпохи Просвещения, предписывая им, например, усовершенствовать свою революцию, предоставив свободу крестьянам¹²¹. Подкупленный русскими Жан-Клод-Ипполит Мейе де ла Туш утверждал, что «Франция и Польша не имеют между собой ничего общего»¹²². Робеспьер Неподкупный, напротив, исключил всякие иерархические сопоставления между революциями и выдвинул нелепое утверждение, что «французский народ, как кажется, обошел остальное человечество на две тысячи лет».

В 1791 году, когда была принята польская конституция, общественное мнение в Англии было возбуждено Русско-турецкой войной и русскими намерениями в Восточной Европе. Уильям Питт подготовил ультиматум Екатерине, требуя мира и сохранения статус-кво в Восточной Европе, в противном случае угрожая послать британский флот на Балтику и в Черное море. Одна лондонская газета беспокоилась, что «Россия шаг за шагом проглотит все соседние государства», но русское посольство в Лондоне в ответ заказало несколько памфлетов, в частности «Серьезное исследование мотивов и последствий настоящего вооружения против России», написанное по-французски, а затем переведенное на английский Джоном Парадайзом¹²³. Питт отложил свой ультиматум, и Екатерина завершила войну с турками без постороннего вмешательства. Затем в 1792 году она вторглась в Польшу, чтобы уничтожить конституцию, и произвела в 1793 году второй раздел. Вольтер к это-

му времени уже умер и не мог оценить ее достижения, как он оценил в своей переписке с Екатериной первый раздел; Гримм, однако, был все еще жив (хотя ему и исполнилось семьдесят) и написал ей в духе столь любимого ею непристойного подтрунивания. Он счел уместным описать раздел 1793 года следующей метафорой: Польша была «маленькой шлюшкой» (*petite égrillarde*), которой надо было «укоротить юбки, затянуть корсет, даже подстричь ногти». В том же самом году Эдмунд Бёрк, с энтузиазмом поддержавший конституцию 1791 года, смирился с произошедшим недавно разделом со следующими словами: «Что касается нас, то Польшу на самом деле можно считать страной, расположенной на Луне». В том же 1793 году Кондорсе более реалистично описал происходящие географические перемещения, сочинив стихотворение о «Поляке, сосланном в Сибирь»¹²⁴.

В 1795 году Польша была окончательно расчленена и перестала существовать как государство. Тем не менее, хотя все державы-участницы раздела и договорились, что само название Польши «должно отныне и навсегда подвергнуться забвению», поэтическое перо Томаса Кэмпбелла ухватило за эту тему, нарушая установленное табу:

Where barbarous hordes of Scythian mountains roam,
Truth, Mercy, Freedom, yet shall find a home. ...
Oh, bloodiest picture in the book of Time,
Sarmatia fell, unwept, without a crime!¹²⁵.

Там, где в скифских горах бродят варварские орды,
Истина, Милосердие, Свобода еще не нашли себе места.

.....
О, кровавейшая картина в книге Времени,
Сарматия пала, неоплаканная, без вины.

Век Просвещения открыл Польшу (вместе с остальной Восточной Европой), а теперь эстафету готовилась принять эпоха романтизма, целиком перенимая эту изощренную конструкцию, со всеми ее интригующими намеками на древнюю Сарматию, варварскую Скифию и даже Луну. Руссо призывал поляков сохранить Польшу в своих сердцах, но его собственные «Соображения», а также труды других авторов его поколения, несмотря на их увлечение Польшей, помогли вписать ее имя и в интеллектуальную программу Просвещения.

Французская революция нанесла удар отношениям Екатерины с Просвещением. Она с открытой враждебностью относилась к революции, считая ее международной идеологической угрозой, так что в 1791 году в Санкт-Петербурге даже запретили издание Вольтера. Вольней, один из философов Просвещения, писавший об османском Востоке, возвратил ей почетную медаль, некогда посланную ему из России; Гримм, впрочем, все еще был к ее услугам и от имени императрицы заверил Вольнея, что она уже «забыла и ваше имя, и вашу книгу»¹²⁶. Теперь в Санкт-Петербург толпами прибывали не просвещенные философы, а эмигранты-роялисты; через двадцать лет после визита Дидро русская столица принимала брата Людовика XVI, графа Артуа, ставшего после реставрации Карлом X. Существовал даже план основать отдельную эмигрантскую колонию на Азовском море — двадцать лет спустя после того, как Вольтер и Екатерина мечтали поселить на том же самом месте швейцарских часовщиков.

В 1795 году в Санкт-Петербург прибыла Элизабет Виже-Лебрен, любимая портретистка Марии-Антуанетты. В своих мемуарах она оперирует традиционными формулами XVIII века, упоминая «внутреннюю часть России, куда еще не проникла наша современная цивилизация». На самом деле она почти не видела этой внутренней части, и даже короткая поездка за пределы столицы в сопровождении русского слуги напомнила ей о «Робинзоне Крузо и Пятнице»¹²⁷. В Санкт-Петербурге она рисовала по памяти Марию-Антуанетту, но успела лишь начать портрет Екатерины, как в 1796 году царица скончалась. У нее была еще возможность написать портрет Станислава Августа, который лишился своего государства и прибыл в Санкт-Петербург в 1797 году, за год до своей смерти. Мадам Виже-Лебрен вспоминала, как впервые услышала о нем в Париже, за много лет до того — «от многих людей, встречавших его у мадам Жоффрен», а теперь она сама пользовалась его благосклонностью: «Ничего не было трогательнее, чем снова и снова слушать, как счастлив бы он был, если бы я приехала в Варшаву, пока он еще царствовал». Она написала «два больших поясных портрета, один в костюме Генриха VI, другой в бархатном сюртуке». Что до самого Станислава Августа, то он, возможно, и рад был познакомиться с мадам Виже-Лебрен, но самой

важной его встречей в Санкт-Петербурге было паломничество в Эрмитаж, где разместили библиотеку Вольтера¹²⁸. Екатерина купила ее после смерти философа в 1778 году и перевезла книги в Санкт-Петербург, где они стоят и сейчас.

В 1801 году, первом году нового века, в Англии Уильям Коббетт напечатал в газете «The Recorder» («Дикобраз») серию открытых писем к министру иностранных дел лорду Хоксберри, будущему лорду Ливерпулю. В своих письмах Коббетт осуждал проходившие в то время в Амьене переговоры о заключении временного мира между Англией и Наполеоном. Именно закрытие континента для Англии и господство там Бонапарта сделали Коббетта особенно чувствительным к проблеме очертаний Европы. Он вглядывался в отдаленные восточные окраины, пытаясь найти страны, все еще неподвластные Наполеону. Там, однако, он и подавно отказывался видеть источник международной поддержки для Англии:

Какие политические отношения могут у нас быть со странами, расположенными за Неманом и Борисфеном? Мы поддерживаем сообщение с этими странами через Ригу, подобно тому как с Китаем мы поддерживаем сообщения через Кантон. Не правда ли тогда, что добрая половина Европы покорена Францией, а оставшаяся половина лежит простертой у ее ног?¹²⁹

В этом исключительном абзаце Коббетт подвел итог конструированию Восточной Европы в XVIII веке и предвосхитил последствия такого подхода, наступившие в XIX и XX столетиях. Представление о крае, лежащем за Неманом и Днепром, вполне соответствует видению Бёрка, словно в телескоп глядевшего на Польшу, которая «может считаться страной, расположенной на Луне». Неизбежный и решительный ответ на вопрос о том, «какие политические отношения могут у нас быть», — вторжение в Россию, начатое Наполеоном в 1812 году.

Сравнивая страны, лежащие за Неманом и Днепром, с Китаем, Коббетт основывался на том, что век Просвещения упорно считал Восточную Европу «Востоком Европы». Точкой доступа туда для него, как и для Дидро по дороге в Санкт-Петербург за двадцать лет до того, была Рига. В XX веке Рига, к тому времени столица Латвии, превратилась в передовой пост, откуда после революции американские дипломаты, включая

молодого Джорджа Кеннана, докладывали о событиях в Советской России:

Старый Петербург был, конечно, мертв или по большей части мертв — и зачастую недоступен для путешественников с Запада. Но Рига все еще жива. Это один из тех случаев, когда копия пережила оригинал. Жизнь в Риге, таким образом, означала во многих отношениях жизнь в царской России. ... Внизу, в промокшей от дождя гавани слышались крики маневровых паровозов и стук побитых ширококолейных товарных вагонов, завершавших свой месячный путь к докам бог знает откуда, из пространных внутренних частей России¹³⁰.

Кеннан и американские дипломаты сознательно поддерживали представление о преемственности между царской Россией и Советским Союзом; но одновременно заметна и наивная преемственность взглядов между воспоминаниями Элизабет Виже-Лебрен, где во внутренние части России «еще не проникла наша современная цивилизация», и мемуарами Джорджа Кеннана, обозначившего ту же самую территорию «бог знает откуда».

Коббетт говорил о принципиальном различии между «доброй половиной Европы» и «другой половиной», по умолчанию определявшейся как «страны, расположенные за Неманом и Борисфеном». В заключении к этому письму он проводил линию через весь континент, еще четче формулируя это разделение: «Европа, милостивый государь, закрыта для нас; от Риги до Триеста мы можем проникнуть в нее лишь через Францию»¹³¹. И до и после 1801 года, когда Коббетт написал свое письмо, линия от Риги до Триеста обозначала историческое подразделение Европы на две части. В 1772 году Вольтер провозгласил создание «новой вселенной» от Архангельска до Борисфена, а в 1773-м приветствовал намерение Екатерины «упорядочить хаос» от Гданьска до устья Дуная. Очерченная Вольтером территория от Балтики до Черного моря более или менее совпадала с описанным у Коббетта пространством от Балтики до Адриатики. При этом до XVIII века ни то ни другое не воспринималось как осмысленная и логичная комбинация стран и народов. Лишь позднее Рюльер и Сегюр смогли писать о «востоке Европы» или «европейском Востоке», а де Сад — изобретать европейскую «республику Востока». Так свершалось изобретение Восточной Европы. В XX веке Джордж

Кеннан легко делал обобщения о «неясном интеллекте», который он обнаружил «в странах, расположенных к востоку от Вислы и Дуная»; именно там, от Гданьска до Дуная, Вольтер помещал свой «хаос»¹³². В 1946 году Черчилль описал «железный занавес», пролеглий «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике», возвещая тем самым новую эпоху в международных отношениях. Однако предложенная им карта была не нова, поскольку проведенная Черчиллем линия предложена Вольтером (с начальным пунктом на Балтике) и Коббеттом (с конечной точкой на Адриатике). «Железный занавес» опустился в XX веке как раз там, где эпоха Просвещения провела границу между Западной Европой и Восточной, натянув занавес культурный, сотканный не из железа, а из более тонких материй.

¹ *Richardson William*. Anecdotes of the Russian Empire; In a Series of Letters Written, a Few Years Ago, from St. Petersburg. London, 1784; rpt. London: Frank Cass, 1968. P. 401—403; *Alexander John T.* Catherine the Great: Life and Legend. Oxford: Oxford Univ. Press, 1989. P. 98.

² *Rousseau Jean-Jacques*. Considerations sure le gouvernement de Pologne // Discours sur l'économie politique, Projet de constitution pour la Corse, Considerations sure le gouvernement de Pologne. Ed. Barabara de Negroni. Paris: Flammarion, 1990. P. 163.

³ *Rousseau*. P. 163.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid. P. 164—165.

⁶ Ibid. P. 165—166, 211.

⁷ Ibid. P. 170—171.

⁸ Ibid. P. 171.

⁹ Ibid. P. 173.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid. P. 177.

¹² Ibid. P. 178; см. также: *Michalski, Jerzy*. Rousseau i sarmacki respublikanism. Warsaw: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.

¹³ *Starobinski Jean*. Jean-Jacques Rousseau: Transparency and Obstruction. Trans. Arthur Gldhaimer. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1988. P. 145.

¹⁴ *Rousseau*. P. 261.

¹⁵ *Marin Marietta*. Une Française à Varsovie en 1766: Madame Geoffrin chez le roi de Pologne Stanislas-Auguste. Paris: Bibliothèque Polonaise, 1936. P. 27, 42; *Séguir Pierre marquis de*. Le Royaume de la rue saint-Honor: Madame Geoffrin et sa fille. Paris: Calmann-Léévy, 1987. P. 288.

¹⁶ *Marie Thérèse Rodet, Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste Poniatowski*. Correspondance inédite do roi Stanislas Auguste Poniatowski et de Madame Geoffrin (1764—1777). Ed. Charles de Mouy. Paris: E. Plon. 1875; *Martin*. P. 78.

¹⁷ *Gooch G.P.* Four French Salons // Catherine the Great and Other Studies. 1954; rpt Hamden, Conn.; Archon Books, 1966. P. 117.

- ¹⁸ *Martin*. P. 12.
- ¹⁹ *Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste*. P. 102—103.
- ²⁰ *Ibid.* P. 103.
- ²¹ *Ibid.* P. 108.
- ²² *Ibid.* P. 114—115.
- ²³ *Martin*. P. 27.
- ²⁴ *Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste*. P. 115, 137, 140—142.
- ²⁵ *Ségur Pierre*. Le Royaume. P. 432; *Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste*.
- P. 131.
- ²⁶ *Ségur Pierre*. Le Royaume. P. 434—436.
- ²⁷ *Ibid.* P. 437—438.
- ²⁸ *Ibid.* P. 442—443.
- ²⁹ *Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste*. P. 143.
- ³⁰ *Ibid.* P. 147—148.
- ³¹ *Ibid.* P. 150; *Ségur Pierre*. Le Royaume. P. 235.
- ³² *Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste*. P. 151—152.
- ³³ *Ibid.* P. 153.
- ³⁴ *Ibid.* P. 154—156.
- ³⁵ *Ibid.* P. 158.
- ³⁶ *Fabre Jean*. Stanislas-Auguste Poniatowski et l'Europe des Lumières: Etude de Cosmopolitisme. Paris: Edition Ophrys, 1952. P. 630—631, note 68; *Lortholary Albert*. Le Mirage russe en France au XVIIIe siècle. Paris: Boivin, 1951. P. 162—163.
- ³⁷ *Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste*. P. 162—163, 167.
- ³⁸ *Ibid.* P. 168.
- ³⁹ *Ibid.* P. 112, 167.
- ⁴⁰ *Ibid.* P. 174.
- ⁴¹ *Ségur Pierre*. Le Royaume. P. 447.
- ⁴² *Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste*. P. 177—178.
- ⁴³ *Ibid.* P. 180, 193.
- ⁴⁴ *Ibid.* P. 205—207, 223—224; *Martin*. P. 33.
- ⁴⁵ *Ségur Pierre*. Le Royaume. P. 264—267, 281.
- ⁴⁶ *Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste*. P. 233.
- ⁴⁷ *Ibid.* P. 239—241.
- ⁴⁸ *Ségur Pierre*. Le Royaume. P. 272.
- ⁴⁹ *Ibid.* P. 273.
- ⁵⁰ *Derrida Jacques*. Of Grammatology. Trans. Gaytri Chakravorty Spivak. Baltimor: Johns Hopkins, 1976. P. 118—140.
- ⁵¹ *Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste*. P. 242—244.
- ⁵² *Ibid.* P. 349.
- ⁵³ *Martin*. P. 35.
- ⁵⁴ *Poniatowski Stanislas-Auguste*. Mémoires de roi Stanislas-Auguste Poniatowski. Vol. St. Petersburg: l'Académie Impériale des Sciences, 1914. P. 567—568.
- ⁵⁵ *Martin*. P. 53—54; *Fabre*. P. 305.
- ⁵⁶ *Ségur Pierre*. Le Royaume. P. 273—274.
- ⁵⁷ *Ibid.* P. 230, 461.
- ⁵⁸ *Rousseau*. P. 259.
- ⁵⁹ *Martin*. P. 76.
- ⁶⁰ *Madam Geoffrin; Stanislas-Auguste*. P. 250.

- ⁶¹ Ibid. P. 276.
- ⁶² Ibid. P. 265—274, 294.
- ⁶³ Ibid. P. 315—316.
- ⁶⁴ Ibid. P. 321, 329.
- ⁶⁵ Ibid. P. 355.
- ⁶⁶ Ibid. P. 364.
- ⁶⁷ Ibid. P. 365—366.
- ⁶⁸ Ibid. P. 326—327, 336.
- ⁶⁹ Ibid. P. 349, 379—380.
- ⁷⁰ Ibid. P. 359, 382, 387, 432.
- ⁷¹ Ibid. P. 349, 379—380.
- ⁷² Ibid. P. 443.
- ⁷³ Ibid. P. 451, 456.
- ⁷⁴ Ibid. P. 464—466.
- ⁷⁵ Ibid. P. 470—471, 475—477
- ⁷⁶ *Rousseau*. P. 172.
- ⁷⁷ *Voltaire*. *Candide*. Trans. John Butt. London: Penguin, 1974. Chapter 26; *Dzwigala Wanda*. *Voltaire's Sources on the Polish Dissident Question // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*. Vol. 241. Oxford: Voltaire Foundation, 1986. P. 191—192; *Rostworowski Emanuel*. *Républicanisme 'Sarmate' et les Lumières // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*. Ed. Theodore Besterman. Vol. XXVI. Geneva: Institut et Musée Voltaire, 1963. P. 1417; *Fabre*. P. 316; см. также: *Kot Stanislaw*. *Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu*. Cracow: Nalladem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1919; *Woloszynski Ryszard W*. *La Pologne vue par l'Europe au XVIIIe siècle // Acta Polonica historica* (1965). P. 22—42; *Woloszynski Ryszard W*. *Polska w opiniach francuzów: Rulhière i jego wslczesni*. Warsaw: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.
- ⁷⁸ *Voltaire*. *Essai historique et critique sur les dissensions des églises de Pologne* (1767) // *Oeuvres de Voltaire: Mélanges historique*. Vol. II. Paris: P. Pourrat Freres, 1968. P. 57—60; *Fabre*. P. 634, примеч. 144.
- ⁷⁹ *Rostworowski Emanuel*. *Voltaire et la pologne // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, ed. Theodore Besterman. Vol. LXII. Geneva: Institut et Muse Voltaire, 1968. P. 114; *Fabre*. P. 323.
- ⁸⁰ *Voltaire*. *Discourse aux confédérés catholiques de Kamienieck en Pologne, par le major Kaiserling, au service du roi de Prusse* (1768) // *Oeuvres de Voltaire: Politiques et Législation*. Vol. II. Paris: P. Pourrat Freres, 1839. P. 154, 165—166.
- ⁸¹ *Voltaire and Catherine // Correspondence*, in *Documents of Catherine the Great: The Correspondence with Voltaire and the Instruction of 1767*. Ed. By W.F. Reddaway (1931; New York: Russell à Rusel, 1971). P. 109; *Dzwigala*. P. 198.
- ⁸² *Marat Jean-Paul*. *Les Aventures du jeune comte Potowski*. Ed. Claire Nicolas-Lelièvre. Paris: Renaudot, 1989. P. 118, 130.
- ⁸³ *Tomaszewski Marek*. *L'Universe héroïque polonaise dans Les Amours du chevalier de Faublas et son impact sur l'imaginaire social à la fin due XVIIIe siècle // Revue de Littérature Comparée*, no. 2 (April—June 1990): 430—431.
- ⁸⁴ *Voltaire*. *Les Lois de Minos*, in *Oeuvres complètes de Voltaire*. Vol. 5, *Théâtre*. Paris: Perronneau, 1817. P. 296.
- ⁸⁵ *Fabre*. P. 249.

⁸⁶ *Marat*. Les Aventures. P. 256; *Dzwigala*. P. 201; *M. Romain-Cornut*. Voltaire: complice et conseiller du partage de la Pologne, 2nd ed. Paris: Jacques Lecoivre, 1846. P. 17—21.

⁸⁷ *Jobert Ambrois*. Magnats polonaise et physiocrates française (1767—1774). Paris: Librairie Droz, 1941. P. 20.

⁸⁸ *Jobert*. P. 51, 86; *Wolff Larry*. The Vatican and Poland in the Age of the Partitions: Diplomatic and Cultural Encounters at the Warsaw Nunciature. New York; Boulder: Columbia Univ. Press, East European Monographs, 1988. Chapter VII.

⁸⁹ *Jobert*. P. 24—27.

⁹⁰ Ibid. P. 27—32.

⁹¹ Ibid. P. 36—38; см. также: *Opalek Kasimir*. Les Physiocrates et leur role dans le renouveau culturel au siècle des Lumières en Pologne // Pierre Francastel (ed.) Utopie et Institutions au XVIII siècle: Le Pragmatism des Lumières. Paris and the Hague: Mouton:1963. P. 169—184.

⁹² *Jobert*. P. 45—48; *Rousseau*. P. 220.

⁹³ *Jobert*. P. 57; *Wolff*. Chapter V.

⁹⁴ *Jobert*. P. 60—62.

⁹⁵ Ibid. P. 64—66.

⁹⁶ Ibid. P. 67—71.

⁹⁷ Ibid. P. 72—73.

⁹⁸ Ibid. P. 79—82.

⁹⁹ *Smith Adam*. The Wealth of Nations. London: Penguin, 1982. P. 345—346.

¹⁰⁰ Ibid. P. 308.

¹⁰¹ *Rulhière Claude Carloman de*. A History or Anecdotes of the Revolution in Russia in the Year 1762. London, 1797; rpt. New York: Arno Press; New York Times, 1970. P. 1.

¹⁰² *Chevalier Alice*. Claude-Carloman de Rulhière, premier historien de la Pologne: sa vie et son oeuvre historique. Paris: Les Editions Domat-Montchrestien, 1939. P. 105—114; *Ségur*. Le Royaume. P. 220—224.

¹⁰³ *Rulhière*. A History or Anecdotes of the Revolution in Russia, P. viii—xi, 52; *Chevalier*. P. 74, 115—116.

¹⁰⁴ *Chevalier*. P. 43—44.

¹⁰⁵ *Rulhière Claude Carloman de*. Revolutions de Pologne. Vol. I. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1862. P. 1.

¹⁰⁶ *Rulhière*. Revolutions de Pologne. Vol. I. P. 6—7.

¹⁰⁷ *Chevalier*. P. 121—122.

¹⁰⁸ Ibid. P. 152—154.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid. P. 155.

¹¹¹ Ibid. P. 160—162, 166, 175.

¹¹² Ibid. P. 233, 330—333.

¹¹³ *Casanova Giacomo*. Istoria delle Turbulenze della Polonia. Naples: Guida Editori, 1974. P. 100, 447.

¹¹⁴ *Casanova*. P. 54; *Chevalier*. P. 250; *Fabre*. P. 7.

¹¹⁵ *Chevalier*. P. 244, 295.

¹¹⁶ Ibid. P. 168—169, 182—183.

¹¹⁷ Ibid. P. 372—380.

¹¹⁸ *Fabre*. P. 571, примеч. 42.

¹¹⁹ *Marquis de Sad*. Aline et Valcour // Oeuvres. Vol. I. Paris: Gallimard, 1990. P. 852—853.

¹²⁰ *Fabre*. P. 510; см. также: *Rostworowski Emanuel*. Ostatni Król Rzeczypospolitej: geneza i upadek konstytucji 3 maja. Warszawa; Wiedza Powszechna, 1966.

¹²¹ *Handelsman Marcel*. La Constitution polonaise du 3 mai 1791 et l'opinion française // La Revolution Française. Vol. LVIII. Paris, 1910. P. 416, 425, 429, 433.

¹²² *Fabre*. P. 27, 575, примеч. 28.

¹²³ *Anderson M.S.* Britain's Discovery of Russia 1533—1815. New York: St. Martin's Press, 1958. P. 165—169.

¹²⁴ *Lortholary*. P. 263; *Anderson*. P. 193; *Arnold Robert*. Geschichte der Deutschen Polinlitteratur: von den Anfagen bis 1800. Halle: Max Niemeyer, 1900. P. 168.

¹²⁵ *Camblee Thomas*. Poland // David Perkins (ed.), English Romantic Writern. New York: Harcourt, Brace&World, 1967. P. 603.

¹²⁶ *Lortholary*. P. 263—264.

¹²⁷ *Vigée-Lebrun Elizabeth*. The Memoirs of Elizabeth Vigée-Le Brun (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1989). P. 161, 189; *Mohrenschildt Dmitri von*. Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-Century France. New York: Columbia Univ. Press, 1936. P. 25—26.

¹²⁸ *Vigée-Le Brun*. P. 208—366; *Fabre*. P. 552.

¹²⁹ *Cobberr William*. Letters to the Right Honourable Lord Hawksbury, 2nd ed. London: Cobbett and Morgan, 1802. P. 82.

¹³⁰ *Kennan George*. Memoirs 1925—1950. New york: Pantheon Books, 1967. P. 29—30.

¹³¹ *Cobbett*. P. 83.

¹³² *Kennan*. P. 26.

Глава VII

НАСЕЛЯЯ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

Часть I: Варвары в древней истории и современной этнографии

«РАЗОБРАТЬ МЕШАНИНУ»

Самым знаменитым иностранцем, побывавшим в Османской империи в XVIII веке, был барон де Тотт, ставший объектом шуток для Вольтера и соперничества — для Мюнхгаузена; однако когда Рюльер занялся изучением турок и татар, он справлялся в архивах французского Министерства иностранных дел с донесениями не только Тотта, но и Шарля де Пейсоннеля. В 1755 году, как раз когда Тотта послали в Константинополь, Пейсоннель отправился в Крым в качестве французского консула; они не только одновременно состояли на дипломатической службе, но и сферы их интересов часто совпадали, так как Крым в то время был все еще политически связан с Османской империей. Тотт, однако, в основном интересовался военными делами, приобретая свой международный ореол таинственности именно как советник при османской артиллерии, в то время как Пейсоннель занимался куда менее взрывоопасными предметами. Гораздо больше артиллерии его интересовала археология, и, находясь в Крыму, он мирно изучал древнюю историю Восточной Европы. В качестве консула он сначала заинтересовался черноморской торговлей и в 1755 году направил в Министерство иностранных дел свою «Записку о гражданском, политическом и военном состоянии Малой Татарии»¹. В 1765 году, однако, Пейсоннель представил на рассмотрение королевской Академии надписей и изящной словесности свои «Исторические и географические замечания о варварских народах, населявших берега Дуная и Черного моря», где его познания о современном Крыме переносились хронологически и растягивались географически, становясь основой для исследования древней

истории значительно более обширного региона. Первая глава служила введением в географию придунайских стран, «бывших во все времена местом встречи и пристанищем для всех варваров, собиравшихся в этом краю, чтобы отсюда распространиться не только в соседние области, но и по всей Европе, и даже в самые отдаленные районы Азии и Африки». Далее Пейсоннель обещает «распутать крайнюю неразбериху», образовавшуюся в результате подобного стечения варваров, движущихся в самых различных направлениях². Таким образом, в своем исследовании древней истории и географии он брал на себя роль, прямо перекликавшуюся с той, которую Вольтер приписал имперской политике Екатерины, — «рассеивание хаоса».

Пейсоннель выделял два основных вектора варварских нашествий; он говорил о «*Barbares Orientaux*», «восточных варварах», главным образом скифах, двигавшихся с востока на запад, и «*Barbares Septentrionaux*», «северных варварах», главным образом славянах, шедших с севера на юг. Он цитировал Плиния, доказывая, что «к восточным скифам следует относить всех варваров, устремившихся на запад и известных под именами даков, гетов (*Getae*) и сарматов». Они происходили из «азиатской Скифии», которую географически описывали еще и как «великую Татарию», то есть из Средней Азии и Сибири. Однако сам Пейсоннель был лично знаком лишь с «малой Татарией», Крымом и Черноморским побережьем. «Во время военной кампании, которую в 1758 году я проделал вместе с ханом татар, у меня была возможность проехать вдоль всего побережья», — писал он; в этом районе можно было обнаружить этнографические материалы для работы над древней историей варварских завоеваний:

В этих странах, лежащих вокруг Черного моря, можно найти следы народов Колхиды и азиатской Скифии, гуннов, аваров, аланов, венгерских турок, болгар, печенегов и прочих, в разное время приходивших сюда, чтобы совершать набеги на берега Дуная, куда до этого вторгались галлы, вандалы, бастарны (*Bastarnae*), готы, гепиды (*Gepids*), славяне, хорваты, сербы³.

Судя по всему, Пейсоннель убежден, что, когда нужно было идентифицировать различные племена восточноевропейских варваров, ему могла помочь этнография, воссоздавая древнюю историю на основании классических источников.

Это убеждение представляется еще более важным, если принять во внимание, что путешественники, посещавшие Восточную Европу в XVIII столетии, часто испытывали сходное хронологическое смещение, когда они делали историю варварских племен фоном для своих современных впечатлений. Через двадцать лет после выхода в свет книги Пейссоннеля Сегюр заметил, что, въезжая в Польшу, «оказываешься посреди полчищ гуннов, скифов, венедов, славян и сарматов». Немного позже, уже в России, он нашел, что при виде крестьян «на ваших глазах оживают скифы, даки, роксоланы, готы, наводившие некогда ужас на римский мир». Можно предположить, что Сегюр просто пользовался перечислением народов, чьи имена стали нарицательными, как литературным приемом, чтобы передать ощущение варварства; однако Пейссоннель, несомненно, считал подобные поиски «следов» древних народов скорее научными, чем литературными. Сравнивая Пейссоннеля и Сегюра — при том что оба они в конце концов обнаружили в современной Восточной Европе варваров древности, — мы видим, что граница между литературным образом и антропологическим исследованием была довольно размытой. Именно в восточной части Европы, как ни в каком другом месте, эти «следы» древней истории лежали на поверхности и античная история перетекала в современную этнографию. У Пейссоннеля, и особенно у Гиббона, категории античной истории, в которых описывались варварские народы Восточной Европы, не только перекликались с наблюдениями современных путешественников, но и прямо вошли в научный аппарат формировавшейся тогда новой общественной науки — этнографии, что особенно ярко проявилось в открытии славян Гердером. Хотя славяне — лишь один из многочисленных варварских народов, упоминавшихся у Пейссоннеля и Сегюра, именно им суждено было стать центральным элементом современного представления о Восточной Европе.

Распутывая узел варварских завоеваний, Пейссоннель главным образом хотел определить, в каком направлении двигалось каждое из племен, будь то шедшие на запад скифы или стремившиеся на юг славяне. Эта подвижность физической географии несколько осложняла этнографическую классификацию народов. Болгары, к примеру, описывались как «восточные скифы», пришедшие из-за Волги к «Понтийской Скифии» на

Черном море; гунны же оказывались «скифами подлинно славянскими, или сарматскими»⁴. Они происходили из «европейской Сарматии» на Дону, поэтому «их не должно смешивать с венграми», которые пришли позднее из Туркестана. Характеризуя гуннов, Пейсоннель обращается и к древним источникам, и к современным этнографическим наблюдениям:

Изображения этих народов, которые предлагают нам поэт и историк, невероятно напоминают наших сегодняшних татар, особенно ногайцев, которые с виду исключительно безобразны и грязны, отличаются проворством и неутомимостью и всю жизнь проводят в седле. ... Хотя между этими двумя племенами можно усмотреть совершенное сходство обычаев и хотя в далеком прошлом они, возможно, имели общих предков, их тем не менее необходимо рассматривать как два совершенно различных народа, поскольку в их языках нет ни малейшего сходства. Гунны относились к славянским или сарматским скифам, тогда как ногайцы являются скифами татарскими и черкесскими⁵.

В данном случае язык помешал установить прямую связь между варварами древними и современными, хотя вся методология Пейсоннеля явным образом направлена на установление именно такой связи.

В главе «Первое появление аваров и славян на этом берегу Дуная» Пейсоннель сам признается, что его раздражает многочисленность и разнообразие варварских племен, вопрошая: «Как разобраться в этом смешении различных народов?!» К VI веку берега Дуная уже были испещрены «осколками всех варварских племен, населявших некогда Паннонию» и успевших «так смешаться, что, даже живи мы в ту эпоху, нам было бы сложно определить с точностью, какие из этих народов стали предками аваров»⁶. Восточная Европа уже тогда была собранием этнографических осколков, и Пейсоннель, изучавший их «следы» в XVIII столетии, полагал, что его собственное научное замешательство лишь отражает смешение разных племен в прошлом. Считая своей задачей «распутывание», он тем самым подразумевал наличие путаницы, которую его собственные изыскания парадоксальным образом лишь увеличивали. Валахи представлялись ему особенно «запутанными»: «Этот народ, в сущности, следует рассматривать как смешение римлян и греков с даками, гетами, гепидами, язигами (*Jazyges*), сарматами, саксонами (*Saxons*), готами, гуннами, аварами, славяна-

ми, печенегам, туркам и всеми восточными и северными варварами, последовательно завоевывавшими ту землю, которую сегодня населяют валахи и молдаване». Он лично посетил Валахию и был «совершенно поражен», услышав, как крестьянин называет ее «римской землей» («*Roman land*»), то есть Румынией⁷. Представления Пейсоннеля о смешении всех племен и народов в Восточной Европе не допускали таких простых ответов.

Карты древнего мира, создававшиеся в XVIII веке, были менее туманны, чем представления Пейсоннеля; они должны были достичь хоть какой-то графической наглядности. В «*Atlas Universel*» Робера, вышедшем в 1757 году, на карте Римской империи к западу от «Германии» изображена широкая полоса «Германо-Сарматии», протянувшаяся через всю Восточную Европу от Балтики до Черного моря. Далее на востоке, на территории современной России, находится собственно «Сарматия», а в Северном Причерноморье располагается «Малая Сарматия» («*Parva Sarmatia*»). На карте империи Карла Великого обозначены не только местности, но и народы, их населявшие, причем восточная граница империи заселена «склавами» («*Sclavi*») и гуннами («*Hunni*»)⁸. В «Древней географии» д'Анвилля, изданной в 1771 году, восточная часть Европы обозначена как «Сарматия», а далее к востоку лежит «Скифия»⁹.

Представления Пейсоннеля о древней истории плохо поддавались картографированию, так как описывали географию движения, вторжение различных варварских племен. Основная схема действия этих этнографических сил выглядела как вектор движения восточных варваров, главным образом скифов, а позже — как вектор движения северных варваров, главным образом славян. В XVIII веке скифов находили по всей Восточной Европе; они определяли ее варварские черты, которые в конечном итоге ассоциировались с современными татарами. Скифы были известны по той важной роли, которую им отводит Геродот в своей четвертой книге, рассказывая о том, как они сопротивлялись персам, приносили в жертву пленных, пили кровь своих поверженных врагов. Франсуа Артог предположил, что для Геродота и греков скифы были воплощением культурной «инакости» и что неопределенность античной географии превратила скифов Геродота в «народ, живущий где-

то посередине между двумя мирами, на границах Азии и Европы»¹⁰. Такое место обитания делало скифов особенно удобным материалом, чтобы конструировать в XVIII веке концепцию Восточной Европы. Впрочем, использовались они и в других целях: например, в трагедии Вольтера «Скифы», написанной в 1767 году, под скифами подразумевались граждане Женевы. Однако и в этом случае Вольтер все же не мог избавиться от восточноевропейских ассоциаций и, посылая пьесу своему венгерскому корреспонденту Яношу Фекете, писал: «Потомок гуннов хочет увидеть мою скифскую драму». Хотя отождествление древних скифов с современными татарами признавалось вполне убедительным, в конце концов этнография Просвещения пришла к мнению, что еще более важная роль в сопряжении прошлого и настоящего Восточной Европы принадлежит славянам. В античных источниках славяне упоминались лишь как один из многих варварских народов, однако в современном мире они явно представляли собой большую языковую группу, связывавшую вместе различные страны Восточной Европы. Пейсоннель подчеркнул их значение, поместив в предисловии к своей книге исторический очерк славянского языка. Заинтересовавшись этой книгой после ее выхода в свет в 1765 году, Вольтер шутливо заявил, что намерен «хорошенько выучить язык древних славян»¹¹.

В своем лингвистическом предисловии Пейсоннель стремился доказать, что славянский не был родным языком коренных жителей адриатической Иллирии, но его привнесли варвары из-за Дуная. Их нашествия определили очертания славянского лингвистического ареала в античной истории, который легко можно было обнаружить и в современности: «В Европе на нем говорят в Далмации, Либурнии (или Хорватии), то есть в западной части Иллирии, в Западной Македонии, в Эпире, Боснии, Сербии, Болгарии, России, Московии, Богемии, Польше, Силезии; он жив еще и в некоторых странах Азии». Во всех этих землях, согласно Пейсоннелю, говорят на родственных диалектах одного языка; исследователь, правда, исключил из славянской группы венгерский язык, связывая его корни с татарским или турецким и предполагая, что зародился он в Сибири. Лингвистические поиски истинного происхождения славянского языка вновь сводились к «распутыванию» Восточной Европы; столько народов, «объединенных общим

именем славян, теснили и сменяли друг друга», что все «перемешалось и перепуталось». Пейсоннель был готов «разобраться в этом хаосе настолько, насколько позволят» его «разыскания в области славянского языка»¹². Эта формула непреодолимо подталкивала исследователей в XVIII веке к открытию Восточной Европы, и хотя язык мог служить, и действительно служил, ключом к запутанному коду, Пейсоннель, в своих поисках корней славянского языка переводил этот предмет на новый уровень контекстуального хаоса. Ссылаясь на Тацита, он заканчивает свои поиски бессмысленно всеобъемлющей отсылкой к древним сарматам, «которые посредством множества набегов заселили, под общим именем славян, Польшу, Россию, Моравию, Венгрию и все те земли, где их язык до сих пор жив»¹³. Наименование «Сарматия», в «Древней географии» д'Анвилля обозначававшее земли Восточной Европы, для Пейсоннеля, писавшего историю этих земель в античности, также служило наиболее общей этнографической рубрикой.

Лингвистическую схему Восточной Европы Пейсоннель изображал в виде концентрических окружностей. В центре находились Трансильвания и Венгрия, где говорили на языке венгров, «происходивших от варваров Туркестана». Далее следовала окружность, скорее полукружье, состоявшее из Молдавии и Валахии, которые дугой располагались вокруг Трансильвании, где говорят на «разновидности латыни, засоренной смесью из всех варварских языков, поочередно заражавших эту страну». Славянский язык образовывал последнюю, самую большую окружность, обрамлявшую все прочие и определявшую протяженность Восточной Европы. Эта схема, искажавшая географию сведением ее к геометрии, показывает, как эффективно можно использовать язык в качестве аналитического критерия, конструируя внутренне однородный ареал. Пейсоннель предложил также «новое изображение славянских народов», сразу же и с легкостью распутывая тот хаос, который сам некогда с такими усилиями описывал: «Нет более нужды обращать внимание на различное происхождение этих народов, совершавших в прошлые века все те набеги, о которых я достаточно подробно рассказывал; их всех надлежит теперь считать славянами»¹⁴. По всей видимости, Восточная Европа находилась в глазах самого смотрящего и создавалась за счет возможности сосредоточиться на тех или иных деталях,

возможности на что-то обращать или не обращать внимание, за счет ошибки зрения — или, быть может, с введением лингвистического критерия речь шла уже об ошибке слуха.

Если Пейсоннель понял, что славянский язык может стать структурообразующей особенностью Восточной Европы, то Пьер-Шарль Левек был первым французом, вполне осознавшим, что свободное владение этим языком необходимо для изучения и древней, и новой истории этого региона. Его «История России» вышла в Париже в 1782 году, тогда же, когда Рюльер начал публичные чтения отрывков из своей истории Польши. Эти труды двух современников стали историографическими шедеврами французского Просвещения в области изучения России и Польши и сохранили свое значение в XIX веке. Книгу Рюльера опубликовали лишь в 1807 году, когда Наполеон основал Великое Герцогство Варшавское, Левек же был переиздан сначала в 1800 году, а позже еще раз — в 1812-м, когда император вторгся в Россию. Однако если Польша в изображении Рюльера была по большей части плодом научных разысканий, проведенных в Париже, то Левек вел свои исследования непосредственно в России. Он отправился туда в 1773 году, одновременно с Дидро, даже взял у него рекомендации, и задержался в стране намного дольше великого философа, вернувшись в Париж лишь в 1780 году. Левек преподавал литературу в Санкт-Петербурге в военной школе, не оставляя своих научных трудов, сделавших его лучшим французским славистом своего века. В предисловии к «Истории России» он сам довольно высоко оценил свои академические заслуги:

Напрасно француз будет задаваться целью написать историю России, оставаясь в своем парижском кабинете или ограничившись разысканиями в обширнейших собраниях наших библиотек. ... Следует поехать в Россию, приговорить себя к нескольким годам упорных и кропотливых занятий, выучить не только современный русский язык, но и древний славяно-русский диалект, на котором написаны все летописи. ... Именно так я и поступил¹⁵.

Такая подготовка позволила Левеку не только написать полную историю России, но и составить вступление «Славяне в древности». Тот лингвистический ареал, который так неопределенно описан Пейсоннелем, приобретал в труде Левека не-

кую культурную однородность благодаря исследованиям религиозных мифов.

Рюльеру в «Польской анархии», в общем-то, нечего сказать о древней истории, и он просто объявил поляков и русских ветвями одного народа, «который, под общим именем словен (*Slovene*), или славян (*Slav*), расселился двенадцать веков назад по всему востоку Европы». Напротив, Левеку в его «Истории России» есть что сказать, и его концепция совсем не столь проста. Он не стал отождествлять русских со славянами, а предположил, что из-за схожести языка и обычаев, а также из-за древности источников «их стали путать со славянами». Самих же славян «древние путали со скифами». Левек считал, что славяне «пришли с Востока» и остановились в России, ставшей «их первым местом обитания в Европе». Они могли обрушиться на Римскую империю как «северные» варвары, но по своему изначальному происхождению они, согласно Левеку, относятся к варварам «восточным». Племена, вторгшиеся в империю, были далекими предками тех, кто «сейчас населяет Богемию, Болгарию, Сербию, Далмацию, часть Венгрии», а также Померанию и Силезию в Германии. Те же, кто остался в России и Польше, разделились на племена: «Ляхи (*Lekhs*) на берегах Вислы, поляне на берегах Днепра, полотчане на берегах реки Полоты, впадающей в Двину, дреговичи между Двиной и Припятью»¹⁶. Он предлагал всеобъемлющую систему античной этнографии, организованную вокруг географических ориентиров того региона.

«Многие полагают, — писал Левек, — что, взойдя на трон, Петр I нашел вокруг себя лишь пустыню, населенную дикими животными, которых он сумел превратить в людей»¹⁷. Проследив русскую историю вплоть до самых доисторических древнеславянских племен, Левек переходил к изложению русской истории, постепенно подбираясь к царствованиям Петра I и Екатерины II, а не начиная с них. Таким образом, он стремился предложить взгляд более широкий, нежели у старшего поколения просветителей, особенно у Вольтера. Влиятельность традиционной точки зрения была так сильна, что Гримм в своей «Correspondance Litteraire» отзывался об «Истории России» Левека со скукой: «Нетрудно догадаться, что в древней истории России мало интересного; эти ранние эпохи являют лишь образцы войн и диких обычаев»¹⁸. Даже после того, как историко-

графия стала более восприимчива к более раннему периоду восточноевропейской истории, петровская парадигма по-прежнему привлекала внимание — и не только историков России. В «Общей истории Венгрии» Клода-Луи де Саси, вышедшей в 1780 году, почти в одно время с «Историей России» Левека, изложение шло «от первого нашествия гуннов до наших дней». Противопоставляя Венгрию и Францию как «две крайние точки Европы», Саси косвенно признавал существование на континенте двух центров притяжения, разделявших его на Восточную и Западную Европу. На этом фоне совершенно логично звучали его слова о том, что правление Марии-Терезии, умершей в 1780 году, стало для Венгрии «эпохой революции, подобной той, которую совершил Петр Великий в России». Эта «революция» состояла в привнесении цивилизации: «В стране стали процветать полезные ремесла; даже науки стали распространять свой благотворный полусвет (*demi-jour*)»¹⁹. Понятие *demi-jour* хорошо отражало представление, что Восточная Европа находится посередине между мраком варварства и светом цивилизации. Благодаря этому представлению история древних варварских нашествий, в том числе гуннов и славян, а также скифов и сарматов, стала неотъемлемой частью образа Восточной Европы в сознании Просвещения.

«ДРЕВНЕЕ И НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ МОЛДАВИИ»

В своей напоминающей концентрические круги схеме славянского мира Пейсоннель выделял Венгрию и румынские княжества Молдавию и Валахию как лингвистически своеобразные области. Если он в 1750-х годах изучал в Крыму влияние языка и древней истории на современное состояние провинции, то д'Отрив занялся тем же в 1780-е годы в Молдавии. С 1785 по 1787 год он официально служил французским секретарем и неофициально — французским консулом в Яссах при государе, правителе Молдавии, находившемся в подданстве оттоманского султана. Одним из его предшественников в секретарской должности был Жан-Луи Карра, будущий месмерист и революционер, написавший «Историю Молдавии и Валахии», которая начиналась утверждением, что «Франция, Англия, часть Германии и Италии занимают центр континента, и из

этого центра распространяются лучи, освещающие другие области земного шара». Молдавия и Валахия, согласно Карра, могли бы быть с успехом колонизованы, как не очень отдаленные районы земного шара: «ведь расстояние не столь велико, и можно полагаться на все ресурсы цивилизованной Европы». Однако распространение света из Западной Европы в Европу Восточную предполагало и обратный процесс — получение известий и научных знаний о таких землях, как Молдавия и Валахия; Карра считал нужным соответствующим образом прояснить отношения между странами и народами.

Не эти варварские, невежественные народы должны первыми узнать нас; напротив, это наша задача... разгадать (*démêler*) характер, таланты и даже физиономию (*physiognomy*) современных народов, которые помещены на этой земле как будто для того, чтобы служить объектами наших наблюдений и критических замечаний. Итак, мы должны узнать эти народы еще до того, как они сами смогут познать себя и, в свою очередь, захотеть узнать нас²⁰.

В 1787 году д'Отрив, пробыв два года в Яссах, написал так и не опубликованную «Записку о древнем и современном состоянии Молдавии», составленную в эпистолярной форме и обращенную к новому фанариотскому господарю Александру Ипсиланти, именуемому здесь «мой государь» («*Mon Prince*»).

Адресованная князю записка выглядит как наставление в просвещенном абсолютизме, и автор обещает господарю, что в истории он сможет почерпнуть «свет и вдохновение великих образцов». Однако когда д'Отрив обращается к древней истории и ее влиянию на обычаи молдавского народа, тон его напоминает скорее «Соображения» Руссо, нежели письма Вольтера.

Если бы я, мой государь, принадлежал к народу, которым Вы будете править, ради Вас я принял бы на себя роль его историка, посвятив свой труд прежде всего тому, чтобы поднять этот народ в ваших глазах, чтобы ответить на клевету и предубеждения, пытающиеся принизить его, как будто он недостоин и не способен наслаждаться благом счастливого правления. Я бы не побоялся объявить всем народам, которые окружают нас и так гордятся своей древней генеалогией, что из всех них мы сохраняем в своих обычаях и законах наибольшую верность обычаям и законам своих предков-основателей. ... Мы единственный народ, который, не являясь неотъемлемой частью огромной империи, но платя дань, сохраняет свое имя и гражданские институты. ... Мы, наконец, единственный народ, хранящий законы и язык первейшего народа во всей вселенной, как

свидетельства родства, которые показывают наше благороднейшее происхождение; некоторые их обычаи сохраняются у нас как народные традиции, и, наконец, мы храним драгоценные и неизгладимые следы простоты как древних римлян, покоривших вселенную, так и никем не покоренных скифов²¹.

Риторическое отождествление себя с молдавской нацией («мы единственный народ»), самоуверенное признание этого народа «достойным» и «способным» и, главное, оценка древних обычаев как «народных традиций» поразительно напоминают призыв Руссо к полякам. «Соображения» были опубликованы в Париже в 1782 году, и д'Отрив вполне мог прочитать их до своего отъезда в Константинополь в 1784 году. Руссо считал, что среди всех стран Европы лишь Польша хранит отблеск древнего духа греков и римлян, что именно «национальные установления» создают «национальную физиономию», отличающую поляков от других народов, и что поэтому совершенно необходимо сохранять «древние обычаи», главная ценность которых — в «простоте нравов»²². Так как Восточная Европа в целом предоставляла обширный материал для теоретических импровизаций на тему национальной самобытности, то и поляков, и молдаван можно было втиснуть в одну интеллектуальную схему.

Надо сказать, что д'Отрив обладал гораздо большими познаниями в области древней и новой истории Восточной Европы, нежели Руссо. Он предлагал читателям детальный указатель «народов, которые окружают нас» (то есть молдаван), сообщавший, что в древности «здесь прошли даки, гунны, готы, визиготы, остроготы, авары, вандалы и куманы (*Comans*)», а в менее отдаленные времена «правителями этой земли по очереди побывали болгары, венгры, трансильванцы, казаки, русские и поляки»²³. Почти за двадцать лет до того Вольтера приводила в восторг мысль о том, что войска Екатерины перейдут Дунай и завоюют Молдавию; теперь противодействие российскому влиянию входило в обязанности д'Отрива как агента французского Министерства иностранных дел. Основную цель своей «Записки» он видел в том, чтобы развенчать в глазах любого молдаванина, и в особенности господаря, «безумную надежду на улучшения при смене одного господина на другого»²⁴. Это было всего лишь политической задачей, однако д'Отриву в «Записке» удалось замечательно выразить политические

идеи с помощью рассуждений о языковом родстве и древней истории.

Если Пейсоннель был поражен, услышав, как Валахию называют «романской землей», то д'Отрив с готовностью воспринимал такую «генеалогию» и «свидетельства родства», благодаря которым Молдавия и Валахия оказывались римскими землями, то есть Румынией. Язык этих народов он считал «римским», то есть романским, языком «первейшего народа во вселенной», а в самих молдаванах ему виделись «неизгладимые черты» древних римлян — но также и древних скифов! Такое скрещение, породившее современных молдаван, было прекрасным культурным противоядием от российского империализма, так как ни скифы, ни римляне славянами уж точно не были. Кроме того, помещая Молдавию исторически между западной цивилизацией римлян и восточным варварством скифов, эта концепция отлично отражала создаваемую в XVIII веке концепцию Восточной Европы.

Д'Отрив подтверждал «братство народов, живущих между Дунаем, Днестром и Черным морем и говорящих, как в Италии, на наречии, несомненно восходящем к латыни». Он воспевал связь молдаван с римлянами и, в руссоистском ключе, хвалил молдавских бояр за «приверженность старинным обычаям, строгий нрав и не слишком большую склонность к европейской цивилизации, которая, если не подействует мгновенно и всеобъемлюще, лишь добавляет к старым порокам новые»²⁵. Он не уточняет, относятся ли эти древние обычаи, делающие молдаван устойчивыми к влиянию европейской цивилизации, к наследию Римской республики или достались от скифской орды. В другой записке, не адресованной напрямую господарю, д'Отрив признается, что, когда он в 1785 году прибыл в Молдавию, ему самому мешал недостаток европейской цивилизации, вызывая у него раздражение: «Вначале облик казался мне варварским, одежды нелепыми, военная форма — лохмотьями, дома — грязными норами, священники — нищим и лицемерным сбродом, а язык ужасающим (*épouvantable*). Со временем мои глаза и уши стали привыкать к этому»²⁶. После возвращения из Молдавии в 1787 году, д'Отрив в 1792-м получил свое следующее дипломатическое назначение, во французское консульство в Нью-Йорке.

Молдавский язык, который вначале показался д'Отриву таким «ужасающим» на слух, стал важным предметом рассмотрения в его «Записке»; в особенности исследователя занимало его античное происхождение. Хотя в более раннем донесении от 1785 года он называет молдавский «наречием, несомненно восходящим к латыни», в записке 1787 года появляется более сложная схема языкового родства, в какой-то степени предвосхитившая современные гипотезы о происхождении румынского языка. Не говоря более о диалекте, восходящем к классической латыни или ставшем результатом ее вырождения, д'Отрив предположил, что молдавский был «языком римского простонародья», указывая в качестве доказательства на отношения между артиклями и существительными. Такое представление о языке означало также, что Молдавия оказывалась посередине между цивилизацией и варварством.

И все же это язык римлян, хотя и не язык Цицерона и века Августа. Он восходит к куда более древней эпохе. Молдавский язык — это язык солдат Ромула; он сохранил жесткость их нравов и грубость их манер. Те изменения, которые в процессе развития римской цивилизации смягчили просодию благозвучными ударениями и мелодичными окончаниями, не коснулись простонародного языка, или, по крайней мере, крестьяне не участвовали в этих событиях цивилизации. В своем наречии они сохранили варварство ранних веков²⁷.

Таким образом, для д'Отрива молдавский — язык, более древний, чем латынь, но менее цивилизованный. Он настаивал, что язык — это важнейший фактор сохранения национальной самобытности, так как обычаи, законы и религия могут измениться под воздействием обстоятельств, но «никто не может принудить народ забыть свой язык»²⁸.

В области политики д'Отрив постоянно указывал, что Российская империя представляет собой опасность; вполне естественно, что оттуда же исходила, с его точки зрения, и главная угроза молдавскому языку. Он беспокоился, что в Молдавии в православных церквях служат на церковно-славянском; кроме того, Россия поощряла также использование в письменном молдавском кириллицы вместо латинского алфавита. Чтобы показать, как мало подходит кириллица для молдавского языка, д'Отрив рисует гипотетическую и абсурдную, с его точки зрения, возможность кириллического письма на французском:

«Представим, что Людовик Святой привез из Палестины славянский алфавит и дал его французам. Тогда мы бы вместо *mort* говорили *moart*. ... Наш язык не стремился бы к постепенному смягчению, но становился бы все более экспрессивным и жестким»²⁹. Возможно, в этом пассаже д'Отрив хочет не столько дать совет молдавскому господарю, сколько развлечь своих будущих коллег из королевской Академии надписей и изящной словесности («наш язык»). Как бы там ни было, записка увидела свет лишь в XX веке — в 1902 году, когда ее представили румынской Академии в Бухаресте. Когда Молдавия и Валахия объединились в 1859 году в независимую Румынию, латинский алфавит был утвержден для письменного румынского, но в Молдавской Советской Социалистической Республике снова ввели кириллицу. Рассматривая случай Молдавии в контексте Восточной Европы, д'Отрив пришел к новому, современному взгляду на взаимодействие международной политики, национальной самобытности и языка.

Д'Отрив говорит о молдавском как о «языке солдат Ромула», а устанавливая связи между языком и этнографией, вспоминает о солдатах Траяна, завоевавшего Дакию в начале II века. Трактуя буквально идею Руссо о «национальной физиономии», д'Отрив, глядя на молдаван, видит в них солдат с колонны Траяна в Риме:

В них все еще можно узнать стать и крепкое сложение римских солдат, и видевший черты завоевателей Дакии на барельефах колонны, возведенной в честь завоеваний Траяна, не без радости встретит их вновь в Молдавии, во внешности их потомков³⁰.

Когда XVIII век открывал Восточную Европу, колонна Траяна несла важную и сложную смысловую нагрузку, она оказалась своего рода тотемом для западноевропейских путешественников. Сегюр прибыл в Россию в 1785 году, тогда же, когда д'Отрив приехал в Молдавию. Глядя на русских, Сегюр увидел в них оживших «скифов, даков, роксоланов и готов, наводивших некогда ужас на римлян»; это были «полудикие фигуры с барельефов колонны Траяна в Риме», которые возродились и оживают «перед вашим взором»³¹. Сегюр, подобно д'Отриву, постоянно вспоминает об этой колонне, путешествуя по Восточной Европе. Д'Отрив, навязывая молдаванам национальную самобытность, отождествлял их с римскими солдатами, изо-

браженными на колонне, которые отличались «жесткостью нравов и грубостью манер». Это, конечно, лишь одна половина предков, которых д'Отрив приписывал молдаванам; другая половина была скифской, а значит, откровенно варварской. Сегюр же, глядя на русских, думал не о римских солдатах, избраженных на колонне, а о пленных варварах, в том числе о даках и скифах. Воззрения Сегюра и д'Отрива дополняли друг друга, возможно немного переплетаясь и путаясь, но восходя по спирали барельефов к вершине колонны. Кто это, римские солдаты или скифские варвары? Именно в Восточной Европе эти образы оживали «перед вашим взором», и мир древних варваров представал перед современным этнографом.

«Толпы дикарей»

Труд Гиббона «Закат и падение Римской империи», один из самых значительных и долговечных литературных памятников Просвещения, четко обозначил взгляд науки XVIII века не только на римскую цивилизацию, но и на варваров, приблизивших ее закат и падение. Двигаясь через Восточную Европу, северные и восточные варвары, согласно классификации Пейссоннеля, обрушились на Рим, а затем на Константинополь. Гиббон посетил Рим, где ему и явилось его научное откровение, в 1764 году, то есть за год до выхода в свет труда Пейссоннеля о варварах Дуная и Черноморского побережья. Родившийся в 1737 году Гиббон был на десять лет моложе Пейссоннеля и приходился почти ровесником Левеку, родившемуся в 1736 году. Всерьез работать над «Закатом и падением...» Гиббон стал в начале 1770-х, а уже в 1776 году вышел в свет первый том, принесший автору сенсационный успех. Следующие два тома были опубликованы в 1781 году, когда «История России» Левека должна была вот-вот выйти в Париже, а последние строки своего шедевра Гиббон дописывал в 1787 году, когда д'Отрив уже сочинял свою записку о Молдавии. Последние тома вышли в следующем, 1788 году. Таким образом, путь Гиббона в науке совпал по времени с деятельностью Пейссоннеля, Левека, д'Отрива; важно отметить, что территории, историей которых они занимались, пересекались географически. Основ-

ное внимание Гиббона в «Закате и падении...» сосредоточено на Риме и Константинополе, однако рядом неизбежно появлялись географические и этнографические детали, относящиеся к Восточной Европе, причем к середине и заключительным томам этих деталей все больше. Несомненно, эта книга была самым читаемым и влиятельным исследованием Восточной Европы античного периода.

Гиббон обращается к Восточной Европе в самом начале своего колоссального исторического труда, повествуя о завоевании Траяном Дакии и «полном покорении варваров». Далее он уточняет очертания захваченной провинции:

Ее естественными границами были Днестр, Тисса (*Teys*s), или Тибискус (*Tibiscus*), нижний Дунай и Эвксинское море. Следы военной дороги можно и сейчас еще найти на пути от берегов Дуная к окрестностям Бендер, места, ставшего знаменитым в новой истории и служащего нынешней границей между Турецкой и Российской империями³².

Перечисляя эти географические пункты, Гиббон переносит в ту же область, о которой повествует в своей истории Пейсоннель, — между Дунаем и Черным морем. Подобно д'Отриву, он с легкостью переходит от «древней» к «нынешней» истории Восточной Европы, упоминая события новой истории и современные ему империи. Судя по тону повествования, можно даже подумать, что Гиббон сам посетил остатки римской дороги, которая вела от Дуная к Днестру, однако примечание указывало, что это наблюдение принадлежит д'Анвиллю, картографу, занимавшемуся древней географией. Когда дело доходило до Восточной Европы, Гиббон был таким же «кабинетным путешественником», как и Вольтер. В сущности, когда он говорил о Бендерах как о «месте, знаменитом в новой истории», он имел в виду, что читатели наверняка знают о нем из «Карла XII» Вольтера. Именно в Бендерах, расположенных на Днестре, между Молдавией и Татарией, разбил лагерь этот король, получивший приют у татар после поражения под Полтавой. Позднее Бендеры вновь привлекли к себе внимание, когда армия Екатерины успешно осаждала их в 1770 году и Вольтер приветствовал это событие из Ферне. Эти аллюзии у Гиббона показывают, что он усвоил взгляды и стереотипы своего века, связанные с Восточной Европой.

Десятую главу первого тома, вышедшего в 1776 году, Гиббон посвятил «большому вторжению варваров», что вынудило его сделать обзор всей Восточной Европы. Речь в данном случае шла о готах. Гиббон придерживается версии об их скандинавском происхождении, хотя и намекает на еще более древние корни, лежащие в «азиатской Сарматии». Подготавливая читателей к великому «вторжению» III века, Гиббон говорит о предшествовавшей ему миграции из Швеции через Балтику — «к устью Вислы», а потом переходит к своему главному предмету — «второй миграции готов с Балтики к Эвксину». Он снова обращается к д'Анвиллю, чтобы проследить речную одиссею готов по Днепру (для него Борисфену): «Изгибы этого огромного потока, текущего по равнинам Польши и России, определяли направление их движения»³³. Здесь они сталкивались с разными племенами, которых Гиббон определяет как сарматские, язигами (*Jazyges*), аланами и роксоланами; в конце концов готы встретились со «скифскими ордами». Таким образом, миграция готов позволяет Гиббону познакомить читателя с варварами, населявшими Восточную Европу от Балтики до Черного моря.

Интересно, что готы у Гиббона проделывают в точности тот же маршрут, по которому вслед за Карлом XII свершал свое вымышленное путешествие Вольтер, отправляясь из Швеции, пересекая Балтику, проходя через Польшу и Россию к Украине и Крыму. Вольтер использует этот маршрут, чтобы представить Восточную Европу в XVIII столетии, Гиббон — чтобы изобразить ее в III веке. Вольтер по дороге тоже сталкивается с варварами, в том числе и с сарматами: «В польских солдатах вы все еще увидите нравы древних сарматов». Гиббон говорит об Украине как о добыче, способной прельстить любого завоевателя и в древности, и в новое время: «...страна значительных размеров и необычайного плодородия, рассекаемая судоходными реками, впадающими в Борисфен с обеих сторон, и покрытая огромными и высокими дубовыми лесами». В примечании Гиббон разъясняет свое антиисторическое смешение древней и новой украинской географии: «Нынешний облик страны в точности воспроизводит древний, так как в руках казаков она все еще пребывает в своем естественном состоянии»³⁴. В своем «Опыте о нравах» Вольтер столь же небрежно уподобляет современных казаков людям древности:

Их образ жизни ничем не отличается от древних скифов и татар на берегах Черного моря. К северу и к востоку от Европы (*l'orient de l'Europe*) весь этот край живет еще совершенно сельской жизнью: это образ так называемого героического века, когда люди, располагавшие лишь необходимым, грабежом отбирали это необходимое у своих соседей³⁵.

Таким образом, говоря об истории Восточной Европы, оба — и Вольтер и Гиббон — смешивают древнее и новое, новое и древнее.

Центральным персонажем тридцать четвертой главы труда Гиббона стал Атила, вождь гуннов, и гунны, с некоторой неопределенностью отнесенные к скифам, сразу же были помещены на карту Восточной Европы: «Их победоносные орды распространились от Волги до Дуная». Портрет самого Аттилы построен на расовых характеристиках, и точкой отсчета для Гиббона служат современные варвары: «Облик Аттилы несет в себе уродливость современного калмыка; крупная голова, смуглая кожа, маленькие, глубоко посаженные глаза, плоский нос, несколько волосков вместо бороды, широкие плечи и приземистое квадратное тело, мускулистое и сильное, но искаженное непропорциональными формами». Примечание отсылало читателя к «Естественной истории» Бюффона. Антропологическое уподобление древнего скифа «современному калмыку» фактически уравнивало их в варварстве. Предположив, что у гуннов Аттилы были человеческие жертвоприношения, Гиббон делает более общий вывод об отсутствии у них цивилизации. «Скифский царь, — отмечает он, — несмотря даже на свое невежество в науках и философии, вероятно, все же мог сожалеть о том, что его неграмотные подданные не ведали искусства, которое могло бы сохранить память о его подвигах». Под этим искусством Гиббон, конечно, понимал свое искусство — искусство историка. Атила был настолько глух к возможностям цивилизации, что даже не смог использовать римских пленных, чтобы «распространить в степях Скифии начатки искусств, которые украшают и приносят пользу». Такие представления о распространении цивилизации свидетельствуют, что, по мысли Гиббона, цивилизация могла воздействовать на варваров, ускоряя их развитие. Однако Атила, основавший свою столицу «между Дунаем, Тиссой и Карпатами на равнине Верхней Венгрии», навсегда сохранил «простоту своих скифских

предков»³⁶. Для Гиббона, так же как для Пейсоннеля и д'Отрива, скифский фактор был незаменимым этнографическим индикатором варварства в Восточной Европе.

Представление Гиббона о Восточной Европе наиболее полно выражено в сорок второй главе, посвященной обзору «состояния варварского мира» в VI веке и представляющей «склавоныские племена и их нашествия». Начинает он с разделения народа на две половины: «Дикий народ, живший на равнинах России, Литвы и Польши или бродивший там, можно подразделить на две большие группы — БУЛГАР и СКЛАВОНОВ». Первые отождествлялись с татарами, — «нет нужды повторять несложное и всем известное описание татарских нравов». Склавоны, однако, заслуживали больше внимания; исследователь описывал их язык, национальный характер и примитивную экономику.

Их многочисленные племена, в независимости от расстояния и отношений между ними, говорили на одном общем языке (грубом и беспорядочном) и были известны схожестью облика, которым они не походили на смуглых татар, а приближались, хотя и не до конца, к рослым и белокожим германцам. По областям России и Польши было раскидано четыре тысячи шестьсот деревень, и так как здесь было мало камня и железа, хижины в них строились из необработанного дерева. Высившиеся или, точнее сказать, укрывавшиеся в глуши лесов, по берегам рек или у болот жилища можно было бы сравнить с архитектурными постройками бобров, которые они напоминали и с суши, и с воды, однако такое сравнение польстило бы их диким обитателям, существам куда менее плотным, трудолюбивым и социальным, чем это чудесное животное. Сельскохозяйственное изобилие у склавонов было обусловлено скорее плодородием почвы, нежели трудом самих жителей³⁷.

Следуя традиции, Гиббон считал славянский язык грубым и беспорядочным; д'Отрив был с ним полностью согласен. Его высказывание о расовом превосходстве германцев над славянами (славяне — не такие рослые и белокожие) было отправным пунктом, на научной достоверности которого германцы с XVIII и до самого XX века настаивали с возрастающим упорством. Экскурс Гиббона в область естественной истории, а также его сравнение славян с бобрами — его собственные изобретения, призванные явить остроумие; речь на самом деле идет о проблемах цивилизованности. Он хвалит бобров за их стро-

ительные навыки и порицает славян за недостаток чистоплотности, трудолюбия и социального инстинкта.

В другом месте Гиббон благодушнее отзывается о славянах как о «целомудренном, терпеливом и гостеприимном» народе (воздерживаясь от язвительных сравнений с добродетелью бобров). Как и Левек, Гиббон признавал существование у славян примитивной религии, божества грома и чего-то вроде нимф. Политического устройства он у славян не находит вообще: «Склавоны считали ниже своего достоинства подчиняться тирану, князю или даже судье». Их метод ведения военных действий предстает у Гиббона как воплощение дикости, так как сражались они «практически обнаженными», а оружием им служили «лук, колчан с маленькими отравленными стрелами и длинная веревка, которую они ловко бросали, захватывая врага в мертвую петлю». Их обращение с пленниками еще отвратительней в своей дикости: «Без различия звания, возраста или пола пленных сажали на кол, с них снимали заживо кожу, подвешивали к четырем столбам и били дубинами, пока те не испустят дух, или, заперев их в какой-нибудь большой постройке, предавали потом огню». Живописуя эти ужасы варварства, Гиббон ссылался на Прокопия, хотя и признавал, что византийский историк мог преувеличивать³⁸. В эпическом повествовании Гиббона о борьбе между цивилизацией и варварством оплотом варварства представляла Восточная Европа и ее дух, «живший на равнинах России, Литвы и Польши или бродивший там».

В пятидесятой главе Гиббон подробно рассказывает о Мухаммеде, исламе и арабах, сравнение с которыми оборачивается не в пользу скифов³⁹. Все эти темы остаются предметом первостепенной важности и в последующих главах, так что в начале пятьдесят пятой главы Гиббон просит прощения у читателя за то, что несколько отклонился в сторону, отмечая, что «в войне, в религии, в науке, во времена процветания и упадка, арабы не могут не вызывать у нас интереса». Однако эта оправдательная речь — лишь подступ к подлинной теме главы, Восточной Европе, народы которой, по мнению автора, недостойны подобного интереса и внимания историка:

Но напрасно тратить подобные усилия на изучение толп дикарей, которые в VII—XII веках спускались с равнин Скифии и находились в состоянии то ли периодических нашествий, то ли непрес-

танных переселений. Их имена грубы, их происхождение сомнительно, их действия непонятны, в своих суевериях они были слепы, в своей отваге жестоки, а единообразие их общественной и частной жизни не было смягчено невинностью или облагоустроено государственным устройством. В своем величии византийская держава отразила их нападения и выстояла под их беспорядочным натиском; большая часть этих варваров исчезла без следа, а жалкие остатки стонут и будут еще долго стонать под властью чужестранного тирана. Рассказывая о древностях I. *Булгар*, II. *Венгров* и III. *Русских*, я ограничусь лишь теми фактами, которые заслуживают упоминания⁴⁰.

Здесь Гиббон снова конструирует представление о цивилизации от противного, то есть описывая ее отсутствие у варваров. Вновь из беспорядочного жизнеустройства народа в древности выводится его жалкое состояние в настоящем. Политическая формула, благодаря которой Гиббон с готовностью подчинил народы Восточной Европы чужестранной тирании, была вполне традиционной, но в данном случае отдавала двусмысленностью. Он, вероятно, имел в виду болгар, стоявших первыми в его списке и находившихся под властью константинопольского султана. С другой стороны, в 1780-х годах, когда Гиббон писал эту главу, венграми правили венские Габсбурги в лице Иосифа II, чей скипетр нес им дух строжайшего абсолютизма; русские же были подданными Екатерины, немецкой принцессы, чье правление отличалось не меньшей самодержавностью. В любом случае Гиббон был готов истолковать нынешнее подчинение этих народов иностранной тирании как заслуженное воздаяние за их варварство и дикость в древности.

Свой рассказ о болгарах Гиббон начинает с ошибочного утверждения об их славянском происхождении. Строя свои доказательства на вполне достоверной посылке — болгары говорили на славянском языке, — он с небрежностью включает и валахов в список родственных народов:

Их язык неопровержимо подтверждает происхождение болгар от склавонской или, точнее, славянской расы; а родственные сервы (*Servians*), боснийцы, раски (*Rascians*), хорваты, валахи и другие следовали образцу или примеру главного племени. В качестве пленников или подданных, союзников или врагов Греческой империи они заполнили собой все пространство от Эвксина до Адриатики⁴¹.

В терминологии Гиббона название «славяне» означало множество племен, составлявших одну общую расу; его обозначение

ние «от Эвксина до Адриатики» указывало протяженность Восточной Европы и ее западные пределы. Цитирует он труд о происхождении славян Иоанна Христофора де Йордана, написанный на латыни и вышедший в Вене в 1745 году, однако ставит под сомнение ценность этой работы из-за происхождения ее автора. «Его собрания и исследования могут быть полезны для изучения древностей Богемии и прилегающих стран, — пишет Гиббон о Йордане, — однако его взгляду не достаёт широты, стиль у него варварский, критика поверхностна, и придворный советник не смог освободиться от своих богемских предрассудков». Но собственные предрассудки Гиббона, его причисление болгар к славянам по происхождению, позволили ему использовать древние богемские источники в работе над историей Болгарии. В то же время он допускает скифское влияние, повествуя драматическую историю поражения, нанесенного в 811 году византийскому императору Никифору болгарским ханом Крумом, сделавшим из императорского черепа золоченый кубок. «Эта дикарская чаша, — пишет Гиббон, — имеет оттенок скифских степных нравов»⁴². Странное употребление слова «оттенок» с его цветовыми коннотациями смутно намекает здесь на расовый подход к антропологии, с помощью которого историк XVIII века стремился показать происхождение и распространение обычаев у варваров древности.

«Когда черные тучи венгров впервые надвинулись на Европу около 900 года от Рождества Христова, — писал Гиббон, представляя следующий народ из своего списка, — их из страха и суеверия приняли за Гога и Магога из Писания, знамения и предвестников конца света». Гиббон ссылается на латинские сочинения венгерских ученых XVIII века, а именно книгу Георга Прая, вышедшую в Вене в 1775 году, и книгу Стефана Катоны, вышедшую в Пеште между 1778 и 1781 годами. «Их рационалистическая критика уже не удовлетворяется тщеславной родословной, восходящей к Аттиле и гуннам», — замечает Гиббон, после чего сам без колебаний приписывает венграм еще более неопределенную родословную, называя их «одним из скифских племен». Как и в случае болгар, их переселения определили пределы Восточной Европы от Волги до Дуная, и даже после того, как они осели на территории современной

Венгрии, одновременно с ними на Волге продолжали жить их «давно потерянные братья», «язычники и дикари, тоже носившие имя венгров»⁴³. Так Гиббон определяет промежуточное положение Восточной Европы с ее различными степенями и изменчивым соотношением цивилизации и варварства.

Обращаясь к сочинениям византийского императора X века Константина Багрянородного, Гиббон сознавал, что наука его времени («современная наука») способна уточнить традиционную классификацию варварских народов. Лингвистические исследования показали, что «венгерский язык стоит особняком, как будто в изоляции, среди славонских диалектов; однако он состоит в близком и очевидном родстве с языками феннической (*Fennic*) расы, расы таинственной и дикой, населявшей некогда северные области Азии и Европы». Гиббон ссылается и на «татарское свидетельство», связывающее венгерский с языками народов Сибири⁴⁴. Когда Гиббон работал над своим исследованием, наука XVIII века уже в общих чертах пришла к современной лингвистической классификации, относящей венгерский язык к финноугорской группе. Это открытие стало результатом различных географических исследований, проводившихся, в частности, в Сибири, начиная с царствования Петра. В 1720-х годах Штраленберг, швед, оказавшийся в петровском плену, занимался собиранием лексики и сравнением языков Сибири; примерно в то же время и в той же области вел свои исследования русский историк Татищев. В 1730-х годах немецкий историк России Г.Ф. Мюллер стал составлять списки сибирской лексики; Й.Е. Фишер, продолживший его дело в 1740-х годах, составил сибирский словарь и прямо указал на лингвистические связи между Сибирью и Венгрией. Работа Фишера о происхождении венгров была опубликована в 1770 году, и Гиббон цитирует ее в примечании⁴⁵. Тем не менее почти в то же время, в 1765 году, Жакур совершенно ошибочно сообщает в «Энциклопедии», что «язык Венгрии есть диалект славянского». Сомнения ученых по этому лингвистическому вопросу усугублялись общей тенденцией XVIII столетия смешивать и связывать между собой народы Восточной Европы и в древней, и в новой истории. Для Гиббона лингвистическое сравнение позволяло связать современных венгров с татарами, повторяя и подкрепляя его идею о близости древних венгров к скифам.

Изображение этих варваров у Гиббона выдержано в духе живописной дикости: «Шатры у венгров были из кожи, одежда из шкур; они брили голову и делали надрезы на лице». Однако в руках у них Гиббон видит предмет вполне определенного этнографического происхождения: «Их традиционным и смертоносным оружием был татарский лук». Что касается до древней Скифии, то она возникает лишь в виде неопределенных намеков и метафор, скорее для создания образа; к примеру, когда венгры приходили в ярость, «они в своей скифской стремительности за день опустошали и истребляли все на пять миль в окружности». Гиббон признает, что «их страсть к сырому мясу могла породить известные легенды о том, что они пили кровь и пировали сердцами убитых». Пускается он в рассуждения о менее свирепых, хотя тоже связанных с кровью, вопросах: речь идет уже не о поглощении крови, а о ее наследовании как факторе формирования венгерской нации. «Кровь коренной народности, принадлежавшей к тюркской или феннической группе, — писал Гиббон, — смешалась с новыми поселенцами скифского или склавонского происхождения»⁴⁶. Здесь славянская и скифская составляющие Восточной Европы оказались соединены буквально кровью.

Переходя наконец к русским, Гиббон связывает их происхождение с племенами, «родственными шведам и норманнам», которые, как и готы до того, пересекли Балтику и «посетили ее восточное побережье, тихое место обитания феннических и склавонских племен». В «тишине» этих восточных берегов жили народы, о которых до того не слыхала древняя история, и Гиббон неуклюже переносит обозначение «русских» со скандинавских пришельцев на эти мирные племена. «Первобытные русские с озера Ладога, — пишет он, — беличьими шкурками платили дань этим чужестранцам, которых они называли варягами (*Varangians*), то есть грабителями». В конце концов чужестранцы «кровью, религией и языком смешались с русскими». Как и финноугорское происхождение венгерского языка, скандинавско-варяжские корни русских были уже в достаточной степени признаны наукой XVIII века, чтобы удовлетворить Гиббона. По большей части Гиббон ссылается на историю Левека, которая вышла в 1782 году, предоставив Гиббону возможность опосредованно познакомиться с русскими летопи-

сями. Цитирует он и путевые записки Кокса, вышедшие в 1784 году и поддерживавшие общий интерес к России еще до того, как в 1788-м появились последние тома «Заката и падения...»⁴⁷. Так Гиббон и познакомился с Россией, благодаря чужому путешествию и подробным примечаниям.

В качестве географического источника он ссылается на составленную д'Анвиллем «Российскую Империю, ее образование и распространение»; он, вероятно, имел также в виду «Древнюю географию» этого картографа, так как местонахождение России определялось им через ссылку на «географию Скифии» и даже на «расплывчатую и неопределенную картину скифских степей». Гиббон прослеживает, как русские заселяли земли вниз по Днепру до Черного моря, намечая торговый путь, проходивший через Восточную Европу «от Балтики до Эвксина, от устья Одера до константинопольского порта». Сюжет повествования Гиббона сосредоточен вокруг русских походов на Константинополь в IX и X веках. С уничижительной снисходительностью он изображает взгляд варваров на византийскую цивилизацию: «Они завидовали дарам природы, которых не мог дать их климат; они жаждали завладеть произведениями искусства, которые из-за своей лени не могли повторить, а из-за бедности не могли купить». Однако последовавшие «пиратские экспедиции» не относились исключительно к древней истории, и «образ их морских походов вновь ожил в прошлом веке, когда эскадры казаков отправлялись из Борисфена в плавание по тем же морям и с теми же целями». Вновь рушится граница между древней и новой историей, и казаки XVII века садятся в свои «челны» (*canoë*) на Днепре и отплывают назад в X век. Еще более явно эта мысль проступала в примечании, где приводилась цитата из «Описания Украины» Боплана, написанного в XVII веке и указывающего, что, «если бы не появление пороха, мы могли смело принять современных казаков за древних русских». Такая точка зрения была далека от историчности, однако позволяла Гиббону связать древнюю историю и царствование Екатерины: «В наше время морские силы России уже не спускаются по Борисфену, а совершают плавания вокруг всей Европы»⁴⁸. Русские, таким образом, вновь появляются у Константинополя, хотя уже и не в челнах; при этом, судя по всему, их цель остается прежней.

Кульминацией этой главы становится рассказ о принятии Киевом христианства и отказе русских от человеческих жертвоприношений; в завершение Гиббон делает некоторые общие замечания о пришествии христианства к варварам Европы. «Северные и восточные оконечности Европы, — пишет он, формулируя географическое определение Европы Восточной, — приняли религию, отличавшуюся от поклонения их традиционным божествам более в теории, нежели на практике». Хотя Гиббон не смог удержаться от того, чтобы нанести такой удар по христианству, он вовсе не считал разницу между цивилизацией и варварством незначительной.

Принятие варваров в лоно гражданского и церковного сообщества избавило Европу от вторжения, с суши и с моря, норманнов, венгров, русских, которые стали учиться беречь своих собратьев и улучшать свои владения. Установление закона и порядка происходило под влиянием духовенства; в диких областях земного шара стали появляться начатки искусства и науки⁴⁹.

Таким образом, Гиббон плавно переходит от древней истории к современности, и основной точкой отсчета становится уже не Рим и не Византия, а Европа. После возникновения «склавонских и скандинавских королевств» историку нет нужды сверяться со своим компасом, чтобы определить, где находится источник цивилизации: «Они восприяли свободный и щедрый дух европейской республики и постепенно стали приобщаться к свету знаний, шедшему из западного мира»⁵⁰.

«МНОЖЕСТВО МАЛЕНЬКИХ ДИКИХ НАРОДНОСТЕЙ»

В 1764 году, когда Гиббон отправился в Рим, двадцатилетний Иоганн Готфрид Гердер приехал в Ригу, где стал учителем и священником. Начиная с 1710 года, когда Петр Великий отобрал ее у Швеции после поражения Карла XII, Рига вместе с провинцией Ливонией, нынешней Латвией, принадлежала России. Однако даже в составе петровской империи она пользовалась относительной автономией; управление было в руках немецкого среднего класса, и город еще пользовался остатками своей ганзейской независимости. Летом 1764 года, незадолго до незаметного прибытия туда Гердера осенью того

же года, Рига встречала куда более важного гостя, свою новую императрицу Екатерину. Позднее, в 1780-х годах, та уничтожила ливонскую автономию, отказавшись признать местные ограничения ее просвещенного абсолютизма, но даже после этого, как на рубеже веков свидетельствовал Коббетт, Рига осталась открытой навстречу Балтике, хотя и став частью России, но находясь на самом ее краю. Надо сказать, что в XVIII веке все Балтийское побережье вплоть до своей крайней восточной точки в Санкт-Петербурге было своего рода открытой границей Восточной Европы. Гердер прибыл в Ригу с запада из Кенигсберга, под свежим впечатлением от лекций Канта; а Кенигсберг был в Пруссии, во владениях Фридриха. К западу на том же побережье находился Гданьск, игравший в Польше ту же роль, что Рига в России, и подобно ей сохранявший городское самоуправление. И Гданьск и Рига благодаря рекам, на которых они стояли, Висле и Двине, были точками доступа в Восточную Европу.

Гиббон покинул Рим, ошеломленный его былой славой, и это позволило ему расставить по местам всех варваров Европы, выстроив их по отношению к неоспоримому центру цивилизации. Гердер в 1769 году покинул Ригу, отправившись через Балтийское море и Ла-Манш во французский Нант; оттуда он позже поехал в Париж. Таким образом, он совершил путешествие от крайней оконечности Восточной Европы к самому сердцу Европы Западной. Однако его описание этой поездки, «Журнал моего путешествия в 1769 году», целиком посвящено Восточной Европе, которую Гердер оставлял позади, так что действие развивалось в направлении, прямо противоположном самому путешествию. Уже в первой фразе записок слышна растерянность, которую подчеркивает путаница во времени из-за использования в России другого календаря: «23 мая / 3 июня я выехал из Риги и 25 мая / 5 июня пустился по морю сам не знаю куда»⁵¹. Большую часть своей остальной жизни Гердер провел в гетевском Веймаре, но представление о Восточной Европе, рожденное в Риге и сформулированное в дневнике 1769 года, навсегда осталось с ним. Гиббон расселял варваров по их отдаленным уголкам с великолепной снисходительностью, а нередко и с иронией прекрасного стилиста. Гердер во время своего морского путешествия писал о тех же самых варварах с живым интересом и бурным восторгом в

стиле, который вскоре стал известен как *Sturm und Drang*. Он втиснул древних варваров в этнографическое настоящее, даже в будущее, созданное его неистовым воображением. В конце концов двадцать лет спустя они обрели покой, найдя свое место в обширной схеме «Идей к философии истории человечества» в части IV (книги XVI, раздела IV), озаглавленной «Славянские народы». Для Гиббона славяне как персонажи древней истории были немногим лучше бобров, а может быть, в чем-то и хуже. У Гердера славяне вызывали увлечение и восторг, а их особенности и характер можно было постигнуть с помощью новых наук — этнографии и фольклористики.

Сильнейшее влияние на путевой журнал 1769 года оказала сама Балтика, и начинался он размышлениями о Севере, как он представлял его воображению со стороны моря: «Холодный Север кажется здесь колыбелью морских чудовищ, вроде варваров, людей-великанов и опустошителей мира». У Гердера, чей интеллектуальный компас указывал в этот момент на север, в одном ряду стоят понятия, взятые из древней истории и из мифов о чудовищах. Однако как только он пускается в древнюю историю глубже, его ориентация в географическом пространстве немедленно нарушается: «Были ли *Vagina hominum* Север или Юг, Восток или Запад?» В ответ Гердер предлагает метафору, навеянную мореплаванием, — идею двух «потоков» первобытного распространения культуры. Один из них шел с Востока в Грецию и Италию, неся с собой «музыку, искусство, науки и мораль». Другой шел «через Север из Азии в Европу» (то есть по тому же пути, которым следовал сам Гердер, плывущий из Риги в Нант), создавая беспорядочную картину неравномерного развития⁵². Он думал о Риге, которую покинул и куда надеялся когда-нибудь вернуться, чтобы создать там национальную школу и «превратить естественного в своей дикости Эмиля, как его описал Руссо, в дитя ливонского народа». Дикость Эмиля была ему дорога как признак естественности, но для Ливонии он приготавливал именно программу цивилизации:

Сегодня все нужно соотносить с политикой; это необходимо и мне с моими планами! Моя школа будет бороться с роскошью и за улучшение нравов! Она должна будет приблизить наш язык и образование к вкусам и утонченности нашего века, не дать оставаться позади. Следовать примеру (*nachzueifern*) Германии, Франции и

Англии! Нести честь и образованность знати! Стать надеждой Польши, России и Курляндии!⁵³

Слова о следовании примеру, улучшении нравов и отставании ясно показывают, что для автора существовала шкала относительного развития. Географический центр будущего развития Гердер помещал в Риге, которая представлялась ему пограничным пунктом между Германией, Францией и Англией, с одной стороны, и Польшей, Россией и Курляндией — с другой, то есть он призывал следовать примеру Западной Европы, тем самым признавая ее превосходство; одновременно эта школа должна была стать маяком надежды для Восточной Европы. Пока его корабль плыл на запад, оставляя Восточную Европу позади с географической точки зрения, Гердер твердо решил, что в культурном отношении она «оставаться позади» не должна.

«Я проплывал мимо Курляндии, Пруссии, Дании, Швеции, Норвегии, Ютландии, Голландии, Шотландии, Англии, Нидерландов, направляясь во Францию», — писал Гердер, обозначая на карте свой балтийский маршрут. «И вот некоторые мои морские мечты (*Seetraüme*) политического свойства». Мечты, содержание которых он далее излагает, были плодом его размышлений о будущем, ибо как раз в этот момент Гердер достиг северо-западной оконечности Европы и, оглянувшись, внезапно увидел самую живописную картину Восточной Европы из всех, созданных в XVIII веке:

Какой вид откроется с северо-запада на эти области, когда однажды их посетит дух цивилизации (*Kultur*)! Украина станет новой Грецией: прекрасное небо, под которым живет этот народ, его веселая жизнь; его музыкальность; его плодородная почва и так далее, проснутся однажды: из множества мелких диких народностей, которыми когда-то были и греки, родится утонченная (*gesittete*) нация: ее границы раздвинутся до Черного моря и далее по всему миру. Венгрия, эти новые народы, а также области Польши и России составят новую цивилизацию (*Kultur*); с северо-запада этот дух распространится по Европе, которая объята сном, и сделает ее полезной (*dienstbar*). Все это лежит впереди и должно однажды совершиться; но как? когда? кем?⁵⁴

Таковы были масштабы морских мечтаний Гердера; он смотрел с Балтики, и взгляд его простирался до самого Черного моря, охватывая всю Восточную Европу. Увлечшись ас-

социациями, он использовал для создания образа Восточной Европы «множество мелких диких народностей», а также Украину, Венгрию, Польшу и Россию. В своем воображении Гердер объединил все эти части общим немецким понятием *Kultur*. Украина, которая, по мнению Гиббона, еще оставалась «в естественном состоянии» и была соблазнительной добычей для завоевателя, для Гердера — центр этой новой цивилизации; ее народ «весел» и «музыкален», ему недостает лишь «утонченности». Он говорил о наступлении новой эры, предрекая будущее Восточной Европы на тысячу лет вперед. Однако при всем его энтузиазме, агентом цивилизации был для него дух Северо-Запада или, скорее, Западо-Севера, глядевший на Восточную Европу глазами самого Гердера, стремящегося сделать ее «полезной».

Наконец, почти в самом конце своего путешествия во Францию, Гердер обращается к особому случаю — Российской империи, подданным которой он был на протяжении пяти лет. Подобно другим философам-просветителям, он размышляет, принесут ли законодательные планы Екатерины «истинную цивилизацию» в Россию. «В чем состоит истинная цивилизация?» — спрашивает он и отвечает: «Не только в даровании законов, но и в воспитании нравов». Сделав эту традиционную оговорку, Гердер задумывается, какие именно законы подойдут для России, отвергая проекты «законодательных умов» (*gesetzgeberische Köpfe*) Англии, Франции или Германии, а также пример Древней Греции и Рима. Законы для России должны быть вдохновлены Востоком, и лишь тогда они будут соответствовать «характеру, многочисленности и разнице в уровнях (*Stufe*) ее народов». Подчеркивая разницу «уровней», на которых находятся народы России, Гердер подходит к созданию для Восточной Европы самой, быть может, изощренной шкалы относительного развития, существовавшей в его столетии. Россия в целом и находилась на низком уровне развития, но и внутри нее Гердер выделял «развитые, частично развитые и дикие области». Эти степени развития ложились в основу географической схемы: «Дикие народы на границах империи; полудицилизованные внутри самой страны и цивилизованные на морском побережье. Использование (*Gebrauch*) Украины. Смотри вышеизложенный план»⁵⁵. Загадочные слова об «использовании Украины» выставляли и эти его цивилизацион-

ные предсказания в несколько ином свете. Упомянутый «план» предполагал использовать Украину, ее «музыкальность», а главным образом — ее «плодородную землю», сделать ее сельскохозяйственно «полезной», поставить на службу своим политическим замыслам, отчего разные части России достигнут общего уровня развитости.

Согласно Гердеру, «законодательные умы» стран Западной Европы не могли помочь России; мало того, взявшись за подобную задачу, эти страны поставили бы под угрозу собственную цивилизацию: «Один из величайших торговых народов, например английский, взбудоражит другой, дикий народ и тем самым разрушит и самого себя — и этим диким народом может оказаться Россия!» Взбудоражив Россию, можно было спровоцировать «людское наводнение». Гердер указывал на закат и падение Римской империи: «С Римом и варварами было нечто подобное: там, как говорят в простонародье, долго бурлило (*munkelte*), а в наше время будет бурлить еще дольше, но затем взорвется еще внезапно»⁵⁶. Гердер перенес историю падения Рима в современность, точнее, превратил ее в предсказание будущего; при этом изменились ее географические координаты, и теперь Западная Европа ожидала вторжения варваров, а Восточная Европа была источником этого людского потока.

По своей пророческой загадочности высказывание Гердера может сравниться в XVIII столетии лишь со словами Руссо, предсказавшего в «Общественном договоре», что татары покорят Россию, став «ее — и нашими повелителями». Подобно Руссо, Гердер с некоторым сомнением относился к цивилизации, а потому был, видимо, готов поверить, что ее могут победить варвары, мелкие дикие народности, новая цивилизация. Гердер считал, что слава французской культуры осталась в прошлом: «Век Людовика миновал; а значит, и век Монтескье, д'Аламбера, Вольтера, Руссо: нам остались лишь обломки». Наивысшим доказательством литературного застоя для Гердера была «Энциклопедия» Дидро, показывавшая, что французы неспособны более к оригинальному творчеству⁵⁷. Однако путь его лежал именно во Францию, и прежде чем закончить свой путевой журнал, он бросает прощальный взгляд на Россию, стараясь разглядеть ее будущее.

«Великая императрица!» — восклицает он, обращаясь к ней напрямую, подобно многим другим философам; вслед за ними,

он без колебаний заявляет ей, что все ее усилия по кодификации законодательства просто неверны (*unrecht*). Она не смогла понять сущность и последствия деспотического правления в России. «Великая императрица!» — восклицает он вновь и вопрошает: «Где же теперь Монтескье?!», найдется ли сегодня «второй Монтескье»? В своей работе о Гердере и России Конрад Биттнер утверждает, что этим вторым Монтескье, который сумеет создать законы, соответствующие российскому духу, Гердер считал себя самого⁵⁸. Действительно, в 1760-е годы, наверное, едва ли не каждый философ, от почтенного Вольтера в Ферне до юного Гердера в Риге, воображал себя собеседником и советником Екатерины. Казанова обсуждал с ней в 1765 году в Петербурге реформу календаря; в 1767-м Лемерсье приехал с намерением реформировать все остальное. В 1765 году Гердер написал хвалебную оду Екатерине и в 1767 году получил приглашение оставить преподавание в Риге и стать школьным инспектором в Петербурге⁵⁹. Была, конечно, огромная разница между приглашением в Россию такой всемирной знаменитости, как Руссо в 1766 году, и приглашением молодого, подающего надежды учителя. Как бы там ни было, Гердер предложение отклонил и пробыл в Риге до 1769 года, когда он окончательно покинул Российскую империю. Эта упущенная в 1767 году возможность наводит, однако, на мысль, что Гердер, как и многие другие философы, предпочел, чтобы его восторженный интерес к России оставался платоническим. Действительно, наибольшего накала он достиг, когда сам Гердер уже был на пути во Францию.

В 1769 году Гердер писал из Нанта в Ригу, чтобы заказать книги о России, в частности немецкое издание «Петра Великого» Вольтера, и чтобы узнать об успехах Екатерины в деле кодификации законодательства⁶⁰. Интересы его, однако, смещались от политической жизни России к славянской этнографии и фольклору. Много лет спустя, в 1802 году, за год до смерти, он на какое-то мгновение вернулся к российским фантазиям предыдущего поколения. В выражениях, поразительно напоминающих письма Вольтера и беседы Дидро, Гердер сожалеет, что Петр выбрал местом для своей новой столицы Санкт-Петербург, а не Азов. «Ведь облик России был бы совсем другим!» — вздыхает он. Российская столица в Азове пользовалась бы всеми преимуществами «прекрасного клима-

та, удачно располагаясь в устье Дона, в самом центре империи, так что монарх мог бы располагать своими европейскими и азиатскими провинциями как правой и левой рукой». Всем этим Петр пожертвовал ради возможности через Санкт-Петербург «включиться в мелкую торговлю маленькой Западной Европы (*des kleinen westlichen Europa*)»⁶¹. В этом изложении Западная Европа выглядит чем-то мелким и незначительным, потому что для Гердера она стала понятием относительным и с политической, и с философской точки зрения.

«РАЗБУЖЕННАЯ ПОСЛЕ ДОЛГОГО ТЯЖЕЛОГО СНА»

В 1770-е годы в научные интересы Гердера входили проблемы и языка, и древней истории. В 1772 году он написал «Опыт о происхождении языка», а в середине того же десятилетия — сочинение под названием «Древнейший документ человеческого рода». Его интерес к происхождению и всякой древности вообще развивался в контексте нарастающего увлечения фольклором, отмеченного в 1778 и 1779 годах выходом в свет его сборников народных песен. Гердер был отцом-основателем этой дисциплины, и значение его работ не ограничивается восточноевропейским фольклором. Однако именно после работ Гердера и вплоть до нашего времени народы Восточной Европы особенно привлекают фольклористов. В работе 1777 года Гердер рассматривает народные песни как своего рода ключ к созданию «карты человечества», новой фольклорной географии, особенно подчеркивающей тему отсталости:

Все неразвитые народы поют и торгуют; они поют о том, чем торгуют, и о своих торговых сделках. Эти песни — архив народа (*das Archiv des Volks*), сокровищница их науки и религии, их теогонии и космогонии, деяний их предков и событий их истории⁶².

Фольклор для Гердера был той точкой, в которой подобные народы переходят из неразвитого прошлого в этнографическое настоящее; архив каждого народа — его этнографический паспорт. Что же это за народы? Гердер обозначает сферу интересов фольклористики: «В самой Европе есть ряд народностей, не использованных, не описанных с этой точки зрения. Эсты и летты, венецы и славяне, поляки и русские, фри-

зы и пруссы»⁶³. Очевидно, что большая часть той работы (то есть использования и описания), к которой Гердер призывает своих современников, приходилась на Восточную Европу. Тем не менее сам список выглядел довольно любопытно: национальные и региональные, древние и современные этнографические обозначения в нем были смешаны. Для Гердера славяне еще не включали автоматически поляков и русских. В рамках гердеровского подхода к фольклору менялись сами категории анализа.

Свой первый сборник народных песен Гердер издал в 1778 году, в год смерти Руссо. Несомненно, что, предлагая в 1769 году объявить Эмиля сыном ливонского народа, Гердер отдавал тем самым дань уважения Руссо; в их концепциях национальной культуры и национальной самобытности немало общего. В своих «Соображениях» Руссо предлагал Польше создать национальные институты, дабы «воспитать дух, характер, вкусы и нравы» поляков. Он требовал сохранения «древних традиций» и даже «введения некоторых новых, подходящих для поляков», дабы они могли объединиться в сознании своей национальной самобытности⁶⁴. Интерес Руссо к древним обычаям вполне согласовывался с фольклорными увлечениями Гердера, но предложение ввести новые традиции (то есть, иначе говоря, традиции нетрадиционные) лишь подчеркивает цель, которую Руссо видел в том, чтобы воспитать ощущение национальной общности. Для Гердера самобытность народа заключалась в его фольклоре, его древних традициях, его историческом архиве, через который ее можно определять и изучать. Этнографический же подход Гердера направлен не на воспитание самобытности народов, а на то, чтобы распознать их и нанести на «карту человечества». Руссо хотел, чтобы название «Польша» стало неизгладимым национальным символом, надежно запечатленным в сердцах поляков; Гердер удалил поляков из своей научной схемы незадолго перед тем, как сама Польша была стерта с карты Европы. Делая акцент на языке, древней истории, этнографии и фольклоре, он открыл такой методологический угол зрения, под которым Польша растворялась в общей массе славян. Мастерское владение «архивами» позволяло Гердеру произвольно выбирать аналитические категории.

В 1776 году Гердер обосновался в Веймаре, превращавшемся в одну из культурных столиц Западной Европы. Именно в Веймаре в 1780-х годах были созданы «Идеи к философии истории человечества»; первая часть вышла в 1784 году, четвертая — в 1791-м. Последние тома Гиббона вышли в 1788 году, так что два эпических труда создавались в одно и то же время. Кроме того, они во многом посвящены одному и тому же предмету. Рассмотрев в первых двух частях такие материи, как земля, природа человека, разновидности рода человеческого, происхождение языка, науки, искусства и религии, в третьей части Гердер обратился к древней истории, в особенности к грекам и римлянам. В начале четвертой части речь идет о варварах в древней истории, о «северных народах древнего мира». Это были «варварские и бездомные народы», «остатки» которых можно и сейчас обнаружить в горах или недоступных местностях, «где и сейчас их древний язык и некоторые сохранившиеся старинные обычаи едва ли не напоминают об их корнях». Предприимчивому этнографу редко представлялись такие возможности, но следы более общего характера исследователь культуры мог наблюдать и у себя дома, скажем — в Веймаре. Дело в том, что, куда бы они ни двигались, северные варвары «несли с собой вандало-готско-скифско-татарский образ жизни, отпечатки (*Merkmale*) которого во многом еще видны в Европе»⁶⁵. Поиски скифских отпечатков и татарских следов в XVIII столетии были, конечно, неотделимы от изучения древней истории Восточной Европы.

В следующих разделах Гердер рассматривает, во-первых, басков, гэлов (*Gaels*) и кимвров; во-вторых, финнов, леттов и пруссов; в-третьих, германские народности; в-четвертых, славян. Венгры упоминались рядом с финнами, однако Гердер предсказывает, что из-за смешения и взаимопроникновения с другими языками венгерский вскоре окажется на грани исчезновения. В результате такого пророчества Восточная Европа оставалась регионом почти исключительно славянским, географические границы которого Гердер обозначил следующим образом: «от Дона до Эльбы, от Балтики до Адриатики». Описание региона через его реки вело к постепенному растворению его национальных границ, что позволяло Вольтеру в XVIII веке говорить о всеохватной Российской империи, а Чер-

чиллю в XX веке — о монолитном Советском блоке. В представлении Гердера такое разрушение границ вело к возникновению этнически единообразного региона, «чудовищного пространства, которое еще и в наши дни заселяет в Европе по большей части одна-единственная нация»⁶⁶. Когда же Гердер обращается к вопросам этнографии, разделение между древней и новой историей исчезает.

«Они любили земледелие», — пишет Гердер о славянах, изображая их в окружении «стад» и «хлебов», но признавая в то же время и торговый элемент их экономической жизни, предопределенной географическим положением. Хотя формально Гердер относит славян к северным варварам, его география недвусмысленно помещает их в Восточной Европе, между Европой и Азией: «На Днепре они построили Киев, на Волхове — Новгород, и оба эти города вскоре стали цветущими торговыми городами, соединявшими Черное море с Восточным и переправлявшими товары Востока (*Morgenwelt*) в Северную и Западную Европу». Живя в Германии, славяне участвовали в ее хозяйственной жизни, работая на рудниках, обрабатывая металл, «сажали плодовые деревья и, как того требовал их характер, вели веселую, музыкальную жизнь». Гердер превозносил «музыкальность» славян еще за двадцать лет до того, в своем путевом журнале 1769 года; теперь он сам слагает гимны-фантазии, воспевая в них славянские народы. «Они были милосердны, — утверждает Гердер, — гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу, но были послушны и покорны, не жалуя разбоя и грабежей». Естественно, их порабощали и угнетали, особенно германцы, так что «остатки славян в Германии напоминают теперь то, что сделали испанцы с обитателями Перу»⁶⁷. В представлении Гердера славяне оказывались мирным и свободолюбивым народом, народом-жертвой; напротив того, у Гиббона в книге, вышедшей тремя годами ранее, они вооружены отравленными стрелами и сажают своих пленников на кол, избивают их дубинами, сжигают их и сдирают с них заживо кожу.

Древняя история славян предоставляла обширное поле для творческой фантазии XVIII века. Воображение Гердера несло его через века от древности к настоящему и дальше в будущее, провозглашая очередное удивительное пророчество:

Но колесо переменчивого времени вращается неуклонно, и поскольку славянские нации по большей части населяют самые прекрасные земли Европы, то когда все эти земли будут возделаны (а иного и представить себе нельзя, потому что законодательство и политика Европы со временем будут все больше поддерживать спокойное трудолюбие и мирные отношения между народами, и даже не смогут поступать иначе), то и вы тоже, столь глубоко павшие, некогда столь трудолюбивые и счастливые, пробудитесь однажды после долгого тяжелого сна, сбросите с себя цепи рабства, станете возделывать принадлежащие вам прекрасные области — от Адриатического моря до Карпат, от Дона до Влтавы — и отпразднуете на них свои древние торжества спокойного трудолюбия и торговли⁶⁸.

Одна из необычных особенностей этого пророчества — в переходе на множественное число второго лица, от антропологического анализа к прямому обращению, так что Гердер пророчествует перед самими славянами. Этот грамматический сдвиг происходит так резко и неожиданно, что переводчики иногда оставляли его без внимания и передавали *вы* как *они*⁶⁹. Вольтер писал письмо Екатерине, Руссо обращался к своим «храбрым полякам», Гердер же использовал обе модели, сначала в своих записках 1769 года, взывая к «великой императрице», а потом, в 1791 году, в четвертой части «Идей», объявляя свои пророчества всем славянским народам. Жанр просветительского обращения доведен до своей крайней степени, охватывая одним махом, в одном *вы*, всю Восточную Европу от Адриатики до Карпат, от петровской крепости на берегах Дона до пражских шпилей на Влтаве. Если в путевом журнале он представлял себя вторым Монтескье, то теперь он видел себя вторым Руссо, призывающим славян к пробуждению и освобождению, возвращающим им их древние празднества.

В 1769 году Гердер предвидел большие перемены в Восточной Европе, уже не опасные для западноевропейской цивилизации. Славяне, полагал он, вернутся к своим старинным обычаям и мирному прошлому, так что их древняя история, сохранившаяся в фольклоре и открывшаяся благодаря этнографии, суждена им и в будущем. В заключении раздела, посвященного славянским народам, Гердер поручает их заботам, таким как он сам:

Поскольку в разных странах созданы полезные, превосходные труды по истории славянского народа, то остается пожелать, чтобы их пробелы были восполнены из других источников, чтобы исчеза-

ющие остатки славянских обычаев, песен и сказаний были собраны и чтобы, наконец, была создана «целостная картина этого племени» (*Völkerstamm*), чего настоятельно требует общая картина человечества⁷⁰.

Гердер только что пророчил славянам чудесное будущее, основанное на их древнем укладе, но теперь, когда он настаивал на этнографическом изучении этого уклада, явно подразумевалось его неминуемое вымирание. Взаимоисключающие альтернативы (вымирание и возрождение) смешиваются, разница между ними размывается во всепоглощающем научном стремлении поместить славян на «карте человечества» в сознании Просвещения.

В своих «общих размышлениях» Гердер предлагал читателям осознать свое собственное географическое положение: «Взгляните направо, на восток, и вы увидите чудовищные вершины, называемые Азиатской Татарией». Немецким читателям предлагалось бросить взгляд направо, по ту сторону Восточной Европы, совершить воображаемый скачок и увидеть из Веймара вершины Татарии. Далее Гердер предлагает представить географию Азии и Северной Европы как «снижающуюся под уклон равнину», от «татарских вершин на запад» и вниз к морю. Такой почти геометрический образ объяснял давление азиатских «орд» на Европу, которая в известном смысле становилась просто продолжением Татарии. Как неизбежное следствие, «между Южной Азией и Восточной Европой, между азиатским и европейским Севером образовалось некое сообщество народов, в которое вошли и некоторые крайне неразвитые племена»⁷¹. Сохраняя верность прежней идее двух потоков, которые здесь предстают в виде наклонной плоскости, Гердер подчеркивает двойственность срединного положения Восточной Европы, указывая на то, что сразу за ее пределами живут «неразвитые племена», устремляющиеся вниз по равнинам. Восточная Европа оказывается областью исключительного этнографического напряжения.

В наброске пятой части «Идей» Гердер планировал перейти к новой истории. Он так и не написал эту пятую часть, и созданный им труд остался работой по антропологии и древней истории. В плане ненаписанного продолжения Гердер наметил раздел «Север и Восток», посвященный Дании, Швеции, Польше и Венгрии, оставив Россию для следующего разде-

ла, посвященного Африке, а также Ост- и Вест-Индиям⁷². Переход к новой истории принудил бы его разделить славянские народы на отдельные государства, как это описано выше. НЕ написав пятой части, Гердер сохранил свой образ антропологической, этнографической, фольклорной общности, восходящей корнями к варварам древности.

Чтобы оценить значение и оригинальность этой концепции, можно, к примеру, вспомнить о том, что Кант в своей «Антропологии» 1798 года отказывается говорить о Восточной Европе. Для Канта, у которого Гердер учился в Кенигсберге, позднее став его философским оппонентом, Восточная Европа как целое была составлена из ее современных частей:

Поскольку Россия до сих пор толком не осознала своих природных возможностей, которые готовы к использованию и будут востребованы, а Польши более нет, а жители европейской Турции никогда не могли и не смогут приобрести определенный национальный характер, вполне уместно опустить здесь их описание⁷³.

Цель Канта в этом отрывке — исключить из рассмотрения всю Восточную Европу, но для этого ему потребовалось исключить из рассмотрения каждую из трех ее частей по отдельности — Россию, Польшу («которой более нет») и европейскую Турцию.

Гегель проделывает ту же операцию в «Лекциях по философии истории», основанных на берлинских лекциях 1820 года; однако, подобно Гердеру, он говорит о концептуальной общности славян. Они упоминаются в его лекции о варварах древности: «Сейчас на Востоке Европы (*im Osten von Europa*) мы видим и великую славянскую нацию». Тождество Восточной Европы и славян было уже аксиомой, хотя Гегель и упоминает о существовании мадьяр, болгар, сербов и албанцев — «потомков варваров», имеющих «азиатское происхождение». Он признает, что народы Восточной Европы сыграли свою роль посредников в «борьбе между христианской Европой и нехристианской Азией». Вообще, он допускал, что «часть славян подчинилась (*erobert*) западному разуму», однако в целом его вердикт был отрицательным:

Тем не менее мы оставим эту огромную массу вне нашего внимания, так как она до сих пор не выступила как самостоятельная

сила среди множества форм разума. Нас здесь не заботит, случится ли это в будущем, так как в истории мы имеем дело с прошлым⁷⁴.

Отказываясь размышлять о будущем славян, Гегель имел в виду Гердера и его пророчество. Расхождения между Гегелем и Гердером, разделенными одним поколением, поразительны. Хотя Гегель полностью принимает научную классификацию славян, созданную Гердером, его нисколько не интересуют призывы последнего к изучению их песен и саг. С другой стороны, отношение Гердера к славянам как прежде всего объекту фольклорных исследований помогло утвердить философскую традицию, которая и позволила Гегелю исключить их из исторического рассмотрения.

«НРАВЫ МОРЛАХОВ»

Пейсоннель заявлял, что обнаружил в Причерноморье «следы» скифских племен, то есть гуннов, аваров и болгар. Гердер считал, что в Европе можно обнаружить варварские «осколки», сохранившие их древние обычаи. В 1770 году в Восточную Европу из Венеции отправилась международная научная экспедиция с целью изучения Далмации, Адриатического побережья современной Югославии. Одной из ее исследовательских задач было антропологическое изучение морлахов (*Morlachs* или *Morlacchi*), народа, считавшегося реликтом древнего варварства в Европе XVIII века. Терминами «морлахи» и «влахи», иногда взаимозаменяемыми, обозначали один и тот же народ, разбросанный по Юго-Восточной Европе; его происхождение и этническая принадлежность были неясны и осложнялись разнообразными славянскими и романскими родственными связями. В XVIII веке морлахи Далмации приобрели особенную таинственность, как совершенные варвары, расположенные при этом совсем близко от Западной Европы, и экспедиция 1770 года принесла им широкую известность в последующее десятилетие. Аббат Альберто Фортис, просвещенный итальянский священник и ученый, принимал участие в этой экспедиции и в 1774 году в Венеции опубликовал отчет под названием «Путешествия в Далмацию. Касательно общих наблюдений над естественной историей этой страны и соседствующих островов; природные плоды, ремесла, нравы и обычаи жителей». Этими

жителями и были морлахи, и именно их описание принесло успех книге Фортиса, быстро переведенной с итальянского на английский, французский и немецкий языки. Книга посвящалась лорду Бьюту, бывшему премьер-министру Англии и патрону экспедиции. Очерчивая культурную географию своих путешествий, Фортис писал: «Именно ученая любознательность и щедрость Вашей Светлости, столь известные в образованной части Европы, впервые подтолкнули меня к путешествию через Адриатику»⁷⁵. «Образованные части Европы» по умолчанию включали и Италию Фортиса, и Англию Бьюта; Адриатика же обозначала границу, отделяющую их от менее развитых, менее образованных частей. По ту сторону этой границы Фортис обнаружил морлахов.

Мишель Дюше в своей «Антропологии и истории в век Просвещения» исследовал основы современной этнографии, заложенные в XVIII столетии. Джузеппе Кочьяра в «Истории фольклористики в Европе» убедительно показывает большую роль XVIII века, и в особенности Гердера, для формирования современной этнографии⁷⁶. И этнография, и фольклористика стали самостоятельными научными дисциплинами лишь в XIX веке, однако в XVIII столетии они обе, возможно именно благодаря некоторой научной недооформленности, сыграли важную роль в складывании концепции Восточной Европы. Вольтер, переосмыслив историю как историю нравов и обычаев, историю *moeurs*, наметил путь от истории к этнографии. В своем историческом «Опыте о нравах» он представлял Европу — «от Петербурга до Мадрида» — как единое целое сквозь новейшую историю, как объемлющую все «более населенное, более цивилизованное, богатое, более просвещенное». Одновременно он использовал нравы (*moeurs*), как индикатор, позволяющий отличить «нашу часть Европы» от областей вроде Фракии и Татарии⁷⁷.

Внимание просветителей к европейским нравам лишь усиливало их интерес к другим континентам. Давид Спадафора в «Идее прогресса» подчеркивает значение шотландского Просвещения, — включая такие фигуры, как Адам Фергюсон, Джон Миллар, лорд Кэймс, а также Дэвид Юм и Адам Смит, — в изучении «прогресса человеческой культуры» и выделения стадий общественного развития, от варварства к цивилизации. П. Дж. Маршалл и Глиндур Вильямс в «Великой карте чело-

вечества» исследуют эволюцию в XVIII веке английских взглядов на Азию, Америку, Африку и Тихоокеанский регион. Выражение «карта человечества» («*Die Karte der Menschheit*») использовал Гердер в статье 1777 года, а Маршалл и Вильямс заимствовали название своей книги и эпиграф к ней у Эдмунда Бёрка, писавшего в тот же год, когда создал свою работу Гердер:

Перед нами разом развертывается Великая Карта Человечества; и нет ни одной степени или категории варварства, ни одного вида утонченности, которые не оказались бы сразу перед нашим взором. Столь различные цивилизации Европы и Китая; варварство Татари и Арабии. Дикость Северной Америки и Новой Зеландии⁷⁸.

Таким образом, Бёрк подчеркивает, что кругозор и знания расширялись в его столетии, охватив в результате весь земной шар: когда впоследствии он решил вывести Польшу из сферы английских интересов, ему пришлось поместить ее на Луне. Этнографические представления о Восточной Европе развивались в контексте общего стремления века Просвещения создать карту цивилизации и варварства. Случай Восточной Европы был особым, так как она была частью Европы (не самой культурной частью, конечно), и варварские морлахи находились не в Новой Зеландии, даже не в Татарии, а прямо по другую сторону Адриатического моря.

Фортис родился в Падуе в 1741 году (тремя годами ранее Гердера) и в молодом возрасте стал священником. Затем, однако, он предпочел теологии геологию и в конце концов основал в 1768 году в Венеции просвещенческий журнал «*Europa Letteraria*». Он унаследовал классическое итальянское видение Европы, ориентированной с юга на север. Для него, без особого почтения относившегося к сану священника, Рим был «столицей мира», но «печальной столицей»; в своем журнале он призывал итальянцев не презирать «обитателей севера», которые вскоре могут узнать достаточно, чтобы, в свою очередь, «презирать нас». Экспедиция в Далмацию в 1770 году должна была объединить Север и Юг, англичан и итальянцев, создав единую западную точку зрения, с ее научным подходом и ощущением культурного превосходства, направленными на восток. Пока такая возможность не представилась, Фортис излагал свои взгляды в геологической поэме «О катаклизмах,

переживаемых нашей планетой» и в довольно грубой антиклерикальной сатире «Послание священника, живущего в горах, о крещении недоносков», написанных в 1769 году. В следующем году Фортис отправился из Венеции в Далмацию⁷⁹.

Для Вольтера в его «Опыте о нравах» Далмация ассоциировалась с наиболее отдаленными землями Восточной Европы: «часть Далмации, север Польши, берега Дона и плодородная Украина» воспринимались как возможные колонии, где люди «искали землю на пространствах нового мира и на границах старого». Для Фортиса, чей труд о морлах также написан в жанре трактата о нравах, Далмация точно так же связана с Восточной Европой.

Я увидел обычаи, поэзию, музыку, одежды и жилища столь же татарские, как и в Сибири. С точки зрения естественной истории, а также для путешественников, которых мы называем культурными, это поистине земля золота. Помимо этих преимуществ, я вывез с собой умение лепетать довольно сносно по-славянски⁸⁰.

Подобно Гердеру, Фортис даже из Далмации видел горы Татари, нависавшие над Восточной Европой, в данном случае — оказывая неопределенное этнографическое и фольклорное воздействие на поэзию, музыку и одежды, что могли заметить те, «кого мы называем культурными». Он даже предполагал, что «последнее нашествие татар» в век Чингисхана оставило в Далмации татар и калмыков, между которыми «еще заметны различия». Однако более точно место морлахов в контексте Восточной Европы определял лингвистический ключ, их славянский язык. Язык мог прояснить и их древнюю историю, хотя происхождение морлахов «терялось во мраке веков варварства наряду со многими другими народами, столь схожими с ними обычаями и языком, что их можно принять за один народ, рассеянный на просторах от побережья нашего моря до покрытого льдами океана». Таким образом, Восточная Европа была этнографически единой от Адриатического моря до Ледовитого океана, заселенная в давние времена путем «переселения различных племен славов, которые под именами скифов, гетов, готов, гуннов, словен, хорватов, аваров и вандалов наводнили римские провинции». Установив протяженность этого восточноевропейского единства от Ледовитого океана до Адриатического моря, Фортис счел ее вторым измерением

расстояние от Адриатического моря до Черного. Он перечисляет как раз те самые варварские народы, остатки которых Пейсоннель обнаружил у Черного моря, и думает о том, не могли ли морлахи также прийти из этого региона. Предположение это он подкреплял этимологическим анализом, читая «морлахи» как «мор влахи», то есть «черные влахи», пришедшие с Черного моря. Он, впрочем, подчеркивает, что морлахи не принадлежат к черной расе, а являются «белыми, как итальянцы»⁸¹. Сама необходимость подобной оговорки указывает, что его читатели могли подумать иначе.

Описание морлахов у Фортиса открывается введением, озаглавленным «Нравы морлахов», и обращается он прямо к читателям, предполагая, что им знакомы мрачные легенды об этом народе.

Вы, конечно, часто слышали о морлахах, что это порода людей свирепых, безрассудных, бесчеловечных и способных на любое преступление. Обитатели морского побережья Далмации рассказывают множество страшных историй о жестокости этих людей, о том, что, движимые жадой грабежа, они совершают самые ужасные зверства с помощью огня и меча⁸².

Такая осведомленность должна казаться странной человеку, читающему Фортиса в XX веке, когда едва ли кому-то вообще доводилось слышать о морлахах. Даже в 1770 году, когда Фортис отправился в Далмацию, распространение этих легенд, вероятно, было ограничено берегами Адриатики; предположение, что имя морлахов должно вселять ужас в сердца читателей, могло иметь некоторую вероятность лишь в контексте оригинального итальянского издания, опубликованного в Венеции. Международный интерес к морлахам должно было привлечь как раз исследование Фортиса. Их последующее падение с вершин славы к полной безвестности показывает, что Восточная Европа в век Просвещения обладала особым даром подчинять себе воображение Европы Западной, особенно когда речь шла о варварстве, обнаруженном столь близко от собственного дома.

В своих общих чертах легенда о морлахах, знание которой Фортис предполагал у своих читателей, обнаруживает примечательное сходство с еще не опубликованным, крайне нелестным описанием древней истории славян у Эдварда Гиб-

бона: он писал о людях, которые «безнаказанно грабили города Иллирии и Фракии», убивая своих врагов с «разнузданной и преднамеренной жестокостью». Сходство между этими повествованиями заставляет задуматься о причудливом переплетении древней истории и современной этнографии, пронизавшем просвещенческие представления о варварах Восточной Европы. Сам Фортис обещает рассеять предрассудки против морлахов, которые могли возникнуть у его читателей: «На мне лежит обязательство описать то, что я лично видел касательно их обычаев, наклонностей, и таким образом отчасти оправдать эту нацию»⁸³. По своему жанру оправдание это — вполне современное исследование в области культурной антропологии, задуманное как обзор семейных добродетелей, дружбы и ссор, талантов и искусств, суеверий и нравов, брака и рождения детей, пищи и одежды, музыки, танцев и, наконец, похорон. Хотя описание это и несло в себе все черты культурной антропологии, сам Фортис не употреблял этого термина, бывшего в конце XVIII века неологизмом и только входившего в употребление. В своем первоначальном, теологическом значении этот термин означал приписывание божеству человеческих качеств; однако в 1788 году Александр-Сезар Шаванн в труде, озаглавленном «Антропология, или Общая наука о человеке», придал ему современное значение⁸⁴. XVIII столетие все больше интересовалось дикими народами и «картой человечества», и название пришлось очень кстати для уже формирующейся отрасли знаний.

Рассуждая о «морали и семейных добродетелях» морлаха, Фортис допускал, что они «отличаются от наших», но, в руссоистском духе, он отдает им первенство в «искренности, верности и честности», чем бессовестно злоупотребляют итальянские торговцы. Как живший среди них чужестранец, Фортис на опыте убедился, что морлахи «гостеприимны и щедры от природы». Перед тем как покинуть одного из хозяев, Фортис набросал его портрет, чтобы взять на память, «так что, несмотря на пролегающие между нами горы и море, я смогу с удовольствием лицезреть его, хотя бы в виде изображения» — но и в качестве этнографического свидетельства, которое должно войти в его книгу. Опять же в духе Руссо, Фортис провозгласил, что «дружба, которую среди нас так легко предают по малейшему поводу, продолжительна среди морлахов» и даже скрепля-

ется прочными и священными узами «склавонского ритуала». По-видимому, он готов согласиться со «старыми морлахами, которые приписывают распушенность своих соотечественников общению с итальянцами». Более того, он полагает, что «вино и крепкие напитки, которыми, по нашему примеру, этот народ начинает ежедневно злоупотреблять, приведут, несомненно, к тем же пагубным последствиям, что и у нас». Цивилизация «культурной Европы», «цивилизованных областей» несет, таким образом, моральное разложение и распушенность, пагубно влияя на высокую от природы нравственность восхитительных в своей простоте народов. Фортис допускал, впрочем, что обычай кровной мести у морлахов является ужасным и варварским, уверяя при этом, что, по слухам, в Албании «мстительность приводит к еще большим зверствам»⁸⁵. Если морлахи являли пример варварства, отделенного от Венеции только Адриатическим морем, то Албания, расположенная еще дальше по побережью, обещала картину варварства, совсем уж поразительного.

«Несмотря на свою блестящую способность обучаться любому искусству, — писал Фортис, — морлахи имеют самые несовершенные представления о земледелии и весьма неумелы в разведении скота». Рассуждая об их экономической отсталости, он, однако, был глубоко убежден, что они исключительно способны к обучению, а значит — и к улучшению и развитию. «Они питают исключительное почтение к старинным обычаям, — писал он, — и до сих пор почти ничего не делалось для того, чтобы рассеять их предубеждения или научить их лучшим способам». Здесь Фортис расходится с Руссо, не считая ценными «старинные обычаи» сами по себе. В сущности, Руссо писал о Польше как раз в то самое время, когда Фортис путешествовал по Далмации. «Их плуги и другие сельскохозяйственные орудия имеют самую грубую конструкцию», — замечал Фортис о морлахах; более того, «портновское искусство ограничено древними и неизменными образцами». Предвосхищая вопросы современных фольклористов, Фортис отмечает, что «женщины у морлахов искусны в вышивке и вязании». Что до переработки молока, производства сыров и масла, то их можно признать «вполне сносными, если бы только они совершались в большей чистоте»⁸⁶.

Как человек эпохи Просвещения, Фортис посвящает специальный раздел «суевериям морлахов», описывая их веру в вампиров и ведьм с просвещенной ироничностью:

Женщины, естественно, в сто раз более боязливы и впечатлительны, чем мужчины; некоторые из них часто слышат, как их называют ведьмами, и сами в это верят. Старые ведьмы знают много заклинаний; одно из самых обычных заключается в перенесении молока от чужих коров к своим собственным. Но они могут совершать и более любопытные подвиги; я знаю молодого человека, у которого, пока он спал, две ведьмы вынули сердце, чтобы поджарить его и съесть⁸⁷.

Встречая такую снисходительность, трудно даже представить, что Западная Европа совсем недавно и с большим трудом оправилась от собственной истерии вокруг ведьм, самой длительной в истории, широко распространенной и очень кровавой, причем вера в ведьм процветала на всех социальных и культурных уровнях. Фортису, однако, кажется вполне очевидным, что в Восточной Европе подобные верования совершенно уместны. Интересно, что, по предположению итальянского историка Карло Гинзбурга, фольклорные корни европейской веры в ведьм можно найти в Восточной Европе (особенно в Далмации), куда они были принесены в древности из Скифии и Сибири⁸⁸. Эти «евразийские теории» XX века в большой степени повторяют господствовавшие в век Просвещения представления о Восточной Европе как о землях, маячащих на востоке, в тени татарских верховий и скифских орд.

Благодаря своему антиклерикализму Фортис склонен считать, что предрассудки распространяют сами местные священники. В стране морлахов представлены и католическая, и православная церкви; если у Фортиса и были здесь личные пристрастия, то отразились они лишь в замечании, что в католических церквях меньше грязи. Он сообщал, что священники нередко злоупотребляют «глупой доверчивостью» людей, продавая им, например, «свитки предрассудков». В полном согласии с другими описаниями Восточной Европы в XVIII веке, он уверяет, что священники даже бьют своих прихожан, чтобы «с помощью дубины исправлять тела своей заблудшей паствы»⁸⁹. Как для Тотта в Молдавии и Кокса в России, для Фортиса телесные наказания — отличительная черта Восточной Европы.

Ничуть не колеблясь, Фортис называет морлахов «варварами», хотя и готов допустить ряд оговорок. Алые шапочки, которые девушки носили как «знак девственности», в его описании причудливо украшены монетами, ракушками, бусами, перьями, «всевозможной блестящей мишурой» — «чтобы разнообразными украшениями, а также шумом, возникающим при малейшем движении головы, привлечь к себе и удержать внимание окружающих». Обратив внимание читателей на морлахских девственниц, он допускает, что «в разнообразии этих вычурных и варварских украшений иногда видна не лишенная элегантности мода». Что до волос, «они всегда вплетают в них бляхи, перья, просверленные монеты в татарском или американском стиле». Такие ассоциации — в духе традиционных формул, когда восточноевропейские народы описывали, «вплетая» в одно повествование и татар, и американских индейцев. Подобным образом антропология XVIII века пыталась сформулировать целостное представление о варварстве. Когда морлахские девушки выходили замуж, церемония «проходила под гром мушкетов и пистолетов, под варварские крики и восклицания». Об успешном завершении первой брачной ночи объявляли выстрелом из пистолета. Брачный ритуал, который Фортис нашел «диким и грубым», требовал, чтобы жених побил или толкнул невесту — «или другой подобной галантности»; тем не менее, следуя традиционному представлению своего века о Восточной Европе, итальянец заключает, что «морлахские женщины и, возможно, большая часть жительниц Далмации, исключая горожанок, не имеют ничего против побоев»⁹⁰.

Обычаи морлахов, связанные с рождением детей, «у нас сочли бы совершенно необычайными», замечает Фортис, поскольку женщина «часто разрешается в поле или на дороге, без посторонней помощи» и затем «на следующий день возвращается к своей обычной работе или выпасу своего скота». Подобную физическую выносливость могли затмить лишь акробатические приемы вскармливания: «Громадная длина груди у морлахских женщин почти невероятна; нет никакого сомнения, что они могут дать грудь ребенку поверх плеча или из-под мышки». Фортис на самом деле не утверждал, что сам действительно был очевидцем подобного трюка. Обращаясь к необычным особенностям в облике морлахских мужчин, он

упоминает, что «они бреют свои головы, оставляя только маленький пучок сзади, как у поляков и татар»⁹¹. Нет никаких оснований полагать, что Фортис когда-нибудь бывал в Польше или Татари, и подобные этнографические ассоциации тоже относились к традиционным формулам, на основе которых и происходило конструирование Восточной Европы.

Выход в свет «Путешествий в Далмацию» в 1774 году возбудил в Италии академическую полемику и немедленно вызвал два критических ответа, авторы которых сами происходили из Далмации и полагали, что знают предмет обсуждения лучше, чем Фортис. Пьетро Нутрицио Гризогоно в 1775 году опубликовал во Флоренции «Размышления о нынешнем состоянии Далмации», а Джованни Ловрич написал «Замечания на различные места из “Путешествий в Далмацию” синьора аббата Альберто Фортиса», вышедшие в Венеции в 1776 году. Ловрич был особенно уверен в своем знакомстве с «обычаями морлахов» и оспаривал Фортиса по целому ряду конкретных вопросов. Например, он полностью исключал способность морлахских женщин кормить детей грудью поверх плеча или из-под мышки. Пускаясь в туманные софизмы, Ловрич настаивал, что пучок у морлахских мужчин не такой, как у поляков и татар, а несколько длиннее. Зато он не оспаривал этого научного разграничения морлахов и «цивилизованных, культурных наций», в глазах которых первые выглядели «странными и варварскими»⁹². Фортис решил ответить на критические замечания Ловрича в саркастической «проповеди», опубликованной в Модене в 1777 году.

Помимо общеитальянской академической полемики, в Венеции в связи с публикацией книги Фортиса разгорелся и политический спор. Для Вольтера Далмация ассоциировалась с Польшей и Украиной, а Фортис в поисках ассоциаций заглядывал даже в Сибирь; на самом же деле Далмация управлялась из Венеции, как часть ее адриатической империи. С этой точки зрения обнаруженное Фортисом варварство могли воспринять как намек на административное небрежение, тем более унижительный, что многочисленные переводы разнесли его по всему миру. Фортис не получил желанной профессорской должности в Падуе. Одним из тех, кто выступал против Фортиса в Венеции, был поэт и драматург Карло Гоцци, убежденный консерватор и враг Просвещения. Он поставил себе личную творческую цель возродить комедию дель арте, и потому

его пьесы «Король-олень», «Женщина-змея» и «Турандот» никак не отражали развитие научной этнографии, но представляли собой сказочные драмы с хитросплетениями параллельных сюжетов, элементами фантастики и восточными мотивами. Фортиса, однако, он обвинял в безответственном отношении к имперскому бремени: «Я полагаю, что аббат Фортис, с его признанным умом, не соизволил вспомнить, что для поощрения в венецианской Далмации и Албании всех тех благ, которые приносит трудолюбие, следует, поначалу упирая на обычай и на размышления, постепенно распространять крепкую, здоровую мораль, которая могла бы подготовить умы, сердца и души для здравомыслия и послушания»⁹³.

В 1780 году Фортис публикует в Неаполе труд «О разведении каштана, который следует ввести в Далмации». Двигала им не забота о сельскохозяйственных и экономических улучшениях, а желание вернуть морлахов к той примитивной жизни, которую он считал для них наиболее подходящей. Разводя каштаны, морлахские крестьяне могли бы «оторваться от плуга, которым они не умеют пользоваться, и вернуться к пастушечьей жизни, которая одна соответствует праздности данного народа и его кочевому происхождению»⁹⁴. В 1784 году Фортис обратился к проблемам Южной Италии и опубликовал «Физико-географические письма о Калабрии и Падуе». В 1787 году он изложил свои соображения о химических удобрениях в трактате «О минеральных нитратах». Обвиненный в якобинстве, он уехал из Италии во Францию в 1796 году и в конце концов достиг официального признания при Наполеоне, чье благоволение вывело на арену многих из тех, кто в XVIII веке занимался изучением Восточной Европы. Умер он в Болонье в 1803 году, а шестью годами позже, в 1809-м, Наполеон включил Далмацию в состав Французской империи как одну из иллирийских провинций.

«МУЗЫКА И ПОЭЗИЯ, ТАНЦЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ»

«Путешествия в Далмацию» Фортиса были переведены с итальянского на английский, французский и немецкий языки, и самый глубокий след его описание морлахов оставило не в интеллектуальной истории Италии, хотя и вызвало там полемику; не в Англии, хотя лорд Бьют оплатил экспедицию и удо-

стоился посвящения в книгу; и не во Франции, хотя в конце жизни автор удостоился почестей от Наполеона. Самый сильный ажиотаж морлахи произвели в 1770-х годах в Германии, особенно — рассказ Фортиса об их песнях и поэзии. Благодаря своему научному интересу к старинным обычаям, он наткнулся на золотую жилу фольклориста, поэзию южных славян.

У морлахов бывают деревенские сходки, особенно в домах, где живет несколько молодых женщин; благодаря этим сходкам сохраняются в памяти древние народные рассказы. Музыканты всегда посещают эти собрания и поют старинные *pisme*, или песни, подыгрывая себе на инструменте, называемом *guzla*, который имеет только одну струну, сплетенную из многочисленных конских волос. Мотив, на который поются эти героические песни, необычайно уныл и монотонен; кроме того, они поют немного в нос, что прекрасно сочетается с их инструментом⁹⁵.

Хотя, исследуя эти песни, Фортис совершал важное открытие, на него самого они, очевидно, нагоняли скуку; их манеру петь в нос он описывает снисходительно.

Тем не менее эти песни производят огромное впечатление на слушателей, которые стремятся выучить их наизусть; и я видел, как некоторые вздыхали и плакали над пассажем, который мне нисколько не казался трогательным. Возможно, такое действие производит сила иллирийских слов, которые морлахи понимали лучше меня; и возможно, что мне кажется более вероятным, их безыскусные умы, не слишком обремененные мыслями, с большей готовностью воспринимают любой поворот сюжета как нечто поразительное⁹⁶.

Характер песен, и особенно эмоциональный отклик аудитории, подчеркивал для Фортиса различие между его собственными любительскими поэтическими опытами и «безыскусными умами, не слишком обремененными мыслями». Хотя он и понимал по-иллирийски хуже, чем морлахи, Фортис научился «болтать» по-славянски; благодаря этому он перевел на итальянский и опубликовал некоторые из этих песен с предупреждением: «Тот, кто читает или слышит их, должен своим воображением восполнить недостаток деталей и точности, которыми пренебрегают морлахи и к которым столь внимательны цивилизованные народы Европы»⁹⁷. В конце концов, Фортис воспринимает поэзию как свидетельство той пропасти, которая отделяет цивилизованные народы Европы от всех остальных, как отличительный признак Восточной Европы.

В 1775 году Гете написал стихотворение, которое аннотировал как «*aus dem Morlackischen*», перевод с языка морлахов. Затем в 1779 году Гердер опубликовал вторую часть своего «*Volkslieder*», собрания народных песен. Вопреки его обещаниям, в ней не было русских песен, не было польских, не было украинских, но были морлахские, из «*Morlackische Geschichte*». В примечании сообщалось, что они были взяты из итальянского перевода Фортиса, который, судя по всему, послужил источником и для Гете. Гете морлахи позволили вводить утонченные поэтические эффекты, основанные на оттоманских и восточных мотивах.

Was ist Weisses dort am grünen Walde?
Ist es Schnee wohl oder sind es Schwäne?
Wär es Schnee, er wäre weggeschmozlen;
Wärens Schwäne, wären weggeflogen.
Ist kein Schnee nicht, es sind keine Schwäne,
's ist der Glanz der Zelten Asan Aga.

Что белеет там, в зеленых лесах?
Снег ли это, лебеди ли?
Если бы это был снег, он бы уже растаял;
Если бы это были лебеди, они бы улетели.
Это не снег, это не лебеди,
Это отблеск шатров Азан-аги⁸⁸.

С другой стороны, для Гердера морлахи были не восточным народом, а славянами, и он выбрал поэму «Радослаус», которая заканчивалась приходом «короля славян». Так морлахи, которых Фортис исследовал и описывал как добродетельных варваров, проникли в высшие сферы германской культуры XVIII века. Гете сохранил интерес к поэзии южных славян и в XIX веке, когда внимание европейского романтизма привлек сербский ученый Вук Караджич, опубликовав в Вене в 1814 году «Малое собрание сербско-славянских простонародных песен»⁹⁹.

Несмотря на всю его снисходительность, увлечение Фортиса фольклором Далмации 1770-х годов свидетельствует о гораздо большей восприимчивости, чем наблюдения Босковича в Болгарии 1760-х. Боскович тоже был священником и ученым, путешествовавшим по «варварским областям, с их различными обычаями и традициями». В Болгарии он увидел, а затем описал исполнение балканского народного танца в день, когда

«возле домов и по всей деревне грязи так много, что нельзя выйти за порог». Это не испугало танцоров, которые «сошлись со всех окрестностей петъ и танцевать в этой грязи, если только можно назвать танцем необыкновенно медленные движения, которые они делали, крепко держась за руки и шагая вперед, а затем назад». Хотя танец описан довольно тщательно, это описание делает танец чем-то в высшей степени отталкивающим, поскольку все происходит в грязи. Боскович оговаривается, что подобные действия едва ли можно называть танцем; выражение «вперед, а затем назад» выглядит метафорой, трактуя этот танец в соответствии с представлениями XVIII века об уровне цивилизации в Восточной Европе. На следующий день в грязи звучала музыка: «Из-за гор принесло сильный дождь, и когда он кончился, из деревни пришли люди, чтобы развлечь нас варварским пением и игрой и получить вознаграждение»¹⁰⁰. В данном случае нам нечего сопоставить с тщательным описанием морлахских народных песен у Фортиса. В Болгарии Боскович чувствовал, что оказался в «варварской области», и без колебаний опустил описание музыки и пения, которые в его восприятии были «варварскими». Вознаграждение, вероятно, было не слишком щедрым.

Десятилетие спустя, рассказывая о народном пении в Далмации, Фортис проявил больше внимания к его художественной стороне; само описание у него гораздо тщательнее. «Я перевел несколько героических песен морлахов, — писал он, — и некоторые из них кажутся мне и неплохо сложенными, и интересными». Песни морлахов, впрочем, проигрывали в сравнении с «песнями прославленного шотландского барда, которые мы недавно имели удовольствие увидеть в переводе на наш язык», то есть с поэмами Оссиана. «Открытие» Оссиана в 1762 году Джеймсом Макферсоном было международной сенсацией в истории фольклористики XVIII века; им восхищались Гете и Гердер, так что, беря Оссиана за эталон, Фортис показывал себя знатоком фольклорных интересов своего поколения. Только в XIX веке установили, что поэмы Оссиана не произведения кельтской старины, но сочинения самого Макферсона, блестящая и чрезвычайно влиятельная подделка. Песни морлахов были подлинными и гораздо более древними; хотя и признавая преимущество Оссиана, Фортис допускал, что «поэзия морлахов не лишена достоинств; она обладает, по край-

ней мере, простотой гомеровских времен и помогает изобразить нрав этого народа»¹⁰¹.

Особенно ярко он описывает, как, переключаясь, поют морлахи в горах:

Морлах поет, путешествуя в одиночку по безлюдным горам, особенно в ночное время, как делали древние славянские короли ... и если другой окажется поблизости, он повторяет пропетый первым куплет, и так они поочередно поют, пока могут друг друга слышать. Громкий, протяжный вой, похожий на *oh!* с варварскими модуляциями, обязательно предшествует стиху, слова которого произносятся быстро, почти безо всякой модуляции, приберегаемой для последнего слога, и завершается другим протяжным воем, похожим на трель и издаваемым с возрастающей громкостью, сколько хватит дыхания¹⁰².

Это достаточно подробное фольклорное исследование, уделяющее внимание тонкостям повторов и модуляций. Тем не менее модуляции были «варварскими»; описывая так же подробно танцы морлахов, Фортис тоже намекает, что оттенок варварства есть и в них:

Под звуки волынки и голоса певцов они танцуют свой любимый танец, называемый *kolo*, или «крут», который вскоре переходит в *skosci-gosi*, «быстрый танец». Все танцоры, мужчины и женщины, взявшись за руки, образуют круг и очень медленно двигаются под резкие звуки инструмента. Затем хоровод меняет форму, превращаясь из круга то в эллипс, то в квадрат, а танец становится все более оживленным; в конце концов переходя в неистовые прыжки и скачки, к которым присоединяются и женщины, все приходит в дикое замешательство. У морлахов эта грубая пляска вызывает необыкновенный прилив чувств, так что ни накопившаяся за день усталость, ни долгое путешествие, ни даже голод не могут удержать их от повторения этого изнурительного действия на протяжении нескольких часов с очень маленькими паузами¹⁰³.

На этом Фортис завершает раздел «Музыка и поэзия, танцы и развлечения» и переходит к следующей главе, «Врачебное искусство у морлахов», замечая, что «довольно часто горячка бывает прямым следствием описанных выше изнурительных танцев»¹⁰⁴. Введение им славянских названий и описание изменчивости хоровода опять же замечательны с точки зрения фольклора, но вместе с кругом танцующих теряет свою стройность и текст, подчеркивая свалку, горячку и чувственный

порыв. «Грубую пляску» автор связывает с грубостью самих морлахов.

Одновременно с исследованием Фортиса в Париже в 1772 году была опубликована карта Европы работы Л.С. Десно, посвященная «*Monseigneur le Dauphin*», который через два года стал Людовиком XVI. По краю карты он приводит краткую характеристику каждого народа Европы, дополненную иллюстрацией. Венгры танцуют с саблями, и краткое примечание поясняет, что «у них есть лишь один танец, во время которого они подпрыгивают и поворачиваются на лету с удивительной проворностью, сшибаясь обнаженными саблями, которые держат в руках». У Гиббона венгры пили кровь, совершали набеги со скифской быстротой и владели смертоносным татарским луком. Когда их изображали танцующими с саблями, дикость венгров выглядела несколько прирученной и почти превращалась в игру; так увлечение XVIII века фольклором способствовало подчинению Восточной Европы. Та же карта 1772 года включала в число европейских народов и татар — «малых татар» Крыма, — но они еще не считались прирученными: «Во время набегов, которые они совершают на соседей, они уводят всех мужчин, женщин и детей обращают в рабство и продают туркам, за исключением стариков, которых они убивают». Иллюстрация изображает конных воинов среди трупов, пленных и скота. В 1787 году, когда Сегюр отправился в Крым с Екатериной, татары (уже прирученные) принимали участие в «грандиозном представлении», устроенном для царицы в Севастополе¹⁰⁵.

Интерес Фортиса к фольклору в начале 1770-х сравним с интересом Уильяма Кокса в конце того же десятилетия. Кокс путешествовал по России в 1778—1779 годах, когда Гердер публиковал в Германии «*Volkslieder*», так что интерес англичанина к русским песням пришелся на самый важный момент в открытии фольклора эпохой Просвещения. Гердер хотел включить русские песни в свое собрание; в октябре 1778 года он получил письмо от своего друга и издателя Й.Ф. Харткноха, сожалевшего, что «собираение песен — нелегкое дело». Далее он пишет: «Я помню, какие усилия я приложил, чтобы получить русские [песни]», увы, безрезультатно¹⁰⁶. Как раз в то самое время, когда Харткнох и Гердер отказывались от дальнейших попыток, Кокс слушал в России те самые недоступные народ-

ные песни, и его описание в определенном смысле дополняет собрание Гердера.

Кокс обратил внимание на песни по дороге из Смоленска в Москву, когда получил право при необходимости забирать лошадей и в конце концов мобилизовал заодно и крестьян в качестве кучеров. Крестьяне ехали «ни шатко ни валко», не выпускали из рук кнута и «понукали лошадей окриками и свистом, которыми обычно зовут кошек». Кокс отмечал, что «промежутки между этими криками крестьяне заполняли пением, которое является излюбленным занятием русских и отмечается большинством путешественников, побывавших в этой стране»¹⁰⁷. Отрывистый ритм песни, таким образом, соотносился с тряской на неровных дорогах. Песня раздавалась на фоне «окриков и свиста, которыми обычно зовут кошек», а возможно, и ударов кнута, также бывших частью общения крестьян с лошадьми. Такое изображение фольклора ненамного уважительнее, чем описание танцующих в грязи болгар у Босковица. Для Кокса пение ассоциировалось с окриками и свистом, как для Фортиса оно ассоциировалось с воем.

В другой раз Кокс обращается к пению, когда он описывает поездку из Москвы в Троице-Сергиеву лавру. Пение снова оказалось частью дорожной рутины и на этот раз связано не с понуканием животных, а с избиением самих крестьян, чтобы добиться их содействия. Последнее было задачей «нашего друга сержанта», готового пустить в ход «свою палку, чье красноречие убедительнее, чем самые возвышенные увещания». Кокс замечает, что «мужланы, несомненно, привыкли к этому риторическому приему и сносили его терпеливо и вполне добродушно; взбравшись на козлы, они сразу начинали насвистывать и распевать свои простонародные песни как ни в чем не бывало»¹⁰⁸. Предполагая определенную взаимосвязь между телесными наказаниями и крестьянским пением, Кокс превратил фольклор в одно из основных впечатлений, которое выносили в XVIII веке путешествующие по Восточной Европе. В данном случае физическая привычка крестьян к общению с дубиной доказывалась тем, что сразу после побоев они немедленно запели. Народная песня — ответ на «красноречие» дубины и ее «риторических приемов». Песня и дубина становились взаимодополняющими выражениями варварства.

Подобные ассоциации у Кокса не были случайны. Они вновь возникли по дороге из Москвы в Санкт-Петербург, где он сначала упоминает палку, а потом прямо переходит к одному из самых подробных описаний русского народного пения.

Действительно, как я уже отмечал, иностранцу, желающему путешествовать без задержек, необходимо не только обзавестись паспортом, но также раздобыть и русского солдата, который не будет выслушивать возражения крестьян или дожидаться посредничества со стороны неторопливого почтмейстера, но разом решает все вопросы вмешательством своей могучей дубины. Мужланы, быстро умолкая под воздействием этих тупых доводов, без труда умеряют свои запросы, и лошади появляются почти в мгновение ока.

Во время поездки по России я был удивлен склонностью местных жителей к пению. Даже крестьяне, исполняющие обязанности кучеров и форейторов, усевшись на козлы, сразу начинали сотрясать воздух, и продолжалось это без малейшего перерыва в течение нескольких часов. Но еще поразительнее было их пение на две партии; я часто был свидетелем их музыкальных диалогов, состоявших из взаимных вопросов и ответов, как будто, напевая (если мне будет позволено так выразиться), они вели свой обычный разговор. Форейторы *поют* от начала до конца прогона; солдаты *поют* на марше; деревенские жители *поют* за самой тяжелой работой; в кабаках раздаются их напевы; и в тихие вечера я часто слышал, как воздух дрожал от песен, доносившихся из окрестных деревень¹⁰⁹.

В этом исключительном пассаже Кокс уделил большое внимание внешней стороне русской народной песни, особенно отмечая пение по партиям, в виде диалога. Судить он мог только о звучании, так как не понимал ни слова из услышанного, о чем позабыл сообщить читателям. Самое примечательное в его повествовании — внезапный переход, как и в прошлый раз, от телесных наказаний к народному пению. Сначала крестьяне «быстро умолкали» под ударами дубины и только после этого пели; к концу пассажа кажется, что Кокс слышал все русские песни, какие только есть. Эти песни могли принимать форму музыкальной беседы, но только между крестьянами; участие в нем путешественника возможно лишь в крайнем случае, когда посредником выступает солдат с палкой. В описании русской народной музыки у Кокса видны и его интерес к тем, кого он встречал на своем пути, и его отчуждение от них. Формируясь как научная дисциплина, фольклористика играла роль посредника между Западной Европой и Европой Восточной.

Вполне логично Фортис завершает рассказ о морлах кратким описанием их похоронного обряда, но и этот материал окрашен специфическим выбором лексики. «Семья плачет и голосит по умершему», — сообщает Фортис. «Поется хвала покойному». От темы похорон он переходит к общему выводу, подытоживая то, что он до этого назвал «примечательными обычаями людей, до сих пор мало известных народам Европы». Проливая в XVIII веке свет на эти обычаи, Фортис выступил в роли антрополога, обнаружившего объект исследования совсем близко, за Адриатическим морем, в границах венецианской империи, — но, конечно, за пределами «цивилизованных областей Европы». Двигали им не только научные интересы: «Я могу надеяться, что, при всех его тяготах, предпринятый мною труд будет вполне вознагражден, если доставит тебе некоторое развлечение, — а также и публике»¹¹⁰. Примечательные обычаи могли восприниматься как развлечение, но благодаря элементам фольклорного описания, рассказам о пении и танцах антропологическое исследование Восточной Европы окончательно превращалось в развлекательное чтение. Образ Восточной Европы как кладезя народных песен и танцев, впервые разработанный эпохой Просвещения, сохранился до XX века и до наших дней. Фольклор ее может, конечно, вызывать вполне искренний интерес, но интерес этот возник в историческом контексте снисходительного отношения, в тот момент, когда на границе между Европой и Азией, между цивилизацией и варварством, между древней историей и современной антропологией была обнаружена Восточная Европа.

¹ *Iorga Nicolae*. Les Voyageurs Française dans l'Orient European. Paris: Boivin, 1928. P. 105.

² *Peyssonnel Charles de*. Observation historiques et géographiques, sur les peuples barbares qui ont habit les bords du Danube à du Pont Euxin. Paris: Chez N.M.Tillard, 1765. P. 1—2.

³ *Ibid.* P. 4—7.

⁴ *Ibid.* P. 30.

⁵ *Ibid.* P. 39.

⁶ *Ibid.* P. 50—51.

⁷ *Ibid.* P. 194—195.

⁸ *Vaugondy Rober de*. Atlas Universel. Vol. I Paris, 1757. Maps 4, 12.

⁹ *Anville Jean-Baptiste d'*. A Complete Body of Ancient Geography. London: Robert Sayer, 1771. Maps 1, 3.

¹⁰ *Hartog Franois*. The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History. Trans. Janet Lloyd. Berkeley: Univ. of California Press, 1988. P. 30.

¹¹ *Lortholary Albert*. Le Mirage russe en France au XVIIIe siècle. Paris: Boivin, 1951. P. 297, note 87; *Gyergyai Albert*. Un correspondant hongrois de Voltaire: le comte Fekete de Galanta // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Vol. 25. Ed. Theodore Besterman. Geneva: Institut et Musée Voltaire, 1963. P. 789.

¹² *Peyssonnel*. P. vii—ix, xv—xvi.

¹³ *Ibid.* P. xxxvi—xl.

¹⁴ *Ibid.* P. 9—10, 71.

¹⁵ *Levesque Pierre-Charles*. Historie de Russie. Vol. I. Hambourg; Brunswick: Chez Pierre-François Fauche, 1800. P. viii—ix.

¹⁶ *Rulhière Claude Carloman de*. Revolutions de Pologne. Vol. I. Ed. Christien Ostrowski. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1862. P. 1—2; *Levesque*. I. P. 1—6.

¹⁷ *Levesque*. I. P. 55—56.

¹⁸ *Mohrenschildt, Dmitri von*. Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-Century France. New York: Columbia Univ. Press, 1936. P. 227.

¹⁹ *Sacy Claude-Louis de*. Histoire générale de Hongrie: Depuis la première invasion des Huns, jusqu'à nos jours. Vol. I. Yverdon, 1780. P. vii, xxxi.

²⁰ *Iorga*. P. 104—108; *Darnton Robert*. Mesmerism and the End of the Enlightenment in France. Cambridge, Mass.; Harvard Univ. Press, 1968. P. 98—100; *Carra Jean-Louis*. Histoire de la Moldavie et de la Valachie. Jassy: Socit Typographique des Deux-Points, 1777. P. xvi—xvii, 220.

²¹ *Hauterive Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, comte d'*. Mémoire sur l'état ancien et actuel de la Moldavie: Présenté S.A.S le prince Alexandre Ypsilanti, Hospodar régnant, en 1787, par le comte d'Hauterive. Bucharest: L'Institut d'arts graphiques Carol Göbl, 1902. P. 20—22.

²² *Rousseau Jean-Jacques*. Considerations sure le gouvernement de Pologne // Discours sur l'économie politique, Projet de constitution pour la Corse, Considerations sure le gouvernement de Pologne. Ed. Barabara de Negroni. Paris: Flammarion, 1990. P. 170—17.

²³ *Hauterive*. Mémoire. P. 42—44; *Hauterive Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, comte d'* La Moldavie en 1758: faisant suite au journal d'un voyage de Constantinople à Jassy // Mémoire sur l'état ancien et actuel de la Moldavie: Présenté S.A.S le prince Alexandre Ypsilanti, Hospodar régnant, en 1787, par le comte d'Hauterive. Bucharest: L'Institut d'arts graphiques Carol Gübl, 1902. P. 357—358.

²⁴ *Hauterive*. Mémoire. P. 236.

²⁵ *Ibid.* P. 176; *Hauterive*. La Moldavie. P. 359.

²⁶ *Hauterive*. La Moldavie. P. 331—332.

²⁷ *Hauterive*. Mémoire. P. 252, 258.

²⁸ *Ibid.* P. 264—266.

²⁹ *Ibid.* P. 266—270.

³⁰ *Ibid.* P. 78.

³¹ *Ségur Louis-Philippe, comte de*. Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Ségur. Vol. I // Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de

France: pendant le 18^e siècle. Vol. XIX. Ed. M.Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859. P. 329—330.

³² *Gibbon Edward*. The Decline and Fall of the Roman Empire. New York: Modern Library, n.d. I. P. 6.

³³ *Gibbon*. I. P. 211—214.

³⁴ *Ibid.*, I. P. 214.

³⁵ *Voltaire*. Essay sur les moeurs // Oeuvres complètes de Voltaire. Vol. III. Paris: Chez Furne, 1835. P. 583.

³⁶ *Gibbon*. II. P. 245—247, 254, 263.

³⁷ *Ibid.*, II. P. 591.

³⁸ *Ibid.*, II. P. 591—594.

³⁹ *Ibid.*, III. P. 61.

⁴⁰ *Ibid.*, III. P. 316.

⁴¹ *Ibid.*, III. P. 317—318.

⁴² *Ibid.*, III. P. 318—319, note 8.

⁴³ *Ibid.*, III. P. 321—322.

⁴⁴ *Ibid.*, III. P. 322—323.

⁴⁵ *Ibid.*, III. P. 322—323, note 22; *Gulya Janos*. Some Eighteenth Century Antecedents of Nineteenth Century Linguistics: The Discovery of Finno-Ugrian // Studies in the History of Linguistics: Traditions and Paradigms. Ed. Dell Hymes. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1974. P. 260—263.

⁴⁶ *Gibbon*. III. P. 324—326, 329.

⁴⁷ *Ibid.*, III. P. 330—331, note 45.

⁴⁸ *Ibid.*, III. P. 332—333, 335, note 58, 337.

⁴⁹ *Ibid.*, III. P. 343.

⁵⁰ *Ibid.*, III. P. 343—344; *Spadafora David*. The Idea of Progress in Eighteenth-Century Britain. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 1990. P. 223—224; *Porter Roy*. Edward Gibbon: Making History. London: Weidenfeld and Nicholson, 1988. Chapter 6. «Civilization, Barbarism, and Progress». P. 135—157.

⁵¹ *Herder Johann Gottfried*. Journal meiner Reise im Jahr 1769. Ed. Katharina Mommsen. Stuttgart: Philipp Reclam, 1976. P. 7.

⁵² *Ibid.* P. 15.

⁵³ *Ibid.* P. 38—39.

⁵⁴ *Ibid.* P. 77—78.

⁵⁵ *Ibid.* P. 80—81.

⁵⁶ *Ibid.* P. 90.

⁵⁷ *Ibid.* P. 91—92.

⁵⁸ *Ibid.* P. 101—102; *Bittner Konrad*. Die Beurteilung der russischen Politik im 18 Jahrhundert durch Johann Gottfried Herder // Im Geiste Herders. Ed. Erich Keyser. Kitzingen am Main: Holzner-Verlag, 1953. P. 47.

⁵⁹ *Clark Robert T*. Herder: His Life and Thought. Berkeley: Univ. of California Press, 1955. P. 60.

⁶⁰ *Bittner*. P. 50—51.

⁶¹ *Ibid.* P. 68—69.

⁶² *Herder Johann Gottfried*. Von Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dichtkunst // Herders Werke. Vol. II. Ed. Regine Otto. Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1982. P. 472

⁶³ *Herder*. Von Ähnlichkeit. P. 290.

⁶⁴ *Rousseau*. P. 171—173.

⁶⁵ *Herder Johann Gottfried*. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit // Herders Werke. Vol. IV. Ed. Regine Otto. Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1982. P. 385—386.

⁶⁶ Ibid. P. 393.

⁶⁷ Ibid. P. 393—395.

⁶⁸ Ibid. P. 395.

⁶⁹ *Herder Johann Gottfried*. Outlines of a Philosophy of the History of Man. Trans. T. Churchill. New York: Bergman. P. 483—484.

⁷⁰ *Herder*. Ideen zur Philosophie der Geschichte. P. 395.

⁷¹ Ibid. P. 396—397.

⁷² Ibid. P. 463—464.

⁷³ *Kant Immanuel*. Der Charakter des Volks, Die Anthropologische Charakteristik // Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik, und Pädagogik. 2. Werkausgabe. Vol. XII. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1977. P. 670.

⁷⁴ *Hegel Georg Wilhelm Friedrich*. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte // Werke, 12. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1970. P. 422.

⁷⁵ *Fortis Alberto*. Travels into Dalmatia: Containing General Observations on the Natural History of that Country and the Neighbouring Island; the Natural Productions, Arts, Manners and Customs of the Inhabitants. London, 1778; rpt. New York: Arno Press and New York Times, 1971. P. iv.

⁷⁶ *Duchet Michèle*. Anthropologie et Histoire au siècle des lumières: Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot. Paris: François Maspero, 1971. P. 258; *Marshall P.J. and Glyndwr Williams*. The Great Map of Mankind: British Perception of the World in the Age of Enlightenment. London: J.M. Dent, 1982.; *Cochiara, Giuseppe*. The History of Folklore in Europe. Trans. John N. McDaniel. Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1981.

⁷⁷ *Voltaire*. Essai sur les moeurs. P. 607—609.

⁷⁸ *Marshall, P.J. and Glyndwr Williams*. The Great Map of Mankind: British Perception of the World in the Age of Enlightenment. London: J.M. Dent, 1982. Эпиграф; *Spadafora*. P. 253—320.

⁷⁹ *Torcellan Gianfranco*. Profilo di Alberto Fortis // Settecento Veneto e altri scritti stoici. Turin: G. Giappichelli, 1969. P. 273—279.

⁸⁰ *Torcellan*. P. 283; *Voltaire*. Essai sur les moeurs. P. 561.

⁸¹ *Fortis*. P. 45—47.

⁸² Ibid. P. 44.

⁸³ *Gibbon*. II. P. 593; *Fortis*. P. 44.

⁸⁴ *Duchet*. P. 12.

⁸⁵ *Fortis*. P. 51—58.

⁸⁶ Ibid. P. 60—61.

⁸⁷ Ibid. P. 61—62.

⁸⁸ *Ginzburg Carlo*. Ecstasies: Deciphering the Witches' Sabbath. Trans. Raymond Rosenthal. New York: Pantheon Books, 1991. P. 207—225.

⁸⁹ *Fortis*. P. 63.

⁹⁰ Ibid. P. 66—67, 70—75.

⁹¹ Ibid. P. 77, 82.

⁹² *Lovrich Giovanni*. Osservazioni di Giovanni Lovrich sopra diversi pezzi del Viaggio in Dalmazia del Signor Abate Alberto Fortis. Venice: Francesco Sansoni, 1776. P. 79, 81, 116.

⁹³ *Torcellan*. P. 288.

⁹⁴ Ibid. P. 290—291.

⁹⁵ *Fortis*. P. 82.

⁹⁶ *Ibid.* P. 83.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Goethe Johann Wolfgang von*. Klaggesang: von der edlen Frauen des Asan Aga, aus dem Morlackischen // Sämtliche Werke. Vol. I. Zürich: Artemis Verlag, 1977. P. 301.

⁹⁹ *A Short History of Yugoslavia*. Ed. Stephen Clissold. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1968. P. 119.

¹⁰⁰ *Boskovich Ruggiero Giuseppe*. Giornale di un Viaggio da Constantinopoli in Polonia dell'abate Ruggiero Giuseppe Boskovich. Milan: Giordano Editore, 1966. P. 6, 37—38.

¹⁰¹ *Fortis*. P. 84; *Cocchiara*. P. 135—140.

¹⁰² *Fortis*. P. 85.

¹⁰³ *Ibid.* P. 86.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Desnos*. L'Europe divisée selon l'étendue de ses principales parties. Paris, 1772; *Séjour Louis-Philippe, comte de*. Mémoires, souvenirs, et anecdotes, par le comte de Séjour. Vol. II // Bibliothèque des mémoires: relatif à l'histoire de France: pendant le 18e siècle. Vol. XX. Ed. M.Fs. Barrière. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1859. P. 66.

¹⁰⁶ *Bittner*. P. 60.

¹⁰⁷ *Coxe William*. Travels in Poland and Russia // Travels in Poland, Russia, Sweden, and Denmark. 5th ed. London: 1802; rpt. New York: Arno Press and New York Times, 1970. I. P. 66.

¹⁰⁸ *Ibid.*, I. P. 392—393.

¹⁰⁹ *Ibid.*, II. P. 74—75.

¹¹⁰ *Fortis*. P. 88—89.

Глава VIII

НАСЕЛЯЯ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

Часть II: Свидетельства нравов и расовые измерения

«НЕОБЫКНОВЕННО ПЛОХО»

В 1791 году, в год, когда Иоганн Готфрид Гердер опубликовал четвертую часть своих «Идей», содержащую размышления о славянах и предсказания их исторической судьбы, Иоганн Готлиб Фихте отправился в Польшу. Сам Гердер вполне мог заехать в Польшу в 1769 году, по пути во Францию, но вместо этого отправился морем, через Балтику, судя по записям в его дневнике, лишь помахав ей рукой с борта корабля. Много позднее, в 1798 году, Гердер сочинил поэму, в которой представил расчленение Польши как предостережение для Германии:

Взгляни на своего соседа, Польшу, столь великую когда-то
И столь гордую! О, она стоит на коленях, лишенная богатств
и славы¹.

Позднее, в 1802 году, Гердер обратился к XVIII столетию и стереотипам Просвещения, чтобы написать поэму о Станиславе Лещинском. В одной строфе он обращался к Польше: «Горе тебе, о Польша!», в другой — к Лещинскому: «Но счастье, Станислав, тебе!», воспевая затем его геркулесовы усилия, вознагражденные «империей наук и искусств», но не в Польше, а в Лотарингии². В поэме действительно подразумевалось, что Лещинскому повезло, когда он потерял Польшу, ибо она недостойна просвещенного монарха.

При этом Гердер признавал, что для немцев вроде него Польша была «соседом», географически довольно близким и доступным, вовсе не столь далеким, как это казалось мадам Жоффрен в Париже. В 1790 году великий Гете предпринял недельную поездку по Польше, доехав до Кракова; все свои

впечатления он подытожил в письме к Гердеру: «В эти восемь дней я видел много необыкновенного, хотя по большей части это и было необыкновенно плохо»³. В следующем году Фихте, еще не литературная знаменитость, как Гете, а лишь начинающий философ, отправился в Польшу, чтобы занять должность домашнего учителя в Варшаве. Он провел в Польше месяц и записал свои впечатления в дневнике. Хотя в целом его впечатления тоже можно выразить словами «необыкновенно плохо», путевой дневник Фихте сохранил много важных деталей, которые укрепили негативное отношение германцев к Польше, формирующееся в XVIII веке. Именно потому, что Польша была столь географически доступна для немцев, во многих отношениях даже тесно связана с Германией, ее с тем большим интеллектуальным усердием признавали чуждой и отсталой. В случае Фихте этот процесс особенно интересен, так как он способствовал интеллектуальному формированию философа, который впоследствии — в своем «Рассуждении о германской нации» 1807—1808 годов — утвердил себя в роли идеологического оракула современного германского национализма.

Фихте отправился из Лейпцига в Саксонию в конце апреля и на пути в Польшу проехал через Силезию, в то время входившую в состав Пруссии. Из его дневника видно, что Польша для него началась уже в Силезии, задолго до того, как он достиг польской границы. В Силезии он видел «деревни хуже, чем в Саксонии, выглядевшие уже очень по-польски». Прямое соотношение между словами «худший» и «польский» было очевидно. Присутствие евреев тоже бросалось в глаза, а в гостинице «все было не так, как в Саксонии». Он размышлял об «истинном силезском характере», отмечая: «О польском немце здесь думаешь одно — Боже мой, какое различие!» («*Gott welcher Abstand!*»). После Бреслау, столицы провинции, Фихте расширяет рамки своего анализа, вводя рассуждения об экономике, этнографии и языке. Ландшафт менялся; поля выглядели «менее возделанными», люди имели вид «более славянский» (*slavischer*), язык казался «грубее». Вскоре он проезжал через «настоящие польские деревни, имевшие и польские названия». Население было в основном католическое. Язык был немецкий, но почти непонятный для него («*gar nicht mehr zu verstehen*»)⁴. При этом он все еще не пересек границы между Пруссией и Польшей.

Силезия входит сейчас в состав Польши. В Средние века она тоже относилась к Польше, но в XIV веке ее уступили Богемии. Вместе с Богемией она в XVI веке досталась Габсбургам, а в 1740 году ее захватил Фридрих Великий, вызвав многолетние войны и непрекращающуюся вражду с Марией-Терезией. Силезия с ее смешанным населением, о котором писал Фихте в 1791 году, была в результате плебисцита разделена между Германией и Польшей после Первой мировой войны, захвачена Гитлером в 1939 году, а в 1945-м полностью возвращена Польше. В XVIII веке исторические связи Силезии с Польшей и Богемией отбросили ее в тень Восточной Европы, даже когда Фридрих триумфально установил над ней прусское господство. Роберт Арнольд в Вене в конце XIX века написал книгу о польской литературе (*Polenlitteratur*) на немецком языке, которая существовала в XVIII веке, где указал на некоторые важные точки культурного контакта и тесную, хотя и амбивалентную, связь между Германией и Польшей. Это, во-первых, Силезия; затем города Гданьск и Торунь на Висле (где германские бюргеры жили под польской верховной властью), оба захваченные Фридрихом по результатам разделов 1792 и 1793 годов. Историк Вольфганг Випперман изучал происхождение идеи германского «*Drang nach Osten*» и обнаружил, что в восемнадцатом веке и в Силезии, и в Гданьске ученые уже писали о польской средневековой истории, подчеркивая важность германской иммиграции в Польшу в Средние века⁵.

В XVIII веке немецкие редакторы и публицисты в Варшаве прилагали большие усилия, пытаясь в «*Warschauer Bibliothek*» в 1750-х и в «*Polnische Bibliothek*» в 1780-х годах внушить немцам, что польская литература и ученость обязана своим существованием заботам Германии. Фихте родился в Саксонии и, уехав оттуда, сохранил ее как эталон для сравнения; интерес, который там питали к Польше, был несколько собственническим. Родился он в 1762 году, а через год кончился долгий династический союз между Саксонией и Польшей — саксонские курфюрсты правили обеими землями с избрания Августа II на польский престол в 1697 году до смерти его сына Августа III в 1763-м. В этот период «польская литература» Саксонии включила шуточные «Письма достопочтенного поляка к одному из своих родственников» (1704) и «Беспорядочную Польшу»

(1711), где сказано, что «в этой огромной беспорядочной части мира, очевидно, несчастная Польша — самая беспорядочная провинция». В эпоху Просвещения польские магнаты служили при дрезденском дворе, а Лейпцигский университет стал местом встреч польских и немецких умов⁶. Поэтому, когда Фихте в 1791 году предложили переехать из Лейпцига в Варшаву, чтобы стать домашним учителем, это было естественно — тесные контакты между Польшей и Саксонией установились еще в начале столетия.

К тому времени, когда Фихте пересек границу между Пруссией и Польшей, он уже ощущал в Силезии все возрастающую «польскость»; однако пересечение границы поистине поразило его:

Первая деревня называется Пониково; она немецкая, но по телу моему пробежала дрожь, особенно при виде огромных собак, свободно бегающих вокруг... Одежда крестьян уже в первой деревне представляла собой нечто дикое и запущенное⁷.

Польша, таким образом, была страной диких собак и диких людей, к тому же «полная евреев». Фихте встретил девушку, «которую захотел изучить», и сделал такое наблюдение: «У нее внешность совершенной немецкой польки, прекрасная кожа и цвет лица. Правда, она полновата». Пока Фихте изучал девушку с такой, чисто расовой точки зрения, подошел ее жених и «не был любезен». Вечером в гостинице не было никакой еды, но было «ужасное, ужасное пиво». Со всем тем Фихте решил, что он уже «как следует обжился в Польше»⁸.

На следующий день Фихте сделал общее наблюдение насчет польских женщин. У них были длинные черные волосы, а одна из них выглядела «очень неряшливой (*schlumpig*), как, собственно, и все они — соблазнительной, это да, но очень уж грязной». Далее он замечает, что они «более привлекательны и сладострастны, чем немки». Он то и дело пишет о грязи, например — об улицах, где полно «соломы, мусора и навоза». Он отметил, что города «кишат (*wimmel*n) евреями», но о немцах в Польше отзывался весьма благосклонно: «они приятные, рассудительные, услужливые и учтивы, только не моются, прямо как настоящие поляки, и даже хуже — в них это больше поражает немецкий взгляд». Прибыв в Варшаву, он осудил еще решительнее «грубость (*Grobheit*) немцев в Польше»⁹.

Наблюдениям Фихте в 1791 году вторил в 1793-м Иоахим Кристоф Фридрих Шульц в своем путевом журнале «Путешествие ливонца из Риги в Варшаву». Он направлялся на лечение в Тироль и проделал по суше путь из Риги через Польшу, от которого Гердер уклонился в 1769 году, отправившись по Балтике. Шульц, сверстник Фихте (оба родились в 1762 году), пересек Польшу в противоположном направлении, въехав с востока, не из Силезии в Польшу, а из прибалтийской Курляндии в Литву. Когда Шульц прибыл в первую литовскую деревню и оказался в польско-литовском государстве, он обнаружил, что «за полмили все резко изменилось». Жители были католиками и говорили на другом языке, все в них было иным — и одежда, и внешность, и манера вести себя. В следующей деревне оказалось очень много евреев, которые нашли себе в Польше «нечто вроде родины», и он отметил их «восточный вид» и тот факт, что множество их «кише́ло (*wimmelte*) вокруг повозки», предлагая свои услуги. Шульц был хорошо знаком с описанием Польши у Кокса и вскоре увидел достаточно, чтобы распространить это описание и на Литву: «каждая деревня являет картину беспорядка и разрушения». У литовцев, как и евреев, был «восточный вид». Недалеко от Белостока Шульц с интересом обнаружил две саксонские семьи, которые приехали в Польшу в правление Августа II и теперь насчитывали сорок четыре человека. Они женились только друг на друге, чтобы не подмешать «польскую кровь», и сохраняли «истинно саксонские обычаи и диалект», а также «аккуратность и опрятность», которые немецкий путешественник противопоставил всей остальной Литве¹⁰.

«Путешествие ливонца» было опубликовано в Берлине в 1795—1796 годах, а его французский перевод вышел в 1807 году, в тот же год, когда наконец вышла в свет польская история Рюльера, а Наполеон основал Великое Герцогство Варшавское. В Бреслау в 1941 году, когда нацисты захватили Польшу и вернули себе Силезию, Шульца переиздали и очень хвалили, подчеркивая, что книга «не потеряла своего значения и до сегодняшнего дня»¹¹. И впрямь немецкий академический интерес к Польше в XX веке иногда выливался в замечания, разительного напоминаящие наблюдения Фихте и Шульца в XVIII столетии. В 1926 году Альберт Пенк, берлинский профессор географии, сравнивал «аккуратность немецких и убожество

польских деревень» в провинции Познань, обозначившие «великую границу цивилизации». В том же году еще один националистически настроенный немецкий географ, Вильгельм Фольц, вспоминал Средние века, когда «высшая германская *Kultur* восторжествовала над примитивным славянством», а Вальтер Кун, этнолог и лингвист, отправился на Украину изучить местные немецкие общины, раздавая анкеты и прославляя «силу и красоту германской народности (*Volkstum*)». В 1936 году Кун стал профессором университета в Бреслау, а в 1939-м, когда нацисты оккупировали Польшу, вернулся к своим немецким общинам на Украине, чтобы переселять их в Германию из-за «исключительных расовых качеств». Отчеты Куна как ученого-эксперта принимали в расчет, когда эсэсовцы оценивали восточноевропейских немцев по расовому признаку, чтобы определить, годны ли они для репатриации в Германию. Каждому человеку был присвоен «примерный расовый показатель, колеблющийся от iaM/i ('чрезвычайно ценен') до iV 3c ('негоден')»¹². Такая научная аккуратность была недоступна путешественникам XVIII века, хотя они и отмечали общую «грубость» немцев в Польше или, наоборот, их «аккуратность и опрятность» в Литве.

«Полудикость и полуцивилизованность»

Раса как научная проблема очень интересовала немецкое Просвещение. В 1780-х годах Кант и Гердер вели об этом философский спор, причем Кант особенно подчеркивал различия в цвете кожи. Эта точка зрения восходила к его эссе «О различных человеческих расах» (1775). В 1785 году Гердер опубликовал вторую часть своих «Идей», обобщая в них различные народы земного шара и доказывая, что «человечество на земле являет великое многообразие форм, но в целом представляет собой единый человеческий тип»¹³. Кант немедленно ответил ему в «*Berlinische Monatsschrift*» в 1786 году, втянув в спор нового участника, Георга Форстера, написавшего в Литве «Еще о человеческих расах». Форстер имел преимущество, которого были лишены Кант и Гердер, — он некоторое время жил за пределами Европы и общался с другими расами. Рожденный в 1754 году под Гданьском, в семье польских немцев, Форстер

еще мальчиком, в 1760-е годы, путешествовал по России с отцом, которого Екатерина уполномочила изучить возможность основать на Волге немецкие поселения. В 1772 году, когда Форстеру было восемнадцать, они с отцом отправились с капитаном Куком в его второе путешествие как исследователи естественной истории, отплыв из Англии и проведя три года в южной части Тихого океана. Георг Форстер обрел известность, написав отчет о путешествии, опубликованный по-английски и по-немецки. В 1784 году польская Комиссия народного просвещения пригласила его преподавать в Вильнюсском университете, где он оставался до 1787 года¹⁴.

Как и физиократ Дюпон де Немюр, откликнувшийся на предложение Комиссии в 1774 году, Форстер был не слишком доволен своим положением в Польше. Подобно Фихте, которого «пробирала дрожь», Форстер, проведший три года в море с капитаном Куком, был напуган при въезде в Польшу:

Везде было заметно обветшание, мерзость моральная и физическая, полудикость (*Halbwildheit*) и получивилизованность (*Halbkultur*) в народе; песчаная земля, везде покрытая черными лесами, выходящая за все рамки, которые я мог представить. На протяжении целого часа я одиноко оплакивал свою судьбу — а затем, по мере того как я медленно приходил в себя, судьбу этого опустившегося народа¹⁵.

Переход от ужаса к жалости был совершенно разительным, как и существование некоего промежуточного уровня подразумеваемого такими понятиями, как *Halbwildheit* и *Halbkultur*. Уровень этот очень подходил для Восточной Европы, как ее мыслили в XVIII веке. Форстер был не чужд традиционных ссылок на древнюю историю, на «славянских и гуннских варваров»; подобно Гиббону, он выражал свое разочарование и раздражение в метафорах из животного мира: «Превратить медведей в людей, которые не знают ни письма, ни речи». Для Форстера выражение «*polnische Wirtschaft*», «польское хозяйство», стало просто еще одним словом для обозначения отсталости¹⁶. Его до сих пор употребляют в Германии, когда хотят описать беспорядочное семейное хозяйство, «домашнюю экономику», но для Форстера оно имело и макроэкономическое значение. Он горячо критиковал крепостное право в Польше

и с моральных, и с экономических позиций, никогда, впрочем, не забывая, что Польша находится в Европе:

Среди всех европейских наций поляки одни довели невежество и варварство до такой степени, что почти уничтожили (*vertilgen*) последний след умственной силы (*Denkkraft*) в своих крепостных; но они сами несут всю тяжесть наказания за это, частично из-за того, что скотоподобный (*viehische*) вассал отдает им едва ли десятую часть дохода, который мог бы дать им более свободный, счастливый и разумный крестьянин, частично же потому, что они сами... от бессилиия стали посмешищем и предметом забавы для всех их соседей¹⁷.

Для Форстера показатели варварства — экономическая иррациональность и презрение других, более культурных наций. Он недалеко ушел от Фридриха, назвавшего поляков «последним народом в Европе».

Обращаясь в письме из Вильнюса к своему другу, Форстер использует виденное им в Тихом океане как точку отсчета, позволяющую описать Польшу как некую промежуточную мешанину:

Ты мог бы найти много поводов посмеяться над этой мешаниной (*Mischmasch*) сарматской или почти новозеландской грубости и французской сверхтонченности ... А может быть, и нет; смеются только над теми, чья вина лишь в том, что они смешны; не над теми, кто из-за образа правления, взращивания (как в данном случае следует назвать образование), дурного примера священников, деспотизма могущественных соседей, а также французских бродяг и итальянских бездельников испорчены уже с юности и не имеют надежды на будущее исправление. Этот народ, эти миллионы скотов в человеческом обличье, совершенно лишены всех привилегий человеческого рода ... народ, который в настоящее время из-за многолетней привычки к рабскому состоянию поистине потонул в скотстве и бесчувственности, неописуемой лени и совершенно тупом невежестве, из которого, быть может, даже через сто лет он не сможет подняться на один уровень с чернью остальной Европы¹⁸.

В его представлении отсталость измерялась в сравнении с другими странами Европы, целыми столетиями отставания; Форстер, однако, не включил в свой список определяющих факторов отсталости — расовую ущербность, несмотря на то что расовые проблемы занимали очень большое место в его мыслях, пока он, живя в Литве, столь строго судил о Польше.

В своем эссе «Еще о человеческих расах» Форстер не ссылался на свой польский опыт, хотя он жил в Вильнюсе, когда

писал это сочинение. Более того, он саркастически радовался, что интеллектуальные споры философов Просвещения донеслись и до «глубин этих сарматских лесов», где он сам пытается избежать «духовного паралича» в умственной изоляции Литвы. Начал он с посылки, что, когда речь идет о расах, эмпирическое наблюдение гораздо ценнее теоретического подхода, скорее поддерживая Гердера, чем Канта в их споре о фундаментальном единстве человечества. Допуская различия в нюансах, Форстер главным образом интересовался контрастом, но не между немцами и поляками, а между черными и белыми:

Самый обезьяноподобный негр настолько тесно связан с белым человеком, что при пересечении обеих ветвей определяющие характеристики каждой сплетаются и сплавляются с другой в общей смеси. Расхождение очень невелико; и белый, и черный человек стоят довольно близко друг к другу; это и не могло быть по-другому, иначе человечество пришло бы в обезьянье состояние и негр, вместо того чтобы остаться человеком, стал обезьяной¹⁹.

Форстер верил, что климат в значительной степени определяет расовые характеристики, которые поэтому могли варьироваться, и интересовался, «могли бы негроиды, если переселить их в наш климат, через определенное число несмешанных поколений потерять свой цвет, и постепенно изменить свой обезьяноподобный вид на европейский, соответствующий нашему климату»²⁰.

В завершение он горячо сожалел, что, даже если единство человеческого рода будет безусловно установлено, даже если доказать, что черный человек — «наш брат», зло рабства не прекратится. «Где же сдерживающая сила? — спрашивал он. — Что мешает вырождающимся европейцам управлять своими белыми собратьями так же деспотично, как неграми?» Возможно, именно здесь, в самом конце своего эссе, Форстер обратился к своему опыту жизни в Польше, где он с ужасом видел жестокости крепостного права. Он обращался к белым людям от имени черной расы в тех же выражениях, которые он употреблял, говоря о крепостном праве в Польше:

Белый человек! Ты не стыдишься злоупотреблять своей силой против слабого, помещать его среди скотов, стремиться стереть (vertilgen) в нем даже след умственной силы (Denkkraft)?²¹

Форстер призывал белого человека стать черному отцом, «развивать» в нем «святую искру разума», помочь ему «стать тем, кто ты есть или кем ты можешь быть». Он не хочет отнести поляков и немцев к отдельным расам; более того, он даже прилагает к видящемуся ему разрыву между черными и белыми теорию параллельного развития, которая могла бы преодолеть этот разрыв. Он понимал, что некоторых белых в Европе, в частности в Польше, притесняют и угнетают, как черных рабов, не оправдывая это расовыми различиями. Трактат Форстера ясно показывает, что, хотя Фихте и Шульц прибегают к расовым нюансам в изучении поляков и литовцев, немецкое Просвещение еще нельзя обвинить в последовательном и согласованном расовом подходе к полякам в особенности и к Восточной Европе вообще.

«ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРАНГУТАН»

Первое впечатление Фихте от Варшавы было далеко не приятным: «Предмestья похожи на провинциальный польский город: хижины вместо домов, на улицах навоз». В центре, однако, он заметил тот же разительный контраст, который отмечали другие путешественники XVIII века: «бесчисленные дворцы и церкви, а между двумя великолепными дворцами — лачуга, которая вот-вот развалится». На улице, где стоял дворец Чарторыйских, жили одни евреи (*lauter Juden*). После знакомства с гостиницей его мнение о городе не улучшилось: «Мне пришлось самому стелить себе постель. Я пожаловался, но мне ответили: таков здесь обычай». Он восклицает: «Какая ужасная уборная!», замечая при этом, что гостиница считалась «одной из лучших в Варшаве»²².

Фихте пробыл в Варшаве только две недели, так что записанные им впечатления не были ни обширными, ни детальными. Шульц, однако, оставил чрезвычайно обстоятельный портрет города, основанный не только на коротком визите 1793 года, но и на месяцах жизни в 1791—1792 годах, когда он представлял курляндский город Митау (теперь Елгава в Латвии) на Четырехлетнем сейме. В его отчете описывалась вся Варшава, от архитектуры, церквей, гостиниц и больниц до театров, пикников и проституции. Он сумел создать настоль-

ко живую и полную картину Варшавы XVIII века, что после того, как книга была переиздана в нацистской Германии в 1941 году, ее издали и в 1956-м, в послевоенной Польше, когда старую Варшаву кропотливо восстанавливали после того, как в 1944 году ее полностью уничтожили нацисты²³. Как и Фихте, Шульц замечает городские контрасты: «Таким образом, дворцы и лачуги, принцы и нищие образуют духовное и физическое основание Варшавы». Что до улиц, то «когда идет дождь, кажется, что их заполнил мусорный потоп, и меры, принимаемые для их очищения, не стоят упоминания». Он предупреждал приезжающих «не обращать внимания на грязные еврейские толпы» и тем самым привлекал к ним внимание. Обратил он внимание и на городских проституток, объясняя, что проституция в Варшаве свидетельствует о «древней грубости польских нравов». Он считал, что «безнравственные сделки между лапами здесь в высшей степени публичны, разнообразны и всеми терпимы, а кроме того, дерзки, разорительны, порочны и являют ту смесь бесстыдства и жестокости, которой, пожалуй, не достигает ни одна другая великая европейская столица». Шульц описывает культурное и географическое расположение Варшавы через ее «отдаленность от более изысканных европейских земель»²⁴.

Шульц приехал в Варшаву в сентябре 1791 года, чтобы присутствовать на сейме, а Фихте уже успел приехать и уехать в июне, так что они были там в разное время. Сейм, однако, заседал уже с 1788 года, и Фихте, видимо, не заметил, что был в Варшаве в разгар революции. Всего за месяц до его прибытия, 3 мая 1791 года, сейм принял конституцию, которую издавна приветствовал Эдмунд Бёрк; находясь в Варшаве, Фихте ее не заметил или из-за отсутствия интереса к польской политике, или из-за озабоченности собственными делами и ужасными уборными. Его безразличие тем более поразительно, что именно тогда вся Германия проявляла к Польше повышенный и сочувственный интерес. «*Berlinische Monatsschrift*», в которой в 1785 году напечатан трактат Канта о расах, позволивший Форстеру в Вильнюсе сохранить свою связь с веком Просвещения, теперь хвалила польскую конституцию 1791 года с тем большей легкостью, что Польша временно была союзницей Пруссии. В то же время, поскольку эта конституция сделала саксонскую династию наследницей Станислава Августа, «вели-

чайший прогресс» и «разумное просвещение», свойственные Польше, начали хвалить и в Саксонии. Кристиан Фридрих Шубарт в 1774 году, после первого раздела, опубликовал в своей «*Deutsche Chronik*» стихотворение «Польша», где оплакивалась участь этой страны; в 1791 году он с безграничным оптимизмом прославлял тамошнюю конституцию: «Радуйся, Польша! Твоя ночь навеки освещена». Шубарт умер в том же году, не успев разочароваться в своих восторженных ожиданиях, но целый ряд молодых немцев последовали его примеру, сочиняя поэмы о триумфах и в конечном итоге трагедиях Польши в 1790-е годы. Среди них были Иоганн Даниэль Фальк, Иоганн Кристиан Гретчель, Алоиз Вильгельм Шрайбер и Андреас Георг Ребманн, входившие в революционную когорту немецких поэтов, писавших о Польше в 1790-е годы и предвосхитивших романтическую восторженность 1830-х годов²⁵.

В 1794 году по всей Германии, а еще больше — в Вене героем дня был Костюшко; его портреты были повсюду, хотя он и значился на них под курьезным именем «*Kutschiuzky*». В немецком романе «Странники восемнадцатого века», вышедшем в свет в середине десятилетия, описано, как Иисус и Апостол Иоанн скитаются по Польше, оплакивая конституцию 1791 года. В 1797 году был опубликован другой немецкий роман, «Сцены из польской революции», заимствовавший польские реалии из описания Шульца, но структурно повторявший «Любовные похождения кавалера де Фоблаза»²⁶. В 1790-м во Франции опубликованы воспоминания Морица Бениовского, в которых пересказывались его приключения от Польши до Мадагаскара; на немецкий их перевел не кто иной, как сам Георг Форстер. В 1795 году Бениовский стал героем немецкой драмы благодаря Августу Фридриху Котцебу, а в 1800-м еще и французской оперы благодаря Франсуа-Андре Буалдьё²⁷.

Эрнст Людвиг Поззельт в 1796 году сетовал, что, превратив Польшу в «древность», ее разделы сделали «историю и географию Европы короче на целую главу»; они уничтожили государство «после такого количества разделов, что почти каждый третий год появлялась необходимость в новой карте». Конечно, немецкое общественное мнение было далеко не единодушно в своих симпатиях к Польше, и нюрнбергским картографам, наследникам Хоманна, особенно не терпелось изгнать Польшу с карты Европы. Карта Гюззефельда 1794 года преждевремен-

но отказала Польше в собственном, отдельном цвете, хотя название страны по-прежнему было напечатано. На карте 1798 года Гюззефельд устранил и название²⁸.

В 1791 году, когда путешествовал Фихте, был издан вымышленный отчет немецкого путешественника, в котором он обнаруживает, что в Варшаве «поляки не знают, что люди способны думать и чувствовать и что знание возвышает человека»²⁹. Возможность приписать полякам меньшую степень «возвышенности» по шкале относительной человечности в те революционные годы можно было использовать и политически; немецкие писатели позволяли себе такие же вольности и когда речь шла о венграх. В 1792 году, когда националистические настроения, казалось, по-прежнему угрожали правлению Габсбургов в Венгрии, во Франкфурте и Лейпциге были опубликованы анонимные памфлеты, вероятно принадлежавшие перу Леопольда Алоиза Гоффманна, где венгров ставили на место при помощи риторических формул, отражавших подчиненное положение Восточной Европы. Эпиграф якобы взят из немецкого перевода «Соображений об образе правления в Польше» Руссо: «Я смеюсь над недостойными, которые, подогревшись выпивкой, осмеливаются говорить о свободе». Руссо был далек от такого отношения к полякам, и вообще речь шла о венграх, словно эти нации так жалки, что одна стоит другой. Недостойными автор полагал тех людей, которые «желают претендовать на цивилизованность (*Kultur*)», осмеливаясь равняться с «самыми просвещенными нациями»; их можно сравнить с «чванливыми глупцами в мещанстве». Далее он пишет, что, только когда Венгрии повезло попасть под власть Габсбургов, люди начали различать слова «*Ungar*» и «*Barbar*», венгры и варвары. Венгры претендуют на звание просвещенного народа (*Aufgeklärten*), но их политическая неуправляемость «снова показала их древнюю скифскую дикость». Их можно отнести только к «менее культурным нациям»; в том же абзаце они перед всей Европой показали себя как «вечно дикие варвары, во всей своей неприкрытости»³⁰. Культурные стереотипы XVIII века, подчинявшие Восточную Европу Европе Западной, позволили некоторым немецким писателям в революционное десятилетие отмахнуться от Польши и Венгрии, словно те недостойны политического внимания.

Фихте в Варшаве в 1791 году не принижал и не умалял значения раз развертывающейся вокруг него революции, а просто не заметил ее. Он был поглощен своими личными обстоятельствами, которые приняли неожиданный и неблагоприятный оборот. В Варшаву он приехал, чтобы стать домашним учителем в знатной польской семье, но когда явился к ним, то семье, в особенности графине, совсем не понравился. Дело в том, что Фихте был слаб во французском, и, по ее мнению, он не мог обучать этому языку юного графа. Завершая свой дневник, Фихте нарисовал на графиню злобную карикатуру; в ее пристальном взгляде есть что-то «дикое», в ее тоне — что-то «вульгарное»; она прикрывается «притворством», слишком много белится и румянится и вообще кажется «постоянно пьяной». Но что он мог поделать? Он написал ей письмо, конечно, по-французски, объясняя, что никогда бы не приехал в Варшаву, если бы думал, что от него ожидают чего-либо, кроме латыни, истории, географии, математики и самых начатков французского. Он надеялся, однако, что она будет достаточно великодушна и возместит ему «потерянное время, брошенные дела и расходы на обратное путешествие». Тогда он представит ее французскому аббату, «который владеет французским в совершенстве»³¹. Он потерял должность, из-за которой и ехал в Варшаву, а польская графиня, с ее дикими глазами и грубым тоном, посмела поставить себя выше его в культурном отношении.

В 1780 году, за десять лет до этого, появился оскорбительный французский памфлет «Европейский орангутан, или Поляк как он есть», называвший себя «методическим исследованием, получившим приз по естественной истории в 1779 году». По-видимому, расовые теории Форстера о «обезьяноподобных неграх» переместились в пародию на Польшу. Памфлет с методичной жестокостью именовал поляка «худшей, презреннейшей, отвратительнейшей, злейшей, ненавистнейшей, бесчестнейшей, тупейшей, грязнейшей, лживейшей и трусливейшей среди всех обезьян». Столь исключительную враждебность сначала приписали перу самого Фридриха, но позже установили, что автором, скорее всего, был некий французский офицер, уволенный из польской армии³². Уволить иностранца в Польше значило неизбежно вызвать лютую ненависть; возмож-

но, Фихте выражал свои чувства более приглушенно потому, что в конце концов вернулся победителем. Не теряя времени в Варшаве, он нашел корабль, который отвез его вниз по Висле до Гданьска, а оттуда он морем отправился в Кёнигсберг. Поездка в Варшаву была неудачной, и Фихте переосмыслил свое путешествие — Варшава стала лишь короткой остановкой на пути в Кёнигсберг, к Канту.

Оглядываясь назад, в письме к другу Фихте представил свое путешествие в Польшу как тривиальный и случайный эпизод:

После множества приключений в Силезии и Польше, через которые я, по своему обыкновению, ехал три недели, я прибыл в Варшаву; и дом, в который меня приглашали, настолько мне не подходил, что я немедленно воспользовался случаем, чтобы расторгнуть соглашение. Едва не последовала великая тяжба; но я позволил откупиться от меня несколькими дюжинами истертых дукатов, с которыми и пересек оставшуюся часть Польши; а оттуда отбыл в Кёнигсберг — догадайся, ради кого³³.

При таком объяснении поездки имела смысл, угадать который мог всякий. Польша была лишь пространством, которое надо пересечь с «приключениями», не стоящими описания. Неудача Фихте в Варшаве — лишь маловажный эпизод; вообще, он сам диктовал графине условия, разорвав соглашение и позволяя откупиться от себя. В письме, которое Фихте написал Канту в Кёнигсберге, чтобы представиться великому философу, Польша исчезает совершенно. Писал он, конечно, не по-французски, а по-немецки: «Я приехал в Кёнигсберг, чтобы лучше узнать человека, которого чествует вся Европа, но которого во всей Европе мало кто любит так же, как я»³⁴. Он представил Канту на рассмотрение философское эссе, оно понравилось, и Кант помог Фихте опубликовать его в 1792 году как «Опыт критики всякого откровения». Так случилось, что Фихте утвердил себя как философ благодаря путешествию в Польшу, а точнее — потому что путешествие было неудачным. Он проехал прямо через Польшу, навстречу своей философской славе, к восточному аванпосту немецкого Просвещения. По пути он сделал несколько побочных антропологических наблюдений о Польше и Пруссии, подытожив их восклицанием: «Боже, какая огромная разница!»

«ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ К НЕЦИВИЛИЗОВАННОСТИ»

В 1769 году, когда Гердер покинул Ригу и провозгласил рождение новой украинской цивилизации, в Ганновере, в будущем штате Нью-Гемпшир, был основан Дартмутский колледж. В 1770 году, когда Фортис отправился в Далмацию изучать морлахские обычаи, новая школа в Нью-Гемпшире постепенно превращалась в образовательный центр, целью которого была забота о так называемых дикарях, американских индейцах. Дартмутский колледж должен был готовить не этнографов, изучающих индейские обычаи, а, скорее, миссионеров, обращающих индейцев в христианство. В 1772 году в Дартмут поступил Джон Ледъярд, молодой человек из новоанглийской пуританской семьи; перед тем как бросить учебу, он успел провести некоторое время среди ирокезов. В конце концов он стал не миссионером, а моряком и путешественником. В 1776 году, когда Америка обрела независимость от Англии, Ледъярд находился в Англии и отправился с капитаном Куком в его третье и последнее плавание. Подобно участвовавшему во втором плавании Форстеру, Ледъярд посетил Новую Зеландию и Таити; самым неудачным оказалось посещение Гавайев, где в 1779 году Кук погиб на берегу в стычке с местными жителями. Кроме того, в поисках неуловимого Северо-Западного прохода вокруг Канады эта экспедиция побывала и в Беринговом проливе. На Алеутских островах Ледъярд повстречал русских торговцев мехом и смог оценить близость Сибири и Аляски, Российской империи и североамериканского континента³⁵.

В 1785 году в Париже Ледъярд попытался организовать экспедицию, чтобы пересечь Россию и Сибирь и затем исследовать северо-восточную часть Америки. Он советовался с Томасом Джефферсоном, американским послом в Париже, с Фридрихом Мельхиором Гриммом, культурным представителем Екатерины во французской столице, и с Джоном Полем Джонсом, который вскоре поступил на русскую службу. В 1786 году он писал своему кузену в Америку, что все готово для предстоящей экспедиции: «Примерно через две недели я отправляюсь из Парижа в Брюссель, Кёльн, Вену, Дрезден, Берлин, Варшаву, Петербург, Москву, Камчатку, к *Анадийскому морю* и Американскому побережью. Если я найду какие-нибудь

города между ним и Нью-Йорком, я тебе о них напишу»³⁶. Такое масштабное видение географической непрерывности, включавшей Западную и Восточную Европу, Азию и Америку, стало для Ледъярда предметом размышлений во время его путешествия, которое шло не вполне в соответствии с планом. В 1787 году, уже в Санкт-Петербурге, он писал Джефферсону в Париж, вспоминая о варварах древности: «Я могу лишь уверить Вас, что роскошную приятность вашего дивного климата не нарушит второе вторжение готов, вандалов, гуннов или скифов». В Санкт-Петербурге, однако, дело обстояло иначе: «С нами за одним столом был скиф, принадлежавший к местному Медицинскому обществу». Это шутка, но шутка, основанная на традиционном для XVIII века смешении Восточной Европы с древней Скифией. Там, в Петербурге, Ледъярд связался с Палласом, немецким знатоком естественной истории, который состоял на службе у Екатерины, исследуя Российскую империю, а также с французским послом в России, все тем же Сегюром. Он надеялся, что при их содействии Екатерина разрешит ему пересечь всю ее империю³⁷. Быть может, он не уделил этому достаточно внимания, а может быть, внимания не уделили ему, поскольку как раз в это время Екатерина и Сегюр готовились к своему большому крымскому путешествию. В любом случае полученного Ледъярдом разрешения оказалось недостаточно, и все предприятие окончилось нелепым провалом.

Сибирь была щекотливой темой в России XVIII века. Марк Бессин в своей работе «Изобретая Сибирь» предположил, что начиная с эпохи Петра образ России был основан на сочетании двух симметричных долей, европейской и азиатской³⁸. Если Западная Европа определяла свою собственную цивилизацию в основном через сравнение с полувосточной отсталостью Европы Восточной, то петровская и екатерининская Россия, приравнивавшая себя к Европе, подчеркивала противопоставление с колонизированной Сибирью, территорией явно азиатской. Такое разделение и делало Сибирь щекотливым предметом. Екатерина пришла в ярость, когда аббат Шапп д'Атрош, французский астроном, приехавший в Сибирь в 1761 году, чтобы наблюдать за прохождением Венеры через солнечный диск, опубликовал в 1768 году свое «Путешествие в Сибирь», изображавшее успехи цивилизации в России в самом невыгодном

свете. Царица разозлилась настолько, что сама сочинила по-французски «Антидот», в котором с презрением опровергала все заключения Шаппа³⁹. Возможно, она вспомнила о нем, когда узнала, почти двадцать лет спустя, что Сибирь пересекает Ледъярд.

Ледъярд вел «Дневник путешествия через Сибирь, к Тихому океану, в попытке совершить кругосветное путешествие», который начинался с путешествия из Казани на Волге до Тобольска за Уралом. Эти земли, отмечает он, «которые прежде принадлежали полякам, должно быть, и вправду очень бедны, если судить по виду их обитателей»⁴⁰. Как и у Шаппа, у него складывалось нелестное мнение о екатерининской империи, и почему-то он решил, что земли эти когда-то принадлежали Польше. В эпоху наивысшего расцвета Речь Посполитая включала левый берег Днепра, но ее граница никогда не подходила даже близко к Волге, не говоря уж об Урале. Ледъярд, несомненно, знал, что раздел Польши произошел совсем недавно и что Россия округлила свои владения за ее счет, но в политической географии Восточной Европы он совсем не разбирался. Новейшая история его не привлекала. Читая дневник, довольно быстро понимаешь, что начиная с первого появления татар около Казани его больше всего интересовала антропология различных рас:

Последовательные ступени, посредством которых осуществляется переход от цивилизации к нецивилизации, видны во всем: в их нравах, одеждах, языке и особенно в *цвете*. Теперь я твердо убежден, что это удивительное и важное обстоятельство происходит от естественных причин и является последствием местных внешних обстоятельств. То же самое относится и к *чертам*. Как и в Африке, я вижу здесь большие рты, толстые губы и широкие плоские носы⁴¹.

Представление о «последовательных ступенях, посредством которых осуществляется переход от цивилизации к нецивилизации» лежало в основе представлений о Восточной Европе, конструируемых веком Просвещения. Ледъярд, однако, помещает на эту шкалу и Сибирь, и вообще всю Евразию. Отметками на его цивилизационной линейке были пункты маршрута, который он набросал в Париже: Брюссель, Кёльн, Берлин, Варшава, Санкт-Петербург, Москва и Камчатка. Гердер рассматривал Европу и Азию с точки зрения физической

географии как «понижающуюся равнину», начинавшуюся у высот Татарии; в схеме Ледъярда земли понижаются от запада к востоку, от цивилизации к нецивилизованности, и все превращается в чистую метафору. Первыми в списке факторов, определяющих степень цивилизованности, были нравы, но Ледъярд подчеркивал также «цвет» и «черты», которыми и определялись расы. Казалось, он сам, подобно Форстеру, верил, что расовые различия — следствие «естественных причин», климата и окружения. Его интерес к расовому сходству татар и африканцев позднее привел его в Африку, и путешествие это оказалось еще неудачней, чем сибирский вояж.

К тому времени, когда Ледъярд достиг Енисея, он уже подразделял «татар» (для него — очень широкий термин) на три класса, руководствуясь характерными чертами и телосложением: «К третьему классу я отношу светлоглазых и светлокожих татар, к которым, я полагаю, относятся и казаки». Говоря о различиях между татарами и европейцами, Ледъярд уделяет особенное внимание ушам: «уши калмыцких и монгольских татар всегда отстоят дальше от головы, чем у европейцев». Чтобы сделать это довольно смелое обобщение, он измерил уши у трех татар и вычислил среднее расстояние, на которое их уши отстоят от головы. Кроме того, интерес к расовым проблемам проявился в многочисленных описаниях детей от смешанных браков. Он изучил глаза и волосы «четырех детей от калмыка и русской», а также женщину, «чья мать была якутской дикаркой, а отец — русским». Этот последний случай «укрепил меня во мнении, что различие цвета кожи не проистекает из замыслов Создателя», но, скорее, отражает «воздействие природы». У русских, по его словам, «скорее азиатские, чем европейские манеры», но с точки зрения этнографии они связаны с Европой, особенно с Восточной Европой. Здесь измерения неуместны, и он давал волю фантазии: «Собственно руссы происходят от поляков, славян, богемцев и венгров». Те, в свою очередь, происходили от греков, греки — от египтян, а египтяне от халдеев. словно стремясь подтвердить достоверность этой генеалогической цепочки, Ледъярд сделал интересное замечание: «нынешние руссы одеваются как египтяне»⁴². Два года спустя его встреча с Египтом и египтянами окончилась внезапной и таинственной смертью.

В Якутске Ледъярд наблюдал людей, «рожденных наполовину русскими, наполовину татарами», и считал, что они «сильно отличаются от татар и руссов и значительно их превосходят». Он задавался вопросом, не межрасовые ли браки сделали «европейцев непохожими на татар и негров», не в них ли естественный источник «различий в человеческом роде». Увидев «человека, произошедшего от якута и русской, и сына этого человека», он задумался о передаче расовых черт дальше первого поколения и писал, стремясь создать науку о расах: «Я заключаю, таким образом, что после первого поколения действие природы или вовсе не влияет на цвет, или влияет незначительно. Кроме того, я заметил, что, когда от поколения к поколению цвет все-таки меняется, переход от темного к более светлому случается гораздо чаще». Он упорно складывал случайные кусочки расовых признаков, пытаясь на основе своих сибирских наблюдений сформулировать научные принципы. Естественно, его выводы строились вокруг предполагаемых «последовательных ступеней» цивилизованности, понижавшейся от Европы к Азии: «Те же самые нечувствительные степени, которые привели меня с высот цивилизованного общества в Петербурге к сибирской нецивилизованности, привели меня от светлолицых европейцев к меднокожим татарам». Таким образом, раса и цивилизация для Ледъярда — взаимосвязанные факторы; мало того, оба они изменялись вдоль одной и той же оси, проходящей с запада на восток. В своих обобщениях он шел еще дальше: «Мое основное замечание таково: в сравнении с европейской цивилизацией огромное большинство человечества неразвито и, по сравнению с европейцами, оно темнее по цвету. Не существует белых дикарей, и почти у всех нецивилизованных народов кожа коричневая или черная»⁴³.

Наблюдения Ледъярда следовали за его продвижением через просторы Европы и Азии, домыслы же уносились в Африку. «Меднокожие» татары не были, конечно, неграми, но, приняв во внимание не просто цвет кожи, а еще и «форму и черты лица», он обнаружил связь между ними: «Я заметил, что это не европейское лицо ... а скорее африканское». Он продолжал это сравнение, описывая черту за чертой — носы и ноздри, губы и рты, глаза и скулы. Все татары для Ледъярда выглядели одинаково, хотя на самом деле он сталкивался в Сибири с представителями разных народов, и не все они считали себя тата-

рами. «Я не знаю другой нации, — замечал он, — другого народа на земле, кроме китайцев, негров и евреев, обладающего таким однообразием черт, как азиатские татары». Возможно, полагал он, причина этого однообразия отчасти в том, что «они всегда были дикарями, отвергавшими цивилизацию, и поэтому до самых недавних пор не смешивались с другими нациями, да и сейчас смешиваются очень редко». Да и вообще, «они больше жили среди зверей в лесах, чем среди людей»; а это, конечно, казалось значимым для того, кто верил, что расовые различия определяются воздействием окружающей среды. Тем не менее он допускал, что его научные знания ограничены: «Я не знаю, насколько постоянная жизнь среди зверей может изменить черты лица у данного народа». Это был передний край так называемой науки, и Ледъярд слышал об одном английском анатоме, который изучал «голову негра», чтобы выяснить, похожа ли она на голову обезьяны: «Если бы я мог, я послал бы ему голову татарина, живущего охотой и постоянно находящегося среди животных, с широкими скулами. Возможно, он обнаружил бы анатомическое сходство с лисой, волком, собакой, медведем и т.д.»⁴⁴. Пока Ледъярд мог только измерить уши живых образчиков, но предполагал возможность и более радикального подхода к научным исследованиям.

Философы Просвещения и до этого размышляли о расовой принадлежности татар. Обсуждая в 1749 году в своей «Естественной истории» «разнообразие в человеческом роде», Луи Бюффон счел татар исключением среди белой расы: «В черной расе, как и в белой, множество вариаций; подобно белым, черные имеют своих татар и своих черкесов». В 1754 году Дэвид Юм предварил свое эссе 1748 года «Национальные характеры» замечанием о расах, где татары тоже выделялись в особую категорию. По его словам, он «склонен подозревать», что черные «от природы ниже белых». Он полагал, что «никогда не было цивилизованной нации какого-либо цвета, кроме белого» и что даже «самые грубые и дикие из белых, как древние ГЕРМАНЦЫ или современные ТАТАРЫ, все же имеют что-то примечательное»⁴⁵. Татар чаще отождествляли с древними скифами, чем с германцами, но в середине века ученые, по крайней мере, сходились на том, что они белые. С этим согласны и Бюффон и Юм, хотя оба считали татар исключением. Принадлежность татар к белой расе была важна не только потому, что их свя-

зывала с Европой нисходящая евразийская равнина Гердера, но и потому, что некоторые татары действительно жили в Европе, в Крыму или на Волге, то есть в Восточной Европе. Однако Ледъярд, со своей американской точки зрения, был готов усомниться в принадлежности татар к белой расе. Он соглашался с Юмом, что все цивилизованные народы — белые, но не находил в татарах ничего «примечательного», кроме разве что ушей; он добавил, что «не существует белых дикарей». Для разрешения этой проблемы Ледъярд выдвинул смелую гипотезу, основанную на своем американском опыте.

Летом 1787 года он писал из Сибири в Париж Томасу Джефферсону, с волнением делаясь с ним необычайным открытием:

Не увидевшись с Вами, — а может быть, даже и тогда, — я не смогу передать Вам, до чего татары похожи на аборигенов Америки. Это один и тот же народ, очень древний и самый многочисленный из всех существующих, и если бы не маленькое море между ними, их бы по-прежнему знали под *одним именем*. Одевания цивилизации столь же мало идут им, как и нашим американским тата-рам. Они долго были татарами и еще нескоро изменятся⁴⁶.

Татары — это просто американские индейцы, индейцы — американские татары, одинаково чуждые цивилизации, и Ледъярд, общавшийся и с теми, и с другими, как раз и мог обнаружить их тождественность. Уже в первую встречу с татарами в Казани он определил, что их украшения — «всего лишь разновидность *вампума*». На озере Байкал он обнаружил, что «их шатры, или вигвамы, покрыты берестой или кожами, как и настоящие американские вигвамы». Различия сводились лишь к названиям: «*юрта*, или *хижина*, как мы обычно их называем, или *вигвам*, как его обычно называют американские татары». Он видел татуировки, напомнившие ему «племя могикан в Америке», и слышал о похожих отметках среди «молдавских крестьян». Он размышлял над обычаем скальпирования у древних скифов и у современных американских индейцев, вспоминая даже гавайцев, то есть «индейцев Оаху», которые «принесли часть головы капитана Кука, но отрезали у него все волосы». Он считал «примечательным, что и азиатские, и американские татары очень целомудренно, или суеверно, относятся к женщинам в пору месячных недомоганий»⁴⁷. Все эти этнографические данные подтверждали его расовую гипотезу, выводимую из их кажущегося внешнего сходства. И американские, и ази-

атские татары подразделяются на племена, «но природа поставила преграду этому и любому другому разделению, отметив их, где бы они ни находились, неоспоримым признаком татар. На Новой Земле, среди монгольских племен Гренландии, на берегу Миссисипи они везде одинаковы». Кроме того, они одинаково чужды цивилизации, и Ледъярд риторически спрашивает, могут ли татары сделать часы или телескоп. «В Соединенных Штатах Америки, как и в России, — пишет он, — мы очень старались научить наших татар думать и поступать как мы, но что толку?»⁴⁸ Еще в Дартмуте он, должно быть, задумывался об обращении индейцев в христианство, но теперь, объехав весь мир, считал, что прежде всего их надо обратить в цивилизацию.

Фортис обнаружил, что в Далмации носят бусы и монеты в волосах на «татарский или американский манер». Даже Гиббон не чуждался параллелей между Америкой и Восточной Европой, когда писал о венгерских шатрах, татарских луках, русских беличьих шкурках и казачьих каное. Однако лишь Ледъярд мог делать выводы на основании своих личных наблюдений. Более того, дабы подтвердить свою этнографическую гипотезу о тождественности татар и индейцев, он собирался пересечь Сибирь до самой Камчатки и продолжить исследования на Тихоокеанском побережье Северной Америки. Однако за двести миль от океана его неожиданно арестовали по приказу царицы, под конвоем отправили на запад через всю Российскую империю и без особых церемоний бросили в Польшу. Екатерина вернулась из Крыма и узнала, что Ледъярд ездил по Сибири без должного разрешения. Американский современник, назвав Ледъярда «странным гением», сетовал, что, «возможно, женский каприз помешал миру получить новые и важные сведения, обретенные в этом необычайном путешествии, будь оно завершено»⁴⁹. Пока Ледъярда, против его воли, везли назад в Восточную Европу, он с возмущением настаивал на своей невиновности.

Его этнографические исследования казались особенно странными в сравнении с безобидным путешествием по Сибири англичанина Джона Паркинсона пять лет спустя; вполне возможно, что именно эта странность навлекла на Ледъярда подозрения в Санкт-Петербурге. Паркинсон был священником и сопровождал молодого джентльмена по фамилии Бутл, ко-

торый не мог поехать во Францию из-за якобинского террора и отправился в необычное «северное турне». Хотя путешествие это и называли «северным», Паркинсон в путевом дневнике отмечает различия между Россией и «западной Европой». Он восхищается «пестрой толпой» при петербургском дворе, «смешением казаков, киргизов и татар». Особенно его развлекали казачьи и русские танцы, в которых ему чудился «привкус... дикого и варварского». Затем Паркинсон покинул столицу и отправился посмотреть империю, вполне традиционно отмечая «жалкое состояние дорог». Ссылаясь на Кокса, он отметил, что на Волге пересек границу между Европой и Азией. Прояхав Урал, он оказался в Сибири и добрался до самого Тобольска. Там он видел сибирские пляски на празднике по случаю дня рождения Екатерины⁵⁰. Вернувшись на Волгу, Паркинсон повстречал Палласа; встретил он и калмыков, заметив, что «ни разу в жизни не видел таких умиротворенных, человеколюбивых, довольных лиц, как у этих добрых людей». Такие слова очень далеки от расовой физиогномики Ледъярда. Паркинсона заинтересовали гусиные бои, «русский национальный вид спорта»; национальные костюмы Поволжья показались ему «очень живописными и приятными», а позже его «потешили» черкесы, исполнявшие «великое множество своих народных танцев»⁵¹. Подобно другим путешественникам, Паркинсон оценил живописность Восточной Европы; его отношение, острое, возможно, современной восприимчивостью ко всему фольклорному, только подчеркивало радикальность и необычность антропологических построений Ледъярда.

До своего ареста, все еще надеясь отправиться из Сибири в Америку, Ледъярд знал, что рано или поздно поедет в Африку, чтобы завершить свои расовые исследования. В Якутске он думал о конце своих путешествий с каким-то недобрым предчувствием: «Исследовав Африку (надеюсь, не ранее), я лягу в землю, заняв малую толику того самого земного шара, который я изучал». Его преждевременное возвращение из Сибири в Европу, да еще арестантом, на время нарушило североамериканские планы, вновь обратив его помыслы к Африке. 4 июля 1788 года он послал записку Джефферсону в Париж:

Г-н Ледъярд свидетельствует свое почтение г-ну Джефферсону. Когда он почти достиг Тихого океана, российская императрица арестовала его и выслала из своих владений. Сейчас он на пути в Аф-

рику, где намеревается посмотреть, что можно сделать с этим континентом⁵².

Джефферсон написал в марте 1789 года в американское посольство в Испании:

Последние известия о Ледъярде (еще одном нашем отважном соотечественнике) я получил из Каира. Он тогда отправлялся в неизвестные области Африки, возможно, чтобы не вернуться. Если он вернется, он обещал мне поехать в Америку и от Кентукки пробраться до ее самой западной окраины⁵³.

Ледъярду, однако, не суждено было исследовать Америку и даже Африку; его путь закончился в Каире. Он скончался там в тридцать восемь лет при таких обстоятельствах, что поневоле сочтешь его не только «странным гением», но и неуравновешенным человеком. Из Каира сообщения о его смерти достигли Англии, и Томас Пейн переправил их в Париж Томасу Джефферсону. Ледъярд собирался выехать из Каира, но погода мешала его отъезду, и «г-н Ледъярд оскорбился задержкой и в такой ярости обрушился на проводников, что с его организмом что-то случилось». У него лопнул кровеносный сосуд, и он умер в считанные дни⁵⁴. Уже возвращаясь под арестом из Сибири, он обращал свои исследовательские мечты к несчастной африканской экспедиции; однако, прежде чем отправиться в Африку, он был вывезен из Сибири в Европу и затем уже сам перебрался из Восточной Европы в Западную.

«МЕЖДУ ВОСТОЧНЫМ МИРОМ И ЗАПАДНЫМ»

С нетерпением ожидая конца своей «несчастной поездки», безвинно арестованный Ледъярд сначала ликовал, оставив Россию позади и въехав в Польшу свободным путешественником. «О, свобода, свобода! Как милы твои объятия!» — восклицал он. «Встретив тебя в Польше, я благословляю эту страну и считаю, что благословлять ее должна всякая добрая душа». Энтузиазм его с самого начала ограничивала ироническая снисходительность, и добросердечие его почти немедленно пошло на убыль, когда он снял квартиру у еврея, в «большом грязном доме, где много мусора, шума и детей». Он

обнаружил для себя целую область на польско-русской границе, «населенную только евреями, которые очень надоедливы». Однако не многочисленность евреев, а, скорее, бедность крестьян побудила Ледъярда пересмотреть свои благословения Польше. «Досада на российскую императрицу» сделала его «сторонником польского короля», как только он въехал в его владения, но через три дня он хотел лишь «поскорее выбраться из страны». Его ужасало зрелище «не просто самых бедных крестьян, но самых бедных людей», которых он когда-либо видел. Они были самые «исковерканные, хилые, увечные, болезненные, недокормленные, оборванные и неказистые». Со своей страстью к точным измерениям он подсчитал, что у тех, кого он видел, «средний рост — 5 футов и 2, 4 или 5 дюймов, все они плоскостопые, с вывернутыми коленями»⁵⁵. Угнетение крестьян, которых воспринимали как рабов, было для путешественников XVIII века одним из отличительных признаков Восточной Европы, но Ледъярд переводил эту проблему на язык физиологической антропологии, и жалость его явно смешивалась с отвращением.

Прибыв прямо из Азии, направляясь в Западную Европу, спешивший пересечь Польшу Ледъярд все же отметил промежуточность ее географического положения. Конечно, он истолковал это с точки зрения этнографии, так что обычаи и нравы очерчивали территорию Восточной Европы:

В одежде и в обычаях здесь все перемешано. Трудно описать, как воздействует на местных жителей то, что страна расположена между восточным миром и западным. Евреи — совершенно в восточном стиле... В поляках же (если включать дам, которые, по-моему, лучшие судьи, когда речь идет об одежде и опрятности) больше европейского, чем азиатского; но и одежда, и нравы Европы сидят на них дурно⁵⁶.

Европейские одежды и нравы, которые «дурно сидели» на поляках, напоминают «одежды цивилизации», мало подходившие татарам, с точки зрения придиричивого Ледъярда. Этим риторическим приемом он одним махом отделил Восточную Европу от Западной, объявив, что «грубые, неразвитые, причудливые, фантастические вкусы отделяют и Польшу, и Россию от европейского духа»⁵⁷. Руководствуясь собственными вкусами, этот «странный гений» из Америки отказывал Польше

и России в «европейском духе». Его собственные взгляды были нередко весьма причудливыми, но в данном случае он близок к традиционной просвещенческой точке зрения. Вольтер указывал на различие между «нашей частью Европы», отличающейся превосходством «своих нравов и своего духа», и другой частью, протянувшейся от Фракии до Татарии.

«Сегодня после обеда я оставил Вильну, окрестности которой с западной стороны очень красивы», — записал Ледъярд в дневнике. Однако он там не засиделся, поскольку даже «западная сторона» Вильны была недостаточно западной.

Я с радостью покинул ее ради дивных стран Запада. Без этого маленького турне, основываясь лишь на сведениях, я бы никогда не приобрел правильного представления о том, насколько восточный мир во всех отношениях ниже западного и какая огромная разница открывается в сердцах и даже умах людей. Если развитие дает такие плоды, я не вижу ничего невероятного в предположении, что люди Запада могут стать ангелами⁵⁸.

Носителями «европейского духа», несомненно, были «дивные страны Запада». Контраст между Востоком и Западом выражается у Ледъярда в виде географического вектора, и его «маленькое путешествие» показывает, что «северное турне» Паркинсона стало к тому времени анахронизмом.

«Люди Запада» предстают у Ледъярда ангелами, резко контрастируют с его восприятием польских крестьян, «низшего рода людей, рабов»; он не может «вынести даже их вида». Увидев раба, он ощущал, что надо «подумать и сделать что-то вместо него», но «не было времени ни на то, ни на другое». Времени ему не хватало, особенно потому, что он торопился скорее покинуть Польшу, немилосердно браня ее по дороге:

Прекрасная погода для этого времени года. В поляках меня ничто не интересует; возможно, потому, что я глуп или невнимателен, и я желал бы, чтобы у них и вправду было подобное оправдание, но в душе я в этом сомневаюсь⁵⁹.

Конечно, дело было в их, а не его глупости; Польша с Россией оказались отрезанными от европейского духа не из-за его, а из-за их странностей. Отделавшись от поляков и смешав их в одну кучу с русскими, оставалось только отождествить их с сибирскими татарами, поскольку «восточный мир во всех от-

ношениях ниже западного». Ледъярд судил как типичный этнограф, и в общую кучу он добавляет евреев («совершенно в восточном стиле») как удобную мерку:

Любопытно, как неизменно евреи соблюдают обычай: молодые женщины и девственницы не покрывают головы, а замужние — прячут волосы. Евреи вообще очень упорны в своих обычаях, и если бы изначально они были хорошим народом, то сейчас были бы лучшими на Земле. Такого же обычая придерживаются поляки, русские и татары. Вот еще один из тех восточных обычаев, которые происходят из восточной ревности. Когда женщина выходит замуж, ее словно клеймят, как мы клеймим купленную лошадь. Спрятать волосы — все равно что отрезать их; и это так же нелепо, как отрезать уши. Мужчины ранних и нецивилизованных сообществ всегда обращались так с этой безобидной и прелестной половиной рода человеческого⁶⁰.

Таким образом, «восточные обычаи» этнографически объединяют евреев, поляков, русских и татар; вслед за этим, создавая всеобъемлющую концепцию Восточной Европы, Ледъярд объявляет эти обычаи «нелепыми» и «нецивилизованными». Заметим, что об отрезании ушей он говорит насмешливо, хотя и сам интересовался анатомией и даже собирался (возможно, в шутку) послать в Лондон голову татарина для дальнейшего изучения.

Целостный и последовательный «восточный мир» внезапно закончился, как только Ледъярд пересек границу между Польшей и Пруссией. За три года до того Сегюр пересек ее в обратном направлении, двигаясь из Пруссии в Польшу, и почувствовал, что «окончательно покинул Европу». Теперь Ледъярд не сомневался, что наконец вернулся в «дивные страны Запада». Он привлек все свои познания в этнографии и весь свой опыт путешествий, чтобы исследовать завесу, разделившую Восточную Европу и Европу Западную:

Быстрые переходы, которые я недавно совершал от одного королевства к другому, уделяя лишь беглое внимание их различным нравам, так приучили меня замечать все, что я вижу, и размышлять над этим, что теперь, должно быть, ничто не ускользает от меня. Мне хорошо знакомы мельчайшие детали, и, как у старых индейских охотников, мои глаза и уши приспособлены к моему положению... На одних этапах путешествия этот переход был столь незаметным из-за отличий в характерах различных народов, что я не всегда замечал эти ступени... Другие были довольно резкими, но все они

меркли по сравнению с тем, что я отметил сегодня, въехав во владения покойного короля Пруссии⁶¹.

Благодаря поразительной трансформации, напоминавшей о его дартмутских днях, Ледъярд вообразил себя в роли американского индейца, старающегося отыскать след цивилизации. Плавный переход и последовательность ступеней, которые он обнаружил, явно были те же, что и прежние, к которым он неоднократно обращался, когда ехал с запада на восток, «последовательные ступени, посредством которых осуществляется переход от цивилизации к нецивилизованности». Теперь он двигался с востока на запад, возвращаясь к цивилизации, и переход от одной ступени к другой был менее постепенным, а переход из Польши в Пруссию, въезд в Западную Европу — «довольно резким».

Он подытожил этот переход в перечне пороков и добродетелей, определяющих превосходство цивилизации и благодаря которым «восточный мир во всех отношениях ниже западного»:

Проехав всего три английские мили, я совершил скачок через великий барьер, разделяющий азиатские и европейские нравы; скачок от раболепия, праздности, нечистоплотности, тщеславия, бесчестности, подозрительности, трусости, мошенничества, скрытности, невежества, низости и я не знаю еще чего — ко всему противоположному: деятельному трудолюбию, искренности, чистоплотности, обильной еде, хорошим манерам, любезному вниманию, твердости, разумности, бодрости, а главное — честности, которой, поверьте, я не встречал ни в одном человеке, с тех пор как впервые отправился от Балтики на восток и на север. Приветствую тебя, Европа, и горячо обнимаю!⁶²

«Последовательные ступени» сменились «великим барьером», местонахождение которого он установил с совершенной точностью. То, что стольким особенностям обычаев, нравов и народного быта удалось найти определенное место по ту или иную сторону барьера, отделяющего европейский дух от «всего противоположного», — барьера, разделяющего «азиатские и европейские нравы», было настоящим географическим парадоксом. Как-никак, Ледъярд уже проехал по Европе тысячу миль с той самой минуты, как снова пересек Урал или, по крайней мере, Волгу. Парадокс этот разрешала только концепция Восточной Европы.

Это не простая география, но, по выражению самого Ледъярда, «философическая», отражающая интеллектуальное влияние Просвещения.

Не знаю, где поместить философическую географию других частей Европы, но если тщеславие когда-нибудь подвигнет меня на такую попытку, я знаю, где установить основание моего компаса. В границах, отмеченных здесь великим Фридрихом, есть что-то исключительно важное. Если бы он был татарин, его великий дух не стал бы проклятием всей Азии, как у полудикого Чингисхана с его бессмысленными завоеваниями, но с той же ловкостью и энергией очистил эту постыдную и почти бесполезную часть мира от губительных источников зла, которое и по сей день замедляет смелые и благородные начинания сынов Европы, стремящихся сделать общество достойным человека и, осмелюсь добавить, угодным Богу⁶³.

Фридрих умер за два года до этого, в 1786 году, и Ледъярд мог взывать к его памяти, превращая его «великий дух» в символ «европейского духа». Ледъярд обращался к Фридриху подобно Вольтеру, который летописал приключения Карла XII, чтобы фантазировать о завоеваниях в Восточной Европе и за ее пределами. Когда внимание обращалось к ней, европейский дух часто оказывался духом завоевания и господства, конечно — во имя «смелых и благородных начинаний», во имя цивилизации. И Сегюр, считая, что совершенно покинул Европу, и двигавшийся в противоположном направлении Ледъярд, снова принимавший Европу в горячие объятия, имели в виду, что есть две Европы, Восточная и Западная. Они оба открыли Восточную Европу, так как нуждались в ней, ибо отсталость этой «вспомогательной территории» только подчеркивала преимущества европейского духа — духа ангелов цивилизации, обитающих в дивных странах Запада.

¹ *Arnold Robert*. Geschichte der Deutschen Polienlitteratur: von den Anfngen bis 1800. Halle: Max Niemeyer, 1900. P. 145.

² *Ibid.* P. 52.

³ *Ibid.* P. 87.

⁴ *Fichte Johann Gottlieb*. Briefwechsel. Vol. I. Ed. Hans Schulz (Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1967. P. 171—175.

⁵ *Arnold*. P. 8—15, 40—56; *Wipperman, Wolfgang*. Der “Deutsche Drang nach Osten”; Ideologie und Wirklichkeit eines politischen Schlagwortes. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981. P. 22.

⁶ *Arnold*. P. 27—29, 31—33, 95—96.

- ⁷ *Fichte*. P. 175.
- ⁸ *Ibid.* P. 176.
- ⁹ *Ibid.* P. 176—178, 181—183.
- ¹⁰ *Schulz Joachim Christoph Friedrich*. Reise nach Warschau: Eine Schilderung aus den Jahren 1791—1793. Ed. Klaus Zernack // Polnische Bibliothek. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1982. P. 10—13, 24—25, 32—33.
- ¹¹ *Ibid.* P. 348—349.
- ¹² *Burleigh Michael*. Germany Turns Eastward: A Study of Ostforschung in the Third Reich. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988. P. 26—28, 105—107, 176—179.
- ¹³ *Herder Johann Gottfried*. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit // Herders Werke. Vol. IV. Ed. Regine Otto. Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1982. P. 472.
- ¹⁴ *Steiner Gerhard*. Georg Forster. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagbuchhandlung, 1977. P. 8—46.
- ¹⁵ *Forster Georg*. Briefe // Werke. Vol. IV. Ed. Gerhard Steiner. Frankfurt: Insel Verlag, 1970. P. 320.
- ¹⁶ *Arnold*. P. 108—109; *Wippermann*. P. 21.
- ¹⁷ *Arnold*. P. 109.
- ¹⁸ *Ibid.* P. 113—114.
- ¹⁹ *Forster Georg*. Noch etwas über die Menschenrassen // Forsters Werke. Vol. I. Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag, 1968. P. 3—4, 16—17.
- ²⁰ *Ibid.* P. 22, 25.
- ²¹ *Ibid.* P. 33.
- ²² *Fichte*. P. 183—184.
- ²³ *Schulz*. P. 370; *Arnold*. P. 90.
- ²⁴ *Schulz*. P. 40, 43, 68, 70, 136, 177—178.
- ²⁵ *Arnold*. P. 78, 119—121, 161, 167—177.
- ²⁶ *Ibid.* P. 127, 179—181.
- ²⁷ *Ibid.* P. 190—191.
- ²⁸ *Ibid.* P. 161; *Güssefeld*. «Europa». Nürnberg, 1974; *Güssefeld*. «Charte von Europa». Nürnberg, 1798.
- ²⁹ *Arnold*. P. 113.
- ³⁰ *Hoffmann Leopold*. Grosse Wahrheiten und Beweise in einem kleinen Auszuge aus der ungarischen Geschichte. Frankfurt; Leipzig, 1792. P. ii, xi—xii, xvii, xxi, xxv.
- ³¹ *Fichte*. P. 185—187.
- ³² *Arnold*. P. 63, 144.
- ³³ *Fichte*. P. 214.
- ³⁴ *Ibid.* P. 196.
- ³⁵ *Ledyard John*. John Ledyard's Journey Through Russia and Siberia 1787—1788: The Journal and Selected Letters. Ed. Stephen D. Watrous. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1966. P. 3—10.
- ³⁶ *Ibid.* P. 19.
- ³⁷ *Ibid.* P. 123—124.
- ³⁸ *Bassin Mark*. Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century // American Historical Review 26, no.3 (June 1991). P. 767—770.
- ³⁹ *Lortholary Albert*. Le Mirage russe en France au XVIIIe siècle. Paris: Boivin, 1951. P. 112—114; *Mohrenschildt Dmitri von*. Russia in the Intellectual

Life of Eighteenth-Century France. New York: Columbia Univ. Press, 1936. P. 191—197; *Chappe d'Auteroche*. Voyage en Sibérie. 4 vols. Paris: Chez Debure, 1768.

⁴⁰ *Ledyard*. P. 143.

⁴¹ *Ibid.* P. 144.

⁴² *Ibid.* P. 145, 153, 156—158, 161.

⁴³ *Ibid.* P. 174, 177—178.

⁴⁴ *Ibid.* P. 178—180, 193.

⁴⁵ *Duchet Michèle*. Anthropologie et Histoire au siècle des lumières: Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot. Paris: François Maspero, 1971. P. 258; *Marshall P.J. and Glyndwr Williams*. The Great Map of Mankind: British Perception of the World in the Age of Enlightenment. London: J.M. Dent, 1982. P. 246; *Hume David*. Of National Characters // Essays: Moral, Political, and Literary: By David Hume. Vol. I. Ed. T.H. Green, T.H. Grose. London, 1982; rpt. Scientia Verlag Aalen, 1964. P. 252.

⁴⁶ *Ledyard*. P. 127.

⁴⁷ *Ibid.* P. 144, 164, 177, 182, 194—195.

⁴⁸ *Ibid.* P. 145, 180.

⁴⁹ *Ibid.* P. 257.

⁵⁰ *Parkinson John*. A Tour of Russia and the Crimea 1791—1794. Ed. William Collier. London: Frank Cass, 1971. P. 56, 63, 66, 98, 109, 118, 138.

⁵¹ *Ibid.* P. 148, 151, 153, 188.

⁵² *Ibid.* P. 167, 252—253.

⁵³ *Ibid.* P. 257.

⁵⁴ *Ibid.* P. 30—31.

⁵⁵ *Ibid.* P. 201—205.

⁵⁶ *Ibid.* P. 210.

⁵⁷ *Ibid.* P. 211.

⁵⁸ *Ibid.* P. 223.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.* P. 223—224.

⁶¹ *Ibid.* P. 227—228.

⁶² *Ibid.* P. 223—224.

⁶³ *Ibid.* P. 228—229.

Заключение

Восточная Европа была плодом философского и географического синтеза; ее изобрели люди эпохи Просвещения. Разумеется, сами по себе восточноевропейские земли не были ни изобретением, ни выдумкой. И они, и населявшие их народы всегда оставались вполне реальными и действительно лежали к востоку от некоторых земель, занимавших относительно них более западное положение. Дело вовсе не сводилось к наделению этих реально существующих земель некими придуманными или мифическими свойствами — хотя в XVIII веке не обходилось и без этого. Описания, оставленные авторами эпохи Просвещения, не были прямой ложью или выдумкой. Напротив, путешествия становились все более амбициозными, а наблюдения — все менее наивными; словом, эти земли посещали гораздо чаще и изучали гораздо тщательнее, чем когда бы то ни было. Открытие же или изобретение состояло в том, что между этими землями устанавливали связь, основанную и на фактах, и на вымысле, благодаря которой и возникла Восточная Европа как аналитическая категория. Она представляла собой набор наблюдений, которые обобщали и связывали воедино самые разнообразные земли и народы. Именно в этом смысле Восточную Европу можно назвать культурной конструкцией или сказать, что ее породило интеллектуальное изобретательство Просвещения.

Хотя установление связей между этими странами и означало, по сути, изобретение Восточной Европы, между некоторыми из них действительно существовало значимое сходство; но были и громадные различия. Изобретая Восточную Европу, западные интеллектуалы предпочитали обращать внимание лишь на сходства, образовавшие некую общую схему, и не замечать различий, которые в нее не вписывались. Самый вопиющий пример тому — статья о Венгрии в знаменитой «Эн-

циклопедии» Дидро и д'Аламбера, своеобразном кодексе научных знаний, составленном в соответствии с высокими стандартами Просвещения. Справляясь с «Энциклопедией», просвещенные читатели узнавали, что «венгерский язык является диалектом славянского» и потому «состоит в некотором родстве с языками Богемии, Польши и России». Эта явная ошибка не была сделана намеренно, чтобы обмануть или запутать читателя, но тем не менее позволяла установить «некоторое родство» между языками и странами. В других случаях ошибочность или правдивость тех или иных утверждений может казаться более относительной, но любая категория, основанная на сходстве, свидетельствует о выделении и отборе — кто-то расположил сходства и различия таким образом, чтобы из всех возможных калейдоскопических сочетаний они сложились именно в такую, а не иную схему.

Карта Европы позволяет составить на ее основе ограниченное количество комбинаций. Стрелки компаса обозначают сочетания парных направлений — север и юг, восток и запад; этим бинарным оппозициям были приписаны культурные значения, основанные на выделяемых сходствах и различиях, а также на представлениях о верховенстве и иерархии. Изобретение Восточной Европы было переломным моментом в интеллектуальной истории: если Ренессанс считал основополагающим разделение Европы на север и юг, то Просвещение сочло более важным разделение континента на запад и восток. Прежде чем появиться на карте, Восточная Европа родилась в головах просветителей.

Аналитические категории, задававшие карту Восточной Европы, отражают стремление Просвещения установить взаимосвязанность ее составных частей. Сегюр описал Санкт-Петербург через набор бинарных оппозиций: «век варварства и век цивилизации, десятое и восемнадцатое столетия, азиатские и европейские манеры, грубый скиф и утонченный европеец». К середине XIX столетия эта формула стала незыблемой, и через бинарный контраст «между Европой и Азией, между цивилизацией и варварством» Бальзак описывал уже все восточноевропейские народы. В основание культурной схемы, на которой построена Восточная Европа, легли парные аналитические противопоставления, придававшие однородность этому региону и его разнообразным землям. Если географическое

представление о Восточной Европе было основано на противопоставлении Европы и Азии, то ее насущная философская важность для эпохи Просвещения вытекала из противопоставления цивилизации и варварства. Тем не менее эти взаимосвязанные определения отнюдь не были четкими, а сами эти земли зачастую были не похожи друг на друга. Эпоха Просвещения живо интересовалась всем восточным и вовсе не стремилась безусловно уравнивать азиатский континент с варварством. Эти категории лишь накладывались друг на друга, и беспорядочное сочетание бинарных оппозиций создавало интеллектуальное напряжение, так что сама искусственная связь между восточноевропейскими землями оставалась крайне неустойчивой.

Неустойчивость Восточной Европы как культурной конструкции и помогает деконструировать эту концепцию в конце XX века. Цель, однако, оказывается интригующе неуловимой. Чем больше несовпадений и противоречий обнаруживаем мы в самой концепции Восточной Европы, тем непременно нам придется признать, что само Просвещение явно дорожило этими противоречиями как краеугольным камнем всего построения. Въехав в Польшу, Сегюр почувствовал, что «окончательно покинул Европу»; оказавшись в Крыму, принц де Линь думал о том, можно ли отнести к Европе край, «столь мало ее напоминающий». Для них обоих Восточная Европа была парадоксом, бросающим вызов традиционным представлениям о сходстве и родстве. Границы, ставшие подвижными благодаря разделам Польши и отступлению Османской империи, и даже неопределенная и вызывавшая споры восточная граница Европы, проходившая то по Дону, то по Волге, то по Уралу, то по Енисею, не подрывали концепцию Восточной Европы; наоборот, концепция эта росла и развивалась за счет собственной неустойчивости.

Вольтер предлагал «упорядочить хаос». Сначала, в его истории Петра, это звучало как интеллектуальная задача, а затем, в его письмах Екатерине, — как военная цель. Сходным образом Пейсоннель стремился «разобраться в смешении» разнообразных варваров, населявших Восточную Европу в древности. Однако и Вольтер и Пейсоннель с таким рвением запутывали этот вопрос, что не всегда ясно, рассеяли они хаос в процессе изобретения Восточной Европы или только усугубили его. На самом деле верно и то и другое — философы Просвещения

тасовали различия и сходства, чтобы разглядеть за ними общую схему и найти ключ к ее прочтению. Восточная Европа так и не достигла той окончательной «инаковости», которую приписывали Востоку; ее составным частям была придана некоторая однородность благодаря системе взаимосвязанных характеристик, повторявшей основные принципы Линнеевой классификации. Однако устойчивость ее неизбежно подрывали взаимоналагающиеся воздействия с обеих сторон: татары кочевали через всю степь, с одного края континента на другой, а актрисы и оперные певцы перекочевывали из Вены и Парижа на сцены Варшавы и Санкт-Петербурга.

Эта книга — не о Восточной Европе. Само название подчеркивает, что Восточная Европа здесь прежде всего объект целого набора интеллектуальных операций, совершаемых западноевропейским Просвещением. Названия отдельных глав указывают, что изобретение Восточной Европы было основано на целом ряде операций вспомогательных: в нее въезжали, ею обладали, ее наносили на карту, к ней обращались, ее населяли. Всякий раз объект рассматривали под разными углами зрения, но все эти операции вносили свою лепту в определение и конструирование и географического региона, и философской идеи. Пересекать границу Восточной Европы и вступать в обладание ею было уделом путешественника, который устанавливал границы и точки перехода из одной зоны в другую, а также был очевидцем побоев и угнетения. Понятия «проникновение» и «обладание» намекают на сексуальную составляющую господства (совершенно уместную, например, в случае Казановы), но они же символизируют господство интеллектуальное, под воздействием которого Восточная Европа предлагала себя «взору» таких путешественников, как Сегюр, превращаясь в объект анализа для философов Просвещения.

Воображение и нанесение на карту вовсе не исключали одно другого как фантазия и наука; напротив, они были тесно взаимосвязаны. Воображение Вольтера питалось за счет географии и простиралось по карте, а на картографию Просвещения очень влияли самые что ни на есть ненаучные образы Восточной Европы. Фантазия и путешествие тоже не исключали друг друга как способы познания. Вымышленный авантюрист, вроде барона Мюнхгаузена, объявлял себя соперником барона Тотта, а самый настоящий путешественник, принц де Линь, представ-

лял свои приключения как триумф фантазии. В общем, писавших о Восточной Европе можно разделить на философствующих издаль и путешествующих, но в своих писаниях те и другие часто сталкивались и сообща отправлялись в философский вояж. Точно так же концепция Восточной Европы включала и географическую, и философскую составляющие, что прямо отразилось в изобретенном Ледъярдом термине «философическая география». В XVIII веке такое сочетание характерно не только для восприятия Восточной Европы; философское значение географического открытия не менее очевидно в случае Таити у Бугенвиля и Дидро. Однако близость Восточной Европы, ее относительная доступность по сравнению с островами в южной части Тихого океана делали ее особенно удобной для культурного конструирования, в которое вовлекались и факты и фантазия.

Географическая близость сделала Восточную Европу доступной и для переписки с философами Просвещения. Разные формы эпистолярного общения были здесь совершенно незаменимы, придавая новому изобретению политическую значимость. Переписка между Вольтером и Екатериной, между мадам Жоффрен и Станиславом Августом показывает, что, обращаясь к Восточной Европе, философы могли издаль оговаривать свои претензии на господство и взаимоотношения с властью. Из Парижа Восточная Европа казалась просто идеальным полем для деятельности просвещенных монархов; деспотизм располагался на безопасном удалении, и философы могли помогать мыслью, советом и даже «планом цивилизации», как Дидро. Польша у Руссо, в отличие от России у Вольтера, предлагала не модель просвещенного абсолютизма, а политическую теорию национальной идентичности, и размышления его адресовались всей нации, а не одному монарху. Проекты физиократов еще больше подтверждают, что Восточная Европа создавалась как опытное поле, где Просвещение могло свободно претворять в жизнь свои общественные теории и политические мечтания. У Вольтера Россия была страной, где все еще предстоит создать, даже «разрушить и создать заново», по мнению бестактного Лемерсье, а у Руссо Польша оказывалась открытой для любого, «кто пожелает составить правильный план для преобразования здешней формы правления».

Руссо не только обращался к полякам напрямую, но и без тени смущения рассказывал им, кто они такие на самом деле, приписывая им «национальную физиогномию». Присваивая себе право заселять Восточную Европу теми или иными народами, философы делали смелый шаг, и привело это к необычайным последствиям; именно здесь в наибольшей степени отразилось интеллектуальное господство Просвещения. Сосредоточивая свое внимание на народах, а не просто нанося различные земли на карту, Просвещение изобретало в Восточной Европе новые социальные дисциплины, придавало им новые измерения и впервые испробовало аналитические орудия современной этнографии, антропологии, фольклора и расовой теории. Благодаря необычайному научному повороту, вполне традиционная история античности смогла предоставить терминологический аппарат для новоизобретенной этнографии; оказалось, что восточноевропейские варвары, некогда осаждавшие Римскую и Византийскую империи, существовали и поныне, в XVIII столетии. Просвещение находило скифов и сарматов по всей Восточной Европе, в конце концов установив, что именно славяне были ключом к пониманию этого региона. Гиббон и Гердер писали о славянах почти одновременно, но в совершенно различном контексте. Сравнивая их описания, мы видим, что восточноевропейские народы получили свое имя в результате скрещения целого ряда научных дисциплин.

Восточная Европа предстает в этой книге как конструируемый интеллектуальный объект. В него вступают, его воображают, к нему обращаются, его наносят на карту и заселяют; но в источниках проглядывает и собственно действующий субъект — путешественники и философы Просвещения. Однако этот субъект своими собственными усилиями одновременно конструировал и самого себя, поскольку изобретение Восточной Европы неотделимо от изобретения Европы Западной. Они притягивали внимание современников как взаимно дополняющие половины одного целого и на карте, и в сознании, поскольку наблюдатели едва ли могли описать главные отличия Восточной Европы, не формулируя при этом по умолчанию и собственную исходную позицию. Для Вольтера точкой отсчета стала «наша часть Европы», с ее особыми нравами и ее «духом»; беззастенчивое употребление местоимения «наша» вы-

давало личную заинтересованность тех, кто указывал в XVIII веке на различия внутри Европы. Изобретение Восточной Европы стало поводом для легкого самовосхваления, а иногда и открытого самодовольства, поскольку Западная Европа одновременно устанавливала свою собственную идентичность и подтверждала свое превосходство. В центре процесса была формирующаяся концепция «цивилизации», ставшая самой важной точкой отсчета, позволявшей приписать Восточной Европе подчеркнутую подчиненность и дополнительность по отношению к Европе Западной. Благодаря этому основополагающему противопоставлению цивилизации и варварства Восточную Европу можно было назвать отсталой, поместив в двусмысленном промежутке на шкале относительной развитости. Даже Демулен, в гуще Французской революции, снисходительно признавал: «Принимая во внимание точку, откуда польский народ начал свой путь, видно, что в относительных терминах они сделали столь же большой рывок к свободе, как и мы».

Откровенная относительность определений подрывала обе конструкции, подвергая сомнению и предполагаемую отсталость Восточной Европы, и предполагаемое превосходство Европы Западной. И развитие, и географическое направление были относительными; ни одна страна не могла быть ни абсолютно отсталой, ни абсолютно восточной. Физиократ Дюпон де Немюр, лишь побывав в Польше, смог сообщить Кенэ, что Франция — «первая нация нашего континента»; исследователю Ледьярду пришлось пересечь Сибирь, чтобы поверить, что «люди Запада могут стать ангелами», — и все это потому, что Просвещение уже подвергло Францию и «людей Запада» вообще самому всеобъемлющему критическому разбору. От «Персидских писем» Монтескье до «Польских писем» Марата философы Просвещения предоставляли своей родине в лучшем случае относительное преимущество, и то лишь в контексте непрестанной критики. Когда Салаберри, уже в век Революции, обнаружил по дороге в Константинополь «большую или меньшую цивилизованность», он пытался вывести из-под огня просвещенческой критики единственное твердое основание, которое еще оставалось возможным с философской точки зрения. Именно поэтому необходимость найти такое основание становилась все острее. В конструирование Восточной Евро-

пы вкладывали столько интеллектуальной энергии потому, что дополняющая ее конструкция, Западная Европа, была весьма неустойчивой. Даже самые драматические разногласия между философами Просвещения, например между Вольтером и Руссо, лишь подчеркивают, что оба они оставались в рамках одного и того же восточноевропейского дискурса, дававшего им право свысока обращаться к объекту своих размышлений.

Просвещение позволяло разногласиям и противопоставлениям вторгаться в конструируемую концепцию Восточной Европы и даже настаивало на том, что парадоксальность и была ее центральной чертой; однако откровенная неустойчивость объекта данного дискурса была лишь призвана скрыть неистребимую неустойчивость субъекта, вовлеченного в другой, столь же неотложный проект — изобретение Западной Европы. Просвещение выстроило в одну линию, разделившую континент на две части, все свои самые важные вопросы — о природе человека, об отношении нравов и цивилизации, о претензиях философии на политическую власть, — чтобы использовать и исследовать их в процессе конструирования Восточной Европы. К концу XVIII столетия две части Европы столкнулись лицом к лицу в сознании Просвещения и на создаваемой им карте; географические данные были расположены в соответствии с философскими приоритетами, а философские вопросы задавались в рамках географических изысканий.

Концепция Восточной Европы была тем более неустойчива, что в течение XVIII века со сменой границ ее политические компоненты снова и снова перетасовывались. Территориальная неразбериха, сопровождавшая разделы Польши и отступление Оттоманской империи, приводила к геополитической нестабильности на одной из оконечностей этого региона, а на другой чисто географическая неопределенность границы между Азией и Европой исключала четкую демаркацию ее пределов. Международные отношения помогли создать образ Восточной Европы как области географического хаоса, подвижных границ и непостоянных составных частей, а это, в свою очередь, создало культурный климат, в котором эти самые отношения зарождались и описывались. Дипломатия, картография и философия образовали треугольник, признавая, подтверждая и оправдывая друг друга. Связь между ними иногда становилась

очевидной, например, когда «философический географ» занимал дипломатический пост, как Сегюр в Санкт-Петербурге или д'Отрив в Яссах. На более абстрактном уровне насущные проблемы международных отношений направляли изобретение Восточной Европы в то или иное русло в соответствии с фантазиями о влиянии и господстве. Можно, конечно, сказать, что любое знание дает силу, что любой дискурс подспудно оказывается дискурсом господства, но в случае Восточной Европы, как и в случае Востока, эта связь обретает гораздо более конкретную форму. «Карл XII» Вольтера, послуживший философским основанием для конструирования Восточной Европы, был просто описанием завоевательных походов. Мадам Жоффрен объявила поляков «рожденными для подчинения», а Тотт помогал своим читателям «узнать молдаван», с подчеркнутой тщательностью описывая телесные наказания. — Концепция Восточной Европы не всегда прямо вела к завоеванию, но иногда ее можно истолковать как ненавязчивое приглашение к нему. Изобретая Восточную Европу, Просвещение, несомненно, создало культурный контекст для амбициозных проектов порабощения, осуществлявшихся и в XVIII веке, и позднее.

В центре вольтеровских фантазий о восточноевропейских завоеваниях по очереди оказывались шведский король, русский царь и немецкая принцесса. Хотя в 1741 году французская армия и оккупировала Прагу, французские амбиции в Восточной Европе ограничивались тогда тем, чтобы установить влияние посредством философических писем или дипломатических переговоров. В начале XIX века, однако, Франция стремилась к обладанию восточноевропейской империей. В 1807 году Наполеон создал «Великое Княжество Варшавское», в 1809-м — «провинцию Иллирия», а в 1812 году вторгся наконец в Россию и занял Москву. Политическая злободневность просвещенческой концепции Восточной Европы ясно проявилась в тех спорах, которые разгорелись вокруг посмертной публикации в 1807 году книги Рюльера «Анархия в Польше». Интеллектуальная преемственность, связавшая начало XIX века с концом XVIII, не менее очевидна и в воспоминаниях Сегюра о 1780-х годах, которые были опубликованы лишь после падения Наполеона, когда читатели могли вообразить объятую пламенем Москву, которую французская армия захватила, а затем оставила.

Чтобы представить, что внесли просвещенческие представления о Восточной Европе в имперскую политику Наполеона, стоит лишь обратиться к описанию русского похода, оставленному Филиппом-Полем де Сегюром, сыном Луи Филиппа. Филипп-Поль был бригадным генералом и адъютантом Наполеона в этой кампании. Он вспоминает, что во время вторжения в Россию Наполеон читал о походах Карла XII, сомневаясь в достоверности вольтеровского повествования; «тем не менее в это судьбоносное время имя Вольтера постоянно было у него на устах». Стоя у ворот Москвы, Сегюр-младший беседовал с французскими солдатами и офицерами. Фразы, в которых он подытожил их первые впечатления, повторяли слова его отца и авторов предыдущего поколения: «При виде этого позолоченного города, этой блестящей столицы, объединившей Европу и Азию, этого величественного места, где встречаются богатства, обычаи и искусства двух лучших частей света, мы тихо стояли, погрузившись в горделивые размышления. День нашей славы наступил!»¹ На самом деле дни их славы уже подошли к концу.

Нарисованный Сегюром образ Наполеона, который взирает на горящую Москву, обвиняя в пожаре русских поджигателей, подводит итог конструированию Восточной Европы. Если верить автору, Наполеон воскликнул: «Что за ужасное зрелище! Сделать это самим! Все эти дворцы! Какая невероятная решимость! Это настоящие скифы!» Во время страшного отступления из Москвы французские маршалы ворчали, что Наполеон разбит в России, «подобно Карлу XII на Украине», и сам Наполеон, «приближаясь к стране казаков», думал о том же. «Полтава!» — по словам Сегюра, воскликнул он в отчаянии². Таким образом, интеллектуальные формулы Просвещения переключаются из мемуаров отца в мемуары сына, от дипломатов Людовика XVI к наполеоновским штабистам, участвуя в военных кампаниях следующего поколения.

Что же касается большого приключения XIX века, войны против России и вторжения в Крым, предпринятых Францией и Англией под эгидой Наполеона III и королевы Виктории, то из-за невероятной удаленности театра военных действий кампанию эту иногда считают эксцентричным эпизодом. Крым, однако, не был причудой викторианского воображения, вымыслом Пальмерстона или Теннисона. Уже в 1780-х годах он стал

признанным катализатором всяческих фантазий, ареной завоеваний, и в этом качестве его унаследовали государственные мужи 1850-х годов. Принц де Линь с его пылким воображением осаждал Ифигению в Тавриде под Севастополем, задолго до того, как эту крепость осадили английские и французские армии. Парижский мирный договор 1856 года признал автономию Молдавии, Валахии и Сербии и урегулировал судоходство по Дунаю и Черному морю. Возможность разрешать восточноевропейские проблемы на расстоянии, из Парижа, претворяла в жизнь фантазии, которые вынашивали философы прошлого столетия. Именно они первыми сконструировали карту Восточной Европы, предлагая просвещенным наблюдателям обратить на нее свое внимание и издалека, из самого Парижа, самонадеянно фантазировать о воздействии, упорядочении, разграничении и даже аннексии. На Берлинском конгрессе 1878 года была признана независимость Сербии и Румынии, а также автономия Болгарии и законность австрийской оккупации Боснии и Герцеговины; все это сопровождалось исправлением границ и обменом территориями.

Дипломатические манипуляции, совершаемые издали над картой Восточной Европы, в XIX веке стали обычными и достигли наивысшего выражения в Версальском мирном договоре после Первой мировой войны, когда политическая география Восточной Европы была полностью пересмотрена и перестроена. Надо заметить, что последствия подобной практики для народов и стран, которые она затрагивала, далеко не только негативны, подобно тому как само Просвещение неоднородно в своем подходе и отношении к Восточной Европе. Неизменным оставалось фундаментальное неравенство субъекта и объекта, один из которых манипулировал другим, их философских и географических позиций. В Версале, конечно, были и высокие идеалы, и добрые намерения, но это неравенство проявилось особенно ярко в господствующей роли «Большой четверки» — Вудро Вильсона, Ллойд Джорджа, Жоржа Клемансо и Витторио Орландо, — действовавшей заодно и прямо отстранившей от окончательных решений большевистскую Россию.

Вопрос о том, включать или исключать Россию, зародился задолго до появления большевизма и получил философское

оформление еще до того, как он лег в основу международных соглашений. В основе просветительских представлений о Восточной Европе лежало не полное ее исключение или безоговорочное включение, но, скорее, само право одной из сторон ставить этот вопрос. Философы, географы и путешественники XVIII столетия оставляли себе право самим решать его — или задавать, оставляя нерешенным. Одно из самых влиятельных описаний, оставленных путешественниками XIX века, — «Россия в 1839 году» маркиза де Кюстина — само испытало сильнейшее влияние. В своем описании Кюстин подчеркивал «контрасты» Санкт-Петербурга, «где Европа показывает себя Азии, а Азия — Европе». С почти эротическим наслаждением он изучал «чистокровных славян», глубоко заглядывая в их «восточные миндалевидные» глаза, которые «переливаются разными цветами от змеино-зеленого до серого, как у кошки, и черного, как у газели, в основе своей оставаясь синими», и различал в них тончайшие оттенки выражений. Преимущество, однако, всегда сохранял его взор; Кюстин предупреждал своих читателей, что «здесь слишком легко обмануться видимостью цивилизации» и что пристальное внимание к нравам позволит «заметить существование подлинного варварства»³.

Умение отличать русских от себя и своих читателей Кюстин превратил в свою личную привилегию: «Я не виню русских в том, что они таковы, каковы они есть, я осуждаю в них притязания казаться такими же, как мы». Он ссыался на Дидро и Вольтера, ставя проблему пограничного состояния людей, которые «разучились жить как дикари, но не научились жить как существа цивилизованные». С совершенно аристократической самоуверенностью он позволил стандартам цивилизованности отменить географические понятия, помещая Россию в контекст Восточной Европы: «Францию и Россию разделяет китайская стена — славянский характер и язык. На что бы ни притязали русские после Петра Великого, за Вислой начинается Сибирь»⁴. Почти все основные элементы той Восточной Европы, которую в XVIII веке изобрело Просвещение, слились в XIX столетии в фантастический калейдоскоп, где ассоциации и образы следовали сказочной логике, которая и привела в конце концов к созданию континентального раздела.

Нетрудно заметить, что «китайская стена», о которой Кюстин писал в 1839 году, была предшественницей «железного занавеса» 1946 года, подобно ему отделив Восточную Европу от Западной. Эта аналогия особенно многозначительна, если принять во внимание поразительную популярность Кюстина во время «холодной войны». В 1946 году его книга была переиздана во Франции, а в 1950-х годах она стала доступна американской публике с предисловием Уолтера Беделла Смита, который был после войны американским послом в Советском Союзе. Смит объявил «Россию в 1839 году» «столь проницательными и нестареющими политическими заметками, что их можно назвать лучшей книгой, когда-либо написанной о Советском Союзе». От лица сотрудников своего посольства он заявил, что «письма Кюстина — самый важный вклад в попытки хотя бы отчасти разгадать тайны, которые, как кажется, окутывают Россию и русских». Мало того, Смит даже заявил, что в качестве посла «мог бы позаимствовать многие страницы дословно и, заменив имена и даты столетней давности на сегодняшние, послать их в Государственный департамент как мои официальные донесения». Этот том переиздавался до 1987 года, до самого конца «холодной войны», и Збигнев Бжезинский писал на задней странице обложки, что «ни один советолог до сих пор не смог ничего добавить к этим проницательным догадкам о русском характере и о византийской природе русской политической системы»⁵. Настаивая на антиисторичной неизменности России, подобные изречения еще более подчеркивают неизменность жестких формул, при помощи которых ее описывают иностранные наблюдатели. Догадки, посетившие Кюстина в XIX веке и столь близко повторявшие формулы Просвещения, вновь напомнили о себе, обрели популярность и сослужили службу во время «холодной войны».

Более непосредственное воздействие представления Кюстина оказывали в конце XIX века, и его самые путающие прогнозы влились в основанную на кошмарных видениях мифологию Восточной Европы. В 1769 году Гердер — слышал «рокот диких народов» Восточной Европы и советовал не вызывать демографических «наводнений». Век спустя, в 1871 году, французский философ Эрнест Ренан записал свои собственные апокалиптические страхи:

Славяне, подобно дракону Апокалипсиса, чей хвост сметает за собой треть небесных звезд, когда-нибудь притащат за собой стада Средней Азии, древних подданных Чингисхана и Тамерлана... Вообразите, что за груз обрушится на всемирную чашу весов, когда Богемия, Моравия, Хорватия, Сербия, все славянское население Османской империи сгрудится вокруг огромного московского сгустка⁶.

Страхи, которые во Франции вызывала Восточная Европа, сопоставимы с политическим климатом в Англии 1870-х годов, где публика была до предела взволнована «восточным вопросом». Стремление Гладстона поддержать интересы Боснии и Болгарии сталкивалось с решимостью Дизраэли не допустить расширения сферы русского влияния. Гладстон требовал изгнать турок «со всеми их пожитками» из Болгарии в качестве компенсации «оскорбленной и униженной цивилизации». Однако английский посол в Константинополе, тоже взывавший к интересам «цивилизации», придерживался противоположной точки зрения, считая, что Англия не должна изменять свою политику только из-за того, что «какие-то башибузуки убили несколько бесполезных и несчастных болгар». Сама королева Виктория поддерживала Дизраэли и выступала против России. Заявив, что «не останется государыней в стране, которая готова унизиться настолько, чтобы целовать ноги величайшим варварам», она воскликнула: «О, если бы королева была мужчиной! Она хотела бы задать такую взбучку этим русским, чьему слову нельзя верить!»⁷

В 1914 году Уильям Слоан, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, уже написавший биографию Наполеона, издал новую книгу «Балканы: лаборатория истории». Слоан был не только ученым, но и путешественником и начал с описания того, что видел сам на Балканах:

Что до цивилизации, то это — прошлое в настоящем, общественная и полуполитическая система, перенесенная на три столетия вперед. Самая дикая область Европы живописнее и поучительнее, чем наш Средний Запад, потому что граница между цивилизацией и варварством густо населена, и мало того — населена людьми белой расы. Ни желтокожие, ни краснокожие, ни чернокожие не составляют здесь проблемы⁸.

Термины, в которых он описывает восточноевропейский вопрос, целиком позаимствованы из XVIII столетия: варвар-

ство и цивилизация, дикость и граница, живописность и поучительность, наконец, нотка искреннего изумления, что речь в данном случае идет о людях белой расы. Профессор предупреждал, что в конце концов с усилением Балканских государств «Западной Европе придется образовать более тесный союз для защиты от вторжений низшей цивилизации, основанной на сочетании славянских племен, греческой церкви и восточного образа правления». Юго-Восточную Европу он считал не только лабораторией, но и «этнографическим музеем» и, как нетрудно догадаться, свои рассуждения об этнографии начал со скифов⁹.

Первые десятилетия XX века сыграли исключительно важную роль в изучении Восточной Европы, которое во Франции и в Англии вылилось в более серьезные и более благожелательные труды, отличавшиеся, однако, такой же личной вовлеченностью авторов и претендующие на гораздо большее политическое влияние, чем книга Слоана. Ученые XX столетия не уступали философам Просвещения в стремлении влиять на карту континента, становясь на сторону тех или иных государств и наций Восточной Европы во время Первой мировой войны и Версальской мирной конференции. Эрнест Дени из Сорбонны, автор «Богемии со времен битвы при Белой горе» (1903), был основателем и первым редактором журнала «*Le Monde Slave*», стремившегося влиять на французскую политику военного времени по отношению к славянскому миру. Роберт У. Сетон-Уотсон, еще до войны опубликовавший в Лондоне «Расовые проблемы в Венгрии» (1908) и «Южнославянский вопрос и монархия Габсбургов» (1911), в 1916 году основал журнал «*The New Europe*» и консультировал британскую делегацию во время мирных переговоров 1919 года. Гарольд Николсон, входивший в состав дипломатической делегации, писал, что «мысль о новой Сербии, новой Греции, новой Богемии и новой Польше исторгали из наших сердец гимны, словно у ворот рая» под воздействием «продолжительного и усердного изучения *The New Europe*». Николсон уверял, что сам он «и шагу не делал, не посоветовавшись с такими знатоками, как доктор Сетон-Уотсон, который был тогда в Париже»¹⁰.

В политических и научных трудах этих экспертов, в их преданности идее национального самоопределения многое достойно самых искренних похвал. Несмотря на все недостат-

ки окончательного договора, их стремление перекроить карты и перечертить границы во время Версальской мирной конференции стало наивысшей в современной истории точкой взаимодействия западных ученых с Восточной Европой и их влияния на геополитическую ситуацию. Ученые эти были прямыми научными предшественниками тех, кто занимается изучением Восточной Европы сегодня, в конце XX века. Арчибальд Кэри Кулидж, профессор истории в Гарварде, составлял доклады о Восточной Европе для Вудро Вильсона и полковника Хауза; Гарольд Николсон сказал о Кулидже, что «иногда этот блестящий и гуманный человек был единственным источником надежных сведений для мирной конференции»¹¹. Кулидж в Гарварде был учителем Роберта Кернера; Кернер в Беркли был учителем Уэйна Вусинича, а Вусинич в Стэнфорде был моим научным руководителем.

Первые проблески размышлений об аналитических формах и риторических фигурах, с помощью которых Западная Европа подчинила себе интеллектуальные дебаты Европы Восточной, можно различить в промежутке между двумя мировыми войнами. Среди этих книг особенно выделяется «Волшебная гора» Томаса Манна, написанная в 1924 году. Автор рассматривает социальные недуги и нестабильность предвоенной Европы на примере социального микрокосма, санатория в Альпах, где в ресторане есть отдельные столы для «хороших русских» и «плохих русских», в зависимости от их манер. Главный герой, Ганс Касторп, беззащитен перед гипнотическим воздействием «киргизских глаз» сначала своего одноклассника Прибислава Хиппе, а затем и Клавдии Коше, прибывшей из глубины степей. Однако Сеттембрини, итальянский гуманист, с подозрением относится к «татарской физиономии» Клавдии, а также к «парфянам и скифам», сидящим за русскими столами. Сеттембрини полагает, что прогресс человечества имеет пространственное направление и с течением времени «завоевывал все большую и большую территорию в самой Европе и уже вторгается в Азию». Он различает нечто подозрительно непрогрессивное и даже азиатское в скулах Мартина Лютера: «Я очень удивлюсь, если вендские, славянские, сарматские элементы не сыграли здесь свою роль»¹². Сам Томас Манн здесь иронически дистанцируется от вымышленных им слов и настроений.

Для развития уже вполне устоявшейся традиции западноевропейского восприятия Восточной Европы описания путешествий были еще важнее художественной литературы. Новое, рефлексирующее отношение неизбежно отразилось в рассказах путешественников. В 1937 году Ребекка Уэст отправилась в Югославию, и ее эпическое повествование «Черный ягненок и серый сокол» до сих пор остается самой крупной в XX столетии попыткой понять, что такое быть западноевропейским интеллектуалом и размышлять о Восточной Европе. Это был не первый раз, когда англичанка оказывалась на Балканах. В 1717 году леди Мэри Уортли Монтэгю изучала арабскую поэзию в Белграде, а в 1863 году Джорджина Мюир Маккензи и Паулина Ирби, возившие с собой собственную ванну, посетили Болгарию, Сербию и Боснию и позднее опубликовали «Путешествия в славянских провинциях Турции-в-Европе». Они стремились изучить «внутреннюю часть полуцивилизованной страны», ссылаясь на Гладстона, считавшего турок врагами «цивилизационного прогресса», и предупреждая читателей, что, «прежде чем оценивать возможности южнославянских рас, следует вполне осознать воздействие длившейся более четырех веков турецкой оккупации». В Сербии они выискивали «реликвии, свидетельствующие, что это христианская цивилизованная страна», и находили памятники византийской церковной архитектуры «среди дикости албанских деревень»¹³. Если эти христианки-викторианки искренне надеялись, что славяне отыщут путь, ведущий к западноевропейскому прогрессу и цивилизации, то в 1930-х годах Ребекка Уэст путешествовала по тому же маршруту с прямо обратным убеждением, что дряхлеющую цивилизацию Западной Европы срочно нужно подпитать духовными ресурсами славянства. «Что, там и вправду так замечательно?» — спросил ее муж, и она таинственно ответила: «Ну, там есть все. Кроме, кажется, того немногого, что есть у нас». Он спросил, имела ли она в виду, что очень немного есть у Англии, и она отвечала: «У всего Запада». Почти все, что она видела в баре белградской гостиницы, она «могла бы увидеть в Лондоне, Париже или Нью-Йорке». «Но ни в одном из этих великих городов я не видела, как двери гостиницы медленно распахиваются, чтобы впустить неспешного и непринужденного крестьянина с черным ягненком на руках». С нежностью, без романтического снисхождения она

описывала его до последней детали, той самой, которую каждый путешественник Просвещения считал признаком восточноевропейской отсталости, — овчинной безрукавки. На рынке в Сараеве она встретила пожилую женщину, показавшуюся ей такой мудрой и остроумной, что она прозвала ее «Вольтером этого мира»¹⁴.

Ребекка Уэст полагала, что Европа остается неполной без Восточной Европы; кроме того, она считала, что осознание это пришло слишком поздно. В 1937 году она уже понимала, какую угрозу несет Германия Восточной Европе, и злая немка в этой книге, отвратительная Герда, резко осуждает интеллектуальное паломничество писательницы и чинит ей всяческие препятствия: «Я вас не понимаю. Вы все время говорите, что это за прекрасная страна, но, конечно, отлично видите, что здесь нет порядка, нет культуры, а только смесь разных народов, довольно низменных и диких»¹⁵. Слово «смесь», примененное в 1930-х годах к Югославии, словно позаимствовано из литовских писем Георга Форстера 1780-х годов. Заявления об отсутствии «порядка» и «культуры» скоро стали идеологическим базисом нацистского завоевания Восточной Европы. К тому времени, когда Ребекка Уэст, вернувшись в Англию, завершала работу над рукописью, нацисты уже бомбили и Лондон и Белград.

Германское вторжение в Чехословакию и Польшу в 1939 году и последовавшие в 1941 году нападения на Югославию и Советский Союз отражают геополитический размах восточноевропейской политики Гитлера, предполагавшей завоевание этих стран, порабощение и истребление их народов. Цели эти были не только стратегическими и экономическими, но и в высшей степени идеологизированными; был в них и своеобразный академизм, поскольку на поддержку такой политики были мобилизованы немецкие профессора. Английские, французские и американские ученые участвовали в выработке версальских решений по Восточной Европе, немецких же призывали, чтобы их отменить; «западная наука» одобрила завоевание «Востока». От имени университетских экспертов Альберт Брахманн, профессор средневековой истории, объявил в 1935 году: «Наши научные исследования будут использовать при необходимости, чтобы поддерживать и отстаивать интересы германской расы». С началом войны, когда ему поручили пригото-

вить для СС брошюру о «будущей судьбе Польши и Восточной Европы», он следующим образом подытожил историю вопроса: «Немцы были единственными носителями цивилизации на Востоке и, как сильнейшая европейская держава, защищали западную цивилизацию и несли ее нецивилизованным народам». Благолепные слова о «цивилизации», поддерживающие нацистскую политику в Восточной Европе, могут показаться гротеском, но формулировки Брахманна своими корнями глубоко уходят в западную традицию мыслей и выводов о Восточной Европе. Наследие XVIII столетия проступает и в столь же отвратительном суждении Отто Реке, знатока «антропологической ситуации в Польше»: в 1939 году он беспокоился, что в Восточной Европе даже немцы могли заразиться «расовым смешением, с сильными азиатскими элементами». Восточную Европу он стремился представить территорией, однородной в расовом отношении, отмечая, что обычно у тамошних жителей «голова короткая и круглая, низко расположенные и широкие черты лица, широкие скулы, примитивные носовые формации и густые, жесткие волосы»¹⁶. С помощью подобных подчеркнуто научных заключений обосновывались все аспекты немецкой политики в отношении Восточной Европы во время Второй мировой войны.

Конечно, так и тянет счесть изречения этих конкретных экспертов отвратительным тупиком, в который зашел определенный подход к Восточной Европе; однако на самом деле профессора проявили живучесть, а философские формулы — удивительную приспособляемость. Некоторые из тех же самых профессоров всплыли в послевоенной немецкой науке с теми же самыми формулами, отнюдь не дискредитированными и ловко приспособленными к идеологическим условиям «холодной войны». В 1952 году газета «*Zeitschrift für Ostforschung*» заявила, что «граница между двумя цивилизационными сферами пролегла прямо через Европу»¹⁷. «Холодная война» стала столь важным этапом в развитии концепции Восточной Европы не только благодаря способности заимствовать и применять к новым условиям дискурс, восходящий еще к эпохе Просвещения, но и способности маскировать его культурные корни. Именно потому, что советский блок придал концепции Восточной Европы весьма существенное геополитическое наполнение, а Сталин куда успешнее Екатерины создавал выдуман-

ную Вольтером империю, после Второй мировой войны стало возможно забыть, умалчивать или намеренно затушевывать тот факт, что разделение Европы было создано искусственно, как интеллектуальный продукт, в процессе непрерывного культурного конструирования. В 1946 году «железный занавес» Черчилля совпал с уже установившимся континентальным разделом — «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике», а при жизни следующего поколения эта линия прочно вошла в научную литературу о Восточной Европе. В самом уважаемом из послевоенных американских учебников, «Истории современного мира» Р.Р. Палмера и Джозеля Колтона, который был впервые опубликован в 1950 году и высоко ценится до сих пор, глава «Трансформация Восточной Европы в 1648—1740 годах» открывается словами: «Говоря о Европе в целом, ощутимая, хотя и неопределенная линия прошла вдоль Эльбы и Богемских гор к верховьям Адриатики»¹⁸. Эта фраза звучит как отголосок речи Черчилля и молчаливо оправдывает описания «Восточной Европы» как внутренне однородной общности, а не анахроничной, искусственной категории, удобной по аналитическим и идеологическим соображениям.

Замечательный литературный памятник «холодной войны» — американская книжка для подростков, изданная в 1962 году под названием «Славянские народы», словно пародирующая главу «Slawische Völker» в «Идеях к философии истории человечества» Гердера. Аляповатые изображения фигур в народных костюмах подразумевают, по-видимому, фольклорную общность славян, снова пародируя Гердера, превозносившего приверженность этих народов своим «древним празднествам». Ее автор, Томас Колдекот Чабб, относится к предмету своей книги с симпатией; она открывается главой «Из страны Гога и Магога» и завершается главой «Что для нас сделали славяне». Он спрашивает: «Что, к примеру, унаследовал маленький Петр из России от своих многочисленных предков, выбравшихся из первобытных болот? Его отец производит трактора или ядерные боеголовки в Донбассе или в Новосибирске за Уралом»¹⁹. В 1962 году, в год кубинского ракетного кризиса, русских описывали американцам как народ, выбравшийся из первобытных болот. Понятно, что «маленький Петр» должен был вызвать в памяти образ большого Петра, построившего среди болот свою столицу и сделавшего эти болота час-

тью просвещенческого мифа о России. Связь между этим мифом и фантазиями «холодной войны» видна и в глубокомысленном изречении Джеймса Бонда в романе «Из России с любовью» (1957): «Я так же думаю о русских. Пряник они просто не воспринимают. На них действует только кнут. В сущности, они мазохисты. Они любят палку. Вот почему они были так счастливы при Сталине». Когда неотразимая Татьяна Романова умоляет Бонда побить ее, если она будет слишком много есть, он охотно соглашается: «Конечно, я тебя побью»²⁰.

Окончание «холодной войны» породило серьезные научные и политические размышления о концептуальном разделении Европы. И государственные деятели, и ученые стали осознавать, что падение «железного занавеса» не означает простого и немедленного политического, экономического или культурного примирения двух половин континента. Однако все еще мало внимания обращают на то, что концептуальное разделение Европы зародилось задолго до «холодной войны», что концепция Восточной Европы по сути своей — плод культурного творчества и что интеллектуальная история двух последних столетий все еще воздействует на наше восприятие кажущихся сходств и различий на всем пространстве континента. В августе 1991 года, когда попытка переворота в Советском Союзе провалилась и Горбачев вернулся из Крыма в Москву, газета «*New York Times*» писала, что русские готовы к «колоссальной задаче — цивилизовать свою страну». Эта неосознанная отсылка к вольтеровской «Истории Петра Великого» ясно показывает всемогущество старых формул, согласно которым Россия всегда остается лишь на пороге приобщения к цивилизации, и в XVIII веке, и в XX. В сентябре швейцарская «*Neue Zürcher Zeitung*» вышла под заголовком «Надежда на европейскую Россию», а итальянская «*Corriere della Sera*» поставила вопрос еще более прямо, приветствуя Россию как «Великую Вечную Мать между Востоком и Западом». Газета «*Boston Phoenix*» представила проблему, с которой столкнулись ученые: «От красного к розовому: Почему гарвардские мыслители спорят о том, как трансформировать Советский Союз»²¹. Стремление физиократов XVIII века разработать рецепты для Восточной Европы по-прежнему живо и популярно в Гарвардском университете.

В марте 1992 года газета «*New York Times*» писала: «Оглядываясь на восток, Западная Европа понимает, что хаос в бывшем советском блоке вызовет поток иммигрантов и беженцев». О восточноевропейском хаосе любил, конечно, порассуждать Вольтер. В апреле «*Times*» обратила внимание на проблему развития в своем заголовке: «Восточный блок пытается выйти из летаргии». В мае в статье об «этнических войнах» перечисление народов, а вернее, описание этнографической мешанины намекало на некоторое варварство: «Список враждующих национальностей напоминает давно забытый учебник с его враждующими племенами раннего Средневековья — осетины, грузины, абхазы, дагестанцы, азербайджанцы, армяне, молдаване, русские, украинцы, гагаузы, татары, таджики»²². Даже русские отнесены к раннему Средневековью в этом «забытом учебнике» с его длинным списком враждующих племен. Или, быть может, это цитата из Пейсоннеля?

Тем временем в мае 1992 года, вдали от этнических войн Восточной Европы, Михаил Горбачев прибыл в Фултон, штат Миссури, чтобы там же, где Черчилль выступал в 1946 году, заявить об окончании «холодной войны», накинув риторический покров на «железный занавес». Однако культурные конструкции на карте Европы разделили континент задолго до «холодной войны», и разделение это остается с нами, хотя его редко замечают и обычно понимают превратно. Горбачев видел «железный занавес» с обратной стороны и размышлял о его культурных последствиях. «Мы — европейцы», — объявил он в 1987 году в своей книге «Перестройка». «История России является органической частью великой европейской истории». Он тоже перечисляет многочисленные народы, но не для того, чтобы напомнить о враждующих племенах Средневековья: «Русские, украинцы, белорусы, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, карелы и другие народы нашей страны все внесли весомый вклад в развитие европейской цивилизации»²³. Употребляя слово «цивилизация», он бросал нам вызов, призывая нас переосмыслить карту Европы в нашем сознании.

«В Западной Европе, — пишет Чеслав Милош, — достаточно быть выходцем из этих редко посещаемых земель на востоке или на севере, чтобы к тебе относились как к пришельцу из созвездия Большой Медведицы, о которой известно лишь

одно — что там холодно». В своих мемуарах под названием «Семейная Европа» он стремится представить себя, польского поэта, родившегося в Литве, через свои отношения со всем континентом: «Несомненно, я могу назвать Европу своим домом, но таким, который отказался признать себя единым целым. Словно под воздействием какого-то самопровозглашенного табу, он разделил своих обитателей на две категории: члены семьи (сварливые, но респектабельные) и бедные родственники»²⁴. В его автобиографии чувствуется неспособность примириться с тем, что Западная Европа отказывается признать его полноправным членом семьи и относится к нему как к пришельцу с холодных границ континента. Поэтому ему пришлось рассказать свою собственную историю: «Если я хочу показать, на что похожи люди с востока Европы, мне остается поведать о себе».

Эта книга — о том, как западноевропейские интеллектуалы изобретали Восточную Европу. Милош пишет, что восточноевропейские интеллектуалы не могли оставить без ответа навязываемые им образы и формулы, изобретенные в Западной Европе. История этих попыток дать ответ Западной Европе могла бы вылиться в еще одну книгу, где были бы описаны сложные культурные стратегии сопротивления, присвоения, защиты, совиновности и ответных атак, которые использовались в разных странах Восточной Европы. Написав книгу о Западной Европе, я хочу предоставить Европе Восточной хотя бы заключительное слово. Чей голос так звучен, чьи книги так поразительны, что их можно противопоставить блеску, эрудиции и самоуверенности философов Просвещения? Конечно, Льва Толстого; конечно, «Война и мир». Ибо тема «Войны и мира», несомненно, — самонадеянность западноевропейского вторжения в Восточную Европу.

Драматическую напряженность его описанию придают взаимоотношения Толстого с французскими источниками вроде мемуаров Филиппа-Поля де Сегюра и многих других; Толстой зависит от них, стремясь воссоздать французское восприятие событий, и одновременно хочет дистанцироваться от него. Он даже прямо цитирует французские источники, хотя и с неизменной иронией, например называя Москву «азиатской столицей» с ее похожими на «китайские пагоды» церквями. В

«Войне и мире» сам Наполеон, завидев Москву, взволнованно говорит об «этом азиатском городе с бесчисленными церквями», а затем представляет его в виде «восточной красавицы», которую он вот-вот лишит невинности. Он требует карту: «В ясном, утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его». Увлеченность Наполеона картой и подразумеваемая связь между нанесением на карту и обладанием показывают, как ясно понимал Толстой просвещенческую концепцию Восточной Европы. Более того, пока Наполеон переводит взгляд с карты на город и обратно, Толстой вновь иронично демонстрирует свое понимание этой концепции. Наполеон в его описании глядит на «древние памятники варварства и деспотизма» и исполняется решимости показать русским «значение истинной цивилизации»²⁵.

В эпилоге к «Войне и миру» Толстой обращается к самой сути исторического спора о том, как следует понимать французское вторжение в Россию. Предлагаемый им ответ может быть выражен в виде стрелки компаса. «Основной, существенный факт европейских событий начала нынешнего столетия, — утверждает Толстой, — есть воинственное движение масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на запад». Он, таким образом, отмечает все культурные ассоциации, которыми обычно нагружены понятия «запад» и «восток», снимает с них тяжкое бремя: они больше не олицетворяют баланс цивилизации и варварства, а превращаются просто в два возможных направления, равных и прямо противоположных, взаимодополняющих и взаимозаменяемых. Открыв эту простую истину, он с неизменной иронией говорит о том, как озабочена современная история «благоденствием французского, германского, английского народа», или даже «благоденствием цивилизации всего человечества, под которым разумеют обыкновенно народы, занимающие маленький северо-западный уголок большого материка»²⁶. Толстой, писавший в своем углу континента, осознавал, как много значат географическая перспектива и философское сомнение, разделившие Европу на Восток и Запад.

¹ *Séguir Philippe-Paul, comte de. Napoleon's Russian Campaign.* Trans. J. David Townsend. New York: Time/Life Books, 1965. P. 43, 97.

² *Ibid.* P. 109, 228—231.

³ *Custine Astolphe, marquis de*. Empire of the Czar: A Journey Through Eternal Russia. Trans. anonymous, intro George Kennan. New York: Doubleday, 1080. P. 123, 128.

⁴ *Custine*. Empire of the Czar. P. 128, 155.

⁵ *Custine Astolphe, marquis de*. Journey for Our Time: The Russian Journals of the Marquis de Custine. Trans. Phyllis Penn Kohler, intro Walter Beddel Smith. Washington, D.C.: Gateway Editions, 1987. P. 7, 9, 11.

⁶ *Birke Ernst*. Die französische Osteuropa-Politik, 1914–1918 // *Zeitschrift für Ostforschung* (1954, Heft 3). P. 322.

⁷ *Seton-Watson R.W.* Disraeli, Gladstone, and the Eastern Question. New York: Norton, 1972. P. 75, 244, 267.

⁸ *Sloane William M.* The Balkans: A Laboratory of History. New York: Eaton à Mains, 1914. P. vii.

⁹ *Ibid.* P. vii, 3, 56.

¹⁰ *Nicholson Harold*. Peacemaking 1919. New York: Grosset à Dunlap, 1956. P. 33, 126; см. также: *Seton-Watson Hugh; Seton-Watson Chistopher*. The Making of a New Europe: R.W. Seton-Watson and the Last Years of Austria-Hungary. Seattle: Univ. of Washington Press, 1981; *Cassamo Dominico*. Presupposti e obiettivi della storiografia sull'Europa orientale // Introduzione alla Storia dell'Europa Orientale. Rome: La Nuova Italia Scientifica, 1991. P. 9–21; *Wolff Larry*. French Policy Towards Eastern Europe During the First World War: From *Dragon de l'Apocalypse* to *Cordon Sanitaire* // Essays in History: The E.C.Barksdale Student Lectures. Arlington, Texas: Phi Alpha Theta, Univ. of Texas, 1980. P. 177–190.

¹¹ *Nicholson*. P. 27.

¹² *Mann Thomas*. The Magic Mountain. Trans. H.T. Lowe-Porter. New York: Alfred A. Knopf, 1967. P. 157, 228, 289, 517.

¹³ *Mackenzie Georgena Muir; Irby Paulina*. Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe. London: Bell and Daldy, 1867. P. xx, xxix, xxx.

¹⁴ *West Rebecca*. Black Lamb and Grey Falcon: A Journey Through Yugoslavia. Penguin Books, 1982. P. 23, 328, 483; смотри также *Wolff Larry*. *Rebecca West* // The New York Times Book Review (February 10, 1991).

¹⁵ *West*. P. 662.

¹⁶ *Burleigh Michael*. Germany Turns Eastward: A Study of Ostforschung in the Third Reich. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988. P. 137, 151, 167, 242; см. также рецензию Ларри Вульфа на эту книгу в: *Harvard Ukrainian Studies* 15, no. 3/4 (December 1991). P. 456–459.

¹⁷ *Burleigh*. P. 306.

¹⁸ *Palmer R.R., Colton Joel*. The Transformation of Eastern Europe, 1648–1740 // A History of Modern World, 3rd. Ed. New York: Alfred A. Knopf, 1965. P. 174.

¹⁹ *Chubb Thomas Coldecott*. Slavic Peoples. Cleveland: World Publishing Company, 1962. P. 105.

²⁰ *Fleming Ian*. From Russia with Love. London: Pan Books, 1959. P. 142, 184.

²¹ New York Times, 22 August 1991. P. 1; Neue Zürcher Zeitung, 7/8 September 1991. P. 1; Corriere della Sera, 8 September 1991, Corriere Cultura. P. 5; Boston Phoenix, 13 September 1991, Section 1. P. 32–33.

²² New York Times, 25 March 1992. P. 1; 8 April 1992. P. 1; 24 May 1992. P. 10.

²³ *Gorbachev Mikhail*. Perestroika: New Thinking for Our Country and the World. New York: Harper & Row, Perennial Library, 1988. P. 177.

²⁴ *Milosz Czesław*. Native Realm: A Search for Self Definition. Trans. Catherine S. Leach. New York: Doubleday, 1968. P. 2.

²⁵ *Tolstoy Leo*. War and Peace. Trans. Rosemary Edmonds (Harmondsworth, Eng.: Penguin Books, 1982. P. 843, 1034.

²⁶ Ibid. P. 1343—1344, 1401.

Именной указатель

- Август II, король польский, курфюрст Саксонский 255, 486, 488
Август III, король польский 255, 257
Аламбер Жан д' 246, 310, 329, 330, 351, 362, 379, 380, 517
Александр I, император 408
Алексей, царевич 311
Али-ага Воевода, турецкий губернатор Болгарии 271
Али-ага, проводник де Тотта 124, 125, 126, 127
Анвилль Жан-Батист д' (Anville Jean-Baptiste d') 228, 231, 290, 425, 427, 437, 438, 446, 480
Ангальт-Цербстская Иоганна Елизавета, принцесса 302, 362
Аржансон д', маркиз (Argenson, marquis de') 387

Бадё Николя, аббат (Baudeau, Nicolas) 47, 393, 394, 395, 396, 398, 400
Байрон Джордж Гордон 218, 219
Бальзак Оноре де 7, 47, 53, 221, 517
Бах Кар Филипп Иммануил 338, 340
Беккария Чезаре (Beccaria Cesare) 184
Бенедикт XIV, Папа Римский 263
Бениовский Мориц (Beniowski, Maurice) 495
Берналь Мартин (Bernal Martin) 39, 52
Бёрк Эдмунд 170, 410, 412, 463, 494
Биттнер Конрад 453, 481, 483
Бичер-Стоу Гарриет 143
Блэкстоун Миллер (Blackstone William) 132
Бомарше Пьер Огюстен Карон де 296, 402
Боплан Гийом Ле Вассер де (Beauplan) 231, 257, 446
Боскович Джузеппе (Boscovich Ruggiero Guiseppe) 23, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 293, 473, 483
Браун Эдвард (Brown Edward) 84, 240
Бретейль де, аббат (Breteuil, abbé de) 376
Буальдьё Франсуа-Андре (Boildieu Francois Andrien) 495
Буффлер Станислав Жан де 325, 343
Бюффон Джордж Луи 287, 439

Вергилий 304
Верженн Шарль Гравье (Vergennes Charles Gravier) 404
Виге-Лебрен Элизабет (Vigée-Lebrun Elizabeth) 413, 415, 420
Виктория, королева Англии 525, 529

- Вильегорский Михаил (Wielhorski Michal) 353, 354, 355, 390, 404, 406
- Вогонди Робер де (Vaugondy Robert de) 256, 257, 287, 289, 290, 291, 294, 479
- Вольтер 19, 26, 27, 42, 59, 89, 132, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 164, 170, 183, 198, 201, 202, 206, 218, 220, 221, 289, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 358, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 371, 375, 376, 377, 379, 383, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 399, 409, 412, 413, 414, 415, 418, 421, 426, 429, 437, 438, 439, 453, 457, 464, 480, 481, 482, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 527
- Гайдн Франц-Жозеф (Haydn Franz Joseph) 175
- Гегель Георг-Вильгельм-Фридрих 24, 460, 461, 482
- Геродот 44, 425
- Герберштейн Сигизмунд фон (Herberstein Sigmund von) 237
- Гердер Иоганн Готфрид 24, 158, 221, 318, 422, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 465, 473, 474, 477, 481, 482, 484, 485, 488, 489, 492, 499, 505, 521, 538, 535
- Гете Иоганн Вольфганг 196, 199, 209, 213, 223, 473, 474, 483, 484, 485
- Гиббон Эдвард 23, 423, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 451, 456, 457, 465, 476, 481, 483, 490, 521
- Гладстон Уильям (Gladstone William) 529, 532
- Глюк Кристоф (Gluck Christoph Willibald) 214
- Гмелин Иоганн Георг 238
- Голдсмит Оливер (Goldsmith Oliver) 261, 292
- Голль Шарль де 18
- Горбачев М.С. 17, 18, 51, 53, 536, 537, 541
- Гоффманн Леопольд Алоиз (Hoffmann Leopold Alois) 496, 513
- Гоцци Карло (Gozzi Carlo) 470
- Гримм Фридрих Мельхиор 174, 175, 178, 222, 276, 340, 429, 499
- Гудвиль Николая (Guedeville Nicolas) 245, 249, 250, 251, 252, 291, 292
- Давид Жак-Луи (David Jacques-Louis) 168
- Декарт Рене 319, 332
- Делиль Жозеф-Николя (Delisle Joseph-Nicolas) 228, 260, 289
- Делиль Гийом (Delisle Guillaume) 228, 238, 244, 248, 286, 294
- Демулен Камилл (Desmoulins Camille) 411, 522
- Дени Эрнест (Denis Ernest) 530
- Деррида Жак 377, 417
- Дефо Даниэль 247
- Джефферсон Томас 235, 410, 499, 500, 505, 508
- Джонс Джон Поль (Jones John Paul) 499
- Джонсон Самюэль (Johnson Samuel) 45
- Джонс Джон Поль 121, 122
- Дидро Дени 40, 60, 123, 174, 276, 277, 315, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 358, 360, 361, 362, 363, 366, 367, 377,

- 379, 384, 389, 413, 414, 428, 453, 517, 520, 527
- Дизраэли Бенджамен 529
- Дюпон де Немюр Пьер-Самюэль (Dupont de Nemours Pierre-Samuel) 397, 398, 399, 409, 490, 522
- Евгений Савойский, принц 22, 81, 82, 84, 247, 254, 258, 262
- Екатерина II, императрица 19, 20, 26, 27, 37, 38, 40, 48, 54, 60, 62, 73, 98, 101, 106, 108, 109, 112, 114, 117, 118, 121, 122, 132, 135, 138, 149, 155, 168, 169, 174, 193, 194, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 351, 359, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 377, 379, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 394, 396, 402, 403, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 422, 437, 442, 446, 453, 458, 476, 499, 500, 507, 518, 520, 534
- Елизавета Петровна, императрица 132, 260, 261, 298, 308, 309
- Жакур Луи де (Jaucourt Louis de) 257, 277, 292, 293, 294, 313, 340, 385, 444
- Жильбер Жан-Эмманюэль (Gilibert Jean-Emmanuel) 68, 229, 231
- Жоффрен, мадам (Geoffrin, Mme) 23, 25, 40, 112, 319, 330, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 393, 396, 399, 402, 405, 407, 416, 417, 484, 520
- Заира 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 120, 134, 211, 213
- Иннокентий XI, Папа Римский 241
- Иосиф II, император Священной Римской Империи 192, 193, 201, 208, 210, 214, 215, 318, 409, 442
- Ипсиланти Александр, фанариотский господарь 431
- Йергин Даниэль 32
- Казанова Джакомо 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 122, 127, 128, 132, 134, 145, 146, 176, 178, 183, 211, 213, 222, 249, 303, 328, 329, 330, 336, 353, 401, 406, 407, 419, 453, 519
- Кант Иммануил 460, 482, 489, 492, 494, 499
- Карл XII, король Швеции 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 164, 186, 198, 217, 218, 359, 438, 447, 513, 525
- Карра Жан-Луи (Carra Jean-Louis) 23, 87, 96, 430, 431, 480
- Кауниц, князь 22, 324
- Кеннан Джордж (Kennan George) 415, 416, 420
- Кернер Роберт (Kerner Robert) 22, 531
- Кёпеша Бела (Köpeszi Béla) 26, 245, 291, 292
- Клейст Александр фон (Kleist Alexander von) 177
- Клемансо Жорж 526
- Кобетт Уильям (Cobett William) 414, 415, 416, 448
- Койе Габриэль-Франсуа (Coyer

- Gabriel-Francois) 256, 280, 284,
Кокс Уильям (Coxe William) 36,
51, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
81, 83, 86, 95, 96, 102, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 141, 144,
145, 147, 148, 154, 170, 183, 200,
222, 229, 244, 283, 290, 294, 445,
468, 476, 477, 483, 488
Костюшко Тадеуш 230, 495
Крэйнвен, леди Элизабет (Craven,
Lady Elizabeth) 23, 67, 95, 128,
147, 190, 191, 192, 193, 194, 196,
197, 198, 199, 210, 219, 223, 224,
225, 231, 233, 290
Кук Джеймс (Cook James) 37, 490,
499, 505
Кюстин Астольф де, маркиз
(Custine Astolphe, marquis de)
527, 528, 540
Кэймс, лорд 462
Кэмпбелл Томас 410
Кэткарт Чарльз, лорд 138
Левек Пьер-Шарль (Levesque
Pierre-Charles) 428, 429, 430,
436, 441, 445, 480
Ледьярд Джон (Ledyard John) 37,
38, 52, 499, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 508, 509, 510,
511, 512, 513, 520, 522
Лемерсье де ла Ривьер (Lemercier
de la Riviere) 330, 331, 336, 393,
395, 396, 400
Леопольд II, император Священной
Римской империи 177, 178, 179
Лессинг Готхольд Эфраим (Lessing
Gotthold Ephraim) 156, 157, 158,
160, 180, 221
Лешинский Станислав, король
Польши 151, 246, 255, 256, 257,
263, 280, 302, 325, 387, 484
Линней Карл 153, 155, 221, 287,
356
Линь Шарль-Жозеф де, принц
(Ligne Charles-Joseph, prince
de) 204, 205, 207, 208, 210, 211, 212,
213, 215, 216, 217, 218, 224,, 225,
239, 310, 315, 519, 526
Ловрич Джованни (Lovrich Giovanni)
470, 482
Ломоносов Михаил 300, 311
Лотарингский, герцог 151
Луве де Кувре Жан-Батист (Louvet
du Coudray Jean-Baptiste) 391
Людовик XIV, король Франции
227, 245
Людовик XVI, король Франции
54, 274
Мабли Габриэль Бонно де, аббат
(Mably Gabriel Bonnot de) 354,
390, 395, 400, 401, 404, 405
Макиавелли Никколо 35, 37
Маккензи Джорджина Мюир (Ma-
chenzie Georgena Muir) 532, 540
Мальборо Джон Черчилль, герцог
(Marlborough John Churchill,
duke of) 34, 64, 226, 247, 249, 250
Марат Жан-Поль (Marat Jean-
Paul) 23, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 221, 353, 389, 390, 391, 394,
400, 418, 419, 522
Маржерет Жак (Margeret Jacques)
44, 52, 229
Мария-Антуанетта, королева Фран-
ции 170, 373, 413
Мария-Терезия, императрица
Священной Римской империи
258, 259, 260, 280, 283, 323, 324,
344, 373, 430, 486
Мармонтель Жан-Франсуа
(Marmontel Jean-Francois) 361,
362, 364, 375, 378, 381, 407, 410
Маршалл Джозеф (Marshall Joseph)
23, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 148,
230, 290, 291
Маршалл Р.Дж. 26, 462, 482
Массальский Игнаций, епископ

- Виленский (Massalski Ignacy) 393, 396
- Милош Чеслав 26, 537, 538, 540
- Мирабо Виктор Рикети, маркиз (Mirabeau Victor Riqueti, baron de) 42, 46, 393, 397, 398
- Мольер Жан Батист 326
- Монтень Мишель де 43
- Монтескье Шарль Луи Секондат де 39, 123, 137, 148, 159, 160, 307, 308, 314, 331, 342, 347, 361, 453, 458, 522
- Монтэгу, леди Мэри Уортли (Montagu Lady Mary Wortley) 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 96, 97, 123, 123, 126, 127, 128, 147, 253, 373, 532
- Моцарт Вольфганг Амадей 24, 40, 52, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 207, 213, 219, 222
- Мюллер Герхард. (Muller Gerhard) 444
- Мюнхаузен, барон 164-171
- Наполеон Бонапарт 40, 41, 63, 184, 203, 334, 407, 408, 471, 488, 524, 525, 539
- Олеарий Адам (Olearius Adam) 45, 53
- Орлов Алексей 75
- Орлов Григорий 98, 351, 373
- Отрив Александр Морис Бланк де Ланётт, граф д' (Hauterive Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte) 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 223, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 440, 480, 524
- Павел I, император 214
- Паллас Петр Симон 68, 228, 229, 231, 500
- Паркинсон Джон (Parkinson John) 136, 148, 506
- Пейссонель Шарль де (Peyssonel Charles de) 406, 421, 422, 424, 426, 427, 428, 430, 432, 436, 440, 461, 479, 480, 518
- Пертэ Шарль де (Perthées Charles) 230, 231, 235
- Петит Алекс 22
- Петр I, император 19, 47, 59, 140, 145, 150, 152, 154, 155, 159, 164, 196, 217, 260, 283, 298, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 321, 332, 340, 352, 358, 367, 429, 444, 453, 454, 500, 518, 527, 535
- Петр III, император 261, 298, 344
- Помпадур де, мадам 168, 205, 257, 371
- Понте де Лоренцо 178, 180, 181, 182, 222, 223
- Понятовский Станислав 156, 272, 362, 387
- Понятовский Станислав Август, король Польши 112, 194, 208, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 391, 396, 407, 410, 413, 416, 417, 494, 520
- Поп Александер (Pope Alexander) 81, 82, 85
- Портер Джеймс (Porter James) 261, 262, 269, 292
- Потемкин Григорий Александрович, князь Таврический 118, 119, 174, 205, 207, 208, 209, 210, 217
- Пугачев Емельян Иванович 344, 345
- Рабле Франсуа 43
- Ракоши Ференц (Rakoszi Ferenc) 234, 244, 245, 246, 248, 249, 251, 255, 260, 280, 386
- Распе Рудольф Эрих (Raspe Rudolf

- Eric) 164, 165, 169, 173, 221, 222
Рейналь Гильом, аббат (Raynal Guillaume) 331
Ренан Эрнест 528
- Ричардсон Самюэль (Richardson Samuel) 118
Ричардсон Уильям (Richardson William) 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 164, 165, 169, 222, 416
Робер 228, 232, 233, 256, 289, 290, 291, 292, 425
Рузвельт Франклин Делано 9, 220,
Руссо Жан-Жак 40, 123, 142, 159, 164, 170, 200, 206, 221, 298, 300, 301, 304, 324, 347, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 368, 370, 372, 373, 378, 381, 382, 386, 388, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 400, 401, 406, 407, 412, 416, 417, 431, 432, 449, 452, 455, 458, 466, 467, 480, 520, 521, 523
Рюльер Клод-Карломан (Rulhière Claude Carloman de) 25, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 415, 419, 480, 524
- Сад де, маркиз 106, 135, 146, 148, 163, 166, 167, 222, 409, 415, 420
Саид Эдвард (Said Edward W.) 4, 6, 10, 52
Саллабери Шарль-Мари (Salaberry d'Imbergy Charles-Marie) де, маркиз 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 104, 125, 132, 147, 155, 183, 221, 522
Сансон Николя (Sanson Nicolas) 227, 236, 241, 257, 286, 289, 290, 294
Саси Клод-Луи де (Sacy Claude-Louis de) 430, 480
Свифт Джонатан 170, 247
Сегюр Луи Филипп де, граф (Segur Louis-Philippe) 37, 38, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 95, 102, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 128, 135, 146, 147, 154, 170, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 224, 225, 227, 243, 315, 323, 331, 341, 342, 349, 370, 415, 423, 435, 436, 476, 480, 483, 539, 511, 513, 517, 519, 524, 525
Сегюр Филипп-Поль (Séguir Philippe-Paul de) 63, 259, 525, 538
Сен-Пьер Жак Анри Бернарден де (Saint-Pierre, abbé de) 328, 337, 375
Сен-Симон Анри де 305
Сетон-Уотсон Роберт У. (Seton-Watson R.W.) 530, 540
Смит Адам 400, 419, 462
Смит Джон (Smith John) 44, 52
Смит Уолтер Беделла 528
Сталин Иосиф 9, 32, 120, 155, 220, 288, 534
Станский Питер 23
Старобинский Жан 360, 416
Стокс Гэйл 26
Страленберг Филипп Йохан фон (Strahlenberg Philipp Johann von) 238, 242, 243, 291, 310, 444
Сулейман Великолепный, султан 83
- Талейран Шарль Морис 407, 408
Татишев Василий 237, 444
Тацит 36, 51, 139
Теннисон Альфред (Tennison Alfred) 219, 220, 525
Тёллиус Якоб (Tollius Jacob) 241
Толстой Л. Н. 10, 63, 538, 539, 541
Тома Антуан (Thomas Antoine) 304, 329, 332

Тотт Франсуа де, барон (Tott Francois de) 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 147, 151, 168, 169, 183, 406, 421, 519, 524

Траян, император 70, 435, 437

Трумэн Гарри 32, 220

Тюрго Анн-Робер 399

Фабр Жан (Fabre Jean) 25, 222, 229, 290, 292, 379, 417

Фальконе Этьен-Морис (Falconet Etienne-Maurice) 168, 312, 330, 331, 379, 394,

Фихте Иоганн Готлиб 484, 485, 486, 487, 488, 493, 494, 496, 497, 499

Фонтенель Бернар де (Fontenelle Bernard de) 304, 306, 361

Форстер Георг (Forster Georg) 489, 490, 491, 492, 494, 495, 497, 502, 533

Фортис Альберто, аббат (Fortis Alberto) 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 482, 483

Фридрих II, король Пруссии 54, 55, 56, 57, 58, 149, 258, 259, 260, 280, 283, 391, 392, 394, 399, 491, 486, 491, 497, 513

Фуко Мишель (Foucault Michel) 58, 152, 155

Хоффманнсег Иоахим, фон (Hoffmannsegg Joachim von) 89, 90, 131

Чабб Томас Колдекотт (Chabb Thomas Coldecott) 535, 540

Чабод Федерико (Chabod Federico) 22, 39, 52

Черчилль Уинстон (Churchill Winston) 9, 31, 34, 51, 220, 416, 457, 535, 537

Шуазель Этьенне-Франсуа де (Choisel Etienne-François de) 257, 353, 401, 403, 404

Шувалов Иван 299, 309, 310, 311, 312

СОДЕРЖАНИЕ

[Предисловие А. Миллера]	5
Предисловие к русскому изданию	12
От автора	21
 Введение	 31
Глава I. Пересекая границу: Путешественники XVIII века открывают Восточную Европу	 54
Глава II. Обладая Восточной Европой: Сексуальность, рабство и телесные наказания	 98
Глава III. Воображая Восточную Европу: Литература, фантазия и вымышленные путешествия	 149
Глава IV. Нанося Восточную Европу на карту: Политическая география и картография культуры	 226
Глава V. Обращаясь к Восточной Европе. Часть I: Россия в сочинениях Вольтера	 295
Глава VI. Обращаясь к Восточной Европе. Часть II: Польша в сочинениях Руссо	 351
Глава VII. Населяя Восточную Европу. Часть I: Варвары в древней истории и современной этнографии	 421
Глава VIII. Населяя Восточную Европу. Часть II: Свидетельства нравов и расовые измерения	 484
Заключение	516
 Именной указатель	 542

Ларри Вульф

ИЗОБРЕТАЯ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения

Редактор *Н. Трауберг*

Художник *Д. Черногаев*

Корректоры *Л. Морозова, Э. Корчагина*

Верстка *С. Пчелинцев*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55
тел. (095) 976-47-88
факс (095) 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru
<http://www.nlo.magazine.ru>

ЛР N 061083 от 6.05.1997

Качество печати соответствует
качеству предоставленных диапозитивов

Подписано в печать 01.12.2002. Формат 60 × 90 ¹/₁₆.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 35. Тираж 3000 экз. Заказ № 705.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

HISTORIA ROSSICA

ИЗОБРЕТАЯ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ

В своей книге, ставшей обязательным чтением как для славистов, так и для всех, стремящихся глубже понять «Запад» как культурный феномен, известный американский историк и культуролог Ларри Вульф показывает, что нет ничего «естественного» в привычном нам разделении континента на Западную и Восточную Европу. Вплоть до начала восемнадцатого столетия европейцы подразделяли свой континент на средиземноморский Север и балтийский Юг, и лишь с наступлением века Просвещения под пером философов родилась концепция «Восточной Европы». Широко используя классическую работу Эдварда Саида об Ориентализме, Вульф показывает, как многочисленные путешественники – дипломаты, писатели и искатели приключений – заложили основу того снисходительно-любопытствующего отношения, с которым «цивилизованный» Запад взирал (или взирает до сих пор?) на «отсталую» Восточную Европу.

ISBN 5-86793-197-8



9 785867 931971